

георгий

гулиа

георгий гулиа

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ
ТОМАХ

георгий гулиа

ТОМ ТРЕТИЙ

ВОДОВорот

ФАРАОН ЭХНАТОН

Исторические романы

**Р2
Г94**

**Оформление художника
*Льва Чернышова***

Г $\frac{70302-133}{028(01)-75}$ подписное.

Водоворот

Исторический роман

— Вот так встреча! — воскликнул молодой человек и лихо спрыгнул с лошади.

Это был Кутат Нанба, житель соседнего села Гумá. Он решительно преградил дорогу Астáнде Уардán. Девушка, говоря откровенно, была приятно удивлена.

— Откуда ты взялся? — сказала Астанда, улыбаясь.

Нанба указал пальцем на небо.

— Разве ты не знаешь, что я брат святого Георгия? — сказал молодой человек и весело прибавил: — Да, того самого, Победоносца.

Он тоже улыбался. Он тоже был приятно удивлен.

Эта встреча, действительно неожиданная, но никак не отмеченная в анналах истории даже наиболее ревностными и скрупулезными летописцами, произошла в двадцатых числах апреля 1877 года в селе Абжъя́ква, в пяти верстах от Сухума. Астанда направлялась к соседке по хозяйственным делам — и вдруг такое!.. Да, она была застигнута врасплох, — одета совсем по домашнему, в темное ситцевое платье с заплатами. Как все крестьянские девушки, она шла босиком. Ей было неловко за свой неказистый наряд. Она пыталась спрятать ноги в густой и высокой траве.

Солнце перевалило через зенит.

День выдался теплый, душный, как обычно бывает после обильного дождя.

Ярко, совсем по-летнему, зеленели деревья и кустарники. Густо пошла в рост сочная, налитая прохладными соками трава.

Кутат словно родился вместе с весной. Цвет его лица — кровь с молоком. Глаза живые, блестящие. Тонкая полоска черных усов. Тонкие и черные брови.

Весь он такой ладный, стройный, что казалось, лошади ничего не стоит носить на своей спине этого легкого сокола. Кутат одет в ярко-коричневую черкеску с переливами цвета бордо. При нем, как всегда, кремневка, кинжал и пистолет, а за седлом плотно скатанная бурка.

— Я ехал и всю дорогу думал о тебе,— признался Нанба.

— Ври больше,— сказала девушка.

— Не веришь?

— Нет.

— А ежели поклянусь?

— И тогда не поверю.

Нанба казался обескураженным.

— Ну, дело твое. А я буду повторять: да, думал о тебе. Как живешь?

— Так себе.

— Дядя и тетя живы-здоровы?

— Здоровы.

— Скучаешь?

— Скучаю.

— И я тоже.

— Вижу! — с укоризной сказала девушка.— Разодет, как жених. Оружие, лошадь... Счастливая жизнь. Хорошо мужчинам!

— Без тебя плохо,— проговорил Кутат.— Ей-богу! Сон пропадает. В глазах круги. От тоски слепну...

— Оно и видно!

— Я не шучу. Ежели бы не дела, давно подох бы. Еду в Сухум. Мне нужно повидаться кое с кем. И с этим Воубой тоже.

— Зачем он тебе?

— Только между нами, Астанда. Плохи дела, вот что! Исчез наш племянник. Да ты знаешь его...

— Алиас?

— Он самый.

— Что же стряслось?

Кутат потуже затянул башлык.

— Толком ничего не знаем. Жил человек, никому не мешал, и нет человека! Вот и всё. Да разве это удивительно в наше время? Люди исчезают, словно бабочки: родился, пожил немного — и нет его! Во всем виноват Кямшиш. Больше винить и некого.

— Разве Алиас насолил ему чем-нибудь? — спросила Астанда.

— Да он же мальчик совсем! В этом году исполнилось двадцать.

Астанда сказала со вздохом:

— Боже мой, неужели же совсем пропал?.. — Она молитвенно скрестила руки на груди.

Кутат успокоил ее.

— Ничего, — сказал он уверенно, — мы найдем его, где бы он ни был. Из-под земли достанем. Ничто не теряется бесследно! Его надо у Кямшиша искать. Это хорошо известно. Но есть дела и не менее важные. — Кутат понизил голос: — Боюсь, что в один прекрасный день не будет ни вашей Абжъаквы, ни нашей Гумы. — Эти слова Кутат произнес сквозь плотно стиснутые зубы.

— Как так — не будет? — испугалась Астанда.

— Одно голое место останется.

— А люди?

— Они уплывут за море.

— На чем же?

— На турецких кочермах.

Астанда всплеснула руками.

— Я что-то припоминаю, — сказала она. — Говорят, какой-то Озбáк чудеса рассказывает о заморских землях. Дядю моего звал туда же.

— Озбак, говоришь?

— Да.

— Маáн, наверное.

— Не знаю.

— И что же твой дядя?

Астанда пыталась что-то вспомнить.

— Верно, — сказала она, — дядя приходится молочным братом Маанам...

— Что же, и твой дядя поплывет в Турцию?

— Он говорил как-то, что ежели все Мааны — его молочные братья — в Турцию переселятся, то и он не останется в Абжъакве.

— Вот видишь, — воскликнул Кутат, — как обстоит дело! И твой дядя не одинок. Так думают многие жители Абжъаквы, Гумы, Акапы, Багбарана, Мархеула, Гулрипша. Мы, абхазцы, без хомута не можем:

куда наши князья и дворяне, туда и мы! Нам хомут нужен!

Кутату не пришлось достаточно поучиться — окончил всего три подготовительных класса Горской школы. Природная сметка заменяла ему образование.

— Раскинь мозгами, Астанда. Понимаешь, о чем речь? — продолжал Кутат. — Надо людей спасать. Надо шею свернуть Кямшишу и разным там Маанам. Вот что надо!

— Ради бога, — взмолилась Астанда, — не кричи так!

— Пусть слышат. Я не боюсь! Надоело! — Он помолчал, а потом спросил: — Воуба здесь или в Сухуме?

— В городе будто.

— Стало быть, увижу... Как думаешь, Астанда, годится он для настоящего дела?

— Не знаю.

— Он что, в Гуа́шу влюблен?

— И даже сильно.

— Робок?

— Кажется, так. А тебе зачем все это?

Кутат сплюнул.

— В любви робок, значит, и в делах робок, — сказал он. — Ненастоящий, значит, мужчина, а так, размазня.

Астанда энергично возразила:

— Неправда! Он умный, хороший и совсем не размазня.

— Кто это тебе сказал?

— А не все равно?

— Нет.

— Люди сказали.

— Не люди, а твоя Гуаша! И ты не пытайся обманывать! Слышишь?

Кутат воровато посмотрел налево, направо и вдруг обнял девушку. Та вскрикнула и взмолилась:

— Не надо! Не надо!

Однако все было напрасно — Кутат жарко целовал ее в губы, щеки, лоб. Никак не выпускал из тесных объятий.

— Рассержусь, — предупредила Астанда.

— Твое дело.

— Отпусти!..

Руки его казались железными. От бессилия она запрокинула голову. Губы приоткрылись сами собою. И Кутат вволю целовал их. Целовал, целовал, всё целовал...

Наконец выпустил ее.

Астанда стыдливо отвернулась от него. Кутат, тяжело дыша, не знал, куда девать свои руки,— теперь они казались ненужными. Не долго думая, вскочил на жеребца, нетерпеливо топавшего копытами.

— До свидания,— сказал джигит.— В следующий раз не жди пощады.

Астанда стремительно поворотилась к нему, вызываясь расправила плечи.

— А я пощады и не прошу,— сказала она твердо.

— Как? — едва вымолвил пораженный ее словами Кутат.

Астанда побежала по тропе. Недолго мелькало ее платье среди кустов.

Кутат почесал затылок. «Такие они»,— подумал он, улыбаясь, и тронул коня.

2

Да, и эти тоже были влюбленные. Вот уже битый час стояли они у плетня. Разговаривали целый час, не замечая никого, и, кажется, готовы были вот так простоять весь день.

Звали ее Гуаша Абрискил, а его — Платон Воуба.

Нельзя сказать, что она была слишком юная,— ей исполнилось семнадцать, и мать не без тревоги думала о том, что ждет ее впереди («не дай бог, засидится в девках!»). Она волновалась бы по-настоящему, если бы не знала, что Воуба, двадцатипятилетний ученик второго класса Горской школы, питает особые чувства к ее дочери. Конечно, женихом называть его пока рано, но дело, по-видимому, к этому клонится...

Гуаша была босая, в легком ситцевом платье. А Платон, обутый в добротные казенные башмаки и одетый в теплую ученическую форму, успел основательно вытоптать траву по ту сторону изгороди.

Старый плетень, возле которого стояли влюбленные, отгораживал зеленый двор от проезжей дороги.

В глубине двора находился деревянный дом, крытый папоротником. Сейчас же за домом начинался крутой склон горы Аны́ха-Апаара́, поросший густым ельником. Через Аны́ха-Апаара, которую вернее было бы назвать большим холмом, вела тропинка к берегу моря, а точнее — к дороге, ведущей из Сухума в Килашур, Тубун и дальше в Мачáру.

В разговоре молодых людей был, как говорится, затронут широкий круг житейских тем. Среди них особо выделялись такие: хватит ли до нового урожая запасов прошлогодней кукурузы? Кто собирается жениться в ближайшее время? У кого поминки? И так далее. И ни слова о любви. Но любовь все время подразумевалась, она имелась в виду, о ней говорили глаза, она пламенела глубоко в их сердцах.

Между прочим он рассказывал ей и о школьном житье-бытье, о смешных учителях и трудных глаголах, школьном поваре и строгом смотрителе. Все было удивительным в рассказах Платона, точно он появился из другого мира. Казалось, где-то далеко-далеко, за тридевять земель, находился этот странный город Сухум и эта непонятная школа (Гуаша ездила в Сухум всего один раз, на ярмарку, и он показался ей большим и страшным)...

— А ты снова вернешься в школу? — поинтересовалась Гуаша.

— Да, — ответил молодой человек, — я же не окончил ее. Придется еще покорпеть над книгами месяц или два.

— И кем же ты будешь потом? — спросила Гуаша.

— Кем? Могу и писцом. А вернее всего — пахарем. Что ты скажешь?

Девушка взглянула на него с нескрываемым благоговением.

— Верно, Платон, нет ничего лучше крестьянской жизни.

Воуба провел рукою по своим каштановым волосам и надел фуражку, которую держал в руках. Потуже затянул широкий пояс.

— Ты ужхватила! Купцы получше живут. Я бы даже сказал — много лучше.

Купеческая жизнь вовсе не занимала Гуашу.

— Сколько ты пробудешь у своих? — спросила она.

— Дня три. Ты слышала, что дядю Езуга заточил князь Бабьш? За мной прислал человека сам Чирикба. Вот я и собираюсь к нему.

— К Кямшишу! — воскликнула девушка, прижав руки к груди.

И тут молодой человек, может быть, впервые осознал, сколько слабости и сколько нежности в ее белых руках! И не только слабости и нежности, но и силы, способной воодушевить самого нерешительного мужчину и подвигнуть его на великие деяния. Только ради этого чудесного жеста стоило прийти сюда пешком из Сухума... Воуба глядел на нее восхищенно.

— Да, к Кямшишу, — проговорил Платон, любуясь девушкой. — А что?

— Это плохой человек, — сказала Гуаша. — Я очень его боюсь. Чего только не говорят о нем! Правда, что он пьет человеческую кровь?

Платон покровительственно засмеялся.

— Не думал, что ты трусиха! — проговорил он.

— Трусиха?! — возразила Гуаша. — Неправда! Верно, я очень боюсь жестоких. Не выношу их! Но мне кажется, что я способна воевать, как мужчина. Вот так: чтобы у меня было ружье и у врага тоже. Чтобы мы смотрели в глаза друг другу. И стреляли... Я люблю стрелять на свадьбах... Я видела, как ведут стражники связанного по рукам человека. Он один, связанный, а их много, и все они на конях. И вооруженные. Разве это по-мужски?

Он любил в ней эти взрывы девичьего бесстрашия, проверить которое на деле не представлялось еще случая. И по-прежнему она оставалась для него существом малопонятным: с одной стороны беспомощным, как дрозд в силке, а с другой — чрезвычайно решительным, готовым даже на безрассудные поступки.

Внешне она очень ему нравилась: толстые черные косы, глаза почти что голубые и бледное лицо дворянки в соединении с крепкой фигурой крестьянской девушки. Вот стоит она перед ним по колена в росной траве, и ничего ей от этого не будет — здоровье у Гуаши железное.

— Если чешутся руки и тебе хочется повоевать, — пошутил Платон, — то можешь отправляться в Болгарию или Армению. Они ведут войну против Турции. Ей-богу, я бы и сам уехал. Эти глаголы осточертели... А что касается Кямшиша, через час я все узнаю. Надо будет поручиться за дядю — поручусь! А тебе советую не бояться. Разбойников вокруг немало, и одним больше или меньше — ничего не меняет в этом мире.

О Платоне у Гуаши сложилось определенное мнение: он был для нее вполне красивым мужчиной. Ростом не мал. Лоб высокий. И ничего, что плечи чуть узковаты по сравнению с большой головой. Нет, Платон не походил на деревенских красавцев с тонкими талиями, которые с ума сводят девушек своими танцами. А больше всего она его любит за сильные руки — под такими руками соха уверенно взрезает самые твердые пласты — и карие глаза, в которых светятся ум и доброта. Такие глаза и успокоят, когда надо, и подбодрят в нужную минуту. В них много мужской притягательности. И потом — эта неуклюжесть в движениях рук и походке. Словно из скалы вытесали Платона. А вдобавок ко всему он такой несмелый, застенчивый...

Нет, она не хотела бы, чтобы молодой человек шел к Кямшишу. Но дела есть дела, и мужчинам, в конце концов, все самым виднее...

— Пойдешь к Кямшишу, а потом? — с тревогой спросила Гуаша.

— А потом в город. Я же отпросился всего на два дня. Завтра надо быть в школе.

— И не приелось тебе это учение?

— Очень, — откровенно признался Платон.

— Наверное, глаза болят от книг?

— Еще бы!

— Ты много читаешь, а что еще делаешь?

— Пишу.

— А еще?

— В мяч играем. Всем классом. Иногда всей школой.

— А девушки?

— Что девушки? — сказал Платон.

— А ты ведь покраснел...

— Глупости!

— Я знаю, в городе много девушек.

— Зато и мужчин немало.

— Там, говорят, есть и такие... плохие женщины. Это правда?

Он не умел лгать, а ей тем более. Посмотрел Гуаше в глаза. Тихо сказал:

— Правда.

— А ты расскажешь о них?

— Да... Когда-нибудь.

— Все расскажешь?

Вздохнул глубоко и не без труда выдавил:

— Все. Но я мало знаю. Ты не веришь? Ей-богу. И все же кое-что расскажу.

Обещание вполне удовлетворило Гуашу.

— Что ты о глупостях расспрашиваешь? — Платон сорвал желтый цветочек, приютившийся у плетня. — Ты бы лучше сказала, где собираетесь кукурузу раздобыть.

— Наверно, в Цабáле, — с готовностью ответила Гуаша. — Отцу придется поехать туда. Там урожай, говорят, был хороший. Мало дождей было. Не то что у нас — на корню погноило всю кукурузу... А ты к нам зайдешь? Потом...

— Нет. Не смогу. Я же сказал, что отпросился на два дня. Ты не знаешь смотрителя нашей школы. Никому спуску не дает: учись да учись! А за опоздания строго взыскивает. Шутки шутками, а правду говорят: ученье — свет, неученье — тьма... Нет уж, я лучше зайду после. Может быть, в июне.

— Если твоего дядю выпустят, почему бы вам не навестить нас? Отец часто вспоминает его, жалеет очень. Ему будет приятно увидеть твоего дядю. И мама обрадуется. Она плакала, когда узнала, что его княжеские люди схватили.

— А что ж? Может, и зайдём. Да нет же, наверное зайдём. И никто не подумает, что это ради тебя. Это очень просто получится: человека на волю выпустили — вот и зашел к близким... Я поручусь за него, и его выпустят. Он же не разбойник какой-нибудь. Я не верю, чтобы такой богобоязненный человек, как мой дядя, погиб так просто, за здорово живешь... Мы пройдем по этой дороге и кликнем твоего отца. В этом же нет ничего особенного. Правда?

Платон рад: нашелся простой способ, чтобы еще раз повидать Гуашу. То есть это совершенно естественно — шли мимо и зашли...

Гуаша утвердительно кивнула. Она была не прочь постоять еще немножко, но, заметив отца с подойником, заторопилась.

— Приходите же, — сказала она и побежала к дому.

Воуба зашагал дальше, выбирая места посуше. Это не так-то просто — на проторенной арбами дороге ноги увязают в липкой грязи.

Весеннее солнце ожесточается. Оно, как говорится, печет во все лопатки. Небо чистое-чистое во всю свою ширь. Бурно цветет алыча. Розовой дымкой окутывается груша. Появляются какие-то мушки — любительницы теплыни. На разные голоса свистят птицы.

Платон шагает и говорит про себя, что в такой прекрасный день следовало бы думать только о любви, а не за судьбу близкого человека волноваться. Но ничего не попишешь, уж такова жизнь!

Хотя Платон и жаловался Гуаше, что много читать приходится, но тем не менее он был прилежнейшим учеником. Его поздно обучили грамоте — первые каракули вывел чуть ли не в двадцать лет. С трудом приняли в школу крестьянского парня. И все же он довольно быстро превзошел в знаниях своих школьных товарищей, в большинстве своем княжеских и дворянских отпрысков. Ему немало пришлось помытарствовать, пока наконец попал в интернат при Горской школе. Как бы то ни было, в двадцать пять лет он получит двухклассное образование и станет на ноги. Разумеется, нечего и помышлять о том, чтобы продолжать учение и дальше. Это желание несбыточное. Да не к чему, пожалуй, ему и сбываться: Платон вернется на отчую землю и станет пахать, подобно своим предкам. К крестьянской жизни ему не привыкать, она близка его душе. Ну, и Гуаша тоже немалая приманка, разумеется...

3

Отец не проронил ни слова. Сделал вид, что ничего особенного не заметил у плетня: в противном случае следовало бы отчитать дочь за легкомысленный посту-

пок — ее могли увидеть соседи, а языки-то им не привяжешь...

Он молча направился в хлев, чтобы подоить коров.

Отец Гуаши был невысокий, коренастый крестьянин по имени Кунцал Абрискил. Шестьдесят два года мало состарили его. Он это приписывал главным образом действию вина и красного перца. Болел Абрискил редко, да метко, раз уж слег, то непременно достигнет границы жизни и смерти.

Жена была моложе его ровно на двадцать пять лет. Происходила она из соседнего села Акапа, расположенного в горах, на севере от Абжъаквы. Ростом была выше мужа, но пожалуй, превосходила его не только ростом, а и умом. Кунцал, несомненно, признавал за Атией известную долю мудрости и, надо отдать справедливость, шагу не делал, не переговорив с нею. Другое дело, как поступал он, выслушав ее. Это и не важно. Важно, что Кунцал постоянно советовался с женой.

Атию, урожденную Уардан, лет двадцать тому назад Кунцал похитил при помощи приятелей. Этого Атия никогда не забывала, а посему Кунцал не терял в ее глазах ореола мужественности. В то время ей исполнилось двадцать и она считалась старой девой. И не потому засиделась дома, что никто не желал брать ее в жены. Напротив, к ней сватался один молодой человек из села Гума. Но свадьба все откладывалась из-за различного рода несчастий: то кто-нибудь умирал в роду Атии, то в семью жениха приходило горе или по кому-нибудь из близких справляли поминки. А Кунцал ни на что не посмотрел, выкрал Атию, когда спускалась она к роднику, и увез к своим дальним родственникам.

Гуаша первой порадовала дом Кунцала своим появлением на свет божий. Однако радость была далеко не полной: как ни говорите, родилась девочка, а не мальчишка. А вот сын Гуатас действительно осчастливил Кунцала. Неспроста стреляли в день его рождения, — через тринадцать лет мальчик стал недурным конокрадом. А еще через два года принял участие в набеге на усадьбу одного черкесского князя за Кавказским хребтом. Вот и нынче еще не появлялся дома после ночных походов. Одним словом, джигит...

Мать наблюдала из окна и видела все, что происходило в конце двора. Она, казалось, даже слышала, что говорила ее дочь молодому человеку. Двадцать лет тому назад, между прочим, тоже умели объясняться в любви, и с тех пор, разумеется, не изменились ни чувства, ни язык. И все-таки мать не могла не любопытствовать, о чем же так долго беседовали молодые люди там, у плетня.

— Что это с ним? — точно ненароком сказала она, просеивая муку сквозь сито. — Почему он такой бледный?

— А он не бледный, — ответила дочь.

— Неправда. Он даже осунулся.

— Тебе показалось, мама.

— Не понимаю нынешних девушек! Они очень невнимательны. А мужчинам внимательные девушки нравятся.

— Это их дело.

— Как так? Разве тебе все равно? Дома сидеть нетрудно. Крепко тебя люблю, но твоего домоседства не перенесла бы.

Мать перестала шлепать ладонями по ситу. Привлекла к себе дочку, обняла ее. В порыве нежности Гуаша прижалась к матери. Лицом она была вылитая мать. Атия поцеловала ее за ухом и прошептала:

— А таких разговоров не было?

— Каких, мама?

— Важных... Очень важных для вас...

— Нет, мама.

— Ну, ничего, все впереди, дочка.

И мать продолжала работу. Брови ее слегка нахмурились, глаза опечалились.

Вошел отец. Поставил подойник у огня. Закурил трубку, наблюдая, как дочь кипятит молоко.

— Дядю-то его освободили? — спросил Кунцал не то дочь, не то жену.

— Мы бы, наверное, услышали, — ответила жена.

— Куда же направляется этот Воуба? — снова спросил Кунцал.

На этот раз вопрос был адресован дочери. Но та и виду не подавала, что слова эти относились именно к ней. Тогда отец был вынужден прямо обратиться к Гуаше, назвав ее по имени.

— Воубу позвал Кямшиш,— ответила дочь...

— Кямшиш?

— Да. Ему об этом сообщили в Сухуме. В школе. И Воубе разрешили отлучиться ровно на два дня. Он полагает, что дядю выпустят на поруки.

— Кямшиш, что ли, выпустит?

— Так говорит Воуба.

— Чтобы Кямшиш упустил свою жертву? — усомнился Кунцал.— Этого еще не бывало!

— Он надеется на милость князя Бабыша.

— Кто надеется?

— Воуба.

— Это одно и то же: князь и Кямшиш!.. Боюсь, как бы и этому мальчику не досталось. Может последовать за дядей. В подземелье... И даже очень просто...

У бедной Атии сердце оборвалось: шутка ли — речь-то идет о женихе, будущем зяте! Она ссыпала муку в бумажный куль и удалилась в темный угол. Это у нее было привычкой — как разволнуется, так в темный угол. Там она и поплакать могла, не выдавая своих слез.

Дочь расстроилась пуще матери.

— Дай-ка воды напиться,— сказал Кунцал жене, чтобы отвлечь ее от мрачных мыслей.

Она тотчас побежала к колодцу.

— Сверх всякой меры распустил язык,— сердито заговорил Кунцал, словно сам с собою.— Сколько раз говорили ему: «Помолчи!» Не тут-то было! Таких надо бить да драть. Упрям был, несчастный. И горячий... Ежели князь не по душе тебе, но нет у тебя никакой силенки, значит, молчи! Случилось так, как предсказывали,— угодил прямо в подземелье! А кому от этого польза? Народу? Нет. Езугу? Тоже нет. А вот Кямшишу польза. Только ему одному: есть по чьей спине лишний раз проехаться.

Жена подала ему воды в глиняной чашке. Кунцал отпил немного и продолжал свою речь (нечего греха таить, любил поболтать вволю среди своих):

— Каждый человек должен иметь собственное суждение, что к чему, как, отчего и почему. Это не болтовня. Нас этому еще в молодости учили. Старики учили, а не какие-нибудь бородатые козлы вроде наших священников. Люди за перевал раз пятьдесят

хаживали, прежде чем других наставлять. Дюжину пуль вытаскивали из своих ляжек, прежде чем других учили уму-разуму. Вот как было! И те, кто нас учил, верное суждение имели: говори, коли силу чувствуешь, и молчи, ежели слаб. А Езуг поступал шиворот-навыворот — что на уме, то и на языке. А теперь отдувается! Жалко его. Очень даже. Но чем поможешь? Вот война, говорят, началась с Турцией. Ежели каша заварится по-настоящему, не до Езуга будет. Вот тогда, возможно, и отпустят его на все четыре стороны.

— Воуба надеется... — сказала бледная Гуаша. — Он думает... что... все уладится.

— Дай бог, — перебил ее Кунцал, нарочито зевая. (Если выскажешь пожелание и зевнешь тут же, это примета, что все исполнится).

— Ежели бы я родилась мужчиной... — начала было хозяйка.

— Знаю, знаю! — перебил ее Кунцал. — Ежели бы ты родилась мужчиной, то взяла бы ружье и расправилась с князем и Кямшишем. Верно сказано: «Драчливую корову бог комолой оставил». Я знаю, в кого ты целишься: меня имеешь в виду. Но учти: прежде чем ты раскинула бы мозгами, князь принял бы свои меры. Он далеко и глубоко видит. На сажень под землю глядит и все знает.

— Как? — в ужасе прошептала хозяйка.

— А очень просто! Слышишь, мышка возится за сундуком? Может, она им подослана?

— Кем это им?

— Кямшишем!

Атия всплеснула руками.

— В таком случае мы пропали!

— А разве ты не знаешь этого? — проговорил беспощадный Кунцал. — Прикуси-ка лучше язык и вари себе мамалыгу. Скоро твой разбойник покажется — чем кормить-то будешь?

«Вот так всегда, — со злобой подумала Гуаша, — наговорит всякой всячины. И ни слова в утешение». Ее душил плач, оставаться здесь было не вмоготу. Она схватила огромный кувшин и бросилась во двор.

Отец покачал головой и заметил с укоризной:

— С ума сойдешь с этими женщинами...

Абжьаква в свое время была большой и богатой общиной. Она насчитывала более двухсот дворов. Это было в ту пору, когда, как говорят люди, кошка, живущая у подножия Кавказского хребта, могла добратся до берега Черного моря, ни разу не коснувшись земли, а прыгая с крыши на крышу. В качестве начального и конечного пунктов такого рода путешествия называли, например, Псху и Абжьакву.

Мало в чем уступали Абжьакве и соседние с нею общины — Килашур, Багбаран, Акапа, Гума — и те, что отстояли чуть подальше, — Мачара, Гулрипш, Мархеул, Айбухца, Яштхуа, Ачадара и другие.

Абжьаква располагалась в плодородной долине между реками Басла и Килашур. От Сухума ее отделяла гора Самата-арху, ныне именуемая Сухумской. Относительно названия «Абжьаква» существовало два мнения. Одни, наиболее патриотично настроенные абжьаквинцы, объясняли так: Абжь-аква — значит середина Аквы, то есть Сухума¹. Другие, пожалуй более объективные, толкователи объясняли это слово как «половина Аквы». В самом деле, гора Самата-арху как бы делила Акву на две части: восточную — Абжьакву и западную — Акву.

В 1864 году перестало существовать абхазское княжество. Владетельный князь Абхазии Михаил Чачба умер в изгнании. Там, где была Абхазия, на картах появился Сухумский военный отдел. Но, несмотря на это, царская власть в пределах Отдела была все еще достаточно эфемерной и ограничивалась главным образом военной сферой, опираясь на отдельные, фактически изолированные друг от друга поселения военного типа. Судьбы края по-прежнему вершили князья и дворяне, которые не думали горевать об отсутствии объединявшего их владетеля.

Один из влиятельных Чачба жил в большом каменном доме на берегу реки Килашур. Он обладал достаточной силой для того, чтобы распространить свое влияние на Гудауты, Гагры, Сухум, Тубун и дальше — до самого Цабала. В Абжьакве у подножия горы

¹ А к в а — абхазское наименование Сухума.

Аныха-Апаара, среди большого, тенистого сада, жил другой Чачба, по имени Бабыш. Оба они поддерживали друг друга достаточно энергично. Дворяне и зависящие от них крестьяне ближайших сел, по существу, подчинялись Бабышу Чачбе. Более того — Бабыш являлся маленьким царьком, настоящим сатрапом, — то добрым, то злым, то хитрым, то мудрым, но всегда корыстным человеком, как и положено настоящему сатрапу, не чувствующему особой ответственности перед вышестоящей властью и тем более перед народом. Дворяне по фамилии Маан, Лакырба, Эмхаа, Чкотуа, Чирикба и даже князя Инал-ипа, Чаабалырхва и Диапш-ипа постоянно оглядывались на Бабыша Чачбу, имея в виду, что заодно с Бабышем и тот, другой Чачба, килашурский. При помощи Кямшиша Чирикбы Бабыш сгруппировал вокруг себя отъявленных головорезов. Эта малочисленная, но решительная гвардия, не моргнув глазом, могла привести в исполнение любой приказ князя и своего ближайшего шефа — Кямшиша Чирикбы. Это была тайная, хорошо вооруженная и беспощадная организация. Никто не знал в точности, кто входит в нее и сколько этих головорезов в Абжьякве и соседних селах. Создание ее стало возможным из-за абсолютного и никому не подотчетного господства князей и дворян, в обстановке безвременья и явной смуты. Русское военное командование очень вяло вмешивалось в подобные беззакония, не желая раздражать местную знать. Крестьянство, опутанное множеством адатов и ловко угнетаемое, страшилось княжеского гнева пуще божьего. При таком только положении гвардия Чирикбы и могла вершить свое черное дело. Многие крестьяне исчезали с поразительной быстротой и невообразимой загадочностью. Очень часто их находили убитыми в лесу или на пустынных берегах рек. Ничего не стоило приписать гибель любого человека суровому обычаю кровной мести. Мертвецы всегда оказывались людьми непослушными и поэтому неугодными князю.

Все это служило упрочению и незыблемости княжеской власти. Княжеские желания подхватывались с подбострастием и быстро исполнялись. А желания сатрапа, как известно, бывают самыми прихотливыми и непредвиденными.

Наш Платон Воуба не часто задумывался над крестьянским житьем-бытьем, даже над положением его собственных родителей в философском смысле. В течение последних пяти лет Платона целиком поглотила школа. Верно, до него доходили рассказы о жестокости Кямшиша, но Воуба считал их преувеличенными. Поэтому-то без особого страха приближался он к усадьбе могущественного Кямшиша Чирикбы.

У больших дубовых ворот Платон почистил ботинки пучком свежей травы. Сквозь деревянную решетку он заглянул во двор. Там — ни живой души. Только бегают по траве большой пес. За густой зеленью олеандров не видно дома. Быть может, долго простоял бы в нерешительности Платон, если бы не подоспел на помощь незнакомый всадник.

— Добро тебе! — сказал верховой, резко останавливая фыркающего коня. — К Кямшишу, что ли?

— Да, — ответил Платон.

Всадник пристально оглядел ученика.

— Ты видишь собаку?

— Да, вижу.

— Это сущий дьявол. Человека может порвать, как тряпку. Подожди-ка здесь. Я приду за тобой.

Верховой спрыгнул наземь, провел своего коня через калиточку во двор и исчез в густых зарослях. На нем были отличная кабардинская бурка и дорогой шерстяной башлык. Глаза его так и сверкали, точно выстрелы в ночи. «Как видно, он очень шустрый парень», — решил Платон.

Вскоре к воротам вышел человек, но не тот, верховой, а другой, тоже незнакомый, с изъеденным оспой лицом.

— Как тебя звать? — спросил он осипшим голосом. И, не дожидаясь ответа, пригласил Воубу вежливым жестом и почтительно склонил голову.

«Что за церемонии?» — подумал Платон, следуя за рябым.

Дом Чирикбы был похож на обычное крестьянское жилище. Единственное отличие состояло в том, что сбили его из каштана и украсили резными решетками сверх меры. Слева от него стояло низкое строение — кухня, откуда валил дым и доносились многочисленные голоса,

Хозяин встретил Платона на крыльце. Он был в красном шелковом архалуке, с глиняной трубкой в руках. Жестом пригласил присесть. Ради приличия Платон отказался, но Чирикба настоял на своем.

— Сын мой,— сказал он громко, и голос его прозвучал, как медь,— нельзя же противиться желанию старика.

В последний раз Платон видел его года два тому назад. Но с тех пор Чирикба, казалось, вырос и раздался в плечах. Резко очерченное квадратное лицо с низким лбом обличало в нем человека упрямого. Голова бритая, усы короткие, борода рыжеватая. Сквозь мягкие азиатские сапоги ясно угадывались могучие, жилистые ноги. Маленькие, водянистые глаза сидели глубоко в орбитах и казались прищуренными.

— Как там, в городе? — спросил Чирикба.

Платон невольно привстал.

— А я говорю, не вставай,— сказал Чирикба.— Нет, очень непослушны нынче молодые люди. Что им старый человек! Правду говорю?

— Как сказать... Я думаю...— протянул Платон, не находя нужного тона для беседы.

— А я скажу так: ты слишком большого о себе мнения. Ты и думаешь так: «Что, мол, понимает этот неученый, старый дурак? В городе он не живет, книг мудреных не читает, писем писать не умеет». Да тебе плевать на таких, как я. Что, угадал?

Хотя Чирикба говорил грубо, но как-то сразу расположил к откровенному, резкому разговору.

— Неправда,— возразил Платон.

— Что неправда?

— То, что вы говорите. Не все читают книги. Писем многие не пишут. Но это не значит, что младшие не должны уважать старших.

— Как ты сказал?

Кямшиш подсел к Платону, положил тяжелую руку ему на плечо и еще раз произнес:

— Как ты сказал?

— Я говорю, старших уважать надо.

— Нет, молодой человек! Повтори-ка точно. Слово в слово.

Платон покраснел от смущения.

— Слово в слово! — настаивал Кямшиш.

— Не все читают книги,— проговорил Платон, как на уроке.— Писем многие не пишут. Но это не значит, что младшие не должны уважать старших.

— Молодец! — воскликнул Чирикба.— Молодец! Это надобно запомнить. Ты мне нравишься!

Он хлопнул в ладоши, и прислужник принес вина и орехов.

— Иные тупеют от книг,— сказал Чирикба,— и зрение теряют. А зачем, спрашивается? Ясный ум всегда пригодится. И зрение тоже. Верно? Давай выпьем за наше знакомство. Я слышал о тебе, но не думал, что такая умная у тебя голова.— Чирикба покрутил длинный ус, единым духом опорожнил большую чару вина.— Ну, а теперь ты,— сказал он, чмокая тонкими губами.

Платон встал, поблагодарил и тоже выпил.

— Нет, ты, оказывается, молодец. А я-то воображал, что какой-нибудь ученый червяк. Не обижайся на старика. Я привык говорить то, что на уме. Помню, послали мы одного на учение в город. Два года пропал, а потом вернулся. Но кто? Просто тень! Насквозь просвечивает. Харкает кровью. Дунет ветерок — падает. Вот до чего доводят книги! И вскоре умер. И неплохо! Такому лучше на том свете быть, а не на этом. Ты, как погляжу, совсем другого сорта, молодец молодцом! А долго ли тебе еще изнывать в той школе?

— Месяца два.

— Ну, это терпимо. А потом что же?

— Вернусь на землю.

— А почему бы писцом не сделаться? Там. В городе.

— По сохе соскучился.

— Тоже неплохо. Словом, кончай школу, а там видно будет... Ну, а что ученые мужи болтают? Что на свете творится? Но прежде выпьем еще по чарке.

Чарка была с полкварты. В голове у Платона зашумело, как на водяной мельнице.

— Крепкое, — признался молодой человек.

— А ты орехов попробуй... Вино не какое-нибудь эшерское или акапское. Это чистый гудаутский сок, и весь он уходит в кровь... Ну, а теперь я слушаю тебя.

Вино действовало медленно, но верно. Это была изабелла, и довольно крепкая.

— Как вам сказать...— начал Платон, вытерев губы большим ситцевым платком.— Война идет. Русский царь против Турции воюет. В Армении войска перешли через границу и гонят башибузуков. В Сухуме пока спокойно. Десанта опасаются. Впрочем, фортификационные работы не проводятся, что несколько смущает понимающих военное дело граждан, хотя таких граждан именуют фактотумами. Военные, конечно.

Кямшиш потер лоб.

— Что ты сказал сейчас? На каком языке говоришь?

— Я говорю по-абхазски,— ответил молодой человек серьезно.

Кямшиш развел руками.

— Не понимаю ученых! Вроде бы по-абхазски, а не все разбираю... Ну ладно... Десанта, говоришь, опасаются?

— Да, десанта. Русские, говорят, сбегут из Сухума. А куда им бежать? Только в горы.

— Кто говорит? — спросил Чирикба, не спуская глаз с молодого человека.

— Наши учителя. Люди говорят. Лавочники. Купцы. Все говорят.

— А что еще говорят?

— Говорят, что в Сухуме начнут строить большой собор, в нем будет служить епископ. Вы, наверное, слышали об этом...

— Ну что ж, бог порадует,— заметил Чирикба.— Скажи на милость, почему ты разговариваешь со мною так, словно я с тобою не один?

Платон не понял его.

— Вы, должно быть...— проговорил он.

— Видишь, опять «вы»,— перебил Кямшиш.

— А это так полагается. Со старшим говорят на «вы».

Кямшиш скривил губы в язвительной усмешке.

— Это все ваши школьные глупости,— сказал он.— Абхазцы так не разговаривают. Ну, да ладно, дуй по-своему...

Вдруг в одной из соседних комнат зазвучала гитара и слышалось пение. Это была песня про любовь и измену.

Чирикба подмигнул Платону.

— Хорошая,— сказал он тихо.— Дочь поет. Давай выпьем. Эту песню поют абазины за большими горами.

Голос был низкий, грудной. Он то замирал, то звучал с новой силой. Может, оттого, что кровь заиграла после двух чарок, но только голос Платону показался необыкновенным, а песня очаровательной. И он уже не противился и третью чарку осушил молодецки.

Чирикба сидел неподвижно и улыбался: дескать, вот какова абазинская песня!

Пение оборвалось, и на крыльце показалась девушка с гитарой в руках. Она не смутилась, увидев Платона. Поклонилась ему. Медленно подошла к отцу. Одетая она была в белое, длинное, до самых пят, шелковое платье. Тонкую талию охватывал широкий матерчатый пояс. Смуглое лицо ее пламенело румянцем.

Чирикба прижал девушку к себе.

— А мы слушали тебя,— сказал он дочери.

Она взглянула на Платона. Может быть, ее поразили глаза этого в общем некрасивого молодого человека, ибо она прищурилась и дольше, чем это приличествовало, задержала на нем свой взгляд. «Ей не больше шестнадцати,— решил Платон,— однако смелости ее достанет на двух пожилых женщин».

Чирикба ласково отстранил дочь, давая понять, что занят.

— Гунда — сказал он,— ежели ты попоешь в своей комнате, мы тебя только похвалим.

— По заказу невозможно,— ответила дочь, исчезая в дверях. Но и с порога она успела бросить на молодого человека взгляд взрослой обольстительницы.

Чирикба завозился со своей трубкой — выбивал ее, дул в чубук, шарил в карманах в поисках кисета.

— Кямшиш,— обратился к нему Платон, улучив минутку,— мне передавали, что вы... что ты хотел поговорить со мной насчет дяди...

— Какого дяди? — Кямшиш перестал дуть в чубук. Провел тыльной стороной ладони по выбритой голове, словно вспоминая, что это за дядя.— Да, да...— произнес он глухо и нахмурился.— Тебя князь хотел видеть, а не я. Я скажу ему, что ты здесь, он позовет. А может, и вместе сходим.

— Что стряслось с дядей, Кямшиш? Мы целую ночь ломали голову и ничего не могли придумать. Может быть, он обидел князя... или вас?

— Я тут ни при чем! За что обижать меня, старого человека? — Кямшиш нарочито закашлялся.

— Если и обидел,— продолжал Платон,— то уверяю — не по злобе. Он немножко горячий и не всегда подумает прежде, чем скажет слово. Порой дядя забывает мудрое изречение, которое гласит: «Молчание — золото».

— Э, нет,— возразил Чирикба,— дело здесь не в болтовне. Не могу в точности сказать, в чем его вина. Мы это еще узнаем. Говорят, в кумовья полез к турецкому султану.

— Султану?! — воскликнул Платон.

— Удивительно? Да, к турецкому султану. И это очень плохо. Хуже и быть не может. В дело вмешались русские власти. Ведь война, и каждый проступок оборачивается черт знает чем!

— Боже мой,— проговорил потрясенный Платон,— неужели несчастный дядя Езуг ведет дела с самим султаном?

Чирикба утвердительно кивнул.

— Могу ли я помочь ему? Дайте мне его на поруки.

— Тебе?

— Да, мне.

— Нет,— отрезал Чирикба.

— А повидать его можно?

— Нельзя!

Платон вспотел от волнения.

— Значит, помочь нельзя? — проговорил молодой человек.

— Я этого не говорил.

— Могу я послужить князю и тем самым исхлопотать прощение дяде?

— Не знаю.

— Когда мы увидим князя?

— Когда он пожелает,— ответил Чирикба.

— Сегодня?

— Может быть.

— Я готов в любое время. Хочу, чтобы знали: меня отпустили на два дня.

— Ну, это не самое большое несчастье.

Платон только сейчас обратил внимание на хищные ноздри Чирикбы и на крохотные желтые круги вокруг зрачков, точно у коршуна...

— Что сказать отцу? — спросил Платон, готовясь уходить.

— Пожелай ему здоровья. Передай привет. Успокой его, как можешь... Однако, ежели очень торопишься в школу, я схожу с тобою к князю. И поговорим с ним, чтобы не тянуть волынку...

— Кямшиш, род наш будет вечно благодарен вам... тебе!

Кямшиш встал и заулыбался, ибо из комнаты снова донеслась песня. Он улыбался, а глубокие борозды, идущие от ноздрей, стали еще глубже. Он улыбался, а хищный взгляд его не затухал ни на мгновение.

— Абазины — те же абхазцы, — сказал Чирикба, — и песни у нас одинаковые. Но они сумели сохранить такое, чего уже нет у нас. Простая песня, а доходит до самого сердца!

5

Князя Бабыша Чачбу Платон рисовал себе представительным, статным. А сейчас, стоя рядом с ним, он видел, что князь тщедушен, низковат ростом. На его белом, как бумага, лице выделяется крупный горбатый нос. Черные усы сильнее подчеркивают несоразмерную величину носа, который прямо-таки похож на орлиный клюв, особенно когда князь стоит вполоборота. Пепельного цвета зрачки кажутся лишенными жизни — такие они холодные. Князю лет пятьдесят, но зубы у него изрядно попорчены — желтоваты, побломаны, местами почернели, точно ржавчина разъела.

Князь начинает беседу без обиняков. Он ходит мелкими шажками по комнате, и половицы поскрипывают под ним. Кямшиш сидит на табуретке перед камином, и со стороны может показаться, что к разговору князя с молодым человеком он не проявляет никакого интереса. И князь и Кямшиш одеты в коричневые черески. Костяные газыри так и блестят, будто их только что отшлифовали. Кинжалы у обоих отличные,

дальской работы, с крошечными орнаментами из охотничьей жизни.

— Твой дядя Езуг,— говорит князь Бабыш,— человек дурной. Можешь обижаться. Я не привык говорить одно, а делать другое. Речь идет не о каком-нибудь оскорбительном поступке в отношении меня или других уважаемых людей. Небольшое недоразумение как-нибудь уладили бы. Хуже, когда человек изменяет своему народу, своему князю и целому государству! Потерпи немного, и ты узнаешь, чем занимался твой дядя Езуг. Генерал Кравченко, командир Сухумского отряда, очень недоволен Езугом. Чтобы оградить от подозрений не только себя, но и всех абжъаквинцев, пришлось заточить твоего дядю. Нелегко идешь на такой шаг. Но что поделаешь? Время смутное, жизнь бурлит, как волны в водовороте, все меняется каждую минуту. Турки могут высадить десант. А ты знаешь, что это значит? Перережут нас — и дело с концом! А кто будет в ответе перед богом? Твой дядя? Нет! Я и мои ближайшие помощники. Ты не маленький. Много понимаешь. Книжки читаешь. Ежели ты с головой, то должен кое-что уразуметь. Турция воюет с Россией. А мы меж ними, как между жерновами кукуруза... Правда, русский царь пока что, кроме досады, ничего не принес лучшей части абхазцев — князьям и дворянам. Очень плохо, что он затеял какую-то земельную реформу, чтобы поссорить княжество с крестьянством. Ну, я думаю, царь еще образумится.— Бабыш подмигнул Чирикбе.— Но как бы там ни было, я офицер русской армии и приносил присягу царю.— Бабыш еще раз подмигнул Чирикбе, и тот усмехнулся.— Одним словом, обо всем этом кому-то надо подумать. Надо кому-то заботиться о будущем. Вот такие люди, как ты, и должны помочь оградить народ от беды. Ты понимаешь меня?

Платон неуверенно кивнул. Бабыш продолжал говорить о России и Турции, все убыстряя шажки, и в конце концов забежал по комнате, словно мышь в мышеловке. Чирикба, обращенный лицом к огню, лукаво посмеивался то ли над князем, то ли над Платоном, удивленным речью князя. Молодого человека вдруг как бы приподняли над будничной, мелкодумной жизнью и дали возможность обозреть огромное по-

ле битвы, в которой принимали участие многие народы и целые страны. Он никогда еще по-настоящему не вникал в подобные вещи и в настоящую минуту чувствовал себя ребенком. Платон не очень хорошо разобрался во взаимоотношениях России и Турции, Турции и Абхазии, Бабыша и Кямшиша. Однако во всем, что касается Езуга и его роли во всех грандиозных битвах, ведущихся на земном шаре, он должен точно разобраться. Для этого он и пришел сюда. «В чем же все-таки вина Езуга?» — этого Платон не понимал, но надеялся понять после беседы с князем Бабышем...

— Дорогой князь,— сказал Платон тихим, как на молитве, голосом,— ваши слова преисполнены мудрости и, мне кажется, дошли до ума моего и сердца. Признаюсь, не все, может быть, понял, что многое для меня открылось, как после сна. Вы говорили красиво. Я не знаю, сможет ли так же ясно изложить свои мысли наш учитель словесности. Простите меня, но я не понимаю одного: какое отношение имеет к этим великим делам, о которых вы говорили, мой несчастный дядюшка? Если бы я разобрался в этом, я вырос бы на целую голову. Так я полагаю.

Князь прекратил беготню и на мгновение устоял на Платона, точно бодливый бычок. И медленно, разделяя слова, сказал:

— Теперь о Езуге. Конечно, ты должен горевать о нем. Однако советую выслушать меня и намотать слова себе на ус. Это будет полезно... Твой дядя стакнулся с султаном. У него не раз гостили турецкие лазутчики. Езуг с ними заодно. Не буду говорить о том, что замыслили они убить меня. Бог с ними. Но они дошли до того, что сговорились поднять восстание, как только приблизятся турецкие корабли. Твой дядя дал слово собрать до двухсот всадников и ударить по русскому отряду. В этом он присягнул султану и получил от последнего деньги и великий фирман — знак особой признательности. Разве одного этого не достаточно, чтобы выколоть Езугу глаза и бросить его на съедение шакалам? Вина твоего дяди доказана,— продолжал князь.— Она и не требует особых доказательств. Нам нужны соучастники, а их-то и скрывает Езуг. Нет ли тут вины Маршанов или Чаабалырхва? Не замешаны тут Баалоу или другие дворяне? Я думаю, замешаны!

Но кто же? Все они или отдельные выродки? Пони-
маешь?

Князь внезапно побагровел, щеки у него задерга-
лись, как от укусов пчел, нос хищно заострился. Ба-
быш согнулся в пояснице и смотрел на Платона снизу
вверх. Пальцы князя то судорожно сжимались в ку-
лак, то мгновенно разжимались, как будто он был
одержим какой-то странной болезнью. Голос Бабыша
звенел и порою походил на женский.

Чирикба поднялся со своего места.

— Сын мой,— сказал он, скашивая глаза на кня-
зя, точно ища у него подтверждения своим словам,—
ты должен оказать небольшую услугу нашему князю.
Уговори дядю назвать своих сообщников. Потом сходи
к генералу Кравченко и сообщи ему о кознях, тебе
уже известных. Он тебя отблагодарит. Дело, как ви-
дишь, идет об общем благе. Жалко твоего дядю, но
только этим путем можно спасти его от виселицы. По-
ди, обдумай все хорошенько. Я пришлю за тобой.

— Верно,— подтвердил князь,— Кямшиш выра-
зил и мои мысли. Езуг тебя любит. Постарайся воздей-
ствовать на него. Пусть сознается во всем и укажет
сообщников. Признание облегчит его судьбу.

Платон решил, что не имеет смысла и заикаться
о поручительстве. Все оказалось более серьезным, чем
он предполагал.

Он возвращался домой точно лунатик: шел и не
чувствовал солнца, шел и не видел грязных луж, шел
и не знал, что сказать отцу, матери, тете и всем тем,
кто в лихорадочном ожидании смотрит на ворота, в
которых вот-вот появится Платон — надежда их и за-
щитник, ученый муж, постигший грамоту и смысл все-
го сущего на земле.

Нет, он не вынесет стонов и вздохов, не вынесет
женских слез. Лучше и домой не возвращаться!

Он отошел в сторону от дороги, присел на старый
пень, уронил на грудь голову и задумался.

Солнце ярилось все больше. Его лучи обжигали,
как летом. Каждая травинка жила весенней жизнью.
Приближался май, которому суждено было подгото-
вить землю для славного подвига — принятия мно-
жества семян, чтобы родилось из них еще более вели-
кое множество жизней.

Род Чинчора Воубы, отца Платона, жил в Абжьякве с незапамятных времен. Весьма возможно, что корнями своими он восходил к какой-нибудь колхской фамилии. Чинчор, говоря откровенно, никогда не задумывался над этим. Из своих ближайших предков он хорошо помнил только высокую, краснощекую старуху — бабушку. Дедушка рано умер, как говорили, от падучей болезни. Его нашли на кукурузном поле, посиневшим от удушья. Чинчор в тридцать пять лет женился на девушке по фамилии Багапш, и вот с тех пор она неизменно делила с ним все радости и горести. Таба — так звали супругу Чинчора — родила семерых детей. Шестеро из них скончались в малолетстве от различных болезней — внутренней, горловой, головной и пупочной (более подробная классификация не входила в обязанности знахарки). Платон выжил благодаря кузне. Да, именно кузне. Когда однажды какая-то неведомая хворь готовилась прикончить его, Чинчор принес богатую жертву богу кузни перед горном Киамина Уардана. И мальчик был спасен. С тех пор отец считал себя вечным должником Киамина, вследствие чего время от времени заходил к кузнецу, чтобы перехватить чарку вина, безразлично чье оно — Чинчора или Киамина.

Стоит ли отмечать, что Чинчор, как и весь род его, был неграмотным? Хотя уже многие годы существовала абхазская азбука Бартоломея и Услара, тем не менее письменностью на родном языке в Абхазии и не пахло. Только спустя пятнадцать лет после описываемых событий впервые появилась азбука, вошедшая в обиход. Чинчор мог не стыдиться, что не знал родной грамоты, если не стыдились этого и не краснели такие абхазские цари, как два Леона, четыре Георгия и четыре Баграта вместе с двумя Феодосиями, Деметрэ и Константином, среди которых числились и храбрые воины, бивавшие арабов и персов в Закавказье и значительно расширившие древнее абхазское царство.

Дом Чинчора, можно сказать, гляделся в воды Баслы, как в зеркало. В дни весеннего паводка двор заливало водою. Не раз предлагали родственники переселиться куда-нибудь подальше от реки. Но Чинчор так

привык к своему участку, что не мог вообразить ничего лучшего. По соседству с ним находилась кузница Киамина Уардана — человека неугомонного в работе. От зари и до зари стучал его молот. Два сына-близнеца Киамина, ровесники Платона, чурались кузницы. Они занимались виноградарством, и довольно успешно. Вино их славилось в Абжьякве. Оно, как известно, веселых любит. Близнецы пели и танцевали мастерски, обожали коней и джигитовки. Если чья-нибудь скотина бродила поблизости от них, то рисковала попасть на стол братьям. Случалось это довольно часто. Как говорится, быть молодцу не укор. С точки зрения абжьяквинцев, мужские доблести не в последнюю очередь определялись способностью к воровству (разрешалось воровать только коней, крупный рогатый скот и девушек).

Чинчор и Киамин дружили по-настоящему, часто навещали друг друга. Вот и сейчас, почувствовав приступ жажды, Чинчор решил провести своего соседа, как обычно вызванивавшего веселые песенки на своей наковальне.

Приметив медленно шагавшего соседа, кузнец отложил в сторону щипцы и молоток, а своего подручного послал за кувшином вина. Первый вопрос, который задал Киамин, касался Езуга:

— Что слышно о нем, Чинчор?

— Так же ничего, как не слышно сейчас стука твоего молотка.

— Мне сказали, что Платон отправился к Кям-шишу.

— Верно. И до сих пор его нет. Что ты думаешь? Кузнец разлил вино.

— Вернется.

— Эх-хе-хе! — вздохнул Чинчор, расчесывая пятернею бороду. — Скажи мне, Киамин: было на земле когда-нибудь спокойствие? Хотя бы день один? Чтобы человек признался, что ничто его не тревожит, что душа у него, как у голубя после обильной еды, тихая, чистая, покойная? Неужели мы рождены только для мучений — одно несчастье уходит, а уж другое на пороге? Я обращаюсь к твоей мудрости, Киамин. Ты умеешь делать из куска железа прочный нож. К ножу ты можешь приладить такую костяную ручку, что за-

любишься ею. И ежели кто и способен ответить на мой вопрос, так это только ты.

Кузнец вытер рукавом пот со лба, пошмыгал носом и отпил глоток из чарки.

— Да ты сначала выпей,— посоветовал он соседу.— А на твои слова отвечу так: человек должен жить в свое полное удовольствие. Понимаешь? Никто не должен... как бы это сказать?.. Никто не должен обременять его несчастьями. Ведь все равно человек умрет! Проживет сто лет — и все! Обратится в пыль. И никто — слышишь? — никто потом его не отыщет. Понимаешь?

— Верно сказано. Значит, так: не ты дал мне жизнь, и не тебе отнимать ее у меня! А ежели так, то на что же смотрит бог? За что принимает муки Езуг? Разве не может он жить по-своему?

Киамин взял в свои огромные ручищи чарку и разом осушил ее. Мокрые усы вытер ладонью. И сказал глухим голосом:

— Об этом я скажу так: мир, как нарочно, создан для того, чтобы человека мучить. Вот так, как я кладу кусок железа в горн, так и жизнь бросает человека со дня его рождения прямо в огонь. Понимаешь? Самый настоящий огонь! Но есть разница: я из железа делаю нож, лемех для сохи или меч, а жизнь обращает человека в ничто... Теперь о жизни, как я понимаю. Не было еще человека на земле, который блаженствовал бы, как в раю. Ной тоже жил не по своей воле. Надо полагать, что один бог устроился так, как того душа хочет. Все смертные несут крест. Но ежели кому-нибудь осточертеет крест, пусть сбрасывает его с плеч, берет нож и пробивается вперед! Понимаешь?

— Тс-с! — остановил его Чинчор.— Киамин, ты неосторожен. Подумай: ты же не один, у тебя дети, друзья. Чтобы пробиваться вперед, у самого должно быть не меньше трех жизней. Одной не хватит. Ей-богу! Езуг тоже горячился сверх меры, а что вышло? Ежели и ты попадешь в беду, что тогда?

Кузнец не имел привычки лезть за словом в карман.

— Тогда,— воскликнул он,— пусть мои друзья берут ножи и идут на выручку! А то как же! Одному голову оторвут, другому оторвут и...

— Пстой, пстой,— перебил его Чинчор,— я не желаю продолжать этот разговор. Все мы ходим под богом. Не мы первые, не мы последние. Придется о многом подумать. Надо без устали бить себя по лбу, выколачивать что-нибудь полезное.

— Ну и черт с тобой! — грубо оборвал его кузнец.— Бей, сколько влезет!

Он встал и направился к горну. Раздул огонь и почему-то снова уселся. Подручного не было. Воспользовавшись приходом Чинчора, тот решил перекусить и отдохнуть часок, ибо, рассудил он, раньше чем через час не оторвешь соседей друг от друга.

— Ты не сердись, Киамин...

— Нет, так нам и надо! — сердито ворчал кузнец.— Мы бедны не только деньгами, а во сто крат хуже — духом! Понимаешь? Ду-хом! Да разве же мы абхазцы, потомки великих нарттов? Сидим перепуганные, как перепелки. А кто пугает? Этот князек, похожий на лягушку, и его палач Кямшиш. А говорят, что нарты — предки наши... Чепуха! Нашими предками скорее всего были трусливые зайцы. Скок-скок — и в лес! Мы настоящие зайцы!

— Да замолчи же, Киамин! Разве ты враг себе?

— Не стану молчать! А ежели тебе очень нравится держать язык за зубами, иди к кому-нибудь другому. Понимаешь? Любителей помолчать немало. Зайцев среди нас предостаточно. Гнуть спину перед лягушками мы горазды.

— Что ты говоришь, Киамин?! — взмолился Чинчор.— Побойся бога! Охота же тебе в бунтовщики записываться! Надо быть осмотрительным. Не тот возраст. Горячиться нам не пристало. Сегодня в подземелье Езуг, а завтра кто?

Киамин в сердцах пнул ногою огромного пса, дремавшего на пороге кузницы. Пес взвизгнул и сломя голову бросился прочь.

Беседу соседей прервал сухумский извозчик по имени Шоуген. Он, казалось, незаметно подкрался к кузне.

— Эй, Киамин,— сказал извозчик, размахивая длинным кизиловым кнутовищем,— подкуй лошадку. Она с трудом поработала ночь.

— Ты что, всю ночь разъезжал? — буркнул Киа-мин, на сей раз недовольный появлением своего стародавнего клиента.

— А ты думал как? Эх, если бы вы знали, какую парочку я возил! Доложу вам...

Чинчор запротестовал:

— Ты расскажешь что-нибудь непристойное. Я знаю тебя, Шоуген. Уши затыкать придется. Ты уже не молод, пора и о приличии подумать.

— А ты не слушай, — спокойно ответил извозчик, — я бы тебя, будь моя воля, отправил бы прямо в Команы — есть там один монастырь, женский. Или ты мусульманин?

— Шоуген, не обращай на него внимания, — при-советовал кузнец. — Пей вино и рассказывай.

— Ого, вино?! С удовольствием. Твое вино мне нравится...

— Скажи лучше — чужое вино.

— И свое и чужое. А ты, Чинчор, закрывай глаза, затыкай уши — начинается прямо-таки светопреставление.

Извозчик опорожнил одну за другой две чарки, нехорошо выругался и лихо закрутил рыжие усы, торчащие, точно у кота. Пристроил свое худое и длинное тело на ящике с углем.

— Садится ко мне вечером один офицерик с молодой женщиной, — сказал он. — Ну просто с неба сошедший ангел.

— Кто? Офицер, что ли? — спросил кузнец, имевший пристрастие к точности.

— Нет, при чем офицер? Я говорю о ней. А его я и раньше знал. Такой здоровый. Выпить не дурак. И юбку мимо себя не пропустит. А если бы видали ее юбку! Черная, блестящая, словно змея. Кофта беленькая, прозрачная, как стекло. А под кофтой...

— Можешь не рассказывать, — перебил Чинчор.

— Не слушай его, Шоуген, продолжай.

— А под кофтой, значит, груди. Белые, как фарфор.

Кузнец остановил извозчика могучим жестом.

— Белые? — сказал он. — Это неправда.

— Ты прав, — согласился извозчик. — Бело-розовые. Да! А посередине кружкí каштанового цвета.

Кузнец просветлел лицом и погрозил пальцем.

— А? Каштанового? — спросил он.

— Ей-богу, каштанового... На шее цепочка. Золотая. От часов. Чулки черные. Башмаки высокие. Словом, такую женщину не на каждом углу встретишь.

— Дальше, дальше! — поторапливал кузнец.

— Прежде налей-ка вина... Сели, значит, ко мне в фаэтон и давай кататься по городу. Ездили час. Два. Я, значит, говорю потихоньку: «Господин офицер, есть тут духанчик. Хорошее вино бывает. Ну, и, значит, цыплята». — «Правильно! — кричит офицер. — Нам нужны цыплята!» А женщина схватила его за уши — ей-богу, за уши! — и таким сатанински приятным, значит, голосочком спрашивает: «Разве, шалуниска, цыпленка нет у тебя?» — «Есть, есть! — нарочно вопит офицер. — Ты мой цыпленочек! Ты мой цыпленочек!» Знаешь, Киамин, за один ее поцелуй ухо дашь оторвать. Ей-богу!

Чинчор не выдерживает, он вскакивает с места и выбегает из кузницы. Извозчик покатывается со смеху. Смеется и кузнец.

— И ты бы, Чинчор, не пожалел не только ушей, а и головы! — кричит ему вдогонку извозчик.

Шоуген досказал ночную историю и потребовал, чтобы кузнец поскорее подковал коня.

— А что болтают в городе, Шоуген? — поинтересовался кузнец.

— Всякое. Турки, значит, скоро явятся, вот что! Животы всем вспарывать будут. Говорят, корабли плывут. Сто, значит, кораблей, а может, и двести. Из пушек пожгут весь берег. Последнюю проститутку, значит, из Сухума выкрадут. Вот что болтают!

— Ты говоришь так, словно тебя все это не касается.

— Меня?! А что я? Мне бы эту женщину не выпустить. Я ее в Команы увезу. Как думаешь, примут нас монашки?

— Да ты не шути. Будь рассудительным. Ежели придут турки, Шоуген, они непременно сцепятся с русскими. Значит, двое подерутся. А что будем делать мы? Тоже драться?

— Непременно, — запросто ответил извозчик. —

Будем драться. Этих турок я, значит, не пущу на берег. Костями лягу.

— Непустишь, стало быть?

— Ни за что! Даже если с этой женщиной придется расставаться.

— Сдалась она тебе! Ею офицер пользуется.

Извозчик расхохотался. Он обнял кузнеца и коснулся гладкой, бритой щекой его щетинистых усов.

— А самое-то главное я и скрыл, — сказал он. — Ведь со мною спала! Во, значит, как!

— С тобой?!

— Ей-богу!

— А офицер?

— Он дрыхнул. Вдребезги напился.

— Ну, знаешь ли, променяла офицера с большой выгодой! — Кузнец полупрезрительно оглядел извозчика, от которого несло чесноком и луком.

— Не веришь?

— Нет.

— Не веришь? А хочешь, доставлю ее вот на это самое место? — Извозчик ткнул кнутовищем в серую золу, сваленную у горна.

— Да что же она, никого больше не нашла?

Извозчик, уязвленный в своем мужском достоинстве, продолжал рассказывать:

— Руки у нее, Киамин, гладкие, как бархат. Обвила, значит, меня вокруг шеи и сказала тихо-тихо: «Ты хороший мужчина. Такого еще не видала». — «А многих ты видала?» — спрашиваю. «Волос, говорит, у тебя на голове неостанет». Ну, думаю, в таком случае могу гордиться.

Кузнец, говоря по правде, немного расстроился. Ему было горько от сознания, что такой неказистый на вид мужчина, как извозчик, провел чудесную ночь, а он, Киамин, лежал рядом со своей кашляющей старушкой...

— А потратился ты, должно быть, крепко, Шоуген?

— Потратился, говоришь? Как бы не так!

И, к полнейшему изумлению кузнеца, извозчик достал из кармана две трехрублевки.

— Сама подарила. И заезжать велела.

Кузнец вовсе разинул рот.

Воуба, сойдя с дороги, хотел скрыться от посторонних глаз. Но это не удалось. Откуда-то из-за кустов вынырнул Татластан Лакырба, абжяквинский дворянин. И даже чуточку напугал.

— Вы что здесь?.. Ты что делаешь, Татластан?

— Я? Иду кривой дорогой. Все идут прямо, а я — нет. Шагаешь меж кустов и нет-нет да наткнешься на что-нибудь. Видал, как белки дерутся? А как червяки целуются? Тоже нет? А я видал. На своем веку полсотни трупов нашел. Не меньше! Я бывал первым горевестником. А ежели идти прямой дорогой, по которой тысячи топают, что увидишь? Вот и тебя повстречал. О чем задумался?

— Видишь ли...

Но Татластан перебил его:

— Все знаю. Можешь не рассказывать. А ежели разных чудес наслушаться хочешь, иди со мной. Не пожалеешь. Только клянись, что не выдашь.

— Дело в том, Татластан...

— Очень хорошо. Не будем мешкать, идем! Я расскажу дорóгой кое-что об этих чудесах.

Платон повиновался. Он пропустил вперед Татластана, а сам последовал за ним. Надо же как-нибудь убить время и совершенно безразлично, каким образом, — только подольше не возвращаться бы домой и не видеть горюющих родителей.

Татластан семенил на тонких, кривых ногах, обу-тых в шерстяные ноговицы и чувяки из сыромятной кожи. Он все время скалил гнилые зубы, вызывая отвращение в молодом человеке. Это был бездельник, дворянин-попрошайка. Его руки не знали цапки, палящее солнце не обжигало его в летние месяцы. Крестьяне, испокон веку считавшиеся «зависимыми» от него людьми, приносили его домашним еду и питье. А самого Татластана трудно было дома застать: обедал он у одних, ужинал у других, завтракал у третьих. Этот дворянин выдавал себя за мусульманина, не имея никакого понятия о Коране и затвердив всего лишь одно слово «аллах». На словах почитая аллаха, с удовольствием праздновал и православную пасху, и рождество Христово, разумеется, так же весело, как и байрам.

Вино сей правоверный любил пуще любого христианина и не подозревал, что обрезание равносильно христианскому крещению, ибо презирал обрезание так же, как свиное мясо (вот и все, что было в нем магометанского). Татластан принадлежал к многочисленному в свое время племени полумусульман-полухристиан, о которых писал некогда великий Омар Хайям. А с дворянами-христианами Татластана роднила любовь к даровому вину и чужому хлебу, тоже даровому. Этот дворянин, которого причисляли к цвету абжъаквинского общества, никогда не интересовался тем, когда же его предки стали номинальными магометанами и во имя чего забросили свою старую религию. Нельзя сказать, что у него начисто отшибло всякую память. Нет, он знал, например, что много веков тому назад в Абхазию, по старому преданию, явились апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит, что здесь сложили они свои головы во имя веры Христовой, что в Абхазии много древних христианских храмов — Пицундский, Лыхнинский, Псырцхинский, Команский, Моквинский, Бедийский, Гагрский — и нет ни одной мечети. Татластан и ему подобные нуждались не столько в аллахе, сколько в крестьянском хлебе. Султан вовсе не одобрял освобождения крестьян, которое проповедовали русские власти. Мало сказать — проповедовали. Русские решились провести в Абхазии реформу, похожую на крестьянскую реформу 1861 года в России. Вы, крестьяне, дескать, свободны, теперь уже не крепостные, выкупайте землю! А каково это слышать княжеству, дворянству, тому же Татластану? А султан сказал другое: все, мол, должно остаться по-старому, по заведенному порядку. И естественно поэтому, что этот гнилозубый Татластан, как все братья дворяне, пылал особенной любовью к исламу и защитнику ислама — великому султану...

— Платон, — говорил Лакырба, — следуй за мной, и ты скажешь спасибо. Ты услышишь нечто приятное. Я не хочу заранее открывать секрет. Сам все увидишь. Ты человек ученый и быстро раскусишь правду. Могу сообщить, что речь идет о спасении народа. Как говорится, сейчас или никогда! Наступил день, когда мы, абхазцы, можем возродиться для новой жизни и, как некогда, покорять другие народы...

Платон, занятый своими мыслями, пропустил мимо ушей этот вздор. Он шагал за Татластаном и думал о князе Бабыше. Разве пойдет князь на те ужасные злодеяния, которые приписывает ему всеобщая молва? Едва ли. А вот Кямшиш — дело другое. Этот способен на всякую пакость. Человек он двуличный и подлый. Это и на лице у него написано. Вероятнее всего, Кямшиш обманывает Бабыша, творит беззакония, прикрываясь именем князя.

На мгновение Платон заколебался. Не могут же схватить Езуга просто так, за здорово живешь? Безусловно, имеется какая-то причина, какая-то задоринка, сучочек какой-то. Его надежда на скорое освобождение дяди Езуга исчезла. Но, может быть, удастся с ним свидеться? Надо во что бы то ни стало поговорить с Езугом.

— Сейчас уже недолго, — продолжал Татластан. Он свернул на кукурузное поле, утыканное ожинками, повел по-за сараями. — Только помолчи об этом до поры до времени.

Платона точно разбудили.

— А? Что ты сказал? — спросил он.

— Я говорю, не надо болтать там, в городе. То, что услышишь и увидишь, держи про себя.

Вскоре они подошли к большому скотному сараю. Там было битком набито людей. Татластану с трудом удалось протиснуться вперед, а вслед за ним пробрался и Платон.

...Полумрак.

Посреди живого круга сидят двое, — должно быть, гости.

Оба в черкесках, держатся непринужденно.

Тонкие черты лица и белая, лишенная загара кожа свидетельствуют об их породистости. Да и руки у них, как видно, привыкли только чарки поднимать да янтарные четки перебирать...

— Вот тот, справа, Маан Озбак, — прошептал Татластан, — а другой — Ачба Таташ.

Эти имена ничего не говорили молодому человеку, но, судя по тому, как крестьяне почтительно слушали гостей, можно было заключить, что оба достаточно имениты и уважаемы.

Маан Озбак говорил густым басом, неторопливо, время от времени подкрепляя речь выразительными жестами.

Платон вскоре разобрался, что здесь происходит. Эти двое, как видно, недавно здесь появились, они уговаривали своих соотечественников уехать в Турцию.

Маан несколько лет тому назад перебрался туда. Там ему, как видно, жилось скучновато, и он пожаловал за своими соотечественниками, главным образом крестьянами. Переселиться в Турцию — вот что предлагал он своим слушателям. Он живописал плодородие обетованной земли, лежащей за морем...

Маан высадился в районе Скурчи, недалеко от реки Кодор. Обходя селения, не жалел красивых слов. А крестьяне, жаждущие безбедного существования и во всем обвиняющие природу, которая-де становится все более скупой, разинув рты слушали его рассказы. Достаточно было Озбаку, согласно обычаю, вовремя подняться навстречу старшему или истово поклясться прахом своего деда, чтобы умилить добродушных абхазцев и завоевать должное внимание.

— Что бы рассказать вам о тамошней земле? — басил Озбак. — Турки жалуются на нее. Да, жалуются. Ежели лозу воткнуть вечером, она расцветет к полудню следующего дня. А настоящая плодородная земля, говорят турки, родит лозу к утру. Вот такие-то участки нам и отвели. Бесплатно. Совсем без денег!

Люди вздыхали и переглядывались, потрясенные заморскими вестями.

— Кстати, об участках. Подчас они очень неудобны. И даже очень. Прямо-таки невозможно! Выйдешь с утра и до вечера шагаешь, пока до другого конца доберешься. Я, к примеру сказать, отказался от такого... — Озбак сделал паузу, разгладил пышную черную бороду и продолжал: — Отказался было, но передумал. Пусть, сказал я себе, участок остается за мной, хотя он и велик. Может, думаю, кто из Абхазии приедет, тому и отдам половину... Ну, участок — это еще не все. Каков урожай, спрашивается? Здесь находится уважаемый Таташ, и он подтвердит мои слова. Урожай таков, что собирай — не соберешь. Так и гниет на поле... Однажды тыквы захотелось. Ну, посеял. Посеял

и забыл про нее. И вдруг буйволы мои пропали. Целый день искал. Всю округу на коне объездил. Не нашел. Что ж, думаю, пропали буйволы. Прощайте! Только подумал — и вдруг слышу: «Но-о-о-е-е!..» Это мои буйволы подавали голоса. Но где же они? Где, проклятые?.. Как вы думаете, где они были?

Озбак прищуривает глаза и выжидает. Он видит десятки обветренных, изнуренных тяжким трудом крестьян. Они перешептываются. Гадают: «Куда же запропалились проклятые буйволы? Где их искать?» Одни говорят: «На кукурузном поле». Другие: «Где-нибудь за сараем». Третьи: «В лесу».

— Нет,— отрезал Озбак. — За тыквами прятались! Да, за тыквами! Вы спросите: неужели же такие маленькие буйволы в Турции? И не бывало! Там слоны, а не буйволы! А теперь решайте сами: какого же размера тыквы? Режешь тыкву, режешь ее, варишь, ешь, варишь, ешь, а она, проклятая, не кончается. Поэтому и гостеприимства там во много крат больше, чем в Абхазии. Возьмем свадьбу. Самую плохонькую справляют две недели, а то и три. Вы спросите, почему? Отвечу: надо же поесть то, что зарезано и наварено, напечено и нажарено!

— Эх-хе-хе! — вздохнул шумно один из крестьян.— Вот это жизнь! Все это очень хорошо, Озбак, а как там насчет вина? Турки — настоящие мусульмане. Они по несколько раз на день совершают намаз, имеют по семи жен и не пьют ни капли вина. Без вина, Озбак, скажу прямо, никуда не годимся мы, абхазцы. Без вина погибнет гостеприимство.

Говорил маленький, худощавый человек, гладко выбритый и накоротко остриженный. Он опирался на стариковский посох. По фамилии — Гулиа, по имени — Кудапш. Язык у него неплохо был подвешен, поэтому часто приглашали его на третейские суды и различные домашние разбирательства. Жил он на той стороне горы Аныха-Апаара, почти у берега моря. Крестьяне прислушивались к мнению Кудапша. Озбак знал это и понимал, что ответ должен быть исчерпывающим. Более того — необходимо было рассеять всякие сомнения относительно нетерпимости магометанского учения к вину.

Между тем Кудапш продолжал:

— Турки пьют чай и кофе. Больше кофе. Этот кофе для меня вроде лекарства, а лекарств никаких я не пил и пить не буду. Мой абхазский очаг знает одно — вино и мамалыгу, мясо и фасоль. И еще перец. Одному турку дал попробовать нашей соли, толченной с перцем, и он чуть не помер. Он сказал, что это не для людей. А для кого же? Для свиней, что ли? Я его чуть с лестницы не спустил. Ты говоришь, Озбак, что Турция настоящий рай. Как же так? Разве рай может быть там, где нет вина и соли, толченной с перцем?

В сарае стало так тихо, что слышалось поскрипывание драневой кровли, рассыхающейся на солнышке. Озбак энергично разглаживал бороду.

Выслушав Кудапша, Озбак встал, обнял и поцеловал его в левое плечо, а затем в правое — знак особого уважения. Отошел к своему месту и, не садясь, обратился к собравшимся с такими словами:

— Я много слышал о мудрости нашего Кудапша, его истинно абхазском характере и воспитании. Однако я не знал, что он так преуспел в этом благородном деле. Конечно же, прав Кудапш. Разве для нас, абхазцев, может быть жизнь, ежели нет вина? Или можем мы обойтись без нашей соли? Я прокляну тот день и час, когда их не будет возле меня! Дальше. Я понимаю, что честь наша не позволяет, чтобы дети были свидетелями многоженства. Мы, абхазцы, привыкли почитать женщину и лучше умрем, нежели дадим ее в обиду!

Слова эти понравились присутствующим. Раздались возгласы одобрения. Не без труда установилась тишина. Людям хотелось послушать, что же скажет еще этот, несомненно, достойный уважения Озбак.

— Разрешите сообщить вам, — продолжал Озбак, медленно поворачиваясь кругом, чтобы все могли видеть его, — великий султан издал фирман... Издал фирман, — подчеркнул он, — запрещающий туркам селиться вокруг тех благодатных мест, которые отводятся абхазцам. Они не смеют приблизиться к нам на расстояние тысячи верст. Почему? Да потому, что абхазцы должны есть свою соль, и потому, что абхазцы презируют многоженство. Вот, дорогие мои абжъаквинцы, так обстоит то дело, которое справедливо волнует Кудапша и, надо полагать, не одного Кудапша.

— Всех волнует,— заметил кто-то.

— Справедливо сказано,— отозвались с задних рядов.

— Правильно!

— Нет, нет! — решительно продолжал Озбак.— Жизни нам в Абхазии не будет. Русский царь очень обидел наше княжество и дворянство. Какое такое освобождение крестьян? Он и крестьян не пощадил, обозвав их крепостными, просто рабами. Испокон веку князь, дворянин и крестьянин живут, как братья, под одним небом. Их связывают наши, абхазские обычаи. И все это вознамерился разрушить русский царь. Нет и тысячу раз нет! Не бывать этому! Султан протягивает нам руку и говорит: «Абхазские обычаи — навечно!»

Хитрый Озбак умолк, чинно уселся на место.

И вот теперь подошел к нему Кудаш. Это видели все. Кудаш нагнулся к Озбаку и сказал, что вполне убедился в справедливости всего сказанного. Если султан поступает так, как говорит Озбак, очень хорошо, и это доказывает, что султан не дурак, он, видимо, понимает толк в абхазских обычаях...

— Ну, что скажешь? — спросил Платона восхищенный Лакырба.

Платон насупился. Он мрачно скрестил руки на груди и уставился на Озбака.

— Вот это земля! Вот это султан! — твердил Лакырба, подпрыгивая от радости.— Ежели б я дважды не слышал всего этого своими ушами, я бы не поверил.

— А где ты еще слышал? — спросил Платон, не поворачивая головы.

— В Дранда. Ей-богу, в Дранда. Месяц тому назад. Тогда Озбак только-только сошел с кочермы.

Платон был и возмущен и оскорблен в одно и то же время. Давно не слыхал подобной лжи, кроме как в сказках, и никогда не был свидетелем столь бесконечной доверчивости ко лжи. Его оскорбляла беззастенчивость этого Маана. Платон просто ушам своим не верил! Однако колебался: заявить ли во всеуслышание, что все это ложь, или смолчать из уважения к старшему? Смолчать — значит потерять уваже-

ние к самому себе. Громогласно возразить — значит вызвать неодобрение старших, оскорбить их, выставя себя более умным, что, по установившимся понятиям, равносильно дерзкому вызову.

Сытое и самодовольное лицо Озбака вызывало отвращение. Его рассказы — злобредные сказки. Цель их заключалась в том, чтобы сманить побольше крестьян в Турцию. Разумеется же, что делать там одному Озбаку, этому потомственному лентяю и тунеядцу? Ему нужны Кудапши, Смелы, Елканы, Кунцалы — эти рабочие воны. Вот он и плетет всякую быль-небылицу... И Платон решился...

Соблюдая всяческое абжьаквинское приличие и уважение к старшему, особенно к приезжему гостю, он выступил вперед и сказал твердым голосом:

— Уважаемый князь Маан Озбак!

Озбак вскинул глаза и увидел молодого человека в одежде ученика Горской школы. Ему тотчас же что-то шепнули на ухо, и он кивнул головой.

— Тише! — крикнули в задних рядах.

— Перестаньте галдеть!

— Замолчите же!

— Друзья, — обратился к присутствующим Лакырба, — это уважаемый Платон, сын Воубы Чинчора. Он учится в городе и пришел послушать несравненные рассказы Озбака о прекрасной Турции.

— Тише! Тише!

Платон не спускал глаз с Озбака. И Озбак, в свою очередь, изучал молодого человека, словно желая предугадать его речь, чтобы немедленно ответить ему или полным согласием, или неотразимыми стрелами своих слов.

— Ты, князь, большой мастер, — жестко начал Платон, — очень красивые сказки плетешь. Не для того ли, чтобы сманить нас за море? Слоноподобных буйволов нет на свете. Нет на свете и тыквы, за которой мог бы укрыться слонopodobный буйвол. Я не слышал о винограде, который цветет за одну ночь. Сейчас идет война против султана. Не думаешь ли ты, Маан Озбак, сделать всех абхазцев сообщниками султана? В военное время такие речи не прощаются. Твое счастье, что ты находишься среди добрых людей и являешься их гостем.

Платон все больше повышал голос. И как ни старался он соблюдать приличие, получалась, наоборот, дерзость. Он это понимал, но ничего не мог поделать с собой. Не мог, потому что видел в двух шагах от себя маслянистое, расплывающееся в улыбке лицо Озбака Маана, и улыбка эта бесила его.

Ко всеобщему удивлению, Озбак ничуть не рассердился на молодого человека. На его лице не промелькнула даже тень неудовольствия. Напротив, по-прежнему сияла его снисходительная улыбка. В конце каждой фразы, после которой Платон переводил дух, он утвердительно кивал. И в конце концов заявил:

— Друзья мои, а ведь Платон по-своему прав. Надо все увидеть своими глазами, чтобы уверовать в мои рассказы, чтобы понять величие страны пророка, где благоденствует, на счастье всей земле, великий султан. Не забывай, Платон, пословицу: «Виденное глазами — головы стоит». Поплыви за моря, повидай все своими глазами, а потом уж давай встретимся снова под этой благословенной крышей, при этих же мудрых людях. Встретимся и поговорим. Ты скажешь: «Чтобы плыть, деньги нужны». Верно, правда твоя. Вот они, деньги. Бери их!

С этими словами Озбак достал из кармана шелковый кошелек и подал Платону несколько золотых монет.

Этот благородный жест Озбака поразил всех присутствующих. Правота его не подлежала теперь никакому сомнению.

Платон понял, что поединок проигран. Он резко повернулся на каблуках и удалился, сопровождаемый всеобщим неодобрительным шепотом.

8

Наступили сумерки. Гуаша так и не дождалась Платона и его дяди. Не стало больше сил сидеть дома. И она пошла поболтать к своей подружке Астанде Уардан.

Астанда рано потеряла родителей и была взята на воспитание дядей по отцовской линии. Быстро пролетело время, и она так же, как Гуаша, уже на выданье.

Астанда — девушка яркой красоты. На нее заглядываются и князья и дворяне. Кое-кто из них, пренебрегая сословными предрассудками, даже готов жениться на ней. Между тем живет на свете человек, вовсе не желающий уступать ее кому бы то ни было, даже самому князю Чачбе. Хотя он и происходит из простой крестьянской семьи, но тем не менее задирает порою нос перед дворянами и князьями. Дело в том, что у него восемь родных братьев, настоящих львов. Помножьте восемь на десять зарядов, хранящихся в газырях истинного джигита, и вы будете иметь некоторое представление о том уроне, который могли бы нанести восемь братьев своим недругам. Если бы не это обстоятельство, можно поклясться, что прекрасная Астанда давно исчезла бы из-под дядюшкиного крова. Вы знаете, о ком идет речь! Верно, это Кутат Нанба. И тем не менее Кутату приходится держаться настороже до самой свадьбы, которую, по мнению знатоков, следовало бы ускорить. Сколько ни имей братьев, а дальские князья Маршаны, например, могут в два счета выкрасть любую красавицу, а потом ищи-свищи в ущельях Кавказского хребта.

Женская красота, по абжъаквинским понятиям, — это высокая белая шея, тонкая талия и длинная, до самых пят, коса. Всеми этими прелестями Астанда, несомненно, обладала. И не только этими. Она хорошо пела, а танцевала так, что могла перетанцевать трех мужчин. Умела ткать, шить, мастерски готовила ореховую и алычовую подливку. В сравнении с ней Гуаша чуть-чуть проигрывала. Однако была в Гуаше изюминка, которая привлекает мужские сердца. Словом, Гуаша и Астанда вполне могли дружить, не боясь нанести ущерба одна другой. Появляясь на деревенских гуляниях, они почти в равной степени привлекали к себе внимание молодых людей. И ни у одной из них не возникало ни малейшей горечи...

Подруги примостились на небольшой скамеечке под ореховым деревом, на котором только-только начинали распускаться нежные почки. И Гуаша и Астанда между собой говорили о Платоне и Кутате: «Он», — хотя это требование обычая распространялось

только на законных мужей. Однако девушки чувствовали себя привязанными к своим молодым людям настолько прочно, что уже стеснялись произносить их имена, даже секретничая меж собой.

— Он приехал сегодня, — сообщила Гуаша своей подруге. — *Его* дядя заточен в подземелье Чирикбы. Вот какое несчастье!

— Он сам сказал тебе об этом?

— Да. Мы утром виделись. Обещал зайти вместе с дядей. Но, должно быть, того не освободили, — со вздохом проговорила Гуаша.

Астанда задумалась. Она взяла руку подруги в свою и крепко сжала.

— Не дай бог, — сказала она, — ежели что-нибудь случится с его дядей... Не дай бог, пока вы не поженились!

Эти слова растрогали Гуашу. Она обняла Астанду и беззвучно заплакала. Та ласково погладила ее по голове.

— Рано плакать, — успокаивала Астанда. — Платон — человек умный, обязательно что-нибудь да придумает. Мне говорили, что он скоро окончит учение, будет получать большие деньги. А за деньги, милая, можно и камни заставить смеяться. Ты думаешь, он не сумеет помочь своему дяде?

— Не знаю.

— А я вот знаю, — солгала Астанда, чтобы утешить подругу. — *Мой* говорил, что едва ли Чирикба посмеет обидеть родственников Платона. Он это от многих слышал.

Гуаша взяла себя в руки. Успокоилась. А вскоре она смеялась и шутила как ни в чем не бывало.

Астанда сообщила по секрету, что получила от *него* подарок — кружевной платочек, купленный в городе. Она не осталась в долгу — сама, своими руками, соткала пояс, который носят мужчины под архалуком, и подарила *ему*.

Гуаша расцеловала подругу и поздравила ее с получением важного подарка. Она и не предполагала, что дело у них зашло так далеко. А у самой защемило краешек сердца, остро защемило: а ведь Платон не догадался привезти ей платочек из города! Правда, ис-

тратить пятнадцать копеек не так-то просто для ученика, но все же...

Гуаша умолила Астанду рассказать поподробнее о том, как и где он подарил платочек и почему она не сообщила об этом тотчас же, а сделала это с некоторым опозданием.

— Он просил никому не говорить, — сказала Астанда. — Очень он стесняется. А случилось это так. Пошла, значит, я к роднику. Набираю воду. А перед тем почистила кувшин песочком. Скребла его так, что он заблестел, как золотой. А за мной, оказывается, подсматривали. Он стоял за кустами. Выходит потом и здоровается со мной. Я тоже говорю: «Здравствуй». Молчит. А я набираю воду. «Чистый, говорит, твой кувшин». Еще бы, терла целый час! «Из тебя, говорит, хорошая выйдет хозяйка». А я говорю: «Это будет зависеть от хозяина». Он смеется. «Правда твоя, — говорит. — Я, говорит, был в городе и купил одну безделицу. Подержи-ка в руках». И сует мне платочек. Белый. Батистовый. Вокруг такие нежные кружева. «Зачем, говорю, расходовался?» — «А я, говорит, ежели надо, и побольше подарочек приволоку». Держу платок и не знаю, что делать. Он говорит: «Спрячь. Придет кто-нибудь. Узнают. Засмеют. Тогда меня, говорит, не увидишь целый год». Я платочек тут же за пазуху. С перепугу. Еще бы — целый год! И говорю ему: «А завтра придешь? На это же место? В это же самое время?» — «Приду», — говорит. «Приходи», — говорю... Выливаю воду из кувшина и снова набираю. Он сел на коня и уехал.

— А как он смотрел на тебя? — спросила Гуаша с живейшим интересом.

Астанда огляделась — не подслушивает ли кто-нибудь? И, понизив голос, сказала:

— Когда мы вдвоем, он будто и не смотрит на меня. Но стоит мне отвернуться — и я чувствую, что смотрит. И даже очень пристально.

— Куда же смотрит?

— Кажется, на ноги, — сказала Астанда, краснея пуще розового бутона.

— А еще? — не унималась Гуаша. Она дышала прерывисто. Лицо разгорячилось, точно от быстрого бега.

— Мне стыдно, — призналась Астанда.

— Ты не можешь сказать это мне? Твоей близкой подруге?

— Могу.

— Так говори же...

— Вот сюда.— И Астанда приложила ладонь к упругой груди Гуаши.— А сегодня поцеловал. В лесочке. Насильно.

Гуаша прижалась щекой к ее щеке. Какое-то еще не вполне ясное чувство зарождалось в ее сердце. От этого бросало ее то в жар, то в холод. Хотелось чужого тепла, ну, хотя бы Астандиного. И она крепко обняла подругу.

Темнело с каждой минутой. На горах Гума, Самата-Арху, Гвад-Иху, Аныха-Апаара зажигались слабые огни. Где-то раздавалась песня. На дороге скрипела плохо смазанная арба. Все ярче светились звезды.

С гор подул свежий ветерок. Зашептали деревья. Лениво залаяли собаки, без которых эта идиллическая картина Абжьяквы, безусловно, была бы неполной.

Надвигалась настоящая ночь, а Гуаше не хотелось расставаться с подругой. Не желала этого и Астанда. Они сидели рядышком, и каждая думала о чем-то своем.

9

Мать поджидала его у ворот. Прислонившись головой к кривому столбу, она терпеливо глядела на тропинку.

— Это ты, мама? — спросил обеспокоенный Платон.

— Я.

— Случилось что-нибудь?

— Нет. Просто ждала. Я же не видела тебя целых три месяца. А ты ушел на целый день.

Старенькая Таба по обычаю трижды обошла вокруг сына, согласно поверью принимая на себя все его болезни. Платон грубовато обнял ее за плечи и зашагал к дому.

Было поздно. Обильно вызвездило. Басла негромко перекачивалась на мелких местах. Выпала роса.

— Ты, конечно, босиком? — спросил Платон.

— Нет,— ответила мать,— в чувяках. А иначе ты рассердишься.

— То-то же! А отец?.. Отец спит?

— Дождидается. Скучает без тебя.

Чинчор сидел у костра в маленькой хижине; в ней абхазская семья обычно проводит весь день.

— Я ничего есть не буду,— заявил сын.

Мать всплеснула руками.

— Боже мой, тебя ждет мамалыга, свежий сыр! Я изжарила курицу, приготовила ореховую подливку. А ты?

— Я достаточно поел и выпил,— пояснил сын.

— Нет, ты попробуй! Твой отец дожидался тебя. Он хотел поесть вместе с тобой.

— Это другое дело,— сказал сын.— Давай выпьем.

Отец и сын уселись друг против друга. Мать быстро собрала еду на маленький столик, напоминавший низенькую скамеечку, а сама отошла в сторону и с величайшим удовольствием наблюдала за тем, как ужинают любимые ею мужчины. Сын запротестовал и потребовал, чтобы мать села за столик вместе с ними. Отец промолчал. Мать сказала:

— Я недавно поела. Ежели и я сяду, кому же тогда прислуживать?

Платон выпил за ее здоровье. Отец последовал его примеру, присовокупив, что пьет за общее здоровье (мужу неприлично пить за здоровье жены, так же как жене за здоровье мужа).

— Ничего хорошего,— сказал Платон, понимая, что от него с нетерпением ждут вестей об Езуге.— Говорил с Кямшишем и князем Бабышем. Как видно, здорово насолил им Езуг. Насколько я понимаю, дело обстоит так: идет война с Турцией, турки шлют лазутчиков, и несчастный Езуг попался на их удочку. Он, как видно, связан нехорошим, но крепким словом...

— С кем? — перебил отец.

— С султаном.

— Турецким? Который в Стамбуле?

— Должно быть, так.

— С мусульманским султаном?

— Разумеется.

— О боже! — проговорил Чинчор и трижды пере-

крестился широким крестом, от макушки до пупа.— Что я слышу? Мой брат Езуг... оказывается, великий человек! Сидя в Абжъакве, он ведет дела с самим султаном! О чем же он договорился с султаном, сын мой?

— Об этом говорил Бабыш. Езуг, насколько я понял, пытается помочь султану в войне против русских. Генерал Кравченко, говорят, знает обо всем этом.

Чинчор облизал пальцы.

— Езуг, значит, настоящий герой,— сказал он.— Несмотря на свои годы, не спит, не ест, а все с султаном разговаривает.

Платон опрокинул в себя полкварты,— как видно, без нее трудно разобраться во всей этой путанице.

— Я этим рассказам не поверил,— заметил Платон.

— Почему? — сказал отец.— Разве можно не верить святой правде? Подумай и решай сам. В Абжъакве живет некий Воуба Езуг. Все полагают, что это бедный крестьянин семидесяти лет. Но не тут-то было! Этот самый Езуг, оказывается, ведет тайные дела с султаном, перед которым трепещет христианский мир! Жалею, что не знал этого раньше! Да я бы холил Езуга, как героя из героев! И не только я! О нем песни пели бы, как о несравненном Инапха Кягуа. Надо полагать, что у Езуга и золото водилось. А? Как думаешь? Такому великому человеку без золота никак не обойтись. А может, и алмазы сверкали в его сундуках? — Чинчор горячился все более, с размаху кинул полено в очаг, да так, что пылающие угли сверкнули под самым потолком.— Сын мой, я человек маленький, кроме сохи, ничего в жизни не видал. Мое дело — земля. Но и своей маленькой головой могу вполне сообразить, не сходя с этого места и не обращаясь за советом к белому царю, что брат мой знается с султаном так же, как я с самим чертом. Ясно тебе? Вы же люди ученые, сидите себе в Сухуме, жрете казенный хлеб — так неужели же не можете объяснить Бабышу, что все это сущая чепуха? Уж ежели кто и знает Езуга, как свои пять пальцев, так это мы. У него есть один недостаток — востер на язык и слишком прямой. Нельзя в наше время быть таким. Змеей надо изворачиваться, словно лоза искривлять свой путь, вместо того чтобы шагать прямо, как подобает мужчи-

не. Езуг любит правду. В этом его вина! А при чем здесь султан?

Молчаливая Таба знала по опыту, что беседа эта может закончиться ссорой: и отец и сын упрямы — настоящие Воуба!.. И она попыталась незаметно положить на столик жареного мяса и налить полные чарки вина и тем самым привлечь их внимание к столу. Однако этот маневр не имел успеха.

Платону казалось, что Езуг кое в чем виноват — не могут же посадить совсем невинного человека! Князь говорил вполне искренне, слова его казались верными. В государственных делах, разумеется, нельзя следовать подсказке одного сердца. В значительной степени здесь должен действовать холодный и расчетливый ум. Это — истина, и в ее справедливости нельзя поколебать Платона. С другой стороны, нельзя же совершенно исключать и сердце. Человек бессердечный подобен каменному истукану. Как и всякий человек, князь Бабыш мог ошибаться, так же как люди могли отойти от истины, оценивая поступки князя.

— Я внимательно выслушал Бабыша, — сказал Платон, — и, признаться, ничего страшного не усмотрел в его словах...

Отец остановил его резким жестом.

— А твой дядя? Ты о нем думаешь?! — вскричал он.

— Думаю. Мне его жаль. Но я полагаю, что все выяснится. И насчет султана тоже. Дядю, наверное, выпустят. Князь чего-то хочет от меня, а чего — не пойму толком. Потерпим денек — узнаем.

— Ты можешь терпеть и не один день, — сердито проворчал отец. — Живешь себе в городе спокойно, под железной крышей, за каменными стенами, спишь на мягкой постели. А о нас ты думаешь?.. Вот послушай. Неделю тому назад я подарил князю ягненка. Через день стащили у меня буйволицу. Вчера пришли просить у меня двух каплунов. Пришлось дать. Месяц тому назад попросили у меня три рубля. Завтра обещали прислать за кукурузой — у князя какие-то поминки. Ежели бы знать, сколько и кому я должен. Все, что можно выманить, князь выманивает. А что сверх того пожелает, просто выкрадет. Нынче пострадал я, завтра заплачет сосед, послезавтра — со-

сед соседа. Не верь князю и не слушай его! Он лжет так же, как лгали и его отец, и отца отец. Такая уж порода!

И вот тут-то открыто вмешалась мать. Она почуяла сердцем, что Чинчор может завести сына на тернистый путь. В ней заговорил материнский инстинкт, а в этом случае даже самая безропотная абхазка становится львицей и для нее уже не существует никаких обычаев и условностей.

— Платон,— властно обратилась она к сыну,— не слушай его и не поддавайся его речам. Его брат ругал князей и дворян. Сядет, бывало, у костра и ругает. А князья и дворяне все это записывали в свои книги и теперь воздали должное. Наш хозяин собирается идти по стопам брата. Что с тобой? — обратилась она к мужу.— Какая тебя укусила муха? Вроде бы осторожным казался...

— Фу! Завела волынку! — сказал муж, неодобрительно меряя взглядом супругу.— Женский ум годен лишь для варки мамалыги. Кто просит тебя вмешиваться в наш разговор?

— Ты всегда был таким осторожным,— продолжала Таба,— почему ты изменяешь своему характеру?

— Не изменяю, а просто не вмоготу! Надоело вечное молчание. Довольно! Учти: я откровенен только с вами, с другими — молчок. Неужели же я не могу поговорить со своей семьей?

Платон решил, что пора менять разговор.

— Между прочим,— сказал Платон,— я попал на удивительное сборище. В большом сарае набилось человек двести. Яблоку негде было упасть. И какой-то Маан рассказывал сказки про турецкое жите-бытье.

— Как? И тебе довелось познакомиться с ним?! — воскликнул отец.

— А что?

— Да я же знаю этого мошенника! Маан — лазутчик. Вот кого надо бы на цепь! Разгуливает по Абхазии и плетет всякие небылицы. А наши дураки слушают, разинув рты. Добром это не кончится. Мы — люди темные, лесные, а вы народ ученый. И все-таки стоило бы прислушаться к нам. Вот что скажу: эти князья и дворяне погубят Абхазию. Ты слышал о светопреставлении? Настанет оно. Поверь мне. И ждать

недолго. Бабышам и Кямшишам не нравятся разговоры о крестьянской воле. Они готовы к черту на рога, к султану, к кому угодно — только бы не русские, с их земельными делами. А дела эти, скажу прямо, неплохие, раз не нравятся они Бабышам и Кямшишам. Я бы сказал так: убирайтесь на все четыре стороны, Бабыши и Кямшиши! Улепетывайте в Турцию, но не сманивайте народ. Я видел бедных махаджиров. Иные из них бегут назад из Турции. И Мааны рыскают, словно шакалы, в поисках дураков. И поверь мне — найдут Мааны свою жертву. Они хотят окончательно погубить Абхазию. А в Турции нет и не будет никакой Абхазии. Она здесь и только здесь!

— Мама, ты напрасно сердишься на отца, — сказал восхищенно Платон, — он говорит чистую правду. Я тоже не выдержал и сказал кое-что этому Маану.

— Маану?

— Да, ему.

Отец вытащил трубку изо рта. Насторожился. Изпод густых, сердито насупленных бровей искрами блеснули зрачки.

— Что же ты сказал? — спросил Чинчор.

— Сказал, что он лжет. Что сказки рассказывает.

— А он?

— Хитер старый лис! Сказал, что когда-то и сам не верил, а своим глазам не поверить не может.

— А люди что?

— Мои слова им не понравились.

— Я так и знал!

Чинчор покачал головой. Затянулся крепким табачным дымом из трубки. Молчал долго.

Мать разлила кислое буйволовое молоко, добавила в него мед и подала на столик. Платон набросился на молоко, по которому соскучился в городе, а отец все сидел и о чем-то размышлял.

— Живет в Сухуме один человек, — проговорил наконец Чинчор. — Я бы хотел, чтобы ты нашел его и передал от меня поклон. Он не раз гостил у меня. Знает нас. Но вот уже года три не видно его. Хороший человек. Ученый. Я думаю, что среди абхазцев нет больше такого. Он стихи сочиняет. Тем знаменит. Придет, бывало, к нам — и тут же готов новый стишок. Твоя мать несет жареную курицу, а у него уж стишок.

о курице! Принесет ягненка — стишок и про ягненка! Такой веселый и выпить любит. Разыщи его, сын мой, и передай все, о чем мы здесь говорили с тобой. Скажи, что Абхазия погибнет, ежели не спасут ее хорошие люди. Имя этого великого человека Гяргь, но он выбрал себе другое. А какое — не припомню.

— Гектор, — подсказала жена.

— Ого! — удивился Чинчор. — Твоя мать прекрасно помнит. Одним словом, это Гектор Эмхаа. Из дворян. Ученый человек. Где только не бывает! Сегодня в Сухуме, а завтра в Очемчирах, послезавтра в Гудаутах или Гаграх. Носит его, как черта.

— Как же, слышал о нем, — сказал Платон. — Гектор Эмхаа — поэт. Большой человек.

— Не просто человек, а с ученой головой. Пойди к нему и выложи, ничего не скрывай.

Платон обещал. Он похвалил молоко, и мать ответила ему благодарной улыбкой. Она постелила постель. В очаг положила дров посуше.

На пороге дремал огромный пес. Платон потрепал его за уши, ласково назвал тигром.

На дворе было темным-темно. Стоял сплошной мрак, как в глазницах скелета, торчащего в темном углу учительской Горской школы. «Неужели же и впрямь так темно в целом свете?» — вдруг подумал Платон.

Он перешагнул через порог. Здесь дышалось легко. А когда глаза привыкли к темноте, заиграли сонмы звезд, заблестела звездами и роса на траве, и из мрака восстал мир, прекрасный и разноликий мир тишины и покоя.

10

Крестьянин по имени Азиз Гуатас-ипа пригласил к себе высокого гостя Озбака Маана. В иное время Маан, может быть, и подумал бы, прежде чем вкусить крестьянское гостеприимство. Но на этот раз гордый дворянин немедля ответил согласием. Польщенный Азиз тотчас шепнул несколько слов на ухо своим соседям, и те с почестями препроводили Маана к дому Гуатаса-ипа. Второго лазутчика принимал у себя дома другой крестьянин, тоже в обществе своих соседей, в

которых нет недостатка, когда речь заходит о хлебе-соли.

Забить телку, свернуть головы индюшкам и курам, приготовить мамалыгу и хлебцы с сыром было делом одного часа. Абхазец, как правило, ничего не жалел для гостя, все выкладывал на стол. Не важно, что завтра самому придется попоститься. Важно, чтобы гость был доволен, чтобы соседи сказали: «Вот это угощение!»

Маан восседал на почетном месте — во главе стола. Напротив него оказался толумбаш, вернее — тот, кого хозяин наметил толумбашем (должность эта всегда считалась ответственной, а поэтому подбирался человек завидного здоровья и недюжинного ума).

Поначалу пили водку и закусывали курятиной.

— Я,— сказал хозяин,— счастлив. Нынче у меня такой знаменитый гость. Полагалось бы собрать по меньшей мере сотню достойных людей, но все пришлось делать на скорую руку, и мне, право, неловко.

— Ну-ну! — пожурил его Озбак.

— Нет, я это говорю не ради красного словца. К нам не каждый день приезжают абхазцы из Турции. Вон, говорят, султан побережье обстреливает, по Сухуму ударить собирается. Русские тоже стреляют. Плыть, значит, сейчас не так-то просто. Только герой отважится на подобное путешествие.

Озбак попытался — правда, очень слабо — остановить поток лестных слов. Однако хозяин был непреклонен.

— Разреши нам, — настаивал Гуатас-ипа, — разреши нам, недостойным тебя, выразить свои мысли хотя бы в бедных выражениях и тусклых образах. Ученостью мы не богаты и дальше Абжъаквы, можно сказать, не казали носа. При всем этом мы понимаем, что значит твой приезд в Абхазию.

Он чокнулся с Озбаком и выпил рюмку крепкого самогона. Все последовали его примеру.

Понемногу разговор оживился. Но он не мешал усиленной работе здоровых челюстей и обильному возлиянию.

Когда все выпили за Озбака, тот, выслушав многочисленные и отнюдь не краткие речи, сказал следующее:

— Час тому назад по вашей просьбе я поделился с вами тем, что видел своими глазами и слышал собственными ушами. Я не касался чужих мнений, они меня не интересуют, ибо речь идет о важном предмете, который изменит к лучшему вашу судьбу и судьбу всего народа. Вот мы сидим за столом достопочтенного Гуатаса-ипа Азиза, едим его хлеб-соль, пьем прекрасное вино. Мы счастливы. По крайней мере, я.

Все слушали стоя, да и оратор, как ни упрашивали его присесть, говорил стоя, держа в правой руке рог емкостью в полтора штофа. Женщины жались по углам, освещенные скудным светом коптилок.

Озбак продолжал:

— Я говорю, мы счастливы. Ну, а если завтра — а это может быть именно завтра! — если вся Абхазия превратится в поле битвы? Что тогда? Даже не хочется думать о том, что будет. Умный человек никогда не ждет грома, он перекрестится заранее или совершит молитву. Умный человек видит день завтрашний, а глупый живет сегодняшним. Я недавно встретил на берегу Кодора полсотню крестьян из Джгерды. Предводительствуемые своим князем, они грузились на корабль. Я спросил: «Куда?» — «В Турцию», — ответили они. «Не рано ли?» — спросил я. «А завтра будет поздно, — сказали они в один голос. — Русский царь оскорбляет нас, выдумывая какое-то освобождение от рабства. Какие же мы рабы?! Мы — люди свободные. Об этом уже достаточно ясно сказали крестьянские кремневки в Лыхнах в шестьдесят шестом году. В Турцию, пока не поздно!» Так говорили они. Да, друзья мои, это были люди умные, рассудительные. Они знали, на что идут. Истинно сказано: завтра будет поздно!.. Ваше здоровье!

Озбак пил молодецки. Полтора штофа — что полтора глотка. Заел вино горячей телятиной, лучшим куском телятины — нежной, мясистой лопаточкой.

Речь Озбака всем понравилась. Один за другим рассказывали присутствующие о разрушениях, которые происходят от турецких бомбардировок. В Пицунде, например, одного человека, говорят, разорвало: голова и грудь — на поле, а ноги и живот — в овраге. А вот в Очемчирах случилось неслыханное — угодило ядро в котел с мамалыгой. Хозяйки, значит, как не

бывало, а хозяин оказался на макушке орехового дерева...

— Да, — проговорил Озбак, — это не самые радостные вести. Но я предвижу нечто худшее. Русский отряд, помяните меня, сбежит в горы. Разве могут пять тысяч солдат и один генерал устоять перед турецкими кораблями? Считайте, что Абхазия занята султаном. Правда, русские могут собрать силы и снова пойти на Абхазию. Однако султан тут же соберет еще большее войско. И вот тогда-то грянет настоящая война на нашей земле, — она всех нас загонит в могилу.

Люди тревожно переглянулись. Об этом-то, говоря откровенно, они и не подумали.

Гуатас-ипа ударил кулаком по столу.

— Черт возьми! — вскричал он. — Кто не похож на свою мать, пусть принимает решение! Не можем же мы сидеть вот так, сложа руки. Мир-то идет ко дну! Эх, мне бы кораблик — и я уплыл бы за море. Только б меня и видали! А там, как изволил сказать наш дорогой Озбак, раздолье, полное блаженство!

Высокий, худой как смерть крестьянин, сидевший рядом с Озбаком, густо пробасил:

— Видно, чем раньше, тем лучше.

— Вот что, друзья мои! — выкрикнул Маан, размахивая пустым рогом. — Налейте вина. Прошу два слова. И эти два слова — за ваше здоровье, за Абжьакву. Дорогой Азиз, ум которого славится повсюду, от Кодора до Бзыби, выразился очень хорошо. Лучше и не придумаешь! Хотел бы добавить только одно: если трогаться с места, — а не трогаться невозможно, — то всем вместе, всем миром. Так и легче и веселее. Представляете? Приезжаем мы с вами в прекрасную страну — и тут же — не угодно ли? — новая Абжьаква. Хочу сообщить, что там уже есть и Джгерда, и Адзюжба, и Уарча. Да, да! А вы думали как!.. Вот я и хочу поднять этот рог за то, чтобы все мы, сидящие за этим столом, — Озбак левой рукой описал полукруг, — встретились на обетованной земле. Вот за что я пью! — И выпил. Единым духом. И глазом не моргнул. И бровью не повел.

Выпил, передал рог своему соседу. И тот сказал:

— Ехать — так ехать!

И тоже выпил. Тоже бровью не повел. Вручил рог крестьянину, сидевшему напротив.

Гуатас-ипа воодушевился. Ему словно не терпелось поплыть за море, куда-нибудь, хоть к черту на кулички, лишь бы получше жилось, чуть бы полегче дышалось.

Гуатас-ипа поклялся последовать в Турцию, вслед за своими братьями. Дали клятву и остальные. Озбак сидел довольный, пил вино и что есть мочи хвалил мудрость хозяина и его гостей, достойных хозяина, достойных Абхазии. И так далее, и так далее...

Вдруг пиршество было прервано. Мальчик, вбежавший в комнату, сообщил приятнейшую весть — к воротам подъехал сам Кямшиш Чирикба.

— Кямшиш?! — воскликнул Гуатас-ипа. — И он не идет сюда?

Гуатас-ипа вскочил и вскоре, сияющий, появился вместе с Кямшишем, который приличия ради слегка уперся в дверях.

— У вас, кажется, веселье, — сказал он, — и я помешал.

— Что ты, Кямшиш?! Как это можно?

Гуатас-ипа мигом освободил место для нового гостя.

— А это Маан Озбак, — сказал Гуатас-ипа, представляя высокого заморского гостя.

— Слышал, слышал, — проговорил Кямшиш, кланяясь глубоким поклоном.

Озбак приложил руку к сердцу.

Кямшиш даже не попытался объяснить цель своего прихода. Явился на запах винных паров, догадались крестьяне.

Кямшиш погрозил пальцем Гуатасу-ипа и сказал:

— Однако же, ты скрываешь от нас почетных гостей. Это даром не пройдет! Я выкраду твоего гостя.

— Но не раньше, чем выпьем, — шутливо отозвался хозяин, — и не раньше, чем ты заплатишь за свое опоздание.

Гуатас-ипа перечислил тосты.

— Ой, я умру! — пошутил Кямшиш.

— Пусть от вина и я умру вместе с тобой! — заявил хозяин.

— Ладно, бог с вами, — согласился Кямшиш. — А ежели упаду, отвезите домой. Не забудьте, вместе с Озбаком.

— Очень хорошо! — вскричал Озбак.

11

И князь и Кямшиш, казалось, вовсе позабыли о существовании Платона. Молодой человек не мог понять одного: ведь сами же вызвали, сами же обещали поговорить, а теперь молчат — что же это такое?

Платон решил выведать окольными путями намерения Кямшиша. И тогда ему дали знать, что в случае надобности его непременно вызовут. Оставалось развести руками и признать свое полное бессилие.

Но возможно ли даже в этом случае примириться с исчезновением близкого? Можно ли сохранять хладнокровие, зная, что где-то близко, может быть в ста шагах от тебя, томится родной человек и ты не только не в состоянии помочь ему, но даже не можешь повидаться с ним, не можешь перемолвиться словом?

Мать уговаривала сына все предоставить воле божьей, набраться терпения. Она умоляла Платона следить за собой, не болтать лишнего по адресу князя и Кямшиша, не связываться с ними, а поскорее уходить из Абжъаквы. Доброе материнское сердце, дескать, чует беду.

Итак, оставалось одно — возвращаться в Сухум и продолжать учение. Но прежде надо было увидеться с Гуашей. Какой же выискать благовидный предлог, чтобы явиться в дом Абрискила? Платону казалось, что любое его объяснение хозяева истолкуют по-своему. После долгих колебаний набрался наконец смелости действовать прямо, без уверток.

Подойдя к лазу в плетне, Платон крикнул было: — Гуаша!

Однако слово застряло в горле. Сгорая от стыда, Платон снова попытался кликнуть девушку и на этот раз довольно-таки успешно, — в дверях показалась Гуаша и стремглав бросилась к плетню.

— Ты одна? — спросил Платон.

— Одна.

Платон облегченно вздохнул.

— А я струхнул изрядно: думал, вот-вот покажется твой отец.

Она смущенно улыбкунулась.

— Разве он страшный?

— Мне кажется, он в один прекрасный день прогонит меня прочь.

— Нет, не прогонит...

— Откуда ты знаешь?

— Значит, знаю...

— Все равно стыдно.

— Надо терпеть.

Платон перевел дух. Достал из кармана перочинный нож и принялся обстругивать толстую хворостину, торчавшую из плетня.

— Какие мы несчастные! — сказал он в задумчивости. — Даже любя испытываешь страх. И многое приходится терпеть. Буйвола украли — терпи, корову увели — терпи, дядю посадили — терпи. Любишь — терпи. Не кажется ли тебе, Гуаша, что это слишком много для одного человека? Может быть, небо создало нас только для мучений? Может, богу угодно долго-терпение, а наши радости ему противны? Что ты скажешь?

— Разве так уж плохо терпеть в любви? — ответила Гуаша. — По-моему, стыд и любовь — это брат и сестра. Там, где любовь, там и терпение.

— Ты так думаешь?

Платон глянул на нее тем умным, проницательным взглядом, который очень нравился Гуаше. «Нет, он все-таки красивый», — решила она про себя.

— В городе есть люди, которые кажутся самыми счастливыми на белом свете, — продолжал Платон, энергично строгая хворостину. — Они не ведают, что такое терпение, страх или стыд. Иногда мне очень хочется побыть на их месте. Хоть бы один день. Разве это жизнь — вечно дрожать за буйволов и коз, лошадей и коров и вдобавок ко всему страдать за близких людей, которые исчезают без следа, точно уворованные козы! А в городе, недалеко от пристани, совсем иная жизнь. И женщины там бесстыжие. И мужчины.

— Я чувствую,— с укоризной произнесла Гуаша,— что тебе нравится.

— Что?

— Бесстыжие женщины.

Платон тихо засмеялся. Он взял двумя пальцами тоненькую беленькую стружку и поднял ее высоко.

— Вот она наша жизнь,— сказал молодой человек.— Она — как эта стружка, колеблется при малейшем дуновении ветерка. Дрожит от одного нашего дыхания. А потом ее разом подкашивает смерть, и на этом все кончается.— Платон взмахнул ножом и рассек стружку надвое.

— Я боюсь твоих слов.

— А ты хотела бы, чтобы я только похихикивал? Нет, в жизни веселья мало.

— Ты не в духе...

— Ладно, не будем об этом... Я уйду в город.

Гуаша поджала губы. Она отнеслась к этому известию с должной стойкостью: раз надо — ничего не поделаешь. Она помолчала, надеясь, что он еще что-нибудь добавит. Но ему нечего было говорить. Или не хотелось...

— Ты помнишь? — нарушила девушка молчание.— Обещал рассказать кое-что.

— А что?

— Вспомни-ка.

Платон сложил нож, снял фуражку и вытер лоб большим цветным платком.

— Убей — не могу.

Гуаша чуть слышно прошептала:

— О бесстыжих женщинах.

— Ах, вот ты о чем! И не лень тебе держать в голове всякую чепуху?

— Мне все время мерещатся они и ты... Вместе... Будто окружают тебя. И я боюсь за тебя...

Платон чуть было не выпалил: «Не бойся, они не такие уж страшные». Но он по понятным причинам прикусил язык.

— Пойми же,— сказал он наставительно,— они деньги любят. А у меня что?

— Разве у тебя нет денег?

— Есть! — воскликнул он весело и, пошарив в карманах, подбросил кверху серебряную монету.

— Верно, есть, — заметила девушка.

— Ничего ты не смыслишь. Этого мало даже для того, чтобы полюбоваться ими издали. Понимаешь?

Гуаша недоверчиво посмотрела на Платона. Он подкидывал монету кверху и ловил ее. Наконец уронил в траву, и они долго искали ее.

И вот когда они сидели на кэрточках и волосы ее касались его щек, Платона подмывало поцеловать Гуашу в гладко причесанные волосы. «Она, пожалуй, еще и обидится», — решил ученик Горской школы. И отстранился от нее.

Монета нашлась в пыли, а не в траве. Он поднял ее, почистил и спрятал.

— Я и забыла сказать, — смущенно призналась Гуаша, поправляя платье, — тебя Кутат разыскивал.

— Хотел что-нибудь?

— Говорит, важное дело к тебе.

— Я уйду в школу.

— Он и там найдет.

— Спешное дело, что ли?

— Астанда говорит так: «И спешное и важное».

— А где он?

— Кто знает... Носится на коне, словно ветер.

Платона вдруг осенило, он отошел на шаг, осмотрелся вокруг и, приблизившись к девушке совсем близко, проговорил:

— Мы должны пожениться, Гуаша.

— Мы?

Она опустила глаза, не смея взглянуть на него. Но была спокойна. Разумеется, она ждала этих слов, если не сегодня, то завтра, ждала каждую минуту.

Платон осмелел. Сказал очень твердо:

— Учти, Гуаша: я не буду терять ни секунды на сватовство, обручение и другие дела. Сказано — сделано. А то, пожалуй, и выкраду тебя. Так-то лучше! Постарайся держать все в тайне. Я пришлю к тебе человека, и ты узнаешь все о моих планах. Что ж ты молчишь?

Платон невольно смотрел на ее ноги, такие белые-белые, с упругими икрами. Он пожалел о том, что нет поблизости коня и что не может увести Гуашу сию же минуту.

Озбак Маан переселился в Турцию в 1867 году. Он был одним из первых уарчинских махаджиров, или, как произносят это слово на Северном Кавказе, мухаджиров¹. Приехав в обетованную землю, на голое место, Озбак основательно взгрустнул. Спустя год он вернулся в Абхазию и уговорил десяток крестьян из села Уарча ехать вместе с ним в Турцию. Понемногу выяснилось, что для его привольной жизни недостаточно и этих крестьян. Озбак снова совершил путешествие в родные края, имея на то полномочия турецких властей, заинтересованных в заселении пустынных площадей Анатолии.

Работоторговля, пришедшая в упадок с появлением русских на Кавказе, сменилась махаджирством, которое поощрялось султаном. Начиная с середины девятнадцатого века поток махаджиров, пересекающих Черное море, все более и более увеличивался. Особенно много горцев переселилось в Турцию после Крымской войны и в 1867 году. В 1864 году исчез с Кавказского побережья убыхский народ, населявший район Сочи, от реки Хоста до реки Шахе. В это же время опустело Бзыбское ущелье, которое занимали абхазские племена, известные под общим названием садзы (джикеты). Русская администрация на первых порах не препятствовала переселению. Когда же турки ударили по русским укреплениям на Черном море силами махаджиров, сведенных в военные группы, стало ясно, что была допущена грубая ошибка. Но было слишком поздно, местное население Черноморья катастрофически поредело.

Почему же произошло это переселение огромных масс людей? Ведь они перешли не на лучшие земли, а на несравненно худшие? Разве можно, например, сравнить зеленый край с мягким климатом, каким является Абхазия, с пустынными землями Анатолии?

Фанатизм мусульман-переселенцев? Нет, среди абхазцев не было сколько-нибудь значительного количества мусульман-фанатиков. Это исконно христиан-

¹ От арабского «могаджир» — переселенец. Так именовались последователи Магомета, спасавшиеся от преследования идолопоклонников-меккинцев.

ская страна, а ислам, навязанный части абхазцев, так и не смог расслоить их.

Неужели абхазца прельстила жизнь на неведомой обетованной земле?

Нет, его вообще трудно оторвать от того уголка, где жили деды и погребены предки, и переселить в соседнее село. И вдруг он сорвался с места и поплыл за море?

Исторические материалы свидетельствуют, что переселенцев обманули, запугали, а иногда и силой заставили ехать в Турцию.

В «Историческом вестнике» за октябрь 1891 года в воспоминаниях махаджира И. Ладариа рассказывалось о том, как во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов недалеко от Гудаут пристал турецкий пароход. Приняв на борт согнанных крестьян из села Псырцха (Новый Афон), пароход направился к берегам «обетованной земли». Он был переполнен. Во время путешествия люди страдали от недостатка пищи и особенно воды. Ее вовсе не стали давать после трех дней пути. Взрослые пили соленую воду, прибавляя к ней для вкуса перец. Изредка им давали сухари, твердые, как камень. Начались желудочные заболевания. Дети плакали, просили пить. Многие болели и умирали. Трупы малюток бросали в море, невзирая на отчаянное сопротивление матерей... Страшное было путешествие!

Наконец пароход пристал к турецкому городу Самсуну, где махаджиров высадили на песчаном берегу, под палящим солнцем. Им велели не расходиться до особого приказа. А болезни распространялись все шире. Умирали каждый день десятки людей. Только и слышались вопли по умершим.

К махаджирам явился паша, чтобы определить число прибывших абхазцев, и спросил их: по доброй ли воле они приехали и все ли магометанского вероисповедания? Тогда мать Ладариа, ее двое зятьев со своей семьей выступили вперед и сказали, что приехали в Турцию не по своей воле, а что взяли их силой и что они не магометане, а христиане. Паша с бешенством пригрозил, что перережет всех. Ему отвечали, что ни за что не изменят своей веры, хотя бы их десять раз повесили.

В первом номере «Сотрудника Закавказской мис-

сии» за 1914 год напечатан рассказ старика Антона Гуатаса-ипа.

Подобно Ладариа, он вспоминает о многочисленных бедствиях, о холоде и голоде, пережитых абхазцами в Турции. «Больших, сказочных тыкв мы так и не видели,— говорит он.— Знатные абхазцы, пользуясь турецким законом, надумали восстановить крепостное право и стали целыми семьями продавать туркам крестьян-абхазцев... Погоревали-погоревали махаджир-ы и решили вернуться на родину. Турки их не пускали назад. Приходилось бежать тайком. Их задерживали в Батуме, отправляли обратно в Турцию. Но снова и снова они устремлялись на родину».

В Абхазии немало стариков, которые испытали все ужасы насильственного переселения. Старейший житель села Дурипш Мыстаф Ашуба вспоминает, как его односельчан вынудили покинуть насиженные места. Это было осенью. Кукуруза еще дозревала на полях. В Гудаутах махаджиров побросали в душные и грязные трюмы турецких кораблей. Для приготовления хлеба, которым кормили их в продолжение долгого пути, употребляли морскую воду. Вспыхнула эпидемия, которая буквально косила людей. В Турции их бросили в какие-то казармы, а когда люди стали умирать сотнями, турки расселили махаджиров по деревням. В этих деревнях нельзя было увидеть никакого растения, кроме сухих табачных стеблей. Кормили абхазцев одним лишь хлебом и то в обрез, а поили мутной водой. Три года пробыл Ашуба в таких условиях. Потом ему, как и другим, удалось вырваться из этого ада. Многие бежали тайно на захваченных парусных судах¹.

Крестьянин села Дурипш Темур Тарба, рассказывая о том, как его родные переселялись в Турцию, замечает:

— Во всем виноват некий Лакырба. Это был дворянин. Ему захотелось лучшей жизни за морем, и моих родных потащил за собой. Силой. При помощи турецких аскеров.

Крестьяне села Тамыш Гач и Темур Барганджиа говорили, что во времена махаджирства народ был тем-

¹ См. «Труды Абхазского института языка, истории и литературы» за 1951 год.

ный, князья и дворяне обманули его, то силой, то лестью увлекали крестьян за море. Князья и дворяне погубили абхазцев, воспользовавшись тем, что бесконечная война то с царем, то с султаном надоела народу.

Абхазские историки, касаясь причин махаджирства, отмечают, что трагедия махаджирства была результатом провокационной деятельности султанской Турции, стремившейся к подрыву позиций России на Кавказе и, с другой стороны, к получению резервов для войны против России. Историки говорят, что к этой трагедии были причастны и правящие круги Англии и Франции. Немало содействовала махаджирству и политика царизма, стремившегося к освобождению побережья от «непокорных горцев» и к получению земель для колонизации. Сыграла свою роль и провокационная деятельность многих абхазских феодалов, ориентировавшихся на султанскую Турцию. Они рассчитывали с помощью султана восстановить свои былые привилегии, частично потерянные при введении в Абхазию власти русского самодержца.

Народный поэт Абхазии Дмитрий Гулиа говорит:

«Я часто думаю о причинах махаджирства — насильственного переселения абхазцев и других горцев в Турцию в XIX веке. Жертвою этого переселения явилась и семья моего отца, в том числе и я.

Помню, как пришли к нам во двор турецкие аскеры (солдаты) в войну 1877—1878 годов. Привел их к нам абхазский дворянин Соулах Маан.

— Вот этот, — сказал Маан, указывая на моего отца, — тоже не желает ехать в Турцию. Надо сжечь его дом, и тогда он придет в себя...

Этого было достаточно: аскеры подожгли наш дом, а всю нашу семью погнали к морю и, как пленников, перевезли на турецкий корабль. Моя поэма «Мой очаг» является достоверным фактом моей биографии...

Поэтому, думая о причинах махаджирства, я не могу не назвать как серьезнейшую причину переселения предательство многих дворян и князей, переметнувшихся на сторону султана и всеми правдами и неправдами тянувших крестьян за собой в Турцию.

Это предательство всячески поощрялось и поддерживалось султаном, главным виновником организации

переселения и уничтожения целых народностей — например, убыхов. Отсутствие в Абхазии твердого и дальновидного национального руководства сказалось пагубно на судьбе народа. Недаром в те времена в народе часто вспоминали владетельного князя Келеша Чачбу, выступившего против султана и за присоединение Абхазии к России (начало XIX века)».

Роковую роль сыграла и колонизаторская политика царского правительства, которое в течение долгого времени поощряло махаджирство. Одним из вдохновителей такой политики был князь Святополк-Мирский.

В результате махаджирства сотни тысяч братских народов адыге, убыхов и абхазцев рассеялись по султанской империи и доныне находятся в Турции, Сирии, Греции и других странах.

Люди, подобные Озбаку Маану, сделали все, чтобы толкнуть народ на путь катастрофы...

...В этот свой приезд Маан рассчитывал на успех больше чем когда-либо. Он подробно рассказал Чирикбе о том, как плыл на кочерме, как высадился и где уже успел побывать.

— Такие видные дворяне, как Званба, Эмхаа, Балолоу, — говорил Озбак, — готовы бежать в Турцию хоть сегодня. Их удерживает только одно — нужны крестьяне. Ехать в Турцию без крестьян — значит душу свою оставить в Абхазии.

Кямшиш слушал внимательно, дробно барабанил пальцами по столу. Он шумно сопел и мигал воспаленными после попойки веками.

— Ты мне, Озбак, о войне расскажи. Война свое сделает, ежели каша заварится. Ежели намнут бока султану и на этот раз, тогда делать нечего, живи себе тише воды, ниже травы.

— Справедливо сказано, — согласился Озбак. — Сведения мои такие: из Стамбула придут сюда до пяти тысяч аскеров. Черное море пустое — у русских нет военных кораблей, а у султана есть. Вот и рассуди — в несколько дней вся Абхазия попадет в руки турок. Хорошо бы, ежели русский отряд заранее убрался отсюда. Это от тебя зависит... А что думает князь Бабыш?

— Ты о нем не беспокойся,— протянул Чирикба,— он не дурак. Думаю, что сумеет обвести и этого Кравченко, и русские удерут без единого выстрела. И тогда Сухум и Абхазия к услугам султана. Есть тут у нас один старикан, Воуба Езуг зовут. Мы его и подкинем генералу. Вместе с племянником. Словом, убедим генерала... Сбежит он. Ручаюсь.

— А мне передавали, что князь Бабыш русским служить собирается. И душой и телом.

Кямшиш махнул рукой.

— Пустое говоришь, Озбак... А между прочим, в чужую душу не влезешь. Бог его знает, что он думает.

Кямшиш хитро улыбнулся. Озбак тут же что называется вытянул уши, собираясь услышать нечто любопытное.

— Черт знает,— продолжал Кямшиш,— что у него на уме? Мы живем, Озбак, в дурацкое время: на душе одно, а говорим другое. Я обманываю князя. Князь обманывает меня. Ежели послушать — он первый враг султана. А мне другое кажется. Клянусь аллахом!

Озбак недоумевающе развел руками.

— Разве вы с ним не одного мнения держитесь?

— Не знаю,— откровенно признался Кямшиш.

— О аллах, аллах!

Кямшиш задымил трубкой, мрачно произнес:

— То-то и оно, дорогой Озбак, не знаешь, кому и верить. Чтобы не терять дружбы с князем, я душу людей, которых обвиняю в связях с султаном. Это, кажется, угодно князю. И даже весьма. А он, как видно, хочет выслужиться и перед русскими. А может, князь не доверяет мне и разыгрывает из себя истинного абхазца, в то время как душа его там, в Стамбуле?

— М-да,— проговорил Озбак, поглаживая бороду,— живете вы не очень-то дружно. Поговорить с ним начистоту, что ли?

— Начистоту?

Кямшиш снова забарабанил пальцами и внезапно поднялся с места.

— Нет,— сказал он решительно,— нельзя начистоту. У этих чачбовцев был предок, который улыбался султану, а руку подавал русскому царю. Я больше ве-

рю Маршанам, Диапш-ипа и другим нашим князьям. Эти чачбовцы все еще пытаются ходить на цыпочках, чтобы дотянуться до титула владетельных князей Абхазии! А нет уже такого титула! Каждый сам себе хозяин и прекрасно обходится без владетельного Чачбы.

Озбак откашлялся, но так ничего и не сказал.

— Эй, вы! — крикнул Кямшиш. — Скоро ли завтрак поспеет?

— В одно мгновение! — отозвался мужской голос.

— Скажи мне, Озбак, — обратился Кямшиш, — только сущую правду.

— Говори, Кямшиш.

— Правда это или нет? Я имею в виду твои рассказы про райскую жизнь за морем.

Озбак сделал вид, что оскорблен.

— Как тебе не совестно, Кямшиш!

— Допустим, не совестно.

— И не стыдно?

— Скажем, не стыдно.

— Это же оскорбительно.

— Пускай так...

Озбак, не долго думая, достал из кобуры пистолет и подал его Кямшишу.

— Стреляй, — сказал он, расстегивая архалук на груди.

— В тебя? — насмешливо спросил Кямшиш.

— А в кого же?

Кямшиш повертел пистолет в руках, любуясь узорчатой насечкой на дуле.

— Значит, все чистая правда?

— Да!

— И на столечко не врешь? — Кямшиш показал кончик мизинца.

— Нет!

— Буйвол величиною со слона и тыква под стать буйволу?

— Да!

— Виноград, который цветет в одну ночь?

— Да!

— Необъятные земельные участки?

— Да!

Кямшиш подивился твердости Маана. А про себя

подумал: «Наверное, так и есть. Не станет же прямо в глаза врать?»

— Ладно,— сказал Чирикба,— может, ты и прав. А эта штучка мне нравится. Далеко ли стреляет?

— Любого врага достанет, Кямшиш. Бери себе!

Кямшиш немедленно извлек свой пистолет, и они обменялись оружием.

— Я выгадал,— сказал Чирикба.

— Носи на здоровье,— пожелал ему Озбак.— Но у меня есть большая просьба, Кямшиш.

— К твоим услугам, Озбак.

— Дай мне душу Воубы Езуга.

— Что?

— Душу его! Очень прошу!

— Для чего тебе?

— Езуг — мой должник.

— Что же он должен?

— Кровь!

Чирикба вспомнил, что лет десять назад Воуба Езуг серьезно оскорбил Маана. Это случилось в Дранда, на одной свадьбе. Езуг, что называется, одним словом убил его. А это, как известно, не забывается, ибо слово — хуже всякой пули. С той поры в народе распевалась песня, высмеивавшая Маана Озбака...

После небольшого раздумья Кямшиш согласился.

— Старик — твой,— пообещал он,— но только не сегодня.

— Согласен. А я, Кямшиш, не забуду твоей услуги. Я тоже человек и пригожусь еще.

— Я твой слуга,— церемонно заявил Кямшиш.— Но, возможно, ты простишь его?

Озбак вспыхнул, глаза его налились кровью, ноздри широко раздулись.

— Никогда, Кямшиш!

— Понимаю.

— Выслушай меня, Кямшиш. В тот день, когда дворяне начнут прощать крестьянам хоть бы малейшее оскорбление, пиши пропало — мир прахом пойдет, солнце померкнет. Это будет началом конца нашего дворянства.

Чирикба обнял Озбака.

— Каждое твое слово — золото! — сказал он торжественно.— А ты настоящий герой из героев!

После первого урока Платона вызвали к дежурному воспитателю Георгию Захаровичу Николаеву. Высокий, сутулый Николаев проверял классные журналы. Едва приоткрылась дверь, он посмотрел поверх своего пенсне и сказал:

— Входи, Воуба, входи.

Он подал молодому человеку худую, жилистую руку, прохладную, как камень. Голос у него был хрипловатый, ровный. Говорили, что Николаев чахоточный и поэтому поселился в Сухуме, мягкий климат которого благотворно действует на слабогрудых.

— Ну что там у вас в деревне, Воуба?

— Ничего хорошего, Георгий Захарович.

— Садись. Рассказывай, пожалуйста.

Обычно Николаева не заставляли дважды повторять его просьбы. Его побаивались, хотя он никого никогда не оскорбил ни единым словом.

Платон присел на краешек стула.

— Вот мой дядя исчез. Бесследно...— сказал он.

— Бесследно?

— Да.

— Как это понимать? — Николаев отложил журнал подальше от себя, поправил пенсне.

— Его арестовали княжеские люди,— объяснил Платон.— Есть у нас такой Кямшиш. Это, говорят, настоящий живодер. Он с человека шкуру снимет и глазом не моргнет. Это для него все равно, что бокал вина выпить. Говорят, у Кямшиша есть подземелье. Это под горой Аныха-Апаара. Но его никто не видел.

Николаев оперся подбородком на руки. Слушал внимательно, только острые желваки ходуном ходили на сухих щеках.

-- Что значит — никто не видел подземелья, Воуба? — спросил он.

— Никто, Георгий Захарович! Тот, кто попадает в руки Кямшиша, живым от него не уходит. Только одна дорога — в могилу!.. Я дома был два дня. Разговаривал с Кямшишем. И с князем Бабышем Чачбой тоже. Или я их не понял, или они меня не поняли. Обещали еще раз позвать. Но, кажется, обманули...

— Значит, тайные подземелья? — сказал Николаев. — А кто, собственно, позволил вашему князю правосудие вершить?

— Не знаю, Георгий Захарович.

— Не знаешь? А ты подумай.

Платон опустил голову.

— Не знаю, — повторил он.

— А тебе полагается знать, — продолжал Николаев, сверкнув глазами. — Так слушай. Это разрешает ему безобразный строй, именуемый феодализмом. Князь сидит на крепкой крестьянской шее и мылит несчастному голову. А кто в этом судья? Бог? Нет! Царь? Тоже нет! Что царю ваш крестьянин, когда он и своего, русского, за человека не считает! Вот так-то, Воуба!

Николаев обрушил кулак на стол. Задумался.

Из коридора донеслись чьи-то шаги, и учитель потянулся за классным журналом.

— Нет, Воуба, терпеть это невозможно, — сказал учитель, понизив голос. — Я расскажу обо всем генералу Кравченко, хотя не уверен, выйдет ли из этого что-либо путное. Ведь наши власти и местные князья — две стороны одной медали. Да-с!.. Ну, а родные живы-здоровы?

— Спасибо, Георгий Захарович.

Николаев резким движением придвинул к себе журнал, уткнулся в него и процедил сквозь зубы:

— Мы еще поговорим о твоём Кямшише.

Зазвонил школьный колокол.

Воуба побежал на уроки. Опять глаголы и имена прилагательные. Снова задачи с двумя неизвестными...

Потом — большая перемена. Ученики бросились вон из класса. На широкий двор с криками и шумом высыпала сотня учеников. Кто-то высоко подбросил мяч, и пошла свалка! .

Платону было не до забав. Он выискивал удобную минутку, чтобы сказать несколько слов Тамелу Александровичу Багапшу, преподавателю истории. Тот беседовал с каким-то солидным господином с львиной гривой.

Платон долго кружил вокруг них. У него ёкало сердце каждый раз, когда ему казалось, что незнако-

мец на прощание подает руку учителю. Но время шло, а господин не уходил.

Багапш, видимо, заметил Платона.

— Ты ко мне? — спросил он Платона.

Воуба кивнул.

Незнакомец не стал более задерживаться. Он распрощался с Багапшем и медленно двинулся к воротам.

— Извините, Тамел Александрович, — сказал виновато Платон.

Багапш обратил к нему круглое, пышущее здоровьем лицо.

— В чем дело?

— Я хотел посоветоваться с вами.

— Слушаю.

Багапш заложил руки за спину и склонил голову набок. Это был полный, среднего роста мужчина. Хотя ему было всего тридцать пять лет, он успел основательно облысеть. Носил он учительский сюртук из зеленого сукна, черные брюки, белоснежную сорочку с твердым, гуттаперчевым воротником, туго сжимавшим шею.

— Я вчера вернулся из Абжъаквы, — сказал Платон, от волнения глотая слюну. — Отец велел, чтобы я непременно разыскал стихотворца Эмхаа.

Багапш выслушал его с нескрываемым удивлением.

— Кого? — спросил он. — Эмхаа? А кому он нужен?

— Это, говорит, великий человек. Он бывал у нас. Я должен рассказать ему все, что делается в нашей общине.

— В Абжъакве?

— Да.

Багапш хотя и не жил в Абжъакве — он был родом из Мархеула, — тем не менее отлично разбирался в тамошних делах. Да и не только в абжъаквинских! Чего, казалось, не знал Багапш? Все, начиная от походов египетских фараонов до последних происшествий в любой из абхазских общин.

— Значит, ты хочешь повидать Эмхаа и кое-что рассказать ему? — сказал Багапш. — И не просто рассказать, а и сочувствие вызвать в нем. А если необходимо, то и совета попросить. Так, что ли?

— Да, так.

Багапш взял Платона под руку и прошел с ним до ворот. Этот Воуба нравился ему больше остальных, быть может, потому, что был великовозрастным и ему, крестьянскому парню, стоило большого труда попасть в школу. Багапш считал Платона человеком способным и всячески пытался приобщить его к науке...

— Ну что ж,— сказал Багапш,— раз отец велел, поговори с Эмхаа. Ты знаешь его имя? Гектор. Не назови случайно настоящим именем — Георгием. Обидится. А в лицо ты его знаешь?

— Нет, Тамел Александрович.

— Он только что разговаривал со мной.

— Этот солидный господин?

— Да, он и есть Эмхаа.

— А я думал, купец какой-нибудь.

— Если хочешь увидеть его,— продолжал Багапш,— сходи в ресторан «Лев». Там есть одна комната. Сзади. За фонтанчиком. Скажи, что идешь к Эмхаа. Он по средам беседует со своими поклонниками. Что-то вроде литературных вечеров устраивает. Послушай, что он говорит. Это будет для тебя полезно.

Багапш хитровато прищурил глаза и улыбнулся.

— А удобно пойти к нему? — поинтересовался Платон.

— Вполне,— ответил учитель.— Советую не робеть. Впрочем, ты и сам поймешь, как действовать. Может быть, заговоришь с ним после, где-нибудь на улице, скажем.

— Я поступлю по-вашему, Тамел Александрович. Постараюсь не робеть.

Платон с легким сердцем вернулся к своим одноклассникам.

— О чем ты шептался с учителем? — любопытствовали они.

А один из них, маленький, жирный и картавивший, княжич Инал-ипа, поторопился ответить вместо Платона:

— Мудрый Платон лазлешил тлудную задачу, что для коловы важней — хвост или вымя?

— Дурак,— сказал Платон.

— Сам дулак!

Ученикам, как видно, не терпелось поразмяться как следует. И Платона тотчас же столкнули носами с Иналом-ипа. Это послужило сигналом для всеобщей свалки. Мальчики ринулись на мгновенно выросшую «кучу». Не прошло и десяти секунд, как по школьному двору катился огромный живой ком. Платон сумел кое-как из него выбраться. Он страхивал с себя пыль и тяжело отдувался.

Из учительской показались воспитатели. Они пожимали плечами и спокойно наблюдали за привычной для них вознёю школьников.

Вдруг забили в колокол, резко, оглушительно. Сторож Иван, старый, отставной моряк, герой Крымской войны, отлично исполнял свои обязанности и мог своим звоном разбудить даже мертвого.

Словно по мановению волшебной палочки, куча мигом растаяла.

14

Пообедав, ученики обычно слонялись по двору, — интернат находился тут же, при школе. Это было время относительной свободы, и даже суровый вид смотрителя школы не мог омрачить его. Иные любили постоять неподалеку от крыльца, которое вело в квартиру смотрителя. Здесь иногда показывалась его дочь. Звали ее Нина. Девушка с алыми лентами в волосах привлекала внимание парней. Она была не очень общительна. Несколько слов, которыми она удостоивала счастливиц, служили в течение всей недели темой таинственных перешептываний в классах — во время занятий, разумеется, — и спальных комнатах — перед сном, разумеется, когда требовалась тишина.

Большую старательность в зубрежке уроков, как всегда, проявляли ученики przygotowительных классов. Забившись в какой-нибудь угол, они дудели себе под нос: «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда...» или «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» Таблица умножения, очевидно, давалась легче, потому что «дважды два четыре» или «трижды три девять» терзали слух воспитателей гораздо меньше, чем стихи.

Платону после всего пережитого в Абжьакве занятия глаголами и математикой казались делом

ничтожнейшим, ученики — пигмеями, а вернее — существами неодушевленными. Да и сам себе он сделался противен: здоровый детина, а учит наизусть какие-то стишки и спрягает глаголы, вместо того чтобы помочь абжьяквинцам. Какая же ему цена? Сидит за партой, ест казенный хлеб, пьет и спит. А спит ли дядя Езуг? Пьет ли? Ест ли что-нибудь?

Но не в одном только Езуге все дело. Платон думает и о тех, кто, подобно Езугу, уже испил горькую чашу, и о тех, кому судьба готовит такую же участь. Езуг в глазах племянника превратился в мученика, за спиной которого стоит целая вереница безымянных страдальцев. Платон был верующим. Он невольно перенесся мыслями к тому, кто принял смерть за все грехи людские, — Иисусу Христу. Вот когда образ его принял в представлении Платона реальную форму, близкую и понятную сердцу! Разве Езуг не рядом с Христом? Какие муки принимает он, если все, что говорят о Кямшише, справедливо хотя бы в сотую долю! Не наступило ли время, думал Платон, о котором писалось в книге Ездры: «Грехи наши поднялись выше голов наших, и безумие наше вознеслось до неба»? Ибо когда и в какие времена было позволено кямшишам мучить себе подобных и заставлять людей лить слезы по ним?

У Платона будто бы только сейчас открылись глаза, и он увидел мир. И мир этот оказался наполненным мерзостью. Судьба бросает людей в водовороты кипучей жизни и тут же забывает о них. Разве это не мерзость? Они предоставлены самим себе, барахтаются в водовороте, как умеют.

На уроке закона божия Платон почувствовал себя виноватым: до сих пор он слушал священника только ушами, а вот сегодня ему показалось, что и сердце его открылось для священных слов.

После урока Воуба подошел к священнику и сказал ему:

— Отец, дайте мне какую-нибудь книгу о житии Иисуса Христа.

Розовощекий, длинноволосый протоиерей вострепнулся и спросил, заглядывая ему в глаза:

— Что с тобой, сын мой?

— Ничего, отец. Я хочу понять его святую жизнь.

— Гм... Я принесу тебе книгу. Читай ее внимательно, ибо слова ее есть слова господа бога нашего.

— Спасибо, отец.

Одноклассники, наблюдавшие эту сцену, стали приставать к Платону: о чем, дескать, говорил со священником? Воуба молчал.

А вечером он снова одиноко бродил по длинным и гулким коридорам. Ученики сидели в классах и готовили домашние уроки. Неожиданно словно из-под земли перед Платоном вырос Николаев.

— Воуба,— сказал он,— почему ты не готовишь уроки?

Платон ничего не ответил.

— Нездоров, что ли?

— Все хорошо, Георгий Захарович.

Николаев погрозил ему пальцем.

— Не смей говорить неправду, Воуба!.. Пойдем-ка со мной. Мы не кончили тогда разговор.

Они прошли в учительскую. Нынче Георгий Захарович дежурил по школе, и учительская находилась в его полном распоряжении.

— Ну-с, Воуба, расскажи мне толком, что происходит. Будь откровенным. Я постараюсь помочь тебе.

Платона тронуло это внимание.

— Мне очень стыдно, Георгий Захарович, что беспокою вас. Я здоров. Только на душе плохо. Учиться не хочется! Противно! Ей-богу! А почему противно — скажу... Георгий Захарович, вы знаете, что недавно пропал мой дядя. В Священном писании сказано: «Всякий делающий грех сделает и беззаконие. Грех есть беззаконие». Так, кажется. Однако на совести Кямшиша, живодера абжъаквинского, тысяча грехов. И ему все сходит! И я спрашиваю: где же бог, который терпит все это и прощает мерзости разным Кямшишам? Вот почему, Георгий Захарович, я начинаю презирать себя. Кто я? Червь или человек?

Воуба стоял красный от возбуждения.

Николаев протер платком стекла пенсне, неторопливо водворил его на переносицу.

— Что тебе сказать? — проговорил он. — Я понимаю: нельзя терпеть тиранию. Тираны должны лежать в могилах! Чтобы свалить их, надо силу иметь. Это нелегко. Но унывать нельзя! Более того — надо

себя и других подбодрять. Не советую распускать нюни. Не мужское это дело! Надо бороться и готовить себя к роли воина! Надо учиться!

Николаев необычайно оживился и произнес целую речь. Размахивал кулаками, словно грозил кому-то, и выбрасывал правую руку вперед, когда произносил: «Послушай, Воуба».

Слушая его, Платон давал себе твердое слово во всем следовать совету Николаева.

Но через полчаса, покинув учительскую и глотнув во дворе свежего воздуха, он снова пал духом. Глядя на далекие звезды, он ясно ощущал свое ничтожество.

«Куда же идти?» — спрашивал он себя, словно ему предстояло прокладывать дорогу в этом сонмище светил. И он не знал, куда идти. Более того — он не знал, что делать ему сегодня, завтра, послезавтра.

15

Татластан Лакырба приковылял к дому Кунцала и церемонно обнял хозяина, которому доводился так называемым воспитанником.

Это была очень удобная форма отношений между феодалом и крестьянином. Она закабаляла земледельца, сохраняя видимость его независимого существования. Князь или дворянин отдавал своего ребенка в крестьянскую семью, и крестьянин становился «воспитателем». Эти узы освящались традицией и почитались наикрепчайшими¹. Воспитатель принимал на себя обиду, нанесенную воспитаннику. Воспитатель, естественно, кормил и поил воспитанника, делал ему подарки. Это были подарки не господину, — боже упаси! — не господину, а дорогому родственнику. У воспитанника, разумеется, тоже имелись обязанности по

¹ В «Материалах по этнографии Абхазии» Г. Ф. Чурсина читаем: «Это обычай аталычества, то есть отдачи детей в чужие семьи. Обыкновенно детей высших сословий отдавали на воспитание в семьи низших сословий. Аталычество было в интересах привилегированных фамилий. Правящие классы этим путем создавали себе преданных им людей, готовых поддержать их во всех хищнических предприятиях».

отношению к воспитателю, его семье и родственникам семьи. Главнейшие из них состояли в том, что воспитанник оберегал своего воспитателя от притеснений других феодалов. Крестьянин мог иметь не только одного, но и двух-трех воспитанников. Но чем больше покровителей, тем хуже жилось земледельцу. И это понятно: давай этому, давай тому, подавай и третьему благодетелю. Словом, подобное покровительство бывало весьма накладным. Если феодал в силе, его побаивались другие, менее мощные дворяне и князья, и воспитатель мог жить в относительной безопасности. Когда эта безопасность притупляла родственные чувства крестьянина и он начинал забывать о существовании своего покровителя, то вдруг обнаруживал, что нет коровы, быка или буйвола. Если и эта потеря не приводила его в чувство,— прощай любимая лошадка! А там могли и подстрелить кого-нибудь из родственников. И встревоженный воспитатель снова находил дорогу к своему воспитаннику.

Появление Татластана и обрадовало и встревожило Кунцала — его воспитателя. Хозяйка подобострастно поцеловала своего благодетеля в левое плечо. То же самое поочередно проделали Гуаша и брат ее Шарах.

Татластан по-родственному потрепал Гуашу по плечу.

— Настоящая цесарка, — сказал Лакырба, — стройная, нежная. Ай да Гуаша! А ты? Покажись-ка, Шарах! Ну, молодец! Джигит! Сколько тебе лет?

— Шестнадцать, — ответил Шарах, становясь в почтительную позу.

— Не много... Однако и в шестнадцать можно показать себя...

Татластан уселся на скамейку и протянул руки к огню.

Хозяйки принялись стряпать, дочь побежала за водой, а Шарах живо отвернул головы индюку и двум курам.

— Давно вас не видел, — сказал Лакырба, обнажая зубы, — знак прекрасного расположения духа. — Как живете? Как здоровье?

Кунцал отвечал с готовностью:

— Спасибо, добрейший Татластан. Слава богу, куда все хорошо. Я имею в виду здоровье. Вот хозяйка

свалилась как-то. Неделю лихорадило, но все обошлось...

— И вы не известили меня? — обиделся Татластан.

— Не посмели беспокоить, да перейдут на нас твои болезни! К чему тревожить? Хотя нет у нас никого ближе Татластана, однако не гоже по пустякам надоедать.

— А твой разбойник каков? — И Татластан указал на Шараха, парня сильного, цветущего.

— Как видишь, Татластан...

— А ну, поди-ка сюда, — позвал Лакырба Шараха, — покажись еще раз. Та-ак. Хорошо! Настоящий джигит! По лесам бродишь?

— А как же! — горделиво произнес Шарах, лихо подбоченившись.

— Молодец! Настоящий мужчина! — подхватил Татластан. — Воруешь, значит?

— Это уж как полагается, — сказал Шарах.

— Дай-ка глянуть на твою черкеску.

Шарах подошел поближе. Черкеска была старенькая, но без заплат. Полы ее отвисали бахромой — это от колючек и сучьев, которые в большом количестве встречаются на нехоженных тропах. Изодранные полы произвели на дворянина благоприятное впечатление — они, несомненно, свидетельствовали о воровских проделках Шараха...

— Черкеска настоящая, мужская, — удовлетворенно произнес Татластан. — Поздравляю тебя, Кунцал, аллах послал тебе настоящего сына!

— Спасибо на добром слове, Татластан, — говорил польщенный отец.

«Кто уважает тебя, тот и желудку твоему оказывает уважение», — гласит абхазская пословица. В Абжьакве этот обычай свято соблюдался. Однако хозяйка ни под каким предлогом не должна оттягивать проявление этого уважения. Таков закон.

Высокий гость помыл руки и приступил к трапезе. Он разорвал курицу в два счета, точно шакал. Так же расправился Татластан и с индюшкой — под стол полетели дочиста обглоданные кости. Плюгавенький Лакырба не мог пожаловаться на свой аппетит.

Покончив с едой, Татластан закурил трубку и приступил к делу.

— Вы — в моем сердце, — сказал он льстиво. — Нет у меня людей ближе вас. Без вас я ни копейки не стою. Клянусь аллахом!

Хозяева пытались протестовать. Однако дворянин настаивал на своем:

— Нет, нет, не возражайте! Это так, а не иначе. Человек без человека — ничто! Дом поддерживается столбами, а человек — родственниками. А как же?! Последнее время мне что-то плохо спится. Можно сказать, всю ночь напролет лежу с открытыми глазами. А почему? Времена наступили плохие. Цена человеку нынче — грош. И тот ломаный. Жизнь — ничто! И я сказал себе: пропал ты, несчастный!

Татластан сделал глубокий вздох. Назначение этого вздоха заключалось в том, чтобы разжалобить добрых родственников.

— Не надо так, добрейший Татластан, — проговорила растроганная хозяйка.

— Мы с тобой, словно одно целое, — сказал Кунцал. — Неужели же мы не сможем послужить тебе опорой?

— Спасибо, Кунцал. — Татластан привстал и поклонился хозяину. В свою очередь, привстал и хозяин. Дворянин продолжал: — Я знал, что не окажусь в беде одиноким. Слыхали, что делается на белом свете? Русский царь пошел войной на султана. Всем нам будет конец. И я подумываю, дорогие мои... Я решил, дорогие мои... Дай-ка воды, хозяйка...

Кунцал насторожился.

Напившись воды, Татластан оживился:

— Стало быть, не будет для нас житья в Абхазии. Или нас сведут в могилу, или надобно найти нам новую землю, новое небо. Так думаю не только я, вся Абжуаа и вся Бзыбь думает только так. Ежели аллах уготовит нам испытание, мы, я полагаю, должны последовать в страну пророка, где имеется все нужное для нас, для детей наших, внуков и правнуков.

Кунцал заметно побледнел. Гуаша прижалась к матери. А Шарах сиял от удовольствия. Ему очень хотелось поплыть за море и увидеть новые земли, а может быть, и повоевать в тех местах...

— Дядя Татластан,— раздался звонкий голос Шараха,— когда же мы поплывем в Турцию? О, я покажу врагам, что значит иметь дело с нами!

Татластан обрадовался:

— Вот это да! Я слышу голос героя из героев!

Отец повернулся к сыну. Кунцалу показалось, что Шарах готов полететь на крыльях. «Может быть, мальчик умно говорит? — подумал Кунцал.— Иногда молодые оказываются мудрее нас». И он обратился к Татластану со следующими словами:

— Мы с тобой, Татластан, не чужие люди. Ежели потребуется, последуем за тобой даже в ад.

Татластан встал и обнял своего воспитателя.

— Иного я и не ожидал,— сказал он громко.

А между тем Татластан полагал, что ему придется изрядно уламывать родственника. И был готов к этому.

Гуаше вдруг почудилось, что она во сне и все происходящее на ее глазах тоже сон. Однако она уже ломала голову: что же будет с нею и Платоном? Допустим, она уедет, а он? И в то же время не допускала мысли, что разговоры о переселении в Турцию — дело ближайшего будущего. Ее короткий жизненный путь терялся, как в тумане, тут же, за воротами. Не могла она видеть, куда он ведет. Скорее всего никуда!..

Этот вечер взбудоражил ее. Ей нужен был совет, совет Платона. Но он далеко. С кем же ей поделиться? С Астандой, разумеется! И как можно скорее!

16

Татластан попросил Кунцала проводить его к Чинчору Воубе — одному-то вроде бы скучновато. Воуба тоже приходился родственником Татластану: отец Татластана — воспитанник деда Воубы. Правда, родство дальнее, но, как ни говори, все же родство... Воуба не пропускал ни одного праздника — ни христианского, ни мусульманского,— чтобы не поздравить Татластана и не поднести ему каплуна или козленка.

Кунцал взял клюку и беспрекословно зашагал рядом с Татластаном. Хитрый Лакырба знал кое-что о Гуаше и ученике Горской школы. Он понимал, что

влюбленные в конце концов могут породнить Воубу с Абрискилом. Будущий родственник Воубы мог оказать некоторую услугу в том щекотливом деле, которое так просто разрешилось в беседе с Абрискилом.

В небе светила большая луна. Узкая тропа вилась меж кустов рододендрона. Вечер был тихий, прохладный.

Татластан рассказывал об одном случае, который произошел недавно:

— В Килашур, к князю Бабышу, явился из Гулрипша некто Шмаф. Простой крестьянин. Притащил кое-какие подарки. Он пожелал задать князю вопрос. Мне довелось присутствовать при этом, и я надорвал себе живот от смеха. Этот Шмаф сказал Бабышу так: «Великий князь, старые люди рассказывают об удивительных происшествиях. Нет нужды вспоминать все. Меня интересуется такое дело: прежде в Абхазии, говорят, жили люди рослые. Один человек без труда обглодал бы жареного быка — целого или около того. У тех людей, у старинных абхазцев, говорят, водились огромные лошади. Ежели бы нам таких, к примеру, то пришлось бы лесенками пользоваться или становиться кому-нибудь на плечи, чтобы в седле устроиться. Ты, великий князь, знаешь многое, дальше нас видишь. Тебе ведомо, что творится под землею и под водой, в небе и за морями. Скажи нам, куда девались те здоровенные абхазцы?» Бабыш усмехнулся и спросил Шмафа: «За этим-то явился ты ко мне?» Шмаф ответил: «Да, за этим. Моего возвращения ждет вся община, ибо всех волнует судьба тех самых старинных абхазцев». — «А нет ли у вас другой заботы?» — говорит Бабыш. «Есть, — отвечает Шмаф. — Без забот не обойдешься. Но мыслишка о старинных абхазцах крепко засела в нашем сердце. Многих мы спрашивали, но никто не может сказать путного». Я, признаться, думал, что придется краснеть Бабышу. Да кто же это знает, куда абхазские богатыри подевались? Я, к слову сказать, и своего-то деда не помню, и могила его где-то затерялась. А тут изволь разыскать следы богатырей. И что же ты думаешь, Кунцал! Бабыш ответил, да так, что ответом его остался бы доволен сам султан турецкий. Он сказал так: «Вот что, Шмаф, выслушай меня, запомни хорошенько и передай своим: те

рослые абхазцы уселись на больших коней и уехали куда глаза глядят. С тех самых пор в Абхазии ни богатырей, ни огромных коней как не бывало». Шмаф очень обрадовался, что загадка разгадана, и с легким сердцем уехал в Гулрипш.

Кунцал следовал за Татластаном, а тот без устали болтал, болтал...

17

Подойдя к лазу, Татластан не перешагнул через него. Остановился и крикнул:

— Э-эй, Чинчор!

Собака бросилась к плетню, захлебываясь в лае. Во дворе показался Воуба с коптилкой в руках.

— Кто там? Входи, не бойся!

Татластан сказал:

— Лучше дождаться хозяина. Собачьего языка не понимаю и чего хочет этот пес, не знаю.

— Он имя спрашивает,— пошутил Чинчор.

— Имя? Да разве он ученый?

— А ты назови себя.

Чинчор поднял светильник высоко над головой.

— Ого! — удивился он.— Такие дорогие гости, а жмутся у плетня!

Собака, недовольно рыча, убралась восвояси. Желтое пятно света, излучаемое коптилкой, легло на траву огромным пятаком.

— Мы не войдем,— решительно заявил Татластан.— А ежели согласимся, то при одном условии.

— Так, так,— проговорил Чинчор.— С каких это пор абхазский гость условия ставит?

— Мы только что отужинали.

— Это ничего!

— Мы всего на два слова.

— Очень хорошо! Не здесь же нам торчать!

Гостям пришлось повиноваться.

У очага сидел кузнец. Он встал, поздоровался. Хозяйка ринулась было во двор, но ее тут же перехватил Кунцал.

— Не выпущу! — сказал он.— Не разрешу даже цыпленка зарезать! Мы только что из-за стола. Ежели пальцем шевельнете, уйдем!

— Уйдем тотчас же,— подтвердил Татластан.

Хозяин чуть не обиделся.

— Послушайте,— сказал он,— может, вы пришли нас ограбить? Вы командуете, как турецкий паша. Разрешите хозяйке заняться своим делом.

Но гости были непреклонны, и хозяева наконец уступили.

Кузнец поглядывал на вошедших. «Дворянин никогда не придет задаром»,— говорил он себе. Его подозрительность усилилась, когда Татластан заговорил о чем-то смешном, происшедшем в допотопные времена. Такое начало не предвещало ничего хорошего.

Однако как ни упорствовали гости, а водки пришлось-таки попробовать. И не раз. И не два. Ничего не поделаешь — такова участь абхазского гостя.

В кухоньке было чадно, сырые дрова дымили. Глаза слезились. На стенах и полках много посуды — деревянной, глиняной, роговых ложек для кислого молока. К потолку подвешены копченая буйволятина и сыр.

Киамин провозгласил:

— Чтобы счастливо подошли, чтобы вашей жизни и смерти княжеские собаки завидовали! — И опрокинул рюмку.

— И ты подыхай по-собачьи,— буркнул Татластан.

— Согласен,— сказал кузнец.

— А я желаю тебе, Киамин,— проговорил Кунцал, любуясь водкой, освещенной ярким пламенем,— желаю тебе испробовать на том свете столько ударов молотком, сколько раз ты угощал им свою наковальню.

— Многовато получится, Кунцал.

— Ничего, ты заслуживаешь этого.

— Будет вам грызться,— вмешался Татластан.— У меня дело поважнее.

Хозяин и хозяйка насторожились.

— Земля слухом полнится, добрые хозяева,— начал Татластан.— И не будь я Татластан, ежели солгу хоть на столечко! Припомните, что было в прошлом году? Дожди, все лето дожди. Дурной знак. Кровавый дождь весною, перед севом. Помните? А в Цабале родился двухголовый теленок. Это неспроста. В Гале

к Акиртаа пришло видение: человек с петушиной головой! Ну-ка, приложите все одно к одному! Ясно: дьявол грозит! Попомните мои слова.

— Наверное, так, — подтвердила хозяйка.

— Да, чуть не позабыл! А два огненных шара в доме Баалоу? Тоже знак! И тоже очень неприятный. Умные люди сказывали — быть беде. А глупцы посмеивались. И что же? Вот вам и война! От Гала до Гагр, до Туапсе, до Анапы война! И Батум в огне! Турки, говорят, Очемчирь сожгли. Они это против своей воли сделали. Русские не отступили — вот и пришлось сжечь. Гаграм — тоже досталось. Гудаутам — тоже. Да что там, вскоре весь берег запылает, помяните мое слово! А почему? Все из-за русских.

— Постой, — перебил Татластана кузнец. — Я, наверно, немного выпил: жгут турки, а при чем русские?

— Как при чем? Они же не уходят!..

— А куда им уходить?

— Как куда? В Россию!

— А нас на съедение султану?

Татластан замаялся.

— Хозяйка, — загремел кузнец, — дай этому дворянину воды, у него пересохло в горле!

— Брось, Киамин! Горло в порядке. А говорю я чистую правду.

— Положим. Что же дальше?

— Дальше один путь: в Турцию! Кто не похож на свою мать, должен ехать за море. Там мы найдем новую родину. Мы с Кунцалом все порешили. Один сигнал — и мы плывем.

— Куда? — спросил Чинчор.

— В Турцию.

— В какую?

— Как какую?

— Я спрашиваю — какую?

— Турецкую Турцию.

— О, это другое дело! — сказал Чинчор. — Понимаю тебя, Татластан: ты же обрезан.

Татластан подскочил.

— Не шути! За кого принимаешь меня?

— За правоверного мусульманина.

— Ты мне приходишься родственником, Чинчор...

— И что же?..

— А иначе поговорил бы с тобой! — пригрозил Татластан.

— Обиделся, что ли?

— Очень.

— Не обрезан, а все туда же лезешь, — зло проговорил Чинчор. — Эх вы, мусульмане! Да я бы, будь султаном, на пушечный выстрел не подпустил бы вас к Турции. Вы только правоверных развратите. Таких пьяниц, как вы, я забросил бы куда-нибудь подальше!.. Да ты скажи, Татластан, положи руку на сердце скажи: с охотой поплывешь к султану?

— Вот те крест! — сказал Татластан, мелко крестясь.

— У, черт, он еще и крестится! Да кто же ты, наконец, христианин или мусульманин?

Дворянин опешил. Он зашмыгал носом и зафыркал, точно из воды его вытащили.

— С вами голову потеряешь, — сказал он. — Словом, вся Абжъаква готова ехать в Турцию... Или вы хотите стать царскими слугами?

Чинчор подскочил с места, толкнул ногою дверь и крикнул, указывая в темноту:

— Уходи! Вместе со своим султаном! Слышишь!

— Постой... Постой... — опешил дворянин.

— И не подумаю! Рассказывай сказки другим! Лучше — старухам, они скорее поверят.

«Быть драке», — подумал Кунцал и, надо сказать, сильно перетрухнул. Но Татластану было не до драки — слишком умен для этого, слишком хил и слишком знатен.

Дворянин выбежал во двор, живо перемахнул через плетень.

Звероподобный пес бросился в темень, лаем оглашая окрестность.

18

Платон отпросился у дежурного воспитателя и, не теряя ни минуты, направился в ресторан «Лев».

День кончался. Солнце опускалось в самое море, точно кусок раскаленного железа. Слева — зеленая граница воды, справа — низенькие харчевни,

славящиеся вкусной пищей и рыбацкими поножовщинами. Здесь, на берегу, по вечерам зажигали единственный в Сухуме фонарь.

Ресторан «Лев» — приземистое деревянное строение, выкрашенное в голубой цвет. На вывеске его красовался оранжевого цвета царь зверей. Хвост был загнут вензелем, изображавшим четыре буквы: «Л», «Е», «В» и «Ъ». Перед рестораном, чуть правее входа, старый грек торговал вкусной баклавой и рахат-лукумом собственного изготовления. Ученикам он делал скидку в полкопейки...

Платон передохнул после быстрой ходьбы и несмело приоткрыл дверь. Пахло винным перегаром и жареным мясом. Зал освещался керосиновыми лампами. За высокой стойкой, украшенной снедью и свежей зеленью, стоял тучный мужчина с опавшим подбородком — хлебодар и виночерпий в одном лице.

— Пожалуй, молодой человек, — сказал он. Однако вид ученика не внушал особого уважения, и мужчина небрежно добавил: — Чем можем служить?

Платон снял фуражку и почтительно обратился к хлебодару-виночерпию:

— Извините, пожалуйста, можно ли побеспокоить вас одним вопросом?

Толстяк сроду не слыхивал подобного уважительного обращения к себе. Живо вытер сальные руки о белоснежный фартук. Поклонился. Вышел из-за стойки.

— Молодой человек, — заговорил медоточивый толстяк, — ты не спрашивай, а приказывай. Весь к твоим услугам. Ты же находишься в перворазрядном ресторане «Лев», который известен от Батума до Геленджика.

— Благодарю вас. Не скажете ли, как пройти к господину Эмхаа, который...

Толстяк вдруг потерял к нему всякий интерес и не дал договорить:

— Господин Эмхаа? Так ты к нему? Он, как всегда, находится в любимом кабинете. Народу там полно... Ты тоже, значит, из стихотворцев?

Платон смутился.

— Как вам сказать... — пробормотал он. — Стихи люблю, но я по важному делу...

Толстяк задумался. Не говоря ни слова, он занял свою прежнюю позицию за стойкой.

— По какому делу? — бросил он.

— Это долго рассказывать.

— Не велено.

— Что не велено?

— Пускать с просьбами не велено.

К стойке подбежал официант и выкрикнул:

— Два поросенка. Три курицы. Редис, салат, огурцы. Отдельно — капуста соленая. Перцу красного — без счета. Вина — двадцать бутылок. Хлеба — две буханки.

Толстяку было не до Платона.

«Распустил язык, — выругал себя Платон. — Черт меня дернул о деле говорить с этим толстяком!»

Платон не выдержал и довольно резко обратился к буфетчику:

— Мне надо почитать стихи. Поняли?

Толстяк указал огромным ножом на дверь в противоположной стороне зала и в один миг разрубил надвое поросячью голову.

Посетителей в ресторане было немного. В одном углу сидели военные. Они чинно попивали вино и беседовали, вставляя в свою речь французские словечки.

За другим столом шел спор о том, кому и сколько полагается выпить.

Настоящее застолье наступало здесь обычно часов в девять-десять вечера, а в воскресные дни — с самого утра. Сейчас, как видно, было рано, не пришло еще время для веселых кутежей.

Распахнув дверь, Воуба очутился во дворе, аккуратно обсаженном цветами. Посредине был устроен небольшой бассейн. Заметим к слову, что его «кристальной чистоты вода» — предмет особой гордости рестораника — была всего-навсего заплесневевшая жидкость. И если она не очень тревожила обоняние посетителей, то только лишь потому, что аромат другой, более благородной и более крепкой ресторанный жидкости царствовал здесь безраздельно.

«Кабинеты» располагались в глубине двора. В окне одного из них горел свет, и оттуда доносилась громкая речь. Платон сообразил, что это и есть тот самый

«любимый кабинет», где проводит время великий Гектор Эмхаа.

Не без страха перешагнул Платон порог комнаты, битком набитой людьми.

В углу стоял Эмхаа (в нем Платон тотчас же признал того солидного господина, который разговаривал с Багапшем). Он был одет в белую черкеску и красный атласный архалук. Позолоченный кинжал блестел, как солнце.

Лицо у поэта было круглое, как сковородка. Глаза — иссиня-черные. Усы, как и волосы, тоже черные, без седины, несомненно крашенные. Щеки у Эмхаа время от времени подергивались. Левой рукой великий поэт держался за сердце, а правой размахивал, как саблей.

И остальные были тоже в богатых костюмах — штатских или черкесках. Ни одного из них Воуба не знал в лицо. Все они пили вино и курили крепчайший эшерский табак.

Появление Платона никем не было замечено. Он уселся на пустой стул возле двери и застыл.

— Браво, браво! — сказал господин, похожий на скелет, обтянутый желтой кожей. — Дорогой поэт порадовал нас замечательными стихами. Я хочу попросить его еще об одном одолжении. Да соизволит он прочитать стих о поросенке.

Все дружно захлопали в ладоши и закричали:

— Просим!

Эмхаа не заставил себя упрашивать. Отпил вина из стакана, вытер усы шелковым платочком, вытянул вперед правую руку и довольно звонким голосом начал читать по-русски:

Мне мил хрустящий поросенок
Весною, осенью, зимой,
И после службы, и спросонок,
В гостях, в пути, в корчме простой.

Он слаще меда и нектара —
Хрустит он нежно на зубах,
Тот хруст приятнее гитары
В очаровательных руках.

Его жирок люблю я белый,
И за него готов, ей-ей,
Две кварталы выпить изабеллы,
Затем одну и две за ней!

Он кончил. Поклонился. И со всех сторон разда-лось:

— Браво!

— Великолепно!

— Брависсимо!

Какой-то мрачный господин, сидевший впереди Платона, пробасил:

— Представляю, как вдохновился бы наш поэт, если бы довелось присутствовать здесь прекрасному полу!

— Господа! — вскричал Эмхаа. — А ведь за прекрасный пол мы не выпили. Прошу вас!

Поднялся какой-то древний старичок в черном лоснящемся костюме и, шепелявя, обратился к собутыльникам. Чем-то он очень напоминал ворону.

— Гошпода, гошпода, — сказал он, постукивая вилкой по бокалу, — прошу внимания. Наш дорогой Гектор шлишком даже любит дамский пол. Пошкольку это так, обяжем его прочесть стихи, посвященные даме. Прошим!

Все снова захлопали. Но Эмхаа неожиданно уперся.

— Извините, — сказала ворона, — в чем дело? Мы прошим, а вы, дорогой Эмхаа, отказываете нам в удовольствии?

— Да, откажу, глубокоуважаемый князь, ибо то, что посвящено даме, уже не принадлежит нам.

Эмхаа церемонно раскланялся, и все снова зааплодировали.

Ворона весьма огорчилась. Она высморкалась в огромный батистовый платок и осторожно присела на табурет.

— На нет шуда нет, — пробормотала она.

Эмхаа сказал:

— А не угодил бы вам таким экспромтом, князь?

Куручка бегала, бегала,
Хотела выбиться в люди.
Бегала, бегала, бегала
И очутилась... на блюде.

Это четверостишие восхитило присутствующих. Люди поочередно подходили к поэту и обнимали его. Один из них, помоложе, просил повторить еще раз, чтобы записать стихи в заветную книжечку.

Поэт, как видно, утомился от похвал. Поэзия, несомненно, доставляла немало хлопот,— сколько объятий, сколько лобзаний!

— Вина! — потребовал поэт. — Довольно стихов! Я сыт ими по горло. Накормите меня чем-нибудь более существенным.

Ему принесли жаркое. На столах появились новые бутылки с вином. Беседа приняла беспорядочный характер.

Платон следил за Эмхаа, не отрывая глаз. Тот ел и слушал своих соседей. Кивал головой. Что-то мычал. Подмигивал кому-то. Снова кивал и снова мычал и ел непрерывно.

— Господа, — сказал сильно подвыпивший человек, подавший свой голос из-за чьей-то спины, — я провозглашаю тост за поэзию. За легкую, как женщина, и изменчивую, как женщина, поэзию!.. Вы не смотрите... Я не пьян... А если и пьян, так что же?.. Молчать? Не желаю!.. Не желаю!.. За такую поэзию, которую создает наш любимый Гектор. И я когда-нибудь напишу... Единственно, что меня удерживает, — это, так сказать, аудитория. Да-с. Мало нас, господа! Каких-нибудь полтора ста — двести тысяч. А мне нужны миллионы... Да-с!

Он выпил и грохнулся на пол. Ему помогли подняться, усадили, и вскоре он уснул. Эта выходка малоизвестного пиита никого не смутила, и о нем забыли.

Зашла речь о языке. Инициатива быстро перешла к Гектору Эмхаа. Он важно курил, попивал вино и медленно излагал свои взгляды на происхождение, нынешнее состояние и дальнейшую судьбу абхазского языка. Эмхаа говорил непринужденно. Порою он искал поддержки у своего соседа — старичка с отвисшими губами. Тот был так стар, что Платон с первого взгляда принял его за старуху в мужском наряде.

Эмхаа пустился в глубокомысленные рассуждения об абхазском языке.

— Наш язык, — говорил он, — сродни турецкому и другим восточным языкам. Вам угодны доказательства? Пожалуйста. Бог — по-турецки «аллах». По-абхазски тоже «аллах». «Баракет» — это достаток. По-абхазски то же самое. Возьмите слово «Гулрипш». Какого оно происхождения? Вспомните персидское

«гюль» — роза. Сравните с цветущей местностью Гулриши и вы увидите, откуда оно... Невольно приходишь к выводу: язык наш скуден, он не может выразить все наши чувства. Поэтому так трудно писать на нем стихи. И я ни разу не пытался. А раз это так, на что он нужен? Не проще ли перейти на турецкий, персидский или арабский язык? Я, господа, не могу читать без умиления персидского поэта Омара Хайяма. Какая музыка! Какая глубина чувств! Какое тонкое мышление! И я серьезно задумался над своим материнским языком. Не напрасно ли потрудились господа Бартоломей и Услар, пытаюсь создать для абхазцев родную грамоту? Полагаю, что в известной мере труд их неблагодарен. Он не увенчается успехом, помяните мое слово! Я бы предпочел преподавать нашим детям сладкозвучный турецкий язык... Или русский... А?

— Дорогой Гектор, — прервал его старичок, напоминавший ворону, — ты прав. А што ты скажешь насчет шходства с древнеегипетским языком? Вшпомни «Ра» и абхазское «ам-ра» — шолнце.

Эмхаа скосил на него глаза, поморщился, — уж очень противен был этот господин! — но согласиться с ним все-таки пришлось.

— Верно, милый Джансух, верно. И ты подтверждаешь мою глазную мысль. Она заключается в том, что язык наш скроен из лоскутов. Такой язык мне не нужен! А вам, господа?

Сидевшие замахали руками: дескать, не нужен, не нужен!

Вдруг с места сорвался Платон.

— Господа! — внезапно осмелев, крикнул он молодым, громким голосом.

Все повернулись к Платону, удивленно пожимая плечами.

— Извините, господа. Я, кажется, моложе всех, и, может быть, не следовало мне вмешиваться. Но я абхазец, так же, как и вы, и не могу равнодушно слушать разговор, когда он касается моего родного языка.

Эмхаа сощурился.

— Позволь, молодой человек, — сказал он. — Прежде всего следует представиться. Кто ты такой?

— Фамилия моя Воуба. Родом я из Абжъаквы.

— И, судя по форме, ученик Горской школы?

— Так точно.

— Какого класса?

— Второго, господин Эмхаа. Я хотел послушать ваши знаменитые стихи и поговорить с вами по поручению отца.

Эмхаа не смог припомнить абжъаквинского Воубу, хотя и принялся тереть лоб.

— У нас свободное общество,— сказал Эмхаа,— все мы любители изящной словесности и относимся терпимо к мнению наших противников. Ты можешь задавать вопросы. Но сам-то пробуешь свое перо?

— В стихосложении? Нет!

— Это не беда,— насмешливо заметил кто-то,— талант иногда проявляется поздно.

— Господин Эмхаа,— сказал Платон, преодолевая волнение,— вы понимаете больше меня, и мне даже совестно спорить с вами. Вот вы говорите, что язык наш похож и на турецкий, и на персидский, и даже на египетский. Я слышал турецкую речь и ничего не понимаю в ней. Они то же самое ни бельмеса не смыслят в нашем языке. Если эти два языка похожи друг на друга, дело ваше... И насчет того, что на нашем языке трудно выражать мысли, тоже не согласен. Что это за абхазцы, которые презирают свой язык?.. Я еще раз извиняюсь, что вмешался в ваш разговор.

Эмхаа закусил губу и молча оглядел своих единомышленников. Платон стоял насупившись. Эмхаа почувствовал, что этот невоспитанный бычок может боднуть сдуру. «Стоит ли с ним связываться? Нет, не стоит!» — решил поэт.

Эмхаа налил вина в стакан и попросил передать Платону. Ученик принял стакан и, пробормотав несколько слов, приличествующих в таких случаях, выпил его до дна.

— Воуба,— сказал Эмхаа,— посиди с нами, а после поговорим.

— Большое спасибо,— поблагодарил его Платон. Вечер продолжался.

Гектора попросили прочитать еще одно стихотворение. Он исполнил эту просьбу. Читал Эмхаа выразительно, с пафосом. Стихи назывались «К госпоже N.» (час тому назад он наотрез отказался читать их). Вот эти стихи.

К ГОСПОЖЕ N.

(Сонет, сочиненный Гектором Эмхаа в бессонную ночь
28 января 1877 года)

Презрев меня бездумно и бездушно,
Другому сердце отдали свое,
И, приговору вашему послушный,
Оставил я орлиное гнездо,

Где, мирно зори наблюдая, жил я,
Внимая голосу моих богов,
Где из души моей тянула жилы
Извечная мечта — мечта рабов,

Влюбленных в госпожу свою, царицу,
Но не могущих к ней поднять очей,
Чтобы в любви великой умилиться.

Покинул я гнездо и взял цевницу,
Чтоб гимны петь всю жизнь о ней,
Которую нарек Великой Жрицей.

Это стихотворение Гектора Эмхаа особенно нравилось его друзьям. Автора наградили бурными аплодисментами. Эмхаа кланялся во все стороны. Он был очень доволен. Перезвон бокалов подтвердил единодушное восхищение творчеством сухумского барда.

Понемногу гости стали расходиться, давая друг другу твердое слово непременно встретиться в следующую среду.

Эмхаа искал глазами Платона и кивнул ему.

— Я собираюсь подышать свежим воздухом, — сказал он. — Пойдем.

19

Дул свежий бриз. Широкая и светлая лунная дорога пролегала от берега на юг, казалось, до самой Турции. На рейде стояли рыбацьи суденышки. Большой и сложный мир, от суши и моря до самых далеких звезд, погрузился в тишину.

Эмхаа шагал твердой поступью, точно испытывал прочность земного шара — выдержит или нет? Руки заложил он за спину, а голову слегка наклонил вперед.

Платон с трудом принаравливался к его шагу.

— Тебя послал твой отец? — спросил поэт.

— Да, отец. Зовут его Воуба Чинчор. Он живет в Абжъакве. Вы бывали у нас.

— Разве? — рассеянно произнес Эмхаа. — Наверное. Да, да, что-то припоминаю.

— Это недалеко от кузни...

— Как же, помню, — сказал поэт. — Как себя чувствует твой отец?

— Спасибо, здоров.

— А мать?

— Тоже. Спасибо.

— Дедушка?

— Какой дедушка?

— Твой.

Платон замялся.

— Как? — воскликнул поэт, глядя себе под ноги. — Разве дедушка помер?

— Конечно. И очень давно...

— Как так давно? От чего он помер?

Платон не мог ответить, как давно и от чего умер дедушка.

— А бабушка? — продолжал допрашивать поэт.

— Тоже умерла. Давно.

— Жалко... Жалко... Ну, а что передавал отец?

Платон зашел чуточку вперед, чтобы видеть лицо поэта. В бледных лучах месяца краска на щеках Эмхаа приобрела багрово-кирпичный цвет. В точно такой же цвет окрасился и нос.

— Это было совсем недавно, — сказал Платон, откашливаясь. — Меня вызвали в Абжъакве по важному делу. Во время разговора отец сказал: «Будешь в Сухуме — найди великого стихотворца Эмхаа Гектора и расскажи обо всем, что ты здесь видел и слышал...»

— Где это «здесь»?

— В Абжъакве, значит. Он, говорит отец, большой человек, хорошо знает Абхазию и поймет положение, в которое мы попали. Дело слишком серьезное, чтобы выложить его в один присест. Но я постараюсь, высокочтимый Гектор, сделать это, ибо таково желание моего отца.

— Говори, друг мой. Я слушаю.

И Эмхаа запрокинул голову так далеко, что с нее

слетела шляпа. Платон поднял ее и подал поэту. Эмхаа несколько раз дунул на свой головной убор и аккуратно водворил его на место.

— Я сообщу неприятные новости,— сказал Платон.— Вся Абжьяква и соседние общины готовятся к отъезду в Турцию. По деревням рыщут лазутчики. Они сманивают людей за море. Ежели б слышали вы дикие рассказы этих лазутчиков, которыми морочат они головы доверчивым людям! Я своими ушами слышал,— такое безобразное вранье. Но ничего не мог поделать, лжец оказался очень хитер. Он даже глазом не моргнул, ни на столечко не покраснел, когда я задал ему прямой вопрос. Мне никто не поверил. А ему поверили все!.. Но самая большая беда — это жестокости Чирикбы Кямшиша. Перед ним все дрожат и трясутся. А он не знает пощады. Господин Эмхаа! Вы человек уважаемый. Вас хорошо знают. Замолвите за нас словечко. Иначе все мы погибнем.

Эмхаа небрежно махнул рукой.

— Ну, это ты, брат, хватил!

— Может быть. Вам виднее,— сказал Платон.— Очень вас просят крестьяне — приезжайте в деревню, помогите народу. Все это велено передать лично вам. Я сказал вам в двух словах. Если угодно, я могу рассказать и подробнее.

— Не надо, друг мой, не надо. Я понял все, и сердце мое наполнилось великой печалью. Разумсется, все мы, абхазцы, от мала до велика, должны стать на защиту справедливости. Нельзя допускать, чтобы своекорыстие отдельных людей доводило наше общество до развала. Что до Кямшиша, я его вижу довольно часто. Переговорю с ним непременно. Это славный малый. Он меня, надеюсь, поймет. Что же до турецких агентов, я не придаю им большого значения...

— Господин Эмхаа, вспомните убыхов. Вы их теперь не отыщете на Кавказе и днем с огнем. А в Турции они, говорят, мрут, как мухи.

— Милый друг, не придавайте слишком большого веса всем этим басням. Много преувеличено, искажено. Правда, убыхи исчезли с побережья Кавказа. Но они не умерли. Они живут. Мне говорили, что убыхи нашли в Турции вторую родину. Абхазцы тоже не раз

выселялись. И ничего! Я не вижу основания для беспокойства.

Платон приготовился к возражению. Но как раз в это самое время с ними поравнялась пролетка, запряженная довольно бойкой лошаденкой.

— Гектор Салуманович, это вы? — раздался звонкий голосок. — Кучер, остановись!

Эмхаа немедленно откликнулся. Он подбежал к пролетке и с большим почтением поцеловал руку молодой женщине.

— Извините великодушно, — почти пропела женщина, — я не смогла присутствовать на вашем собрании.

— Не смейте извиняться, Марика, а не то я припаду к вашим ножкам!

Женщина расхохоталась и, к изумлению Платона, подбросила кверху свою стройную ножку. Эмхаа приник губами к черному чулку.

— Садитесь, — сказала женщина.

Она была молодая и красивая. Платон где-то видел ее, но не мог припомнить, где именно.

Кучер лихо покручивал усы. Он вел себя наглова-то, пристально наблюдая за своими пассажирами.

Женщина, к изумлению Платона, разрешила поэту поцеловать себя в щеку.

— Шоуген, — приказал Эмхаа, — ко мне! Домой!

— Ваше благородие, — возразил кучер, — Марика собиралась в ресторан...

— Не болтай! — оборвала его Марика. — Исполняй то, что велят.

Шоуген дерзко усмехнулся и стеганул кнутом лошаденку.

Платон проводил взглядом пролетку и медленно поплелся по набережной.

Он чувствовал себя оскорбленным, в сердцах выругал женщину. Но и Эмхаа тоже хорош! Неужели не понимает, что прежде чем оставить собеседника, надо с ним проститься? Кажется, очень понятно! Не надо быть обязательно поэтом, чтобы твердо усвоить это простое правило...

«А стихи у него хорошие, — размышлял Платон, — против ничего не скажешь. Кто такая госпожа N? Не эта ли красавица в пролетке?»

Платон незаметно очутился возле знакомой каменной ограды. Прислушался — на школьном дворе было тихо. У ворот сторож Иван грыз орехи.

— Добрый вечер, дядя Иван, — сказал Платон негромко.

Иван не сразу признал Воубу.

— Это я, Воуба.

— Где же ты был? Давно ужинают. Поторопись-ка.

— Нет, дядя Иван, не хочу. Сыт по горло.

— В гостях был, что ли?

— Да, в гостях...

— Мед-пиво пил? — пошутил Иван.

— И по усам текло...

— Иди ужинать, — посоветовал Иван. — Лишний кус молодому не в тягость. Сильнее духом будешь.

— Лучше побуду с вами, — заметил Платон. — У меня имеется разрешение на отлучку.

— Коли так, делай как знаешь, — согласился Иван. Ему было скучно одному торчать у железных ворот.

20

Школа становилась чужой и холодной. Воуба понял, что душу его тревожат мысли поважнее арифметических задач с двумя неизвестными. Если говорить откровенно, он готов был бежать из школы хоть сию минуту. Бежать и больше сюда не возвращаться! Ничто его здесь не удерживало. Все по-настоящему волнующее, задевающее за живое находилось нынче вне школьных стен. Ему не были страшны теперь ни классные надзиратели, ни даже сам смотритель...

Воуба прислонился к воротам. Надвинул фуражку на самый лоб. Руки запустил в карманы. А рядом с ним стоял Иван, низкий, коренастый, с окладистой бородой.

Южное небо почернело и будто поднялось еще выше. Звезды на нем четко поблескивали. Луна пряталась за кипарисами. Откуда-то доносилась песня. В направлении Лечкуапа раздался одиночный выстрел. Дворняжки подняли лай, но быстро угомонились.

— Дядя Иван,— сказал Платон,— расскажите что-нибудь.

— А чего рассказывать-то? — буркнул сторож.— Всего не перескажешь. Одно верно — чудной этот мир! Кажись, вчера еще с турком дрался, а нынче снова, значит, война. Все с ним же. Вон народ из себя выходит, куды бежать, не знает...

Сторож замолчал.

— У тебя, говорят, и крест имеется. За войну,— сказал Воуба.

— Есть, отчего же нет,— равнодушно подтвердил Иван.— А что толку? Кабы сила прежняя была. Вишь, нога-то словно деревяшка.

— Ну, расскажи, дядя Иван, как на Ингуре дрались.

Не нашлось бы в школе ученика, который хотя бы раз не прослушал этого рассказа. Сторож любил вспоминать свой последний бой, потому что то был настоящий, геройский бой. А в таком бою показать себя храбрецом — дело нешуточное.

Сторож отсыпал ученику горсть орехов и с живостью начал свой рассказ:

— Стукнуло мне в ту пору тридцать. Солдат был настоящий. В инфантерии служил, а любил море. Нюхал, значит, порох и на Святом Духе, и в Гаграх, в схватках и с джикетами и айбго... Омер-паша в те поры в Сухуме засел. С ним тридцать тысяч войска. Кавалерия. Артиллерия. Тяжелая. Легкая. Штуцера новенькие. Аглицкие. А наши махнули в горы. Ей-ей! Ну, знаешь, иной командир трусливее зайца. Под таким, значит, долго не уцелеешь. Омер-паша — давай куражиться. Вишь ли, за Ингур-реку ему захотелось! Было это в пятьдесят пятом, стало быть. Аккурат летом. А в октябре, значит, сошлись на Ингуре. На правом берегу Омер-паша. А на левом — мы. С переправ глаз не сводим. Турка видимо-невидимо, а нас поменьше эдак раз в десять. Ну, они давай, значит, наседать! Тогда я в Черноморском линейном батальоне номер одиннадцать служил. А командиром был у нас лихой подполковник, их благородие Салуман Теймуркович Званба. Слышал о таком? Нет? Ну, так знай его, царствие ему небесное! — Иван осенил себя крестом.— И не

только в битвах герой. Он, сказывали, голову имел ученую. Книги писал. О солдате заботился. Сам учил. На иных офицеров-бездельников сердился. Хорош был командир!.. Солнце, значит, на вечер перевалило. Стоим мы на Норманской переправе. В три часа дня бой завязался. Пули свистят. Ядра бьют. У нас одна всего батарея, и та легкая... Турки в воду лезут. Плывают. Ну и мы не зсвасем — кто в лоб их, а кто по лбу. Война, брат, ничего не поделаешь. Наш Званба впереди. Солдат за собой зовет. И мы — вперед! А турки — на нас. Грудью в грудь! Вдруг, трах-трах! Падает Званба. Прямо в песок. Я ползу к нему. Кричу: «Ваше благородие! Ваше благородие!» А пуля ему в одно ухо вошла, а в другое вышла. Я, значит, командира на бурку — и к своим... До вечера бились. В ногу меня угораздило. Упал. И меня, значит, понесли. А было мне все едино. Точно во сне... Нет, брат, дело случилось горячее.

— А командир? — спросил Платон.

— Похоронили. Много полегло наших. В одну, значит, могилу. По-военному.

— Что же, дядя Иван, выходит, люди всегда боевали? Всю жизнь?

— А ты думал как! Человек, брат, такой: как народится, так пальцы в кулачки складывает, слоено в драку лезет. Брат ты мой, сколько мир существует, от самого потопа, так и война на земле — первое дело. Ангелы на небе, думаешь, так и живут себе? Промежду них тоже война идет. Только особенная. Ангельская, значит. В ангела сколько ни пуляй, убить невозможно, а только так, малость полихорадит его. Отоспится — и отойдет!

Платон встрепенулся.

— Ну, а бог? — спросил он. — Разве он разрешает?

На этот счет дядя Иван был совершенно определенного мнения.

— Ты, брат мой, пойми одно: и богу война нужна. Против одних, значит, гнев, другим милосердие, значит, дарует, а третьих прощает. А без войны всего не выразишь.

— Нет, — решительно возразил Платон, — бог войны не желает. Господь бог милосердный, он не терпит

беззакония. А война — беззаконие. Господь бог ненавидит войну.

— Фю-ю! — присвистнул старый солдат. — Да ты почище нашего протоиерея языком-то чешешь! Уши-то на макушке держи, мил человек. Слышишь? Каждый воевать рожден. Сильный слабого бьет. Сильному бог не нужен. Он позарез слабому нужен. Слабый перед богом скулит, а сильный молодцом ходит. Эх, скинуть бы с меня годочков двадцать, ты бы, брат мой, поглядел, что значит сила!

Платон поправил фуражку, затянул пояс.

— Ты прав, дядя Иван, — сказал он, — надо быть сильным.

— Еще бы! Вот, брат мой, прут, значит, на тебя, из тебя все соки, значит, выжимают, а ты насмерть стой. По-солдатски. А там наберись силы да по зубам! Чтобы хруст, значит, пошел на всю округу.

Платон посмотрел на небо. Вдохнул свежего воздуха полной грудью и нехотя отправился спать.

21

Килашурский князь Беслан Чачба и абжъаквинский Бабыш Чачба играли в нарды. Это занятная восточная игра. В отличие от шахмат, она не требует почти никакого умственного напряжения. Можно играть и в то же время вести беседу. Можно и о серьезном деле поговорить.

Супруга Беслана, княгиня Нина, дородная, лет сорока женщина, сидела в стороне и молча слушала мужской разговор. Сегодня она надела просторное белое шелковое платье с широкими и длинными рукавами.

Она происходила из рода Маршанов, воспитывалась в суровых горах, в Дале, поссорилась из-за какого-то пустяка со своими родичами и прервала с ними всякие отношения. Нина была бездетна. «Только лишние хлопоты с детьми и преждевременная старость», — успокаивала она себя.

Мало горевал об отсутствии потомства и грузный Беслан. Он был старше жены лет на двадцать. Высокого роста, плотный и румяный, Беслан казался богаты-

рем. Одним своим видом он внушал к себе полнейшее уважение крестьянам. Бабыш в этом смысле явно проигрывал рядом с ним.

Князь Бабыш бросал игральные кости резким движением руки, и они часто падали на пол. Беслан, напротив, не торопился, осторожно вываливал кости из огромного кулака.

Разговор касался войны и разных дел, связанных с нею.

— У русских,— говорил Бабыш,— нет флота. А корабли султана бороздят Черное море вдоль и поперек. Не сегодня-завтра султан появится на нашем берегу и скажет: «Селям алейкюм».

— Так что? Пусть себе говорит,— прохрипел Беслан, переставляя шашки на доске.

Бабыш почесал переносицу, взглянул на княгиню.

— А вот что,— продолжал он,— русские тогда отступят. Генерал Кравченко, наверное, будет пробиваться к Очемчирам и дальше, к Галу. Ежели это ему удастся. Я говорю «ежели», потому что султан, несомненно, появится и в Очемчирах. Весь берег подвергается бомбардировке уже сейчас. В Сухуме уже собирают вещи и связывают узлы. Достаточно появиться «Тепе-Шефкету», чтобы русские показали спину.

— А дальше? — спросил Беслан.

— Турки высадутся на берег. Займут всю Абхазию.

— А дальше?

— Что дальше?

— Спрашиваю: а дальше? — Беслан бросил кости. Он поморщился и передвинул шашки согласно счету, обозначенному на костях.

— Правда, русские могут вернуться. Потом. Едва ли султан прочно удержится на нашем берегу. Времена, к несчастью, не те,— с неудовольствием продолжал Бабыш.

Вмешалась княгиня. У нее был низкий, грубый, казалось, простуженный голос.

— Вы, мужчины, не всегда рассуждаете так, как надо. — Беслан вопросительно глянул на жену. Княгиня продолжала: — Вам чего-то хочется. И вам кажется, что все будет по-вашему. А если русские не уйдут?

— Верно! Подумай и об этом,— посоветовал Беслан Бабышу.

— По моим сведениям, в Абхазии высадится около десяти тысяч башибузуков. Из них добрая половина махаджиров. А у генерала Кравченко всего четыре или пять тысяч солдат...

Беслан перебил Бабыша:

— ...вооруженных артиллерией и скорострельными ружьями. Учти: русские в бою что тигры.

— Ты проиграл,— сказал Бабыш.— Сыграем еще, что ли?

— Да, Бабыш, сыграем.

Князя снова расставили шашки, и Бабыш, как победитель, бросил кости первым.

Игра происходила на открытой веранде княжеского дома,— он высился на правом живописном берегу реки Килашур. Внизу проходила дорога на Мачару и Очемчиры. С веранды хорошо просматривался весь морской берег. В прежние времена дом этот служил хозяевам также и крепостью. Две пушки, установленные во дворе, могли бы блокировать дорогу.

— А я уверен, что Кравченко сбежит,— говорил Бабыш. Он перехватил неодобрительный взгляд княгини и тут же поправился: — Он сбежит, ежели поймет, что ему грозит опасность и с моря и с тыла.

— Это другой разговор,— буркнул Беслан.

— И я это учел, Беслан. По первому нашему зову поднимутся Абжьяква, Дранда, Гулрипш, Яштхуа, Гума, Акапа. И Эшера тоже. Что же в этом случае останется делать генералу? Только бежать!

Снова вмешалась княгиня.

— Ты опять за свое, дорогой Бабыш. Не решай же ты за генерала! У него своя голова.

— Знаю, что говорю, дорогая Нина.

Этот абжьяквинский замухрышка, как называла его за глаза княгиня, действовал ей на нервы: плюгавенький, а уступать ни в чем не желает, слишком вперед забегает. Вроде бы и родственник, а тайно переманивает на свою сторону князей Инала-ипа, Баалоу, Чабалырхва. Себе на уме!..

— Ежели тебе угодно, княгиня,— говорил Бабыш.— Кравченко мне верит. Не удивляйся — вполне верит. Мы с Бесланом приготовили для него, как гово-

рят русские, сюрприз — старика Езуга, доподлинного султанского лазутчика! Нет, Кравченко сбежит, как миленький, когда узнает про султанские планы.

— Опять же эта самоуверенность! — воскликнула княгиня. — Где же эти султанские планы?

— Как где? О них расскажет Езуг.

— Ты думаешь?

— Не спорьте, — обратился к ним Беслан. — Не сходя с места, я до смерти напугаю этого Кравченко.

Он хлопнул в ладоши. Появился юный слуга в светло-сером архалуке.

— Зови сюда писца! — приказал князь.

Через минуту он уже диктовал сухощавому лысому писцу записку, адресованную генералу Кравченко. Княгиня и Бабыш потихоньку посмеивались над высохшим ученым мужем, старательно выводившим письма своим скрипучим пером.

— А теперь прочти, что нацарапал, — сказал Беслан.

Писец прочитал громко, с расстановкой:

*«Его превосходительству
командиру Сухумского отряда генералу Кравченко*

Высокочтимый Павел Павлович!

В настоящий тревожный час, когда враг угрожает нам, считаю своим священным долгом сообщить Вам нижеследующее.

По имеющимся у меня под рукою данным, султанские лазутчики сделали все возможное, чтобы возмутить местное население. От князя Бабыша Чачбы мне было крайне неприятно узнать, что, одновременно с предполагаемой высадкой турецкого десанта в Сухуме, готовится предательский удар в спину Вашему доблестному отряду.

К глубочайшему сожалению, вышесказанное подтверждается данными из разных источников. Один из туземцев, по фамилии Воуба Езуг, схваченный нами, все это подтверждает дословно. Сей изменник может быть предоставлен Вам для дознания в любой удобный Вам час.

Вашего превосходительства покорный слуга светлейший князь

Беслан Чачба».

— Что скажешь? — спросил князь жену.

— Теперь, может быть, генерал сбежит, — не без ехидства проговорила княгиня. — Но я на вашем месте не обольщалась бы сверх меры.

— Давай сюда бумагу, — сказал Беслан писцу. — Подписать придется. Тоже работа, черт ее дери! Клади ее вот сюда. Где твое скрипучее перо? Та-ак. Чернила есть? Та-ак!

Поднатужившись и примерившись к бумаге несколько раз, Беслан поставил три кривых крестика. И, шумно отдуваясь, вернул бумагу писцу.

— Отнесешь генералу Кравченко. Садись на любого коня — и вези. Ежели будет ответ, приходи ко мне тотчас же. Да не зевай по дороге. А ты, княгиня, я вижу, рада над нами поиздеваться.

Княгиня в подчеркнуто высокопарных выражениях похвалила мужчин за ум и оставила их, прошуршав своим длинным платьем.

— Я сдаюсь, — сказал Беслан.

Бабыш положил в карман свой выигрыш — несколько серебряных монет, — сладко потянулся на стуле.

— Если русские сбегут, — сказал он, — наши крестьяне, считай, в Турции. Все подготовлено, Беслан, как нельзя лучше. Маан Озбак действует очень хорошо. Даю слово, что ежели найдется негодяй, который откажется следовать за нами, он проклянет день своего рождения! Лично я не дам спуска кому бы то ни было.

— Что хорошо, то хорошо, — изрек Беслан.

— Ты, наверное, слышал, Беслан, о неприятности, которая вышла у Лакырбы. Его прогнал из дому Воуба Чинчор. Жаль, но Воубе придется раскаяться.

— Что ж, не плохо.

— Чирикба продолжает выматывать душу у этого Воубы Езуга. Я ничего не имею против, ежели оба брата испытают руку Чирикбы.

— Что ж, действуй. Запомни хорошенько, Бабыш: в Турции без крестьян делать нам нечего. А здесь не будет житья. Годик, много — два, и тебе в Абхазии голодать придется. Почему? Да потому, что крестьяне от нас отвернутся. Русские их развратили своей болтовней об освобождении. Я покажу, что значит осво-

бождение! — Беслан грозно потряс кулаком. — Царь еще раскается. Эта земельная реформа выйдет ему боком. Одна дорога — в Турцию!

Бабыш пожал ему руку.

— Верно говоришь, Беслан. Однако спасибо царю, он сам помогает в этом.

— Кто? Царь?! — воскликнул гневно Беслан.

— А как же! Он и крестьян восстановил против себя. Обижаются голодранцы: «Мы не рабы, говорят, мы свободные».

— Обижаются? — Беслан выпучил глаза. — Очень хорошо! — Он засмеялся.

— Я верю в наше счастье, — сказал Бабыш.

— И я верю. Очень крепко...

Беслан и Бабыш подошли к перилам.

— Прекрасный вид, Беслан. Но, я думаю, он будет еще прекрасней, когда перед твоим домом проедет Кравченко верхом на коне, а за ним — весь его отряд. Ты ему, надеюсь, помашешь рукой по русскому обычаю?

Беслан сжал кулаки, и все тело его затряслось, как у больного виттовой пляской.

— Я, Бабыш, человек простой: плюнешь в меня — плюну в тебя трижды. Ежели русские посмели заикнуться о крестьянской свободе, пусть на себя пеняют. Я покажу, что значит оскорблять княжескую честь! Отряд Кравченко найдет себе гибель в горах. Ему не унести ног из Абхазии. Я сказал и исполню свою угрозу. Башибузуки будут здесь! А я уеду в Турцию и увезу с собой, кого захочу. Это говорю я, Чачба Беслан!

Разговор между князьями был весьма откровенным. Бабыш Чачба говорил Беслану совсем не то, что говорил он Платону Воубе в присутствии Чирикбы. Надо ли объяснять, что он бессовестно лгал Платону.

Чирикба восседал на каменном сиденье — куске рыжей скалы. Подземелье освещалось коптилками. Чтобы усилить доступ воздуха, в стене был пробит наклонный ход, создававший тягу, как в трубе.

Это помещение — пять шагов в длину и четыре в ширину — являлось своего рода судилищем, а вернее — живодерней. Сюда из боковых ходов и углублений, походивших на медвежьи берлоги, доставлялись несчастные жертвы. Здесь их допрашивали, обвиняя во всех смертных грехах, и тут же умерщвляли тем способом, который признавался наиболее подходящим с точки зрения интересов Чачбы и Чирикбы.

Здесь нельзя было увидеть ни столов, ни чернильниц, ни бумаг. Все эти предметы не имели решительно никакого применения. Допрашивали люди неграмотные. Пытали неграмотные. Судили все те же неграмотные живодеры.

Чирикба отвечал только перед самим собою и отчасти перед Бабышем Чачбой. Никто не смел перечить Кямшишу, если решение было им уже принято. Никто не смел взывать к его справедливости. Ничто не могло поколебать решимости кровавого судьи — ни стенания жертв, ни слезы, ни мольбы.

Здесь, вдали от посторонних взоров, Кямшиш Чирикба чувствовал себя великим человеком. Нигде его власть не признавалась столь безоговорочно, как здесь. В семье своей ему волей-неволей приходилось считаться с женой и любимой дочерью, в родной общине — с властью Бабыша Чачбы. А под землею существовала только власть одного человека, была воля только одного человека — Кямшиша Чирикбы!

Его окружала дюжина подручных, людей, преданных лично ему и только ему, связанных с ним одними и теми же кровавыми делами. Достаточно было Кямшишу шевельнуть пальцем, чтобы молодчики из подземелья растерзали любого смертного.

«Пока существует наше княжество,— говаривал Кямшиш, похваляясь в кругу своих подручных,— будет крепостью и это подземелье и в полном достатке будете жить вы и ваши внуки».

Черная гвардия Кямшиша основывала свои действия на беззаконии, возведенном в степень законности. Эта гвардия существовала вопреки элементарной человеческой совести. Однако фактом своего существования она создавала правопорядок, определяемый простой формулой: грабь и убивай! Это был великолепный способ держать крестьян в повиновении, и

честь его изобретения принадлежала тому же Чирикбе.

Под землею Чирикба преображался. Лицо его приобретало суровое выражение, брови грозно хмурились. Пальцы судорожно сжимались, точно пытались нащупать чье-то горло.

Желтый свет коптилки освещал его, и глаза Чирикбы сияли холодным, фосфорическим огнем.

— Еснат! — нетерпеливо позвал он одного из своих подручных. — Почему мешкаете?

— Сейчас, — донесся ответ из глубины подземелья.

Вскоре двое здоровенных парней приволокли полуживого Езуга, закованного в цепи самым варварским способом.

Перед Чирикбой предстала бледная тень. С трудом верилось, что это живое существо. Его поддерживали с двух сторон заплечных дел мастера.

— Отойдите! — приказал им Чирикба.

Они повиновались. Езуг, обессиленный двухнедельным заточением, тотчас же упал на колени. Глаза его глубоко запали, резко обозначились скулы. Там, где полагалось быть вискам, зияли черные треугольные впадины. Борода Езуга вся спуталась и покрылась копотью. На руках багровели глубокие рубцы.

— Ну, что скажешь, старикашка? — спросил его Чирикба, презрительно сплевывая на землю.

И — о, чудо! — бесплотное существо заговорило. Казалось, все в нем умерло, кроме голоса. Голос продолжал жить. Он даже стал тверже, непреклоннее.

— Кямшиш, — проговорил узник, — что я здесь вижу? Я бы никогда не поверил...

— А что еще скажешь?

— Ежели выйду живым, я буду думать, что видел сон.

— Болтай же, я слушаю.

— Я размышлял над участью твоей жены и дочери...

— Вот как!

— Они плохо знают тебя, и в этом их счастье. Но однажды — это случится! — у них раскроются глаза, и тогда горе им! Они изорвут на себе волосы. Будут искать смерти. Будут презирать и ненавидеть тебя и себя...

— Ты читаешь проповедь? — усмехнулся Кямшиш.

— Да, я становлюсь пророком...

— Говори, старикашка, говори, пока цела твоя глотка!

Парни, стоявшие за спиною Езуга, угрожающе сдвинулись с места. Однако хозяин остановил их мановением руки.

— Пожалей меня, Кямшиш! — взмолился старик.

— Это дело другое.

— Я ни в чем не повинен. Выпусти меня отсюда...

— И это все?

— Дай поцеловать твои ноги...

— Целуй! — сказал сквозь зубы Кямшиш и вытянул обе ноги, обутые в мягкие сапоги.

Старик облобызал ноги и обратил к палачу заплаканное лицо.

— Видишь, как я унижаюсь, — сказал Езуг, — и это потому, что я невиновен.

— Врешь! — вскричал Чирикба, вдруг рассвирепев. — Врешь, старикашка! Ты хранишь султанский фирман и отпираешься, как гнусный предатель. Скажи, кто состоит в сговоре вместе с тобой, — и тогда ты свободен. Дай обязательство, что скажешь все о своих подлых делах генералу в Сухуме, — и ты свободен!

— О каких делах, Кямшиш? — завопил старик. — О чем ты говоришь?

— Замолчи! — Кямшиш насупился и погрозил Езугу кулачищем. — Имей в виду: послезавтра будет поздно. Мог бы ты сказать завтра несколько слов русскому генералу?

— Нет, Кямшиш, этого не будет! — стоял на своем упрямый узник. — Я рожден человеком, бог даст, умру тоже человеком. Я себя позорить не буду. Не возьму на душу позорное дело!

Чирикба едва удержался, чтобы не выбить последние зубы упорному старику.

— Вот что, — мрачно сказал Чирикба. — Сейчас к тебе придет твой племянник. Попроси его о небольшом одолжении, и ты избавишь себя от необходимости разговаривать с генералом. Это последняя возможность,

А иначе...— И Кямшиш ударил ладонью о ладонь, изображая западню, которая неумолимо захлопывается над жертвой.

Он подал знак одному из парней, и тот стремглав кинулся к выходу, чтобы вызвать Платона.

23

Платон подошел к дяде в совершенном оцепенении. Осмотрелся вокруг.

— Не люблю женских манер,— сурово заметил Чирикба.— Здесь удивляться нечему. Скажите друг другу слово и решайте дело без проволочек!

Езуг попытался встать на ноги. Платон обнял его и потянул к себе. Поцеловал в губы, соленые, точно морская вода.

— Как себя чувствуешь? — спросил Платон, не зная, о чем говорить с тенью, отдаленно напоминающей дядю.

— Сам видишь, Платон,— ответил Езуг.— Как дома?

— Все хорошо...

Чирикба позволил старику излить свои горести. Когда Кямшишу показалось, что чувств проявлено достаточно, он сказал:

— Дяде твоему не терпится на свободу. Племяннику тоже хочется того же. Что для этого надо? Дядя должен во всем признаться племяннику, а племянник передаст признание генералу Кравченко. Кажется, по-абхазски говорю? Вполне ясно и понятно. Время дорого, есть еще возможность искупить вину. Послезавтра будет поздно. Это говорю я, Чирикба Кямшиш!

В глазах Платона стало черным-черно. Вот сейчас, сию минуту, казалось, набросится он на Чирикбу и задушит его. Прежде чем опомнятся эти парни, торчащие поодаль, он убьет подлого мучителя. Пусть погибнет Платон Воуба, но смерть его будет прекрасной!..

Так думал Платон.

Однако он стоял как вкопанный. Не мог даже шевельнуть пальцем. Что с ним случилось — этого не понимал и сам Воуба.

Он держал в объятиях Езуга. Достаточно было освободить руки — и старик повалился бы наземь. Неужели это и удерживало Платона от решительных действий? Он так никогда и не понял, что же, собственно, произошло с ним в эту минуту.

Езуг прошептал, но так, чтобы слышали все:

— Я ни в чем не виноват. Умираю и не знаю, за что.

Чирикба прикрикнул на старика. Он сказал Платону:

— Старик явно трусит. Он признался во всем. А перед тобой хочет казаться ангелом. Ты, дорогой Платон, можешь спасти дядю от княжеского гнева: стóит только подтвердить генералу, что Езуг — султанский лазутчик и заговорщик. То есть подтвердить правду. Вот и все!

Платон слушал и ничего не понимал. Он смотрел перед собой и ничего не видел...

— Эй, ты, — прикрикнул на него Чирикба, — просянись же!

Платон сильнее прижал к себе старика и поцеловал его в лысую макушку. «Дядя, крепись», — шепнул он.

Подошли парни и вырвали старика из объятий племянника. Платона толкнули в грудь, и он чуть не свалился.

Езуг поволокли туда, где царил сплошной мрак. И старик крикнул что есть мочи:

— Сын мой, не падай духом! Не плачьте обо мне... Я был и останусь честным человеком...

Платон припал к сырой стене и заплакал, как ребенок.

Медленно подошел к нему Чирикба. Дохнул на молодого человека винным перегаром.

— Слушай, — процедил он сквозь зубы, — пожалей себя и своего дядю. Делай то, что приказано. Иначе — конец. Я прощу — князь не простит. Сходи к генералу, расскажи о том, как твой дядя Езуг с султаном стакнулся, как пытался поднять народ против русских. И Езуг будет на свободе.

— На свободе? — с надеждой спросил Платон.

— Богом клянусь, — торжественно провозгласил Чирикба.

«Может быть... может быть, так и будет», — подумал Платон. Как не поверить клятве, данной перед богом? Сам Платон не нарушил бы клятвы во веки веков...

24

Он едва волочил ноги, словно к ним подвязали пудовые гири. Перед глазами плыли фиолетовые и красные круги. Горы ходили ходуном. Небо дважды чуть не перекувырнулось. Платон с трудом сохранял равновесие. То, что он увидел и услышал в подземелье, никак не укладывалось в его сознании. Он шел, и ему мерещился чей-то сверлящий взгляд, — он следил за каждым его движением. Не взгляд, а дуло кремневки. Грозный и беспощадный взгляд, в котором нет ничего, кроме холодного равнодушия к человеку и беспредельной жестокости...

Кутат Нанба, вот уже несколько дней разыскивавший Платона, случайно встретил его среди придорожных кустарников.

— Что с тобой? — тревожно спросил Кутат. — На тебе лица нет...

Платон не ответил. Он оглянулся. Совсем близко, на склонах Аныха-Апаара, молодо зеленели еловые кущи. В этой зелени развились и вили гнезда милые птицы. Радостно свистели соловьи. Бегали дети, забавлявшиеся играми. Взрослые люди шли к морю. И никто не подозревал, что там, внизу, под толстым слоем земли, проклиная день своего рождения несчастные жертвы Кямшиша Чирикбы.

— Пойдем отсюда, — сказал Платон, убыстряя шаг. — Скорее же!

Они свернули с дороги и напрямик двинулись к реке.

Платон шел вперед, все вперед. Он, казалось, шел куда глаза глядят...

Спустя четверть часа молодые люди сидели на пустынном берегу Баслы. Солнце висело над горизонтом. Было тихо и тепло. Река с негромким журчаньем перекатывала струи через невысокую каменную гряду мельничной запруды.

Гора Гума в этот предвечерний час окрасилась в серо-голубой цвет. За нею торчали снежные зубья ближайших хребтов. Самата-арху, высившаяся прямо за рекой гигантским верблюжьим горбом, отбрасывала плотную тень, понемногу покрывавшую всю Абжь-акву.

Неподалеку из-под земли вытекал теплый источник. Терпкий запах серы разливался вокруг. Здесь в древних мраморных ваннах лечились больные, страдавшие ревматизмом...

Кутат не тревожил вопросами Платона. Он жевал травинку и терпеливо ждал, когда заговорит сам Платон. А тот глядел на воду, словно следил за тем, как струится она меж камней, как обходит препятствия и неумолимо движется вперед.

Платон улегся на траву, лицом к небу. Его вдруг поразила глубина, разверзшаяся перед ним. В глазах замелькали искры. Он лежал и ни о чем не думал. Вернее, ни о чем не думалось. Голова казалась опустошенной, как после тяжелого увечья. Платон лежал неподвижно и все смотрел в небо...

— Тебе лучше? — спросил его Кутат.

Платон привстал.

— Кажется. Я чуть с ума не сошел. Правду говорю. Я такое видел, что не мудрено потерять рассудок... Не хочу тебя расстраивать. Лучше тебе не знать всего этого. Думай о том, что на горе Аныха-Апаара растут деревья, зеленеет трава, а над нею голубое небо. Не стоит любопытствовать...

Кутат пожал плечами.

— Возможно, — сказал он. — Но мужчине, как мне кажется, надо все знать. Человек, не знающий горя и не сочувствующий горю другого, похож на зверя. А зверю нельзя жить среди людей. Советую взять себя в руки. Сердце еще пригодится! Разве мы женщины, чтобы расстраивать себя в бесплодных сетованиях? Я, Платон, предпочитаю настоящее дело.

— Что ты называешь настоящим делом?

Глаза у Кутата округлились, как у кречета.

— Для этого и разыскивал тебя, чтобы поговорить о нем! — воскликнул он.

Кутат присел на корточки, достал нож и воткнул его в землю. Вытащил и снова воткнул по рукоятку.

— Я открою одну тайну,— сказал он.— Не дай бог, ежели кто о ней узнает. Нам тогда несдобровать... Мы с братьями решили уйти в лес. Понимаешь? В лес!

— Как?! — сказал Платон.— Вы хотите стать абреками?

— Почти. Но не совсем. Ежели нас вынудят, мы станем настоящими абреками! Нам нужны преданные люди, которые любят Абхазию, свой народ. Мы не будем грабить. Ежели придется, то в самом крайнем случае...

— Неужели грабить, Кутат?

— Я же сказал: в крайнем случае. Надо, Платон, известить Кямшиша Чирикбу. Это первое дело. Самое главное. У тебя пропал дядя, у нас пропал племянник... Это очень плохо... Мы с братьями не одни. Говоря откровенно, дюжины три молодых людей дали твердое слово действовать заодно с нами. Ведь никому нет житья от Чирикбы.

— Согласен,— проговорил Платон.

— Первое дело — обуздать Чирикбу. А второе — не допустить переселения в Турцию. Ежели сидеть сложа руки, в один прекрасный день исчезнут наши деревни, очаги порастут травой. Это может случиться, пока ты учишь стихи и умножаешь трижды пять.

Платон спросил:

— Что значит «обуздать Чирикбу»? И как на это посмотрит князь Бабыш?

— Этого мы еще не знаем,— признался Кутат.— Мы не собираемся чинить зло Бабышу или кому-нибудь другому. Но должны обуздать Чирикбу! Его-то придется убить. Что ты скажешь?

Платон не мог ответить ни «да», ни «нет». Ему хотелось кое-что выяснить. Ежели например, обо всем этом проведают Чирикба, многим придется распрощаться с жизнью...

Кутат мгновенно вскипел. Вытащил нож из земли и показал его Платону.

— А это видал? Чирикба не минует ножа или горячей пули.

— Допустим,— согласился Платон,— допустим. А что вы собираетесь делать с теми, кто пожелает переселиться в Турцию? Тоже убивать?

— Нет, зачем же,— Кутат огляделся вокруг и продолжал: — Наверное, будет жарко Озбаку. И еще кое-кому. За это могу ручаться. Мои братья разорвут любого, кто посмеет подстрекать людей к переселению!

— А много желающих переселиться в твоей общине?

— Много, — продолжал Кутат. — Уардан, Багалиш, Айба и еще другие пойдут за князьями Чаабалыркха. Да и у вас в Абжьакве вяжут узлы:

— Только не мы, Кутат! Мой отец скорее умрет, но с места не тронется.

— Одна ласточка весны не делает, — заметил Кутат. — Что твой отец без соседей, без родственников, без братьев? Надо, чтобы все оставались на месте! Вот, говорят, уплыли убыхи, все до единого! И нет их больше. Конец им! Ежели погибать, то уж лучше погибать у себя. Верно говорю?

— Мне нравятся твои слова, — сказал Платон. — Продолжай.

— Да тут и продолжать нечего. Кто-то должен сказать первое слово. Мы решили сказать это слово! За нами последуют другие. Ежели нас будет много, чего нам бояться? — Кутат понизил голос: — Скажу прямо: без крови не обойтись. Кое-кому придется прилечь на землю. Надолго прилечь. Ежели сомневаться, побереги себя, не путайся с нами. Только уговор: никому ни словечка!

— За труса принимаешь? — с обидой в голосе спросил Платон. — С каких это пор?

— Да ты не обижайся...

— Я скажу откровенно: согласен! Дай только срок... Ничего никому не скажу. Словом, подумаю немного.

Кутат недоверчиво скосил взгляд.

— Что же, думай, Платон! Но помни уговор: никому ни слова! Иначе и тебе не миновать пули.

— Знаешь, Кутат, говорят: «Семь раз отмерь...»

— Взвесь наше дело. Не забудь только: время не ждет! Все можно вернуть, а время — никогда! До свидания, Платон.

— Мы, наверное, будем вместе, Кутат. Но надо хорошенько подумать...

Кутат философски заметил:

— Иногда люди даже против своей воли идут вместе. Думай и решай!

Кутат спрыгнул с крутого обрыва и скрылся в причудливых береговых извилинах.

Солнце устало наконец освещать землю. Мир торжественно отходил ко сну.

Воуба поплелся домой. Однако на полпути свернул вправо. Нет, он должен увидеть ее. Сейчас же!

25

У плетня Платон замешкался. Осторожно осмотрелся вокруг и живо перемахнул через лаз.

Дом Абрискила казался опустевшим. В окнах было темно. Собака молчала. Только в приземистой кухоньке горел неяркий огонь.

Платон ступил на порог, никем не замеченный. У очага сидела Гуаша, обхватив колени руками и уставившись на пламя, лизавшее старый, закопченный котел.

Платон постоял молча, наблюдая за ней. Она не двигалась. У ног ее дремала собака, безобидная и норовом вовсе не похожая на абжъаквинских волкодавов.

Да, хорошо знакомый профиль — прямой лоб, нос с чуть приметной горбинкой, плавно очерченный подбородок.

Платон слегка кашлянул. Гуаша вскочила и кинулась к нему, будто давно поджидала его.

— Ты испугалась? — спросил он.

— Ничуть, — ответила девушка, приглашая молодого человека к очагу. — Ты знаешь, есть на свете какая-то сила. Не знаю, как назвать ее...

Платон присел на низенькую скамеечку. Машинально протянул ладони к огню, хотя было тепло и без огня. Гуаша прогнала собаку, отошла к потемневшему от времени шкафчику, в котором хранилась посуда, и прислонилась к нему спиной.

— Я только что думала о тебе, — сказала Гуаша. — Наши отправились к соседям. И мне стало грустно. Чуть не заплакала. Хорошо бы, говорю себе,

ежели б кое-кто догадался навестить меня. Подымаю голову и вижу — ты в дверях. Разве это не удивительно?

— А я шел домой, и вдруг недалеко от того места, где живет Гуатас-ипа, меня словно подтолкнули в бок, и я помчался к тебе. Верно, есть какая-то сила на свете. И очень даже большая.

— Не от бога? — предположила Гуаша.

Платон к ее словам отнесся очень серьезно.

— Говорят, — объяснил он, — что каждый человек владеет какой-то особой внутренней силой. Мысли одного, ежели он человек сильный, передаются другому. Бывает, что мать узнает о болезни ребенка, находясь от него очень далеко. Бог, конечно, принимает участие в людских делах. Этого нельзя отрицать. Много тому примеров. Когда пророк Моисей вел свой народ через море, кто отогнал волны? Кто расчистил путь? Бог! Правда, не всегда он вмешивается. Вот, например, Езуг. Он очень страдает, над ним издеваются настоящие разбойники. Почему же, спрашивается, бог не поможет? Или Езуг провинился перед ним, или же бог молчит до поры до времени. Одно из двух...

Гуаша слушала молодого человека со вниманием и доверчивостью. Она верила ему, как если бы это говорил отец. Даже больше верила.

— Вот ты не спросил, — сказала она, — почему я хотела видеть тебя.

— Ну, скажи мне, Гуаша.

— Скажу все, как есть... Отец в Турцию хочет ехать...

— Как? Когда?

— Не знаю... Я ничего не знаю... Я слышала разговор. Он очень грустит, но не может огорчить Татластана.

— Та-ак... Когда же решил твой отец?

— Позавчера. Он советуется с соседями. Говорят, скоро турки придут. Надо, говорят, быть готовыми...

Платон вытащил из костра дымящуюся головешку и принялся разгребать золу.

Гуаша говорила о скверном настроении родителей, о том, как уговаривал отца Татластан, как спорила мать с отцом. Говорила о том, как отец уступил уговорам Татластана, а мать согласилась с отцом. Гуашу

же никто ни о чем не спрашивал, а между тем есть у нее свое мнение...

Платон перестал ковырять в золе, вскинул глаза на девушку.

— Какое же у тебя мнение?

— Очень простое.

— Что ж ты молчишь? Говори.

Гуаша смотрела прямо перед собой, казалось, полная решимости отстаивать свое мнение. В глазах ее отсвечивало пламя костра. Скрещенные руки окрасились в ярко-розовый цвет.

— Ежели б я знала твои намерения, мое мнение давно определилось бы, — сказала она. — Тогда меня никто не заставил бы изменить его. Но я не знаю...

— Чего именно?

— Я не знаю, что ты намерен делать после школы.

— Вернусь в Абжъакву.

— А потом?

— Пахать землю.

— А потом? — У нее дрожали губы.

Он не сразу понял, о чем она думает. Наконец, догадавшись, встал, подошел к ней и осторожно обнял за плечи. Она точно одеревенела.

— А потом, — сказал он, — потом я бы женился. На одной девушке. По имени... Я уж говорил тебе... Гуаша не шевелилась. Молчала.

— Эта девушка, — шептал Платон, — находится рядом.

— Правда? — также шепотом спросила она.

— А ежели б она не согласилась, выкрал бы ее.

— В таком случае, — сказала Гуаша, — я никуда не уеду. Ни-ку-да!

Ему следовало бы приличия ради убрать свои руки. Он понимал это. Но они словно прилипли к ней. Впервые он стоял так близко от нее. Почему же он не трусит? Почему не озирается воровато?

Гуаша, казалось, не испытывала никаких неудобств от того, что на ее плечах лежали тяжелые мужские руки.

— Ты еще не знаешь меня, — говорила она с воодушевлением. — Я не уступлю в храбрости даже мужчине. Я легко переносу и голод и холод. Ежели

кому-нибудь хочется за море — скатертью дорога! Мне и здесь хорошо! Руки у меня, слава богу, есть. К работе не привыкать!

Платон все сильнее сжимал ей плечи, все ниже склонялся к ней и дышал горячим дыханием в самую мочку уха. Она по-прежнему не двигалась и глядела прямо перед собой.

— Не надо изнурять себя мрачными мыслями, — сказал Платон. — Давай подумаем о чем-нибудь прекрасном.

И, вовсе потеряв голову, он поцеловал ее в щеку.

Гуаша ахнула, прикрыла ладонью то место, куда поцеловал ее Платон.

— Ой, что ты сделал! — тихо сказала она. — А ты подумал о моей чести?

Он опешил.

— Я обо всем подумал, Гуаша. А твоя честь дорога мне так же, как и моя. Могу поклясться иконой святого Георгия Илорского!

— Мне клятвы не нужны.

— Так слушай же! Мы поженимся! Подожди только год.

Гуаша склонилась к нему на грудь — ведь он был почти что мужем.

— Я буду ждать и год, и два... Но я боюсь. Говорят, турки Сухум разрушат.

— Неправда!

— Разве они не воюют с нами?

— Воюют.

— Вот я и боюсь.

— А я говорю — не бойся.

Гуаша сильнее прижалась к нему:

— Боюсь я и тех женщин... испорченных...

— А ты не бойся... Глупая! Ведь я же не боюсь! У меня голова на плечах. И я... люблю тебя.

Он погладил ее по голове. Голос его был мягкий, ровный, убеждающий.

Тамел Александрович Багапш жил в пяти минутах ходьбы от Горской школы, на берегу речушки Хакипсы (ныне Сухумка). Он и жена его, Евгения Петровна,

занимали две небольшие комнаты в одноэтажном домике, принадлежавшем одному сухумскому фотографу-дагерротиписту.

Евгения Петровна была дочерью отставного офицера фон Ключе, служившего в частях Черноморской укрепленной линии. Он скончался лет десять тому назад, в год женитьбы Тамела Александровича и Евгении Петровны. Евгения Петровна очень страдала от малярии. В тридцать лет она выглядела старше своего возраста.

Евгения Петровна и Тамел Александрович жили дружно. Она хлопотала по хозяйству, которое в общем было не особенно маленьким, ибо из деревни часто наезжали близкие и дальние родственники Багапша. Родственником, по существу, считался любой Багапш. Так уж велось в Абхазии.

Когда Платон Воуба попросил Тамела Александровича уделить полчаса времени, тот запросто потащил его домой.

— Я вас угощу настоящим русским борщом,— обещала Евгения Петровна Платону.— Но, чур, не ругать! Люди с ума посходили. Никто не желает продукты привозить на рынок. Только и разговоров что о турецком десанте. Я прямо-таки сбилась с ног, пока раздобыла кое-что. Втридорога, разумеется.

— На войне как на войне,— со смехом заметил Тамел Александрович.— То ли еще будет, если, не дай бог, генерал Кравченко не оборонит нас. Вот тогда-то жди голодухи!

— Говорят, что к нам плывут десять тысяч башибузуков...

— Э, милая, мало ли что говорят! Если даже допустить, что их десять тысяч, все равно страшиться нечего. Четыре тысячи наших молодцов сумеют отстоять город. Что ты скажешь, Платон?

Платон пожал плечами.

— В общинах ждут башибузуков,— сказал он.— Уверены, что султан прогонит русского царя с берегов Кавказа. И очень плохо, что так уверены... Надо бы, Тамел Александрович, чтобы кто-нибудь подбодрил народ. Утверждают, что русский отряд непременно сбежит в горы и тогда никто не сможет помешать турецким агентам выселить абхазцев в Турцию.

— Я вас оставлю на полчаса. Садитесь, беседуйте, — сказала Евгения Петровна и вышла из гостиной.

Мебель в комнате была старинная, черного цвета. Стол весьма солидный, многопудовый. К нему приставлены четыре стула, тоже тяжелые, массивные. На невысокой этажерке с фигурными стойками покоились толстые книги в кожаных переплетах. У одной стены — дубовый буфет, а у другой низенькая тахта...

Платон сказал:

— Тамел Александрович, я разговаривал с Гектором Эмхаа. Помните, я обещал сходить к нему?

— Помню очень хорошо. Какое же у тебя впечатление?

Тамел Александрович усадил гостя на мягкий стул, а сам устроился против него.

— Мне посчастливилось попасть на вечер в ресторане «Лев». В самый разгар вечера.

— Это хорошо.

— Он читал стихи и держал речь.

Багапш запустил пальцы в волосы и сжал голову, точно она у него болела.

— Одну минутку, — перебил он Платона. — Я постараюсь рассказать, как проходил вечер. Если ошибусь, поправь меня.

— Разве и вы там были?

— Нет, конечно. Но однажды довелось-таки. С тех пор, говорят, ничто не изменилось... Ну, слушай. Во главе стола сидел Гектор. Он много болтал. Никому не давал рта раскрыть. Словом, умнее всех — он, талантливее всех — он. Верно?

— Да, почти так.

— Дальше. Он читал стихи о поросенке, о курице. После долгих уговоров декламировал «К госпоже N.».

— Верно, Тамел Александрович!

— Затем Эмхаа с ученым видом доказывал, что нет собственно абхазского языка, а состоит он, дескать, из арабских, персидских и турецких слов.

— Точка в точку!

— Он говорил: «Есть в абхазском языке слово «аллах», есть слово «салам», есть слово «Мекка». Нужны ли еще какие-нибудь доказательства?» Дальше. Болтал о том, что мы народ маленький, читателей,

дескать, мало, мало любителей изящной словесности. Было такое?

— Все верно, Тамел Александрович.

— Значит, угадал? Да это не так уж трудно. Достаточно послушать его раз или два — и великий поэт Эмхаа предстанет перед тобой как на ладони. Но весь ужас, Платон, заключается в том, что сей поэт не имеет ничего общего со своим народом. Народ терпит лишения, стоит, я бы сказал, на грани катастрофы, идет война, чреватая трагедией, а этот неисправимый кутила и болтун сидит в ресторане «Лев» и хлещет вино целыми квартами.

— А знаете, что поразило меня, Тамел Александрович? Никто не обрывал его болтовни насчет языка. Меня так и подмывало учинить скандал.

Багапш махнул рукой.

— Зачем? Его самонадеянность чудовищна. А нажать врага в лице Эмхаа очень просто. Враг он беспощадный и бессовестный, на все способен!

Багапш достал с полки коробку с крепчайшим эшерским табаком, тонкую рисовую бумагу. Предложил табак Платону. Тот отказался, сказав, что не курит.

— Удивительно,— проговорил Багапш, хитро прищурив глаза.— Ученик Горской школы — и вдруг не курит! Ты, кажется, что-то хотел сказать?

— Хотелось бы знать вот что,— сказал Платон.— Чувствую сердцем, что Эмхаа чепуху городит. Но я плохо знаю истинную правду. Говорят, язык наш в точности походит на убыхский. Верно это?

Багапш словно ждал этого вопроса. Он глубоко затянулся самокруткой и выдохнул клубы сизого дыма.

— Я не специалист по языку,— сказал Багапш,— но однажды мне посчастливилось увидеться с Петром Карловичем Усларом. Ты слышал о таком ученом?

— Нет,— ответил Платон.

— И генерала Услара не знаешь?

— Нет, не знаю.

— Это был замечательный человек. Имя его не очень популярно. Но настанет время, когда в Абхазии заговорят о нем с благодарностью и уважением.

Тамел Александрович быстро вошел в привычную роль учителя. Он рассказывал неторопливо,

обстоятельно. Справлялся, все ли понятно, и, дождавшись утвердительного кивка, продолжал объяснения.

Петр Карлович Услар родился двадцатого августа 1816 года. Окончил Петербургское инженерное училище. С 1837 года служил на Кавказе. Командование русских войск поручило ему составление истории Кавказа. На некоторое время уезжал в Россию, но в 1850 году снова вернулся на Кавказ. Услар проявил себя талантливым, трудолюбивым человеком. Знал несколько европейских языков. В изучении кавказских языков он проявлял удивительные способности. Хотя он и носил военный мундир, это был настоящий ученый муж, большой знаток филологии, умный и внимательный человек. Багапш перечислил, какие языки исследовал Услар: убыхский, аварский, табасаранский, черкесский, хюркилинский, кюринский, чеченский, сванский и абхазский. Для изучения абхазского, как и других языков, Услар располагал всего двумя-тремя неделями. Но и этого оказалось достаточно, чтобы появилась абхазская грамматика. В своей книге Услар с поразительной точностью подметил основные законы языка и доказал, что язык абхазский относится к особой абхазо-адыгейской группе кавказских языков.

— Шел я однажды по Сухумской набережной, — рассказывал Багапш. — Мне в то время минуло девятнадцать. Стало быть, год был шестьдесят первый. Помню, как сейчас, — стояло жаркое лето. Гляжу — идет какой-то генерал, с бакенбардами, из себя плотный такой, с выразительными глазами. Как видно, его привлекла моя одежда — черкеска, архалук, башлык, азиатские сапоги и отличный отцовский кинжал. «Здравствуй, молодой человек, — сказал он. — Как тебя звать?» В то время говорил я по-русски не очень-то хорошо... Смутился я. Сказал свое имя. «О Тамел, Тамел! — воскликнул генерал. — Хорошее имя. По-абхазски говоришь?» — «А как же, господин генерал», — ответил я. Он пригласил меня в кофейню и начал расспрашивать, как называются по-абхазски дом, кошка, собака, гора, море, солнце... Долго сидел со мной. И все время что-то записывал. Спросил, знаю ли я абхазскую грамоту. Я отрицательно покачал головой. «Вот видите, — обратился Услар к какому-то господи-

ну,— и этот молодой человек, как многие его собратья, находится в полном неведении относительно абхазской азбуки и грамоты вообще. А Иван Алексеевич Бартоломей утверждает, что уже создана азбука для абхазцев. Нет, нельзя создавать азбуку, не зная языка как следует. Вот вам ясное доказательство: молодой человек, природный абхазец, не обученный Бартоломеевой азбуке». Услар просил меня зайти к нему в гостиницу «Россия». Недолго жил этот замечательный человек в Сухуме. Через неделю он уехал. Однако нашел время, чтобы проститься со мной. «Ты будешь писать и читать на родном языке,— сказал мне Услар.— Я не пророк, но обещаю это. Абхазский язык будет жить столетиями, и ты должен знать родную грамоту». И похлопал меня по плечу... Это был человек чужой, приехавший к нам издалека. Но наш Эмхаа не годится ему в подметки. Тот был настоящий ученый, а этот жалкий стихоплет.

— Вы мне, Тамел Александрович,— сказал Вуба,— интересные вещи рассказали.

— Но сейчас важнее другое,— заметил Багапш.— Что у вас в Абжъакве делается?

Платон обстоятельно передал ему все виденное и слышанное. Первая беда — возможное выселение в Турцию. И еще одна беда — Чирикба с его подземельем. Все это очень огорчило учителя. Однако рассказ о подземелье Чирикбы Тамел Александрович, казалось, воспринял с некоторым недоверием: не слишком ли много ужасов?..

— Ты видел все собственными глазами? — несколько раз переспросил он.

— Да, сам.

— И слышал все своими ушами? Слышал сам?

— Сам.

Багапш взъерошил волосы, словно раздумывая, что же делать. Он долго смотрел в окно, за которым сияло яркое солнце, щедро поливавшее лучами буйную весеннюю поросль.

— Решено! — сказал Багапш и встал с места.— Я пойду к генералу Кравченко. Надо предотвратить панику. Одно необдуманное действие — и нашей стране будет нанесен непоправимый ущерб... Да, Платон, надо идти к генералу, может быть, сейчас же. — Он

подошел к Воубе совсем близко. — И ты проводишь меня к нему. Если представится случай, послушаешь беседу и ты. Это пойдет тебе на пользу! Женечка! — позвал жену Тамел Александрович. — Давай-ка чего-нибудь. Хотя бы самую малость. Мы торопимся.

— Иду-у! — раздался голос хозяйки из кухни.

Пока она разливала борщ, исходивший паром, Тамел Александрович сообщил жене о намерении нанести визит начальнику Сухумского военного отдела.

Евгения Петровна черпнула половником борщ и до краев наполнила глубокие тарелки. Она одобрила решение мужа.

— Правда, — сказала она, — я невысокого мнения о воинских доблестях Павла Павловича. Все знают, что он трусоват. Собственной тени пугается. И все-таки не мешает с ним переговорить. Несчастные крестьяне, забитые и неграмотные, понятия не имеют о том, что творится на свете. Верно, во избежание паники нужна демонстрация силы с нашей стороны.

— Молодец! Да ты, Женечка, стратег! — похвалил ее муж.

Хозяйка действовала быстро и энергично. Она была в фартуке и белом чепчике, который очень шел к ее матово-белому лицу и соломенного цвета волосам.

— Прошу вас, пробуйте, — обратилась она к Платону, и, выбежав в кухню, вернулась оттуда без чепчика и фартука, с мелкими тарелками и вазой для варенья в руках. — Только не ругайте моюстряпню, — попросила она и уселась за стол против мужа.

27

Казармы Сухумского военного отряда размещались на плато горы Хат-Хуа, которая вместе со своей сестрой Самата-арху господствует над городом. Учитывая тревожное положение, генерал перенес свою канцелярию в штаб отряда, тем более что сам же являлся и командиром его.

Ныне у подножия Хат-Хуа находится больница, построенная полвека тому назад известным терапевтом Остроумовым. Само население, словно сговорив-

шись, переименовало Джанское ущелье, образованное горами Самата-арху и Хат-Хуа, в Остроумовское.

Начальник Сухумского военного отдела генерал-майор Павел Павлович Кравченко был дворянином Черниговской губернии. Он окончил Первый кадетский корпус и Академию генерального штаба. Среди своих военных друзей ничем не выделялся. О нем говорили, что осторожен до крайней степени и благодаря этому добьется чинов и положения. Так оно и случилось. С 1853 года Кравченко служил в отдельном Кавказском корпусе. Посильно участвовал в штурме Гуниба. Являлся свидетелем пленения знаменитого аварца, прославленного в многочисленных боях Шамиля. В апреле 1872 года Павел Павлович стал начальником Сухумского военного отдела. Свое пребывание на этом посту ровно ничем не ознаменовал. Война с Турцией явилась решающим испытанием его воинских и административных качеств. Он понимал это, и тем сильнее охватывали его сомнения, а сердце сжималось от страха перед ответственностью, которую возложили на него бурные события.

Тамел Багапш довольно часто оказывал услуги Военному отделу в качестве безупречного переводчика. Павел Павлович знал его лично и ценил способности учителя, бывал приветлив и внимателен. Генерал умел держаться на людях, и ему очень шла военная форма. Но на этот раз Багапш увидел перепуганного на смерть, побледневшего и осунувшегося человека. Кравченко нервно расхаживал по своему новому кабинету, обставленному более чем скудно. Заведующий канцелярией, майор Япшенинов, сидел на корточках перед чугунной печуркой и торопливо жег какие-то бумаги.

Кравченко глянул на Багапша стеклянными, невидящими глазами.

— К вашим услугам,— сказал он сухо.

Багапш с досады чуть не повернул назад. Однако благоразумие одержало верх.

— Чем вы так встревожены, Павел Павлович? — спросил он.

Генерал, казалось, пришел в себя.

— Извините, Тамел Александрович,— сказал он, застегивая мундир на все пуговицы.— Положение не очень-то... Сами, должно быть, догадываетесь.

— Неужели так уж плохо?

Павел Павлович расправил плечи, покосился на майора.

— Я бы этого не сказал. — Павел Павлович замотал головой. — Однако же не секрет, что военное положение в Абхазии ухудшается с каждым днем, я бы даже сказал — с каждым часом. Но это *entre nous*¹.

Багапш перешел на официальный тон.

— Ваше превосходительство, — сказал он, — я имею к вам поручение, данное мне моей совестью и долгом перед своим народом. Прошу меня выслушать. Я не злоупотреблю вашим вниманием, памятуя, что время дорого.

Генерал попросил сесть, но учитель отказался. Багапш взялся рукою за спинку венского стула — так удобнее было разговаривать с высокопоставленной особой, какою являлся начальник Сухумского военного отдела.

— Ваше превосходительство, забвение интересов местного населения привело к исчезновению целой народности — убыхов. Теперь и днем с огнем не сыщешь убыха на Черноморском побережье Кавказа. Если военное командование не извлечет уроков из этого прискорбного факта, то же самое случится и в Абхазии. Одновременно это явится поражением русских войск и крупным успехом султана. Обладание Абхазией принесло бы большую пользу противнику не только на Анатолийском театре военных действий, результаты сего сказались бы и на Балканах. Все это вам известно лучше, нежели нам, штатским. Смею особо подчеркнуть, что в большинстве своем князья и дворяне настроены туркофильски. И дело не столько в их магометанстве, сколько в том, что земельная реформа отпугнула их от русских властей. Тут видна неуклюжесть гражданской администрации, которая не очень-то разобралась в местных условиях. Иначе бы не стала она сравнивать наших крестьян с рабами. Это оскорбительно! С другой стороны, крестьянство связано со знатью многочисленными адатами. В то же время оно лояльно по отношению к русским, вернее — оно может стать вполне лояльным. Более того — оно может даже

¹ Между нами (*франц.*).

оказать содействие в борьбе против султана. Но если население убедится, что военное командование не принимает никаких мер по защите его от угона целых семей и общин в Турцию, доверие будет потеряно. Вот тогда можно ожидать неприятных последствий, могущих произойти оттого, что плохо или вовсе не учитываются интересы местного населения. Я прошу вас, если это возможно, продемонстрировать решимость защищать край от любых посягательств противника. Такая демонстрация вселила бы уверенность в сердца ваших друзей, коих не так уж мало, а иных отрезвила бы. По здравом размышлении я пришел к такому выводу и почел своим первейшим долгом воззвать к вашей мудрости и доблести.

Кравченко ответил не сразу. Почесал указательным пальцем правый висок, расправил бакенбарды. Солидно кашлянул, снова покосился на майора, прилежно исполнявшего свои обязанности.

— Туземное население, — сказал генерал глухим голосом, — относится к нам враждебно. На этот счет имеются доказательства. Верные союзники наши из числа князей и дворян, — он подчеркнул интонацией последние слова, — поставили нас в известность об интересующем нас предмете. Вот здесь, в этом ящике, лежит записка светлейшего князя Беслана Чачбы. Достаточно прочесть ее, чтобы уяснить всю ненадежность тыла... Мы плывем меж Сциллой и Харибдой. В такой обстановке едва ли благоразумно давать решительный бой и отстаивать Сухум.

— Генерал! — нетерпеливо воскликнул Багапш.

Кравченко поднял руку, требуя внимания.

— Но это не значит, — продолжал генерал, пряча от собеседника стеклянные глаза, — это не значит, что мы оставим Абхазию на произвол судьбы. Будем драться. До последнего.

— Прекрасно! Так нельзя ли продемонстрировать эту решимость на одном живом примере и в ближайшее же время?

— Отчего же, — вяло ответил генерал. — Бог даст, мы сумеем постоять за веру, царя и отечество.

Генералу показалось, что он убедил учителя и что тот удовлетворен его разъяснением. Он понимал, что иного ответа не может дать никому из местных

жителей. Однако истинное мнение он высказал пол-часа тому назад своим офицерам. Относительно защиты местного населения и предотвращения угона в Турцию Кравченко разделял точку зрения князя Святополк-Мирского, заместителя главнокомандующего войсками на Кавказе. Она заключалась в том, чтобы воинские части не вмешивались в дела переселения, махаджирства. В свою очередь, это была точка зрения и Петербурга. Турки между тем умело использовали военную силу махаджиров, прекрасно знавших местность, что особенно было важно при десантных операциях.

Полчаса тому назад начальник штаба Сухумского отряда употребил почти те же выражения, что и Багапш. «Офицеры,— сказал в заключение начальник штаба,— полны решимости драться, но не отступать! Они не желали бы, чтобы кто-нибудь когда-нибудь упрекнул их в неразумном отступлении. Я, как начальник штаба, не могу одобрить план бегства. Мы призваны охранять этот край и его население, и мы должны исполнить свой долг».

Генерал спокойно выслушал мнение своих подчиненных, созванных на совет. Он заранее написал приказ об отходе к селу Ольгинское и не предполагал изменять в нем что-либо. Это были неприятные минуты, особенно когда офицеры уходили хмурые и явно недовольные решением своего командира. По существу, это был негласный бунт...

...Генерал стоял мрачный.

— И еще одна просьба, господин генерал. Вам известно что-нибудь относительно ужасов, происходящих в Абжъакве? О средневековых пытках, например, и...

Генерал перебил Багапша:

— О самоуправстве Бабыша Чачбы, хотите вы сказать?

— Нет, нет! Это слишком мягкое выражение...

Генерал отмахнулся обеими руками.

— Прошу вас, больше ни слова! Мы и так раздражили князей. Я не могу совать нос во все их мелкие дела. В конце концов, они же князья!

Кравченко протянул руку. Она была холеная и холодная.

— Честь имею кланяться! — проговорил Багапш. Генерал проводил его до порога, вернулся к своему столу и обратился к Япшенинову:

— Вы, пожалуй, одни не справитесь с этими бумагами. Возьмите кого-нибудь в помощники.

Наступали сумерки. На чистом небе вдоль всего горизонта вытянулось темное облако, очень похожее на меч. Суеверный Кравченко, глядя на него, попытался определить, что означал сей меч на небе. «Несомненно, войну», — решил он. Но в войне бывают победители и побежденные. На чьей же стороне окажется победа?

28

Багапш и Воуба спускались по тропе, вьющейся по крутому склону Хат-Хуа. Тамел Александрович был явно недоволен визитом к генералу. А все-таки долг свой он выполнил, и это служило ему некоторым утешением.

— Кажется, мне удалось озадачить генерала, — говорил Багапш. — Если ему не терпелось отступать, то теперь, несомненно, призадумается. Я высказал ему все, что говорят в городе. Во всяком случае, совесть у меня чиста.

Платона так и подмывало сообщить учителю о намерении братьев Нанба уйти в лес. Конечно, это тайна, к тому же очень большая. С нею нельзя шутить! Но, может быть, не худо поделиться с учителем, не говоря, кто именно собирается в лес?

— Тамел Александрович, — начал Платон, — как вы смотрите... как бы вам это сказать?.. На одну затею... То есть если бы я решился... стать абреком?..

— Как? Абреком?

— Вот в каком смысле. Вооружиться, значит, и силою принудить разных там Маанов убраться восвояси... Припугнуть немножко и Чирикбу... Разрушить, скажем, подземелье.

— Гм... — Багапш умерил шаг. — Ты сам это придумал?

— Да, сам, — соврал Воуба.

— В таком случае ты молодец. Хвалю! Но ты не маленький и должен знать, чем все это пахнет.

— Чем?

Багапш показал ему на шею: дескать, петлею пахнет...

Ну что ж, Платон отдает себе отчет. Ведь ясно: если ты кому-нибудь угрожаешь оружием, будь любезен приготовиться точно к такому же приему со стороны противника...

— Значит, вы одобряете, Тамел Александрович?

Багапш сказал без обиняков:

— Не только одобряю, но готов принять участие сам. Ведь это уже мужской поступок! Твою затею следует тщательно взвесить. Взвесить, решить — и действовать! Нельзя ли привлечь еще кого-нибудь? Абрек, говоря откровенно, никогда не бродит в одиночку. У него всегда есть друзья. Всегда готов кров, который приютит его. Всегда есть женщина, с удовольствием подносящая ему вино и мамалыгу. Словом, абрек пускает глубокие корни. А иначе это конокрад, притом жалкий... Чирикба — крепкий орешек. Ты промахнешься, он не промахнется! — Багапш повторил: — Ты молодец, Платон!

Тут уж Воуба не выдержал, он признался, что все это не его затея, а братьев Нанба.

— Они очень злы, — сказал Платон, — готовы горло перегрызть этому Чирикбе. И многим другим. Как думаете, Тамел Александрович, хорошее задумано дело?

— А сам-то ты какого мнения? — спросил Багапш.

Платон замялся:

— Не знаю, что и сказать, Тамел Александрович... Разве страдания одних искупятся кровью других? Абреки только так и думают.

— Что же думаешь ты?

— Ничего, — признался Воуба. — Я хорошо понял только одно: не могу больше видеть школьных стен и не могу слышать всякие «склонения» и «спряжения». Но что дальше — ума не приложу.

— Мы еще вернемся к нашему разговору, — сказал учитель. — А они, как видно, молодцы!

И он ускорил шаг.

Тропа вилась вдоль Военно-ботанического сада.

В окнах домов зажигались керосиновые лампы. Было тихо, безлюдно.

Воуба почувствовал какую-то сухость в словах Багапша, и это вконец испортило ему настроение, и без того отвратительное.

23

Сухум жил тревожной жизнью, по ночам, точно больной, вздрагивал от малейшего шороха. Ходили самые мрачные слухи. Одни утверждали, что вот-вот высадутся десять тысяч башибузуков, что они сожгут город, а жителей перережут. Другие говорили, что турецкий десант давно находится в Очемчирах и Бомборах, чуть севернее Гудаут. Многие видели, как с юга на север проплывали грузные суда, несомненно турецкие, ибо русский флот после Крымской войны еще не возродился. Только совсем недавно адмирал Аркас приспособил для военных действий императорскую яхту «Ливадию», яхту главного командира портов «Эльборус» и суда русского общества пароходства и торговли — «Аргонавт», «Константин», «Владимир», «Веста», «Россия». Вот и весь русский флот на Черном море!

Военный же флот султана, бороздивший Черное море, был внушительным. В нем были такие мощные броненосцы, как «Махмудие», «Максудие», «Ассери-Шефкет», «Типе-Шефкет», «Иджималие» и чуть поменьше их — «Муаэни-Зафер» и «Эвни-Илия», не считая фрегатов, корветов, мониторов и транспортов.

Такое соотношение флотов, разумеется, не могло не породить самые невероятные, порой даже нелепые слухи. Распускали их главным образом резиденты султана, против которых, можно смело утверждать, не велось совершенно никакой организованной борьбы.

Телеграммы потийского коменданта, капитана первого ранга Обезьянинова, получаемые Сухумской телеграфной станцией, были тревожными, а подчас основывались на непроверенных слухах. Этими телеграммами как абсолютно достоверным источником пользовались штаб войск округа в Одессе, начальник обороны Очакова, керченский комендант, комендант Севастопольского порта, начальник Черноморского

округа в Новороссийске и другие должностные лица, включая и начальника Сухумского военного отдела. Именно телеграф принес паническое известие о том, что к берегам Абхазии направились десантные войска в количестве десяти тысяч регулярных войск — башибузуков и абхазских махаджиров. Подробное перечисление вооружения — пять батарей, пять тысяч сабель, три тысячи шестьсот ружей, три тысячи револьверов — придавали сообщению телеграфа полную достоверность...

Но, рассказывая об этом, командир Сухумской конно-регулярной сотни князь Бата Эмхаа спокойно отхлебывал вино из чайного стакана. Он клятвенно заявил, что султанское войско не увидит Абхазии как своих ушей.

— Бата,— сказал Багапш,— мне нравится твое драчливое настроение. Должен признаться, что у вашего командира оно значительно минорнее.

— Черт с ним! — крикнул Бата.— Он уже вздрагивает при каждом выстреле. Вчера какие-то молодцы подняли в ресторане стрельбу, а генерал, перепугавшись, выслал к берегу целый батальон... Недавно мы ему изрядно испортили настроение. Мы дали понять, что мнения командира относительно отступления к Ольгинскому офицеры не разделяют. Павел Павлович попотел-таки!.. Мне бы три тысячи солдат — и я уже сидел бы в Стамбуле.

— Зачем в Стамбуле? Тебе и здесь хорошо.

— Это верно. Однако в Стамбуле есть чудесная приманка.

Евгения Петровна сказала:

— Я догадываюсь, князь, что это за приманка.

— Скажите же. Какая?

— Гаремы?

— Верно! — восторженно вскричал Эмхаа.— Вот где я установил бы порядок.

Багапш подмигнул жене.

— Бата — гроза женщин,— сказал он.

Евгения Петровна подтвердила, что князь Бата действительно неотразим. Она намекнула, что знает о похождениях Баты больше, чем это полагается знать посторонней даме.

— Я и не скрываю,— признался князь.— Как это говорится? «Быль молодцу не укор»? Вот именно! Дайте мне вина, разрешите пострелять немного и поухаживать за прекрасным полом.— и мне ничего не надо! От всего прочего отказываюсь.

— Запросы довольно скромные. Не правда ли? — сказала Евгения Петровна.

Муж согласился с ней.

— Да, Женечка, желания для настоящего мужчины не столь уж чрезмерные.— Багапш обратился к Эмхаа: — Вот родственник твой не любит стрелять. Он довольствуется поэзией. А во всем остальном похож на тебя. Как две капли воды.

Эмхаа сделал вид, что обиделся. Капризно надул губы, нахмурил брови, пошмыгал носом и выпил вина.

— Не смейте сравнивать со мной этого щелкопера! Он позорит всю нашу фамилию. Ежели я и прощаю ему стишки, то ради женщин, которых он любит не меньше меня.

Супруги прыснули со смеху.

Князь был доволен своей шуткой. Он браво выпятил грудь, а левую руку положил на эфес сабли.

В дверь постучали.

— Наверное, Николаев,— предположила Евгения Петровна и пошла открывать дверь.

— Николаев? — поморщился Эмхаа. — Учитель, что ли?

— Да, Георгий Захарович Николаев,— подтвердил Багапш.

— Пренеприятный тип!

— Напротив, Бата, это прямой и отзывчивый человек.

— Не знаю, не знаю,— пробурчал князь. — Помоему, это петербургский революционер, которого забыли повесить. Таких надо высылать не на Кавказ, а в Сибирь. Да-с!

— Ты не прав,— с укоризной проговорил Тамел.

Увидев накрытый стол, Николаев сказал, смеясь:

— Я не опоздал,— значит, теща моя жива! Такая у вас примета, не правда ли?

Тамел Александрович подтвердил, что когда гость поспевает к обеду, это означает, что теща его непременно жива.

Николаев поздоровался с князем кивком головы.

— Господа,— сказал Георгий Захарович,— говорят, что есть на Тихом океане счастливые острова, там семьи живут очень дружно. А почему? Потому, что в день свадьбы как самое изысканное блюдо гостям подают изжаренную тещу. С этого самого момента молодая чета чувствует себя великолепно.

Анекдот рассмешил всех, даже помрачневшего князя.

Николаева усадили за стол. Хозяйка поставила перед ним чистый прибор и подала салфетку. Гостю налили супу.

— Георгий Захарович,— сказал Багапш,— до вашего прихода мы вели разговор о доблестных воинах, под крылышком которых мы чувствуем себя в безопасности.

— Нет! — отрезал Николаев.

— Что нет?

— Мне кажется, что мы на пороховой бочке, а не под крылышком. Доблестные войска наши, говорят, собираются бежать.

Князь насупился. Вытащил из кармана огромный брегет, давая хозяевам понять, что торопится.

— Мне ничего не известно, господа,— сказал князь.— Во всяком случае, сотня моя наготове.

Николаев пристально поглядел на Эмхаа.

— Мне надоели военные,— сердито заговорил Николаев,— ни бельмеса не смыслящие в обычаях и нравах того края, который они якобы призваны защищать. Помяните мое слово: выкинет коленце наш генерал!

Эмхаа решил было остановить учителя, заявив ему: «Господин хороший, я не позволю поносить генерала, честь которого дорога мне как честь старшего начальника. Прошу прекратить оскорбления». Однако, зная Николаева, весьма острого на язык, почел за благо промолчать.

— Администрация наша тупа и глупа,— продолжал Георгий Захарович.— Она прогнила насквозь. Мало честил ее господин Салтыков-Щедрин, выводя в своих сочинениях различного рода власть имущих идиотов. Скажите мне,— вдруг набросился на князя Георгий Захарович,— скажите: почему вы не со своим

народом? Вам должно быть известно, что многие абхазцы, поддавшись провокациям, бегут в Турцию, известно, что многих из них забирают насильно. Да, да! Башибузуки оцепляют дворы, сжигают дома, а людей гонят, точно скотину, на корабли. Если у вас сотня, так присоедините к ней еще три, четыре, пять и остановите бедствие. Во всяком случае, попытайтесь. Вот тогда мы вас похвалим. А сидеть в городе и выполнять ничемные приказы вашего начальника — не дело! Более того — это преступление!

Евгения Петровна сочла своим долгом как-то смягчить эти резкие слова.

— Дорогой князь, — заговорила она, — Георгий Захарович пребывает под впечатлением страшных рассказов. Говорят, что целые общины бросают насиженные места или собираются их бросить.

— Это само собой, Евгения Петровна. — Николаев положил ложку и повернулся вполборота к Эмхаа. — Правда, наша администрация сделала все, чтобы поспориться даже с имущими классами. Вот до чего доводит идиотизм абсолютистского управления.

Князь заерзал на стуле, но Николаев не обратил на это ровно никакого внимания.

— Надо обладать особым даром глупости, — горячо продолжал Николаев, — чтобы разом испортить отношения и с дворянством, и с княжеством, и с крестьянством! Да кому нужна эта комедия с освобождением крестьян? Нет, господа, я буквально не нахожу себе места при мысли о том, что абхазское население в его собственном отечестве поставлено перед катастрофой. Что же вы молчите, князь?.. Меня возмущает поведение имущих классов Абхазии. Известно, что крестьяне рабски следуют за вами. Надо помнить о своем долге перед своей страной.

Князь надулся, словно индюк.

— Извините, — прохрипел он, — меня это не касается. Я служу оружию, которое вручено свыше.

— Э, нет! — Учитель отставил тарелку с супом и несколько раз ударил указательным пальцем по краешку стола. — Первый долг есть служение народу.

— А вера? А царь? — спросил побагровевший князь.

— Во вторую очередь.
— Как так — во вторую?!
— А очень просто. Во вторую!
— Милостивый государь, я не привык слушать такие речи...

— А другие не умею говорить. Да-с!

— Все мы на царской службе. И мне кажется...

Но учитель естествознания резко перебил его: .

— Вы — да. Но есть и такие, кто народу служит!

Спор явно перерастал в скандал. Багапш решил вмешаться. Он поднял бокал с вином и торжественно провозгласил:

— Господа! Ваш спор, если вдуматься, направлен к общему благу. Разными путями мы идем к общей цели. Я хочу выпить за наше благополучие. Наше время скорее всего напоминает водоворот. Именно водоворот. Нас крутит-вертит, как перышко. Но я верю, что все обойдется и мы еще встретимся в спокойные, тихие дни. Вот за это, господа!

Хозяйка захлопала в ладоши. Тост невозможно было не поддержать. Все выпили до дна. Настал удобный момент, которым и воспользовался Эмхаа.

Он встал, щелкнул каблуками, кивнул мужчинам, галантно поцеловал руку хозяйки и исчез за дверью.

— Мне казалось, что вы подеретесь, — со смехом сказал Багапш.

Евгения Петровна вздохнула.

— Уф! — сказала она. — С меня точно груз свалился. Вы, Георгий Захарович, ничего не добьетесь, только нервы себе испортите. Стоит ли? Я не раз говорила Тамелу: «Оставь их. Князь есть князь, а дворяне есть дворяне».

— Меня всего трясет, — говорил Николаев, — когда я вижу довольные рожи в сухумских ресторанах. А народ в отчаянии. Я третьего дня чуть не плюнул в лицо другому Эмхаа, поэту. Он ходит, выпятив грудь, и волочится за любой юбкой. Вот оно, могущественное дворянство!

— Беда, просто беда, — проговорил Тамел Александрович. — Но я не советую так бурно выражать свои эмоции.

Николаев махнул рукой — дескать, все едино...

На стыке двух общин — Абжъаквы и Гумы — на небольшой лощине, именуемой Спящее Поле, сошлись пятнадцать крестьян. Среди них все восемь братьев Нанба.

В небе горели яркие звезды. Луна нарождалась где-то далеко за горами. Небосклон в той стороне был слегка освещен.

Крестьяне сидели на разостланных бурках и молча покуривали глиняные трубки. Старшим по возрасту на этой сходке являлся один из братьев Нанба по имени Елкан. Годы его подошли к пятидесяти. Жил он бедно, постоянно чем-нибудь болел.

— Кажется, все в сборе? — справился он.

— Все, — отозвался кто-то.

— Ну и хорошо.

— Да, но здесь не одни мужчины.

— Кто это говорит?

— Это я, Кутат, — последовал ответ.

Елкан глухо кашлянул.

— Ты хочешь сказать, Кутат, что кто-то из нас похож на свою мать? — спросил он грозно.

— Вовсе нет. Я хочу сказать, что девушка по имени Астанда желает быть абреком.

— Где же она?

От ближайшего дерева отделилась фигура, закутанная в бурку. Она подошла к мужчинам и сбросила башлык, закрывавший лицо. Все смотрели на девушку. В этой необычной обстановке она показалась красавицей.

— Не могу сидеть сложа руки! — заявила Астанда. — Я не прошу снисхождения, я буду как все! Можно мне с вами?

Елкан задымил трубкой. После зрелого размышления, в продолжение которого припомнил все наиболее известные случаи из прошлого, сходные с данным, он сказал:

— Народ, доложу я вам, помнит нечто подобное. Известна, к примеру, Кама Гуатас-ипхá. Она воевала за перевалом наравне с мужчинами. Такуна Джан-ипха. Она защищала с оружием в руках дом свой.

Гудихан Дзидзарба. Она подняла жителей своей деревни на поимку врагов... Стало быть, вот так...

Это был ответ по существу, и Астанда заняла место в кругу абреков.

— Все ли вооружены? — спросил Елкан.

— Все, — ответили ему хором.

— Нет ли среди нас безоружного? — переспросил Елкан, явно намекая на Астанду, но не говоря этого прямо, ибо вопрос этот мог бы ее обидеть.

— Нет, — ответила Астанда.

— Я хочу отомстить Кямшишу Чирикбе. За своего племянника, — продолжал Елкан. — Кто жалеет свою голову, тот не должен ввязываться в это дело.

Ему ответил Даур Уанача, житель села Абжьяква, ровесник Кутата.

— Мы собрались, — сказал он тихо, — как равные. Все мы обижены в равной мере. Каждый знает, за кого мстит. Один мстит за племянника, другой — за дядю, третий — за брата. Давайте поклянемся не складывать оружия до тех пор, пока не убедимся, что мы люди свободные. Одного Чирикбы мало!

Его поддержал Кутат:

— Даур хорошо говорит. В груди каждого из нас огонь. Слезы душат одинаково всех нас. Злодей есть злодей для всех! Но Чирикба не одинок. Или погибнем все, или отомстим за всех! Ежели кто-либо иначе думает, пусть возвысит голос.

— Пусть, — коротко сказал Елкан, понимая, что эти двое не во всем согласны с ним.

Вслед за этим последовал обмен мнениями.

Абреки говорили спокойно, но твердо, долго и обстоятельно, не перебивая говорящего, особенно старшего. Большинство разделяло мнение Даура и Кутата. Однако Елкан стоял на своем. Он упрямо обособлял свою цель.

— Я хочу смыть кровь своего племянника, — говорил он. — У человека одна жизнь. Он не может мстить за всех. Хочу, чтобы верно поняли: в тот день, когда будет отомщена кровь моего племянника, я умою руки. Как в Священном писании. Ежели угодно, я никого не прошу о помощи. Никого не зову жертвовать жизнью ради моего племянника. У меня есть глаза, есть руки и есть оружие. Сам доведу до конца...

Снова завязалась оживленная беседа, из которой можно было заключить, что Елкан не желал поступать своим мнением, а молодые горячились и все настойчивее отстаивали свои взгляды. Нашлись и такие, которые действовали по пословице: «Чтобы курица изжарилась и вертел не обуглился».

— Дайте сказать два слова,— вмешался в разговор Басиат Кяхба, крепыш средних лет, страстный охотник на диких коз.— Мы, абхазцы, ей-богу жалкие люди. Собрались. Нас всего раз, два — и обчелся! А сколько взглядов и сколько мнений! Чего только о себе не воображаем! Вот поэтому-то нашу землю и терзает любой, кому не лень! Мы к тому же и завистливы. Не выносим, ежели кто-либо пойдет дальше нас... Я хочу напомнить одну старинную песню. Лучше ее и не скажешь! Я немножко простужен, и голос сейчас не из приятных. Но все дело в словах, а не в голосе. Да вы, наверно, помните ее.

Э-эх, Гуатас-ипа Шмаф,
Красная, красная кровь твоя,
Точно ручеек, журча, бежит.
Гуатас-ипа Шмаф несчастный!

Против Соулах-ипа Берзека
Ты выступил одинешенек,
Против ста ружей блестящих,
Извергающих гром и молнию,
С голыми руками пошел
Совсем один-одинешенек.

Где же кости твои, Шмаф
Гуатас-ипа несчастный?
Грудь твоя словно решето,
Хребет твой сломан, как дуб
Ветром всеильным,
Гуатас-ипа Шмаф несчастный!

Басиат кончил петь. Высек кресалом огонь. Закурил.

Песня была ответом Елкану. Однако старший Нанба не выказал никаких особых чувств, словно песня прошла мимо его ушей.

— В старину,— сказал он, будто обращаясь к самому себе,— случалось много удивительного. Однако люди тех времен мало походили на нас. Те могли

оторвать скалу и бросить далеко-далеко. А нынче? Мы — просто смертные. Нет у нас крыльев, чтобы летать, а плавать не умеем, как рыбы, чтобы скрыться от врагов... Чего же вам надо? Ежели войну затевать угодно против князей и дворян, это трудно. А отомстить одному Чирикбе можно и должно. Пулю в лоб — и по домам!

— А ежели головы начнут отрывать нам всем, как птицам? — спросил кто-то.

— Ну, тогда разговор будет другой.

— Только ты учти, Елкан: человек без головы не может разговаривать.

Елкан не ответил, окутал себя клубами табачного дыма и уставился взглядом в темноту.

Даур Уанача попытался примирить мнение старшего Нанба со своим. Может быть, не стоит продолжать спор? — говорил он. Дескать, надо действовать, а там будет видно, что и как. Возможно, Елкан и поймет, что нельзя ограничиваться только одним выстрелом. Ведь это всегда так: на выстрел отвечают выстрелом. И это невольно вынудит к дальнейшему действию...

Но Елкан был непреклонен: он отомстит за племянника, а потом вернется к очагу. А что последует дальше, то неизвестно! Все от бога...

Ко мнению Елкана в конце концов присоединились трое братьев и один из Джанба. Дальнейшее продолжение спора могло обострить отношения. Это огорчило Кутата. Ему казалось, что собравшиеся выкажут полную решимость к борьбе, быстро обрастут последователями и заставят отступить любого врага...

И тут неожиданно в мужские разговоры вмешалась Астанда.

— Извините, — сказала она, — может быть, не скажу ничего нового, но все-таки хотелось бы... поговорить...

Все молчали. Не проронил ни слова и Елкан. Но Астанда, как видно, и не ожидала особого разрешения.

— Мужчины всегда понимают лучше женщин, — сказала она, полная решимости выговориться до конца. — Хочу о том, что болит. А болит душа. Я пришла сюда не для развлечений, а сражаться и, если надо,

жизнью пожертвовать. А есть, спрашивается, во имя чего жертвовать? Да, есть! Ежели рядом с нами гноят человека, я не могу ни спать, ни есть. Не каждый способен пожертвовать жизнью. И это не новость. Здесь должны остаться те, кто меньше дорожит своей головой и больше заботится о чести своей. Я клянусь не отступать и пролить кровь любого, кто вредит своему народу. Говорить больше не о чем. Укажите: что делать? Сейчас ли? Чрез день ли? А может быть, завтра?

Уанача стал по левую руку от Астанды.

— Я хочу оказать особое почтение этой девушке,— сказал он,— и поэтому становлюсь возле ее левого плеча. Побольше бы мужчин, похожих на нее, и дела наши пошли бы лучше! А ну-ка сюда, кто не похож на свою мать!

Мужчины окружили полукругом Астанду и Уанача. Елкан Нанба остался в одиночестве.

— Ну что ж,— проговорил Елкан,— поступайте как знаете, а затевать войну против властей я не собираюсь. Да и воевать-то нечем! А что до Чирикбы — найдется у меня лишняя пуля. Вот и все!

Елкан накинул бурку, поднял с земли ружье и скрылся за деревьями.

Уход его, разумеется, опечалил тех, кто на эту тайную сходку возлагал большие надежды. Однако делать нечего, бывают на свете потери и побольше. Не падать же духом из-за первой неудачи!..

Вдруг где-то далеко прокатился выстрел. Еще один. Вслед за ним еще и еще. И вот запылало над морем кровавое зарево.

— Послушайте,— обратился к своим друзьям Уанача,— это они, башибузуки. Слышите? Выстрел. Еще выстрел. Значит, война! Друзья мои, одна дорога — биться! С любым, кто против нас! Давайте подумаем, как жить... Садитесь поближе!

31

В этот вечер 30 апреля 1877 года в Сухуме началась уже настоящая паника. Молниеносно разнеслась весть о высадке десанта башибузуков неподалеку от устья реки Гумиста, в пяти верстах северо-западнее

города. Зарево, замеченное абреками, образовалось от пожаров на берегу. Горели дома, подвергшиеся бомбардировке с моря. Сухумская конно-иррегулярная сотня, предводительствуемая князем Батой Эмхаа, галопом пронеслась через весь город. С плато Хат-Хуа спустился батальон войск и цепью, перебегая от одного укрытия к другому, приближался к берегу моря. Вид ползущих и перебежавших солдат напугал жителей пуще гула морской канонады. Горожанам мерещились штыковые бои, а многие уже считали, что находятся в лапах султана. Жители с плачем разыскивали своих близких, бестолково метались по дворам и улицам. Пролетки мчались сломя голову, и на крики жителей: «Извозчик!» — слышалось: «Занято!», «Занято!». Лавочники наспех собирали наиболее ценные из своих товаров и рассовывали их по чердакам и подвалам. Людские толпы устремились к горе Хат-Хуа и Джанскому ущелью...

Занятия в Горской школе в этот субботний день окончились раньше обычного. Большинство учеников, приведя в порядок свою одежду, вечером разбрелись по городу. Когда же началась стрельба, неразумная молодежь из любопытства бросилась к набережной. Фонари были погашены, стояла темень, о которой говорят «хоть глаз выколи». На рейде царило полное спокойствие. Никакого морского боя. Только за Сухумским мысом стоял высокий огненно-рыжий столб дыма и пепла. Разочарованные ученики понемногу возвращались в школу.

Выстрелы с турецких кораблей застали Платона Воубу близ рынка, где он надеялся увидеть кого-нибудь из своих земляков. Ему тоже хотелось поглядеть на морской бой. К морю вела одна из тесных улочек. Она казалась вымершей. Двери в домах были распахнуты, собаки лаяли в звездное небо.

Платону Воубе почему-то не верилось, что башибузуки ступят на сухумскую землю, ведь отряд генерала Кравченко, казалось, непоколебимо стоял на Хат-Хуа.

Платон взглянул на небо. Оно было спокойно, торжественно, щедро усыпано звездами, Млечный Путь необычайно светел — настоящая молочная дорога. Нет, не может быть, чтобы под таким небом на тихих улицах города пролилась кровь...

В то время когда Платон проходил мимо маленького кирпичного домика, его окликнула женщина:

— Молодой человек! Молодой человек!

Она, как видно, была страшно перепугана. Платон заторопился к ней.

В узком окне металась полунагая женщина. Страх, казалось, вовсе лишил ее стыда. Она бросилась грудью на широкий подоконник, судорожно вытянула руки, точно желала ухватиться за своего спасителя.

— Ради бога, молодой человек! — вопила она. — Скажите, что случилось?

Она не походила на простых горожанок. Об этом нетрудно было догадаться не только по белью, которое так и сверкало, так и шуршало в темноте, но и по выговору.

— Сударыня, — вежливо сказал Платон, — не извольте волноваться, стрельба идет на море.

— А в городе? Боже, что творится в городе?

— Вы же видите — дома целые.

— Нет, я боюсь, — плаксиво произнесла женщина. — Я умру от страха! Проснулась — никого! Зову — не отвечают! Спешу на веранду — вижу спины бегущих. Слышу эти ужасные...

Снова прогрехотали выстрелы. Женщина схватила молодого человека за шею и потянула к подоконнику, который приходился ему вровень с плечами. Руки у нее были теплые, мягкие, пахли чем-то душистым. Она прижалась к его лицу густыми, ароматными волосами.

— Сударыня... Сударыня... — растерянно бормотал Платон, — право же, ничего такого... Это пустяки... Я схожу на берег и все разузнаю.

— Нет, нет! — вопила женщина. — Вы — единственное живое существо... Я сойду с ума! Я умру!.. Не уходите!..

Вокруг ни души. Пустынная улица. Пустое звездное небо. Пустой дом. И — эта женщина...

Платон стоял безучастно, как столб. И этот столб обнимала женщина!

— Сударыня, — пробормотал он, — я не оставлю вас. Я только схожу на берег...

Он прикоснулся ладонью к ее затылку. Она резко вскинула голову. Ее большие карие глаза прищлись против его глаз. И женщина опомнилась.

— Да вы же ученик, — сказала она неожиданно спокойно. — И с усиками... Ах, милый, милый! Вы должны остаться со мной. Не отпускаю! Извольте подняться ко мне. Иначе умру от страха.

Она дружески потрепала его за волосы и выпустила из объятий.

— Сюда, налево, — сказала она властно, и он подчинился ей.

Платон нерешительно входил в маленькую скрипучую калитку, медленно поднимался по ступенькам на веранду. Какая-то сила тянула его вперед, к голубой двери с низкой притолокой.

Дверь открылась как бы сама собою. Комната была погружена в полумрак. В соседней уже горела керосиновая лампа с зеленым абажуром.

За порогом стояла женщина. Она скрестила руки, прижимая к груди короткую сорочку.

— Мне так стыдно, — сказала она, — но я большая трусиха.

Так вот кто она такая!

Платон только сейчас узнал в ней ту самую даму, которая увлекла пылкого поэта. Да, и это та самая ножка, которую так страстно целовал Гектор Эмхаа. Как быть — остаться или бежать от этой бесстыжей женщины?

— Что с вами? — сказала она, сверкая глазами. — Бойтесь? Я же вас не съем!

Платон удивленно смотрел на красавицу, которой едва минуло тридцать лет. Марика и в самом деле была красива: большие глаза, чуть раскосые и влажные, пухлые губы, красные, как перец, пушистые каштановые волосы и эти ножки, воистину точеные ножки!..

Да, это была именно она, жизнелюбивая и любвеобильная Марика, вдова офицера кавказской службы. На шестом десятке ее муж умер от паралича сердца в знаменитом ресторане «Лев». Она называла себя княгиней, что, пожалуй, соответствовало действительности, ибо на Кавказе никогда не ощущалось недостатка в князьях. Другое дело, что у иных князей очень часто не водилось за душой ни гроша. Однако вопрос этот, как говорили некоторые, несущественный: дело не столько в деньгах, сколько в чистоте крови (правда, княгиня Марика придерживалась ино-

го мнения)... Да, это была Марика, полунагая, зовущая...

Она протянула к нему белую руку. Шепнула:

— Смелей же, дурачок!

Залпы на Гумисте не прекращались. На город, казалось, надвигалась гроза с грохотом громов и сверканием молний. Гроза, казалось, взывала к его совести и чести, казалось, напоминала о тех, кто там, вне этих стен. И это оскорбительное «дурачок»! Нет, не дурачок он!

Платон отступил на шаг, еще на шаг и выбежал на улицу. Бросился в темень, в ночь, подальше от маленького домика и трусливой хозяйки, которой нипочем ни своя, ни чужая любовь...

Всю ночь прошагал Платон по пустынным улицам. Он думал о ней. Не мог не думать.

Восток розовел. По небу вперегонки бежали облачка, похожие на белоснежных овец. Город был цел, нигде никаких следов бомбардировки, словно буря пронеслась где-то в стороне.

Платон до боли расчесывал пятернею волосы, чтобы убедиться, что Марика ему не во сне приснилась. Нет, не во сне все это было... Но ему стыдиться нечего. Пусть она стыдится!..

Навстречу бежала женщина с ребенком на руках. Она чем-то была озабочена. Глаза ее шарили по сторонам. Бежала и все время озиралась вокруг. Вот она бросилась к Платону.

— Послушай, — сказала она скороговоркой, — ты идешь оттуда, с берега?

— Да. А что?

— Не видал козу? Такую стройную... С бородой... И большими рогами... С колокольчиком на шее...

— Ты потеряла козу?

— Ах, какая коза! Какая коза! Что нам теперь делать?

И женщина заплакала горючими слезами.

Платон порылся в кармане, достал рубль и без сожаления отдал ей.

Она опешила и не успела поблагодарить его.

Он шел дальше, стучал подошвами и думал о том, как странно создан человек и как извилист его путь. Он думал о Гуаше. И о Марике тоже...

Облюбовав местечко на тепленькой гальке лукоморья, Платон уселся.

Он все думал о минувшей ночи. Душа его была взбудоражена. Ему казалось, что впервые он почувствовал себя настоящим мужчиной, который может понравиться женщине. Со лба его не сходила испарина. Сердце гулко билось...

Эта Марика, размышлял молодой человек, женщина непонятная. Ну что нашла она в нем? А трусиха она изрядная. И все же не следовало ей кидаться на шею постороннему человеку. Она не боится чужого, незнакомого, а выстрелов пушечных боится!.. Нет, она просто нехорошая. Пожалуй, она из тех, от которых предостерегала Гуаша...

Верно, так оно и есть! Взять хотя бы ее встречу с Гектором Эмхаа. Разве приличная женщина станет протягивать ножку при людях?..

Это воспоминание отталкивало его. Ему хотелось вовсе позабыть эту женщину.

Чтобы заняться чем-нибудь, Платон стал кидать камни в море. Потом ему захотелось потянуться на солнышке. Под ложечкой начинало посасывать от голода.

Вдруг откуда ни возьмись появился маленький Инал-ипа. Словно с неба свалился. Приметил Платона — обрадовался.

— Где ты плопадал? Опять в делевне?

Платон ответил нехотя:

— Да, в деревне.

Инал-ипа спешил поделиться впечатлениями о бомбардировке.

— Мы совсем не спали, — затараторил Инал-ипа, устраиваясь рядом с ним. — Колабли стлеляли... Вокруг глом глемел... И вдлуг кличат: «Бегите в голы! Бегите в голы!» И убежали. Бежим и видим — одно ядро упало. Лаз! — и лазолвалось! Еще длугое — лаз! И еще — лаз!

— Не ври! — перебил его Платон. — Ничего здесь не падало. В Гумисте были пожары. Почему врешь?

— Влу? — изумился Инал-ипа.

— Я все знаю...

— Неплавда! Одно лазолвалось возле сада, длу-
гое...

— Не ври!

— Клянусь своим дедушкой.

— Поклянись отцом.

— И отцом клянусь!

— Все равно врешь,— проговорил Платон и бро-
сил в море морскую гальку. Она подпрыгнула несколь-
ко раз на воде и пошла ко дну.

— Не хочешь — не надо...

— А где наши ученики?

— Тепель все в школе. Плишли утлом.

— А чай пили?

— Пили.

Платон проглотил слюну.

— Есть у тебя кусок сахара?

— Есть,— сказал Инал-ипа и, показав два куска,
препроводил их снова в карман.

Появился какой-то коновод с лошадыю. Платон не
обратил на него внимания. Но когда тот нехорошо вы-
ругался, подбадривая животное, Платон узнал Шоугена.

— Шоуген! — окликнул его Платон.— Как пожи-
ваешь? Что делаешь?

Шоуген подсел к нему, предварительно почистив
скребницей бока лошади и загнав ее в воду.

— Будь проклята эта война! — сказал он в серд-
цах.— Я вчера мчался черт знает куда вместе с до-
машними и со всем скарбом. А сегодня — как ни в
чем не бывало. Будто нет султана даже в целом све-
те!.. А что, этот мальчик твой товарищ? — спросил он,
кивая в сторону Инала-ипа.

— Да, вместе учимся.

— Ну и черт с вами, учитесь,— беззлобно сказал
извозчик.— А я вот не учился, но куском хлеба не
обделен. Ну, то я, а то вы! Вам учиться надо. Как
мама, папа и все знакомые?

Платон поблагодарил извозчика за внимание к его
близким.

— А где был вчера? В городе? В деревне? — Из-
возчик набил трубку табаком, засунул кисет за широ-
кий кушак. — Значит, ты и не ведаешь, что здесь тво-
рилось?

Шоуген выпучил глаза и надул щеки, давая понять, что стряслось нечто ужасное.

— Я лассказывал, — проговорил Инал-ипа.

Шоуген прикрикнул на лошадь, пытаюсь загнать ее подальше в море.

— Вы, ребята, слишком молоды, — сказал Шоуген, — молоко на губах не обсохло. Во всяком случае, у того, у маленького. Как тебя? Инал-ипа? Князь, значит. Ну, молодец. Ежели б не ваша молодость, я бы вам рассказал такое, что ночью не уснете, на стенку полезете. Ей-богу. Однако, я вижу, у вас усы пробиваются. И женить можно. Ну, так слушайте... Пригласила меня одна княгиня. Вчера вечером... Да, да, княгиня! Чего глазеете, я вам не барышня! Княгиня, говорю, да еще в соку. Я ее в Лечкуап возил на обед. И говорит она соловьиным голоском: «Шоуген, приходи вечерком. Стучи посильнес, если усну». А вы знаете, что такое женщина в соку. Да откуда вам это знать, вы же сосунки еще! А вот баклаву знаете? Сладкая она. Правда?.. Так вот княгиня эта в тысячу раз слаще баклавы. Да что там в тысячу! В миллион раз!.. Стало быть, приглашает меня, поверьте мне, черти хвостатые! А как началась эта стрельба, так я все на свете позабыл. Хватали меня и тянули в разные стороны — этого вези, того вези.

Платон то бледнел, то краснел, слушая извозчика, но Шоуген не замечал этого. Он слишком увлекся собственным рассказом и к тому же часто поглядывал на лошадь.

Платон спросил его, стараясь казаться равнодушным:

— А где живет эта самая твоя княгиня?

— А недалеко от рынка. На Овощной улице. Низкий дом с тремя окнами и погнившим забором... Там и живет.

Платон уже не слушал его. Молча встал и пошел прочь.

— Вот тебе раз! — промолвил извозчик. — Что это с ним?

И долго глядел вслед Платону, недоуменно покачивая головой.

Канонада на Гумисте разбудила сонную Абжъакву. И тут выяснилось, что башибузуки находились под боком: выстрелы слышали все, турецкие крутобокие корабли и огнедышащие жерла орудий видели многие. Сомнений уже быть не могло!

Вот абжъаквинцы и смекнули: не сегодня-завтра башибузуки заявятся как победители, как хозяева. Значит, настала пора решать: или — или. Или с султаном и к султану в Турцию, либо против него.

Кямшиш Чирикба и его люди удвоили энергию. Пробил час, условились они меж собой, к черту церемонии! Незамедлительно было назначено место сбора для отплывающих в Турцию — недалеко от устья реки Мачара. «Сейчас или никогда! — предупреждали княжеские головорезы колеблющихся. Время для переселения самое подходящее: тот, кто не захочет ехать добровольно, будет принужден к тому силой. Сопrotивляющиеся с оружием в руках падут от оружия!

Вот так. Просто и ясно...

Бабыш Чачба прислал гонца к Чирикбе. Это был чернявый бойкий юноша по имени Меджид Уанача.

— Долгих лет тебе, Кямшиш, — приветствовал Меджид.

Кямшиш поблагодарил его кивком, пригласил сесть. Но Меджид отказался наотрез, сославшись на чрезвычайную занятость.

Он сообщил:

— Кямшиш, наш дорогой князь шлет тебе наилучшие пожелания и просит передать, что генерал Кравченко намерен оставить Сухум, с тем чтобы бежать в горы.

— Да? — спросил Кямшиш без удивления и с довольным видом погладил бороду.

— Князь желает, чтобы ты все это знал и действовал мудро и решительно.

— Ну что ж, Меджид, — сказал Кямшиш, — с меня магарыч.

Меджид сказал «спасибо!», прижал ладонь правой руки к сердцу и тут же удалился.

Чирикба велел пригласить Озбака Маана, занимавшего в качестве гостя один из небольших домиков на краю двора.

Озбак не заставил ждать. Он пребывал в хорошем настроении. Вчерашняя канонада свидетельствовала о том, что близится день, когда его беспокойная миссия придет к благополучному концу. Вместо прежней поношенной черкески он надел новую, из серого сукна, купленного у лучшей ткачихи Багбарана. Азиатские сапоги сшили ему в Сухуме. И внешне и внутренне Озбак вполне подготовился к встрече своих турецких друзей.

— Ну, Озбак, брат мой,— обратился к нему Чирикба,— я держу слово. Этот Езуг твой. Делай с ним все, что душе угодно.

Озбак обнял его. Ему не доставало слов, чтобы выразить благодарность за внимание, оказанное ему, а также и за этот подарок, который имел для него особое значение. Озбак в двух словах разъяснил, что значит «особое значение».

— Есть обиды, которые никогда не забываются,— сказал он.— Даже за гробом. На том свете. Вот такую обиду и нанес мне Езуг. Я позабуду о ней только при одном условии — ежели прольется кровь этого негодяя. Ты, я вижу, искренне благоволишь ко мне, даруя мне этого подлеца, и я твой должник! Чем отплатить тебе?

— Об этом поговорим там. — И Чирикба указал в сторону моря, вернее — за море. Очень далеко указал.

— Я хотел бы увидеть Воубу сейчас же. Это возможно?

— А разговор будет не очень длинный?

Озбак хихикнул, жирное лицо его расплылось в улыбку. Он сказал, подбоченившись:

— Видит аллах, я не намерен затягивать беседу! Ежели б ты знал, какой ядовитый язык у старикашки.

— Ну что ж, идем,— сказал Кямшиш.

Они вышли в сад и по узенькой тропинке направились к горе Аныха-Апаара. Путь был короткий, не более четверти версты.

— Вот она, княжеская тюрьма, — сказал Чирикба, приглашая Озбака в пещеру.

Озбак на мгновение замешкался. Глянул в лицо Чирикбе — оно было недоброе, очень недоброе. У Озбака вдруг мелькнуло подозрение. «А не разделается этот палач и со мной?» — подумал он. Но отступить было поздно, и он вошел в разверстую пасть горы.

Их встретил какой-то головорез с перекошенным лицом и шрамом поперек лба. Он прохрипел:

— Сюда, пожалуйста сюда!

Пока из глубины подземелья доставали коптилку, Чирикба и Маан двигались в темноте. Озбак пожалел о том, что так безрассудно доверился Чирикбе, человеку без совести и чести.

Гостя усадили на камень в зале судилища. Чирикба отошел в сторону, а человек со шрамом куда-то исчез.

— Ни дверей, ни замков? — удивился Озбак. — Странная тюрьма!

— Отсюда никто ни разу не бежал, — ответил Кямшиш. — К чему двери и запоры? Есть средство понадежнее.

— Молодец, Кямшиш, молодец! Ум у тебя настоящий. Надо иметь голову, чтобы вот так устроить темницу! Да, по сравнению с тобой тюремщик султана сущий ребенок. Его бы сюда на выучку! Скажи мне: а что, ежели русские власти узнают о твоей тюрьме?

Чирикба усмехнулся.

— А ты думаешь, им ничего не известно? — сказал он. — Всё знают и молчат! Нельзя им не молчать, потому что есть у них тюрьмы и пострашнее этой пещеры. И в конце концов, у нас с ними один и тот же враг — крестьянство. Его, друг мой, надо в кулаке держать. Чуть разжал пальцы — голову потерял!

Чирикба осклабился. Его белые, крепкие зубы ярко блеснули в полумгле. «Волчьи зубы», — подумал Озбак и дал себе слово наперед не иметь дела с этим Чирикбой.

Вскоре привели, а вернее — приволокли, Езуга. Он громыхал цепями, дышал тяжело, как чахоточный.

Увидел Маана и понял, что конец не за горами. Сплюнул наземь и чуть было не попал в Маана.

— Осторожней! — прикрикнул на него Маан. — Не видишь, человек сидит!

— Не вижу, — ответил Езуг.

— А ты протри глаза.

— И все-таки не вижу. Свинью вижу. Вот она! Хрюкает. Хрю! Хрю!

Озбак встал и вплотную подошел к старику.

— Пададь вонючая! — проскрежетал он. — Я отрежу язык твой и выброшу его собакам!

Медленно вытащил кинжал.

Чирикба занял позицию поудобней, чтобы как следует насладиться зрелищем. Он обожал, когда один что называется живьем съедал другого. Все равно, кто кого, лишь бы человека человек...

— Не пачкай эту сталь, — посоветовал он Озбаку. — Дай ему в зубы!

Езуг поискал взглядом Чирикбу. Плюнул и в его сторону.

— Не стоит марать руки, — проговорил Озбак, доставая пистолет.

Узник криво усмехнулся.

— Не пугай, Озбак. Выслушай, что скажу... И ты, Кямшиш... Очень жалею, что в свое время не выпустил в каждого из вас по пуле. Я мог это сделать. Но я был дураком. Болтал много. Делал мало. Что для вас слова? Вы только с пулей считаетесь! Только ее и признаете! Только ей и поклоняетесь!.. Но берегитесь! И земля имеет уши. Есть на свете бог, а у бога есть ангелы. Они расскажут всему свету о вашей подлости. И вам тогда не уйти от мести!

— Пустомеля! — прошипел Кямшиш и двинулся к выходу. — Ежели угодно тебе, Озбак, слушай его сам...

Едва ступил Чирикба на зеленую траву, как в подземелье раздался выстрел — точно палкой ударили по пуховому одеялу...

— Давно бы так! — буркнул Кямшиш.

На расцветшей пышным цветом яблоневой веточке сидел дрозд. Кямшиш любовался им и, чтобы не испугнуть птицу, осторожно удалился прочь.

Кунцал вернулся домой очень расстроенный. На нем лица не было. Позвал в гостиную хозяйку и дочь. Сын, как обычно, отсутствовал.

— Всполошилась вся община,— сообщил он.— Все твердят о переселении в Турцию. Это уже не слова. Даже называют место сбора, названия турецких пароходов. Это не значит, что мы уедем завтра. Но надо быть готовым. Не сегодня-завтра турки займут Сухум. А где Сухум, там и Абжъаква.

Покорная жена горестно вздохнула и промолчала.

— Словом,— рассказывал Кунцал,— половина Абжъаквы увязывает свои пожитки. Не стоит, я полагаю, уходить отсюда последними, когда все удобные места на пароходах будут заняты.

— А не ехать нельзя? — спросила Гуаша.

— Нельзя! — раздраженно ответил Кунцал. — У тебя глупая голова! Ежели едут все, можно ли раздумывать? Ехать — так ехать! Молочные братья едут. Воспитанник мой едет. Надо резать кур, гусей, индюшек. И корову, пожалуй. Надо собрать все самое необходимое. В Турции, говорят, мы получим жилье и пропитание.

— Делать нечего, надо собираться,— сказала жена.

Кунцал с укоризной глядел на дочь: ему не нравилось это не в меру озабоченное девичье лицо.

— Что же ты молчишь? — обратился он к ней. — Ты думаешь, мне очень приятно бросать насиженное место?

Дочь яростно наматывала на указательный палец кончик длинной косы. И, точно собравшись с духом, резко и горячо выложила свое мнение. Смысл ее слов не допускал двух толкований. И чем больше говорила она, тем удивленнее смотрели на нее отец и мать. Они не узнавали ее, будто это была не Гуаша, дочь их, а чужая, незнакомая девушка.

— Может, вы и правы,— говорила дочь.— Может, я не умна. Думайте, что хотите! У меня свое желание и своя голова. Хотите все бросить? Бросайте! Хотите зарезать последнюю корову? Режьте! Берите с собою

кур, индюшек! Но всего не увезете! Вы еще вернетесь сюда! А я останусь стеречь добро.

Отец развел руками. Его словно обухом по голове хватили. А мать испуганно поглядывала то на дочь, то на мужа.

Кунцал наконец проговорил:

— С самого сотворения мира такого еще не слышно. Чтобы дочь перечила своим родителям? Нет, не бывало такого. Может быть, мир перевернулся?

Но Гуаша была непреклонна.

— Я свое сказала,— заключила она с удивительным упорством. И с плачем выбежала вон.

— Что с нею? — спросил Кунцал жену.

— Не знаю.

— Как так не знаешь? Вы же все время вместе, с утра до вечера о чем-то болтаете. О чем же все-таки тараторите?

— Разное бывает. А что с нею — ума не приложу. Чем-то озабочена. Молчит. На бобах гадает...

— Может, что-нибудь... этакое? Ну, любовь, что ли?

И тут преданная жена не могла утаить, она намекнула «на этого самого Воубу». Но о женитьбе разговора пока не было. Ведь мальчик он еще, ученик, и жизни не знает, за перевал ни разу не хаживал...

— Наверное, это он! — решил глубоко огорченный Кунцал. — Его отец затыкает уши, когда о Турции говорят. Обидел моего воспитанника. А посему знать никого не хочу из рода Воуба! Чтобы Платона здесь больше не видел! А застану с нею — убью! Так и знай! И дочери скажи: все напрасно — силой ее заберу. Свяжу и заберу!

Женщина в отчаянии всплеснула руками.

Кунцал понизил голос:

— И с Астандой чтобы прекратила перешептывания. Она, говорят, к абрекам подалась. Из дома бежала. Просто срам! Дядя ее убивается. «Воспитаешь, говорит, родственницу, а она плюнет и сбежит без всякой благодарности». Хорошо, что мы не взяли к себе родственницу-сироту. Помнишь Мадину? Все они на один лад! Так вот, чтобы подальше от Астанды держалась!

И сердитый Кунцал ушел со двора.

Мать кликнула дочь, усадила рядом с собой. Она одинаково любила и мужа, и дочь, и сына. Можно ли их делить, если все они глубоко в ее сердце? Ей очень не хотелось, чтобы Гуаша огорчила отца. Сын тоже рвался в Турцию. Все родственники собираются туда же. Что же будет делать Гуаша одна в пустой Абжъакве? Мать умоляла ее одуматься, не губить себя и родителей, которые дали ей жизнь и готовы на все ради ее счастья...

Гуаша приласкалась к матери. Погладила ее шершавую руку, огрубевшую в бесконечных трудах. Поцеловала в шею, прижалась к худым щекам.

Гуаша намекнула, что дело обстоит серьезнее, чем кажется...

При этих словах мать отшатнулась от нее. Но дочь тут же успокоила ее: нет, нет, это совсем не то, о чем подумала мать. Она такая же, как прежде... Но сердце? А душа? А любовь? Разве все это пустяки? Да, она любит Платона! И они условились пожениться. Да, она останется с ним! Это ее последнее слово! И не отступит от сказанного. Если даже ее повесят!

— А вот Астанда? — спросила мать. — Это правда?

— Что правда?

— Будто сбежала она...

— Астанда смелая, — объяснила Гуаша, — бежать ей некуда, да и незачем. Она просто объявила себя абреком и ушла с Кутатом. Вот и все! Кому угодно, может охать и ахать. Она свою дорогу ищет! И найдет.

Мать была в ужасе. Боже, какие речи! Хорошо, что никто их не слышит!..

Гуаша потрянула головой.

— Мама, — воскликнула она, — я не вправе учить тебя! И я никогда этого не посмею. Учти: отец и брат с ума сошли. И не только они. Вся Абхазия! Ну и плывите с богом! Я останусь в этом доме! А когда вы вернетесь сюда без куска чурека, голодные, нищие, умирающие, я встречу вас...

— Что ты говоришь? — остановила ее мать. — Тебе не пристали такие слова... Скажи мне... Нет, прислони голову ко мне. Скажи мне, доченька, что это не последнее твое слово.

По щекам ее текли слезы. Тускло светились усталые глаза стареющей матери.

Гуаша тоже плакала, и все-таки она нашла в себе силы, чтобы сказать:

— Нет, мама, это последнее слово...

35

— Эй, великий мастер! — крикнул Кудаш Гулиа.

Из мельницы показался несуразно высокий, похожий на жердь человек. Черкеска его вся состояла из заплат самых разных цветов. А каждая заплатка под добрым слоем муки. И все лицо в муке...

— Как дела, Коблук? — продолжал Кудаш. — Будем молоть зерно?

Мельник пробурчал что-то невнятное.

— Что ты сказал, Коблук? Вода шумит, говори-ка погромче!

Мельнику пришлось повторить погромче:

— Дело наше, говорю, такое — хуже не придумаешь. Давай зерно! Через час получишь муку.

— Ого! Это неплохо!

— У людей нет зерна. А до нового урожая прорва времени. Надо подтягивать пояса. Побольше ешь соли и пей воду — вот и будешь сыт.

Мельник сгрузил с арбы два мешка и поволол их к жерновам. Кудаш отпряг буйволов, пустил на волю, а сам отправился под тень ореха. Там уже отдыхали двое. Один из них был Азиз Гуатас-ипа, а другой — Шамиль Гунба. Кудаш весело поздоровался с ними, а затем сладко растянулся на траве.

— Много ли привезли? — спросил Кудаш.

Шамиль безнадежно махнул рукой. А Гуатас-ипа сказал:

— Горсть в подоле черкески.

— Погоди, — заметил Гулиа, — дадут турки жару, и еда во все из головы вылетит. Слышали, что наделали они в Сухуме?

— Еще бы! — отозвался Гунба. — Полгорода, говорят, перемололи. Одна пыль осталась.

— Э, брат, да ты, видно, человек осведомленный! — воскликнул Гулиа. — Расскажи-ка, что произошло. Да поподробнее.

Гунба признался, что собственными глазами ничего не видел, от других слышал. А говорили люди сведущие.

— Подошли, значит, корабли,— продолжал Гунба,— к Сухуму нашему. Их было видимо-невидимо. Может, целая сотня. А на каждом корабле — тысяча пушек. А может, и больше. Стали турки против города и давай палить! Словно град посыпался на головы. Разбежались, значит, горожане. Попрытались кто куда, точно тараканы. Загорелся, значит, город. Словно свечи, запылали дома. К утру огонь унялся. Да и зачем ему было пылать, ежели сожрал все, что мог! Вот такие-то дела! А ты здесь про кукурузу толкуешь. Голова бы уцелела в этой водоверти — и то большое счастье!

Кудапш слушал Гунбу с недоверием. Под самым боком, можно сказать, снесли целый город, а он этого и не почувствовал... И он высказал вслух свои сомнения.

— Такова жизнь,— возразил ему Гунба.— Один умирает, другой процветает. Очень часто невдомек живому, что под его боком кто-то на тот свет отправляется.

— Пожалуй, ты прав,— согласился Кудапш.— Надо хорошенько подумать... Дайте-ка покурить. Есть у вас курево?

Гуатас-ипа достал кисет из бычьего пузыря и философически заметил:

— Можно курить сколько угодно. Можно задохнуться в табачном дыму. Но пользы будет мало. Лучше раскинуть мозгами. Однако мы, кажется, разленились думать. Знаете, на кого мы похожи?

— На кого? — спросил Кудапш, попыхивая трубкой.

— На ацанов.

— Каких это ацанов?

— Слышал, наверное, о всемирном пожаре?

— О потопе?

— Нет, я говорю о пожаре. Не знаешь, как это случилось?

— Позабыл, должно быть...

— Так ты слушай. Очень давно, много-много лет тому назад, — начал Гуатас-ипа, — проживал на земле

народ по имени ацаны. Это были маленькие люди. С локоток. Не больше! Они разводили коз. Козы вырастали с корову. Серые такие, мышастенькие. С огромными рогами. И бородатые. Бороды у них чуть не по земле волочились. Легкие, пушистые бороды. Эти ацаны любили козье молоко. Упивались им, как мы с вами вином. Жили они в маленьких шалашах, сплетенных из стеблей папоротника. На дрова шли те же стебли. Деревни стояли тесно, одна рядом с другой, а в каждой из них — дом к дому... Так и жили... Однажды засушливое лето выдалось. Ни дождя, ни росинки за весь июнь, июль и август. Повыхажали моря и реки. Народ умирал от жажды. Кое-как рыли колодцы. Копались, словно кроты. И вот однажды затряслась борода у самого главного козла. Увидел это умный ацан. Как видите, и среди маленьких оказался умный. И целый час просидел возле козла... А борода все трясется. Побежал умный ацан в деревню. Кричит во все горло. Сбежались карлики. Слушают умного ацана. А тот говорит: «Борода, говорит, трясется у нашего козла». Ацаны смеются. «Пусть трясется», — говорят. «Вы нечестивцы, — говорит умный ацан. — Вы глупцы. Из ума выжили. Разве невдомек вам, что все это значит?» — «Не знаем! — говорят. — И знать не хотим». — «Ну что ж, — говорит умный ацан, — может быть, найдется хотя бы один с головой, пусть он поймет меня. Этот козел, — говорит ацан, — вернее — его борода беду предрекает. Быть ветру, говорит, урагану! А до того падет снег. Снег не простой. А из ваты. На вату слетит огонь. С неба. Вата загорится. Потом подымется ураган и разнесет пламя по всему свету. Вот что значит трясущаяся борода!» Глупые ацаны засмеяли умного. Пропустили его слова мимо ушей. И что же? Все вышло так, как предсказывал умный ацан. И с тех пор исчезли ацаны. Сгорели. Не послушались умного, у самих своих мозгов не достало. С тех пор и пошло проклятие: «Чтоб своего ума не достало и умных советов не слушался». К чему я это веду? Вот стоим мы, можно сказать, у пропасти. И ничего! Как будто так и положено. А я говорю: пока живы, уходить надо!

— В Турцию, что ли? — спросил Гунба.

— А куда же! Увидите — грянет гром в один прекрасный день, и сразу всем захочется в Турцию. А это не так-то просто! Будем на солнцепеке дохнуть в ожидании кораблей!

Кудаш спросил Гуатаса-ипа:

— Сам-то ты собираешься?

— А кто сказал, что нет! Каждый день сворачиваю головы курам, индюкам, режу телок. Словом, живу что твой князь. Скоро съедим корову и быка. У меня вещички увязаны... Уеду! Не желаю жить под царем! У меня, брат, обида на него большущая. Приходит ко мне русский чиновник в зеленой фуражке и с золочеными пуговицами. Это недавно. Расспрашивает о том о сем и мои слова в бумагу заносит. А клонит он вот к чему: дескать, ты раб, и тебя надо освободить. Я не выдержал и прогнал его: пусть знает, кто раб, а кто господин! Нынче они рабами нас обзывают, вроде бы освободить хотят, а завтра напомнят, что мы были рабами, и наденут железные наручники. Нет уж, по мне наши князья и дворяне много лучше. Все-таки наши. И обычаи у нас общие. Куда они, туда и я! В Турцию — так в Турцию!

Гулиа взглянул на небо. Перевел глаза на горы — зеленые, что вблизи, и снежные, что вдалеке. Очень уж хороша абхазская земля, и небо над абхазской землей тоже доброе! Неужели же бросать все это и идти в чужую землю, под чужое небо? Гулиа почесал затылок.

— Говоря откровенно, — сказал он, растягивая слова, — мне и здесь не плохо. От добра добра не ищут. Ежели уедут все, тогда уж нечего одному околачиваться. Гулиевцы решили ехать, ежели к тому вынудят. Однако уарчинские и эшерские Гулиа упрямятся. «Мы лучше, говорят, на своей земле умрем. Со своей земли, говорят, где лежат кости наших дедов и прадедов, никуда не уйдем. Мы, говорят, плюем на войско султана. Мы постоем за себя, говорят. А зайцы пусть бегут, говорят!»

— Это кто же зайцы? — возмутился Гуатас-ипа. — Абхазское дворянство? Или князья?

— Выходит, они. — Гулиа поправился: — Так говорят эшерские и уарчинские Гулиа.

Гуатас-ипа разозлился не на шутку. Дождутся, говорит, эти чудаки своего, узнает об их болтовне князь Чачба и покажет им, где белое и где черное, укоротит им языки! Нехорошо, когда задирают носы. Да он, Гуатас-ипа, слышал об этих уарчинских и эшерских Гулиа. Будь на то воля Гуатаса-ипа, поговорил бы с ними на языке Чирикбы! Перед абхазцами одна дорога — в Турцию. С того, кто помешает великому переселению, голову долой!

Кудапша оскорбил этот выпад против его однофамильцев, которые, по абхазскому обычаю, приходились ему братьями. Гулиа нахохлился, покраснел от возмущения. С трудом сдерживая себя, процедил сквозь зубы:

— У них своя голова. А кому не терпится наказывать их, пусть попробует!

Кудапш потряс кулаком и обрушил его на мягкую землю.

Но Гуатас-ипа не привык отступать.

— На своем веку,— сказал он,— я видел всяческую мерзость. Не терплю людей, которые упрямы точно мулы! Твои родственники, Кудапш, напоминают мне мулов.

— Что еще скажешь? — бросил Гулиа.

— Скажу, что уарчинцы и эшерцы спохватятся, но поздно будет. Ежели переселятся князья, за ними последуют все.

— А ежели в пропасть попрыгают?! — воскликнул Гулиа.

— Они же не сумасшедшие...

Гулиа что-то пробормотал.

— Значит, Кудапш,— медленно проговорил Гуатас-ипа,— ты полагаешь, что князь Чачба сумасшедший?

— Я этого не говорил.

— А я слышал собственными ушами. Только что! И мы здесь не одни, спросим Гунба.

Гунба растерялся. Он мысленно проклинал тот час, когда явился на эту мельницу. Благоразумнее всего примирить Кудапша и Гуатаса-ипа. И он призвал их сохранять хладнокровие, проявить благоразумие и так далее.

— А затем,— продолжал он,— обсудите все честь честью. Не ругайтесь. Не ссорьтесь. Мы не знаем, что будет с нами завтра,— а вы?! Чего доброго, и кровь прольется. Нет, это не гоже. Хотите, скажу, что ожидает всех нас — тебя, Азиз, и тебя, Кудаш, и меня, и эшерских Гулиа, и уарчинских Гулиа? Все решится помимо нашей воли. Никто с нами не станет советовать. Это большое дело. Не нашего ума. Надо смириться. А другого выхода нет. Земля есть и в Турции. Горбы нужны и в Турции. Земля, стало быть, будет, горбы у нас имеются — чего же еще? А ежели вам охота перегрызть горло друг другу — пожалуйста! Зубы у вас крепкие, горло тоже имеется у каждого. Грызитесь! На здоровье!

Гунба почти кричал фальцетом. Из мельницы выглянул сумрачный мельник. Приложил ладонь козырьком к глазам. Недоумевая, приблизился к ореховому дереву.

— Что с вами? — спросил он. — В драку лезете? Могу кое о чем напомнить. Вот на этом самом месте, где лежите, три года тому назад пристрелили несчастного Смыра. Да, да, на этом самом месте! А шесть лет назад здесь же окачурился гумский Нанба. Уснул и не встал. Слышите. Шесть лет назад! Каждые три года. Значит, пришел час кому-то отправиться на тот свет. Только не знаю, кому из вас. Что до меня, предпочитаю слушать шум воды.

И снова скрылся в мельнице. Это был настоящий работяга. Вол в человеческом образе. Рожденный для труда, выросший в труде.

Трое под деревом приумолкли. В самом деле, мельник воскресил в их воображении не самые лучшие воспоминания. Верно, несчастливое это место. Гуатас-ипа покинул собеседников. Даже не попрощался.

Гулиа сказал Гунба:

— Ежели б не ты, я бы расправился с ним. Лучшее средство для дураков — кизиловая палка! — И он потряс своей клюкой.

Гунба смотрел на дело несколько иначе. Стоит ли задирать человека, который может шепнуть князю любую гадость,— и тогда прощай семья, дом и жизнь! Язык следует держать за зубами. Таков закон жизни, похожей на водоворот. Осторожность — великая вещь.

Лучше трусость, чем безрассудная храбрость. Вот мудрость, которой придерживается Гунба, и не без успеха. Ибо мудрость эта родилась не сегодня, а перешла от прадеда, деда и отца...

Кудапш горячо возразил:

— Человек живет раз! Нехорошо прослыть трусом!

— Верно, живет раз. Поэтому и надо дорожить жизнью, не отдавать ее за грош любому подлецу. Наши священники говорят: «Око за око, зуб за зуб». Это верно. Но не всегда. Не следовало тебе ссориться с Азизом. К чему?

Кудапш задумался.

— Око за око,— продолжал Гунба,— только в самых крайних случаях. Когда уже не вмоготу. Когда ни сил, ни терпения не хватает.

Кудапш грустно улыбнулся.

— А все-таки неплохо было бы проучить этого забияку,— сказал он упрямо.

36

На берегу реки Килашур был найден труп Таташа Ачбы. Бурка покрывала его с головы до ног. Папаха и оружие лежали рядом. На нем обнаружили единственную, но смертельную рану. Пуля попала прямо в лоб. Таташ, как видно, мужественно встретил ее. «Неужели он прибыл из Турции для того, чтобы найти смерть на берегу Килашура?» — сказали люди.

Ачба, подобно Озбаку Маану, сновал по общинам, разнося удивительные рассказы о райском житье-бытье за морем. Накануне гибели он гостил в Багбаране и Мархеуле. Потом его видели в Абжъакве. Но как он попал на берег Килашура, где его заботливо уложили на живописной лужайке? Что его потянуло сюда?

Озбак Маан пережил тяжелые часы, узнав о гибели своего друга. Убийство, несомненно, было тщательно подготовлено. Озбак высказал Чирикбе свое мнение: дескать, это дело рук не одного человека. И даже не двух. Покойный не принадлежал к тем простачкам, которые дешево продают свою жизнь. Чирикба знал, что братья Нанба из села Гума скрылись и не бывают

дома. Ему сообщили, что Астанда Уардан тоже ушла из дома. Чирикба не сомневался, что убийство Таташа — дело рук братьев Нанба и еще кое-кого... Но кого — это до поры до времени оставалось тайной...

По этому поводу с ним разговаривал князь Бабыш Чачба. Он подтвердил, что килашурский Чачба обеспокоен дерзким убийством. Тело Ачбы найдено в Килашурах, и это накладывает на Беслана особое обязательство: абреки должны быть разысканы и строго наказаны. Чирикба недоумевал: люди, казалось, зажаты в железный кулак — и вдруг такая невадача...

— Ты слишком самонадеян, — выговаривал ему Бабыш. — Твое подземелье пугает только женщин да детей. Или ты найдешь виновников, или сядешь в пещеру сам!

При этом разговоре присутствовали трое дюжих парней из княжеской свиты. Они прекрасно владели оружием. Каждый из них сбивал летящего воробья. Эти качества хорошо были известны Чирикбе. Присутствие парней означало, что Бабыш теряет доверие к палачу. В один прекрасный день Чирикба мог занять место рядом с одной из своих жертв в подземелье. И даже очень просто...

«Эти головорезы, — не без страха подумал Чирикба, — кажется, жаждут моей крови. О, сволочи!» Он дал себе зарок когда-нибудь поговорить с ними по-свойски.

Через несколько дней Кямшиш Чирикба нащупал следы преступников. Его предположения подтвердились: братья Нанба, несомненно, причастны к убийству Таташа. А заодно с ними и Астанда. Но он не мог понять: «В чем перед ними провинился Ачба? Оскорбил кого-нибудь из Нанба? Вроде бы нет. Старая ли вражда? Тоже как будто бы нет. Странное убийство», — решил Чирикба, не подозревавший, что есть на свете люди, мстящие не только за себя, не только за родственников своих, и что есть на свете боль сильнее собственной — боль народная...

Он разослал своих доверенных в соседние общины. Наказ был прост: выяснить доподлинно, кто ушел в

лес, в абреки; выяснить, в чем вина Таташа Ачбы перед ними; наконец, кто убил его...

Однако все открылось неожиданно. И ответ на эти вопросы пришел совсем с другой стороны.

Брат Гуаши, Шарах, любопытствовал, что делается на берегу моря. Но, к своему великому огорчению, ничего там примечательного не увидел: пустынный залив — только и всего! Он возвратился домой, понутив голову: уж очень хотелось ему ехать в Турцию, уплыть далеко-далеко, хоть на край света.

— Там нет пароходов, — сказал он отцу.

— Как так? — удивился отец. — Мой воспитанник сказал, что они стоят с вечера.

— Не видно даже фелюг.

— Ты сказал об этом Татластану?

— Заходил к нему.

— Что же он?

— Передавал, чтобы ты готовился. «Не сегодня-завтра, говорит, пароходы придут».

— Слышишь? — обратился Кунцал к жене. — Надо торопиться. Воспитанник тоже собирается. Не правда ли, Шарах?

Тот утвердительно кивнул. А потом отозвал отца в сторонку и сообщил ему шепотом:

— Вчера убили Ачбу Таташа.

— Слышал.

— Я знаю, кто.

Кунцал отвел сына на середину двора, чтобы никто не мог их услышать.

— Это Кутат, — сказал Шарах. — Нанба Кутат из Гумы. Он уговорил Астанду уйти вместе с ним в абреки.

— Да, болтают разное, — сказал отец.

— Я все знаю, — утверждал Шарах. — Иду я, значит, утром через Аныха-Апаара, вижу — чьи-то лошади. А возле них эти самые... Астанда и Кутат. Вооруженные. С головы до ног.

— Неужели и Астанда?! — поразился Кунцал.

— Она самая. Заметили меня. Изменились в лице. Всех видел! Астанда поздоровалась. Спросила, как живу, куда иду...

— Ну, а ты?

— Сказал, что никуда не иду, а живем, говорю, хорошо.

Кунцал в раздумье потирал щеку.

— Придержи язык,— посоветовал он сыну.— Тут такое делается, что сам черт шею свернет... И Астанда туда же! Ну и времена! Это она своротила Гуашу с прямой дороги. Вот что, Шарах: сбегай к Татластану, назови ему всех, кого встретил на горе. Только ему! Слышишь?.. Да передай, чтобы все это между нами было. Ежели кто узнает — беда! Абреки беспощадны. Слышишь?..

Через полчаса Татластан внимательно выслушивал молодого человека. С жаром поклялся никому ни слова не говорить об этом. Выпроводив Шараха, Татластан тотчас же заковылял к Чирикбе...

А в это самое время Астанда и Кутат находились у кузнеца Киамина Уардан. Они признались кузнецу, что решили посвятить себя кровавой борьбе против Чирикбы.

Кузнец слушал их что называется с разинутым от удивления ртом, не выпуская из рук молота. Он никак не думал, что и дети могут действовать столь решительным образом (в его представлении и Астанда и Кутат — сущие дети). Киамин почти насильно угостил их обедом. Ибо, пояснил он, абреки едят там, где застанет их обеденный час, спят там, где застигает ночь.

— Ответь откровенно,— попросил кузнец Кутата.— Только откровенно...

— Готов,— сказал Кутат.

За последние дни он словно раздался в плечах, и в голосе его появилось звучание меди.

— Ответь мне: кто застрелил Ачбу Таташа?

Кутат вытянул правую руку.

— Она,— сказал он твердо. .

— Дай мне ее.

И кузнец с силой потряс руку Кутата. А затем обнял его и поцеловал в лоб.

— Таташ слишком нагло обманывал доверчивых,— пояснил Кутат,— и вел себя слишком подло.

— Знаю, Кутат... Что же теперь будет с Озбаком?

— Мы ищем его.

— А с Кямшишем?

— Я все утро поджидал его на горе.

— Молодец! Ай да Кутат!

Кузнец подошел к наковальне и застучал молотом — просто так, от избытка чувств.

— Ты, надеюсь, не рвешься в Турцию, Киамин?

— Нет,— ответил кузнец.— Мне и здесь не плохо. А кому хочется жить под султаном, может ехать. Скартертью дорога!

В кузницу вбежал мальчик, подручный кузнеца.

— Я передал все, как надо,— сказал он скороговоркой.— Чинчор скоро явится, так он велел передать.

— Молодец! Быстро же ты сбегал! А теперь — работать! — приказал кузнец подручному.

Вскоре появился в кузне Чинчор Воуба. Он был одет по-домашнему — в одном архалуке нараспашку, в сыромятных чустах без ноговиц.

Кузнец указал ему на молодых людей, не переставая ковать.

Кутат и Астанда поднялись навстречу Чинчору.

— Так, так,— сказал Чинчор.— Вот какие, значит, вы теперь. Абреки, значит? Ну, как живете?

Астанда стыдливо отошла в сторонку — так предписывал обычай молодой жене.

— Где Платон? — спросил Кутат.

— В Сухуме.

— Все учится?

— Продолжает.

— Сообщи ему, Чинчор, что есть дело, которое отлагательств не терпит. Передай, что птичка может улететь. Против ее желания. Так и скажи. Он все поймет сам.

— Что еще?

— Пусть скорее решает. Ночи не спит, а решает! Не такое нынче время, чтобы стишки наизусть заучивать. Передай от Астанды привет. И расскажи все, что знаешь о нас.

— Завтра же схожу к нему.

— Сходи. Не мешкай, Чинчор. Это необходимо для нас всех. И для тебя в том числе. Ты уплываешь в Турцию?

Чинчор сплюнул.

— Пусть плывут Чачба и Чирикба! С места не двинусь. А на тебя в обиде, Кутат.

— За что?

— Мог бы разок переночевать у меня.

Абрек поблагодарил его.

— Когда-нибудь, Чинчор... Ну, а теперь мы прощаемся с вами. До свидания.

Абреки сели на коней и медленно направились в сторону Гумы.

Кузнец подозвал к себе подручного и ни с того ни с сего дал ему звонкую оплеуху. Мальчик ахнул. Схватился за пылающую щеку.

— Ты умный мальчик, — сказал преспокойно кузнец. — Ничего твои глаза не видели. Понял?

Мальчик взял в руки клещи и молча отошел к горну.

— За что ты его? — с упреком спросил Чинчор.

— Умнее будет, — ответил кузнец. — Детей надо учить так, чтобы урок из головы не шел. Советую и тебе то же.

— А кого мне учить?

— Хотя бы Платона. Нечего ему сидеть в Сухуме. Горит абхазская земля. Народ мечется как угорелый. Нужны ученые головы здесь, а не там, в Сухуме.

Чинчор не стал спорить. Озадаченный, покинул кузницу. Медленно побрел следом за своей тенью. Она словно тянула его за собой. А в затылок светило жаркое солнце. Постоишь на таком с полчаса — свалишься замертво.

37

Господин Гектор Эмхаа прогуливался по набережной в сопровождении двух поклонников изящной словесности — свирепого на вид толстяка средних лет и высохшего старца, с трудом передвигавшего ноги. Толстяк принаравливал свой шаг к шагу старца, а Гектор Эмхаа то забегал вперед, то вдруг отставал, чтобы затем в одно мгновение нагнать своих спутников. И, как обычно, размахивал руками, точно солдат на параде.

В этот майский день главной темой, естественно, служила Муза. Впрочем, разговор о ней переплетался с событиями последнего времени, истинным героем которых становился грозный Марс. Настоящий поэт, говорят, и в войне находит поэзию, давая волю своей фантазии. Не знаю, кто как, но сухумский поэт словно

расцвел за эту неделю. Бомбардировка Гумисты вдохновила его на новое поэтическое творчество. Нежная лира поэта обрела звон булата. Под защитой русского редута на плато Хат-Хуа поэт сочинил несколько стихотворений. Это были раздумья о красоте пожара, когда «твой слух ласкает громоподобная канонада». Гектор Эмхаа только что прочитал свои сочинения, и друзья оживленно обсуждали их.

— Прекрасно, прекрасно! — говорил высохший старик, неистово кашляя. — Учтите, дорогой друг, Гомер черпал свое вдохновение в Троянской войне. Поэт обязан воспеть даже бедствия войны. Певец находит в огне и крови проявления закономерности нашей жизни. Не правда ли?

Толстяк утвердительно кивнул. Эмхаа произнес:

— О да!

— Изящная словесность, — продолжал старик, — лелеет все изящное. Ведь на то она изящная. Разве огненная стихия, воспетая дорогим Гектором, не предстает перед нами во всей своей красоте, скажем точнее — изяществе? Прошу вас, прочтите эту строфу... третью или четвертую... Прошу...

Эмхаа кашлянул, отмахнулся от назойливых комаров и прочитал по бумажке:

И жарко огненные выи
Несли к высоким небесам,
И с чистой силою стихии
Рождался будто ангел сам.

Старик даже закашлялся от удовольствия и чуть не задохнулся. Он хлопал в восковые ладоши и сморкался в белоснежный платок величиною с добрую скатерть.

А толстяк мычал. Стихи ему тоже понравились. Мычал он без слов, ибо хотя и содержал мануфактурную лавку, все же не рисковал высказывать вслух что-либо определенное по поводу такой слишком нежной материи, как поэзия.

Эмхаа, как всегда в воскресенье, облачился в молочно-белую черкеску и ярко-красные азиатские сапоги. Непринужденно переваливался с ноги на ногу. Вертел во все стороны головой. Ему очень хотелось выпить, но отсутствие денег в кармане воздвигало непреодолимое препятствие. А в кредит было неохота.

— Удивительное дело жизнь,— проговорил толстяк, вытирая потный лоб.— Вчера, думалось, все в тартарары провалилось, а сегодня солнышко светит. Словно и не бывало турецких кораблей!

— А что, дорогой Ражден,— обратился к нему Гектор,— напугали тебя эти бестии?

— Еще бы! — признался владелец магазина.— Однако в тяжелый момент человек, оказывается, может и в герои выйти.

— Почему в тяжелый? — спросил Эмхаа.

— А как же! Куда мне деваться, если город займут башибузуки? Где магазин, там и я. Не возьму же я под мышки весь товар! А без него я не Ражден, а черт знает кто!

— Это верно,— согласился поэт.— Где хорошо, там и родина. Человек без денег — просто сволочь.

— Если не хуже,— сказал старичок.

— Господа! — воскликнул Эмхаа.— Вы слышали? «Где магазин, там и я». Это же знаменитое римское изречение: «Омниа mea mecum porto». Все мое ношу с собой! В самом деле, желаем мы того или нет, а носим с собою все самое ценное. Я — свои стихи, Ражден — свою мануфактуру, вы, господин Астамур... — Поэт задумался. Покопался на старика. — А вы, мой Астамур, — свои глубокие мысли. И так далее. Ражден останется в Сухуми при любых обстоятельствах... Вам тоже некуда и незачем бежать, Астамур. А кто помешает моей поэзии? Султан? Никогда!.. Э, кого я вижу! — радостно вскричал поэт, поспешив на встречу командиру конно-иррегулярной сотни Бате Эмхаа.

Офицер, звеня шпорами, шествовал рядом с Тамелом Багапшем. Грудь колесом, взор орлиный. Настоящий герой! Еще бы! Именно он, а не кто-либо другой отогнал турецкие фелюги с десантом.

— Мы не оскудели героями,— провозгласил поэт,— и нам не страшны башибузуки! Дорогой Бата, я пригласил бы всех вас в ресторан, но нынче магарыч за тобой. Слушай же:

И с шашкой наголо наш Бата
Стремглав несется на врага,
Крича: — За мною! Эй, ребята,
Быку обломим мы рога!

— Что скажешь, Тамел?

Учитель сказал, улыбаясь, что не стоит затягивать дело с магарычом.

— Ну что ж, — сказал польщенный командир сотни, — магарыч так магарыч! Действительно, пришлось таки поработать.

— Расскажите же, расскажите нам! — взмолился старикан. — Разные ходят слухи, а достоверного мало. Напугали их, говорят.

Бата подбоченился, горделиво запрокинул голову — едва папаха не слетела...

— Не то слово. Сотня моя вступила в дело при полной темноте, — проговорил он с чувством. — Укрывшись за деревьями, мы ждали десанта. Когда орудийный огонь усилился, я отдал приказ залечь в ложементы, выкопанные еще неделю тому назад. Башибузуки были встречены губительным огнем. Нам, доложу я, отвечали весьма энергично. Они, несомненно, были вооружены новейшими магазинными ружьями «Пибоди-Мартини», о чем я уже сообщил генералу. После часовой перестрелки, видя нашу полную решимость защищать берег, враг принужден был обратиться вспять.

Старик слушал внимательно, словно проповедь епископа. Мотал головой и даже слюни пустил от умиления.

— Bravo! — сказал он. — Брависсимо! Дайте расцелую вас, дорогой Бата!

Эмхаа подставил ему щеку.

Толстяк горячо пожал герою руку.

— Султану не видать Сухума как своих ушей! — проговорил Бата. — Покуда жив хотя бы один кавалерист из моей сотни, башибузукам не снести головы. Клянусь вам честью!

День был по-летнему теплый. Комары, почуяв, что температура поднялась достаточно высоко, и вдобавок ко всему каким-то образом убедившись в том, что термометр на фасаде часовой мастерской Пенькова показывает двадцать градусов по Реомюру, а грек Кириако вынес столики из кофейной на грязный тротуар, под открытое небо, невероятно ожесточились. Они кружили вокруг князей и дворян, простых горожан и ниж-

них чинов, мужчин и женщин, — словом, не разбирали никого и ничего и жалили всех почти безнаказанно.

Восковой старик не обращал внимания на выходки комаров. Его в настоящую минуту занимали более важные дела, а именно — военные.

— Что слышно с Балкан? — спросил он бравого офицера. — Говорят, туговато русским. Это правда?

Бата Эмхаа сказал, что ничего подобного и слыхом не слыхивал. Вести свидетельствуют как раз об обратном. На Анатолийском фронте положение могло быть и лучше. Но ничего, бог даст, все обойдется.

Старичок оказался большим стратегом. Насколько позволяла ему фантазия, он довольно бойко набросал собственный план военных действий. Войска Лорис-Меликова, дескать, должны двигаться все на юг, все на юг, к сирийской границе и далее — к Палестине и Египту. А войска на Балканах должны идти на запад с тем, чтобы ударить по Турции через Сербию, Боснию и Герцеговину, Албанию и Грецию. Зажатый в клещи, султан неминуемо сложит оружие. Это произойдет в июле или августе сего, то есть тысяча восемьсот семьдесят седьмого года. При такой стратегии султану будет не до Абхазии, и он оставит наконец в покое Черноморское побережье.

Бата Эмхаа, как человек военный, не мог согласиться с мнением воскового старичка. И не потому, что усматривал в его стратегии какую-либо ошибку. Вовсе нет. Он даже и не представлял точно, где находятся вышеназванные страны. Не мог же согласиться Бата из вполне понятного чувства противоречия: он — командир сотни, а старичок — экспонат из паноптикума.

И Эмхаа в один миг обратил ход событий в ином направлении. Вообще, рассуждал он, Лорис-Меликову, хотя и дока он, нечего было лезть с кондачка в драку. Батум — вот главное направление! Берегом моря, все берегом моря — и, глядишь, мелькнет перед тобой Истамбул, а тут и войне конец!

Толстяк поддержал этот план усиленным мычанием. Поэт захлопал в ладоши.

— Bravo! — воскликнул он. — Сразу видно рубашку. Нечего церемониться с башибузуками! Надо

выпить за твой гениальный план, милый Бата, и за военный талант заодно!

Тамел Александрович слушал эти речи с насмешливой улыбкой. Вступать в спор не имело никакого смысла. Однако и смолчать нелегко было.

— Господа,— сказал Багапш,— хорошо делать замечания по поводу войны. Но я хочу сказать, что пока мы стоим на этом месте и рассуждаем, народ переживает тяжкие дни. Более того: если случится худшее — а это вполне вероятно, — абхазцы вообще исчезнут.

— Дорогой друг,— перебил его поэт,— в этот чудесный день, когда светит золотое солнце и переливчато поют соловьи, негоже плакаться на свою судьбу.

Багапш вспыхнул.

— Я плачусь не о своей судьбе. На твоём месте я кое над чем призадумался бы!

— Это намек? — обиделся поэт.

— Нет, не намек! — отрезал учитель и продолжал, обращаясь поочередно к каждому из собеседников. — Вы знаете, что многие общины готовятся бежать в Турцию? Народ пугают войной на абхазской земле, морочат головы разного рода посулами. Эмиссары султана действуют безнаказанно. Наши князья и дворяне... — Багапш поправился: — Некоторые наши дворяне не только не препятствуют всему этому, но сами поощряют эти безобразия. Они подают дурной пример, собираясь за море. В высшей степени дурной! Я спрашиваю вас: если народ, не дай бог, переселится за море, что же будем делать мы?

Поэт снисходительно похлопал Тамела Александровича по плечу.

— Друг мой,— сказал он,— эта музыка совершенно из другой оперы. Ванитас ванилатум! Суэта сует, дорогой Тамел! Нельзя думать за всех и думать обо всем сразу. Вспомни: «Омне нимиум подет». Все излишнее вредно. Есть у тебя одна старая болезнь: ты излишне патриотичен.

— Возможно,— ответил Багапш.— Но надо ли думать о народе или не надо?

— При чем тут народ, господа?! — воскликнул старичок.

— Без него мы и гроша ломаного не стоим, — сказал Багапш.

Толстяк расхохотался. Чуть не упал, хохоча. От верного падения удержал его князь Бата Эмхаа. Толстяк сказал:

— Господа, даю слово, что не ликвидирую свой магазин, если даже вся Абхазия перекочует в Турцию.

Багапш посмотрел на него так, как смотрят на раздавленного дождевого червя. Обвел взглядом всю честную компанию.

— Ладно, господа, — сказал он, — вас не проймешь. К сожалению, я тороплюсь и не смогу поднять тост за нашего героя. Это я сделаю в ближайшее же время... Да, — спохватился он, — чуть не забывал. А вы не забыли, господа, что завтра годовщина?

— Какая? — спросил поэт.

— Годовщина? — протянул Бата.

— Завтра, — сказал учитель, — второе мая. Исполняется шестьдесят девятая годовщина со дня гибели незабвенного Келеша Чачбы.

— Верно! — обрадовался поэт. — И я напишу стихи по этому поводу!

— Завтра утром состоится гражданская панихида на могиле князя. Я приглашаю вас, господа, от имени преподавателей и учащихся Горской школы. Честь имею кланяться!

И учитель удалился.

— Что это он? — сказал старичок. — Обиделся, что ли? А ведь гражданская панихида — это демонстрация. Дело, ей-богу, не обошлось без этого... как его?.. учителя Николаева...

— Бог с ними! — нетерпеливо воскликнул поэт. — Ну, дорогой Бата, надеюсь ты не раздумал? — И поэт величественным жестом, достойным слугителя муз, указал на ресторан «Лев».

— Значит, туда? — Князь Бата поднял левую ногу, чтобы двинуться вперед по команде «марш».

— Ад глориям! Ради славы! — закричал поэт на весь берег.

— Марш! — скомандовал Эмхаа, поведя неотразимую атаку на ресторан.

С утра набежали тучи. Они словно где-то прятались, выжидая удобного часа, чтобы заполнить все небо до последнего голубого клочка. И понедельник предстал свинцово-тяжелым, неласковым. Сухумцы удивлялись этой резкой перемене: солнце исчезло так неожиданно, словно оно и не светило накануне тепло и ярко. С моря подул ветер. Люди поеживались от сырости. Черноморская весна дохнула предосенним холодком.

Багапш немножечко расстроился, глядя на хмурое небо, пригнувшееся к самой Самата-арху. Издалека донеслись раскаты грома. К счастью, пока не дождало.

Ученики Горской школы попарно выстроились во дворе. В голове колонны два рослых ученика держали большой венок из живых цветов. На белой шелковой ленте рукою Николаева была выведена чернильная надпись: «Князю Келешу Чачбе от воспитанников сухумской двухклассной Горской школы». Ученики по команде Багапша вышли на середину улицы и направились к старинной Сухумской крепости. Николаев шагал рядом с Тамелом Александровичем. Он простуженно кашлял.

— Вы заболаете,— сказал ему Багапш,— лучше бы вам не ходить.

— Я не старик,— отшутился Николаев и крикнул ученикам: — Шире шаг, мальчики!

Могила князя Келеша Чачбы находилась в Сухумской крепости, где некогда стоял его деревянный дворец. Лаконичная надпись на сером граните напоминала о трагической странице в истории Абхазии. Князь погиб 2 мая 1808 года от руки собственного сына, посланного турецким султаном.

У могилы сошлись Беслан и Бабыш Чачба — родственники покойного князя. Гектор Эмхаа, командир сотни Бата Эмхаа.

По абхазскому обычаю, требующему почтить память покойного хлебом-солью, возле могилы был поставлен нарядный каштановый столик. Издали бро-

сались в глаза три пузатеньких зеленых штофа, наполненных крепчайшей водкой, чурек и белоснежный сыр.

Ученики окружили могилу тесным кругом. Возложив венок, они расступились. Багапш и Николаев заняли места позади высокопоставленных особ. Почтить память покойного явилась внушительная толпа горожан.

Князь Бабыш Чачба был мрачен. Он понимал, что гражданская панихида по князю скорее всего демонстрация. И организовали ее, без сомнения, эти два учителя. Он внимательно оглядел с головы до ног Багапша и Николаева.

— Этот учитель — бестия, — сказал он князю Беслану, кивая в сторону Николаева.

— Разве? — ответил Беслан. — А по-моему, просто больной человек.

Бабыш усмехнулся.

— Я не сомневаюсь, что он в свое время изрядно пошумел в Петербурге. Какой-нибудь ре-во-лю-цио-нер.

— Что?

У Беслана глаза по-рыбы округлились. Он представлял эту породу людей несколько иною. Тщедушная фигурка учителя не вызывала того трепета, который связывался со страшным словом «революционер». Князь решил, что Бабыш, по обыкновению, преувеличивает...

Килашурский Чачба, считавшийся наиболее уважаемым отпрыском князя Келеша, налил водки в грашенный стакан и вылил ее на могилу. Отломив затем куски чурека и сыра, он положил их на серый могильный камень.

— Господа! — крикнул Чачба неприятно высоким от напряжения голосом. — Сегодня мы, благодарные потомки светлейшего князя Келеш-бея, собрались вместе с вами, чтобы разделить давнишнюю, но все еще свежую горечь тяжелой утраты. В его лице мы потеряли любящего отца семейства, прекрасного пращура нашего, любимого всеми Чачбу, да и не только Чачбу. Его уважали все наши князья и дворянство за абхазское гостеприимство, за священную абхазскую хлеб-соль. Есть у нас хорошее слово — афырхаца, что значит герой из героев. Незабвенного Келеш-бея спра-

ведливо можно назвать князем из князей. Своей внешностью, осанкой, светлым разумом он являл пример для всех нас. Мы, благодарные потомки, навсегда сохраним в своей груди печальный образ старца, убиенного жестокой рукой. Мир праху твоему, дорогой Келеш-бей!

Князь выпил водку, поморщился и запихнул в рот огромный кусок сыра.

— Кто-нибудь скажет слово? — обратился он к Бабышу.

— Не имею понятия, — ответил тот, — но, должно быть, учителя...

Взволнованный предстоящей речью, выступил вперед Тамел Багапш. Он нервно мямл в руках фуражку.

— Господа, — обратился он к толпе, — мы только что выслушали слово князя Чачбы. Нам понятно горе прямых потомков незабвенного князя Келеша. Но о нем горюет вся Абхазия. И мне хочется сказать два слова по этому поводу.

Учитель развернул листок ученической тетради с текстом речи, которую набросал накануне. Евгения Петровна одобрила ее. В эту минуту она стояла в толпе с зонтом в руках. Она никогда не видела своего мужа произносящим речи. Однако, слушая Тамела Александровича, можно было вообразить, что он прирожденный оратор, всю свою жизнь обращавшийся к толпе.

— В годовщину гибели нашего владельца, — говорил Багапш, — мы не можем не отметить самого выдающегося подвига его жизни. Я смею назвать это подвигом, ибо не так-то просто было в то время возвысить голос против султана и заявить во всеуслышание, что порываешь с ним. Как нынче, так и тогда нашей маленькой, но геройской стране угрожала смертельная опасность. Как нынче, так и тогда наш город стоял перед опасностью нашествия жестокосердного врага. И в такое-то время великий Келеш не дрогнул. Он не преклонил колена перед могущественным врагом, но смело взялся за меч. Одновременно он обратил свои взоры на Север, прося защиты. Князь Келеш нашел в себе силы, чтобы сплотить абхазцев в борьбе против врагов, являя тем самым пример служения родной стране. Подобно орлу, оберегал он своими крыльями

народ, жаждавший мира и спокойствия. Наша святая обязанность — помнить его заветы о дружбе с Россией, ибо только на этой стезе видел он спасение и благополучие края. Давайте же поклянемся над этой могилой, священной для нас, что станем против султана стеною, вместе с народом пойдем к светлому будущему!

Багапш торопливо сложил бумагу вчетверо и отошел к Николаеву. Тот пожал ему руку повыше локтя и шепнул:

— Неплохо! Несмотря на всю мягкость ваших выражений, слова ваши князьям не по вкусу. Ну и черт с ними!

Свое новое стихотворение прочитал поэт Эмхаа. Все видели, как он размахивал руками, но не все поняли смысл его стихов. Они были написаны на манер средневековых од, отличаясь от последних значительно меньшим объемом, ритмом и блеском, что вызывалось особыми причинами: сочинять поэту пришлось рано утром и притом с больной от вчерашнего возлияния головой. Поэт обещал князю царствие небесное, отпущение всех земных грехов. Покойный изображался как герой, правой рукой разящий одних врагов, а левой — других. Особо подчеркивались его хлебосольство, княжеская гордость и обидчивость. Поэт читал:

Стан был гибок, как лоза,
И орлиные глаза,
Изысканная хлеб-соль —
Каплун, курятина, фасоль.
И абхазскою абыстой¹
Всех кормил ты, как детей,
Винограда сок лучистый
Не жалея для гостей.

Это была кульминация. Сияющий поэт закончил чтение и склонил голову перед светлой памятью князя.

— Молодец, молодец! — похвалил его Бабыш Чачба.

Поэт поклонился на три стороны и сделал шаг назад.

¹ А б ы с т а — мамалыга.

Багапш подал знак Николаеву. Тот поправил пенсне, откашлялся, расправил плечи. Подошел к могиле. Медленно обведя взглядом толпу, он произнес:

— Господа! Разрешите сказать два слова. Тамел Александрович Багапш хорошо говорил. Я бы только хотел добавить, что, каким бы умным ни был князь или монарх, дело решается простым народом — крестьянином, идущим за сохой, и той городской беднотой, которая пока презираема в обществе. И горе тому князю, который не желает прислушиваться к голосу народа! Его участи я не позавидую.

Князья насторожились. По толпе прошел многозначительный шепот.

— Сегодня не меньше, чем тогда, при князе Келеше, абхазскому народу следует иметь перед собой ясную картину того, что ожидает его в будущем. Если имущие классы не отрешатся от эгоизма, то народ постарается сделать все возможное для своего спасения. Народ, а больше и никто!.. Давайте вникнем в историю человечества. Что мы в ней увидим? Народ и прежде всего народ! Сила в народе, а не в августейших монархах. Тот, кто поймет эту истину, тот обретет великую духовную силу. Если и был крепок князь Келеш, то только потому, что последние годы своей жизни он все больше прислушивался к голосу народа... Господа, как прибавление к сказанному мне хотелось бы прочитать отрывок из сочинения господина Каменского «Келиш-бей». Оно написано лет сорок тому назад. Хочется верить, что отрывок этот не будет излишним и не утомит вас, но воскресит перед вами образ великого князя.

Когда шепот в толпе утих, Николаев начал читать: — «Смеркалось.

В одной из чище смазанных саклей, перед каминном, где тлело несколько ореховых бревен, сидел, задумавшись, Келиш-бей...

Поодаль, в самых непринужденных, вольных, свободных положениях, как Кавказская природа, в разных группах стояла верная стража Келиша, составленная из многих испытанных молодцов... Любимый сын Келиша-бея, Аслан, только что вернувшийся из поездки в Лыхны, по восточному обычаю, поджав ноги, сидел и курил трубку...

— Оставьте нас,— продолжал Келиш.— У меня есть дело к сыну.

Все вышли. Аслан встал, подошел к отцу. Долго молчали оба. Келиш начал:

— Чего хотят от меня турки, эти хитрые шалварники?.. Хотят, чтобы Келиш-бей, душою горец, ненарушимо хранивший доселе обычаи, как наследье, передаваемое между нами от отца к сыну, поправил долг дружбы и святой закон гостеприимства; грозят мне, мне, Келишу, за то, что я принял и укрыл Теер-пашу в своем доме, в своих владениях...

Мне ли бояться кого-нибудь? Мне ли, как ребенку, из страха выполнять чью-нибудь волю?.. Видно, Мешади, посол турецкий, подлый льстец, достойный раб своего властелина, успел уже заговорить тебя? Вы уже стакнулись?.. Я не ожидал, что ты будешь слушать шипение этой ядовитой змеи!.. Я выгнал его почти вон. Но ты, Аслан, ты вырос под небом свободной Абхазии... Что мне султан, хоть бы он владел мечом Мухаммеда! Умру, погибну первый, но не паду душой!..»

Эти слова были покрыты аплодисментами. Николаев продолжал читать, и все слушали его со вниманием, даже князя, которых сильно коробили выступления учителей.

Георгий Захарович закончил чтение при бурном одобрении публики.

Килашурский Чачба, уже достаточно охмелевший, обратился к нему.

— Господин учитель,— сказал он тихо,— вы сами это написали?

— Нет,— ответил Николаев,— я же сказал, что прочту отрывок из повести господина Каменского. Павла Каменского¹.

— А?! Каменского?! — пробормотал князь.

Однако Бабыш понял больше своего родственника.

— Я же говорил, что это подлец! — шепнул он на ухо Беслану сквозь плотно стиснутые зубы.— Он все говорил в нашу сторону, против нас.

— Как?!

¹ П. Каменский. Повести и рассказы. СПб., 1838, часть первая.

— Он нарочно выбрал такое место в книге, где о султанах пишется. Мы оскорблены, притом публично!

— Эге! — проговорил князь. — Ты, пожалуй, прав. Этого наглеца следует проучить. Скажи о нем смотрителю школы. А я непременно сообщу генералу. Черт знает что!

Багапш вместе с Николаевым повел учеников обратно в школу.

Горожане понемногу расходились.

Гектор Эмхаа выпил третий стаканчик за упокой Келеша. Бата не отставал от него. Опрокинули в себя несколько стаканчиков и князя Чачба.

Начал сеяться мелкий-мелкий дождик. На море тишина. Гладко, как на полу. Чайки летают у самого берега.

Разгоряченный спиртным, Гектор Эмхаа все более возмущался поведением учителей. Он ожесточенно размахивал руками, требуя внимания.

— Я их вижу насквозь! — орал он. — Эти учителяшки собрали своих чертенят и читали черт знает что! И это в вашем присутствии, дорогие чачбовцы!

— В самом деле, что это они здесь устроили? — сказал килашурский Чачба.

— Это называется манифестация, — пояснил Гектор. — Так начиналось и во Франции. После этого рубили королям головы.

— Как — королям? — ужаснулся князь.

— Очень просто: х-х-х! — Поэт провел ребром ладони правой руки по горлу.

Князя Чачба многозначительно переглянулись.

39

Это случилось в понедельник на тропе, ведущей из деревни Айбухца в Багбаран.

Около полудня Озбак Маан возвращался через Багбаран в Абжьякву. Он торопился, ибо тучи быстро сгущались и мог пойти дождь.

Маана сопровождали двое конных из окружения Чирикбы. После убийства Таташа Ачбы Озбак не решался выезжать без охраны даже в соседнюю общину.

В Айбухце положение складывалось как нельзя лучше: все население от мала до велика выразило желание отправиться в Турцию. Такое единодушие объяснялось очень просто: жестокие князья Чаабалырхва житья не давали тем, кто пытался противоречить или высказывал что-либо не угодное им.

Озбак ехал впереди своих телохранителей. Лошади осторожно продвигались по извилистой тропе. Их тугие уши вздрагивали каждый раз, как только раздавался шорох в кустах или низко пролетала лесная птица. Здесь был разлит неясный полусвет; так всегда бывает в густой чаще в пасмурный день.

Вдруг лошадь под Озбаком испуганно фыркнула, подалась в сторону. Один из телохранителей стегнул своего коня, пытаясь вырваться вперед. Но ему мешали колючие кусты.

— Не извольте беспокоиться! — крикнул кто-то из-за деревьев.

Озбак мгновенно выстрелил в ту сторону из пистолета.

— Промах! — ответил тот же голос.

Озбак понял, что это засада. Он припал к лошади, в судорожной торопливости вновь заряжая свое оружие.

— Напрасно, Озбак! Ты окружен! — донеслось из густой чащи.

Телохранители свернули в сторону и дали тягу.

Впереди, на тропинке, шагах в двадцати от Маана, показался всадник. Это был Кутат Нанба. В руке он держал пистолет.

— Озбак, — крикнул он, — приди в себя! Да поживее!

Князь выпрямился, спрятал было оружие.

— Нет, — сказал Кутат, — не прячь! Еще пригодится тебе.

— Что тебе нужно? И кто ты? — спросил князь довольно твердым голосом. — Посторонись и дай дорогу.

— Да это настоящий княжеский голос! — весело отозвался Кутат. — А мне казалось, что ты обыкновенный башибузук!

Озбак осмотрелся вокруг. Но его тут же предупредил чей-то голос из чащи:

— Не вертись, Озбак! Мое ружье не выносит этого!

— Хороши герои! — воскликнул Озбак. — Целая дюжина против одного!

Кутат не спускал с него глаз. Он сказал:

— Может быть, дюжина, а может быть, меньше. Не в этом главное. Сообщаю тебе: ты должен погибнуть — таково мнение абжаквинцев, гумцев, акапинцев.

Озбак посерел. Сомнений нет, он окружен со всех сторон. О бегстве нечего и думать. И пощады нельзя ждать... А может быть, попытаться все-таки?

— Чей ты сын? — спросил он Кутата.

— Нанба, — ответил тот.

— Какого Нанба?

— Есната.

— Гумского, что ли?

— Да, Гумского.

— Разве я обидел твоего отца, тебя или твоих братьев? — спрашивает Озбак. К нему постепенно возвращается мужество, зубы перестают стучать, пальцы увереннее нащупывают спуск пистолета.

— Да, ты нанес обиду. И смертельную к тому же. Это обида, которую никто не наносил Абхазии.

— Как?! — восклицает Озбак. — Ты говоришь от имени всей Абхазии?

— Да!

— А право? Кто дал тебе право?

— Довольно, Озбак! Действуй как мужчина!

Озбак хорошо видел абрека, его смуглое лицо и слегка бледные, обветренные губы. И князь выстрелил.

— Пеняй на свою пулю! — крикнул Кутат.

Маан вовсе обмяк. Он был ни жив ни мертв. И пуля, что попала ему в лоб, словно вонзилась в чужое тело.

Лошадь поволокла седока, но ее тут же задержали.

— Ты не ранен? — с беспокойством спросила Кутата Астанда, скрытно следившая за поединком.

Кутат молча указал на левое плечо. Он согнул руку, подвигал ею. Нет, кости целы...

Абреки занялись убитым — его надо было уберечь от волчьих зубов. По ту сторону жизненной черты врага не преследовали.

Басла течет в узком и глубоком ущелье, а потом на виду Гумы вырывается на широкую Абжъаквинскую долину. В этом месте через реку перекинут древний каменный мост. Свод его циркульной формы. Если стать лицом в сторону моря, то по левую руку окажется крутосклонная каменистая гора, поросшая самшитом. Ее называют Медвежий горб. Оттуда хорошо видны долины Баслы и Сухумская гавань.

Абреки, друзья Кутата, обосновались на этой самой горе. На северном склоне ее вершины были устроены шалаши наподобие пастушеских. Одно из этих простых жилищ стояло чуть поодаль от прочих. В нем жили Астанда и Кутат.

Свадьбу молодые абреки отпраздновали очень скромно, как и подобает лесным людям. Доставили на гору несколько бурдюков вина, притащили меду, мяса, кислого молока. Вместо столов — земля, вместо тарелок — листья тополя. Недурно, надо сказать, попиrowали. Были даже подвыпившие. По обычаю ни жених, ни невеста не смеют сидеть за общим столом. Однако пришлось его нарушить. Все единодушно настояли на том, чтобы жених и невеста разделили общее застолье. Правда, в продолжение всего пира Астанда и Кутат ни разу не обменялись взглядами, не сказали друг другу ни единого словечка. Это было по обычаю...

Но свадьба в такое суровое время не могла дать той радости, которую она обычно приносит участникам пиршества.

Большую часть времени абреки проводили в своих общинах, принимая самые строгие меры предосторожности: спали одетыми, ружье находилось всегда под боком, и обязательно предусматривался особый, потайной выход из помещения.

Вместе собирались они в лагере на горе Медвежий горб. После расправы с Озбаком абреки поторопились к себе в лагерь, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Настроение у них было приподнятое. Они негромко пели песню. Исключение составлял лишь Елкан Нанба. Он неодобрительно поглядывал на чересчур, по его мнению, веселых абреков.

Тучи все сгущаются. Молнии сверкают, можно сказать, совсем под боком — от них, кажется, нетрудно и прикурить. Гром перекатывается в ущелье Баслы, грохочет над соседними склонами. И тут же дождь, который как будто долго крепился, начинает вовсю хлестать. Однако абреки у себя, и ливень им уже не страшен. Сидят они в тесном кружке и обсуждают свои дела.

— Хочу выяснить кое-что, — сухо говорит Елкан. В его голосе слышатся недобрые нотки.

— Да, надо поговорить, ежели что неясно, — соглашаются с ним.

Елкан не глядит в сторону Кутата и невестки.

— У меня два дела, — говорит он. — Первое. В жизни случается разное. Можно выкрасть невесту и увезти в горы. Но я не знаю, как это жених и невеста садятся за один стол с гостями. Возмущены вся Гума, вся Абжьяква! Неужели мы, Нанба, так низко пали, что не имеем понятия о приличии? Я много думал об этом, и нет уже сил молчать. Я хочу сообщить, что мы, нанбовцы, отказываемся от тех, кто плюет на наши обычаи. Разве можно уподобляться тварям? Разве род Нанба не мог отпраздновать это событие, не ввергая всю общину в позор и стыд? Наберитесь терпения, выслушайте.

Елкан говорит долго, обстоятельно, уверенный в своей правоте и правоте тех, кого он сейчас, по его мнению, представляет.

Ему возражают с почтением, соответствующим его возрасту. Да, возражают, и большинство сходится на том, что обстоятельства свадьбы действительно необычайны и что в этом случае отступление от адата не имеет большого значения. В конце концов, вину, ежели она налицо, можно загладить в самом недалеком будущем, в более подходящее время, сыграв еще раз свадьбу по всем правилам.

Но Елкан знать ничего не хочет. Он твердит свое: наступили ногою на обычаи, оскорбили всю фамилию, и этому нет оправдания. Он, дескать, не желает спорить, а сообщает решение: род Нанба отрекается от Кутата! Начисто. И пусть он не рассчитывает на добрый прием. Вот и весь сказ!

Ну что ж, делать нечего. Молчит Кутат. Молчит и Астанда. Абреки скрепя сердце выслушивают этот приговор.

— Ладно,— говорит Басиат Кяхба, разламывая надвое деревянный чубук,— не будем спорить: сказано — услышано! Поговорим о другом.

— Нет,— возражает Даур Уанача.— Немного внимания, уважаемый Елкан. Сдается мне, плохо ты знаешь, что творится вокруг нас. Переворачивается мир. Война на пороге. Нельзя же в такую пору выискивать различные предлоги и отказываться от своих родственников. Кутат и Астанда ничем не осквернили обычая. Это мы настояли, чтобы они сидели вместе с нами. Что же до некоторых адатов — они погубят нас. Я это говорю во всеуслышание.

Елкан перебивает его:

— Тебе не нравятся наши воспитанники?

— Золотые слова! — восклицает Уанача.— Да, меня передергивает, когда я вижу, как бедный воспитывает богатого. Не нравится мне, когда грабят бедных. Наши крестьяне побегут за своими воспитанниками в Турцию. Однако стоит ли ходить за смертью так далеко? Не проще ли в пропасть? Ей-богу!

— Нашим крестьянам,— возражает Елкан,— приелось не родство, а война. То русские приходят, а турки уходят, то турки появляются, а русские куда-то исчезают. Нельзя же терпеть все это! Вот отчего бегут наши крестьяне!

Басиат Кяхба нарочито вздыхает.

— Этот мир,— говорит он,— устроен богом так, как он устроен. Жалобы наши ни к чему. Разве богатыри-нарти всегда соблюдали обычаи? Это были настоящие люди! А человек, ежели он настоящий, сам создает свои обычаи. Вот как!

И умолкает.

Дождь яростно хлещет по сухой папоротниковой кровле. Где-то очень-очень близко будто бы разрывается пушечное ядро. Астанда вздрагивает. Полдень, а темным-темно от туч!..

Елкан в раздумье поглаживает бороду.

— Мы не пойдем друг друга,— заключает он.— Я только объявляю наше твердое решение. Но есть еще одно дело. Более важное. Я спрашиваю: почему

пролили кровь Маана Озбака и Ачбы Таташа? Что случилось с вами? Или потеряли разум? Род ваш,— он указал поочередно пальцем на каждого из присутствующих, за исключением Астанды (ее он не желает принимать в расчет),— весь род ваш будет истреблен... Что скажете на это? Кто ответит?

— Я,—отзывается Кутат.

— Как видно, среди вас умник тот, кто помоложе. Говори — слушаем.

Кутат усиленно ерошит пятерней жесткие волосы.

— Все мы, — начинает он, — поклялись быть вместе. И мы довольны, что два негодяя перекочевали в ад. Однако подлец Чирикба все еще пьет вино и по-прежнему душит людей. Ты, Елкан, обещал расправиться с ним. Но с того дня, как ты дал эту клятву, он, говорят, выглядит лучше прежнего. Вот ты приходишь к нам со своими обидами, возможно законными. Но разве это самое важное сейчас? Правда, мы не всегда умеем блюсти обычаи. Придется искупить вину. Это ясно. Но мы гордимся тем, что навсегда успокоили Озбака и Таташа. Они больше не станут сказки рассказывать. Им больше не нужны наши спины, наши горбы. На том свете не пашут и не жнут! Еще раз повторяю: мы будем продолжать свое, как понимаем. А кто поумнее нас, пусть поступает по-своему.

Елкан беспокойно ерзает. Он не привык выслушивать поучения от младших. «Эта школа вовсе испортила его,— думает он, имея в виду те три года, которые провел Кутат в Горской школе.— Он достоин хорошей плети. Этот мальчишка погубит нас». Пересиливая себя, Елкан улыбается,— дескать, не придает большого значения неразумным словам младшего брата. В глазах его светится крестьянская лукавинка, призванная им на помощь. И он говорит:

— Нынче, как погляжу, день чудес. Что ж, может, услышу еще что-нибудь необыкновенное?

— Мы не чудотворцы,— говорит Уанача,— но ты должен понять, Елкан, что все слова Кутата — наши слова.

Неожиданно в разговор вмешивается Астанда. Елкан хмурится. Он готов заткнуть уши. Ни у кого не спрашивая разрешения, Астанда говорит:

— Послушайте!

— Так, так,— говорит Елкан.

— Ежели нынче день чудес, так тому и быть,— сердито начинает Астанда. — Выскажу свое. Это и есть, пожалуй, чудо... Я горжусь, что принимала участие в казни этих двух негодяев. Слышите? И жалею, что все еще вживе подобные им. Поэтому надо поменьше спать и побольше действовать! Трусов не зовем! Кто боится за свой очаг — пусть сидит дома. Однако верно сказано: кто смерти пугался, тот нашел ее у очага. Несколько дней тому назад мы поклялись действовать. Обратной дороги нет! Для колебаний времени нет! Есть сухой чурек и тревожная ночь. Вместо песен — перестрелка. Вместо плясок — засады. Тот, кто хочет мстить, лежа в постели, и драться, не отрываясь от кислого молока с медом, тому не по дороге с нами! На того мы поглядим со стороны, наверное, чего-нибудь да дождемся. Святой Георгий убивал змея в единоборстве, а не священным наговором.

— Правильно! — поддерживает ее Басиат.

Елкан вынести этих слов не может. Чтобы его наставляла какая-то девчонка?! Нет, не будет этого! Не говоря ни слова, он идет к выходу. У порога роняет:

— Если ребенок быстро вырастает из люльки, его гибель ждет.

Здесь, на горе, погода неистовствует. Как говорят, сыплются наземь небесные обломки. Побуревшее небо исполосовано молниями вдоль и поперек. А там — о, чудо! — над городом голубое небо и сияющее солнце. И вот с голубых небес тоже раздается гром. И гром, и не гром...

Абреки, вышедшие проводить Елкана, невольно поворачивают головы туда, где грохочет этот странный гром.

— Что-то там творится,— говорит Елкан.

Отсюда хорошо виден кусочек Сухумской гавани. На ней чернеют небольшие пятна, испускающие белые клубочки дыма. Кутат безошибочно определяет:

— Турки! Это опять они!

Абреки внимательно слушают далекий оружийный гул.

А небо поливает их водой, пронизывающей холодом до костей. Но никто не обращает внимания на этот пустяк.

— Слышишь? — спросил Чинчор Воуба.

Жена его, месившая тесто, выпрямилась во весь рост. Прислушалась.

Бум!.. Бум!.. Бум!..

Бам-мм!.. Бам-мм!..

Ух!.. Ух!.. Ух!..

Все громче и все на разные голоса. Словно в огромном хоре, исполняющем грозную песню, от которой мороз дерет по коже.

— Это не гром,— продолжал Чинчор,— это что-то пострашнее.

Женщина выскочила во двор, на ходу вытирая руки о подол платья. Чинчор, не сходя с места, наблюдал за выражением ее бледного лица, обращенного к морю.

— Э-эй, Таба! — услышал Чинчор голос кузнеца.— Что творится в Сухуме?

— Не знаю,— отвечала Таба.

И опять это самое:

Бум!.. Бум!.. Бум!..

Ух!.. Ух!..

— Стреляют? — кричал кузнец со своего двора.— А по-моему, земля рушится! Они камня на камне не оставят. Где Чинчор?

— Дома,— ответила Таба.

— Я иду к вам!

Таба возвратилась с каменным лицом. На щеках ни кровинки.

— Где мой сын? — строго спросила она мужа.

— Ты меня спрашиваешь? — огрызнулся Чинчор.

— Да, тебя. Ты посылал его на учение.

Чинчор достал кремневку. Она была в хорошем состоянии — ни единой ржавчинки, чистенькая, смазанная маслом.

— Где мой сын? — упрямо повторяла женщина.

— Он не маленький,— сказал Чинчор.— Убережется. Сам прибежит.

— Скоро?

— Да.

— Когда же?

— Через час. А может, через два...

Таба перевела дыхание и снова принялась месить тесто.

Канонада не прекращалась. Пушки пели на разные голоса. Просто удивительно, как они пели! Давно не угощали сухумцев такой проклятой песней.

Явился кузнец и принес плохие вести. Люди, живущие на западном склоне Аныха-Апаара, возле крепости Баграта, передают, что турецкая эскадра разрушает Сухум. Оттуда все видно, как на ладони. А прибыли корабли из-за Сухумского мыса. В городе все горит. Люди бегут...

— А русские все еще здесь? — справился Чинчор.

— Говорят, что да, — ответил кузнец.

— В таком случае успокойся...

Кузнец, как видно, приготовился к бою. На нем была черкеска, в газырях которой помещалось достаточно свинца и пороха. Большой турецкий пистолет болтался на боку, в грубых ручищах — длиннущее ружье.

Кузнец замыслил собрать всех абжъаквинцев и двинуться на выручку сухумцам. Турки, наверное, высадутся, и неплохо было бы их встретить... По-мужски встретить...

— А ежели и махаджиры вместе с ними? — спросил Чинчор.

— Им придется побросать оружие.

— А если не бросят?

— Тогда поступим с ними как с врагами!

— Это хорошо, — одобрил Чинчор.

Но идти вместе со всеми походом на Сухум отказался. Он дождется Платона. Сын вот-вот появится. Тогда все и решит...

Зачем же ждать?! — воскликнул нетерпеливый кузнец. — Я прихвачу ружье и для него.

— Что ты? — всполошилась Таба. — Как не известно тебе, Киамин? Мальчика под пули?

— Дорогая, — возразил кузнец, — я и своих под пули поставил бы...

— Нет, нет, Киамин, и не думай!..

Кузнец махнул рукой. Ушел, не попрощавшись. У ворот обернулся к ним и крикнул:

— Полюбуйтесь!

— Что там? — сказал Чинчор.

— Посмотрите на дорогу!

Супруги опасливо вышли во двор, свернули за угол дома.

По дороге, что за Баслой, двигались толпы горожан. Подгоняемые страхом, они беспорядочно торопились в сторону Гумы. Вырвавшиеся вперед звали отставших. Отставшие зывали к более выносливым. Они падали, поднимались, бежали и снова падали...

Чинчор был потрясен.

— Люди потеряли голову,— сказал он.

— Где мой сын? — повторила Таба.

Орудийный гул все усиливался, он как бы приближался к Абжьякве. Земля, казалось, содрогалась от взрывов и топота множества ног, уносящих сухумцев куда глаза глядят.

— Я подожду еще час,— решил Чинчор.— Только час!

Жена присела на колоду, обхватила руками голову и запричитала:

— Где мой сын? Где мой сын? Где мой сын?

42

А дело было так.

Второго мая около пяти часов пополудни близ Сухума появилась турецкая эскадра. Корабли были построены кильватерной колонной. В состав эскадры в качестве боевых единиц входили броненосцы: «Махмудие», «Максудие», «Ассари-Шефкет», «Муазени-Зафер» и «Эвни-Илия». За ними следовали два фрегата и три корвета. На траверзе Кодорского мыса броненосцы перестроились. «Максудие» и «Эвни-Илия» взяли курс к устьям Баслы и Килашура; «Ассари-Шефкет» и «Муазени-Зафер» стали против устья реки Адзапш, ныне именуемой Гнилушкой. В центральном секторе, приходящемся против маленькой пристани, развернулся левым бортом слоноподобный «Махмудие». Он открыл огонь в пять часов пятнадцать минут. Его примеру немедленно последовали остальные корабли.

Через несколько минут запылали городские постройки. Началась невообразимая суматоха. Люди бестолково бегали по улицам, многие гибли, а оставши-

еся в живых мчались куда-то вперед. Канонада велась совершенно безнаказанно, как на учении.

Генерал Кравченко наблюдал за действиями турецкой эскадры с высоты плато Хат-Хуа. Он окончательно утвердился в своем решении: поскорее уйти в горы, уйти, пока Цебельдинская дорога все еще свободна. Больше всего тревожили генерала «Максудие» и «Эвни-Илия». Если бы им вздумалось высадить десант, то дорога на Цебельду, идущая мимо Килашура и Мачары, оказалась бы отрезанной. В этом случае оставался значительно худший путь — по Джанскому ущелью и далее, через село Александровское. И отход по нему был бы равносителен жестокому поражению...

Командир приказал отряду быть в полной готовности и оставить редут при первом же сигнале. Старшие офицеры были явно смущены. «Бегство безо всякого сопротивления? — спрашивали они. — Бегство при первых же выстрелах?..» Кравченко для очистки совести решил выслать к берегу один пехотный батальон. Офицеры рвались в бой, но соблюдали твердую дисциплину...

Между тем неприятель продолжал обстреливать незащищенный город. Огонь велся беспорядочно. В первые минуты, например, особенно пострадали насаждения Военно-ботанического сада.

Бомбардировка застала Платона за домашними уроками. С трудом читал он стихи, которые следовало выучить наизусть. Голова была забита совсем иными мыслями. Перед глазами непрерывно маячил образ княгини Марики. В ушах звенел ее голос. Снова и снова вспоминал Воуба встречу с нею, воскрешая все до мельчайших подробностей.

Вчера его очень тянуло к ней. Весь вечер слонялся по городу, но пройти по заветной улице так и не посмел. Как мог он так позорно бежать от нее?!

Платон брал книгу, но в глазах рябило, мешались слова и буквы. Принялся было писать домашнюю работу на тему «Дети — цветы жизни». Но так и не сочинил ни единой строчки. Не лучше обстояло и с историей: Навуходоносор втесался к фараонам, римские цезари стали в один ряд с греческими военачальниками. По закону божьему священник задал одну из глав

Евангелия от Иоанна. Но и она не шла в голову. Случайно взгляд его упал на «Песнь Песней». Вдруг оказалось, что лучшего чтения и не придумать. Суламифь сошла со страниц и воплотилась в живую плоть. Аб-жъаква, родители и Гуаша уступили место чему-то более притягательному...

Прошлой ночью, когда в огромной спальне интерната все уснули, Платон оделся и выскочил в окно, благо не высоко оно над землей. Он решительно направился к ее дому. Но чем короче становилось расстояние до него, тем сильнее колотилось сердце и тем слабее становились колени. Молодой человек не выдержал, повернул назад и всю ночь провел в думах о Марике...

Платон сидел за партой и повторял про себя: «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая! Округление бедр твоих — как ожерелье...» Еще недавно это были просто красивые слова, без особого смысла. Теперь же от них горел лоб...

Он пытался делать уроки, а из головы не выходило это самое: «Округление бедр твоих... Округление бедр твоих...»

Платон глядит в угол, а там стоит Марика. Точно живая. Отводит взгляд к доске — и там Марика! Он закрывает глаза, — Марика перед ним, как тогда, в тот вечер...

Вдруг все здание дрогнуло, словно при землетрясении. Где-то за окном раздался оглушительный взрыв.

Платон кинулся к окну, настежь распахнул его.

По улице сломя голову бежали люди. Бежали и вопили от страха, точно за ними кто-то гнался.

— Что случилось? — кричал им Платон. — Что случилось?

Над школой просвистело ядро и разорвалось в конце улицы, подымая вверх землю и щепы. «Вот что случилось», — сказал сам себе Платон.

Классная дверь открылась от сильного удара ногой, и Платон услышал за собой голос:

— Кто здесь?

Это был Николаев, встревоженный, бледный.

— Я, — ответил Платон.

— Что ты делаешь? Марш во двор! Турки бомбардируют...

— Турки? — пробормотал Платон.

— А ты думал, кто? А ну-ка, за мной! Здесь оставаться опасно.

Ученики толпились на длинном каменном крыльце, вобрав головы в плечи.

Тамел Александрович, в противоположность Николасву, очень суетился. Предупреждал, чтобы ложились все, как только заслышат свист в воздухе. Советовал открывать рот, чтобы перепонки в ушах не разорвало.

Недалеко загорелся дом. Из-за верхушек деревьев поднялся черный дым. Кто-то стрелял в воздух, оповещая о пожаре. Это казалось нелепым, когда горела вся земля...

После первых же выстрелов в школу прибежала Евгения Петровна, прихватив с собой кое-какие вещи. Она сохраняла полное спокойствие, ибо не раз ей приходилось вместе с отцом и матерью переживать нечто подобное на беспокойной Черноморской линии...

— Мальчики! — обратился Николаев к ученикам. — Смотритель приказал идти в Джанское ущелье. Я и Тамел Александрович поведем вас. Не отставайте! Сохраняйте полный порядок!

Ученики беспрекословно последовали за своими учителями к Хаки-псы.

Платон спрятался за стволом финиковой пальмы. Пропустил мимо себя Багапша с женой, замыкавших ученическую колонну, и вернулся к школьному крыльцу, под огромный колокол...

Пусто.

В доме смотрителя закрыты все ставни.

Пусто.

Одни куры бегают по двору...

Ядра по-прежнему свистят над головой...

Вот раздается оглушительный взрыв, — это, должно быть, бомба, она грохает сильнее ядра и гранаты. Вокруг горят почти все деревянные постройки. Но школа пока цела.

Кто-то шумно запирает ворота. Слышно, как лязгает железный засов. Кому это пришло в голову

наводить порядок среди пламени и разрушения? Неужели Иван? Так и есть, Иван!

Сторож удивленно разглядывает одинокую фигуру в ученической форме, словно не верит своим глазам.

— Ты? — спрашивает он, останавливаясь в отдалении.

— Да, я. — Голос у Платона сдавленный, глухой.

— Почему не тикаешь?

— А вы, дядя Иван?

— Что я? — говорит сторож. — Здесь глаз нужен, не пропадать же добру! Аль нет? Все так и бросить на басурман?

Иван прошел в свою каморку, которая помещалась в школьном здании, рядом с продовольственной кладовой. Вернулся с отличным магазинным ружьем.

— Хорошо ружьишко, — сказал он, любуясь оружием. И снова забеспокоился: — Давай, давай отсюда! Вишь, как лупит!

— Я, дядя Иван, — проговорил Платон, — побуду в городе.

— Побудешь?

— Да.

— А как бомба брякнет?

— Черт с ней!

Иван дружелюбно осклабился, похлопал ученика по плечу.

— Убечь от смерти невозможно. Смерть, коли на роду писана, куда хошь заявится, как гость в гостинку.

Опять разрыв бомбы!.. На крыльце осыпалась штукатурка. Из окон повывлетали стекла.

— Режь голову! — крикнул Иван. — Плохо дело! Слышь ты?! Уходи-ка отсюда!

Совсем близко просвистело ядро. Иван припал к земле, увлекая ученика за собой. Платон набрал полный рот песка. В вышине что-то треснуло. Заскрипело. Загудело...

Платон поднял глаза, увидел высокий столб дыма. Горел дом смотрителя. Кирпичные стены рассыпались, будто кто-то потряс их с силой, как трясут молодое грушевое дерево осенью.

— Беги! — грозно крикнул сторож.

Платон, пригибаясь, побежал со двора.

Пахнет гарью. Вокруг обугленные бревна, кучи битого камня и кирпича. Куры тревожно хлопают крыльями. Стада буйволов бредут неизвестно куда. Будочка, что недалеко от школы, горит, точно свечка. Огонь на нее перекинулся с соседнего дома.

Город опустел. Дворы и улицы усеяны мелкими пожитками, разбитыми бутылками и кувшинами, сломанными столами и стульями. Город разрушен.

А турки все стреляют. Ядра, гранаты, бомбы летят под гору Хат-Хуа, где не все еще здания окутаны дымом...

Из-под уцелевших железных ворот выбегает черненькая собачка и, поджав хвост, принимается скулить. Завидя Платона, она бросается ему в ноги. И дрожит всем телом, точно в мороз. Но Платону не до нее. Он отпихивает собачку ногою. Она визжит. Не обижается, а визжит. Сильнее поджимает хвост и сама лезет под ноги, а потом валится на спину, лапками кверху. Глаза у нее круглые, блестящие, влажные. И очень добрые. Они взывают: «Не покидай! Пожа-лей!»

Платон осторожно переступает через собачку и бежит от нее. Она удивлена, а затем весело бросается за ним, но понемногу отстает...

Вокруг рынка и на самом рынке царит хаос. Не поймешь — где тут улицы, где площадь, где канавы, в которых всегда держится вонючая вода? Все исчезло под грудями камня и расколотых досок!

Заходящее солнце поливает город косыми багровыми лучами. В их освещении столбы бурого дыма кажутся окровавленными.

Разрыв ядра! Платон вовремя прячется за каменную ограду, и толстое бревно с жужжанием огромного шмеля проносится над тем местом, где только что он пробирался.

В нескольких шагах лежит убитый. Это средних лет мужчина с испитым смуглым лицом. Глаза его широко раскрыты. На губах пена. Ни кровинки нигде, словно никто не тронул его даже пальцем. Кто он и что с ним делать?

Вот кусок грубой рогожи. Платон накрывает мертвеца, положив по краям рогожи камни, чтобы не сдуло ее ветром. Затем идет дальше.

Да, это и есть тот самый дом, вернее — то, что осталось от него. Но сохранилось не так уж мало — четыре стены, крыльцо. Крыша, должно быть, провалилась от сильного сотрясения. Следов огня не видно.

Он узнает окно, под которым разговаривал с Марикой. Без рамы, без переплета, без стекол, оно лишено теперь всякого смысла. Это просто зияющая пустота, ведущая в никуда!

Недалеко от дома — пролетка. Она лежит на боку. Она чем-то знакома Платону. Неужели та самая? Платон внимательно приглядывается к ней — и та и не та! Разве мало в городе точь-в-точь таких же пролеток? И все-таки нехорошее чувство закрадывается в душу молодого человека...

Платон обходит развалины. Ядро, как видно, угодило в самую крышу. Что же случилось с обитателями дома?

Он находит маленькую туфлю из красного сафьяна...

«Было так уютно в ее комнате, — вспоминает Платон. — На полу и на стенах ковры. Лампа под зеленым абажуром. Ее волосы, пахнувшие полевыми цветами. И ее тепло...»

Платон садится на камень.

«Вот она, жизнь, — думает он. — Было и не было... А может быть, она под развалинами? И не одна?.. Да, были ее руки... Было ее тепло... А теперь — ничего...»

По улице скачет какой-то всадник. Скачет очень быстро. Так можно и шею себе сломать...

С соседнего двора дым валит валом. Стелется низко. Едкий, тяжелый дым. Видимо, тряпки горят... Трудно усидеть в таком дыму.

Генерал Кравченко, как он сам себе признался, для проформы обсуждал создавшееся положение со своим начальником штаба. Это было последнее совещание перед отступлением к Ольгинскому, которое он считал окончательно решенным.

Комната скудно освещалась стеариновыми свечами. Пожалуй, можно было обойтись и без них — от зарева пожара было светло, как днем. Турки еще продолжали обстреливать берег, однако огонь заметно уменьшился. Собственно, незачем было и стрелять: за исключением нескольких каменных домов, все прочее уже было сметено с лица земли...

— Василий Иванович, — сказал Кравченко, — вы, стало быть, считаете, что час нашего отхода не пробил?

Немолодой лобастый майор отрицательно покачал головой. Нет, как всегда, он полон решимости защищаться и наступать. Как всякому честному военному, ему претило бездействие. Он не раз участвовал в делах против горцев и всякий раз проявлял твердость и воинское умение. Брал приступом укрепления убыхов и джикетов. Однако ничего не мог поделать со своим характером, постоянно чинившим ему препятствия в продвижении по службе. Это был человек колючий, из тех, что любят правду говорить и часто страдают из-за этого. Но сколько бы ни терпел он урона ради правды, никогда не раскаивался в своих действиях. Во всем придерживался известной монгольской пословицы, которую в детстве часто повторяла бабушка татарка: «Боишься — не делай. Сделал — не бойся». По этой пословице ему жилось и хорошо и худо...

Майор взял карандаш и тупым концом ткнул в карту, разложенную на столе.

— Допустим, Павел Павлович, — начал майор, тщательно взвешивая слова, — нас заперли в Сухуме. Допустим. — Он провел невидимую черту у устья реки Мачара. — Это значит, что наши интендантские склады в Олычском и Цебельде потеряны. Противник, несомненно, попытается высадить десант в Сухуме, — это дело ближайших часов. А мы завязываем бой... Наша цель — уничтожение неприятеля. У нас достаточно сил, чтобы выдержать длительную осаду нашего редута. Тем временем...

Майор сделал паузу. Генерал слушал рассеянно, ерзал на стуле и поглядывал в окно.

— Я слушаю, Василий Иванович, — сказал генерал.

— Тем временем, — продолжал начальник штаба, — к нам на помощь придут наши отряды. Это может быть сделано с трех направлений. Удар по неприятелю с северо-запада силами Сочинского отряда полковника Шелковникова. Это раз. С юга наступление может повести Ингурский отряд под командованием генерала Алхазова. Два. С севера помощь может быть оказана через Мурухский или Клухорский перевалы. Это три. Разве неприятель способен вынести столь концентрированные удары? Мы должны генерализировать свои действия, это для меня ясно.

— Учтите, — заметил генерал, — реки от Сухума до Ингура почти сплошь лишены мостов.

— А каучуковые переправы! — воскликнул майор. — Слава богу, наши войска в состоянии навести их!

Генерал смотрел на карту невидящими глазами. Нет, он решительно не находил оснований, чтобы отменять решение об отходе...

— Павел Павлович, — проговорил майор, — история нам не простит. — И он легонько ударил карандашом по столу.

Генерал вздрогнул. Нервно пощупал ус. Резко отодвинул от себя пепельницу.

— Чего не простит? — спросил он.

— Бегства, — ответил майор.

— Простите, господин майор, — сухо обратился к нему генерал, — не понимаю, что вы имеете в виду?

Майор в свою очередь тоже перешел на сугубо официальный тон:

— Ваше превосходительство, моя обязанность, как начальника штаба, заключается в разработке наиболее выгодных боевых операций. Разработка плана бегства в настоящий момент не входит в мои функции. Не вижу никакой необходимости в оставлении наших позиций в Сухуме. Напротив, я усматриваю сугубую надобность в их удержании.

Генерал прищурился. Ухмыльнулся. Медленно сложил карту.

— Не знаю, — сказал он, — о каком бегстве вы толкуете. Если под сим словом вы разумеете организованное отступление по необходимости, то мы, доложу вам, не понимаем друг друга. На разных языках изъясняемся. Да-с... Властью, мне данной...

В это время дежурный по штабу попросил разрешения войти. Подал письмо.

Генерал повертел его в руках, спросил, от кого оно.

— От князя Чачбы,— ответил дежурный, отойдя к двери.

Генерал сломал сургучную печать, развернул плотную бумагу. Проглядел письмо молча, а затем прочел вслух:

— «Ваше превосходительство! Имею честь сообщить Вам, что турки имеют твердое намерение произвести высадку десанта у деревни Мачара. Один корвет и два фрегата подошли к берегу. А в двух верстах от устья реки собирается шайка местных абреков в двести — триста душ. Это письмо будет доставлено Вам кружным путем особо доверенным человеком. Имею честь...» И так далее. Что скажете? — обратился генерал к начальнику штаба.

— Следует выслать в город хотя бы два батальона, дабы прощупать намерение противника,— сказал майор глухим голосом.

— А засим,— сказал генерал, вставая,— приказываю отходить. Все произошло так, как я предвидел.

Он взмахнул в воздухе княжеским письмом.

Майор забрал свои бумаги, сухо откланялся и вышел, стуча сапогами. Генерал не обратил внимания на эту демонстрацию.

— Вызвать ко мне командиров батальонов! — приказал он дежурному.

Генерал, словно обиженный ребенок, глядел исподлобья на окно, в котором, как в камине, бушевали языки неугасающего пламени.

45

По стенам ползут черные тени. Собака жалобно скулит.

Очаг погашен. Маленький светильник исходит копотью. Хозяйка стоит в дверях и смотрит в темень. А хозяин пристраивается на любимом местечке — у теплой золы.

— Кричат? — спрашивает он.

— Кричат,— говорит она.

Глаза ее привыкли к темноте и различают почти все. Вот ночная птица пролетела. Зверек пробежал по двору. Чья-то тень мелькнула по дороге...

— Ей не хочется уезжать,— говорит женщина, не поворачивая головы.— Насильно тащут... Слышишь, как она плачет?

— Где муж, там и жена...

— Ей жалко оставлять дом,— поясняет женщина.

Пламя в светильнике колышется. На блестящих от копоти стенах колеблются, словно в воде, черные тени.

— Идет кто-то,— шепчет женщина, вздрагивая.— Я все вижу...

На пороге вырастает мужская фигура.

Мать не верит глазам. Это сын! Утомленный, запыленный, как придорожный цветок. Да, он, он, он!..

Чинчор поражен не меньше. Он смотрит на дверь пристальным, изучающим взглядом.

— Ты? — спрашивает отец.

Платон входит молча, словно на нем десятипудовая тяжесть. Медленно опускается на скамью. Протягивает руку и говорит хрипло:

— Воды!

Мать торопится к кувшину и подает ему глиняную чашу.

Платон пьет до дна. И снова просит:

— Еще!

Он пьет и пьет и никак не может утолить жажду.

— Мы ждали тебя вчера,— говорит мать, поглядывая на мужа.— Твой отец собрался на поиски. А нам сказали, что в Сухуме пусто. Вот и ждали тебя...

Платон сплетает пальцы, и они хрустят. Он останавливает мать, которая собирается подать ему еду.

— Я уже ел,— говорит он.— Что слышно о дяде?

— Ничего.

— Та-ак...

У сына странный взгляд — не то чтобы усталый, а вроде бы испуганный. Взгляд потрясенного до глубины души человека. По щекам ходят тугие желваки.

— В городе, говорят, все разрушено. Это правда? — спрашивает отец.

Платон утвердительно кивает.

— Огонь, говорят, все пожрал?

Платон снова кивает.

— Народ, говорят, бежал?

— Да.

— А башибузуки, как черти, повыскакивали на берег?

— Верно.

— Режут всех, кто попадется им, как цыплят?

— Как цыплят.

— И махаджиры, говорят, сошли? Тоже злобствуют?

— Злобствуют,— отвечает сын, как эхо.

— Против своих идут?

— Идут.

— Ты видел это сам, своими глазами?

— Может быть, ему отдых требуется? — тревожно справляется мать.

Родители вопросительно глядят на сына. Тот сидит неподвижно. А потом вдруг распрямляет плечи и хлопает ладонью о ладонь. Мать вздрагивает, — со вчерашнего дня она пугается всего, каждого шороха, точно серна в горах.

Платон кусает губы, будто лишнего говорить не хочет. И молчит долго-долго...

— Все это правда, — говорит он наконец. — Город весь вечер горел, всю ночь. Ученики ушли в горы по Джанскому ущелью. Я видел их сегодня утром. Учителей тоже видел. Крестьяне приютили их. Башибузуки на берегу. Рыскают, как шакалы. С трудом пробрался к вам. Через Самат-арху... А русские ушли... Говорят, на рассвете. Иначе башибузуки не посмели бы.

Чинчор схватился за голову.

— Пронали! — вскричал он. — Кто, кроме бога, защитит нас! А бог занят своими делами. Так вот почему осмелел этот Лакырба!

— Разве эта мокрица смеет вести себя неподобающим образом?

— Смеет, — сказал отец.

И больше ни слова. Пришлось объяснять матери:

— Здесь случились удивительные события. Убили Ачбу Таташа. А затем и этого... Маана Озбака. Говорят, в Гуме убили князя Чаабалырхву... Светопреставление!.. Уардан Астанда ушла в абреки. Кутат то-

же с нею. Поженились, говорят. Без свадьбы. Вроде выкрал ее... Лакрыба, наш воспитанник, явился утром и предупредил, чтобы к концу дня все мы явились к морю, в Килашур. Там, говорит, ждет большой пароход, который отвезет всех нас в Турцию.

— Та-ак...

— Твой отец вспылел, едва не убил воспитанника.

— Умные люди предвидели,— сказал Чинчор,— что как только уйдут русские, крестьян начнут выселять в Турцию.

Мать с возмущением рассказала о том, что делается в общине. Люди бегут за своими воспитанниками. И все к морю! Все к морю! Хорошо, что явился Платон. Надо обдумать, как быть и что делать. Ежели, не дай бог, община опустеет, то какой смысл одним торчать здесь, точно пугало на огороде? А ежели уезжать, то давно следовало бы собраться...

— Не слушай ее,— перебил жену Чинчор,— твоя мать из ума выжила. Разве человек, ежели он в своей памяти, станет говорить такое! Бросить дом? Как бы не так! Я и за порог не выйду. А кто еще раз заявится с дурацким предложением, получит пулю. Пусть даже сам Лакрыба. И не посмотрю, что родственник!

— Постой, отец, не горячись,— сказал Платон.— Правда ли, что многие ушли на берег?

— Правда.

— Кто, например?

— Да все! Посмотри, что делается! Бегут! Одни собаки остались!

— Не может быть!

Платон поднялся со скамьи, прислонился к дверному косяку, постоял с минуту, а потом вдруг сорвался и ушел в темноту. Ушел, ничего не объяснив...

— Куда ты? — крикнула мать вдогонку.

Сын не отвечал. Дойдя до плетня, он обернулся и сказал довольно громко:

— Скоро вернусь.

Он шел мимо домов, лишенных тепла и света, мрачных, как дупла. Вокруг гробовое молчание. Будто вымер весь свет. А собаки? Почему они не лают? И от злости бросил камень в первый попавшийся дом. Но никто не отозвался.

«Удивительно! Удивительно!» — повторял Платон.

Верно, в Абжьякве ни души. Мать, оказывается, права. С ума посходили люди. Какой ужас!..

Платон идет, не разбирая дороги. За одежду, словно жадные пальцы, цепляются ветки деревьев. Колючки рвут на нем брюки, царапают лицо.

«Стой! — говорит он себе. — Вот этот дом Лакырбы Татластана». Платон узнает его по крутой черепичной кровле и несуразно торчащей трубе.

— Эй! — кричит он.

И вот с лаем бегут собаки. Утыкаются мордами в плетень и начинают рычать, точно рвут кого-то...

— Слава богу, — вслух говорит Платон, — здесь хоть собаки отозвались!

Мир, лишенный человеческого дыхания, страшил его, казалось, грозил смертью, точно кровник, неистовый и неумолимый.

Наконец-то Платон у ворот Абрискила! Но и здесь все та же темнота и пустота, что и на всем пути!

Молодой человек пытается уверить себя, что дома спят, что стоит подать знак — и хозяева проснутся. Выйдет навстречу хозяин, непременно выйдет, спросит с тревогой, в чем дело, чем вызван поздний приход...

— Хозяин! — громко кличет Платон.

Скорее луна отзовется на небе, нежели живая душа на этой грешной земле!

Платон перешагнул через лаз. Идет прямо к дому. Вот он взбегает на крыльцо.

Трещат половицы.

От его шагов сотрясается весь дом.

Бьет кулаком в дверь. Еще раз! Бьет сильнее. Наконец распахивает ее, оказывается, вовсе не запертую...

— Гуаша!

Молчание.

Он сбегает с крыльца и стучится в кухоньку.

И здесь молчание...

Платон выходит на середину двора и кричит, что есть мочи:

— Гуаша!

Только звезды слышат его. И мерцают они в ответ причудливым светом и снова замирают.

«Кончилась жизнь!» — решает Платон. Стоит один, во всем свете один, с пустой, как Абжьяква,

душой, а в ушах его звучат слова, которые часто повторял преподаватель закона божия: «Не определено ли человеку время на земле, дни его не то же ли, что дни наемника?..»

46

На рассвете 3 мая Сухумский отряд ускоренным маршем направился в сторону Цабала. Бóльшая часть отряда двигалась через село Александровское, и только один батальон — по берегу моря, к деревне Мачара. Князь Чачба наблюдал из своей усадьбы за переправой солдат через реку Килашур. Она проводилась в такой спешке, словно на пятки наступал неприятель¹.

¹ По поводу отступления Сухумского отряда в «Войне 1877 и 1878 гг.» (том III, СПб., 1882, под редакцией генерал-майора Зыкова) читаем:

«Оставление Сухума, вследствие преувеличенных слухов, совершилось... быстро».

«...неожиданное отступление из Сухума отряда генерала Кравченко,— в свое время наделало много шума в обществе...»

«Беззащитность абхазского берега с моря, близость грозных турецких броненосцев, беспрепятственные высадки турецкого десанта и беззащитность наших отрядов, без сопротивления и немедленно покидающих этот край, не могли также не оказать сильного влияния на весьма еще воинственное и крайне впечатлительное население Абхазии».

Отметим, что «поражение» в Сухуме имело определенное значение как военного, так и морального характера. Что же касается положения абхазцев, то оно оказалось трагичным. В результате насильственного переселения так называемая Большая Абхазия, занимавшая срединное положение (нынешний Сухумский район) и особенно густонаселенная, подверглась почти полному опустошению.

После войны (1877—1878) в самой Абхазии осталось до 70 000 абхазцев. В 1913 году численность их увеличилась до 95—100 тысяч. По плотности абхазского населения на первом месте уже оказывается Окумский участок (ныне Гальский район) — 33 639 из 38 580 общего количества всех национальностей, — а уж за ним следовали Кодорский участок (ныне Очемчирский район) — 19 087 из 24 389, Гудаутский участок (ныне Гудаутский район) — 28 386 из 30 779. Эти данные приводит в своей книге К. Д. Мачавариани, отдавший много сил развитию абхазской культуры («Описательный путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому округу», Сухум, 1913). Махаджирство увело большую часть абхазцев в Турцию и районы Батума. В настоящее время за пределами Абхазии они проживают компактными группами в Турции, Сирии, Греции, в Аджарской Советской Республике.

Князь тотчас же направил своих людей в Сухум. Им было приказано снестись с турецкой эскадрой и сообщить подробности отхода русских. И турки в тот же день заняли город. Во дворах появились аскеры. Они рыскали в поисках наживы. Все более или менее ценное перевозилось на корабли. Скот, бродивший по городу, сгоняли к берегу и забивали. Свежими тушами пополнялись продовольственные запасы эскадры.

В полдень к князю Беслану Чачбе прибыл турецкий морской офицер, назвавшийся Нури-пашой. Это был худой, лет тридцати, рыжеватый человек с приятными чертами лица. Ему очень шла высокая красная феска и ладно пригнанная куртка из добротного английского сукна.

Князь приветствовал в его лице «священную армию султана» и просил офицера вести себя как дома.

Княгиня, по восточному обычаю скрывавшаяся в соседней комнате, подслушивала разговор и подглядывала через замочную скважину. Она отметила про себя, что офицер сложен недурно и голос у него очень приятный.

— Наш адмирал, — говорил Нури-паша, — шлет тебе дружеский поклон. Он приказал передать, что к вечеру два транспорта бросят якорь в устье реки Мачара. К тому времени необходимо собрать всех махаджиров.

— Зачем же так торопиться? — спросил князь.

Офицер улыбнулся, развел руками.

— Такова воля его превосходительства. Как видно, адмирал учитывает, что русские могут вернуться или же совершить вылазку из деревни Мархеул, где они, надо полагать, стоят лагерем. Во всяком случае, с махаджирами медлить не следует.

Князь хлопнул в ладоши. Явился молодой человек с ружьем и нагайкой. Это был княжеский скороход, легкий, словно дикий козел, и шустрый, точно куница.

— Сходи-ка к Чирикбе и скажи, что жду его. Пусть поторопится!

Скороход тут же исчез за дверью.

— Ну-с, — сказал князь, обращаясь к Нури-паше и потчuya его калеными орехами и медом, — каково твое мнение о сухумском деле?

Офицер отвечал, что непобедимый флот его султанского величества себя еще покажет. Однако сухумское дело войдет золотой страницей в летопись войны. Русские, как видно, не отдают себе отчета в поражении, которое нанесено им в Абхазии. Но скоро они поймут это. Как бы ни рвались русские к Эрзеруму и Карсу, им придется почесать затылки, когда в Абхазии будет собран мощный турецкий кулак.

— Дай аллах! — воскликнул князь. — Я полагаю, что весть о вашей победе быстро придет в Чечню и Дагестан. Мои доверенные лица постараются распространить ее с наибольшей пользой для дела.

— Если, великий князь, — заметил Нури-паша, — и в этих странах произойдут волнения, русским придется худо — их армия будет отрезана от России.

— Дай аллах! Дай аллах! — говорил Чачба. — Я очень надеюсь на это... Кстати, своим поспешным бегством генерал Кравченко во многом обязан нашим стараниям.

Нури-паша приложил руку к сердцу и поклонился.

— Будет сообщено адмиралу. Мы так и предполагали. Он просил узнать, не слишком ли беспокоили твое сиятельство наши ядра.

Князь расхохотался.

— Ну, ни столечко! — сказал он, показывая кончик мизинца. — Ваши пушкарки неплохо целются. Мы сидели спокойно, в то время как дома пылали и справа, и слева, и позади нас. Я очень благодарен адмиралу. Так и передай ему.

Нури-паша интересовался положением дел в Большой Абхазии. С этой наиболее густо заселенной абхазцами территории следовало, по мнению офицера, переселять людей в первую очередь. Султан повелел выделить необходимое количество кораблей. Кроме того, зафрахтованы английские и французские суда.

— Правда ли, — спрашивал офицер, — что среди населения действует шайка, препятствующая переселению, и правда ли, что такие прекрасные абхазцы, как Маан и Ачба, убиты?

Князь подтвердил эти сведения и пообещал разделиться с шайкой в самое ближайшее время.

— Но самое лучшее, — перебил его офицер, — это

собрать на берегу побольше махаджиров. Если выедут люди, шайке делать будет нечего.

— Да, это так, — согласился князь.

— Тебе, дорогой князь, — продолжал любезный офицер, — предоставляется на военном корабле соответствующее твоему сану место. Когда ты сочтешь нужным, корабль примет тебя на борт. Однако не стоит откладывать отъезд далее завтрашнего дня.

— Я прошу, — сказал князь, — прислать солдат. Некоторые из наших крестьян могут оказать сопротивление. Стоит привести в чувство одного-двух, остальные присмирят.

— Часа через два аскеры придут в твое распоряжение, — сказал Нури-паша. — Кроме того, наши войска появятся во всех 'ближайших деревнях. Они займутся выдворением малоподвижных.

Офицер встал, заявив, что торопится и поэтому не может продолжить чудесную беседу с таким великим человеком. Но, дескать, встреча эта не последняя, и если аллаху будет угодно, то он доставит офицеру еще раз подобное удовольствие.

Князь со своей стороны заметил, что весьма сожалеет о том, что такой высокий гость покидает его дом, не отведав никаких яств. На что гость ответил, что княжеские добрые слова слаще любого угощения.

47

Елкан Нанба поплатился жизнью.

Его застрелили в его собственном же дворе, на виду у жены и детей.

— Передай всем Нанба, — крикнул стрелявший, — чтобы приготовились к собственным похоронам.

— Он не виноват! — причитала жена над телом мужа. — Из-за братьев пострадал! Он не виноват!

Чирикба в тот же вечер сказал со злорадством:

— Пусть в Гуме начинают счет — род Нанба исчезнет от мала до велика!

Он усилил охрану своей усадьбы и носу не казал без вооруженной стражи.

Высадка турок придала ему новые силы. Он точно помолодел. Обещал дочери показать Истамбул в самом

непродолжительном времени. «Мы будем жить где-нибудь поблизости от столицы», — сказал он.

В разгар домашних сборов явился к нему скороход от князя Чачбы.

Выслушав посланца, Чирикба велел оседлать коня и через несколько минут выехал из ворот. Шесть молодых людей окружали его. Каждый из них стрелял «на голос», не целясь. И пули попадали куда нужно. Да и сам Чирикба был отличным стрелком, одинаково владел и ружьем и пистолетом...

— Мы поедем через гору, — сказал он.

Один из всадников попытался было посоветовать другой путь: дескать, в беспокойное время гораздо удобнее дорога, идущая берегом моря.

Чирикба не обратил внимания на этот совет. Хлестнул лошадь и направил ее по крутой тропе, выходящей по зеленому склону Аныха-Апаара.

Кавалькада поднималась все выше и выше. Вскоре кустарники уступили место небольшому засечному лесу, а дальше встали во весь рост высокие ели и заросли граба.

День был погожий. Пахло смолой и сухими шишками. Соловьи заливались горячей трелью. Переговаривались иволги и еще какие-то птицы. Никто не обращал внимания на эти знакомые, привычные с детства лесные звуки. Птицы, казалось, сопровождали всадников, перелетая с ветки на ветку...

Гора Аныха-Апаара и в наше время довольно лесиста, а в те годы ее зеленый покров местами был даже непроходим — настоящие джунгли. Солнце с трудом проникало сквозь листву. Там, где тропинка отделялась от бровки крутого горного склона и уходила в сторону моря, сумрак сгущался еще больше, а гибкие лианы принуждали все чаще склонять голову.

— Теперь я понимаю Абрискила, — сказал Чирикба, ругая последними словами эти чертовы лианы. — Герой наших сказок понимал, как жить надо. Ей-богу, и я возьмусь за эти канаты и изведу их, по крайней мере, на этой горе!

С этими словами он выхватил кинжал, намереваясь рассечь толстенную, извивавшуюся, как змея, лиану. Но вдруг его остановил властный голос, идущий откуда-то сверху:

— Чирикба Кямшиш, стой и не двигайся!

— Кто это? — крикнул Кямшиш и, не раздумывая, выстрелил вверх.

И тут под ним рухнула лошадь — пуля угодила ей в левый глаз.

Охрана Кямшиша Чирикбы мигом спешила, но только для того, чтобы больше никогда не сопровождать своего хозяина. Для этого понадобилось очень немного времени. И только один Кямшиш был жив-невредим, ни единой царапинки! Он расходовал заряд за зарядом, пока не опустели газыри. Тогда он крикнул:

— Выходите! Дайте оружие, и пусть станет против меня тот, кто не похож на свою мать!

Тут как из-под земли появился Кутат Нанба со своими друзьями. Они скрутили Кямшишу руки, перевязали их сыромятным ремнем и без особой почтительности препроводили его на ближайшую лужайку.

Чирикба оказался в руках абреков.

Он, тяжело дыша, исподлобья оглядел своих врагов. Узнал почти всех. Одних встречал на сходах, других — на свадьбах, третьих — на поминках. Кямшиш подумал: «Дал бы мне бог каждого из них в отдельности, поговорил бы по душам! То-то был бы задушевный разговор».

Ему все еще не верилось. Грозный, всемогущий Кямшиш, связанный по рукам! Нет, этого не может быть!

Но по мере того, как Чирикба начинал сознавать свое бессилие, по мере того, как убеждался, что нет и не будет ему пощады, он терял самообладание. В нем пробудился животный страх. Нижняя губа отвалилась, глаза расширились, брови взмыли кверху. На лбу выступил пот. Тело взмокло. Нос покрылся красными пятнами. По бороде потекли слюни. Ноги дрожали противной дрожью. И это у Кямшиша Чирикбы, чей голос вызывал у пленников подземелья медвежьей болезнью, чьи глаза блестели в пещере, словно молнии в черном небе?!

Да, это был тот самый Чирикба.

Он словно уменьшился в росте, словно сжался и стал маленьким, несчастным существом, которое даже бабочки не обидит.

Широколицый, усатый Басиат сказал:

— Ремень на руках ослабьте.

Абреки уселись на траве, поджав под себя ноги. Кутат был очень доволен. Астанда держалась в стороне. Она похудела за эти дни, вокруг глаз проступили морщинки.

Уардан, Уанача, братья Нанба и другие за последнее время словно сил набрались, поздоровели, окрепли. Постоянные разъезды сделали их стан еще гибче, а колени еще сильнее.

После Елкана Нанба старшим по возрасту среди абреков был Басиат, ему-то и пришлось говорить первым. Он кашлянул разок, кашлянул другой. Посмотрел на солнце, подвинулся вправо, под тень молодой ели. Брезгливо осмотрел Кямшища.

Подлец все-таки не выдержал взгляда абрека. Нет, не мог Чирикба принять смерть как мужчина. Вдруг затрясся он мелкой дрожью. Из глаз брызнули слезы. Повалился наземь.

Палач молил сохранить ему жизнь. Палач, хладнокровно душивший свои жертвы в подземелье Аныха-Апаара, выпрашивал право на существование. А разве не обращались к нему с такою же просьбой узники, чьи кости гниют в земле Абжъаквы, Гумы, Акапы, Багбарана, Килашура?..

Басиат терпеливо ждал, когда придет в себя человек, для которого не существовало понятий «слеза» и «пощада». Чирикба униженно просил даровать ему жизнь, чтобы искупить вину перед людьми и богом.

— Я еще в силах сделать это, — молил Кямшиш, вытирая трясущимися руками пот с лица. — Вы увидите... Поверьте мне...

— Эй, Кямшиш! — прикрикнул на него Басиат. — Нас много, а ты один! И никто, кроме тебя, не плачет, как плакальщица на княжеских похоронах.

Добрый пинок ногою пониже спины, которым наградили Кямшища, возымел свое действие. Чирикба высморкался, утер заплаканные глаза рукавами черкески и тупо уставился на Басиата, исполнявшего роль верховного судьи.

— Так-то лучше, — продолжал Басиат. — И тебе и нам. А теперь хочу сказать кое-что великому дворянину Абжъаквы. Вот эти люди, окружающие тебя, — это

жители Абжъаквы, Гумы, Акапы и Багбарана. Есть тут один из Гулрипша и один из Килашура. Есть у каждого из нас родня. Каждый имеет сердце и душу. Взгляни: каждый из нас потерял отца или брата, молочного брата, или племянника, или просто соседа. Они все погибли от твоих рук или по твоему наущению. Стало быть, все мы являемся твоими кровниками, и за каждым из нас должок — свинцовая пуля! А нас не так уж мало: пятнадцать человек, я шестнадцатый. Умереть тебе недолго, однако нам надо перемолвиться с тобой словечком...

Эту речь Кямшиш истолковал по-своему. Он усмотрел в ней скрытое намерение абреков пойти на какую-то сделку. Возможно, от него потребуют совершить что-либо важное, например, убить князя Бабыша... И он заранее на все соглашался: да, он принимает любое условие абреков.

Басиат сказал:

— Ну вот и хорошо. Мы вроде бы договорились. Послушай и решай сам.

Кямшиш воспрял духом. Он встал, выпрямился и решительно сказал:

— Вы увидите, на что я способен. Ежели слово дам,— послужу вашему делу.

В лесу было тихо и тепло. Издалека доносился лай собак. От земли поднимались весенние испарения, ароматные, словно запах только что испеченного чурека.

— Прежде, чем скажут свое слово другие,— говорил Басиат,— и прежде, чем ответишь ты, я хочу спросить: сколько ты сгубил невинных душ?

Кямшиш шумно засопел.

— Не помнишь? Не считал?

Кямшиш переступал с ноги на ногу.

— Отвечай же: за что ты предал смерти эти души?

И Кямшиш заговорил.

— Мне Бабыш приказывал,— сказал он.— Не смотрите, что он плюгавый такой. Это страшный человек. От него не отделаешься, ежели решил кого извести. Это все князь Бабыш... Что я мог поделать? Мне приходилось исполнять приказания. Исполнять скрепя сердце. Клянусь вам! Клянусь здоровьем моей дочери! Пусть святой Георгий Илорский поразит меня копьем,

ежели лгу! Пусть я не сойду с этого места и богоматерь Лыхненская навсегда закроет мне глаза, ежели...

— Скажем, все дурное исходило от Бабыша, — перебил его Басиат, с трудом сдерживая негодование. — Раз или два раза ты мог подчиниться ему. Ты мог исполнить его распоряжение и в третий раз. Но ежели была у тебя хотя бы капля совести, не стал бы пачкаться в четвертый раз! Верно говорю?

— Вы не знаете Бабыша, — сказал Кямшиш. — Ежели не бывали в его лапах...

Басиат снова остановил его жестом.

— Мы не бывали и быть не желаем! Послушай, Кямшиш! Если бы не захотел стать палачом, тебя никакая сила не принудила бы к этому! Скажем, Бабыш всемогущ и он лишил тебя остатка чести и совести. Но ведь честь и совесть ты потерял еще раньше, а иначе всади бы ему пулю... Но нет! Ты предпочел всаживать пули в беззащитных... За что ты убил Нанба Елкана?

— Я не убивал, — пробормотал Кямшиш.

— Кто-нибудь из подосланных тобой?

— Я не убивал, — повторил Чирикба.

— Кто же убийца?

Кямшиш кусал губы, загнанным волком глядел на абреков.

— И еще: ты собираешься в Турцию, Кямшиш?

Палач обдумывал: «Сказать «да» или «нет»? Что больше понравится абрекам?»

— Как все, так и я, — уклончиво ответил он.

— Не ври! — сказал Басиат. — А о чем ты шушукался с Мааном Озбаком? Не вы ли сговаривались выселить в Турцию как можно больше крестьян? Только посмей отрицать — и я пристрелю тебя, как собаку!

У Кямшиша язык словно запал.

— Толку от него не добьешься, — проговорил Басиат. — А ну-ка, друзья, кому хочется сказать два слова этому великому дворянину Абжьяквы?

— Эй, ты! — крикнул низкий, коренастый абрек с оспенным лицом. — Звать меня Воуба Жац. Я из Гулрипша. Может, припомнишь Воубу Алиаса? За что убил его?

— А Самсыса Тохуца? — спросил другой.

И тут посыпалось, точно град:

— Амичбу Лаза за что?

— А Кяхбу Дауда?

— Дзидзарба Кадыра где придушил?

— За какие грехи извел Лазба Платона?

Басиат сказал:

— Эй, Кямшиш, посмотри на эту девушку! — И он указал на Астанду.

Кямшиш не поднимал глаз.

— Это Уардан Астанда, — продолжал Басиат. — Ее отца, как тебе известно, звали Шаангери. Ты заживо похоронил его в своем подземелье. За что?.. Послушай, нехорошо молчать. Ежели ты прав, поспорь с нами. Нет — так признавайся! Мы же не шутки шутим!

— Меня тошнит от одного его вида, — сказал Уанача.

На середину выступил Кутат. Вздохнул, словно недоставало воздуха.

— Перед нами вроде бы человек, а на самом деле сатана, — произнес он. — Человеческую кровь сосет. Он раздулся от нее. Дело ясное: вздернуть его — и все!

Кутат достал из-за пазухи веревку и показал ее всем.

— Хороша, хороша! — похвалили абреки.

— А вы-то думали! — продолжал Кутат. — Я неделю назад навощил ее, да и вчера немало потрудился. А пока тут разговор вели, облюбовал сук, безобразный, как сам Чирикба. Вот он! И не так уж высоко.

Действительно, на ближайшей ели торчал большой сук. Он был достаточно мощным, чтобы выдержать тяжелую тушу, и достаточно длинным для этой прекрасной цели. Он изгибался трижды на протяжении полутора аршин, напоминая змею, которой прищемили голову.

— Ну, поговорили, и хватит, — заключил Басиат. — Кутат прав, сук действительно хорош.

Басиат распорядился накинуть петлю на шею Чирикбы. Тот побелел как полотно, губы посинели...

Снова заговорил Басиат:

— Друзья мои! То, что совершим сейчас, есть правосудие. Пусть не скрипят перья и не звенит судейский колокольчик. Мы Кямшиша повесим. Это дело решенное. Но живы еще его сообщники. Им тоже

следует воздать должное! Пусть мучители знают, что не простится им ни единый стон невинной жертвы, что за преступления ответят не только перед богом, но и перед людьми. Это непременно случится. Я очень в это верю... То-то будет праздник! Но и нынче для меня праздник. Для этого праздника я даже песню припас.— И он перешел на речитатив, негромко прихлопывая в ладоши:

Где он, герой, от века невиданный,
Храбрый и очень грозный,
Тот, кто старуху мог убить
В темнице глухой и дальней?
Что ребенка, не моргнув глазом,
Мог задушить в подземелье,
Что мужчину, ничком лежащего,
Мог убить из пистолета?

Этот герой — Чирикба Кямшиш!
Этот злодей — Чирикба Кямшиш!

Дрожит он, как лист осины,
Испачкал штаны свои новые.
Из волка в мышь крохотную
Превратился он нежданно.
А весит мышь ни много, ни мало —
Ровно шесть пудов и шесть фунтов,
Не считая ягненка в пуд,
Которого он ест ежедневно.
Эй, люди, посмотрите сюда —
Туша красуется на перекладине,
Туша эта — Чирикба Кямшиш,
Герой, от века невиданный!

Кое-как собравшись с силами, Чирикба прохрипел:
— Не имеете законного основания... Не судьи вы...
Абреки расхохотались. А Кутат воскликнул:
— Таких справедливых судей мир еще не видел!
И поволокли Кямшиша Чирикбу к ели.

Тамел Багапш полагал, что учеников необходимо увести подальше в горы. Николаев держался такого же взгляда — за несколько дней до бомбардировки города он отправил жену и двух детей в Цабала. В связи с отходом Сухумского отряда к Ольгинскому укреплению представлялось вполне естественным двигать-

ся горными тропами под защитой русского оружия. Путь пролегал по Джанскому ущелью, через общины Гума, Акапа, Амхял и далее — на левый берег Килашура.

Усталые и голодные, ученики с трудом дотащились до Акапы. Но, к их огорчению, деревня оказалась безлюдной. Большинство домов было сожжено. По дворам бродили голодные собаки. Мычали недоенные коровы. Картина полнейшего запустения!

Наступали сумерки. Двигаться дальше в темноте было небезопасно, да и требовался отдых. Беженцы кое-как разместились в двух уцелевших домах. За ужином пришлось довольствоваться родниковой водой и кусками затвердевшего чурека.

Вскоре мальчики уснули, а Багапш и Николаев уселись на крыльце, потрясенные картиной полного опустошения. Евгения Петровна, закутавшись в теплую шаль, прикорнула на лестничных деревянных ступеньках.

Николаев курил самокрутку. Сквозь сероватый табачный дымок проглядывала двурога луна. С юга подступали тучки. Они, казалось, тянулись к тонким и ярким рогам. А луна точно дразнила их — она то касалась их прозрачной кромки, то убегала на вольный простор.

Багапш пытался разобраться в происходящих событиях. Он задавал себе вопрос за вопросом. Ответы на них не доставляли никакого удовольствия. Одни казались просто неверными, другие наносили сердцу новые раны...

Учитель пытался понять: какая же это сила гонит людей в неведомые края? И о чем думают те, кто бросается очертя голову в неведомое путешествие?

— Имуций класс, — размышлял он уже вслух, — тесно связанный с султаном и его пашами, предал свой народ. Это ужасное преступление останется на совести князей и дворян. Князь Святополк-Мирский тоже повинен в этом: он мог бы властью, ему данной, пресечь действия султанской агентуры. Но князь остается князем, будь то Чачба или Святополк-Мирский. Своекорыстный взгляд на вещи не позволил Святополк-Мирскому полностью осознать вред махаджирства

не только для Абхазии, но и для русского оружия на Кавказе.

— Вы, кажется, все больше становитесь социалистом, — сказал Георгий Захарович, выслушав своего друга.

— Я? — спросил Багапш.

— А кто же! Вы, дорогой мой, высказались в духе европейских социалистов. Обратите внимание: князей вы справедливо отнесли в одну сторону, а народ — в другую. Размежевали классы. И в то же время вы объединили правящие классы России, Турции и Абхазии. Да это же и есть новейший, социалистический взгляд!

— Не знаю, — искренне ответил Багапш, — вам виднее. Ведь вы сами, кажется, находитесь на Кавказе не столько из-за своих больных легких, сколько из-за убеждений. Если я стал бессознательным социалистом, то в этом повинны вы.

— Возможно. Но, как видно, вам не очень-то хочется прослыть социалистом? Признайтесь.

Багапш сказал:

— Говоря откровенно, об этом и не думал. Но если то, что я сказал, есть мнение социалистов, считайте меня таковым. Да, социалистом! Однако, Георгий Захарович, все это слишком умозрительно, абстрактно. Я утверждаю, что на наших глазах разыгрывается огромная трагедия. Трагедия уничтожения целого народа. И я не вижу средств предотвратить ее.

Николаев швырнул окурок с балкона. Светящаяся точка описала кривую и потерялась в траве. В это самое мгновение наискосок через безоблачную часть неба пронеслась падающая звезда. Она вспыхнула белым огнем и исчезла. Исчезла, словно окурок в траве...

— Я говорил вам, Тамел Александрович, что ненавижу поэта Эмхаа, — сказал Николаев. — Ничего дурного лично мне он не сделал. Даже угощал меня. Но в то самое время, когда народ не знает, что делать, поддается обману, его, с позволения сказать, певец пьет вино квартами, веселится в свое удовольствие. В тяжелую минуту народ абхазский не слышит голоса своего предводителя. А те, кто претендует на эту роль, князья ваши и дворяне, ведут народ в пагубном на-

правлении. Мы же, русские, к сожалению, не можем помочь ничем, ибо вынуждены сами бороться против собственной монархии. Да, да, бороться! Кстати, когда я говорю — русские, совсем не имею в виду царя-батюшку и его малых и больших наместников... Народ русский сам ищет путей для своего спасения. А вы и все ваши друзья должны напяречь последние силы и спасти свою родину.

— Но как же спасти? Как?! — воскликнул Багапш. — Вы же видите, что творится! Голова идет кругом...

— Не отчаивайся, Тамел, — вмешалась в разговор Евгения Петровна, — бог даст, все обернется к лучшему. В конце концов, Акапа не вся Абхазия.

Багапш отрицательно покачал головой.

— Поверь мне, вся Абхазия, — и голос его дрогнул. — Местность от Кодора до Псцырхи, до Псху и до самых Кавказских гор — это и есть Большая Абхазия, та самая Азра, о которой пишут некоторые европейские ученые. В Большой Абхазии лет тридцать тому назад насчитывалось до полсотни тысяч дворов. По численности жителей Большая Абхазия скоро уступит место Окумскому и Кодорскому участкам, которые меньше страдают от махаджирства. Если примеру Акапы последовали Псху, Дал и прибрежные общины, завтра в этих местах абхазцев придется искать днем с огнем.

Багапш умолк. Встал. Снова сел и снова встал.

— Не расстраивайтесь, — говорил Николаев. — Утро вечера мудренее. Ночью все рисуется в мрачных красках. А утром, когда встанет солнышко и осветит мир, все покажется иным. Великий Феб, дорогой Тамел Александрович, замечательный маг.

Его горячо поддержала Евгения Петровна.

— Ах, как это верно! — сказала она. — У меня по утрам всегда чудесное настроение. А по вечерам на душе скребут кошки. Должно быть, нервы... Надо, Тамел, отделаться от дурных мыслей. Это решительно необходимо в нашем положении.

Багапш горько усмехнулся.

— Верно, Евгения Петровна, — сказал Николаев. — Война, я полагаю, закончится нашей полной победой,

и мы с Тамелом Александровичем и с вами, Евгения Петровна, попируем на славу.

— Что же, господа...— начал было Багапш, но Николаев остановил его.

— Тсс! — сказал он тихо.— Что это там? — Он указал рукою на кусты, росшие возле плетня.— По-моему, крадется кто-то. Прислушайтесь, господа...

Все трое напрягли слух.

Прошла минута, другая.

— Вижу,— сказал Тамел Александрович шепотом.— Человек.

— Что делать? — спросил Николаев.

— Есть у меня пистолет.

— Не торопитесь,— предупредил Николаев.— Да, это человек... Евгения Петровна, войдите, пожалуйста, в комнату.

— Ни за что! — воспротивилась Евгения Петровна.

— Позвольте,— сказал Багапш. Он уперся о перила и крикнул: — Кто там?

Молчание.

— Кто там?.. Мы свои...

Тень шарахнулась в сторону.

— Мы ждем ответа,— говорил Багапш по-абхазски.— Кто ты?

Наконец послышался голос:

— А вы абхазцы?

— Абхазцы и русские,— ответил Багапш.

— Это правда? — недоверчиво спрашивал голос.

— Да, правда. Мы учителя Горской школы. Вместе с нами наши ученики. А кто ты?

— Повтори по-русски,— донеслось из темноты.

Багапш сказал по-русски:

— Мы ваши друзья. Кто ты?

И ему ответили по-русски:

— Моя живет Акапа... Моя убил башибузук. Харош стреляй. Русски понимай?

— Понимаю, понимаю! — крикнул Багапш.

И тогда неизвестный направился к крыльцу. Поднялся вверх, высокий, с накинутой на левое плечо короткой буркой.

— Я Воуба Смел,— сказал он по-абхазски.— Это мой дом. Будьте гостями.

Слова его были преисполнены достоинства. Горец старался быть приветливым.

— Спасибо, Смел,— обратился к нему Багапш.— Что произошло у вас?

— Погибла вся Акапа,— объяснил Смел.— Живые, считайте, похожи на мертвых. Они теперь далеко, где-нибудь в море. А может быть, и на самом дне. Я с семьей бежал в горы. Двух моих братьев убили. Но я отомстил за них. Помогите похоронить по нашему обычаю. Они здесь. Видите кусты?

Смел сбежал с лестницы. Багапш и Николаев последовали за ним.

Трое мужчин осторожно перенесли мертвых на середину двора. Евгения Петровна зажгла светильник.

Два дюжих молодца лежали, словно уснувшие. Залатанные черкески были пропитаны кровью. Не больше тридцати лет было каждому. Большие носы с горбинкой. Лбы высокие, морщинистые. Глаза плотно прикрыты. Бороды чуть рыжеватые...

Смел наклоняется над мертвыми. Гладит их, точно любящая, нежная мать...

— Они не пожелали ехать в Турцию,— говорит он.— Вся наша семья бросилась в лес, а башибузуки и князь Чаабалырхва за нами. Мои братья преградили дорогу врагам... Вот что происходит в нашей Абхазии.

Багапш отводит Смела в сторону. У акапинца густые спутанные волосы. Черные как смоль. И нос с горбинкой, как у тех, что лежат на земле.

— Ты старший из братьев? — спросил учитель.

— Да, старший. А эти — близнецы. Тоже на отца похожи.

— А Воуба из Абжъаквы родственник тебе?

— Чинчор? Да, родственник. Мой отец ему дядей доводится.

— Вот что, Смел: где мы будем хоронить?

Смел вздыхает. Николаев подает ему портсигар с самокрутками. Смел берет одну и долго мнет в пальцах.

— Бумага чисто княжеская,— говорит он.— Жаль курить такую... Хоронить, дорогой мой, даже не знаю где. Вот жить где будем? Здесь же, наверное. На фамильном кладбище похоронить бы... Это за домом.

Евгения Петровна обмыла лица покойников, причесала им волосы.

— Кто она? — поинтересовался Смел.

— Моя супруга, — объяснил Багапш.

— Русская?

— Да, русская.

Смелу хотелось как-нибудь отблагодарить постороннего человека за сердечное участие в великом горе акапского крестьянина.

— Я хочу, чтобы она назвалась моей сестрой, — сказал Смел и, не дожидаясь перевода, обратился к Евгении Петровне: — Моя хочешь сестра твоя называй. Понимай?

— Спасибо, спасибо! — сказала Евгения Петровна.

Мужчины пошли на задворки, раздобыли лопаты. Через несколько минут они стояли у старых могильных холмов, густо поросших травой.

— Здесь, — сказал Смел, ткнув ногой в землю. И начал копать.

Евгения Петровна разбудила старших учеников, и в их присутствии совершилось погребение двух акапинцев.

После этого Смел Воуба попрощался с беженцами.

— Извини, что так плохо встретили вас, — сказал он Багапшу. — Я пойду к своим и расскажу обо всем. Как думаешь, когда мы сможем вернуться сюда?

Багапш пожал плечами. В самом деле, что можно ответить на этот вопрос? Конечно же, когда уберутся турки. А кто скажет, скоро ли это будет?..

— Пахота на носу, — продолжал Смел озабоченно, — на поле надо бы. Неужели затянется эта кутерьма?

Багапш попытался успокоить землепашца. Но крестьянину не нужны слова, пусть даже сладкие. Ему и самому видно, что время идет, а земля лежит нетронутая.

— Вот буйволы куда-то подевались, — волновался Воуба. — Может, прирезали их... Тащат все, что под руку попадет... Ну, я пойду. Тут недалеко кремневка припрятана. Ежели повстречаю кого из Чаабалырхва — убью. И помолиться не дам. Пусть подыхает, как собака! Наши князья — чтоб им всю жизнь в аду гореть! — всадили нам нож в спину. Эх, дорогие мои,

мы уже не люди, а тени. Ни кровинки в жилах! Стоит ли жить после того, что видели мои глаза и слышали уши? А?

Багапш перевел слова акапинца.

— Стоит! — воскликнул Николаев. — Передайте ему — очень стоит! Будут жить Воуба, Багапш, Лазба и другие — будет жить и абхазский народ! Крепче прежнего будет. Помяните мое слово! Кто борется, тот всегда сильный.

Смел внимательно вслушивался в эти слова. Прикладывал почтительно руку к сердцу. Кланялся.

— Пожелаю здоровья, — сказал он.

И ушел.

Растворился в темноте.

Только сухие веточки захрустели под ногами...

49

— Господа, я подымаю этот рог за здоровье Ачбы Джансуха. Разрешу себе вкратце, насколько позволяют мои слабые язык и ум, остановиться на его главнейших качествах... Итак, мой дорогой Джансух, ты достоин всеобщего подражания, когда сидишь на своем огненном коне, подобно Георгию Победоносцу. Ведь надо же иметь талант, чтобы так великолепно прирастать к коню! Ты, дорогой Джансух, сверкаешь, словно бриллиант, под нашим жарким солнцем. Это все от бога, и нам лишь остается завистливо вздыхать. Мы не раз любовались Джансухом, когда он возглавлял стол. Ведь без искры божьей ничего не поделаешь и при всем желании не станешь толумбашем. Слова же его нанизываются на стержень мысли, будто жемчуга на золотую нить. Настоящий абхазский толумбаш — в меру мудрый, в меру горячий, в меру словоохотливый и умело пьющий... Что такое кварта, если она в руках Джансуха? Миг — и нет ее! И вообще, господа, он достоин всяческого уважения. Говоря о нем, я не могу не упомянуть его изумительную супругу, глубокоуважаемую Тамару. Она точно лань возле него, будто орлица, бесстрашно взирающая на мир с высоты Кавказских гор... Сто лет жизни им! Астамур аллаверды!

Эту блестящую речь произнес не кто иной, как поэт Гектор Эмхаа. Он восседал во главе стола в доме цабалского князя Джансуха Ачбы. Поэт, можно сказать, бежал во главе Сухумского отряда, и его пятки так и сверкали на солнце. Гром орудий и дым псжарищ, которые он воспевал с таким вдохновением, при более близком знакомстве испугали его. И этот великосветский бобыль и ревностный служитель муз словно язык проглотил. Однако под сенью цабалских садов, вдалеке от страдающего Сухума, он обрел покой и дар речи.

Лицо его лоснилось, как и тогда, в ресторане «Лев». Глаза налились, словно у быка на испанской цирковой арене. Он жрал и пил за троих.

Благоговейно приложившись к рогу, Гектор Эмхаа шумно потянул в себя чистый сок Бахуса. Геройски осушив сосуд, шумно фыркнул, как лошадь на водопое. Затем наполнил рог и передал худощавому, высокому, как жердь, князю Астамуру Чачбе. Астамур выпучил глаза, делая вид, что это подношение — полная неожиданность.

Он встал, закатал рукава белой как снег черкески, обнажив худущую руку.

— Я не достоин такого подарка, — пробормотал он, церемонно принимая рог. — Наш дорогой Эмхаа с присущей ему поэтической фантазией нарисовал образ дорогого Джансуха и его супруги, несравненной Тамары. Княгиня! Князь! Что мне добавить? Скажу одно: я пожелаю вам столько горя, сколько останется капель в этом роге.

И он под крики «браво» выпил весь рог без передышки.

За столом сидело человек десять. Все, за исключением поэта, были местными жителями. Ужин состоял из бычка, отваренного целиком в огромном котле и мастерски разделанного на богатырские порции, жареного сыра, холодной и горячей мамалыги, различных острых подливок и отличного свежего сыра. Что касается вина, оно горело при свете стеариновых свечей, как рубин. Его пили с огромным удовольствием. Поскольку Эмхаа в самом начале пирушки, на которую мы несколько опоздали, счел необходимым особо оста-

новиться на качестве напитка, попытаемся воспроизвести его авторитетное высказывание.

— Сорт цабалского вина — изабелла. Но не та изабелла, что произрастает в Наа, на левом берегу Кодора, или в Уарча, на правом берегу, или в Эшерах, северо-западнее Сухума. И не тот виноград, что родится в нагорьях Ачандара. Нет, здесь, в Цабале, изабелла отличается от всех изабелл в мире. Во-первых, своим тонким ароматом, во-вторых, светло-рубиновым цветом и абсолютной прозрачностью. Это внешние признаки. Они очень важны, хотя и не являются решающими... А теперь обратимся к вкусовым качествам. Значит, так: пригубил вино — словно раздавил свежую виноградину! Еще глоток — и она уступает место какой-то невообразимой дикой ягоде, напоминающей ежевику. Но она, эта ягода, не так кисла, как ежевика, но запах, без сомнения, ежевики. Ежевики, умытой росой. Роса оседает на языке, вызывая ощущение свежести, а сок течет дальше, сладко опьяняя... Вот еще глоток, и еще один... Тут уж льется чистейший нектар, собранный пчелами на альпийских лугах где-нибудь выше Чхалты. Итак, ты проходишь через несколько этапов, пока пьешь цабалскую изабеллу. Ты словно прошелся по лугам и лесам и напоен их ароматом. А потом принялся за ягоды, самые любимые, и завершил ими последний глоток вина. К тому же ты вкушаешь обманчиво слабый виноградный сок, похожий на родниковую воду, вытекающую из самых чистых глубин земли, а встать из-за стола уже не в состоянии.

Словом, компания пила действительно отличное вино, и напегирек Эмхаа в общем соответствовал действительности.

Рог пошел по кругу.

— Послушай, Гектор, — обратился хозяин к поэту, — расскажи-ка нам, что происходит в Сухуме. Говорят, камня на камне не осталось? Это правда?

— Правда, — ответил поэт, с трудом пережевывая огромный кусок мяса. — Песок и зола. Поверьте мне. Ядра падали, словно кукурузные зерна. Густо, густо! Голову скроешь — извините, задницу вырвет, ляжки спрячешь — голову снесет. Одним словом, ангел смерти летает над тобой, как назойливая оса. Ты помнишь,

Джансук, ресторан «Лев»? Наш дорогой, незабвенный «Лев» лежит во прахе и пыли. О, ужас! О, горе!

Цабалцы опечалились: единственный первоклассный ресторан — и тот разрушен...

— Что поделаешь, — сказал хозяин, — война есть война.

— А самое главное, господа, — продолжал поэт, обсасывая кость, — я должен сообщить неприятную весть. Весьма прискорбную. — Он подмигнул. — После первых залпов погибла несравненная княгиня Марика.

— Кто? Кто? — брезгливо спросила сухопарая княгиня Тамара, похожая на гладко выструганную буктовую доску.

— Княгиня Марика.

— Это кощунство, Гектор! Она такая же княгиня, как... Словом, это женщина легкого поведения.

— Так что ж из этого? — возразил Гектор. — Такого рода женщина иной раз лучше любой молоденькой монашки из Команского монастыря.

— Правильно, Гектор! — поддержали его мужчины.

Разрывая на части великолепно поджаренную курицу, поэт сказал:

— Но Марика, господа, до последней минуты оставалась ветреной Марикой. Я даже обругал ее, хотя, как известно, мертвых ругать нельзя. У нее гостил — даже стыдно выговорить — извозчик по имени Шоуген. В самую интересную минуту на них обрушилась крыша и заживо погребла любовников. Вот так смерть!.. И все-таки жаль. Выпьем за упокой!

— Что? — грозно произнесла княгиня.

Гектор немедленно отступил.

— Я шучу, дорогая Тамара.

— Нет, отчего же, — сказал князь Джансук. — Выпьем за Марику. Черт возьми, она же была нашим другом!

— Вот именно, — буркнул поэт.

Княгиня Тамара метнула острый недружелюбный взгляд в сторону толумбаша. Она презирала этого болтуна, который вечно мелет черт знает что. Его писания, по глубокому убеждению княгини, не стоили ломаного гроша.

— Милый Георгий, — язвительно обратилась к поэту княгиня, — я хочу заметить, что у меня не публичный дом. Веди себя пристойно.

— Вот те на! — удивленно воскликнул поэт. — Я вижу...

Но княгиня прервала его, она потребовала прекратить вульгарные разговоры.

Но тут вскипел князь Джансук, раскричался не на шутку. Из рта в разные стороны полетели крошки.

— Ах, так?! Нам затыкают рты?! В таком случае я предлагаю выпить стоя за наше дорогое дитя, княгиню Марику. Только стоя, господа!

Подвыпившие мужчины встали. Дружно чокнулись. Княгиня бросала испепеляющие взгляды на своего мужа. Но он не обращал на нее ни малейшего внимания.

Слева от княгини сидел князь Маршан. Плотный, высокий, розовощекий, с большими усами, без бороды. Тихо шепнул княгине:

— Я проучу этого поэта, — и спокойно продолжал обглаживать огромную кость.

Княгиня поблагодарила.

Вскоре Маршан заметил вслух:

— В горле пересохло, пить хочется.

— Пить? — спросил толумбаш, у которого туманился взор.

— Что же тут удивительного, Гектор? Мужчина за столом хочет пить! На то и вино! На то и толумбаш.

— Ты хочешь сказать, что я не в состоянии пить?

— Да! — вызывающе сказал Маршан.

— Хозяйка! — крикнул Гектор. — Дай мне вон ту хрустальную вазу... Сколько в нее входит?

— Три кварты, — ответил Джансук.

— Три? Черт с ними, можно и три!

Наполнили вазу вином и вручили ее толумбашу. Он схватил сосуд обеими руками. Перед глазами поплыли разноцветные круги.

— Пить будем, — произнес толумбаш. Облизнул губы. Тряхнул головой.

— За кого? — спросил Маршан.

— Как за кого? За многое... Почему бы не выпить за женские ножки?.. Я толумбаш, и слушайте меня... У нее, значит, находился этот хам Шоуген... Понимаете?

Ничего вы не понимаете!.. Так вот, бог наказал ее. Все видит всевышний, да не скоро скажет. А как скажет — крыша на голову свалится. И похоронит под собой. Как эту милую парочку. Ха-ха-ха! А Марика — проститутка! — Гектор вдруг рассвирепел. — Я-то ее знаю! Как облупленную! Каждый вершок ее тела! Тварь продажная — вот кто!..

— Значит, еще раз за нее? — пробурчал Маршан нарочито сердитым тоном.

— Именно, дорогой князь, за нее. А впрочем, нет. За друзей! Хороших!..

Эмхаа скривил рот в улыбке. Вдруг икнул. Извинился. И, не говоря более ни слова, приник губами к вазе.

Он тянул вино весьма усердно, делая короткие передышки и закусывая мясом. Наконец поставил вазу меж тарелок. Качнулся назад. И рухнул на пол. Как подкошенный.

Его подняли и вынесли в соседнюю комнату. Уложили на жесткие нары.

Маршан неопределенно помахал руками: дескать, не поймешь, что творится на белом свете. Княгиня благодарно улыбнулась ему.

Мужчины избрали нового толумбаша — князя Маршана. Первый рог он поднял за несчастного предшественника, который, дескать, ни в чем не виноват, а виновато только вино...

И тут же все забыли блаженно храпевшего поэта.

50

— Я слышу чьи-то шаги, — сказала Таба.

Чинчор, казалось, не расслышал ее слов. Он сидел, опустив голову. «Жил я шестьдесят лет и три года, — говорил он про себя. — Что я видел? Нужду, горе, холод. На сына была надежда. Думал, вырастет — опорой будет. А тут такая беда! Деревня опустела. Каждый дом, точно гроб... Что же делать? Переселиться куда-нибудь, где живут абхазцы? В Окум, например, Гал или Гудауты. Или, может, в Гагры, или в Сочи, к садзам, — язык у нас одинаковый, пойдем друг друга...»

— И как будто бы не один,— продолжала Таба.— Остановились у ворот.

Послышался непонятный говор.

— Кто это разговаривает? — удивилась женщина. — Да вставай же ты!

Чинчор вышел во двор. Верно, к хижине подходили люди. Чиркнули спичками. И вдруг загорелись факелы. Целых три факела! Стало светло, как днем.

Чинчор узнал Татластана Лакырбу. Он шагал как-то странно — бочком, словно опасался чего-то.

— Это ты, Татластан? — нелюбезно спросил хозяин.

— Как видишь, Чинчор. И не один. Со мною гости.

Чинчор давненько не видывал таких гостей. Стоят молча, навтыяжку, точно аршин проглотили. Военные люди, что ли?

— Тебе оказана великая честь,— объясняет Лакырба. — Поклонись же, Чинчор, пригласи в дом.

Военные, значит. А какие военные — понятно без слов. В широких шароварах, в узких куртках без рукавов и красных фесках. На боку кривые сабли, в руках новенькие ружья, приклады так и поблескивают лаком, словно зеркала. Пожаловали, стало быть, башибузуки. Это теперь и слепому видно...

— Что же, Татластан, гость что золото. Входите.

Лакырба перевел эти слова низкому, малоподвижному толстяку с большими усами. Толстяк что-то пролопотал в ответ.

Таба внимательно следила с порога. Луна, вынырнув из большой, чернильного цвета тучи, освещала безмолвную Абжьякву голубым светом. Теперь очень просто было пересчитать непрошенных гостей — их ровно двадцать.

— Послушай, Чинчор,— сказал Лакырба,— перед тобой важный эффенди. Он изволит спрашивать, скоро ли ты отправишься на берег. В общине никого не осталось.

Чинчор процедил сквозь плотно стиснутые зубы:

— А ты-то кто? И почему сам не на берегу?

Татластан, потирая руки, объяснил необычайно любезно:

— Я иду оттуда. Прямой дорожкой. Очень беспокоился. Думаю, все родственники налицо, а воспитателя нет. Может, убили его русские, думаю. Вот и проведали.

— Спасибо. Я жив и невредим. Что еще?

Татластан возмутился:

— Аллах, как ты грубо разговариваешь! Разве спрашивают «что еще»?

— Бывает и похуже, — ответил Чинчор. — Иной раз и оружие пускают в ход. Смотря по тому, какие гости.

Офицер торопил дворянина. Татластан успокаивал его.

— Эффенди слишком ценит время, — сказал Татластан Чинчору.

— Так что же?

— Торóпится, значит.

— Скатертью дорога!

— Чинчор, ты не в духе...

— Я же говорю: скатертью дорога!

— Послушай, Чинчор, — сказал Лақырба, подпрыгивая на кривых ногах, — время дорого, слушай и на ус наматывай. Оставаться в Абжъакве нельзя. Так говорит эффенди. И мы, твои близкие, будем скучать без тебя, без Табы, без Платона... А где Платон?

Чинчор молчал.

— Где Платон, спрашиваю?

Отозвалась Таба:

— Его нет дома.

— Это правда?!

— Клянусь тобою!

— Верю, Таба. — Дворянин перевел офицеру слова хозяйки.

Турок буркнул что-то под нос, надул губы.

— Эффенди сердится, — продолжал Татластан, — он правды требует.

Чинчор вскипел от злости.

— А еще чего?

— Скажи прямо, Чинчор: как поступать намерен? Учти: Абжъаква, Гума, Акапа, Килашур уже там, на берегу. Одни грузятся на пароход, другие давно отплыли.

Татластан что-то прошептал на ухо офицеру. Тот сказал по-турецки:

— Клянусь аллахом, я, кажется, лопну от гнева. Договаривайтесь поскорее! Нельзя же на каждую свинью тратить целую ночь!

— Разумеется, эффенди, разумеется,— закивал Татластан.— Я все улажу.

При свете факелов, смешанном с голубоватым сиянием луны, Чинчор казался высеченным из серого камня; он стоял ровно, внешне спокойно, ни одного движения, точно кровь заледенела. Он понимал, что люди явились неспроста. Недаром лезет из кожи этот Лакырба! «Дело не обойдется без крови,— подумал Чинчор.— Хорошо бы, ежели б ружье под рукою было. Идти напролом или обратиться к хитрости?»

Пока он выбирал наиболее верный способ, Татластан о чем-то горячо разговаривал с офицером.

— Эй, Чинчор,— сказал он грубо,— уснул ты, что ли?

Чинчор медленно поднял глаза на своего воспитанника. Огонь факелов отражался в его зрачках, как в зеркале. Не глаза, а раскаленные угли...

— Ежели и уснул,— ответил Чинчор,— я не просил будить меня. Что до поездки — с хозяйкой надо бы перемолвиться...

Чинчор сделал шаг в сторону хижины. Но офицер властным окриком остановил его.

— Чинчор,— предупредил Лакырба,— не входи в дом, пусть выйдет хозяйка.

— Бойтесь? — спросил Чинчор с усмешкой.

Лакырба снова пошушукался с офицером. Тот коротко отвечал:

— Яхши!

— Эффенди говорит: «Яхши!» — перевел Татластан.— Это значит — хорошо. Он говорит: «Яхши, Татластан, пусть по-твоему, не будем обижать твоего родственника, ежели он последует за нами!»

— Куда?

— Ты что, одурел? На берег. Там пароходы ждут! Большие. И мы поплывем в великий город Истамбул...

Таба, напуганная до полусмерти, никак не могла понять, почему упорствовал ее хозяин. Ей-богу, не следовало ссориться с этими важными людьми,

у которых, кроме слов, имеется также и оружие. Не лучше ли, посоветовала она, пригласить их в дом, посидеть у очага и обо всем мирно поговорить? К тому времени вернется и Платон... Одним словом, нельзя решать такое дело без него — единственного сына и опоры...

Ее почтительно выслушал Лакырба и слово в слово передал офицеру.

— А где сын? — спросил турок.

— Где-то здесь, в деревне...

— Когда вернется?

Чинчор, воспользовавшись тем, что офицер отвлечен разговором с Лакырбой, бросился в хижину. Можно сказать, это был прыжок. И неплохой для его возраста.

— Татластан, ни шагу! — крикнул Чинчор. — Не смей шевельнуть пальцем! А иначе уложу!

Офицер приказал солдатам действовать. Трое бросились вправо, трое — влево. Рычащую собаку пристрелили.

— Одумайся, одумайся, — предупредил Чинчора дворянин.

— Пеняй на себя, Татластан!

Раздался выстрел, и Лакырба упал, как мешок, без единого звука.

Офицер отполз к воротам. А солдаты открыли с трех сторон огонь по хижине. А затем подожгли ее. Сплетенные из ивовых ветвей стены загорелись ярким пламенем. Наружу повалил бурый дым.

Недолго пылала хижина — обрушилась кровля, повалились стены, взметая бесчисленные мелкие искорки.

51

Сколько раз повторил он это имя — Гуаша?

Волосы Платона усыпаны капельками росы. Одежда его повлажнела на ночной прохладе. Он все сидит на крыльце Кунцала Абрискила. Словно ждет кого-то...

Уже и небо пожелтело по краям. Ослабело блистание звезд. По макушкам деревьев пронесся ветерок. Пискнула разбуженная пичуга.

Делать здесь больше нечего, надо домой!..

Платон бредет, заложив руки за спину. Он качается, спотыкается. Его трясет озноб, зуб на зуб не попадает. Должно быть, лихорадка... А может, это от пули, которая в плече? Угодила, шальная, ночью...

Светает...

В это время, бывало, люди уже гнали скот, торопились на рынок с сыром, кислым молоком, фруктами, овощами. Издали слышалась пастушеская свирель. В это время и кутилы возвращались со свадеб. А сейчас все молчит...

Вот он уже дома. Едва на ногах держится...

Открывает ворота — и не верит глазам! Нет, должно быть, это во сне! Осматривается: не ошибся ли? Не занесло ли его на чужой двор?

Нет, все это явь — пепел, только пепел!..

Навстречу ему идет кузнец Киамин. Руки висят, точно плети. Шаги тяжелые, будто у него цепи на ногах. Он бледен, похож на мертвеца.

Киамин обнимает Платона, и долго-долго не выпускает из объятий.

— Что случилось? — спрашивает Платон.

— Погибель наша, — едва произносит кузнец. У него в горле ком.

— Где отец, мать?

— Не знаю. Меня не было здесь. А что с тобой?

— Ничего. Плечо оцарапало.

Пепел, пепел... Огонь пожрал хижину. Ничего не оставил. Кроме пепла.

— Они увели и отца и мать, — говорит кузнец.

— А может быть... — Платон пытливо наблюдает за выражением лица Киамина, — может, убили их? А?

— Это ты зря, Платон. Ей-богу... И в мыслях не допускай...

— Вечером все было на месте, — говорит Платон. — Я и пошел к этому...

— Знаю, Платон. И там никого нет...

— Что же делать, Киамин?

Кузнец разводит руками.

— Башибузуки что волки... Ты молод. Надо о себе подумать. Во имя родителей...

— Ты думаешь, они живы?

— Да, да! — горячо заверяет кузнец. — Все в руках божьих. Я верю в его милость...

Платон опускает голову.

— В последние дни я разуверился в этом, Киамин. В Священном писании сказано: «Бог не сотворил смерти и не радуется гибели живущих». А что получается? В книге говорится, что бог создал все для бытия, и все в мире спасительно и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле... Все создал для бытия! Понимаешь, Киамин? А выходит наоборот! — И Платон кивает на пепелище.

Кузнец соглашается с ним.

— Да, очень похоже на ад.

— Нет, это же сущий ад, Киамин! Я был в Сухуме, когда на него обрушили гром и молнию. Я своими глазами видел смерть и разрушение, каких свет не знал. Я не переживу этого.

— Ну-ну! — проговорил Киамин, обнимая молодого человека. — Об этом и слышать не хочу. Ты так еще молод, Платон. Покажи лучше плечо.

— Не надо. Скажи-ка мне, есть ли грех на свете?

— Есть, — подтверждает кузнец.

— Так... И что же, сильно достается грешнику?

— От кого?

— От кого положено.

Кузнец прибегает к небольшой уловке:

— Все, говорят, от греха зависит. Есть грех смертельный, а есть небольшой. Разное и наказание.

— Я очень грешен, Киамин. Надо бы мне своих родителей оберегать, а бог разума лишил. Это же наказание.

— Наказание, говоришь?

— Да, наказание. Согрешил — наказание. Верно ведь, Киамин? Была тут одна девушка... Виновен я, значит, и перед ней...

За ночь Платон похудел, осунулся, пожелтел. Лоб будто восковой. Губы деревянные, землистого цвета.

— Платон, пойдем ко мне, — зовет его кузнец. — Ты болен.

Платон отрицательно качает головой.

— Прощай, я уйду, — говорит он.

— Куда же ты пойдешь?

— Пойду искать своих...

— Но ты нездоров.

— Они, думаешь, здоровы? Я знаю: мать не выдержит разлуки со мной, а отец — с Абхазией. Поэтому что Абхазия для него дороже сына.

— Скажи, где искать тебя?

Платон пожимает плечами.

— В Мачаре. Там, где на корабли людей сажают...

И он уходит, пошатываясь.

52

Через реку Басла перекинут единственный деревянный мост. Шаткий, узкий. Вода под ним течет едва заметно. Море близко, и оно подпирает уровень Баслы. Река невзрачна и смиренна. Но в пору весенних дождей вздувается, бурлит, словно овражная речка, из берегов выходит, дома смывает. Под мостом образуются водовороты, в которых дико кружатся коряги...

Платон Воуба глядел в воду и видел знакомое лицо. Как будто разверзлась могильная пасть и в ней показался мертвец. Это Воуба, Платон Воуба. Сын Чинчора и Табы... Но не очень ясен его лик, с водой сливается. Потому что одного цвета с водой.

Платон с завистью смотрел на рыбешек, что полоскались игриво, — видно, неплохо им в тихой воде...

Он с трудом оторвался от поручней. Ныла грудь, дыхание спирало. Надо было торопиться в Мачару, а ноги не повиновались. Третий день во рту ни маковой росинки. Противно думать о еде...

А идти все-таки надо... Он сделал несколько шагов.

И увидел скачущих всадников. Пошатываясь, сообщал, куда податься. А кони, словно сказочные, громко фыркали, пена из-под удил так и брызгала.

— Эй! — закричал один из всадников. — Посторонись!

Платон с усилием раскрыл глаза и увидел князя Бабыша Чачбу.

— А, князь Бабыш! — завопил Платон. — Где моя мать? Где мой отец?!

Кони били копытами, взбивая пыль.

— Прочь! — заорал князь.

Горячая конская грудь сбила Платона с ног. И кони пронеслись над ним, к счастью не задев его.

Платон поднялся и поплелся по дороге, ведущей в Мачару. Она вилась у самого моря. А море было синее, спокойное. По нему бежали небольшие волны с белыми гребешками. На небе — огромные полупрозрачные облака.

Турецких кораблей как не бывало. То ли укрылись за Сухумским мысом, то ли вовсе уплыли. Необычайное безлюдье на всем берегу...

Шагать дальше было не вмоготу. А что, если водою освежиться? Может, полегчает? И чуть утихомирится этот жар в груди...

Морской песок был теплый, как в июне. Ноги увязали в нем. Волны мягко ложились на берег. Платон присел на корточки у самой воды. И снова снизу вверх глядело на него знакомое лицо. Оно исчезало под набегающей волной и снова появлялось.

— Виноват я, виноват... — шептал Платон.

В голове пусто. Никаких мыслей. Никаких чувств. Одно желание — добраться, доползти до Мачары. Но это так же трудно, как подняться к солнцу.

И вдруг будто кто-то подтолкнул Платона в спину, легонько, почти незаметно. И этого было вполне достаточно, чтобы он потерял равновесие и упал головой вперед. В то самое мгновение, когда он падал, для него уже померкло солнце, умолкли крики чаек и небо обратилось в маленький черный коврик.

В мелкой воде под лучами майского солнца лежал Платон Воуба, ученик второго класса сухумской Горской школы. Его короткие каштановые волосы шевелил накат волн, как мох, растущий на камнях.

И некому было подать ему руку помощи.

53

Гора Амракупхарта выше всех своих ближайших сестер. С ее вершины видно далеко вокруг. Налево в легкой весенней дымке — общины Айбухца, Гулрипи, Бабыш-ира, Уарча; направо — Гума, Яшт-хуа, Ачадара, Эшера, Гумиста. Деревни зеленой цепью окаймляют город Сухум и Абжъакву.

Утро теплое, а здесь, на горе, можно сказать, даже жаркое, летнее. Розоватая пелена на востоке медленно

спадает, и солнце, вырвавшись на простор, уверенно движется к зениту. В долинах все еще голубеют туманы, лениво кочевавшие всю ночь и не успевшие скрыться с появлением солнца.

Амракупхарта — что значит «согретая солнцем» — вся украшена молодыми елочками. Вершина ее округла, а на самой макушке лысинка, поросшая высокой и упругой травой. Полянка чистая-чистая, будто только что подмели ее заботливые руки. Посидеть здесь на травке и полюбоваться открывающимся видом — все равно что напиться целебного напитка.

А на севере громоздятся снежные горы. Они преграждают дорогу холодным ветрам и зимней стуже. В хорошую погоду виден даже Эльбрус. Хотя до него далеко, но и на расстоянии можно оценить его мощь и неповторимую красу.

Но каждому, кто подымался на Амракупхарту, самым удивительным казались не снежные горы, не долины, уходящие на юг, и даже не бирюзовое море, беспредельное и тем особенно привлекательное, а родничок, журчащий у нижнего края поляны. И каждый невольно думал:

«Вот чудо, невиданное от века, — ледяная вода, прозрачная, вкусная, как мед, и поднятая на такую высоту! Неужели найдется еще уголок краше, где сердце наслаждается свежим воздухом, душа — чудесной водой, а глаза — окружающей природой?» Только рай, о котором толкуют люди, может сравниться и с этой горой, и ее сестрами, окружающими зеленую громаду причудливым хороводом. Хоровод этот не движется. Он как бы застыл в чудесном сочетании, какое не придумает ни один изобретательный художник.

Об этой горе, благословенной солнцем, народ сложил не одну песню...

И вот здесь, на зеленой полянке, встречали восход солнца Кутат и Астанда.

В их глазах отражалась вся глубина голубого простора.

Ему было хорошо со своей подругой, кроткой и ласковой, усталой и еще больше привлекательной своей усталостью. Но в голове роились разные мысли. Большею частью мрачные. Где его братья? Где друзья? Что с домом?.. Отряд абреков несколько дней тому

назад вступил в бой с турками. Силы были неравные — горстка храбрецов против двух сотен. Абреки рассыпались в разные стороны, и каждый сражался в одиночку, как мог. И вот они здесь, на этой горе.

Астанда, в отличие от своего мужа, старалась ни о чем нынче не думать. Возле нее находился тот, ради кого она пошла бы на смерть. Они молоды. Солнце сияет над их головой. Земля широка. Не пропадешь на ней! Вот и хорошо!..

— Видишь? Вон там, в гавани, стоят турецкие суда,— сказал Кутат.— Хорошо, что не стреляют... А ты погляди в сторону Мачары. Фелюги снуют взад и вперед — от берега к пароходам и обратно.

— Вижу.

— Они людей увозят,— продолжал Кутат.— Вчера горела половина Абхазии, а сегодня солнце светит, как ни в чем не бывало... Скажи, Астанда, есть ли на свете бог?

Она ответила, что без бога ничего не делается в мире.

Голос ее был чуть надтреснут, с хрипотцой. Шея тонкая, с голубыми прожилками. Она была худа, заметно проступали ключицы. Глаза с поволокой, глаза женщины, прожившей долгую, трудную жизнь. Зато косы толщиной с корабельный канат. Такие бывают только у молодой и здоровой...

Кутат сказал:

— Ежели есть на свете бог, то, наверное, случится нечто поразительное. Да разве можно спокойно глядеть на народ, с плачем покидающий родину! Да какую еще родину! — И Кутат вытянул правую руку и описал ею широкую дугу.— Вот, к примеру, мы с тобой,— продолжал он.— Не знаем, куда идти, что делать. Дом наш не принадлежит нам, двор попал в чужие руки. Разве это справедливо?

Астанда пожалела его. Оглядевшись вокруг и убедившись, что никто не подсматривает за ними, она положила голову ему на колени.

Тихо. Одни, совсем одни.

Под ними теплая земля. Над ними жаркое солнце. Он наклонился к ней. Щеки у него колючие. Борода пахнет травой и ежевикой. Но это очень приятно, когда жесткая мужская щека касается белой щеки...

— Очень трудно,— шепчет он.— Но ты со мной — и сердце не разрывается.— Ее губы тянутся к его губам.— С тобою хорошо,— говорит он, целуя ее.— Знаешь что? Не страшно воевать, Астанда, страшно испытать поражение. Ежели б не ты, не знаю, что было бы со мной... Я бы даже не знал, что делать!

— Ну, а сейчас ты знаешь?

Его губы касаются ее щеки.

— Знаю! Умру, но пойду вперед.— Указательным пальцем он проводит в воздухе прямую, очень прямую линию.— Вот так и пойду.

Она гладит его руку.

-- И я тоже,— говорит она.— Я тоже!

*Елене и Дмитрию Гулиа,
моим родителям*

Фараон Эхнатон

Исторический роман

Есть вещи незабываемые.

Незабываем, например, Древний Египет, или, как называли его сами египтяне, Кéми.

Всякий, кто попытается постичь истоки мировой цивилизации, тот неминуемо придет в Египет. А кто однажды прикоснулся к его истории, архитектуре, скульптуре, литературе, тот на всю жизнь становится духовным пленником во многом таинственного для нас государства Кеми.

По мере того как мы удаляемся от седой древности, интерес к Кеми все растет и растет. Во всем мире. Не удивительно, что и я оказался в числе замороженных и тридцать лет изучал историю и искусство этой страны.

За три тысячи лет на египетском троне восседали фараоны тридцати династий. Наверное, их было намного больше двухсот — этих полубогов в бело-красной короне. Одни из них царствовали необычайно долго, другие — очень краткое время. Рамзес Второй правил шестьдесят семь лет. Его рекорд побит только фараоном Пиопи Вторым: почти сто лет! (Какой ужас, даже если и всамделишный полубог!) А Шешонк Второй так и не успел вкусить от единовластия: он умер во время совместного с фараоном Осорконом Вторым правления. Большинство царей переселилось на поля Иалу в результате естественной смерти. Большинство, но не все. Аменемхет Первый, например, был убит в своей спальне. Поздней ночью...

Я хочу сказать, что фараоны были разные, с различными судьбами. Были среди них и те, что поумнее. Находились и поглупее. Были воинственные. И менее агрессивные. Но деспотами были все. Поголовно все!

В длиннющей веренице фараонов особенно выделяется один.

Он бесстрашно свергнул бога небесного Амона — более чем тысячелетнего по возрасту, немыслимо сильного своими земными связями. Свергнув Амона, провозгласил культ единого — осязаемого, зримого — бога Атона, солнечного диска.

Звали фараона Эхнатон.

Он не отличался воинственностью, подобно Тутмосу Третьему. Зато царствование его богато великолепными мастерами — гениями зодчества, ваяния и живописи.

При жизни к нему относились по-разному. Спустя три тысячи лет ученые-египтологи также относятся к нему различно. Это даже удивительно! Одни пишут о нем восторженно, слишком восторженно. Другие обливают грязью. Равнодушным не остается никто!

Брэстед называет его так: «Первый индивидуалист истории», «Самая замечательная фигура на Древнем Востоке». Ксес пишет: «Этот болезненный, безобразный деспот, необузданный в мыслях и в поведении». Перепелкин и Коростовцев, по-моему, держатся середины.

Послушаем Уэли: «Эхнатон сказал «первое солнечное слово» — и Бернара: «Бесноватый эпилептик, вышедший из ада, чтобы разрушить осирическое предание».

А вот мнение Гардинера: «Быть таким умным, как он, в те времена значило навлечь несчастье». А Шарф осуждает Эхнатона как государственного деятеля, пренебрегшего интересами своей страны.

Питри говорит: если бы культ Атона «был новой религией, призванной для примирения с нашими научными понятиями, мы не нашли бы изъяна в верности этого взгляда на энергию Солнца». Антес инкриминирует Эхнатону неограниченный рационализм. Ланге, напротив, высоко оценивает духовную мощь Эхнатона, стоявшего «по ту сторону рассудочного, явившегося из глубин, чтобы выполнить миссию египетской культуры».

Бейголл видит в нем блаженного эпилептика и предшественника Христа. Майер и Масперо объясняли реформы Эхнатона борьбой со жречеством. Павлов

пишет: его «учение... нанесло тяжелый удар по консервативному фиванскому жречеству». А вот что говорила Матье: Эхнатон «пошел на сткрытый разрыв со знатью и жречеством...», «солнечный диск... был объявлен создателем мира и всего этот мир населяющего». Уилсон утверждает, что «революционная» партия Атона была «равнодушна к захвату колоний и к захвату Азии».

Я назвал имена и привел мнения, известные египтологам всего мира.

Таков диапазон суждений о личности и реформе его величества Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра Эхнатона (он же Наф-Хуру-Ра, он же Аменхотеп Четвертый). Можно подумать, что фараон скончался только вчера...

Я знаю о нем все или почти все, что может знать человек, живущий в нашем веке. Я прочитал о нем гору научных книг и часами вглядывался в его скульптурные изображения в каирском музее. Однако книги слишком умозрительны, а камень чрезмерно холоден.

Я ходил по земле Ахетатона, нынешней Эль-Амарны. Как известно, палеонтологи по одной кости воспроизводят образ мамонта. По прелестному мраморному порогу на развалинах дворца Нефертити или даже огромному мозаичному полу Ахетатона трудно вообразить, что здесь было: столица Эхнатона растаяла, как ледяной дом. Но кое-что все же можно представить себе, призвав на помощь рисунки из гробниц и шестое чувство...

Так обстоит дело.

А теперь обратимся к нашему рассказу. Он начинается в первых числах месяца фармути (январь — февраль) и заканчивается в середине месяца паони (февраль — март) 1347 года до рождения Христа.

Место действия — столица Кемп Ахетатон.

НА ПЕРЕПРАВЕ

Можно ли уловить границу ночи и утра? Да, вполне. Если даже наступил месяц фармути с зябнущим в полночь небом и предрассветной зимней прохладой. Ты всегда уловишь эту границу, если стоишь на берегу царицы рек Хапи; если прошел огонь пустыни и жег себе пятки на песчаной сковороде; если ты зол и голоден; если сердце твое стало камнем и каждое слово твое, что рычанье льва...

— Я долго ждал этого мгновения, — негромко сказал Нефтеруф. Он дышал, как раненый зверь. — Я сказал себе: если увидишь, Нефтеруф, то, что увидишь, — считай себя безмерно счастливым. Так говорил я себе, Шери, идя по раскаленным угольям пустыни, дыша зноем земли и обжигая себе ноздри. Я был хуже собаки, Шери: я готов был жрать падаль.

В шагах ста была переправа. Нефтеруф и Шери слышали плеск воды и приглушенный людской говор. На границе ночи и утра и тихий плеск, и тихий говор — явственней, чем днем, когда все звуки мира соревнуются между собою.

Кто-то доказывал, что ладья переполнена, что края бортов ее — всего на локоть от воды, что он не вправе нарушать приказ главного начальника переправ его светлости Пауаха. Другой — глуховатый, степенный голос — возражал ему: дескать, есть еще в ладье места, что ему, как гонцу, должно оказываться особое внимание, что нельзя его заставлять ждать. Перевозчик упрямо стоял на своем. А гонец настойчиво требовал. Наконец в спор вмешалось несколько голосов, и невозможно было понять что-либо...

Но вот зажегся фонарь на носу, и ладья медленно отчалила. Судя по всему, гонца пришлось взять...

— Я узнал его голос, — сказал Нефтеруф и заскрежетал зубами. Как в лихорадке.

Это был рослый круглолицый мужчина. Грязные лохмотья прикрывали его тело, и можно было понять его желание как можно раньше — еще до света — переправиться на тот берег. Его крепкие, как стекла из Джахи, зубы сверкали в темноте, свидетельствуя о телесной мощи.

Настоящее имя его было совсем другим: Усеркааф или Усеркееф. Оно не похоже на Нефтеруфа, так же как этот грубый оборванец-здоровяк — на аристократа из Уасета по имени Усеркааф или Усеркееф. Человек не властен над временем, и обстоятельства порой сильнее самого времени...

— Этот гонец разыскивает меня, Шери.

Шери сказал:

— Нефтеруф, ты слишком подозрителен, и тебе мерещится преследование. За тобою помчались вверх по Хапи, а сам ты — здесь, у стен столицы.

Шери стоит позади Нефтеруфа, точно скрывается от глаз, наблюдающих за ним с того берега. У фараона — надо отдать справедливость — глаза ястребиные, и гнев его простирается по всей вселенной. Поэтому надо быть постоянно начеку, надо иметь десять глаз и десять ушей. И никогда не пренебрегать осторожностью! Рожденные в это проклятое время, живущие на одной земле с фараоном вынуждены заимствовать звериные повадки: чаще ползти на брюхе, а не ходить в полный рост, и выбирать густые тени, избегая света. В Ей-н-ра, откуда происходил Шери, давно и хорошо усвоили эту истину. Еще во времена Нармера и Хуфу.

И по характеру своему, и по внешнему виду Шери отличался от Нефтеруфа. Худощавый Шери был совсем иным. Он как бы восполнял то, чего недоставало Нефтеруфу. Нефтеруф готов был идти очертя голову через Великую Западную пустыню, чтобы добиться своего. А Шери предпочитал плодородные, хотя и далекие, берега Великой Зелени: кружной путь — прямому. Ей-н-ра испокон веку находился под боком у великого города Мен-Нофера, и соседство это кой-чему научило горожан Ей-н-ра. Невысокий, жилистый, мало заметный среди толпы, Шери как бы самой природой

был создан для замыслов коварных, для маневров обходных, для нападений сзади, ударов в спину — меж лопаток.

Его родители владели обширными землями в Дельте. Их дома считались первыми в Ей-н-ра. Воистину уважаемые люди прекрасного и славой стародавней, и внешним обликом города! Так что же случилось? Почему некогда блистательный Шери вынужден ни свет ни заря бродить по пустынным берегам и проклинять толстые и высокие стены на том берегу? Почему достославный Нефтеруф должен уподобляться гиене, живущей вдали от людей? Все, все перевернул вверх ногами женоподобный человек, спящий в эти мгновения за толстыми и высокими дворцовыми стенами Ахетатона, и рассказ обо всем этом — дело не одного дня...

Шери повторил:

— Нефтеруф, ты слишком подозрителен. Это ремесленники направляются в город. Это лгун, объявивший себя гонцом, требовал для себя места.

Нефтеруф разжал кулак, и в темноте перед глазами Шери — очень близко — возникла грубая ладонь, пахнувшая потом.

— Ты видишь ее? — спросил Нефтеруф. — Это пустая ладонь, и любая складка на ней — точно знак на обелиске — ясна и понятна. Вот так же ясно мне и понятно все, что творится на многострадальной земле Кеми! Я вижу душителя нашего с царскими знаками отличия в руках. Вижу и тех, кто задыхается от трудов и забот. Вижу знать — великую опору Кеми во все времена, во все времена! Я хочу сказать, Шери, что слышу не только ушами, но и сердцем, вижу не только глазами, но и душой. Повержен Амон, боги наши преданы проклятию, и все способные мыслить гниют на золотых рудниках. Я говорю это, потому что видел все своими глазами. Я пил гнилую воду и ел падаль. И я пришел сюда, где не ждали меня и не ждут, где враги мои, где логово врагов моих. Вот куда я пришел!

Нефтеруф говорил горячо, и каждое слово — будто рык львиный.

Ладья плыла где-то посредине Хапи. Ее носовой огонь был виден четко, как звезда Сотис. А на том берегу — слева направо — дома, дома, дома. Точно

шествие в большой праздник. И меж ними — будто солнце — огромный дворец. Он возникал на границе ночи и утра, как видение, как мираж в Западной пустыне. Подножия стен его тускло освещались сторожевыми огнями, в то время как крыша чернела четким силуэтом на темно-темно-зеленом небе. Деревья из загадочного Пунта и деревья из Ретену, кустарники с острова Иси и деревья из Джахи чередой следовали друг за другом по всему берегу. И земля для них была привезена издали, и деревья были посажены в ту землю, и зеленели деревья так же зелено, как в Пунте, Джахи или Ретену.

— Дорога фараона идет вдоль реки? — сердито спросил Нефтеруф.

— Она идет вдоль. И дворец и храм выходят на ту дорогу. И она прямая как стрела.

— Куда же я должен идти?

— Сойдя на тот берег — налево! Ты увидишь пекарню и обогнешь ее. Узкая улочка выведет тебя на площадь, тесную, как комната. Становись лицом к востоку — там будет дом. И ты увидишь окно, единственное в своем роде: широкое и высокое. Это красавица Ка-Нефер устроила его так, чтобы гулял в доме сквозной ветер. Устроила на манер хеттов. Я скажу тебе сущую правду: она будет тебе другом. Как мужчина.

Для Нефтеруфа этой рекомендации было мало. Великая подозрительность гнездилась в его сердце, и он не мог довериться женщине, особенно если она красива.

— Она красива. Очень красива и приятна собой, — подтвердил Шери, — но голова ее —местилище мужской доблести и мудрости.

— Кто ее муж?

— Он — рисовальщик и ваятель. Человек молодой и тихий. Родился и вырос в Уасете. С утра он месит глину или долбит камень.

— Есть ли у нее дети?

— Она бесплодна.

Внизу, на переправе, появился какой-то человек.

— Шлюпку для гонца! — крикнул он.

Где-то в камышовых зарослях заплескалась вода под веслами.

— А кто требует? — донеслось оттуда.

— Гонец из Абу! К его величеству фараону — жизнь, здоровье, сила!

— Шлюпка идет к причалу!

Нефтеруф схватил Шери за руку.

— Слышишь? — прошептал он.

— Да.

— Из Та-Нетер!

— Да.

— Это за мной!

— Нет!

— Он сообщит, что я бежал.

— Может быть. Но ведь бежишь не только ты один. Не только тебе опостылела жизнь в золотых рудниках.

— Это верно.

— Люди встают для битв.

— ...и победы!

Гонец, как видно, уселся в шлюпку. И она поплыла к другому берегу. Эти двое проводили ее взглядом до самой середины реки, где она смешалась с предрасветными тенями.

Нефтеруф не сводил глаз с города и его главного дворца. Это чудо, воистину чудо, сотворенное за три года! Вырос город, вырос город на ровном, пустынном месте. Город, не уступающий красотой прославленной Ниневии и даже самой столице хеттов! Но это — красивый, проклятый город, и строил его проклятый человек...

— Курва он, курва! — задыхаясь, проговорил Нефтеруф.

Шери понял, о ком речь...

«...Этот женоподобный ублюдок загнал нас в нору. Мы едим в той норе землю. И в наших глазах — песок! Знать всей Кеми — в той самой норе. Он загнал нас в нору! Я пришел сюда умереть. Но умру не только я! Не только я! Не для того шел я через пустыню и не для того ел землю...»

Нефтеруф чуть не рвал одежду на себе; гнев его беспределен. Это был взбесившийся буйвол.

— Курва он! Слышишь, Шери?! Сволочь он, сволочь, сволочь, сволочь!..

Шери усадил его на землю. Чтобы поостыл Нефтеруф. Чтобы разум его возобладал над гневом... Долго

еще ругался Нефтеруф, а потом — утих. Ровнее задышал. Успокоился. Совсем. Прошел самум, и все улеглось...

И они снова вернулись к Ка-Нефер.

— Мне она обязана жизнью, — сказал Шери. — Десять лет тому назад, когда выстроили этот проклятый Ахетатон, ее чуть было не выкрали вавилонские купцы. В провинции Гошен я повстречал их, и она бросилась ко мне. Мать ее хеттитка, а отец — отважный воин из Мен-Нофера. Я спас двенадцатилетнюю девочку из плена. Воистину это львица в облике кроткой девы, и слово мое для нее — закон. Она ждет тебя.

Шери передал своему другу кусок папируса — точнее, обрывок — с печатью на нем и коротким, малопонятным для постороннего набором заветных слов...

Нефтеруф жадно выискивал в странной темноте очертания ладьи. По его расчетам, она уже плывет обратно. Он непременно должен попасть на нее, иначе рассветет, а этого очень не хотелось бы...

— Сколько ему лет? — жестко спросил Нефтеруф, стоя лицом к реке.

Шери ответил:

— Тридцать четыре. А может, тридцать пять.

— Он моложе меня на десять лет.

— Да, но он плюгавенький.

— А такие живут до ста.

— О нет!

— А я говорю, до ста! — Нефтеруф резко повернулся к Шери: — Я, кажется, с ума схожу.

— Уймись же, Нефтеруф!

— Наверное, нет более наших богов! Нет их в целом свете!

— Не богохульствуй!

— Ни Амона-Ра, ни Озириса, ни Изиды, ни Гора, ни Тота... Никого нет!

— Помолчи же!

Нефтеруф поднял вверх кулачища:

— Тогда зачем же они все это сносят? Откуда их бессилие? Ответь мне, Шери!

Шери сказал:

— Они молчат до поры до времени. Но приговор их будет суров.

- Ерунда!
- Он будет подобен грому.
- Чепуха!
- Они низринут его...
- Они? Никогда!
- И суд их будет воистину потрясающим!
- Только мы с тобою можем судить его!
- С их помощью, Нефтеруф, с их помощью...

Нефтеруф снова выругался, точь-в-точь как там, на рудниках. От такого ругательства впору затыкать уши. И он сказал, строя гримасу на лице, будто ел прокисшую винную ягоду:

— Открой мне, в чем сила этого женоподобного? Я никогда не поверю, что Кеми держится на горбу Эхнатона. Никогда! Я должен доподлинно знать, где тот столп, на который опирается свод нашего государства. Надо знать врага истинного, а не подставного. Кто же тот могущественный враг, который упек меня в жуткую дыру? Кто закинул туда, чуть ли не к истокам Хапи? Посмотри: скажу не хвастая, могу вступить в единоборство со львом. Не отступлю от зверя! И чтобы одолел меня этот человек с округлым женским задом? Да я же его и человеком не считал! Его покойный отец, чье имя сын соскреб со всех камней, вызывал уважение к себе. Хотя бы видом своим. А этот?.. Курва он — вот кто!

Шери прошелся быстрым взглядом по верхушкам дворцов, мысленно представил себе ненавистного фараона.

- Он... — проговорил Шери зловеще.
- Что — он?
- Он способен на все!
- Не верю.
- На многое... Если мы с тобой пренебрежем хотя бы малейшей осторожностью — очутимся в подземелье. И ты и я. Оба вместе!
- Ты не трус, Шери.
- Как будто так.
- Поэтому я верю тебе... Но ведь всё — буквально всё! — говорит о его малодушии...
- Например? — сухо спросил Шери.
- Враги теснят его повсюду...
- Точнее: где?

— Хетты на Севере... В Ретену... Эфиопы бьют... Не довольно этого?

— Нет.

— Почему?

— Потому что он может согнуть нас с тобой в бараний рог. Для этого достанет у него и силы и воли. Рекомендую тебе: осторожность, осторожность и еще раз осторожность!

— Но ведь этак можно превратиться в бездельника. Осторожность хороша, когда она точно отмерена.

— Об этом и идет речь.

— Между тем ты отдаешь меня в руки некоей красавицы. Тут, по-моему, предосторожностью и не пахнет...

— О нет! — Шери остановил его властным жестом. — О нет, ты не прав. Вот встретишься с нею. Потом мы повидаемся с тобой. И тогда скажешь свое мнение. А до того, прошу, не настраивай себя против Ка-Нефер. Мне это очень неприятно... Она тебя познакомит с его светлостью Хоремхебом...

— Светлостью?! — воскликнул Нефтеруф. — И Хоремхеб стал светлостью! Вот в какое чудное время мы живем! Я могу представить себе любую светлость, но только не этого мужлана...

Шери дал ему выговориться. Бывший каторжник сыпал словами, перемешанными с проклятиями и отборной руганью. Неблагодарно было останавливать его — на это потребовалось бы слишком много сил.

«...Он очень сердит, он очень обижен. Воистину этот Нефтеруф явился сюда, в Ахетатон, чтобы совершить правосудие. Если не этот — тогда уж никто! Ибо никто так не обозлен, как Нефтеруф, и нет человека сильнее Нефтеруфа. Он свое сделает. Он обязан сделать это!..»

— Ты свое сказал, Нефтеруф?

— Не совсем.

— Я подожду. Я не тороплюсь. Я слушаю.

Шери говорил очень тихо и очень спокойно и сумел этим нехитрым способом остановить горячего друга.

— Спокойствие, спокойствие, Нефтеруф, — сказал Шери.

— Не могу слышать это слово! Если бы ты пробыл

в дыре, которая именуется золотым рудником в Желтых горах,— вел бы себя иначе. Тогда бы ты схватил камень и постарался бы забросить его во двор этого проклятого дворца. — Нефтеруф кивнул туда, за реку. — Бросить в надежде, что он попадет по назначению...

— Сейчас тебе придется сойти к реке...

К переправе подплывала черной тенью огромная ладья. Да, надо идти... Шери счел необходимым еще и еще раз предупредить своего единомышленника.

— Нефтеруф, мы с тобой будем связаны. Невидимо для чужих глаз. Ка-Нефер — хороший посредник. Ты обживись в этом городе. Постарайся не выдать себя. Ты понял меня? Не выдать! Я обращаюсь к твоему разуму: возьми себя в руки, остуди себя.

— Мне обидно. Очень обидно. Я готов рыдать...

— Остуди себя!

Нефтеруф как бы обращался к самому себе:

— Вот мы оказались в одном ряду с жалкими простолюдинами. Мы взяли с ними за руки. Как равные. Они сделались нашими союзниками. Скоро мы будем кланяться им. Благодарить их!.. «Спасибо вам, спасители наши! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо...»

Нефтеруф — этот лев — согнулся в три погибели, словно нищий, и кланялся, кланялся, кланялся...

— Остуди себя! — приказал Шери.

— Нет, это очень неверно,— сказал Нефтеруф, вдруг выпрямившись и странно улыбаясь. — Послушай, Шери: вот стоишь ты, потомок великого рода, а рядом с тобою — грубый, недостойный, полуголодный мужик. И ты в союзе с ним, ты называешь его братом, ибо вы оба — против фараона. Так повернулось время! Так повелели события! Против твоей воли. И против моей. И мы бессильны поступить иначе: мы должны крепко держаться этого союза с теми, кто копошится в грязи! С этими жалкими немху!

Нефтеруф сплюнул. Ему было противно. Все противно! Ненавидел себя, Шери, весь мир!

А Шери поразительно спокоен.

— Ну что ж,— говорит он,— подержим немного грязную лапу, знак союза,— лишь бы одолеть этого.— И совсем шепотом. Эдаким зловещим: — Этого! Это

чудовище! Это омерзительное создание!.. Думай только об этом... Только об этом. Ибо он жаждет твоей крови, а не сапожник какой-нибудь. Он, а не крестьянин. Он, а не рыбак. Он, а не харчевник. Он, а не мелкий писец. Он, а не пахарь. Он, а не каменщик. Он, а не носильщик тяжестей. Он, а не пастух. Он, а не... Словом, он, он, он... Понял ты?

— Понял,— буркнул Нефтеруф.

И он почти побежал к переправе. Шери дождался мгновенья, когда ладья снова отчалила в чернильную реку. Вот-вот наступит рассвет. Ночь приближается к своему пределу. Сейчас покажется край утра.

Шери еще раз окинул взором лежащую за рекой столицу, вдохнул хорошую толику прохладного воздуха и медленно пошел вниз по реке.

КОРМЧИЙ

Желающих переплыть на тот берег Хапи оказалось не так уж много: несколько крестьян с грубыми камышовыми мешками, несколько каменотесов с инструментами да горожане, возвращавшиеся из дальних поездок. Посредине палубы восседал главный кормчий — грузный мужчина средних лет. Кожа у него задубилась на солнце и походила на старую пальмовую кору. Он отдавал приказания сиплым голосом бывалого моряка. Глядя на него, Нефтеруф решил, что кормчий, наверное, плавал и в Та-Нетер, и на остров Иси. А может быть, еще дальше. Куда-нибудь на Запад по Великой Зелени.

В темноте трудно было разобрать гребцов. Они, казалось, сидели где-то глубоко, в преисподней. Тяжелое, прерывистое дыхание доносилось снизу. Надсмотрщик над гребцами мерно отбивал такт на барабане, и ладья медленно двигалась к восточному берегу Хапи.

Плату за переезд взимал писец, пристроившийся возле кормчего. Он клевал от усталости носом и приходил в себя после строгого начальственного окрика.

Нефтеруф небрежно подал писцу серебряную пластинку, полагая, что ее вполне достаточно. Скриб не сразу разобрал, что ему всучили. Разглядев по-

лучше, он показал пластинку кормчему, молча кивнув Нефтеруфу. Кормчий, которого звали Прэемхабом, подлил рыбьего жира в светильник. На палубе стало светлее. Буйное пламя высотой в два локтя трепыхалось в темноте. От этого еще мрачнее становилось вокруг.

Прэемхаб подошел к бывшему каторжнику.

— Я тебя знаю,— сказал он.

Нефтеруф даже бровью не повел.

— Ты человек щедрый,— продолжал кормчий, под началом которого работали два молодых человека у рулевого весла.— Такие всегда запоминаются. Но еще больше врезалась в память твоя обезьяна. Где она? И когда ты начнешь снова развлекать добрых людей?

Нефтеруф догадался, что его приняли за какого-то бродячего дрессировщика обезьян. И он сказал:

— Обезьяна моя издохла. Ее мумию захоронил с большими почестями. Скоро пришлют другую обезьяну.

— Неужели же краснозадую?

— Может, и краснозадую.

Кормчий глядел на него с восхищением. На медно-рыжем лице его сияла откровенно детская улыбка. «Мы все как дети,— подумал Нефтеруф,— когда речь заходит о забавах». Этот грубый и невоспитанный моряк мгновенно становился добряком, если обещали его свести на любопытное зрелище, например, на бой вавилонских петухов или баранов из Ретену. Но, пожалуй, нет на свете ничего забавнее эфиопских обезьян...

— Послушай,— сказал кормчий, не сводя с бывшего каторжника сверкающих глаз,— может, ты возьмешь обратно свое серебро? Мы перевезем тебя задаром.

— Нет, спасибо. Не такой уж я бедный.

— Разумеется, не бедный... Я бы даже сказал, совсем напротив... А скоро ли ты покажешь нам свою обезьяну?

— Очень скоро.

— Если буду нужен — я всегда на переправе. А зовут меня Прэемхаб.

Кормчий отошел к своим и стал шептаться, время от времени кивая в сторону Нефтеруфа. Эти кивки не

доставляли особенного удовольствия бывшему каторжнику, хотя он и гнал от себя мрачные мысли. «А вдруг это уловка?» — размышлял Нефтеруф. И на всякий случай приготовился к прыжку в воду: лучше крокодилы, нежели фараоновы подручные!

Он сделал несколько шагов вдоль высокого борта к тому месту, где начиналась зияющая пустота. Тяжелый дух подымался снизу. И не только дух, но и вздохи. Их не мог заглушить даже барабан, отбивавший такты для гребцов. К ударам барабана примешивалось позвякивание цепей. Среди гребцов, должно быть, находились и каторжники. В те мгновенья, когда сильнее разгоралось пламя светильника, можно было различить бледные лица, обрамленные черными бородами. «Азиаты», — сказал про себя Нефтеруф. Он был истым сыном Кеми, преисполненным благородного презрения к азиатам. Но нынче пожалел этих, позвякивавших невольничьими цепями.

Нефтеруф облокотился о борт, посмотрел на воду. Из черной она стала темно-синей — верный знак приближающегося рассвета. Вся жизнь представилась ему в виде этой Хапи, несшей свои воды к Великой Зелени с мрачной решимостью, но безо всякой радости. А разве не таковы годы, прожитые Нефтеруфом? Ну, давай припомним: с малых лет, насколько хватает памяти, — притеснения. Сначала *его* отец, Аменхотеп Третий, — чтоб ему пусто было! — а затем *этот* ублюдок. Звериная ненависть к семье Нефтеруфа не давала покоя им обоим. Ненависть или же зависть к богатству, к знатности рода? И то и другое. Амон-Ра тому свидетель: это они, фараоны, — отец и сын — разжигали ненависть между знатнейшими людьми Кеми. Сколько же пострадало семей из тех, на ком держалась слава Кеми, кто наводил страх на врагов в далекой Азии?..

Барабан утих. Кормчий крикнул:

— Сушить весла по левому борту! Грести вполсилы!

Ладья развернулась и поплыла по течению.

— Сушить весла по правому борту!

Барабан снова принялся отбивать такты — неторопливо, с большими интервалами. Великолепные гребцы работали молча, четко, в точности исполняя приказание кормчего. Приближался правый берег

Хапи, одетый в камень, украшенный обелисками и небольшими сфинксами. Высокие штандарты его величества встречали ладью, точно живые.

Кормчий отдал короткий приказ своим помощникам, а сам приблизился к Нефтеруфу.

— Досточтимый,— проговорил он не без волнения,— я живу в том доме, что левее причала. У входа стоит весло. Это знак. По нему все узнают мой дом. Если ты пожелаешь когда-нибудь навестить меня, мой дом,— холодное пиво и горячие лепешки всегда найдутся для тебя. Все будут рады. Не говоря уж о моей хозяйке — госпоже дома, которая любит забавнейших обезьянок. Говоря по правде, это она таскала меня на все твои уличные представления.

«...Это худо. Женщина лучше разбирается в чертах запомнившегося ей мужчины, нежели этот добродушный кормчий. Не надо без особой нужды попадаться на глаза его жене...»

— Как зовут госпожу твоего дома? — спросил Нефтеруф.

— Таусерт, досточтимый.

— Передай ей, что я высоко ценю ее внимание. Передай, что ей и детям ее желаю высших благ, какие только возможны под синим небом.

— Передам. Непременно. Но мы бездетны. Она очень обрадуется твоим добрым словам. Говорят, что вы — укротители всякого рода зверья — обладаете особым даром.

— Это так,— бесстрастно подтвердил Нефтеруф, думая совсем о другом.

— Мне рассказывал один халдейский купец, что есть на свете люди, которые могут все. Они оживляют убитых и убивают живых своим взглядом, подобно ядовитой стреле.

— Да, это так.

— Смею ли я спросить еще?

— Да,— сказал Нефтеруф, не спуская острых глаз ни с одного из помощников кормчего.

Прэемхаб говорил дрожащим от волнения голосом.

«...Этот страшный с виду моряк на самом деле наивен и чудаковат. Если его госпожа под стать ему — опасаться мне нечего...»

— Досточтимый,— говорил Прэемхаб,— я был на

острове Кефтиу и видел там одного подслеповатого, бородатого старика. Он сказал мне: «В моем сердце горит огонь добра и зла. Я могу запустить в любого смертного стрелу добра или стрелу зла». Так сказал мне подслеповатый старик с острова Кефтиу, что на Великой Зелени. Можешь ли ты сказать, что и в твоём сердце горит огонь добра и огонь зла?

— Да,— твердо ответил бывший каторжник.

Кормчий так оробел, что раззявил рот и вытаращил глаза, словно на него полетела смертоносная стрела зла.

— Господин,— выговорил он не без труда,— наш дом всегда будет ждать столь великого человека, как ты.

— Спасибо.

— Моя госпожа Таусерт всегда к твоим услугам.

— Спасибо... Но в каком смысле к услугам?..

Нефтеруф немножко развеселился. Ему очень захотелось знать, чем может быть полезна жена кормчего. Но тот был начисто лишен дара иронии или юмора.

— И я, господин укротитель обезьян, к твоим услугам.

— Спасибо!..— Нефтеруф предупредил его: — Мы, кажется, ударимся о берег.

Кормчий вдруг пришел в себя. Он посмотрел на причал и крикнул:

— Эй, свиньи, влево кормило, влево!.. Покруче, свиньи, покруче!

И побежал, чтобы самому принять участие в тяжелой работе рулевых.

Базальтовый причал все ближе, все ближе. Он тоже черный в эту темень. Но его легко отличить от воды, ибо природа их разная — вода и камень! Нюх у Нефтеруфа стал подобен собачьему — острым, очень острым. Вода имеет один запах, земля — другой, камень — третий и так далее. Базальт отдает мхом. Гранит — сухой травой. Булыжник — морской солью, песок в пустыне — копытами верблюдов и шерстью львов и гиен. Нефтеруф мог поспорить с кем угодно, что причал — базальтовый. Розовый. Может быть, в нем, бывшем каторжнике, и в самом деле — таинственная сила, которую угадал этот кормчий?

Барабан умолк. Гребцы кашляли. Сморкались. Промывали водою глотки. Крестьяне взвалили себе на спины тяжелые ноши. Ремесленники нетерпеливо бросились к сходням. Вот-вот ладья коснется причала. Прэемхаб со своими помощниками живо выровнял курс: ладья круто повернула влево, легко поплыла по течению и, направляемая умелым движением рулевого весла — большого и тяжелого, правым бортом придвигалась к причалу.

Нефтеруф пристально вглядывался в берег. Он угадывал — все тем же нюхом — присутствие каких-то людей. Но кто они? Желающие переправиться на левый берег? Или фараонова стража? Надо подготовиться к ответу на вопросы. Со стражей шутки плохи. Соваться сюда, в столицу, — сущее безумие, безрассудство, которое или погубит его, или вознесет наверх, подобно змею из папируса. Он почувствовал, как забилося сердце, как вдруг ослабли колени. Это случалось с ним не часто. Иначе как бы бежал он с рудника, как обманул бы стражу, бросившуюся искать его в Эфиопии? Облик оборванца, идущего в столицу неведомо зачем, неведомо к кому, — слишком легкая добыча для стражи. Вовсе не надо обладать умом мудреца, чтобы заподозрить здесь что-то необычное. Впрочем, это сказано слишком строго: разве мало нищего люда стремится сюда на строительство гробниц, мало ли землекопов и ремесленников, потерявших человеческий облик?

И все же сердце тревожно билось...

«...Есть у меня нож за пазухой, на груди. Он не подведет. Имеется яд в рукаве. Он тоже не подведет. Страже фараоновой не придется ликовать. В лучшем случае они получат мой труп. И могут показать его самому ублюдку...»

Вот ладья коснулась камня. Вот закрепили на берегу носовой канат и канат кормовой, поставлены широкие сходни. Люди двинулись вперед, и Нефтеруф попытался протиснуться в их небольшой, но тесный круг.

Но тут он почувствовал на плече своем чью-то тяжелую руку. Оглянулся и увидел: это он, кормчий.

— Господин, — сказал Прэемхаб почтительно, — не торопись, пусть пройдут эти простолюдины.

Нефтеруф гордо выпрямился, отошел от сходней.

Стража на берегу встречала прибывших немymi вопросами. Освещенный факелом пассажир коротко называл себя и излагал в двух словах цель своего прибытия в столицу.

Когда очередь дошла до бывшего каторжника, вперед выступил Прэемхаб. Он сообщил страже радостную весть:

— Вы видите, кто к нам прибыл?

Стража приблизилась. Один из военных поднял факел повыше.

— Ну? — спросил кормчий.

Стражники недоуменно молчали.

— Вы помните прошлогоднюю краснозадую обезьяну?

Солдаты разразились дружным смехом. Еще бы! Они хорошо помнят обезьяну и ее могучего ростом и силой хозяина, обещавшего укротить льва. Наконец-то он прибыл снова! Но где же обезьяна?

Кормчий успокоил их:

— Скоро прибудет и она!

Солдаты расступились, и Нефтеруф, кивнув им всем на прощание, пошел своей дорогой. И — скажем прямо — не без удовольствия.

КА-НЕФЕР

Он шел, косясь на дворец, светло-серой громадой растянувшийся вдоль Хапи. Другие дворцовые строения терялись в предрассветной темени. Далекие огни ночных стражей обозначали их пределы — воистину огромные. Какая бы ненависть ни обуревала бывшего каторжника к фараону — он не мог не признать, что построить такой город, да в три года, да еще на пустынном месте, что-нибудь да значит!

Дорога фараона, на которую вскоре вышел Нефтеруф, тоже удивляла своими масштабами, соразмерностью жилых строений, дворцов и храмов. Все, казалось, было подобрано так, что взаимно дополняло друг друга. Улица эта была освещена светильниками и покрыта — правда, местами — вавилонской смолой. Грязи здесь, как говорили, не бывало никогда. Это тоже было новшеством, которого не отнимешь у фараона.

Он знал кое-что понаслышке про эти самые храмы: Бен-Бен, Пер-Хаи, Пер-Атон-Эм-Ахяти. Они прекрасны даже в эту пору. Так же, как дворцы.

Нефтеруф не мог не признать всего этого. По-видимому, он обладал достаточной объективностью в оценке недостатков и достоинств своего противника. Это сулило ему в будущем несомненные выгоды, ибо тот, кто вступает в единоборство с опытным правителем, должен уметь здраво оценивать происходящее, так же как и могущее произойти. Как говорят умные хетты, следует иметь две пары глаз: одну — чтобы смотреть вперед, а другую — чтобы видеть то, что творится сзади.

«...Я вижу все это. Я увижу еще кое-что. Но ничто не сможет изменить моего мнения. Это он загнал в земляные норы многих вельмож и знатных людей Уасета. Это он надругался над древними, исконными богами Кеми и их жрецами. Нет, ничто не изменит мнения об этом ублюдке... Сволочь он! Курва он!..»

Нефтеруф миновал пекарню, из которой тянуло ароматом свежее испеченного хлеба. Вот она, узенькая улочка, ведущая к заветному дому с необычно широким окном наружу.

Амон-Ра до сих пор, безусловно, благоволил к бывшему каторжнику: все шло так, как будто кто-то руководил свыше, руководил безошибочно и точно. Ночная мгла держалась стойко; ноги легко несли, словно по давно знакомой дорожке; дома следовали точно в том порядке, как называл их Шери. Стражи, как нарочно, избегали Нефтеруфа. Бывший каторжник никогда не бывал в этой столице, но ориентировался не хуже старожилов. Чему бы приписать все это? Нефтеруф знал, чему и кому: он горячо молился великим богам своих предков, не оставлявших его в одиночестве в самые трудные минуты.

А вот наконец и та небольшая площадь, и высокий дом, выходящий на площадь, и широкое окно, до которого не достать, если даже подпрыгнешь.

Ждут его здесь или не ждут?

Трудно ответить на этот вопрос. Может быть, да, а может быть, и нет. Хотя в окне и горит свет, но это ничего еще не значит. Скоро-скоро все выяснится...

Нефтеруф постоял немного, прислушался к ночной

тишине. Ведь и тишина кое-что может подсказать, если умело ее слушать. Там, в горах, — под землей и на земле — научился Нефтеруф слушать и рев ветров, и тишину тишины. Ухо его стало подобием нежнейшего инструмента, воспринимающего то, на что не способно ухо обыкновенного смертного. Но еще лучше научилось слушать сердце, ибо без него глухи даже самые чуткие уши...

Нет, в этой части Ахетатона было очень тихо, как и подобает этому часу. Ничто не предвещало опасности, которая всегда над головою любого смертного, не говоря уж о бывшем каторжнике — беглеце и кровном враге фараона.

Он пересек площадь уверенным шагом — не слишком быстро и не слишком медленно. Если бы кто-нибудь и увидел его в это мгновение, то, несомненно, сказал бы про себя: «Вот он, бедный, но довольный собой ремесленник, идущий домой после ночного бдения в мастерской». Нефтеруф подошел к низкой, прочной двери и постучал: опять же не слишком громко, чтобы не разбудить соседей, и не слишком тихо: так, чтобы могли услышать хозяева.

Дверь открылась как бы сама собой. Где-то в глубине длинного коридора стоял светильник. За порогом было темно.

— Это ты стучал? — спросил мягкий женский голос.

— Я не вижу тебя, — сказал Нефтеруф.

Женщина стояла тут же за дверью. Она сказала:

— Я здесь.

— Это дом госпожи Ка-Нефер?

— Я Ка-Нефер.

— Шери кланяется низко. Твой недостойный слуга присоединяется к его поклону и говорит тебе: «Привет тебе, госпожа этого дома, и да будут все дни твои долгими и непоколебимы в радостях, как бивни слона». Я — Нефтеруф, недостойный твоего гостеприимства.

Как видно, беглый каторжник не настолько еще огрубел под землей, чтобы позабылись слова красноречия и тонкого обращения. Его приветствие было воспринято с должным вниманием и оценено по достоинству. Он услышал из темноты:

— Нефтеруф? Какое редкое имя!

— Да, моя госпожа, это имя встречается не часто, и дала его мне моя бабушка, жившая в далеком оазисе в Великой пустыне Запада. Такое имя носил герой повести, которую она читала не по книге, а на память — от начала и до конца.

— Это имя — настоящее?

Как быть? Сказать или утаить? И каков смысл в том, чтобы скрывать от нее свое настоящее имя?

— Вымышленное, — признался он.

— Так будет лучше, — сказала она.

Он не понял, что будет лучше.

— Входи же, — пригласила хозяйка.

Он перешагнул порог, полный доверия к этому голосу, звучащему в темноте ночи сладкой флейтой.

«Если наружность ее соответствует хотя бы в малой степени голосу ее — это великое счастье для женщины, а также для мужчины, созерцающего ее».

Так подумал он, входя в дом, которого не знал никогда, но которому доверился так, как может довериться сын матери своей.

Потолок был низкий, и гость наклонил голову, в то время как хозяйка вела его вперед. И когда они очутились в небольшой комнате, где горел светильник, он увидел перед собой нечто поразившее его. Перед ним стояла женщина немного смуглая, чуть худая и чуть полная в положенных местах, казалось, чуть легкомысленная и чуть умная, как и положено красивой женщине. Тело ее просвечивало сквозь складки тонкого платья, и было оно из крепкого дерева — стройное и твердое. Глаза ее были светло-карие, как персиковые косточки. Ее пухлые губы и маленький нос соседствовали друг с другом в полной гармонии, и свет отражался на ее белых зубах, как на кварцитовом сколке.

Он смотрел на нее — дивясь ей и любясь ею. Она, в свою очередь, тоже была удивлена: перед нею стоял человек, несомненно, знатной крови, в лохмотьях, которые под стать уличному фокуснику.

Она вышла в соседнюю комнату и вернулась оттуда с рукомойником. Ка-Нефер полила гостя воды на руки и тщательно обриту голову и принесла чистый набедренник. И тростниковые сандалии тоже.

— Это тебе, Нефтеруф. Я не хочу, чтобы муж уви-

дел моего гостя в таком виде.— Улыбнувшись улыбкой красавицы, она добавила: — Не сердись за это недостойное тебя подношение, но так это будет лучше: столица любит приличные одеяния и не всегда ценит истинный ум.

Он поблагодарил ее и, оставшись наедине с самим собой, живо сбросил свои лохмотья и обвязался тканью, пахнувшей благовониями Ретену. Он посмотрел на себя в медное зеркало, висевшее на стенке, и снова возблагодарил Амона-Ра, не оставляющего его своими милостями вот уже три недели — с тех пор, как он начал спускаться с высоких гор вниз по Хапи.

Нефтеруф поднялся наверх по деревянной лестнице. В просторной комнате с широким окном его ждали хозяйка и муж ее. Он был молод, высок, худощав. Прищурил глаза, будто пытался высмотреть в госте какую-то незначительную, для других неприметную черточку. Впрочем, профессия его объясняла этот любопытствующий прищур: ваятель обязан видеть дальше и лучше всех прочих людей.

«...Вот люди, в руках которых — моя судьба. И не только моя. Эта красавица... И ее молодой муж... Ваятель, который часто бывает рядом с фараоном... Что сулит их гостеприимство? Кто она? Кто он?.. Скорей бы, скорей бы узнать это получше...»

— Я прилетел к вам столь ранней пташкой,— вслух сказал Нефтеруф,— что боюсь, не вызвал ли неудовольствия?

— О нет,— ответила хозяйка.

— Его величество вот-вот встанет, чтобы приступить к работе,— сказал ее муж.— Разве это рано?

Ка-Нефер сказала, улыбаясь молодой и покоряющей улыбкой:

— Моего мужа звать Ахтой. Он ваятель и работает в мастерской Джехутимеса.

— Я знал одного...

Хозяйка перебила гостя:

— Если ты имеешь в виду молодого ваятеля Джехутимеса из Уасета, то это именно и есть тот самый Джехутимес.

— И ты тоже из Уасета? — спросил ваятель.

— Да, я живу там с малых лет. Родился я на небольшом оазисе Сипи, что в Великой пустыне.

Хозяева пригласили присесть к низкому столику, чтобы позавтракать вместе с ними.

В комнате не было ничего лишнего: лежанка, едва возвышавшаяся над полом, циновки, столик, несколько грубых скамей да два деревянных ларя у стен. Широкое окно было занавешено пестрой льняной тканью.

— Я думаю, что холодное пиво не повредит, — сказал Ахтой, разливая напиток в глиняные чарки.

Ка-Нефер разломил на части горячую пшеничную лепешку, поставила перед каждым тарелку с жареной рыбой. За трапезой начался обычный разговор, столь же бессмысленный, сколь необходимый для того, чтобы гость чувствовал себя посвободнее. Он коснулся прежде всего погоды, которая установилась вслед за тем, как Хапи ушла обратно в свое ложе. Ахтой был учтивым, сдержанным собеседником, умеющим развлечь гостя, то есть развлечь в меру, без навязчивости. Ка-Нефер прислуживала, выказывая в этом отменное искусство. Эта чародейка умела так подать тарелку и так красиво убрать и унести все ненужное, что трудно рассказать.

Ка-Нефер загадочно улыбалась. Она как бы говорила: «Ну, что ты скажешь, господин? Не обманулся ли ты? Прав ли был Шери, так щедро рассыпавший по моему адресу?» Она умела так передать свои мысли, не произнося при этом ни слова, что Нефтеруф покраснел. Он попросил пива и залпом осушил чару: это придало ему чуточку дерзости.

Ахтой объяснил гостю, что лепит бюст, который может принести славу любому ваятелю.

— Ты не слишком скромн, — сказал, улыбаясь, Нефтеруф, отхлебывая пиво, какого он давно не пивал.

— Я говорю правду. Ее же я придерживаюсь и тогда, когда передо мною глина или же камень. Я их тоже заставляю говорить правду.

— Это каким же образом, Ахтой?

Ваятель поднял брови — черные и тонкие. Он сказал:

— Я пытаюсь лепить натуру такой, какая она есть. Соответствие природе делает изваяние правдивым. Оно при этом говорит правду. Будто человеческим голосом.

Нефтеруф ударил себя по лбу.

— Все это для меня вроде чародейства,— сказал он.— Я никогда не задумывался над этим. Весьма возможно, что камни говорят на нашем языке. Теперь я буду прислушиваться к их голосам.

— Их надо слушать сердцем,— пояснил молодой ваятель.

— Я это умею.

— Не сомневаюсь, господин.

— Увижу ли я твою работу?

— Если пожелаешь.

— Желаю, и даже очень!

Ка-Нефер обратилась к Нефтеруфу:

— Попроси его показать царицу...

— О нет! — Ваятель замахал руками.— Пока еще рано!

Нефтеруф поставил полупустую чарку на столик.

— Царицу? — удивился он.— Разве ты собираешься делать ее образ?

— Собираюсь ли? Я уже заканчиваю его!

Нефтеруф развел руками. И сказал:

— Я слышал много лестных слов о тебе. Но я никогда не думал, что сама царица сидит перед тобой.

— Царица?! — воскликнула Ка-Нефер.— А ну скажи, Ахтой, в каком виде она бывает в твоей мастерской.

Ахтой смущенно заулыбался.

— Скажи, скажи, Ахтой,— просила его жена.

— Ахтой, можно подумать, что она позирует в неприличном виде?

— Что ты, Нефтеруф! Это слово не пристало к ней!

Ка-Нефер прошептала, хитровато подмигнув:

— Он влюблен в нее...

— Замолчи, Ка-Нефер!

— Правда, он влюблен...

«...Однако этот Шери знал, куда посылает меня. Попасть в такое славное общество — чего еще надо! От них — прямой путь к царице! Нет, Амон-Ра не оставляет меня своей милостью!»

Придя к такому заключению, Нефтеруф обратился к Ка-Нефер:

— Любезная хозяйка, я понимаю щедрость твоего сердца, когда с такой легкостью говоришь о любви

своего мужа к другой женщине, пусть даже царице. Это еще раз свидетельствует о силе твоей власти — воистину безграничной — над человеком, который тебе, несомненно, предан.

— Ты прав,— поддержал его Ахтой.— Ка-Нефер смеется, шутит,— значит, она уверена в себе. Но могу сказать по секрету: в царицу нельзя не влюбиться.

Ка-Нефер принесла свежих пирожных, усыпанных орехом. Новый кувшин пива, с точки зрения Нефтеруфа, еще больше облагородил трапезу.

— Разве царица так красива? — поинтересовался он.

— Как тебе сказать?..

— Обворожительная женщина, — подтвердила Ка-Нефер.

— Я бы выразился не так определенно.— Ахтой подыскивал подходящие слова.— В ней много притягательного. Ее бюст все еще хорош для тридцати лет...

— Тридцати двух,— поправила его Ка-Нефер.

— Тридцати,— повторил муж.

— Почему же, Ахтой? Она почти ровня его величеству.

— Нет, моложе...

Нефтеруф расщедрился. •

— Ладно,— сказал он,— подарим два года матери-царице. Достопочтенной Ти, надеюсь, безразлично — два года больше или меньше!

— Не скажи, как всякая женщина, она не желает сдаваться. Она ревнует дочь к ее платьям и старается перещеголять ее. Можешь мне верить...

Нефтеруф чувствовал себя прекрасно. Ему казалось, что знает молодых людей вот уж много лет. С ними было просто, приятно. Несмотря на свои годы, и жена и муж принимали гостя с достоинством многоопытных людей...

— А все-таки в каком она виде предстоит перед Ахтоем? — спросил Нефтеруф хозяйку.

— Совершенно нагой.

— Нагой?! — поразился Нефтеруф.— Неужели нагой?!

Ахтой молча кивнул.

Нефтеруф развел руками и высказался иронически

в том смысле, что в новой столице, должно быть, новые понятия о ваянии. О новых понятиях в области иноземной политики он вполне информирован. Сейчас модно отступать: и в Ретену отступать, и в Северной Джахи оставлять позиции, и в Палестине пятиться задом. В Эфиопии тоже доблестные войска Кеми кажут свои спины. Разумеется, не потому, что трусливы, но потому, что фараону, видите ли, недосуг затевать войны. Но это все — между прочим. Речь не о том... Разве не удивительно, что царица великого Кеми сидит нагая перед простыми смертными?..

— Не простыми, — прервал его Ахтой. — Почему же простыми?

— А как прикажешь вас называть? Неужели же богами?

Ахтой покраснел: это с ним бывало только перед приступом гнева или в мгновения острого недовольства... К счастью, вмешалась Ка-Нефер.

— Я все объясню, — сказала она, одаряя обоих мужчин попеременно своими улыбками, чудесными как заря. — Для того чтобы понять царицу, надо поближе стать к его величеству — жизнь, здоровье, сила! — и к его великому дому... И в то же время, — она обратилась к мужу, — надо понять и тех, кто приехал сюда издалека, и притом впервые. Не каждый уразумет все тонкости очаровательного Ахетатона. — Она уже улыбалась Нефтеруфу: — Не правда ли, столица очаровательна?

Ответ был подсказан самой госпожой дома. Ей нужен был ответ лояльный, ответ комплиментарный. И никакой иной! Другое дело — зачем? Об этом пока что можно только догадываться...

Нефтеруф налил себе пива.

— Этот ваш напиток хорош, — сказал он. — Хотя попробовал его только что. Я говорю: прекрасен Ахетатон, хотя я видел его одним глазом, и то ночью, и то впопыхах, торопясь в ваш счастливый дом.

Ответ понравился Ахтою. А еще больше его супруге.

«...Вот истинно догадливый и тонко воспитанный человек. Если Нефтеруф проявит столь же изощренную тонкость во всех делах — ему жизнь в столице улыбнется, а улыбка эта чего-нибудь да стоит. Этот воспитанный лев, несомненно, встретит понимание в

первую очередь среди женской части столицы. А это совсем, совсем немало...»

Ахтой поддержал Нефтеруфа и развил его мысль. Он сказал:

— Чтобы представить себе красоту Ахетатона, надо пройтись на утренней или вечерней заре от Северного дворца до Южного. И не только Дорогой фараона, но и боковыми улицами и переулками. Идти вперед, задерживаться для лучшего обозрения, снова двигаться вперед и возвращаться на прежнее место, чтобы полюбоваться дворцами, храмами или домами вельмож. При всей кажущейся единообразной роскоши — на самом деле перед тобой возникают фасады, не похожие один на другой, отличные в деталях и в пропорциях. Скажем, дом его светлости Хоремхеба или дом его светлости Маху. Их надо непременно видеть самому, чтобы решить вопрос о том, что их объединяет в смысле зодческого мастерства и что отличает их. В первом случае колонны, украшенные листьями лотоса, ничем не отличаются по высоте и ширине от колонн Маху, построенных в виде связки стеблей папируса. Но если взглядеться получше? Разве не отличишь руку Май от руки Туту? Май все свое внимание обращает на отделку частей здания, в то время как Туту озабочен больше пропорциями, соотношениями плоскостей и проемов...

— Это что-то весьма мудреное, — сказал Нефтеруф. — Во всяком случае, моя голова не совсем приспособлена для такого рода бесед. Однако же не кажется ли тебе странным, дорогой Ахтой, что и один и другой зодчий, которых ты назвал, всегда должны принимать в расчет как отдельные части здания, так и соотношения стен, окон, дверей и лестниц?

У Ахтоя блеснули глаза.

— Как хорошо ты сказал! — обрадовался он. — Это как раз то, что исповедую я сам как ваятель и как зодчий, ибо мне, кроме глины и камня, приходится иметь дело и с чертежами домов и храмов. Было бы очень хорошо, если бы мы могли соединить в одном лице таланты Май и Туту — воистину богатырей зодчества, которых не знали в Кеме со времен Нармера.

— Объединить? — небрежно спросил Нефтеруф. — Объединить таланты?

— Почему бы и нет?

— Друг мой, — продолжал Нефтеруф, — не кажется ли тебе, что и Май и Туту, которых я не знаю, славны именно тем, что существуют порознь, каждый сам по себе? И что бы было, если бы все на свете соединялось и смешивалось в одной большой тарелке, наподобие шумерских блюд?

Ахтой, казалось, приперт к стенке рассуждениями Нефтеруфа. Но он не считал себя побежденным.

— Почему ты полагаешь, — возражал он, — что соединить два таланта, два их начала — это плохо?

— Ужасно, а не плохо!.. А самое главное, тогда не было бы у тебя Ка-Нефер!

— Это почему же?

— Да потому, — пояснил Нефтеруф, — что красоту ее, если следовать твоему пожеланию до конца и во всем, пришлось бы разбавить с красотой какой-либо уродины. А ведь согласишься, Ахтой, что нельзя ничего ни убавить, ни прибавить к лицу и любой части тела твоей славной госпожи.

Муж поглядел на свою жену с таким вожделением, словно и не лежал рядом с нею нынче же ночью:

— Я бы никому не позволил тронуть ее, даже дающему жизнь всему сущему. Тронуть — значит испортить чудеснейшее из творений.

— Возгоржусь, — кокетливо заметила Ка-Нефер, подвигая к гостю новое блюдо. — Не кажется ли тебе, Ахтой, что досточтимый Нефтеруф немножко прикидывается простачком?

— Именно прикидывается. Теперь я вижу, что предо мною, — соперник, досконально разбирающийся в зодчестве.

— Только не это! — возразил Нефтеруф. — Я всего-навсего человек, умеющий повторять чужие, где-то услышанные или где-то прочитанные мысли. И если вы обяжете меня строить дом — из этого ничего не получится: я осрамлюсь!

С улицы донеслись голоса продавцов зелени и булочников. Утро вступало в свои права.

— Мне пора идти, — сказал Ахтой, подымаясь. — Мой учитель и начальник Джехутимес не любит, когда кто-либо из его мастеров опаздывает на работу.

Нефтеруф спросил его:

— Могу ли я рассчитывать на гостеприимство в этом доме?

— Ты говоришь обидные слова, Нефтеруф...

— Да, да,— вмешалась Ка-Нефер,— не следует задавать такой вопрос тем, кто является другом Шери.

— Вот это сказано и точно и красиво!

И Ахтой попрощался с гостем. Ка-Нефер проводила его до порога, где супруги о чем-то пошептались. Вскоре блистательная Ка-Нефер появилась снова с кувшином пива. Она окинула взглядом стол и, решив, что все в должном порядке, уселась на свое место. Ее волосы, завитые во множество тонких косичек, отливали синим цветом — так черны и так чисты они были.

— Здесь более нет никого,— сказала она как бы между прочим.

— У фараона уши длинны, Ка-Нефер.

— Они кончаются у порога моего дома.

— Это хорошо.

— Не совсем, Нефтеруф.

— Почему?

— Да потому, что неплохо иметь под боком соглядатая, который не скажет ничего и не выдаст тебя.

Бывший каторжник сказал:

— Да какой же это соглядатай, который тебя не предает?! Разве бывают такие?

Ка-Нефер прикрыла на мгновение глаза,— дескать, бывают.

— Говори, Нефтеруф, свободно и откровенно, так, как если бы ты разговаривал с Шери или с каким-нибудь близким другом.

— Благодарю тебя, Ка-Нефер! Я в таком положении, когда мне нужны верные уши и сердца.

— Кто же ты?

— Я достаточно долго испытывал твое терпение и ждал этого вопроса. Но я молчал, потому что не знал ваших отношений (он имел в виду Ахтоя). Как не знаю до сих пор. В Та-Нетер утверждают, что жена и муж — два конца одной палки...

— Одной палки, Нефтеруф?

— Точнее, хворостины. А хетты говорят: жена и муж — добро и зло.

— Где же добро и где зло?

— Это каждый раз приходится определять особо.

Ка-Нефер поднесла к губам чарку с пивом и пила его, о чем-то размышляя. Потом медленно поставила чарку на место, все о чем-то размышляя. Потом посмотрела в глаза своему гостю, тоже о чем-то размышляя. Это был взгляд и красавицы и мудреца. И добрый и жестокий, и нежный и колючий взгляд...

Нефтеруф с любопытством уставился на нее. Ему хотелось прочесть в ее глазах то, что скрывал язык ее. Это безумно трудно. Это слишком трудно. Но возможно! Для этого надо изнурить свое сердце и прячь до предела ум. Для этого необходимо думать только о деле, не поддаваясь женским чарам, до которых так падки ординарные мужчины.

Она продолжала смотреть на Нефтеруфа, и ему казалось, что встретился с мудрою змеею, подобно Синехуту из старинной сказки. «В руках этой женщины — моя жизнь, — думал Нефтеруф, — она может мне даровать ее или погубить для бесславного существования в долине Иалу... Вот она, Изида всемогущая, если верить Шери. Но не верить Шери невозможно, ибо Ка-Нефер должна быть именно такою, какою рисовал ее в лестных выражениях Шери...»

— Ты прав, — проговорила Ка-Нефер, — надо всю жизнь глядеть, как говорят в Мен-Нофере, в оба. Чтобы не ошибиться — в оба!.. Не правда ли, Нефтеруф, это очень обидно?

— Что обидно, Ка-Нефер?

— Вот так глядеть всю жизнь — в оба... Меня наставляли сызмальства, что следует остерегаться камышей на Хапи, ибо там живут крокодилы. Мне объясняли, что песок пустыни очень опасен своими обитателями — змеями. Меня пугали теменью. Пугали слишком горячим солнцем. Но почему-то мало говорили о том, что нет ничего опаснее языка человеческого, что опасно жить среди людей. Что, живя, все время надо думать о том, чтобы тебя не схватили за горло. Даже ночью думать об этом. Даже во сне!

Она говорила по-женски искренне. Без жеманства, присущего красавицам: такая задумчивая, углубленная в свои мысли, чем-то обеспокоенная...

— Неужели, Ка-Нефер, в твоей воистину чудесной оболочке, созданной для жизни, для увеселений, гнез-

дятся такие мрачные мысли? Что значит человек! Я бы никогда — слышишь, никогда! — не подумал бы, что ты столь мудра в своих суждениях.

— При чем здесь мудрость?

— Именно она при том!

— Нет, Нефтеруф, не надо небольшое, воистину жалкое по сравнению со всей жизнью нашей наблюдение возводить в беспримерную мудрость! Я могу и обидеться, решив, что ты посмеиваешься надо мной, как над легкомысленной служанкой у колодца или в лавке торговца ароматическими маслами.

— О, боги! — чуть не возопил беглый каторжник. — Неужели же я столь неловок в выражении своих мыслей! Я лишь хотел воздать тебе должное, несравненная Ка-Нефер!

— Допустим, допустим...

— Я клянусь! — Нефтеруф поднял правую руку над головой. Затем сложил руки на груди и повторил: — Я клянусь!

Нефтеруф умолк. Протянул руку к финикам, засахаренным в меду:

— Я верю, — сказала Ка-Нефер кротко.

— Мне нельзя не верить, — горячо отозвался он. — В моем положении или молчат как рыба, или говорят только лишь чистую правду.

Она ждала его откровенных слов...

Он же вспомнил наставление халдейских чародеев, утверждавших, что не следует доверяться женщине. Особенно молодой. Особенно красивой. У него была еще возможность солгать, сказать ей неправду, сочинить свою жизнь, подобно иным сcribeм, пишущим забавные или грустные истории на свитках папирусных. Он мог и вовсе промолчать. Мог встать и уйти, руководствуясь советами чародеев. Но в этом случае он должен был бы отказаться от того, ради чего прибыл в эту проклятую столицу, ради чего поклялся жить и отдать свою жизнь... Еще и еще раз взвесил он свое положение, свои возможности в этом городе... и тогда оказалось, что нет у него иного выхода, кроме как довериться этой красавице, которая смотрела на него испытующе; оказалось, что нет иного решения, кроме решения высказать ей все и просить содействия... Придя к такому заключению, к ко-

торому не без труда приходят люди мыслящие, люди многоопытные, он почувствовал облегчение...

«...Вот я и пришел на конец улицы, которая упирается в стенку. И нет у меня иного пути! Остается одно: прислониться к той стене и выплакаться. Нет у меня иного пути!»

— Ка-Нефер,— сказал он тихо,— десять лет я ел землю под землей. В горах, за четвертым порогом, человек быстро становится кротом, живущим в земле. И глаза у него делаются как у крота: он видит в темноте. Я искал золото для фараона. А некогда его искали для меня. В Уасете наш род был и знатным и богатым. Нас не чуждались фараоны. Более того: мужчины нашего рода часто ели с царского стола, а женщины становились приближенными цариц и царевен. Так было некогда. Но что же стряслось с нами с воцарением этого?.. Ну, вашего... Этого самого... Род наш оказался с переломленным хребтом. Одни из нас погибли в горах за четвертым порогом или в Эфиопии. Другие сложили головы в Ретену или на границе с хеттами. И в Великой Зелени на кораблях погибли наши мужчины. Погибли простыми гребцами...

Она наблюдала за ним.

Он говорил тихо, спокойно, словно о чужой жизни. И не было волнения сердца в голосе его, и голос его звучал ровно, как у жреца, читающего молитву. И глаза у него были сухие. И он казался таким сильным, каким может быть человек, повидавший говорящую змею и не оробевший перед нею.

Ка-Нефер слушала не дыша, и этот человек был приятен ее сердцу. Она сказала себе: «Вот он, достойный того великого дела, за которое борется». Она была словно чародейка, и сердце ее видело далеко...

Нефтеруф продолжал:

— Я не буду утомлять госпожу рассказом о всех бедах, обрушившихся на наш род. Не скажу, что мы были единственными в своем горе. Множество знатных людей испытывало горечь изгнания и вкус каторжной жизни в горах, пустынях и на морях. Трудно найти свиток папируса, на котором можно уместить всю историю моего бедствия. Едва ли найдется и рука, которая сумеет описать все муки. Их может вынести только и только человек. И нет во вселенной живот-

ного, способного перенести нечто подобное. Иной раз казалось мне, что голова у меня мертва, как шумерская тыква. А кости мои? Они часто превращались в воду, и я не мог не только держаться на ногах, но и лежать на боках своих или на спине своей. — Нефтеруф едко заключил: — И все это благодаря стараниям его величества Эхнатона — жизнь, здоровье, сила!

Он сжал кулак, у него вдруг проступила желтая пена на губах и кровью налились глаза. И он не выдержал. Забыл, где он и кто перед ним. Он прошипел, подобно змее:

— Курва он, курва! Сын проститутки и сам проститутка!..

Ка-Нефер поступила очень верно, протянув ему чарку с пивом. Напиток остудил его кровь, и она снова вошла в русло своих жил и в пределы своего сердца...

— Прости, — проговорил он тихо и склонил голову перед нею.

— Нефтеруф, — сказала она, — я поняла все, я теперь знаю все, и рассказ твой подобен рассказу того мореплавателя, который вернулся домой живым и невредимым после кораблекрушения. Моряк словно побывал под брюхом крокодила, словно испытал на себе крепость челюстей гиппопотама.

Нефтеруф усмехнулся, и усмешка его была горше любого рыданья.

— Это гнев и ненависть к моему врагу укрепляли мое сердце и отшлифовали внешность мою, подобно тому как бушующее море обтачивает со всех сторон булыгу. Все помыслы мои были направлены к одному: выжить! Много людей валилось вокруг. Они подышали как собаки, ибо были слабы, и гнев их не питал сердца. Человек без гнева умирает под землей, как насекомое, как бабочка-однодневка. Так уходит тот, кто не имеет в сердце своем мести и кто не видит постоянно перед глазами своими образ заклятого врага своего. Я жил и клялся отомстить. Я жил и ежедневно молился всемогущему Амону-Ра, который не свергнут, который жив и имя которого невозможно уничтожить. Пусть его величество посылает каменотесов, чтобы стереть имя бога с камней. Пусть он рвет папирусы, чтобы изничтожить имя бога. Тщетно! Это не под силу

рукам человеческим. И я пришел, чтобы выполнить то, о чем клялся все десять лет.

— Чего же ты хочешь, Нефтеруф?

— Я?

— Да, ты!

— Разве это не ясно из моего рассказа?

— Ясно.

— Тогда зачем же спрашивать? Я пришел прямо ко двору его. Я пришел на порог его. Добрался до того места, где он не ждет меня. Шери сказал мне: иди! Он сказал: тебе поможет Ка-Нефер. Он сказал мне: Ка-Нефер — солнце видом своим и солнце яркое умом своим. И смелость ее равна смелости разъяренной львицы.

— Так он сказал?

— Да. Это его слова. Доподлинные.

— И я должна помочь тебе?

— Если пожелаешь.

Нефтеруф сидел точно перед судом Осириса. Ждал ее слов. Или он встанет тотчас же и покинет этот дом, или... Пусть она только скажет слово. Почему она смотрит на него глазами матери? И достанет ли доблести в сердце ее?..

Однако Ка-Нефер была тем, кем являлась. И слово ее было так же верно, как верен ее глаз, исторгающий великую силу и великую нежность.

Ка-Нефер сказала:

— Мы будем действовать сообща. Мы сделаем то, что под силу только львам пустыни. Нефтеруф, будь спокоен под этой кровлей.

— Кеми будет жить, Ка-Нефер, пока на ее земле родятся женщины, подобные тебе! О, Хатшепсут наших дней!

И растроганный Нефтеруф закрыл лицо руками, коричневыми, как земля, и заплакал так, как плачет раненый буйвол.

УТРО ФАРАОНА

Над Восточным хребтом показался краешек солнечного диска. Горы, солнце, небо — всего три цвета: сепия, золото и ультрамарин.

Над столицей начиналось утро. Быстро сокраща-

лись тени, исчезала ночная прохлада. Только Хапи по-прежнему плавно несла свои воды мимо дворцов и храмов, лавок и хижин.

Главный жрец дворцового святилища Атона постучал в дверь — требовательно, можно сказать, бесцеремонно.

— Твое величество,— сказал жрец звонким голосом,— бессмертный Атон благодетельствовал землю своими лучами. Кеми ждет повелителя.

Он лежал на циновке, по-детски разбросав руки. Округлые бедра прикрыты тончайшей тканью. Как-то нежно, женственно скроен этот человек, за исключением мясистых губ, длинного носа и, пожалуй, несуразного подбородка.

Фараон мигом очутился на ногах. Посмотрел на восток. Смирненно сложил руки на груди. Склонил голову перед солнечным диском. И, круто повернувшись, направился в приемный зал, мимоходом глотнув воды.

Он уже бодр. Ни следа от вчерашней усталости. Скорее это был воин, беспрекословно выполняющий военную команду, нежели верховный глава вселенной.

Ему подали большую корону и царские знаки отличия — золоченую плетть и изогнутый посох, богато инкрустированный финикийскими камнями и слоновой костью.

«...Вот отец мой разбудил меня, и я снова иду, чтобы занять свое место и служить государству Кеми, чтобы служить народам вселенной, подобно тому как служит отец мой Атон блистательный в небе своей вселенной...»

Фараон занял свое место. Слева от него, подогнув под себя ноги, сидели писцы. Их было трое. Его сиятельство Маху — Несущий опахало справа от царя — почтительно ждал приказаний.

На миг верноподданные пали ниц, а спустя еще мгновение они были готовы к работе.

— Ждут ли меня гонцы? — спросил фараон.

— Их двое, — сказал Маху. — Один из Эфиопии, другой — с хеттской границы.

Тучный Маху сопел, будто взбирался на гору. Фараон покосился на него.

— Юг и Север,— проговорил с досадой фараон, имея в виду гонцов.— Любопытно...— Он постучал

указательным пальцем по золотой бляхе, которая красовалась чуть повыше пупа... — Пожалуй, надо начинать с северного гонца. Оттуда наверняка идут неприятности. Лучше с самого утра покончить с ними. Выслушать неприятности — значит наполовину победить их... Что еще замыслили эти хетты? — сказал ворчливо фараон.

Вместо ответа грузный вельможа направился к высокой резной двери и открыл ее.

— Сюда! — крикнул он, указывая на усталого гонца, сверх меры покрытого пылью пустыни.

Гонец сделал несколько шагов и упал наземь. Он лежал неподвижно, не решаясь взглянуть на благого бога — его величество Эхнатона, повелителя вселенной.

Маху взял у него из рук свиток папируса и передал писцам.

Фараон не ошибся: сообщение было не из приятных. Впрочем, в последние годы только и ждешь подвохов от этих проклятых хеттов. Они медленно теснят египтян — то прямо, не таясь, то скрытно, но неуклонно движутся на юг. Азиатские князья тоже осмелели. Они шаг за шагом, словно тучи, подползают к форпостам в горах Ретену. Не трудно предвидеть, что будет через несколько лет. Может быть, не лет, а месяцев?

— Встань и приблизься, — приказал фараон гонцу.

Это был сухой как палка, с горящими глазами молодой воин из легковооруженных полков. Превозмогая усталость, он сделал несколько шагов в сторону фараона.

— Можешь ли добавить что-либо к этому сообщению? — спросил фараон.

— Да, твое величество.

— Говори же!

— Прикажи нам идти в наступление! Прикажи послать нам помощь!

— Зачем? — спросил фараон, щуря глаза и поджимая губы.

— Чтобы сокрушить их!

— Кого?

— Хеттов!

— Ты такой сильный? — Фараон улыбнулся.

— Я — нет! — ответил воин, гордо вскидывая голову. — Твое величество сокрушит врагов, и мы будем избавлены от насмешек...

Фараон нахмурил брови:

— Каких насмешек?

Гонец не задумывался:

— Смеется над нами арамеец, сириец, израильтянин, вавилонянин... Смеются все, кому охота смеяться...

— Ты уверен?

— Я слышал смех своими ушами!.. Хетты подтягивают войска. Они терпеливо окружают наши крепости и, доводя наши гарнизоны до изнурения, отпускают их на юг, как они выражаются — на все четыре стороны. А на самом деле это одна сторона — Юг!

Маху перебил его:

— Всего-навсего передвигают свои части. Передвигают только вперед и только на юг. В одних случаях они винят слишком строптивых военачальников, в других — гражданские власти, и при этом они извиняются. Весьма униженно и витиевато. Но войск своих назад не отводят.

— Да, это так, — подтвердил гонец.

Фараон сгорбился. Опустил голову. Казалось, стыдно ему выслушивать все это. Казалось, вот-вот подыметесь фараон и призовет войска под непобедимые знамена предков. Призовет и двинется на Север проторенной дорогой отцов и снова покажет миру все-сокрушающую силу Египта...

Но он сидел недвижно и чуть не выронил из рук свои царственные знаки.

— Ступай, — сказал Маху гонцу, и тот уполз из зала. Совсем скрылся за резной дверью.

Фараон что-то шептал. Писцы притворились, что очень заняты. Они шуршали свежими свитками папируса, старались не глядеть на его величество: им было жаль фараона до глубины сердца.

Маху знал свое дело: вызвал гонца из Эфиопии. Протолкнул его грубо в дверь и подвел к трону. А сам отошел к стене и оттуда внимательно наблюдал за фараоном своими маленькими, бесстрастными очами.

А когда его величество Эхнатон поднял голову, он увидел перед собой курчавоголового чернокожего в сером плаще. Такого здоровяка с белыми зубами.

— Кто ты? — испуганно спросил его величество. Чернокожий ответил глубоким поклоном.

— Кто?!

— Посланец главного начальника всех царских рудников в Куше.

— Что тебе надо?

— Твое величество, его сиятельство Пунанх тысячу раз кланяется тебе, целует стопы твоих ног и посылает благодарность за все твои благодеяния...

— Дальше, дальше, — нетерпеливо перебил его фараон. Ему явно надоедала эта идиотская напыщенность чиновничьей речи. — Что же дальше?

Посланец посмотрел в сторону Маху, словно прося у него совета. Тот едва заметно кивнул. Знак был достаточно красноречивый.

— Твое царское величество, — сказал он, — десять преступников во главе с Усеркаафом...

Фараон привстал, бросил ближайшему писцу плеть и посох. Оперся руками о подлокотники, точно готовясь к прыжку.

— Во главе — с кем?

Чернокожий отступил на шаг.

— Во главе с Усеркаафом... — пробормотал он.

Фараон сошел с трона. Медленно двинулся к посланцу, все время повторяя: «Во главе — с кем?» Он не мог слышать это имя! Не мог! Не мог! Не мог!

— Только не говори мне, что он бежал! Только не говори мне, что он бежал!..

Чернокожий не сводил глаз с тучного вельможи. Тот подавал определенные знаки, подбадривая его.

— Да, бежал, твое величество, — выдавил из себя посланец не без робости.

Фараон вдруг остолбенел. Умолк. Уперся взглядом в белые, белые глаза этого посланца. Сплета пальцы и сжав их до белизны. Сжав губы. До белизны!

— Усеркааф подговорил стражу. Он подкупил ее добытым под землею золотом. И он бежал в Эфиопию. За ним устремилась погоня. Его сиятельство Пунанх извещает тебя о том, что беглецы будут возвращены на рудники живыми или мертвыми.

Фараон приблизился к гонцу на расстояние локтя и, сдерживая гнев, сказал, а точнее, прошептал:

— Иди и скажи своему хозяину, иди и скажи ему, чтобы непременно известил меня о поимке преступников. Моих врагов! Моих смертельных врагов! Иди и скажи ему, что жду вестей от него в скором времени...

Фараон задыхался. Пена проступила на его губах. Глаза помутились.

Маху прикрикнул на гонца, и тот стрелой вылетел за дверь. Сказать откровенно, не без удовольствия.

Вельможа взял под локоть его царское величество и подвел к трону.

По широкому коридору уже шлепали босые дворцовые служители с примочками и холодной водой.

ЗАВТРАК

Старый Пенту медленно подымался по широкой лестнице. Навстречу ему спускался Маху.

— Достопочтенный Пенту, — обратился царедворец, — я посылаю за тобой.

— Я чувствовал это, — произнес главный жрец дворцового святилища Хет-Атон. — В каком качестве я требуюсь? Духовника или врача?

— Наверное, врача.

Пенту официально занимал еще две должности: хранителя царской печати и старшины семеров. Ему было около семидесяти лет. Еще при покойном фараоне Аменхотепе Третьем он занимал одну из четырех нынешних должностей, а именно, должность врача его величества — жизнь, здоровье, сила! Покойный фараон умел подчинить своей воле окружающих. Он действовал неторопливо — медленно приближал к себе друзей и незаметно отвращал от глаз своих впавших в немилость. Ее величество царица Тии, в ком, как утверждали, текла и азиатская кровь, настаивала на осторожных, тщательно продуманных действиях. Ее супруг был человеком горячим. Один взгляд его приводил к смирению строптивых царедворцев и семеров. Он был умен — и даже слишком! — для того, чтобы не отбрасывать все царицыны советы, но принимать во внимание наиболее достойные из них. Фараон справед-

ливо полагал, что в многотрудных делах государственных не следует пренебрегать ни одним советом, не продумав его тщательнейшим образом.

Его светлость Пенту заметно одряхлел за последний год. Он становился чрезмерно сухощавым — вода уходила из его тела. Однако лицо не меняло своего выражения, оно казалось высеченным из розового песчаника, на котором небесный ваятель запечатлел мужество и решимость. Плотный нос с горбинкой, ровные брови, как бы прочерченные углем под линейку, и широкий подбородок не оставляли сомнения в том, что Пенту умел выказать в соответствующее время и стойкость и упрямство. Глаза его смотрели сквозь узкий прищур. Никто не знал, что в глазах его. Зато он видел все и знал обо всем...

Маху сопел. Он молча протянул руку, но Пенту отказался от помощи. Жрец восходил на второй этаж ровный, как тот самый посох, который держал в своей руке.

— Что с его величеством, Маху? — спросил он. Царедворец пожал плечами.

— Обычное?

— И да и нет.

Пенту остановился, не дойдя двух ступенек до верха.

— Как понимать тебя, Маху?

— Его огорчила весть из Эфиопии.

— Что за весть?

— Бежал Усеркааф.

— Бежал?

Старик схватил Маху за руку и в одно мгновение преодолел две ступени. Он подпрыгнул, как мяч из шерсти.

— Что я слышу? — взволнованно прошептал он. — Это скверно, Маху!

— Да, хорошего мало.

— Куда же он делся?

— Говорят, ушел к эфиопам.

Пенту недоверчиво прищурился:

— Кто это может подтвердить?

— Прибыл гонец.

— Он не мог бежать один,

— С ним еще девять преступников. Самых ярых врагов его величества.

Пенту нетерпеливо ударил посохом о каменный пол:

— Я хочу сказать, что у них имеются пособники. Среди стражей.

— Возможно.

— Нет, это вполне определено! Я боюсь, что не только среди стражей. Но и повыше. Совсем недалеко от трона. А?

Маху сильнее засопел.

Они отошли к высокой нише, где их никто не мог слышать, а точнее, подслушать.

— Пунанх обещает водворить беглецов на место, — пояснил Маху.

— Обещает?

— Да.

— Скажи мне, Пенту, дорого ты платишь за пыль в пустыне?

— За пыль расплачиваюсь только пылью!

— Это и есть цена обещаниям Пунанха!

— Ты думаешь, Пенту?

— Да! Только так! Этого Пунанха знаю давно. Я бы его не поставил надсмотрщиком над двадцатью азиатскими рабами. А он у нас начальник провинции! Если такие люди придут к управлению государством — пиши пропало! Этим бы только брюхо набивать себе да ближним своим. Не знаю, имеются ли основания подозревать Пунанха в пособничестве. Не хочу брать на себя лишнего. Ясно одно: Усеркааф должен быть изловлен, его следует водворить на место! В противном случае возможны всякого рода неприятности. Подраненный лев очень опасен. — Пенту многозначительно подчеркнул интонацией: — К чему новые неприятности в дополнение к уже имеющимся?

— Ни к чему! — сказал Маху.

— Ты прав стократ, Маху...

Царедворцы направились в трапезную его величества. Пол, по которому они шли, был расписан яркими, воистину живыми красками. Под ногами как бы простирался кусок прибрежной полосы Хапи. Посредине вилась проторенная тропинка, желтая, как в месяц эпифи. Зеленела трава. А по боковым стенам

выше человеческого роста вытянулись камыши. Изображение было столь натуральным, что хотелось раздвинуть камыши, чтобы увидеть воды Хапи. Верхние части стен и потолок соответствовали голубому небу тоже в месяц эпифи. В воздухе носились дикие утки и гуси, мелкие пичуги и хищные ястребы. Меж зеленых рядов растительности невольно ощущался аромат распустившихся роз, точь-в-точь как в месяц эпифи.

Вход в трапезную легко можно было потерять из виду, ибо походил он на прогалину в камышах, по которой шествуют к реке и из реки на сушу тяжелопузые крокодилы. Так разрисовали стены и пол живописцы, согласно воле и указанию его величества.

Маху пропустил вперед главного жреца, и они вошли в трапезную. И здесь продолжался в своем великолепии прибрежный пейзаж Хапи. Под ногами вместо тропы оказалась прозрачная вода, но не очень глубокая, а так — с локоть. Рыбы различных пород резвились в воде: лупоглазые и с прищурью, серые и желтые, красные и белобрюхие. Эти рыбы как живые. Они резвились в прозрачной воде. Они глядели на тех, кто оказывался над ними, — озорно и приветливо, как бы приглашая отведать рыбных блюд. А по стенам — тонконогие олени и лани, антилопы и прочие звери, живущие на скалах Та-Нетер, выше и ниже Порогов Хапи, в Дельте и на Синайском полуострове, в горах Ретену и Вавилона и на просторах пустыни. А рыбы были из тех, что водятся на море Тростниковом и на море Великой Зелени, в Хапи и озерах Эфиопии...

В этой комнате сидели за столиками его высочество Семнех-ке-рэ — предполагаемый преемник фараона, начальник царских закромов черный Панехси, жрец храма Бен-Бен Пауяк, вельможи Ману и Нахт, царский писец Яхмес и еще многие царедворцы — писцы, управители, жрецы придворного храма.

В смежной комнате на некоем возвышении восседали их величества с дочерьми. Вместе с ними завтракала царица-мать Тии. Верховный жрец Атона Эйе вместе со своей супругой Ти — кормилицей Нефертити — сидел неподалеку (за отдельным столиком). Как было принято здесь, в Ахетатоне, трапеза у фараона про-

ходила непринужденно, без особенных формальностей. Царский церемониймейстер не был обременен особыми заботами.

Обе комнаты были отделены друг от друга легкой перегородкой с широким проемом для дверей, которые так и не были повешены на петли. Каждый из находящихся в большой комнате хорошо видел все царское семейство. По существу, это была трапеза за одним столом в одном зале — нововведение, которое не одобрялось противниками его величества. Впрочем, это был не самый главный пункт разногласий.

Пенту и Маху уселись на свои места. Жрец плохо видел. Он достал отшлифованный горный хрусталь и приставил к правому глазу. Этот магический камень обладал чудодейственным свойством — приближал отдаленные предметы. В настоящую минуту он был направлен на фараона. Его величество казался утомленным. Был бледен. Молча ел отваренную рыбу под горьким соусом. Хлеб из тонкопросеянной муки был теплым. Это любимая еда. Но нынче его величество безо всякой охоты отламывал небольшие куски, скатывал их в руке и бросал на стол, так и не попробовав. Это был плохой признак. Обычно после любого приступа неприятной болезни он быстро приходил в себя. Вина он любил. Сам давал им названия. А нынче даже не прикоснулся к вину, которое было известно как «Восход Атона на небосклоне» (вероятно, из-за бледнозеленого цвета напитка).

Царица, напротив, выглядела веселой. Непринужденно перешептывалась с дочерьми, сидевшими по левую руку от нее. Это были: Нефер-Нефру-Атон-Ташери, Нефернеферура и Сетепенра. Меритатон, старшая из дочерей, супруга Семнех-ке-рэ, не вышла к завтраку из-за головной боли, а Анхесенспаатон со своим мужем-красавцем Тутанхатоном находилась в Северном дворце.

Ее величество ждала, что царь обратится к ней с каким-нибудь шутливым вопросом (как это бывало обычно)... Она ответит ему так же шутливо... Рассмеются присутствующие... Царица-мать прибавит что-нибудь от себя... Фараон умел так обставить завтраки, обеды и ужины, что каждый из них запоминался надолго. В это время не только ели. Но и дела делали. То

кто-нибудь из вельмож заступится за какого-нибудь хаке-хесепа, провинившегося, скажем, во время сбора урожая, то сам фараон вспомнит о ком-либо из сосланных за небольшую провинность на Синайский полуостров и помилует его. Одним словом, трапеза трапезой, а государственные дела вроде бы все время на виду...

Но почему фараон сегодня тих и мрачен? И не слишком ли часто в последнее время он грустит? Эти вопросы задает себе не один Пенту. И не только Маху. Больше всех тревожится ее величество Нефертити. Вот она наклоняется к дочери, а сама думает: «Что с ним нынче?» Она подает кусок дичи младшей дочери Сетепенре, а про себя: «Почему он не глядит в мою сторону? Почему не ласкает дочерей своих?» Кийа в Южном дворце — и не это ли обстоятельство огорчает его величество?

Фараон, должно быть, почувствовал необычную неловкость, которая царила за завтраком, или приспела пора перегореть в нем той горечи, которая отложилась на сердце после разговора с гонцом из Эфиопии? Трудно сказать что-нибудь определенное. Фараон был существом сложным, извивы души его — похлеще тайников пирамиды Хуфу. Он неожиданно повернулся к ее величеству и спросил:

— Не кажется ли тебе, что нынче слишком тихо в этих комнатах?

Ее величество согласилась, что да, нынче за столами тихо. Говорят, что так трапезничают те, которые живут в Западной пустыне, где кончаются пески и начинаются плодородные земли, — в стране Та-Кефт. Вот тот народ молчит за едой, словно набрал в рот воды.

Фараон сделал вид, что впервые слышит об этом народе: кто он? откуда он? И можно ли вообще жить в Западной пустыне?

— Многие говорят о стране Та-Кефт, — сказала Нефертити. Она посмотрела на мужа пытливым взглядом. Задержала на нем взгляд. Что-то происходит с ним? Или что-то творится с нею? Где тот кудесник, который мог бы объяснить, в чем тут дело? Между ними не было открытой размолвки. Он по-прежнему был вежлив. Но воистину надо превратиться в обелиск, чтобы не понять, что что-то неладно в этом великом доме. А может быть, не в доме, а в Кеми, на обоих

берегах Хапи, в Дельте и на Юге? Не здесь ли, как говорят хетты, спрятаны ослиные уши? Ведь бывает же так: ничего не сказали дурного друг другу, а в воздухе носится непонятное, с трудом осязаемое и обоняемое, от которого портится настроение, хмурятся брови и встает между двумя любящими сердцами ледяная стена, как в горах Ретену. Ее величество понимает, что надо поддержать этот порыв фараона, надо согреть воздух, витающий над столиками.

Семнех-ке-рэ доедал сладкое блюдо, когда его величество обратился к нему с вопросом:

— Что там за народ в стране Та-Кефт и что он делает?

Его высочество отставил тарелку, вытер губы льняной салфеткой. Юношески бледное лицо Семнех-ке-рэ порозовело. Глаза его блеснули черной молнией. «Вот этот будет фараоном,— подумал его величество,— есть в нем и фантазия, и умение слушать людей, а главное — есть и достаточная мощь под славной, привлекательной личиной». Семнех-ке-рэ, сказать по правде, не обладал большой физической силой. Стрела, запущенная им, могла и не угодить в цель. Но разве в этом величие фараона, ведущего тысячи и тысячи людей за собой? Говорят, во времена Нармера ценились в фараонах бычья сила и прожорливость крокодила. В те времена, говорят ученые жрецы, люди во дворце свободно поедали быка. Для этого достаточно было, чтобы его величество собрал трех-четыре вельмож. И пиво пили сверх всякой меры... Если правда, что в силаче и дух сильный, то ничего хорошего о Семнех-ке-рэ не скажешь. Однако всякий, кто знает его, поймет, какая гордая и какая сильная душа в этом молодом принце! Стало быть, старинная поговорка не совсем точная...

Его высочество Семнех-ке-рэ ответил, не говоря ничего лишнего сверх того, что требуется сказать. Сверх того, что необходимо для ясного уразумения мысли. Он ответил так:

— Есть страна на Западе, и есть народ на Западе. Он такой же, как все: на двух ногах, о двух руках. Такой же, как все: с волосами на голове и двумя сосками на груди. Я напому: в мире четыре расы. Ро-

мету — красные. Это — мы. Аму — желтые. Они — в Азии. Тегенну — белые. Они — в Ливии. Нехсу — черные. В Та-Кефт живут тегенну и немного нехсу. Там города и деревни, там каналы и сады в пустыне, и женщины там красивы и статны, как в Дельте, и ловки, как те, живущие в оазисах. Мертвых там хоронят в скалах и маленьких каменных пирамидах. И мертвые в могилах не лежат, а сидят. И нет там обычая, чтобы мертвый забирал с собой на поля Иалу больше, чем может взять человек в охапку. Не взваливая себе ношу на спину или плечи.

— Слышите? — сказал его величество, глядя перед собой. Но неизвестно, кому это он сказал.

Эйе заметил в кратких словах, что все это правда. То есть правда то, что говорят о Та-Кефт.

— Кто говорит? — спросил фараон.

— Люди мудрые говорят.

— А они есть?

— Кто? — Эйе потянулся рукой к финикам и меду.

— Мудрые люди.

— Они находятся даже здесь, в этом помещении.

— В самом деле? — Фараон откинулся чуточку назад, как бы выставляя напоказ свои крепкие, массивные челюсти. И засмеялся. Нет, он захохотал. Нет, он вдруг захлебнулся в смехе.

Глядя на него, начинал смеяться то один, то другой.

Он передавался — этот смех — от одного к другому.

Вот уже смеются все. Даже Нефертити. Даже застенчивый Семнех-ке-рэ. А о принцессах и говорить не приходится: девушкам палец покажи — уже хохочут...

Пенту наклонился к Маху и сказал вполголоса:

— Его величество — жизнь, здоровье, сила! — чувствует себя хорошо.

Маху ответил:

— После трапезы он будет ждать тебя.

В этом неожиданном веселье, которое напало на всех — а иначе никак не скажешь, — веселье, явно нездоровом, искусственно подогретом, непоколебимо мрачным оставался один: его высочество Эйе. Он нео-

добрительно посматривал на жену свою Ти — такую немножко сморщенную, но все еще живую задорную женщину. Может быть, Эйе видел дальше, чем все. Или знал больше других. Кто это может сказать? Если бы здесь присутствовал живописец и ваятель Юти, он, несомненно, изобразил бы полтора десятка бездумно-веселых людей и сурово-задумчивого Эйе. Одного старого мудреца среди легкомысленных людей. Одного воина среди подвыпивших. Так бы изобразил Юти. И он, наверное, был бы прав...

Эйе сказал, сохраняя задумчивость:

— Что такое мудрый человек? Некий певец, разъезжавший по городам в древнее время — при царе Усеркаафе, выразился так: мудрый человек такой же, как все, разница лишь в том, что он больше думает и меньше других болтает.

— Это трудно, — сказал фараон.

— Что — трудно?

— Болтать.

— А я что говорю? — сказал Эйе. — То же самое!

Служители разнесли вино — черное, как чернила, которыми пишут в фараоновой канцелярии. Оно называлось «Несравненное Ахетатона».

Ее величество Нефертити смеялась, а на душе у нее — камень...

«...Эхнатон уже не тот. Что с ним? Говорят, всё Кийа, эта жаркая, молодая красавица. Но разве может смутить бога красавица? Не в ней дело! Совсем не в ней. Если Эхнатон в чем-то не согласен со мной — можно объясниться. Если я не родила ему мальчика — я могу уйти. Но все требует объяснения. Нельзя так молчаливо...»

Эйе смотрел прямо перед собой — сквозь жену, которая сидела напротив него, — и думал о своем. Его жилистые руки лежали на столике. Голова его слегка наклонена набок — к левому плечу...

«...Сейчас видно все как на ладони. Даже иноземец, не знающий нашего языка, скажет: царь и царица — не в ладах. В великом доме — разлад. Великая любовь уступила место великому равнодушию. От равнодушия до ненависти — шаг. Это молодая Кийа делает свое дело. Она разрушает. Это видно даже слепому...»

Фараону не давали покоя эти самые молчаливые мудрецы, о которых говорил Эйе. На бритой голове старика пульсировали большие и крепкие жилы, и фараон подумал, что именно эти жилы являются признаком мудрости. Он любил и глубоко уважал Эйе независимо от того, сколько у него жил на голове и что говорил старик. Ни один совет Эйе не был легкомысленным или непродуманным. Говорил Эйе — точно слова ковал. Каждое слово — что небесный металл: весомое, четкое, попадающее в сердце, в самую серединку...

— Я читал в старых свитках, — сказал Эхнатон, — что некогда в Кеми обитали мудрецы. Они много болтали, но каждое слово их ценилось выше золота.

— Где же они? — спросил Эйе.

— Мудрецы, что ли?.. Они повывелись. Ибо в противном случае берега Хапи были бы усыпаны золотом.

— Я верю этому.

Эйе наконец рассмеялся.

Фараон поднял чарку, хотел было пригубить, но, что-то вспомнив или увидев что-то в чарке, поставил ее на место, встал и вышел в свою рабочую комнату, где он работал и слагал стихи.

Пенту последовал за ним.

БЕСПОКОЙСТВО

В небольшой — очень небольшой — комнате, расписанной живописцами, Эхнатон чувствовал себя лучше, чем где бы то ни было. На стенах многократно изображен фараон в различные мгновения жизни: то на руках полуобнаженной, молодой Тии, то рядом с ее величеством Нефертити, то среди детей, то у тела несчастной Мактатон, безвременно переселившейся на поля Иалу (так было угодно великому Атону).

Один угол комнаты был завален чистыми свитками папируса. Фараон мог в любой час записать свои мысли без помощи писцов. Веранда выходила на просторы Хапи. Плавная, как лебяжья шея, излучина — словно на ладони. Оттуда веет прохладой, когда солнце еще на востоке. Позже — после полудня — его величество перейдет в другой кабинет, напоминающий этот, но выходящий балконом на север. Здесь тоже

приятно слагать стихи и наигрывать на арфе замысловатые мелодии...

Пенту тихо приоткрыл дверь и резко затворил ее за собой. Его величество не шевельнулся. Он смотрел на стену. На голую стену, на которой только рисунки.

Пенту стал сзади, вперив острый глаз в затылок фараона. Кто скажет, глядя на него со спины, что в руках его вся вселенная? Кто бы подумал, что в нем — этом тщедушном человеке — найдутся силы, которые восстанут не только на врагов своих, но и на самого бога Амона? Все это останется тайной даже для такого многоопытного и мудрого человека, как Пенту. Если это тайна для Пенту, то для кого же не тайна?

— Оборотись ко мне, твое величество!

Эхнатон стоял не двигаясь. Он слышал голос Пенту, но звучал в его ушах голос и посильнее.

— Твое величество!..

Фараон медленно повернулся. Губы его точно бы припухли. Глаза безжизненны. Тонкое лицо, о котором говорили, что оно острое, как кинжал, стало еще острее. Серый цвет лица напугал жреца. Что стряслось с фараоном?

Пенту протянул руку и приложил к сердцу его величества. Затем пощупал печень его все той же рукой. Фараон, казалось, отсутствовал. Точно щупали не его, а тень фараонову.

— Болит?

Фараон молчал.

— Болит? — переспросил Пенту.

Его величество вздохнул глубоко, взял врача за руку:

— Пенту, мое сердце всегда с тобой. Оно совсем не болит. И печень не болит. Мое Ба корчится от невыносимых страданий. Словно бы горячим вертелом, как гуся, протыкают его, прежде чем изжарить.

Пенту слушал внимательно.

— Когда-нибудь я скажу тебе, Пенту, нечто. И ты тогда поймешь, отчего корчится мое Ба, отчего больно моей душе. А тело мое, — заверяю тебя, — хотя оно не столь внушительно, не думай о нем плохо. Сто лет, сто добрых лет послужит оно мне, если только выдержит Ба.

Жрец ничем не проявлял своих чувств. Он служил отцу его величества, служил тому, кто дарует жизнь всему сущему, — богу Атону. Посему жрецу надлежало быть выше всего земного и, разговаривая с любимым сыном Атона, сохранять достоинство священника.

— Пенту, — продолжал фараон, — я хочу сказать нечто. Я думаю об этом, и кровь стынет в моих жилах и вызывает тяжесть в затылке. От тяжести той мои суставы делаются иногда похожими на воду... И я чуть было не упал. Сегодня утром. Если бы не Маху, я бы упал. Распластался бы на полу.

Жрец нарушил молчание:

— Твое величество, я знаю все. И я скажу тебе: твоё беспокойство оправданно. Ибо в руках у тебя — судьба Кеми. Подай мне руку. Правую.

Фараон протянул ладонь. Она была и нежной и маленькой. Как женская рука.

«...Такая маленькая и такая сильная. Воистину сказано: бойся низкорослых... Рука сильная, но Кеми еще сильнее. Рука загребушая, но совладеет ли она с горячим конем, на котором скачет фараон?»

Пенту рассматривал линии на ладони.

— Ты здоров, — сказал он наконец фараону.

— И это всё?

— Что же еще?

— Я знаю: я здоров. Но хочу знать: здоровы ли мои царедворцы, мои военачальники, мои семеры? Ибо от их здоровья зависит и мое.

Эхнатон прошелся по комнате взад и вперед, чуть выставив округлый живот.

«...Он очень некрасив, он очень некрасив. Бедная Нефертити! Она достойна лучшего из львов!»

Фараон стал перед жрецом, дыша жарким и прерывистым дыханием. Его глаза сверкали, точно из воды. Губы — такие пухлые и по-детски нежные — вздрагивали, прежде чем произносили слова.

— Пенту, — сказал фараон, — мне кажется, что страна болеет. Не я, а страна! Чем больше думаю об этом, тем больше убеждаюсь. Однако больше всего меня смущает ее величество. — Он ждал, какое впечатление произведут на жреца его слова. — Царица, мне кажется, больше не понимает меня.

— Может быть, наоборот?

Фараон вздрогнул, точно его растолкали среди сна:

— Как ты сказал?

— Ты-то сам понимаешь царицу?

И в первый раз — ничего подобного никогда не видел Пенту! — фараон скорчился, как от боли, при упоминании царицы. «Неужели? — подумал жрец. — Неужели это так?»

Фараон, разделяя слоги, выговорил эти слова:

— Не желаю ее знать!

Его величество затрясся от злобы.

— Успокойся, — сказал Пенту.

— Не могу! Я чувствую, как жена моя и дети мои отдаляются от меня. Народ отдаляется от меня. Кеми уходит от меня...

— Это тебе только кажется...

— Кажется? — Фараон стал самим собою — царственным, волевым монархом. — Я вижу слишком далеко. И в этом, может быть, мое несчастье. Ты думаешь, я не знаю, что вокруг зреет недовольство. Да, да, недовольство!

— Оно всегда и повсюду зреет, — сказал мудрый Пенту. — С тех пор как существует человек и существует Кеми, всюду и во всякое время зреет недовольство. Сосчитай, сколько людей в твоём царстве. Превратись на миг в сокола и взгляни на землю свою: сколь она велика и как много на ней людей. А теперь превратись в мышь домовую и подслушай, что говорят миллионы...

— Ничего хорошего, Пенту.

Жрец возразил:

— Одни ругаются. Другие милуются. Третьи довольны. Четвертые...

Фараон не дал ему договорить:

— Это не важно, что думают и чем занимаются четвертые. Зачем все это, если у меня под боком творится нечто, от чего человек может вовсе лишиться разума?

— Это неправда.

— Что — неправда?

— Ничего особенного не творится.

— Если жена не понимает тебя? Если зять — Сем-

нех-ке-рэ — мыслит по-своему? Если другой зять тоже шагает не в ту сторону, а дочери твои не поддерживают тебя — разве это «ничего особенного»?

Жрец дал понять, что все это именно и есть «ничего особенного». Фараон невольно рассмеялся. Как мальчик. Захлопал в ладоши. Ему стало так весело, будто напился вина.

— Очень хорошо! Очень хорошо! — воскликнул он. — Мои близкие и друзья превращают на моих глазах серое в белое, белое в черное. Очень хорошо! Значит, нечего опасаться? Значит, я могу сказать, что в государстве все идет отменно?.. Нет, нет! Не отвечай мне сразу. Подумай прежде. Подумай прежде. Подумай и скажи мне: все ли в государстве идет отменно?

Жрец по-прежнему старался не выдавать ни своих мыслей, ни чувств:

— Твое величество, с тех пор как существует вселенная, не было еще государя, который мог бы сказать: все хорошо в моей стране.

— Дальше.

— Если даже находился такой царь, то он вскоре раскаивался в своих словах.

— Почему?

— Потому что убеждался в том, в чем убеждался.

— Я не понимаю твоего книжного языка. Говори яснее, Пенту. Говори, как говорят на рынке.

Жрец нахмурил брови:

— Я же не на рынке. Я не торговец зеленью...

— Вот это я знаю!.. Дальше.

— Нельзя сетовать на то, что в государстве что-то не ладится. На то оно и государство.

— Ты это говоришь как врач или как мой советник?

— Как врач.

— Что ж, по-твоему, я болен?

— Да.

— И тяжело?

— Да.

— Ты уверен?

— Да.

— Ну, так лечи.

Фараон плюхнулся на циновку, вытянул ноги, сложил на груди руки, закрыл глаза. И приказал:

— Лечи!

Жрец не трогался с места.

— Лечи, говорю!

Пенту присел на низенькую скамью, которая на трех ножках. Помолчал. Потер лоб... Нет, в самом деле, он убежден, что говорит правду. Разве плохи дела Кеми? Наступление хеттов на пограничные деревни? Но они могут и отступить! Восстание в Ретену? Оно окончилось. Тревожное положение на границах с Эфиопией? Там всегда было беспокойно...

— Твое величество, — проговорил Пенту, не глядя на фараона, — никто из нас не сотворен из камня. Тебе нужен отдых. Поезжай, твое величество, в Южный дворец. Проведи день, другой. Пробудь ночь на воде. При огнях. Слушай музыку. Это необходимо для здоровья.

— А дальше?

— Что дальше?

— Кто делами займется?

— Ты.

— А кто же предаваться будет веселью?

— Тоже ты.

Фараон присел. Уткнулся подбородком в колени. Так, как это делал в детстве. Пенту хорошо помнил совсем еще юного фараона. Юного принца.

— Послушай, Пенту, отвечай прямо и не пытайся морочить мне голову.

Пенту скорчил гримасу: он не одобрял увлечения фараона языком рынков и мастеровых людей.

— Понимаешь? Не морочь голову!.. Если к тебе приходят и говорят: бежал из каменоломни твой враг, заточенный тобою, — что ты скажешь?

— Стану искать его.

— Если его не находят?

— Наберусь терпения.

— А потом?

— Выдам сто хлыстов нерадивому хаке-хесепу.

— Сто?

— Может, пятьдесят. Для первого раза.

— Это мысль!

Фараон ударил палочкой из слоновой кости в бронзовую пластинку. И сказал вошедшему негру:

— Позови ко мне его светлость Маху.

Чернокожий выслушал приказание, не глядя на благого бога. И попятился назад, к двери.

— Скажи, чтобы шел поскорее!

Чернокожий приоткрыл дверь.

— Чтобы мчался сюда!

Чернокожий вышел в коридор.

— Пусть растрясет свой живот!

Чернокожий не посмел закрыть за собою дверь.

— Пускай спешит сюда этот грязный гиппопотам!

Фараон был словно горный поток: миг! — и сокрушит все на пути.

— Пенту, — крикнул он, потрясая кулаками, — ты всегда подаешь мне хорошие советы! Этих подлецов надо держать в черном теле. И тогда меня будут больше любить и уважать. Этот секрет я вычитал в одном старинном свитке времен Аменемхета Первого. Там очень хорошо говорилось о том, как следует вести себя власть предержащим.

— Жестоко?

— Именно жестоко, Пенту! Не жалея никого и ничего. Мне говорили, что впервые испытал этот способ фараон Нармер. Ведь он, Пенту, в один час из смертного князя превратился в живого бога, наподобие меня. В один час, Пенту! Я бьюсь — вот уже четырнадцать лет — со своими недругами и достиг не очень многого.

— Я этого не сказал бы, твое величество.

Вошел Маху. Вернее, вкатился. И кто-то невидимый прикрыл за ним дверь.

— Я у твоих стоп, твое величество!

Произнося эти слова, Маху смотрел на жреца. Но тот стоял к нему спиною.

— Маху, — сказал фараон, — Пунанх проявил нерадивость. Он упустил этого Усеркаафа. И тот бежал в Эфиопию. За ним послана погоня. Но беглец пока не пойман. Я приказываю: полсотни палочных ударов Пунанху. Немедленно! А остальные — потом. И передать ему: пусть ищет его на земле и под землей, в горах и на воде! Передай еще: не дай бог, не дай бог не поймать его и не водворить на место! Понял меня, Маху?

— Понял.

— Пятьдесят увесистых ударов.

— Так точно.

— И доложить мне тотчас же!

— Твое величество, Пунанх получит свое сполна. Фараон кивнул; Маху удалился.

— Ты доволен, Пенту?

— Так же, как ты, твое величество.

— Я расстроен. Я совсем не доволен.

Откуда-то из складок своего одеяния жрец достал флакон, вылил из него немного бурой жидкости в чарку и поднес ее фараону.

— Этот настой, — сказал он, — дает успокоение, в котором ты больше всего нуждаешься. В далеком Та-Нетере растет это дерево, похожее на чудовище.

Фараон выпил до дна:

— Какая гадость!

— В этой жидкости — великая сила.

— В этой вонючей воде?

Жрец молча поставил чарку на столик.

— Я открою тебе тайну, Пенту, — начал фараон доверительно. — Ближе ко мне, Пенту. Поближе!.. Мои военачальники жаждут войны. Одни из них зовут меня на Север, другие — на Юг. Третьи советуют идти через пустыню, чтобы завоевать неведомое государство Та-Кефт. Если я двинусь на Север, помчусь на Юг, переползу через пустыню — меня станут уважать враги. Жрецы Амона протянут мне руки. Знать, которую я долбал нещадно, тоже протянет мне руку примирения. А я говорю, напоминая им шумерскую пословицу: «Ты пошел отнимать землю у врага? Враг пришел, чтобы отнять твою землю». Понимаешь, Пенту?

Жрец кивнул.

— Шумеры — не дураки. Это сейчас они присмирели, как бы забились в угол. А ведь шумеры других учили уму-разуму. У них такое смешное письмо, как будто бы куры царапали клювом. И я, положив руку на сердце, не могу сказать, у кого род более древний: у нас или у них?

Фараон поднялся на ноги — по-юношески легко, — кинулся в угол, где лежали чистые свитки папируса... Вдруг застыл. Медленно повернулся всем корпусом к жрецу. И прошептал:

— А хочешь, я им дам войну?

— Кому, ваше величество?

Благой бог не ответил кому. До поры это была только его тайна.

ГЛАВНЫЙ ВОЕНАЧАЛЬНИК

Очень возможно, что его величество объяснил бы Пенту, кому же он объявит войну. Кому это — «им»? Особых тайн от жреца у него не было. Даже, может быть, слишком часто открывал благой бог свое сердце для ушей жреца и врача? В Уасете говорят: «Какой же это монарх, у которого за душою нету тайн?» Впрочем, народ в Уасете — прежней столице Кеми — слишком изощрен. Точнее сказать, слишком испорчен столичной жизнью, превосходством их города над всеми прочими городами Кеми. В Мен-Нофере — самой древней столице Кеми — говорят несколько иначе: «У фараона тайн должно быть не больше, чем у обыкновенного воина в Ливийской пустыне, когда он там воюет». Это две крайние точки зрения. Правда, по-видимому, где-то посередине. Мясники Ахетатона выражают свой взгляд на тайну следующим образом: «Без тайны и злого умысла — только вол, висящий на крючке в мясной лавке». Кто же все-таки прав?..

Очень возможно, что его величество объяснил бы кое-что жрецу Пенту, если бы в эту минуту не явился главный военачальник Хоремхеб. Он протопал в тяжелых башмаках прямо к фараону, поклонился ему. Это был человек грубый, как носильщик тяжестей. Высокий и дородный, словно негритянский царек. На левой щеке его красовался розовый рубец — прекрасный знак, полученный в битве с хеттами. Хоремхеб очень гордился шрамом, ибо жизни не лишился. А мог бы. И очень даже просто. Ото лба до подбородка столько же, сколько от уха до уха: почти квадратное, почти солнечно-округлое лицо, почти тыква, на которую смотришь сверху...

— Его величество только что пришел в себя, — сказал Пенту, указывая рукою на кувшин.

— Очень жаль, Пенту.

— Почему же?

— Потому что вести у меня мрачные. И разговор — мрачный.

— Это в порядке вещей, Хоремхеб. Я несу благую весть, твое дело омрачать людей и вселять в их сердца холод и страх.

— Ты прав, Пенту. Профессии у нас разные. Мы созданы для разных дел. И я не сетую.

— Увы! — отвечал жрец. — Меня это различие как раз и тревожит.

Хоремхеб махнул рукой, — дескать, пустое все это. Он поставил рядом две трехножные скамьи. И сказал так, как будто говорил солдатам:

— Садитесь: твое величество — сюда, Пенту — сюда!

Благой бог, поглощенный собственными мыслями, уселся на скамью без звука. Пенту ничего не оставалось, как последовать его примеру.

Фараон уставился взглядом на некую рыбешку на полу, которую собирался проглотить другой — более сильный — подводный житель. Живописец изобразил маленькую рыбу весьма симпатичной и не подозревающей о страшной угрозе. А хищник оскалил зубы. Раскрыл пасть и уже предвкушает удовольствие. Какая прекрасная иллюстрация к разговору, который, несомненно, затевает Хоремхеб! Ему чудится Кеми в образе этого подводного хищника. Спит и видит во сне Кеми. Кеми, пожирающего соседние земли. Соседние государства. Соседние народы...

— Как всегда, — начал Хоремхеб почему-то торжественно, — я — с дурными вестями. Хетты наглеют с каждым днем. По моим сведениям, они вторглись в пределы городка Ном-от. Твоему величеству, вероятно, памятно это название. Год тому назад оттуда присланы были золотые рукомойки для трех дворцов Ахетатона.

— Да, помню, — глухо проговорил благой бог.

— Ном-от имеет большое значение для северных провинций Джахи, — Хоремхеб развернул пожелтевший папирус. — Вот здесь, твое величество, изображен городок Ном-от. Население его сплошь туземное, и князя его зовут Хеметтат. Он предан тебе и ныне оплакивает падение своего владения. Чуть правее, по-

дальше от моря, в шести сехенах от Ном-от, находилась наша крепость, построенная его величеством покойным фараоном. Эта крепость тоже взята хеттами. Народ Митанни, подстрекаемый князьями Ретену, обрушился на наши гарнизоны вот здесь.— Толстый палец Хоремхеба медленно описывал полукруг от города Ном-от к востоку и северо-востоку.— Моряки-разбойники, выйдя в море с острова Иси, мешали нашим кораблям. На берегу, на самой границе с хеттами, стоял наш военный пост Нефер-Туа. Он захвачен врагами еще в прошлом году, в месяц мехир. За полгода хетты продвинулись вот сюда, к городу Ан-Таир. Твое величество легко вычислит, сколько сехенов прошли хетты за полгода от Нефер-Туа до Ан-Таир: ровно двадцать!

Пенту искоса поглядывал на папирус, но более всего поражали его эти грубые руки Хоремхеба. Из них словно жир вытекал, точно они поджаривались на огне. Этот грубый военачальник был противен жрецу. По-видимому, не только ему. Разве фараон искренне относится к Хоремхебу? Только-только терпит. Однажды была сделана попытка заменить его на посту военачальника. Но не тут-то было! Пришлось отказаться от этого намерения. Многие высшие сановники высказались против замены — и Хоремхеб остался. Это очень плохо, когда военный решит, что прочно сидит в седле. Жди от такого всякой пакости — явной и тайной!..

— Мятежные князья Ретену...— продолжал Хоремхеб, указывая на красное пятно,— князья Ретену перешли вот здесь горную гряду и приблизились к городу Кодшу настолько, что наш гарнизон был вынужден отойти к морю.— Военачальник повел мизинцем от красного пятна к краю папируса.

Пенту смотрел сверху вниз. Он даже не наклонился, чтобы получше разглядеть чертеж. Жрец, как обычно в таких случаях, прибег к помощи горного хрусталя.

Фараон уперся взглядом в потолок. Там летали птицы. Там было синее небо, невообразимая высь. Сокол нехебт летел в синеве. Он парил на крепких крыльях, и его величество завидовал ему. Откровенно завидуя свободному полету, он в то же время задавал себе вопрос: «Почему рыбе хорошо в воде, а соколу

в небе?» В чем же сущность плавающего, шагающего по земле и летающего в воздухе?..

Пенту заметил рассеянный взгляд фараона. Жрец тоже залюбовался соколом нехебт. В самом деле, под потолком — точнее, небесным куполом — парила птица. Она казалась не то чтобы живою, а совершенно натуральной — с перьями, лоснящимися от подкожного жира, и клювом серого цвета, и глазами, похожими на янтарь...

Хоремхеб ушел, как говорится, с головой в свой папирус. Он продолжал развивать мысль о том, что наступление врагов Кеми будет продолжаться и впредь. Оно будет продолжаться до тех пор, пока его величество бездействует. Да, бездействует!..

Военачальнику хотелось убедиться в том, какое впечатление произведут слова эти на фараона. К его удивлению и огорчению, его величество и вельможа его любовались изображением птицы на потолке. Не говоря ни слова и не выдавая своего возмущения, Хоремхеб тоже запрокинул голову и стал разглядывать птицу нехебт. Так и рассматривали птицу три первых человека Кеми, меж которых был сам благой бог...

— Мне кажется, — проговорил фараон, — что этот сокол немного косит глазами. Или он смотрит не туда, куда следовало бы. Нехебт высматривает свою жертву. Наподобие нашего Хоремхеба. В данном случае одной из жертв являемся мы — кто-то один из нас. Я хочу сказать — жертвой, если иметь в виду направление хищного взгляда этой птицы. Но левый глаз глядит не туда! Если согласиться, что левый пытается определить расстояние до меня, то правым заметил Хоремхеба.

Пенту сказал, что оба глаза направлены на Хоремхеба и ни о какой косине речи быть не может. Живописец знал свое ремесло!

Он говорил слишком резко. Хоремхеб попытался отнести эту резкость на счет фараона. Однако тот сейчас же реагировал:

— Дорогой Хоремхеб, это о тебе говорит, о тебе говорит уважаемый Пенту! Ты и в самом деле мало смыслишь в живописи. И в этом нет ничего обидного. Так я думаю...

— Разумеется, разумеется, твое величество!

«Послушай, лысая обезьяна,— обратился Хоремхеб про себя к жрецу,— когда ты перестанешь засорять наши уши своими глупыми словами?»

— В этом нет ничего обидного, — издевательски настаивал фараон, по-прежнему запрокинув голову и выставив на всеобщее обозрение далеко не привлекательный подбородок.

«Да, подбородок лошадиный,— продолжал размышлять про себя Хоремхеб.— Ничего не хочу: два дня власти — только и всего! Я бы показал им, где живут крысы в пустыне!»

Хоремхеб сказал:

— Уважаемому Пенту следовало бы не столько тыкаться носом в потолок, сколько оглянуться вокруг и подумать о том, что творится на границах империи.

Фараон оживился.

— Как ты сказал? — спросил он Хоремхеба.

— Так, как сказал! — буркнул военачальник.

— Нет, ты выразился сочно, а я, как тебе известно, люблю сочные выражения. «Тыкаться носом в потолок»... Клянусь Атоном, сказано неплохо! Даю слово, что использую твоё выражение в своих стихах. И объявлю, что лучший образ принадлежит тебе.

— Я не честолюбив...

— Вот этому не верю.

— Почему?

Вмешался Пенту:

— Потому, что неправда!

— Что неправда?

Пенту приложил к глазу магический камень и тихо сказал, очень тихо, отчего каждое его слово звучало ещё сильнее:

— Потому что в сердце твоём живет честолюбие, как крокодил в воде, как бегемот в болотах, как змея в пустыне. Ты готов ввергнуть страну в военное бедствие, лишь бы удовлетворить собственное честолюбие. Оно у тебя алчное, Хоремхеб! Оно готово проглотить весь мир. Такое оно алчное!

У Хоремхеба кровью налились глаза. Лицо налилось кровью, подобно льняной ткани, на которую вылили красное вино. Но он не был бы Хоремхебом и не был бы первым военачальником, если бы не умел брать себя в руки. Он остыл — медленно, очень мед-

ленно, как галька прибрежная после знойного дня. Сначала он улыбнулся — скривил лицо, прищурил один глаз, потом — другой. Сорокапятилетний вояка, казалось, боролся с самим собой. Не часто ему приходилось бороться с самим собой! Затем мускулы на его лице сгладились, — сгладились все, кроме шрама, оставленного азиатским кинжалом.

— Удивительно это, очень удивительно, — сказал он обиженно, — удивительно, твое величество! Вот я прихожу к тебе, и благодать твоя вокруг меня. Вот пришел я к тебе, чтобы почерпнуть силы в словах твоих. Вот я пришел к тебе, чтобы нарисовать твоему величеству действительную картину, которая на границах империи. Что же я услышал? Колкости со стороны Пенту? Насмешки из уст твоих? Нет, я не за этим явился к тебе. Уши мои словно у зайца: они ловят каждый твой вздох, точно шорох в кустах.

Фараон прикинулся, что поражен. Его величество обратился к Пенту:

— Ты слышишь, Пенту? Не думаешь ли ты, что уважаемый Хоремхеб прав? Суди сам: он с жаром говорит о бедах на северных границах, а мы глазеем по сторонам, подобно нерадивым ученикам в школе. Он пытается повернуть наши головы в правильную сторону, а мы с тобою, подобно упрямым ослам, сопротивляемся. Нет, Пенту, прав Хоремхеб! И тебе тоже придется признать это.

— Признать? — огрызнулся Пенту. — Что признать?

Он сказал это так, словно был наедине с фараоном, словно здесь не присутствовал Хоремхеб.

— Признать, — повторил фараон, — что он прав, а мы с тобою не правы.

Его величество улыбался. Его тонкое лицо словно было вырезано из папируса. На этом лице несуразно блестели большие глаза, точно принадлежащие кому-то другому. И мясистый нос торчал несуразно.

— Я готов признать это, — сказал Пенту, — если угодно твоему величеству.

— Мне сейчас ничего не угодно.

«...Врут они, врут оба! Фараон прекрасно знает, чего хочет, и прикидывается наивным, когда это выгодно ему. А этот Пенту, лысая обезьяна, — известный

поддакиватель, кивающий головою, когда надо и когда это не требуется вовсе».

Фараон нахмурился. Выпятил нижнюю губу, подумал, подумал и обратиться изволил к слугам своим с высоты своего царского величия:

— Хoremхебу собрать военный совет. Ему же доложить на военном совете то, что он считает нужным доложить. Это очень важно. Чрезвычайно важно.

Хoremхеб склонил голову. Пенту был внимателен, очень внимателен.

— Совет скажет свое слово. Возглавит совет достойный слуга Атона, наш слуга Пенту. Он сообщит мне решение совета. И я поговорю с богом. Атон подскажет мне верное решение. Он не оставит сына своего без внимания. Не оставит Кеми...

Так сказал его величество. Хoremхеб почти был уверен, что царь неискренен. Но не совсем был уверен. Пенту, напротив, был убежден, что фараон говорит серьезно. Но полностью Пенту за это не поручился бы.

Аудиенция была окончена.

Для Хoremхеба.

И для Пенту.

Эхнатон умел показать это. Показать, что разговор окончен.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО

Оставшись один, фараон вдруг ощутил пустоту. Душевную, щемящую, неукротимую. Ему показалось, что он проваливается в эту пустоту. Летит камнем. То головою, то ногами вперед. Он бросился на циновку, закрыл лицо ладонями, чтобы стало темно в глазах. Как можно темнее. Эта проклятая, распирающая боль в затылке. словно бы кто-то долбит камнем камень. Там, в глубине мозгов. Даже глубже. Где-то возле гортани. Точно запускают грубую, шершавую руку на самое дно желудка... И эта тошнота. И это головокружение!..

Он пролежал без движения с полчаса. И вот колесо, кем-то бешено заверченное, начало понемногу терять скорость. А на этом колесе лежит фараон... Все медленнее обороты... И легче, легче на душе. И в голове. И в желудке. Еще мгновение... Еще другое... Вот хорошо! Вот совсем хорошо!..

Он открывает глаза. Осторожно. Очень осторожно. Вот он разнимает ладони, которые на лице его. Тоже осторожно. Теперь вся комната — перед ним. Росписи как живые. И рыбы внизу. И птицы — под потолком. Нет, все как будто на месте. Ничто не рухнуло. Дворец стоит непоколебимо. Мир держится твердо. Да, благополучно миновало нечто страшное, которое Пенту именует недугом затылка и спины, недугом печени и головы...

Верно, все прошло. Однако остался странный привкус во рту. Точно поел незрелых плодов сикоморы. Зеленых фиников. Тухлой рыбы. Невозможно передать этот привкус во рту. Это вкус смерти. Так говорит Пенту. Человек, испытавший его, все равно что побывал на полях Иалу. Забежал туда на мгновение и снова вернулся в этот мир.

Его величество неподвижен. Только большие глаза смотрят наверх и по сторонам. И вдруг — вдохновение. Какой-то голос шепчет ему слова нового гимна отцу его — великому, всемогущему Атону. Это так явственно, так четко, что трудно спутать слова. Каждый стих отграничен от другого как бы глубоким вздохом. Вставай и бери в руки письменный прибор. Вставай и записывай слова, продиктованные свыше. С небес, которые разверзлись. Для того чтобы его светозарное величество Атон нашептал своему сыну новые стихи...

Эхнатон замер. Чтобы не пропустить ни единого звука. Вот он, его голос — голос свыше:

О величье вселенной, которая
Рождает в сердце твоём любовь!
О сердце львиное твоё, которое
Способно вместить любовь!
Если б не вы, если б не вы,
Кто бы хранил это заветное чувство,
Идущее от звезд к человеку?

Фараон чутко ловит каждое слово. Разве не для него это каждое слово? И кем говоренное? Его светозарным отцом. Нет, нельзя упустить не то чтобы слово, а и каждый слог, каждое придыхание...

Замер, замер его величество на простом и жестком ложе. Именно на этом ложе к нему является великий Атон, чтобы через сына своего донести до вселенной

чудо новых стихов и гимнов. Благодаря этому голосу все Кеми — от Порогов до Дельты — слышало голос Атона, и уверовало в него, и отворотилось от старых богов и самого Амона...

Его величество медленно перекачивается на живот, протягивает руки к чернилам и папирусу, нежному как шелк. И он пишет, он пишет под диктовку отца, который на синем небе. Пишет для Кеми, которое от Порогов до Дельты...

О великий отец, низвергнувший в пропасть
Ненависть и подлость,
Не ты ли рукой бесстрашной
Поднял знамя любви?

Не ты ли позвал народы
Идти за тобою в путь далекий —
Народ Джахи и народ Та-Нетер,
Народ Вавилона и Митанни,
Арамейцев, шумеров, израильтян
И славный народ обширного Кеми?

О отец наш — Диск Золотой и Живой, —
Дай силы детям твоим,
Вложи в десницу их меч,
Попирающий зло, зло, зло
И дарующий людям вселенной Любовь!

Он писал, и вскоре гимн был окончен. Его не надо было ни исправлять, ни переписывать. Ибо продиктован свыше. Его величество уронил голову на руки. На лбу его — испарина. Сквозь плотно сжатые зубы вырывался не то стон, не то смех ликующего. Ибо его величество управлял Кеми не только рукой гранитоподобной, но и чудесной силой стихотворца. Венценосный поэт не надеялся на свои руки, в которых палочка для письма. Поэтому руками, сердцем и разумом фараона руководит его светозарное величество Атон. Теперь это знают все! Ни для кого не секрет. Поэтому имя сына Атона прославлено во всех землях вселенной.

Любуясь свитком, исписанным каллиграфическим почерком, его величество поднялся на ноги. Душа его была легка. Голова светла, как луна, восходящая над пустыней — такая большая, такая яркая! И ноги гибкие, как молодая пальма...

Эхнатон направился к двери. Он шел молодой, пружинящий, и не осталось следа от усталости. Царь чув-

ствовал себя немножко виноватым перед женой. Ведь за трапезой он вел себя не совсем обычно. Это заметили все. И не могли не заметить, ибо фараон что бревно у каждого в глазу. Вот он поворотился в эту сторону — и все думают: почему он смотрит в эту сторону? Вот он склонил голову, слушая жреца. И все спрашивают: почему он склонил набок голову? Вот усмехнулся — и все спрашивают друг друга: что значит этот смех и каков он, этот смех? Так спрашивают друг друга семеры и вельможи. С таким вопросом обращаются друг к другу писцы и управляющие большими делами. И это в порядке вещей. Ибо кто голова всему? Кто есть начало всем началам в Кеми и далеко за пределами его? Кто как светоч в государстве? Кто сцементировал народ, словно камни на пирамидах? Его величество — жизнь, здоровье, сила!

И он открыл дверь и прошел мимо стражи. И был легок он, словно лань. Вперед, вперед несут его ноги. Вперед и вперед... Вот покой ее, и пальмы на стенах их, и все растения Та-Нетер и еще более отдаленных земель.

Его величество постучал в дверь, дабы не застать врасплох жену свою и детей ее. Стражи преклонили колена, страшась поднять глаза на повелителя вселенной.

Нефертити сидела перед маленьким бронзовым зеркалом, и две дочери причесывали ей волосы. Младшая, Сетепенра, скорее мешала принцессе Нефернефруре, нежели помогала. Эта действительно причесывала мать. Впрочем, принцесса тоже забавлялась, как и Сетепенра. Но, забавляясь, она, как могла, ублажала ее величество.

Чувствительный царь застыл в дверях. Он обожал эти незатейливые сцены, в которых простые человеческие чувства сильных мира сего проявлялись во всей своей полноте. И он любил эти милые существа, составлявшие его семью. Ее величество встретила с ним взглядом. И она смутилась. И дочери ее вдруг застыли с бронзовыми гребенками в руках, словно сотворили нечто недозволенное. Он сказал:

— Я пришел к вам, чтобы посмотреть на вас и передать вам немного своей силы и бодрости. Болезнь моя прошла, как буря в пустыне. Она подняла к небу

много песка и пыли. И вот улеглась она, и я здоров: снова блистает солнце над землей и душа моя покойна.

Она поверила ему, ибо силу и бодрость источали глаза его.

«...Вот он явился с повинной, как преступник. Ибо тот, кто забыл на мгновение закон любви, есть преступник. Вот он явился, и улыбка на его лице, как солнце над Кеми. Ибо он солнце Кеми и пребудет им...»

Ее величество указала на место рядом с собой. На край циновки в два локтя, под которым мягкий вавилонский ковер, расцвеченный, как радуга над Дельтой.

Он с благодарностью принял это приглашение. «Я бы умер давно, — подумал он, — если бы не моя Нафтита. Она умна, как змей с острова Иси, и красива, как истая дочь Кеми. И чрево ее всегда щедро. И дети ее — плоды ее чрева».

Он присел рядом с нею и разом обхватил обеих принцесс. Они взвизгнули, как и подобает женщинам. Они захохотали — совершенно бездумно, беспричинно, — как и подобает женщинам, у которых мать — настоящая женщина из женщин. Его величество поцеловал Сетепенру прямо в нос, напоминавший шип на розовом кусте. И прижал к своему сердцу принцессу Нефернеферуру. Она тихо сказала:

— Пусти, я причесываю мать.

И он выпустил ее из объятия.

Его величество положил голову на оголенное плечо жены. И она сказала:

— Какой ты горячий.

Он ответил:

— Это болезнь выходит через поры.

— Ты же здоров.

— Да, как лев!

Он любил прихвастнуть своей силой. Делал это, как мальчик, без всякого умысла, без расчета. Она любила в нем эту черту, потому что он умел любить без расчета: за красоту, за сердце, за доброту глаз и жар гранатовых губ умел он любить...

— Мы скучали без тебя, — призналась она.

— Да, — подтвердила принцесса Нефернеферура.

Ее высочеству Сетепенре все это было безразлично. В шесть лет слова для нее не имели особого смысла.

А Нефертити не верилось. Может быть, и в самом деле переменился он в чем-то? Она пыталась по мельчайшим признакам определить: произошли ли в нем какие-нибудь перемены? Если глядишь на озерную гладь, то можно ли угадать, что творится на дне его или у самого дна? Только в одном случае: если умеешь угадывать сердцем. А глаза и уши в этом случае — плохие помощники. Им нельзя доверяться целиком. А Наф-Хуру-Ра — такое глубокое озеро, что и представить себе невозможно. В стране израильтян, говорят, есть озеро, в котором, говорят, ничто и никто не утонет. Все плавает на его поверхности. А на дне, говорят, — ничего. Все мертво на дне его. А если озеро живое? Вот и угадай, что в его толще. Когда каждая капля живет своей жизнью, часто обособленной. А эта его болезнь, которая проявляется все сильнее? Эти припадки? Эти боли в затылке. (В затылке, который так много удовольствия доставляет живописцам, ибо нет ничего легче, чем нарисовать тыкву, насаженную на тонкую и высокую шею.) Его враги так и говорят: Тыквоголовый! Вся эта сопревшая от ветхости знать, эти жрецы Амона, вся эта камарилья из Уасета... Как он досадил им! Как прижал их к ногтю, словно азиатскую вошь!..

...Но что же с ним в последнее время! О чем он думает? Почему все чаще молчит, когда они наедине — она и он? Может быть, настает конец его странному поведению? Можем, эта конечная грань подошла именно нынче? И эти мгновения... Вот он по-прежнему мил, по-прежнему ласков, и в глазах его — все лучи света...

— Нафтита, — говорит он голосом дикого голубя, который так приятен для ее слуха, — я много думал о тебе.

— А я о тебе. Я думаю всегда. А ты?

Он замаялся. Потрепал за волосы Сетепенру. Девочка мотнула головой.

— Я — нет, — признал он честно. — Наверное, я хуже тебя. Наверное, потому, что слишком много тяжести на плечах моих.

— А у меня?

Он подумал:

— У тебя — тоже.

Она сказала:

— Ты — сын лучезарного Атона. И сила его — в твоих жилах и в твоей печени.

— Это верно, Нафтита.

— Твоя рука в его руке. И он ведет тебя уверенно.

— И это так! Однако ряды друзей моих тают. Одни живут привольно, счастливой жизнью на полях Иалу, другие — понемногу отчуждаются. Вскоре я останусь совсем один.

Она не стала утешать его: ложь была противна ей. Близкому человеку ее величество предпочитала говорить суровую правду. Останется один? Вполне возможно. Но ведь все в руках его отца — лучезарного Атона. Он не захочет, он никогда не захочет, чтобы Ахна-яти остался один! Этого не произойдет и в том случае, если даже его величество очень постарается. Что такое человек без поддержки? А фараон нуждается в поддержке друзей, единомышленников, близких... Пусть он окинет взглядом долгую историю Кеми, уходящую в седую древность. Разве Нармер был один? А Хуфу? А Джосер? А Сехемхет? Аменемхеты? Сенусерт Первый? Любой из процветавших фараонов опирался на крепкую когорту друзей. И это при том, что не было у них такого отца — великого Атона, с которым легче править на троне.

— Но, — заключила она. — Но все зависит от тебя самого. Ты не должен сворачивать с пути, избранного богом, нашим богом. Дорога Атона пряма, как меч. У нее нет ни боковых троп, ни тропочек. Сойти с дороги, — значит, погубить свое дело. Значит, потерять друзей. Я говорю тебе: не переступай границ дороги его, и благо тебе будет!

Последние слова ее величество выговорила с особым ударением. Вдруг вместо очаровательной женщины перед фараоном предстала вещунья, а точнее — умудренный опытом человек, постаревший в тягостных раздумьях. Он никогда не видел морщин на ее лице. Может, попросту не замечал их. А сейчас она показалась постаревшей, изможденной матерью его дочерей.

Он отполз от нее на несколько локтей, чтобы лучше видеть ее. Против света она кажется и старше и смуглее. Он был удивлен. Огорошен. Ее тоном. Ее пронизательностью. Может, ее устами говорит сам Атон? А может, ей хочется, чтобы другие думали, что она близка к Атону? Позвольте, не его ли, фараонова, сила передается ей? Почему так уверенно и так горячо говорит она?

Он опустил голову. Она была гладко выбрита. Смугла и блестяща, как дыня. Тыквоголовый? Пусть поищут враги еще другого такого Тыквоголового!

Нефертити наспех завершила туалет, позвала служанку и передала детей на ее попечение. Они остались одни. Она улыбалась. Снова стала той, которой нет равной: прекрасной женщиной, воистину Нефертити!

Он полон самых нежных чувств. Он понимает: и сердится и горячится она только из любви к нему, из преклонения перед силой Атона — бога верховного и всемогущего. Вот уж месяц — нет, больше! — как он изводит ее. То своим молчанием, то полным презрением. Какой ужасный месяц!

Враги обрадовались их отчужденности. Друзья огорчились. Двор пребывал в тревоге. Мудрый Эйе ходил настороженный, как под стрелами азиатов. Только один Хоремхеб не скрывал своей радости. Как сытый гиппопотам меж камышей. Как человек, вылакавший кувшин пива.

Когда же случалось такое? За пятнадцать лет их супружества ничего похожего не бывало! Может, что-то сломилось в их колеснице, как говорят в Уасете? Спицу еще можно починить. А вот с осью дело похуже...

Нефертити вышла в соседнюю комнату и вернулась оттуда с кувшином прохладного вина. Из большого, инкрустированного перламутром ларца она достала конфеты. Они были приготовлены из муки земляного ореха, фиников и меда. Маленькие деревянные тарелки из черного дерева она поставила перед мужем и перед собой. Рядом с конфетами Нефертити положила его любимое пирожное. Оно было сделано на медовом сахаре из крупного ореха и сбитых яичных белков.

У него засветились глаза. Как у ребенка.

— Что я вижу, Нафтита?

Она рассчитывала на этот эффект. Нет, это была не только жена и мать, но и прекрасная любовница. По-прежнему — любовница. В свои тридцать с хвостиком лет она была привлекательна, как утренняя звезда.

Он сказал:

— Нафтита, я знал одну публичную женщину. Там, в Уасете. Все говорили, что нет на свете более обходительной, более привлекательной, более милой женщины...

Она улыбалась. Довольная.

— Эта женщина умела так угостить и так приласкать, что глупые мужчины сходили с ума.

— Ты с нею спал, Ахнаяти?

— Я тоже поддался ее чарам. Мы однажды проспали с нею двое суток...

Она удивилась.

— Нет, мы лежали. Мы не спали,— пояснил он.

— Это другое дело.

Она улыбалась обворожительно. Улыбалась, разливая вино в золотые чарки.

— Так, что же я хотел сказать? — Он легонько коснулся ладонями ее упругих сосков. — А вот что: она не стоит твоего мизинца.

Нефертити чуть взгрустнула. Но он не видел грусти на лице ее...

«...Ты вспоминаешь публичную женщину, которая далеко... А эта? Которая в этом городе... Которая в Южном дворце... Что ты скажешь мне о ней? Ты думаешь, я ничего не вижу? Ты думаешь, у меня нежнее любящее сердце?.. Ну произнеси, ну скажи ее имя... Произнеси вслух: Кийа... И тогда мы поговорим о ней...»

Он опустил голову на ее колени. Над ним, как два ярких облачка на синем небе, сверкали ее губы. Они шевелились, словно от ветра. Который в небесных сферах. Губы приближались к нему. И когда он почувствовал прохладу их и сравнил эту прохладу с той, которую дарила та, публичная женщина, его величество сказал про себя: «Нет, Нафтита — краше, Нафтита — лучше...» И вот глаза их совершенно слились. Они как бы стали одним — большим и священным — глазом. Магическим глазом небесного отца...

Она выглядела молодою. Словно бы не родилось у нее шестеро дочерей. И кожа у нее лоснилась, как у девственницы. Икры ног ее были крепки, как дерево. Разве она была лучше семнадцать лет тому назад? Разве печать времени испортила это замечательное произведение искусства из мяса и крови?..

— Ты красива, очень красива, — шептал он.

— Не любишь ты меня, — сказала она.

Он не опроверг этого утверждения. Он целовал ее в шею, щеки, груди.

— Не любишь меня...

А он всю, всю ее покрывал поцелуями.

— Она была лучше?..

Он жадно тянулся к ней.

— Она жива еще?

— Не знаю.

Не до той публичной женщины сейчас...

— Неужели я лучше ее? — спрашивает Нефертити.

— В тысячу раз...

Он целует, целует, целует ее. Нет, кажется, страсти на свете, которая была бы сильнее этой.

— В тысячу раз, — говорил он.

— В чем же? Чем же? — допытывается она.

— Всем.

— Это не ответ.

— Вот этим! — Поцелуй в губы. — Вот этим! — Поцелуй в левый сосок. — Вот и этим! — Поцелуй в правый сосок. — Вот этим!

И каждый поцелуй — что тавро на теле неподражаемо нежной и упругой антилопы.

Наконец-то она отдышалась... Дала ему конфет. Напоила вином из своих рук. Он жадно съел пирожное. Принялся за второе. Прихлебывая вино...

Она сказала:

— Я счастлива.

— Да?

— Очень. Я одолела публичную женщину.

Он подумал.

— Одолела? — спросил он.

— Ты так сказал...

Шутила она или говорила всерьез? Говорила счастливая? Или с обычным женским притворством, которое не знает границ и под сводами дворцов?..

Он любил ее за маленькие ножки и широкий, полный страстного дыхания нос, за все женское и все мужское: нежность и мудрость.

— Нафтита,— сказал он мечтательно,— человек бывает счастлив?

— Если беден.

— А если богат?

— Никогда!

— Если могуществен?

— Только любовь делает его счастливым. Любовь — это знамя над палаткой.

— Ты сама это придумываешь?

— Отчасти.

— Кто же помогает тебе?

— Все женщины вселенной.

Он поднял брови: дескать, как это понимать? Фараон, когда это было выгодно, всегда поднимал брови. Притворяясь непонятливым.

— Ты меня хорошо понимаешь, Ахнайти,— сказала царица.— Когда я думаю о судьбе Кеми, у меня кости делаются как вода. От страха перед будущим.

Его величество поднял брови еще выше.

— Перед будущим? — спросил он.

— Да.

— Почему же, Нафтита?

— Разве ты это знаешь хуже меня?

Он кивнул.

— Хуже?!

Опять кивок. Ее величество развела руками. Она не могла понять: серьезно это или шутка?..

— Ты замечаешь? — продолжала царица. — Ты замечаешь, что с каждым новым месяцем все хуже складываются наши беседы? Может, я мешаю тебе? Или есть у тебя друзья преданнее? Или они любят тебя больше, чем я?

Она заглядывала ему в глаза. Вычитывая в них ответ правдивый,— пусть жестокий, но правдивый.

Фараон улегся на спину. Голова его по-прежнему покоилась на ее коленях. Он сказал, эдак глядя в пустоту разверзающихся небес:

— Что известно тебе, Нафтита, о случае, описанном в древнем папирусе времен Сенусерта Первого? Станный то был случай и весьма поучительный.

— Что ты имеешь в виду?

Фараон глубоко вздохнул. Он сказал:

— Да будет тебе известно, Нафтита, что, по свидетельству мудрых, в давнопрошедшие времена случались удивительные происшествия. Это сейчас ничему не дивятся люди. Они привыкли ко всему. А ведь человек не может жить, не удивляясь. Утром он дивится свету божества, в полдень он дивится течению реки, а вечером — свету звезд. Так вот, в те далекие времена, когда в Кеми жили люди, способные удивляться, некий житель пустыни встретил говорящего льва.

Царица усмехнулась:

— Говорящего льва?

— Представь себе! Говорящего человеческим голосом. И не обычно, как на рынках и площадях, а наречием особенным, обличающим в нем книжника.

— Лев — книжник?!

— Да, Нафтита, чего только не бывало прежде, в благословенные старые времена! Этот лев встретил пустынного и сказал ему: «Вот я перед тобой!» На что мудрый пустынный ответил: «Так же как и я перед тобой». Лев стал на задние лапы, чтобы подняться повыше роста человеческого. И крикнул: «Вот я каков!» Человек помедлил с ответом. Этот лев не очень пришелся ему по нраву. И человек сказал: «Уступи дорогу». Он сказал: «уступи», — а разве не было дороги слева и справа, сзади и спереди? В пустыне, где песок, — везде дорога. Лев казался озадаченным. Казался смущенным...

— Смущенный лев?! — весело сказала царица. — Воистину, только в те незапамятные времена случались подобные чудеса!

Его величество не обратил внимания на ее смех — немножко взвинченный, слегка искусственный. Его увлек лев, говорящий человеческим голосом, и пустынный, пытающийся одолеть зверя силою ума своего. И он продолжал:

— Снова повторил пустынный: «Уступи!» Задумался лев и пропустил. Он сделал шаг в сторону, и пустынный гордо прошествовал вперед. Своей дорогой. И даже не обернулся... Ты знаешь, что стало со львом?

— Нет.

— Догадайся.

Она запрокинула голову:

— Лев съел пустынного.

— Почему ты так решила?

— Лев же!

— Ну так что же? Лев, а смысленый. Вроде нашего Пенту...

— ...или этого верзилы Хоремхеба.

— К слову сказать, верзила нас обороняет.

— Ты в этом уверен?

Фараон снова вскинул брови, точно они были у него на веревочке.

— Я спрашиваю, — повторила Нефертити, — ты уверен?

Он уклонился от ответа. Его величество сказал:

— Лев заплакал...

— Я очень сомневаюсь в тех, кто нас обороняет. И от кого обороняют? От друзей?

— Лев залился горячими слезами...

— Меня — от тебя?

— Он плакал, как ребенок-несмысленный...

— Или тебя — от меня?

— Ему опротивел белый свет.

— Вот именно: опротивел!

Фараон увлекся собственным рассказом:

— Почему огорчился мудрый лев? Не потому, что был голоден и упустил свою жертву. Это полбеда! А потому, что так и не понял, о чем же думал пустынный... Мои враги, Нафтита, порою мне кажутся подобием того льва.

В комнате стало тихо. В этот полуденный час дворец как бы замирал. Солнце давило. Как гранитная глыба.

Ее величество сказала:

— Наконец-то мы добрались до сути нашего разговора. И я хотела бы его продолжить. Не по-семейному. А как люди, заинтересованные в судьбах страны.

— Согласен! — Эхнатон привстал и уселся напротив жены — глаза в глаза, лоб ко лбу.

Она разлила вино. Подала ему чарку.

О, эта прохлада подвалов Ахетатона! Что сравнится с нею? Разве сыщется что-либо подобное в целом свете?.. Он пригубил... Нет, не сыщется! Еще раз при-

губил... Нет, такое вино только здесь, в благословенной столице Атона!..

— Мы поведем с тобой, Ахнаяти, разговор политический.

— Я готов к нему.

— Как будто бы мы не муж и жена, а единомышленники, ищущие путей к общей цели.

— Хорошо, Нафтита.

— Мы давно так не говорили. Правда?

— Пожалуй.

— Я не хочу доискиваться — почему?

— Ты права. Не надо.

У нее задвигались широкие ноздри. Вот-вот пойдет из них пар, как от шипящего котелка над костром. Ее глаза и без того были чуть навывкате, а тут, казалось, выскочат из орбит...

— Я буду говорить о своих ощущениях. Сначала о них. Ты, по-моему, готов пойти на сделку со своими противниками. Не пытайся возражать, не выслушав меня. Мы здесь одни, и я имею право свободно высказать свое мнение.

— Я слушаю, Нафтита.

— Сделка с противниками — самый гибельный путь, ибо он ведет к половинчатости. Если она — не уловка. Для маневрирования. Для отвода глаз. Для обмана противника... До сих пор ты шел прямой дорогой. Все говорили: вот фараон, идущий прямо! Но с некоторых пор ты пытаешься свернуть с нее... Дай мне договорить, Ахнаяти. Дай договорить... Я говорю тебе: ты подошел к пределу и стоишь у черты. Перешагнешь ли ее? Останешься ли ты по эту сторону черты или по ту? Будешь ли прыгать через пропасти в один прыжок или в два? Год тому назад я на все эти вопросы отвечала бы в твою пользу. Сейчас я все больше и больше сомневаюсь в том, что ты идешь своей прежней дорогой.

— Ты кончила?

— Нет. Этот верзила и мясник Хоремхеб делает все для того, чтобы начать войну и на Севере и на Юге. Кому нужна война? Твоим противникам! Они мечтают о ней. Спят и видят ее!

— Войне не быть, — сказал фараон мрачно. Но не очень уверенно.

— Хоремхеб страстно желает ее. Он всячески поносит нас, обвиняя в трусости. А я говорю: если он хочет воевать — пусть воюет. Только без Кеми! Только без наших юношей! А сам! Один на один с хеттами. С Митанни. И с кем ему еще доведется помериться силой. Меч у него есть. Голова, которую можно срубить, тоже на месте. За чем же дело стало? Иди, Хоремхеб-храбрец, и воюй!

Она так разволновалась, что опрокинула кувшин. Красный, кровеподобный сок разлился на полу. Эдакой зловещей струей...

— Если все это говорится для того, чтобы переубедить меня, — сказал фараон, — то это — напрасный труд. Нет более убежденного мирного человека во всем Кеми, чем я. Даже сам первый жрец Эйе не может в этом отношении сравниться со мной. Меч мой, как утверждают мои враги, ржавеет в кладовой, а боевая колесница скрипит несмазанной осью. И очень обидно, Нафтита, выслушивать слова, которые прямого отношения ко мне не имеют, но направлены в самую середину моего сердца.

Она отдышалась. Словно пробежала длинную дорогу. Но останавливаться ей уже было нельзя. Это — не в ее характере. И разве можно останавливаться в политике на полпути? Или руби до конца, или вовсе не берись за дело!

Да, у нее серьезные претензии к нему. Очень серьезные! В конце концов, он может охладеть к ней. (Его величество не опроверг этого предположения). Она может не видеть его, хотя это и ужасно. Но Нафтита согласна на все во имя великого Атона, во имя благоденствия Кеми...

Она продолжала развивать эту мысль:

— Послушай, Ахнаяти, что скажу: ведь мы с тобой поклялись когда-то смело идти дорогой Атона. И мы шли. Мы восстановили против себя знать, мы подружались с немху. Мы ниспровергли Амона и возвеличили Атона — нашего бога, нашего отца. Мы унизили древнюю столицу Кеми и возвысили новую столицу, родив ее. Мы заявили твоими устами, что противимся гнусным войнам с соседними народами. Больше того, мы объявили себя равными всем другим народам. И вдруг...

— Что вдруг? — перебил он ее раздраженно.

— Вдруг на пятнадцатом году своей борьбы ты сворачиваешь с прямой дороги...

— Куда? — бросил он.

— Вот этого я еще не знаю.

— Зачем же тогда говорить? — Он надул губы, уткнулся взглядом в пол.

— Чтобы удержать тебя...

— От чего?

— От роковой ошибки.

Его величество усмехнулся. Она сказала:

— Я хочу, чтобы ты по-прежнему ловил чутким ухом каждое слово нашего царя и бога Атона.

— В этом я прилежен, как ученик в школе.

— Слушай его, надо претворять в дело каждое его слово.

— Я пытаюсь делать это, Нафтита.

— В этом я с некоторых пор сомневаюсь.

Он покраснел от негодования. Нет, это уж слишком. Он этого не потерпит! Нельзя же обвинять голо-словно!..

Тогда ее величество сказала с величайшим хладнокровием, на которое способна только первая женщина Кеми:

— Ахняяти, твое величество Наф-Хуру-Ра! Не сердись, если ты прав. Я же скажу тебе: со стороны все виднее. А я вижу — поскольку оказалась в стороне, — что ты идешь не туда. Мне известно, что Хоремхеб получает все большую власть, что ты его выслушиваешь внимательнее, чем когда-либо. А известно ли тебе, что Хоремхеб ведет тайные переговоры с твоими врагами в Уасете и Мен-Нофере. И в Дельте. Если ты проявишь некоторое любопытство, то спроси его, о чем он шептался недавно с одним вавилонянином?

Эхнатон вздрогнул.

— С кем? — сказал он. — С вавилонянином?

— Да.

— Когда?

— Дней десять назад.

Его величество задумался. И сказал как бы про себя, но вслух:

— Десять дней назад... Вавилонянин... Шептался с Хоремхебом... Десять дней... Десять дней...

Фараон, видимо, что-то вспоминал.

— Такой курчавоголовый купец,— подсказала царица,— смуглый такой, лупоглазый. Зачем он прибыл в Ахяти? Что ему тут надо? Знающие люди сообщили, что он привез воздуха на полталанта. Воздуха в своих бурдюках для воды.

— Ну да, ну да,— размышлял фараон.— Вавилонянин и хетты... Мне что-то говорил Хоремхеб.

— Что же он говорит?

— Какую-то чушь, Нафтита. Какую-то чушь. Небылицу, Нафтита!

— А что Хоремхебу надо в торговых кварталах?

— Наверное, покупает, Нафтита.

— Что же?

— Товар.

— Какой?

Его величество улыбнулся:

— Ты же говоришь, что купец доставил воздух в бурдюках. Представляешь себе? Вавилонский воздух!

— Да, это большая ценность в Кеми.

Фараон встал. Прошелся по комнате. Руки закинул за спину. И все убыстрял шаги. За ним трудно было уследить: туда-сюда, туда-сюда! У царицы закружилась голова. Его величество, того и гляди, побежит. Как на учениях рядовой воин. Что с ним?

Потом он вдруг останавливается. Молча глядит на царицу. И шевелит губами. А глаза — невидящие совсем.

— Я всю подноготную узнаю. Мне расскажут все об этом вавилонянине. И тогда горе тому, кто скрыл! Кто от глаз моих утаил нечто! И кто от моих ушей схоронил чужие слова! Пусть тогда пеняет на себя! Только на себя!

Фараон потряс маленькими кулаками.

— Ты хорошо сказал,— проговорила царица. И обеими руками сжала виски: в них стучало, словно в каменоломне, как на постройке каменных домов.

Фараон снова забегал по комнате. То медленней, то быстрее. Часто останавливаясь перед царицей.

— А теперь, Нафтита, слушай. Я скажу тебе нечто. И это должно остаться между нами.

Она кивнула. Очень уж стучало в висках — вот-вот лопнет голова...

— Нафтита, есть вещи, которые сильнее фараона. Жизнь сильнее, Нафтита! Это говорю я тебе. И никому больше. Ты ведь знаешь. Я вздыхаю в Ахяти, а вздох тот слышен в Та-Нетер или в Ретену. Он слышен на много тысяч сехенов вокруг... Я сказал слово, а оно уже в ушах хаке-хесепов, где бы они ни находились. И руки и ноги их работают, чтобы исполнить мое желание. Так ли это?

— Так,— сказала царица. А в висках все сильнее боль. Как на беду, все сильнее. И желтые круги перед глазами...

— И я говорю тебе, Нафтита: фараон, низвергнувший Амона, бессилен перед жизнью и перед людьми, которые вокруг.

— Неправда! — воскликнула царица. — Неправда! Неправда!

— Я говорю, Нафтита: в сердце моем усталость. Будто прошел я всю Западную пустыню. И в душе моей огонь, который гаснет медленно, но верно. Я говорю тебе, Нафтита: мы уже не молодые, и нам надо понимать людей...

— Твоих врагов?

— Если хочешь — да!

— И это называешь зрелостью?

— Да.

— Когда ты это понял?

— Недавно.

— Значит, ты хочешь стать спиной к своим друзьям?

— Нет.

— Подать руку примирения своим врагам?

Он не ответил.

— Руку им протянуть?

— Может быть, Нафтита.

Царица объяснила, как тяжело ей, как болит голова и как хочется ей остаться одной. Он вышел, не сказав ни слова.

Она свалилась на циновку, уткнула нос в ладошку. И заплакала.

Она плакала.

Не могла не плакать.

К торговым рядам велá довольно широкая, мощенная белым песчаником улица. Лавки располагались высоко над нею. Крутые лестницы спускались с порогов на мостовую. Над лавками — жилые помещения с небольшими отверстиями-окнами. Хотя и молода эта столица, выстроенная в пустынной местности, но торговые заведения ни в чем не уступают прославленным торговым рядам в Уасете, Мен-Нофере, Ей-н-ра или в Саи. Откуда только не доставлялись сюда товары! Они шли отовсюду, где только звучало имя фараона Кеми. Но где же оно не звучит? Во всей вселенной!

И ремесленники работали здесь отменные. Прекрасная обувь, тончайшие ткани, отличное оружие, домашняя утварь, отборная посуда — глиняная, медная, бронзовая и из золота — всё, всё к услугам граждан Ахетатона! Идешь меж рядов — и глаза разбегаются. Войдешь в лавку — душу отдашь за любую вещь. Так ладно, так красиво и добротнó умеют делать все в Ахетатоне, благословенной столице обширного и могущественного государства Кеми.

А что сказать о кулинарных заведениях? Пышные пшеничные лепешки, жареные гуси и куры, говяжьи куски на вертеле, сладкие пирожные, медовые конфеты — все делают здесь и преподносят в лучшем виде! На то, говорят, и столица! Однако столица столице — рознь! Если Ахетатон утирает нос самому Уасету, то что же можно сказать о других столицах вселенной?

Вавилонский купец Тахура — такой полный, розовощекий, бородатый мужчина — заявил во всеуслышание, что ничего похожего нет ни в какой другой стране. Он сказал, что восхищен Ахетатонóм, что ослеплен его красотой, что пленен его женщинами и отдает должное мужчинам, которые словно бы собраны здесь напоказ со всех концов земли.

Он сидел в лавке Усерхета и наслаждался холодной водой, которой он запивал засахаренные земляные орехи. Купец привык у себя на родине говорить громко, как на площади. На жителя Кеми громкий разговор не производил особо приятного впечатления, однако азиату это прощалось, как, впрочем, и многое другое. Одно дело — Кеми, а другое — Азия! И нико-

му не придет в голову здесь, в Ахетатоне, подходить к азиату с полной мерой, разве что только его величеству Наф-Хуру-Ра. Этот позволяет себе говорить почитительно даже о каких-нибудь кочевниках из страны шумеров. Ну, это уж совсем непонятное, странное и, может быть, болезненное явление!..

Купец поджал под себя ноги, сидя на грубой камышовой циновке. Его слушали молча — эти благовоспитанные сыны Кеми. Слушали молча, лакомясь сладостями.

— Я побывал во многих землях, — разглагольствовал купец. — Знаю остров Кефтиу, как себя. Остров Иси обошел пешком. Я был в Колхиде, которая на севере, и был и там, где горит вода. Видели мои глаза города большие и малые, далекие и близкие. Но что сравнится с Ахяти? Что, спрашиваю?

Тахура обвел глазами всех присутствующих. Будто каждому задавал этот вопрос: «Что, спрашиваю?» ...Задавал и ждал ответа. Особенно долго и пытливо смотрел он на Усерхета — бритоголового хозяина лавки, мужчину средних лет.

Старик, восседавший на циновке, сказал:

— Ахяти — хорош. Слов нет. Но есть города, которые могут с ним поспорить и в красоте и в величии.

Он ел гусиные потроха под барбарисовой подливкой. И запивал холодным пивом. Морщин на нем было неисчислимое количество. Морщины — вместо кожи! И глаза его сидели в морщинах. И рот его весь в морщинах — даже губ не видно. Цвета он темного (однако не чернокожий). Под стать старой-старой пальме.

Тахура с интересом обратил свои взоры на этого старика, поедавшего самое дешевое блюдо.

— Уважаемый, — сказал купец, — ты, наверно, не из этих мест.

— Нет, именно из этих.

— Наверно, давно здесь не был.

— Правда твоя. Я много ходил по свету.

Усерхет захохотал. Так, как умеют хохотать только добродушные толстяки, довольные собой, делами своими, семьей, всем миром. Хозяин лавки облизнул пальцы на руках — они были в меду. Он сделал комплимент купцу, который, дескать, умеет видеть даже сквозь каменную стену; который, дескать, настолько

натренировал свой глаз в бесчисленных поездках, что уже нет для него секретов; дескать, ничего нельзя утаить от него...

Купец, весьма польщенный, поглаживал бороду. И каждый жест обнаруживал в нем истого азиата. Впрочем, он не только не пытался скрыть этого, но даже подчеркивал это — жестами и интонацией. И весьма учтиво обратился к старику:

— Уважаемый, по всему видно, человек ты сведущий во многих делах. Где тот город, который может поспорить с несравненным Ахяти?

— Там, — старик махнул рукою на запад.

— Там — пустыня, уважаемый.

— Среди пустыни. Далёко за песками. Дорога туда многотрудная, дальняя. Безводная. И ни в одном бурдюке не уместится вода, необходимая человеку, идущему на запад. И ни один башмак не выдержит этого пути. Ноги будут кровоточить, ибо истончится стопа.

— Уважаемый, край тот пустынен. Безводен. И нет жизни на краю вселенной.

Старик усмехнулся:

— Ты так думаешь?

— Я уверен.

— Напрасно! Да будет тебе известно, чужеземец, что на всякую силу есть другая сила, на всякую красоту — другая красота. Так создан этот мир. Только на полях Иалу все дышит одинаково ровно, и человек там в трудах — как все!

Теперь уже не купец, а старик оказался в центре внимания. Воистину: на одну умную голову нашлась другая, не менее умная! Многие перестали жевать и беседовать друг с другом. «Занятный старик, — подумал купец. — Кто он? Уличный фокусник, показывающий диковинные штучки? Или мудрец, оказывающий услугу людям за пшеничную лепешку и тарелку гусиных потрохов? Дай-ка я немножко его поэкзаменирую...»

— Что же там, уважаемый, на краю пустыни? Мы немножко уклонились от нашего разговора.

Всем хотелось услышать, что там, в стране миражей и песчаных бурь. «Тише! Тише!» — слышались голоса. Перестали стучать ложки. Люди затаили дыхание.

— Я скажу вам, я скажу вам,— проговорил старик, не отрывая взгляда от своей похлебки,— скажу и о том, что видел сам, не доверяя другим, что слышал сам, полагая, что слух мой не подведет меня... Было мне тогда двадцать лет и жил я в Дельте. Однажды встретил человека, бородатого, вроде тебя (старик указал на купца). Прибыл он из Джахи, и умел он делать стекло разноцветное. Располагаясь на песчаном берегу. К ловкости рук своих прибавляя тайные заклинания. Этот человек ненавидел лютой ненавистью род женский. Может быть, его чем-нибудь огорчили его жены? Этого уж никто не сможет сказать, ибо отошел он в лучший мир, а при жизни своей держал уста на крепком запоре. И этот человек — сильнее любого рыночного бойца — предложил мне идти с ним в неведомую страну, где люди повыше и здоровее нас, где злоба не омрачает сердце и спокойная любовь надо всеми, подобно шатру. Я спросил его, где же этот край, напоминающий поля Иалу? Он показал рукой на запад, где заходит солнце, где пустыня с миражами и песчаными бурями. Я поверил ему. Он был для меня как пророк в стране израильтян — стране пророков.

— И ты пошел с ним?! — не выдержал купец.

— Да!

— В неведомую пустыню?

— Да!

— Вдвоем?

— Нет. С нами были еще. Несколько горячих голов.

— И вы дошли?

— Да!

— Живыми и невредимыми?

— Нет. Мы иссушили нашу печень. Глаза слипались от язв. И тела наши покрылись струпьями. Я один, я один приполз в ту страну и все увидел своими глазами и услышал собственными ушами. Мои спутники лежат в песках. Они умерли оттого, что спеклись внутренности их от зноя и безводья.

— И что же там? И что же там? — словно не терпелось купцу Тахуре.

И хозяин лавки сказал:

— У меня выскочит сердце, клянусь прахом отца,

выскочит сердце от любопытства! Не томи же нас, уважаемый!

— Я скажу вам всё. — Старик облизал ложку. Словно давно не ел. Это всем бросилось в глаза. Вдруг усомнились в том, что старик такой уж мудрый и такой уж многоопытный. Разве мудрецы лижут ложки? Но вскоре пришлось убедиться, что мудрецы способны и не на такое. Старик продолжал: — Мы пришли в землю, которая именуется Та-Кефт. Мы пришли туда, чтобы умереть на виду их блистательного города. Я один добрался ползком, направляясь с холма в город. Как дитя... На карачках. И колени мои источали кровь и гной. И когда я потерял сознание, едва выкрикнув «помогите!», когда я был точно во сне, — меня спас караван. Меня доставили в тамошний Тапе, который блистателен. И люди там рослые, и вместо двух — у них три уха.

— Три уха?! Не два, а три?! Где же третье ухо? — слышалось со всех сторон.

— Третье ухо? — старик почесал мизинцем кончик носа. — Третье ухо вот здесь.

И он показал на затылок молодого человека, сидящего рядом с ним.

Возглас удивления вырвался у каждого, кто находился в лавке. Удивились все, кроме купца. Он улыбался и крутил ус. Его черные глаза — черные, как ночь, — тоже улыбались из-под густых бровей. Или купец знал нечто, что способно перешибить эту новость, или не верил ни единому слову старика.

«...Старик может пригодиться, такие люди всегда нужны. В определенные часы. Могут принести пользу, которой нет цены. Но они должны быть обязаны тебе больше, чем Озирису, больше, чем фараону».

Купец Тахура приказал, чтобы принесли старику полгуса, жаренного на вертеле, истекающего салом и рыжего от огня.

Старик принял гуся как нечто должное, поблагодарив легким кивком вавилонянина. И, отломив хрупкое крыло, он сказал:

— Мне недоставало его! Ибо да будет известно тебе, чужестранец, что воспитания я тонкого. Было время, когда мне подносили яства с острова Иси и рыбу с острова Кефтиу. И я их ел, как девушка — чуть-

чуть. Но путешествие в Та-Кефт сделало меня прожорливым и вечно голодным, как гиена.

Вавилонянин собственными глазами увидел, как летели гусиные кости в разные стороны, мгновенно обглоданные. И все сказали про себя: не зубы это, а настоящая мельница, в которой рушат зерно! Поскольку старик был занят жареным, вкусным гусем — никто не тревожил его вопросами.

Спустя положенный срок — когда от гуся остались одни перемолотые кости, — купец спросил:

— Высокоуважаемый, могу ли я узнать твое имя?

— Да.

Но имени своего так и не назвал. И вавилонянин понял, что с этим надо подождать.

Жара понемногу спадала. Обеденный час миновал. Посетители оставляли свои места и шли по делам. Можно сказать, что лавка опустела. До самого ужина теперь здесь будет сонное царство. Только на кухне по-прежнему пылает огонь и повара размышляют над новыми блюдами, которыми следует потчевать посетителей за ужином.

Старик тоже поднялся с циновки. Подошел к купцу.

— Тебе — спасибо, — сказал он. Поклонился глубоким поклоном. Словно вельможа фараону. И пальцы на руках его, и пальцы на ногах его были длинные и тонкие. Словно у вельможи. — Чужестранец, ты вел себя как истый сын своей прекрасной страны. Я знаю ее, я скажу тебе: звать меня Сеннефер, сын Гемипет. Мой дом был в Саи. Красота его знакома многим, кто бывал в Дельте. Но все это в прошлом. Меня вырвали из родной среды. Кеми стал для меня вроде мачехи. И я даже стал подумывать, чтобы схоронили меня где-нибудь в чужой пустыне.

Усерхет сказал, обращаясь к купцу:

— Господин, вот еще один, кто горько сетует на судьбу свою.

— Нет! — возразил старик Сеннефер.

— Как так — нет? — сказал Усерхет. — Разве мы не слышали сейчас, что говорил ты о судьбе своей?

— Слышали, чтобы донести?

— О нет! — Усерхет готов даже поклясться. — Разве Усерхет соглядатай и его лавка — место для соглядатаев?

— Верно,— проговорил купец, внимательно приглядываясь к старику,— Усерхет известен как человек честный, высокопорядочный.

Старик, видимо, поуспокоился:

— Ладно, с вами, кажется, и пошутить нельзя. Времена, разумеется, не самые сладкие... Но кто и когда слышал, что они бывали сладкими? Что-то не припоминаю! При Хуфу, что ли?..

Купец не спускал с него глаз. Нет, не простой этот старец. Далеко не простак. Что-то в нем особенное. Сквозь грубую, затвердевшую, как тина в засуху, кожу просвечивает образ иного человека. Иной крови. Чтобы заметить это, не надо быть провидцем. Речь, манеры, осанка свидетельствуют о том, что старик не всегда был в таком бедственном положении, как сейчас. А эта обида в его словах? Он обижен, обижен, обижен! Как многие в Кеми... И в Дельте. И в других местах...

Старик собрался уходить. Усерхет дал ему жареных тыквенных семечек.

«Немху в наше время не жалуется,— продолжал размышлять Тахура.— Немху сейчас в почете. Значит, этот старик Сеннефер — немху поневоле. А был он, несомненно, знатного рода. Да он, собственно, и не скрывал этого». Придя к такому заключению, купец поднялся, чтобы проводить Сеннефера до порога. И шепнул ему:

— Уважаемый, очень хочу увидеть тебя.

Старик задумался.

— Понимаешь, уважаемый? Очень!

— Хорошо! — Старик кивнул.— Я живу в последнем квартале по дороге к усыпальницам. Последний квартал, последний дом. Спросишь парасхита Сеннефера.

— Парасхита? — удивился купец.

— Да.

И старик вышел из лавки... Тахура обратился к хозяину:

— Ты знаешь, Усерхет, этого старика?

— Он иногда заходит ко мне.

— Пообедать?

— Да. Он платит вперед за много дней.

— Почему?

— Не надеется на заработки.

— Он парасхит.

Усерхет поморщился.

— Неужели? — проговорил он брезгливо. — Я больше не пущу его на порог!

— Напротив, напротив, Усерхет! — попросил купец. — Ты не только должен пускать, но и угощать по-лучше. За мой счет.

— За твой?

— Да, мой.

Хозяин велел слугам прибрать лавку. Двое из них кинулись исполнять его приказание. Сухощавые, ловкие парни действовали умело и проворно.

— Пойдем в мою комнату, — пригласил купца Усерхет. — Мы поговорим по душам.

— А где обещанная девица, Усерхет?

— Я хозяин своему слову, Тахура. Всею свое время.

Купец признался, что сейчас самая пора побаловаться. А потом не выберешь и часа. Дела, дела, дела!.. Однако хозяин успокоил его, многозначительно кивнув на дверной проем, занавешенный легкой тканью. За нею угадывалось нечто... У азиата раздулись ноздри, как у буйвола.

— Там?

— Да, там.

— Молода?

— Об этом у меня не спрашивают.

— Так пойдем же поскорее, Усерхет. Давай болтать! Давай беседовать! Давай делиться впечатлениями! Буду делать что угодно, сколько угодно, лишь бы дождаться ее! Усерхет, плоть моя изнемогла!

Купец с трудом оторвал взгляд от таинственной занавески, вошел в соседнюю комнату и повалился на мягкое ложе. Здесь все было как на его родине: уютно, сумрачно, ароматно, как в цветнике.

— О, Усерхет, — простонал купец, — давай говорить! Дай мне пива или вина. И будем говорить! И, пожалуйста, поскорее, если не хочешь доконать меня!

И когда они уселись и хозяин убедился, что никто не подслушивает, — сказал с усмешкой:

— Послушай, Тахура, почему это вы, азиаты, такие легкомысленные?

— Мы? Легкомысленные? Это почему же?

— Сначала выпьем. Вина. По глоточку,— сказал Усерхет, разливая ярко-красную жидкость. В глазах у него замелькали золотистые огоньки, а живот колыхался, словно мешок, наполненный льном.

— Нет, ты скажи, почему мы легкомысленные?

— Скажу. У вас превыше дела — женщины.

Тахура выпучил глаза:

— А как же должно быть?

— Наоборот.

— Значит, сначала — дела?

— Несомненно, уважаемый Тахура.

Вавилонянин почесал бороду.

— Вы, жители Кеми,— сказал купец,— слишком деловиты. И это погубит вас. Когда-нибудь. Ну, скажи мне: неужели же можно пренебрегать красавицей ради даже самой выгодной торговой сделки?

Владелец лавки ответил, не задумываясь:

— Можно.

— Это вполне серьезно?

— Да. Вполне.

Купец долго хохотал. Держась за живот. «Он напускает на себя юношеское легкомыслие, — говорил про себя Усерхет. — Слишком усердно напускает. А я-то знаю его. Как облупленного. Он не пожалеет отца родного ради порученного ему дела. Тщеславие его слишком велико, чтобы мог позволить себе легкомысленные развлечения в ущерб делу...»

Усерхет считал бессмысленным спор о превосходстве деловитости над развлечениями. Особенно потому, что у азиата — у истинного азиата — слово — одно, а дело — нечто иное. Правда и в Кеми немало «азиатов» по характеру. Бритоголовых. Поклоняющихся Атону или Амону. И тем не менее — азиатов. Надо отдать должное хозяину лавки: он сумел подняться, — по крайней мере, в данном случае — над национальной ограниченностью. Единственное, что отталкивало его от азиатов, — это их нечистоплотность. Они редко мылись и не брились. «В наш век, — размышлял Усерхет, — когда в три года строятся города, подобные Ахяти, невозможно мириться с теми, кто не придает особого значения чистоте тела, особенно рук». Даже

этот Тахура, который не первый раз в Кеми, и тот не в состоянии перенять здешние обычаи, предписывающие регулярные омовения всех членов тела. Самая главная особенность Тахуры — хитрость. Она буквально во всем, даже в складках его шелкового халата, в его жирных пальцах и лоснящейся бороде...

Тахура вдруг преобразился: перестал улыбаться, уселся ровно, руки положил к себе на колени. Прищурил глаза, точно вглядывался в пустынную даль.

— Усерхет,— сказал он очень тихо,— расскажи мне, что здесь, в Ахяти, делается. Что слышно во дворце? Что говорят в народе?

Усерхет отпил вина. Чуть пригубил. Поставил чарку на место. На все это ушло время: хозяин лавки обдумывал свой ответ.

— Что сказать тебе? — начал он. — Слово фараона — камень, и Кеми — точно гранит. Нет силы сильнее фараоновой...

— Это я знаю,— перебил его купец.

— Нет силы сильнее фараоновой. Он подумает в своем дворце, а уж слово его слышат за третьим порогом Хапи. И слово его звучит в нижнем Ретену и Ливии.

— И это я знаю, Усерхет.

— ...в Ретену и Ливии,— невозмутимо продолжал лавочник.— Но ты спросишь меня: так почему же его величество не идет войной против хеттов, против азиатов в Ретену и против эфиопов?

— Верно, спрошу: почему же, Усерхет?

— Он этого не желает.

— Кто?

— Его величество — жизнь, здоровье, сила!

— Он один?

— Нет, Тахура: ее величество тоже не хочет.

— В этом главное.

— Нет, Тахура! Главное — его величество.

— А не кажется ли тебе, что во дворце два мнения?

Усерхет откровенно сказал:

— Верно, два мнения.

— Кто же за войну?

— Его светлость Хоремхеб.

— Один?

— Нет, Тахура. Фараон может переменить свое мнение. И может взяться за меч.

— Почему же медлит?

— Не желает войны.

— Он живет ее умом, Усерхет?

— Чьим — ее?

— Царицыным.

— Он?! — воскликнул Усерхет. — Его величество?!
Никогда! Для этого достаточно хотя бы немного знать его.

— А ты его знаешь?

— По рассказам. Мне кажется, что он у меня как на ладони, а я гляжу на него и днем и ночью. И, глядя на него, я знаю его — и скажу тебе, Тахура: ему тяжело, как человеку под крокодилом.

Купец сделал вид, что удивлен:

— Вот как! Его величеству, под которым вся гранитная Кеми, — и тяжело?

— Да. Тахура, мне ведомо из самых достовернейших уст, что во дворце не все в должном порядке. Как поглядишь со стороны: и стены неприступные, и штандарты на башнях сверкают, и стражи охраняют дворец недреманным оком. Но это снаружи! А внутри — разлад.

— Разлад, говоришь, Усерхет?

— А как же иначе это назовешь? Царь отошел от царицы. Он больше не живет ее советами. У него отросла собственная голова. Он скоро начнет войну. Скоро и Амона признает.

— Его величество?

— Он самый!

Купец развел руками: это же невозможно! Подобно сказке! Чтобы его величество Эхнатон перестал слушаться советов ее величества Нафтиты?..

— Да, да, да, — повторял лавочник.

— Что же приключилось? Почему он в обиде?

— Доподлинно никто этого не знает. Может статься, что это — обычная размолвка. В прошлом бывало нечто подобное. Бывало, бывало, бывало... Только мало кто догадывался об этом. Все тщательно скрывалось. А теперь — невозможно. Что укроешь? От кого? Если они сами того не желают и не могут скрыть!

Купец удивлен этим сообщением... Ай, это, наверно, так! Наверно, это так и есть! Разумеется, разумеется! Он подумал об этом даже там, в провинции Гошен, едучи сюда, в Ахетатон. Ведь достаточно присмотреться и прислушаться к народу, чтобы понять многое. Нет, во дворце что-то неладно...

— Я говорю тебе, я говорю так, словно вижу в зеркале,— похвалялся лавочник своей осведомленностью. — Если Усерхет сказал, так оно и есть.

— Слушаю тебя, слушаю тебя...

— На Восточной горе строят гробницу. Для его величества. Днем и ночью долбят скалу. Фараон сам выбрал это место. Сам выбрал и для царицы. Однако работы прекращены.

— Где? В фараоновой гробнице?

— Нет. В гробнице Нафтиты.

— Это удивительно, Усерхет, это удивительно! Если бы не ты, я бы никогда не поверил в подобную новость.

— Это не новость. Каждый, кто имеет глаза и уши и не очень далек от дворцовых стен, знает про это. А вот о гробнице — никому не ведомо. Один Усерхет знает про это.

Купец достал из-за широкого кушака четырехугольный слиток золота и бережно положил его перед лавочником. Сделав небольшую паузу, вавилонянин выложил серебряную пластинку. Увидев сероватый металл, лавочник затрясся.

— О, что я вижу! — вскричал он. — Я долго буду помнить твою щедрость, Тахура!

Купец поглаживал бороду. Он не слушал лавочника. Весь ушел в свои мысли...

«...Значит, что ж получается? Столица новая, а распри в ней — старые? Хеттский царь думает, что в Ахетатоне — полное единодушие. А на поверку оказывается наоборот. Этот Усерхет, несомненно, неплохо осведомлен. Он ни разу не подвел. В его лавке бывают разные люди. Они приносят разные вести. При их сопоставлении получается истинная картина... Прекращение работ в гробнице царицы — событие первостепенной важности. Что же последует за этим? По-видимому, нельзя отрицать одного: отношения между царем и царицей не те, что год назад. Партия Хоремхе-

ба — военная партия во дворце, — как видно, одерживает победу. Но сколь приметна эта победа? На словах она или на деле? Кто это может сказать? Впрочем, и в том и в другом случае — новость огромной важности. Подозревают ли о ней хетты — эти главные, самые сильные враги Кеми? Возможно, догадываются. Не более... Пожалуй, не более...»

— Усерхет, — проговорил купец, — если возобновятся работы в гробнице ее величества — тебя поставят в известность об этом?

— Я буду знать все, что положено.

— И ты скажешь мне... Передашь мне, где бы я ни был.

— Можешь быть спокоен, Тахура.

Купца интересовали кой-какие подробности дворцовой жизни. Например: чью сторону держит старая царица Тии? Ее слово — не последнее слово в Кеми. Не так ли? Можно даже поспорить, чья сила берет верх: ее или Нафтиты?..

Усерхет сказал:

— Я говорю так: если во дворце вдруг случится разногласие, царица Тии — считай на стороне ее величества. Если фараон разойдется во мнении с Нафтитой — царица Тии будет держаться середины. Или в крайнем случае станет рядом с Нафтитой. Вот так!

— А жрец Эйе? Что ты скажешь о нем?

У лавочника всегда готов ответ:

— Эйе держит в своих руках его величество. — Усерхет сжал мясистый кулак и выставил его вперед. — Эйе сказал, — значит, фараон сказал. Он вместо отца у его величества. Фараон, прежде чем сказать, советуется с Эйе. Этот всегда в тени. Этот не лезет вперед подобно Хоремхебу.

Еще двое интересовали Тахуру: что делают во дворце принцы Семнех-ке-рэ и Тутанхатон? Ждут царской власти?..

— Семнех-ке-рэ — возможно, — сказал Усерхет, — Тутанхатон — едва ли. Он слишком молод. Считай, что Семнех-ке-рэ — почти фараон. Этот будет назначен соправителем. Если не на деле, то на словах. Может быть, ему помешает здоровье?

— Разве он болен, Усерхет?

— Нет, не болен. Просто заморыш. Не болен, а

вроде бы болеет. Так же как Тутанхатон. Этот к тому же юнец. Мальчик.

— Тоже заморыш?

— Да.

— Ты видел сам или доверяешь другим?

Лавочник растопырил два пальца и приставил к своим глазам:

— Я видел ими!

Тахуре были знакомы эти водянистые глаза, обрамленные красноватыми веками. Да, эти могут многое увидеть.

— Хорошо, Усерхет. Я доволен тобой.

Лавочник ударил в ладоши, и на пороге появилась молодая красавица. Которой не больше восемнадцати. Ее пупок задорно торчал на медно-матовом животе, но глаза ее скромны. Десятки косичек ниспадали на покатые плечи. Под ногтями ее пальцев — на ногах и руках — играла алая кровь. И груди ее были как груши. В руках она держала небольшую арфу.

Ее пронзительная красота на мгновение ослепила вавилонянина. Словно живая молния ворвалась в комнату. Точно лань обратилась в женщину. Как в сказках...

— Ее звать Май, — сказал Усерхет.

— Прекрасное имя! А что у нее в руках?

— На этой золотой арфе она сыграет так, как никто в Ахяти.

Азиат глядел на красавицу восторженно. Удары сердца его отдавались в висках. И лавочник видел все и понимал все. Он хотел было встать и уйти. Но купец остановил его.

— Усерхет, — сказал он с волнением в голосе, — Май явилась вовремя. Не принесет ли она кусок папируса и чернильный прибор?

— Папируса? — протянул лавочник.

— Не больше двух локтей в длину.

Усерхет подал знак красавице, и та вышла из комнаты.

— Я доставлю тебе все, что нужно.

И лавочник поднялся, чтобы принести чернильный прибор и папирус.

— Господин Усерхет! Господин Усерхет!

Лавочник едва успел поставить на столик свою нетяжелую ношу. И на миг застыл, пытаясь угадать, кому же принадлежит этот голос. Если бежать на всякий зов, то никаких ног, никаких башмаков не достанет...

— Тебя зовут, — сказал купец.

— Слышу. Здесь, кроме меня, есть еще люди...

Лавочник выпрямился. Вытер руки о льняной набедренник. Для этого ему пришлось распахнуть свое длинное одеяние.

Вдруг влетел служитель при кухне, раб-арамеец. Скороговоркой прокричал:

— Его светлость Джехутимес! Его светлость...

Хозяин не дал ему договорить. Выдал хорошего пинка в зад. И тот выскочил из комнаты...

— О, уважаемый Тахура, это ваятель его величества. Сам Джехутимес!

И Усерхет выбежал. Выкатился из комнаты, подобно шустрой собачке, бегущей на зов хозяина. Купец почесал за ухом палочкой для письма. Он прикидывал в уме, что выгоднее: писать донесение о новостях в Ахяти или же, отложив на время папирус, познакомиться с ваятелем? Купец решил избрать второе.

«...Этот ваятель имеет доступ к их величествам. Не каждый же день сталкиваешься с подобным человеком».

Он не представлял себе, пригодится ли ему это знакомство. Но долгий опыт подсказывал ему, что в сложных и щекотливых делах очень важно не пренебрегать ни одним знакомством, тем более с таким важным человеком. Для Тахуры было вполне достаточно того, что некий Джехутимес — приближенный царя. Почти князь. Почти вельможа. Что делает здесь, в этой неказистой лавке, человек, могущий лицезреть самого фараона? И это само по себе было весьма любопытно. А любопытство Тахуры не знало предела. Ему все нужно! Не за это ли ценили его хеттинские покровители? Разумеется, за это. Именно за это!..

Купец отложил в сторону гибкий свиток папируса.

Медленно поднялся с места, оправил бороду и одеяние. И по-сановному неторопливо пошел к двери.

Посредине лавки стояли трое мужчин. К одному из них — коренастому, широколицему, в черном парике — обращался, притом с большим почтением, господин лавочник.

— Высокоуважаемый Джехутимес, как всегда, получит все, чего пожелает его душа, — не говорил, а пел, словно пташка, тучный владелец лавки.

Джехутимес смущенно молчал.

— Я понимаю тебя: жареных орехов в меду, тонких лепешек — таких хрустящих...

Ваятель улыбнулся. Эдак широко. По-детски лучисто. Очень, казалось, довольный обращением Усерхета. Он переглянулся со своими друзьями. Прищелкнул языком. И сказал:

— Вот за что люблю эту лавку! Тебя понимают! Тебя поймут, если даже ты немой. Совсем бессловесный.

Усерхет поклонился ваятелю. Пригласил его занять место за низким, круглым столиком. Один из его друзей — это был знакомый нам Ахтой — плюхнулся на циновку. И простонал:

— Я очень устал. Я очень устал...

Его примеру последовали Джехутимес и Тихотеп (так звали второго друга ваятеля). Усевшись, они принялись барабанить ладонями по столу. Дружно приговаривая:

— Усерхет, Усерхет, подавай, подавай!..

— Клянусь прахом своих предков! — провозгласил купец. — Клянусь их костями, я не видел более веселых людей!

Тахура поклонился Джехутимесу глубоким поклоном, приложив руку к сердцу. И не спуская глаз с ваятеля. Трое за столиком перестали стучать. Ответили купцу легкими кивками. Купец сказал:

— О почтеннейший Джехутимес, слава которого перешагнула пределы Кеми! Разреши мне простыми речами, моим нескладным языком выразить тебе мое глубочайшее уважение. И тебе, и твоим несомненным способностям.

Джехутимес был удивлен. Обращение иноземца, говорившего с акцентом, и смутило и порадовало его.

Разве плохо, если тебя знают, если слава твоя перешагнула через пределы страны твоей?

— Благодарю,— отвечивал Джехутимес.— Я не знаю тебя, хотя полагаю, что ты — чужестранец.

— Верно, ты угадал. Глаз твой остер, и от него не укроется ничего! К твоим услугам недостойный сын вавилонской земли Тахура, поклонник искусств и всего прекрасного. Хотя занятие купца не всегда позволяет обращать взоры к дарам искусства, тем не менее — правда, не без труда — мне удастся иной раз полюбоваться произведением кисти или резца.

Нельзя было не пригласить к столу столь вежливого, столь представительного мужчину, к тому же чужестранца, к тому же любящего искусство, ценящего искусство. И вот Тахура пристраивается к компании молодых людей. Ему уступают лучшее место — возле стены. От удовольствия он обеими руками расчесывает бороду, весело пялит глаза, громко покашливает...

— О тебе много приходилось слышать...— говорит он, обращаясь к Джехутимесу.

— Плохое или хорошее?

— Только хорошее! Самое лучшее!

Ваятель краснеет.словно девушка. Смущается, как школьник. И от чего? От похвал малознакомого купца!

Ахтой говорит:

— Уважаемый Тахура, нету слов, которые могли бы наиболее полно оценить способности и мастерство нашего Джехутимеса. Он годами не стар, а уж начальник над нами...

— Да, да,— повторил восхищенно купец,— начальник, начальник...

— Сам фараон говорит: вот ваятель, который во истину велик...

— Сам фараон... Сам фараон,— повторяет купец.

— Ухо Джехутимеса обращено к фараону. Он — истинный послушатель его величества...

— Конечно, конечно...— Купец не спускает глаз с ваятеля. Они у него словно звезды: горят, горят!

Ахтой превозносит своего начальника, чтобы показать, что слово чужестранца не есть что-то особенное, что Джехутимес слышал кое-что и поприятнее.

Тихотеп поддерживает Ахтоя. Разумеется, Джехутимес не имеет себе равного. Где? В Кеми. А если угодно — во вселенной. Кто видел подобное тому, что выходит из-под рук ваятеля? Тихотеп уставился на купца, вопрошая: «Кто?»

Купец развел руками:

— Я видел свет. Ибо торгую там, где возможно и где совершенно невозможно.

Джехутимес захохотал:

— Неужели и там, где невозможно?

— А что? Торгую и там, где невозможно!

Ахтой и Тихотеп чуть не покатывались от смеха.

«...Это очень веселые люди. Клянусь богами, я редко встречал столь жизнерадостных ваятелей. Так могут смеяться люди счастливые. Неужели каменные изображения доставляют им такое наслаждение?..»

Та самая девица Май, которая совсем недавно предстала перед купцом, поднесла сладостей и расставила тарелочки перед гостями.

— Я прошу,— сказал Тахура,— я прошу разрешить мне угостить вас вином. Я запас вина, которое удивит и своей крепостью, и ароматом. Мы, вавилоняне, ценим в вине и то и другое.

— Это правда? — спросил Джехутимес, обращаясь к лавочнику.

— Что вино изумительно?

— Да.

— Верно, господа, вино такое, что его можно пить и пить без конца. Оно целительно для сердца. И от него совсем не мутнеет разум.

— Что же лучшего можно придумать! — воскликнул Ахтой.

Май сходила за вином. И когда она разлила, все нашли его прекрасным.

— Откуда оно? — поинтересовался Джехутимес.

— Тайна,— многозначительно произнес Тахура.— Учтите: я купец, и мое ремесло — торговля. Я брожу по свету.

— В поисках вина? — сказал Ахтой.

— Не только вина.

Тихотеп перешептывался с Май. Он ее увидел впервые, хотя в лавке не в первый раз. Кто она? И давно

ли здесь? Она не ответила на первый вопрос. А на второй ответила утвердительно: да, давно.

— Не верю.

— Почему? — Она улыбалась, оголяя зубы, подобные лунным лучам — голубовато-беловатым.

— Вот так, не верю.

— Но почему же? — Она улыбалась глазами, устами, пупком, торчащим невообразимо похотливо. Всем существом...

— Если давно, то я, значит, слеп.

— Возможно! — Она улыбалась коленями — точеными, мраморными.

— Нет, я не слеп!

Бедный Тихотеп, помощник Джехутимеса, ничего не понимал: неужели встречал ее в этой лавке и ни разу не обратил на нее внимания?

— Не обратил, — сказала она.

— В таком случае я прыгну в Хапи!

— Почему?

— Ты еще спрашиваешь, Май, почему? Я скажу: не стоит жить тому, кто не умеет приметить подобную красоту.

Он попытался обнять ее. Она выскользнула из его рук, словно рыба. И тут же скрылась за занавеской.

Тихотеп с горя прильнул к чарке. Он пил, можно сказать, по капле. Наслаждаясь. Вдыхая аромат вина. И думая о ней. Он уже не мог не думать. (Это вполне понятно в его тридцать лет).

В углу стоял Усерхет и внимательно наблюдал за столиком. Он подавал почти невидимые знаки — и служители приносили что надо. Но Май так и не появилась.

Тахура очаровал Джехутимеса. Это очень редкостный купец. Тонкий ум, приятное обхождение, знания его не могли не удивить любого непредубежденного собеседника. Он легко переходил с одного предмета на другой. Он знал земли и моря. Горы и небеса открывали ему свои тайны. Но самое удивительное не это. Совсем не это! Купец понимал силу камня. Силу резца. Вавилонянин хорошо разумел значение цвета и сочетания красок. Он особенно почитал тех, кто был искусен в ваянии колоссов. Купца более всего поражал, например, сфинкс, что у пирамиды Хуфу. Искусст-

во — велико, а человек — мал. Сфинкс и доказывает превосходство искусства...

Джехутимес не мог согласиться с этим. Разве искусство должно подавлять?

— Нет, удивлять, — ответил купец.

— Тоже неверно.

— Что же верно?

— Я скажу, уважаемый Тахура.

— Я слушаю.

Джехутимес отпил глоток вина. Его лицо, каждая складка и морщинка выражали крайнюю глубину его мышления. Будто ваятель прислушивался к внутреннему голосу, будто не говорил как смертный, но чрево-вещал подобно чародею. Ибо такова была его вера в искусство. А искусство составляло смысл всей жизни. Если бы сказали ему: не будет больше искусства, — он бы попросил: тогда возьми мою жизнь!..

Джехутимес говорил:

— Времена гигантских сфинксов миновали. Навсегда ли? Наверно! Ты спросишь меня: жалею ли я об этом? Отвечу тебе: и да, и нет. Правда, я хожу по этой земле, но я живу дома. Вокруг меня — четыре стены. И я хочу, чтобы в моей комнате находились некие творения ваятелей и живописцев, которые доставляли бы мне радость. Слышишь, уважаемый, я говорю — радость!

— И грусть, — добавил Ахтой.

— И горе, — сказал Тихотеп.

— Искусство — горе? — подивился купец. — Зачем вам горе? Разве его мало вокруг? Прошу вас, сделайте два шага — и его полным-полно! Ты хорошо сказал, досточтимый Джехутимес: радость, радость, радость!

Щеки Тахуры покрылись багряно-алой краской. Они блистали от избытка здоровья, блистали, как бронзовые миски, хорошо начищенные радивой хозяйкой песком и проточной водою.

— И грусть, — повторил Ахтой.

— И горе, — добавил Тихотеп.

— Нет, зачем же? — Купец засмеялся мелким, хихикающим смешком. — Зачем — горе? Уважаемый Ахтой, ты молод. На челе твоём — сила и здоровье. Ты глядишь, словно сокол нехейт, и в глазах твоих — любовь и радость. Зачем тебе грусть? Гони ее от себя!

Гони от искусства! А впрочем...— Тахура сделал паузу.— А впрочем, можно и погрустить, если тебя чуточку подвела красotka.

— Красotka?

— Ну да. Например, не явилась на свидание.

— Значит...— Ахтой поднял вверх указательный палец,— уважаемый Тахура разрешает грустить только по поводу мелких проступков некоей красотки?

— Нет, можно найти любой повод. В жизни, но не в искусстве.

Ахтой пригубил из чарки. А потом сказал:

— Мы не понимаем друг друга.

Тихотеп слушал этого бородача, для которого жизнь — сплошная радость, с чувством некоторой гадливости. Точно перед ним прыгала тяжелая жаба. Он был помоложе всех, и ему не полагалось брать на себя больше того, что полагается по летам. А иначе он бы плюнул и встал из-за столика... И все-таки он не выдержал:

— Нет, я прекрасно понимаю!

— Приятно слышать, молодой человек, — чуть не пропел купец из Вавилона.— Стало быть, ты согласен со мной?

Тихотеп не смотрел на него. Потупив глаза, он выговаривал очень жестко, с оттенком злобы:

— Я сказал, что понял. Понял — значит понял! А «согласен» — это совсем другое. Если тебе угодно радоваться — пей вино!

— А я пью! Клянусь богами, пью!

И купец отхлебнул. Да так, что поперхнулся. Объяснил: попало не в то горло.

— Вот и пей, уважаемый Тахура. А ваяние или живопись — не вино тебе! Хорошее настроение ты можешь приобрести за одну курицу или козленка. Так неужели же равнять искусство с живностью? Ни один ваятель не обязан развлекать тебя. И запомни, чужестранец: мы не уличные лицедеи!

Купец скрестил на груди волосатые, толстые руки. В знак полного смирения. Можно сказать, рабства. И тем самым как бы обезоруживал своего противника. Джехутимес разгадал эту уловку и ждал, что будет дальше. Однако дальше ничего не было, ибо разгневанный молодой ваятель закрыл глаза, чтобы не видеть:

он не ручался за свои руки, которые изрядно почесывались. Вздуть этого ценителя искусства было бы сущим благодеянием...

— Великие господа, — проговорил Тахура тоном виновного, — если я допустил какую-либо...

Джехутимес, смеясь, перебил его:

— Да, допустил. Именно, допустил!

— О, если это и твое мнение — прошу меня простить... Неужели я оскорбил вас?

— А как ты полагаешь, уважаемый Тахура?

— Не знаю, что и сказать...

Тихотеп сердито бросил:

— Нет большего оскорбления для искусства и его служителей, чем требовать одной только радости! Более того: искусство создано не для того, чтобы веселить. Кто хочет бездумного веселья — тот его всегда найдет и без искусства. Мы часто несем миру невеселые мысли. Мы будоражим душу, подчас заставляем ее трепетать в страхе. Мы клеймим негодяев! Что же до веселья — его много в лавке уважаемого Усерхета. Не правда ли?

Этот вопрос был обращен к хозяину лавки. Тот поклонился. Он знал — притом очень хорошо — нрав молодого ваятеля из фараоновых мастерских. И не осмелился противоречить, хотя ему было совершенно безразлично: веселит искусство душу или навеивает горестные раздумья? Это для него словно вчерашний зной.

Джехутимес похвалил яства Усерхета и тем самым отвлек противников от их главной темы. Купец с удовольствием воспользовался предоставившейся возможностью и тоже похвалил яства, причем с таким же жаром, с каким только что хвалил искусство, способное доставлять только радость...

— А у тебя на родине, — спросил Джехутимес, — таковы ли яства? И что у вас более всего ценят?

— У меня? В Ниневии такие же лавки. Только чуть поскромнее. Там едят и засахаренный орех — крупный, мелкий и земляной. Но самая первая еда — жирное баранье мясо на курдючном сале. Его готовят на жаровнях. Потом мясо остывает. Не одно, а со всякими травами — высушенными на солнце. Попробовать такого мяса — одно удовольствие. Но я знаю

страны — они далеко на Севере, — где кобылье молоко — клянусь богами! — не дешевле золота.

— Кобылье молоко?! — воскликнул Ахтой.

Джехутимес остановил его жестом:

— Ахтой, и я свидетельствую, что есть такие земли. Я слышал о них от одного достойного жреца, который знает все, что в земле, на земле и под землей. Молоко они заквашивают, остужают и пьют, подобно тому как пьем мы пиво или вино.

Купец подтвердил это. Более того, такое заквашенное молоко способно свалить даже крепкого мужчину, если его поест в большом количестве. Да что говорить о кобыльем молоке! Есть страна, где горит вода, которая бьет из-под земли...

— Как горит? — осторожно спросил Тихотеп.

— Горит огнем, — услужливо пояснил купец, словно между ними не было никакой перепалки. — Как если бы растопили бараний жир и подожгли его. Или рыбий жир. Ведь пламя же будет!

Каждый мог представить себе, какое это будет пламя, если загорится жир. Или масло, которое добывают из ореха. Но как горит вода — это трудно вообразить. Или это, может быть, особая вода? Нет, купец утверждал, что вода — не особая, но обычная. Которую пьют все. Она вытекает из-под земли. Как в оазисах. Или в горах.

— Кто же поджигает воду? — спрашивает Ахтой.

— Кому взбредет в голову такая блажь. А чаще всего молния: она бьет в родник, и он воспламеняется. И тогда клубы дыма поднимаются к небу, и люди молятся на огонь. Ибо он имеет большую силу. А сила, как известно, всегда вызывает к себе уважение.

— И это неправда! — шипит Тихотеп.

— Что — неправда? — недоумевает купец.

— Сила не всегда вызывает к себе уважение. Если бы ты сказал, что мудрость, — я бы это понял. Но — сила?!

Купец всплеснул руками;

— Ну, дружище, ты меня доконал! Неужели я наступил тебе на ногу? Можно подумать, что мы с тобой враги. Как бы я ни открыл рот — все тебе не по нраву.

Джехутимес сказал примирительно:

— Не сердись, уважаемый Тахура. Молодость имеет одно неоценимое свойство: она не признает середины, но занимает крайнее место. Мы, ваятели, которые недалеко от его величества, не можем согласиться с тобой без особых оговорок.

— Прости меня, Джехутимес: но ведь Кеми всегда украшала сила его сынов. Вглядитесь в глубь истории, прочитайте свитки предков. Разве это стыдно — сила?!

— С некоторых пор мы предпочитаем Мудрость. Она лучше силы.

Джехутимес осушил чарку и с силой опустил ее на столик. Но не разбил ее.

Ахтой развил мысль, высказанную его начальником. Дело в том, что трехтысячный опыт Кеми красноречиво свидетельствует в пользу мира. Кому приносили счастье войны? Только несколькими военачальникам. Да, может быть, фараонам. И то не всем. Если бы и соседи, живущие на Севере и на Юге, тоже поняли это — на земле воцарилось бы счастье. Иное дело, когда вторгаются азиаты-гиксы и бьют посуду в твоём доме. Тогда сами боги велят братья за меч и лететь на боевых колесницах.

— Значит, его величество стойко держится мира? — без особого, казалось бы, тайного умысла спросил Тахура.

— Да! — произнес Ахтой.

— Только мира, — подтвердил Джехутимес.

— Видите ли... — Купец потер руки, будто озяб он и хотелось немножко согреться. — Видите ли, это похвально — желать мира. Но кто поручится, что и хетты желают того же? Или сирийцы? Или шумеры? Или эфиопы? Или ливийцы? Я понимаю, когда государственная мудрость подсказывает тебе, что мир — это благо. Но это должно быть подсказано не только одному. И не двум. А многим. Всем! Воинственные хетты рвутся на Юг. Они теснят ваши посты. А вы будете взирать на все это спокойно?

Джехутимес не ответил.

— Разве они теснят наших? — спросил Ахтой.

— Еще как!

Тихотеп мрачно отрезал:

— Неправда!

— Что неправда, молодой человек?

— Что наших теснят.

— Я не сказал — теснят.

— А что же?

— Могут потеснить...

Тихотеп вздохнул. Отпил вина. Хотел было сказать что-то, но его опередил Джехутимес:

— Уважаемый Тахура, мы ведем, я бы сказал, немного отвлеченный разговор. Почему? Да потому, что особых осложнений на границах не предвидится. Стычки могут быть всегда...

Неизвестно, говорил ли он заведомую ложь или не знал истинного положения. Надо было обладать огромным терпением его величества, чтобы не обращать внимания на бесчинства хеттов. Джехутимес в глубине души чувствовал, что не совсем прав. Но не мог говорить он иначе! Не мог, потому что и сам он держался того же мнения, что и фараон. Главные враги здесь, на берегах Хапи, а не на Тигре или Евфрате. Кто больше всего жаждет падения его величества? Жрецы Амона тайные (ибо явные прикрылись новой личиной) или священнослужители хеттов? Разумеется, жрецы Амона! Стало быть, война с хеттами ни к чему. Иное дело, если хетты, пренебрегая всяким приличием, двинутся на юг, к Синайскому полуострову или к провинции Гошен. Вот тогда удар отрезвит их. Только удар! А в настоящее время письма, которые пишет на север его величество на хеттском языке, — вполне достаточное средство против войны...

«...Его ли эти слова или слова, слышанные во дворце? Может быть, от самого фараона. Едва ли ваятель осмелился бы выразить свое мнение насчет войны и хеттов с такой определенностью».

Во всяком случае, купец был очень доволен беседой, благодарил богов, которые свели его со столь высокопоставленными дворцовыми служителями.

— По здравом размышлении, — сказал Тахура, — нельзя не согласиться с вами. Как погляжу, ум ваш глубже и шире, чем это можно предположить, имея в виду ваши годы. Я видел старцев, убеленных сединами, их речи не выше ваших. А проницательность ваша превышает ихнюю.

Тихотеп горделиво заулыбался. Наконец-то чужестранец заговорил по-человечески. Он готов был простить вавилонянину его заблуждение насчет искусства и войны и мира. Главное, чтобы человек понял верные слова. Если понял, значит, хорошо, значит, слава богу! Молодой ваятель налил чарку себе и Тахуре. А потом сказал:

— Поначалу мне показалось, что ты исполнен злобы.— (Тахура изобразил на лице крайнее удивление.) — Да, да, показалось! Но теперь я думаю иначе: ты — человек неплохой, немного заблуждающийся. Но ты умеешь понимать свои заблуждения. Верно осмысливаешь их. А это дано не каждому.

Купец расхохотался. Пожал Тихотепу руку. Дружески ударил его по плечу. И они выпили. В знак примирения. И дружбы.

— Теперь, когда я заслужил благосклонность моего молодого друга,— сказал Тахура,— могу ли надеяться на нечто большее? На нечто, что доставит мне глубокое наслаждение? — Говоря это, Тахура не спускал глаз с Джехутимеса: — Могу ли?

Джехутимес, кажется, понял его. Да разве Тахура был первый, кто обращался к нему с такой просьбой? Она еще не высказана. Она только на языке. А по существу — ясна, Джехутимес знает эту просьбу наперед...

— Есть у меня мастерская,— сказал он,— есть мастерская, и в ней я — начальник над всеми ваятелями, коих семь. И над их помощниками — я начальник. А их — пятнадцать. И каменотесов у нас достаточно, и всякого рабочего люда, которым под силу тяжести. Усерхет знает, где моя мастерская. Усерхет изучил дорогу к ней, как школьник иероглиф «анх». В любое время — прошу в гости!

Усерхет подобострастно кивал головою, он говорил: «Да, знаю»; он говорил: «Знаю, как анх».

Азиат чуть не затанцевал от радости на козлячий манер. На радостях приказал внести каждому из сидящих отличного вина «Прекрасное из Ахяти». Он приказал, чтобы Май самолично и собственноручно вручила каждому из мужчин вино. И когда она появилась, прекрасная в своей внешности и чудесная обаятельностью своей, купец вскричал:

— Май наиженственнейшая, поцелуй каждого, кому вручаешь кувшин! Поцелуй каждого! Я приглашен в гости великим Джехутимесом!

И она послушалась. Этого азиата. К удивлению и к досаде Тихотепа. И он был как бы мертвый, когда она поставила на нем клеймо дешевой любви продающейся, точно лук или барбарис на рынке. Этот знак ему жег щеку. И когда она громко и сладострастно чмокала других — он вздрагивал. И вдруг его залихорадило. Он приник к кувшину и пил вино прямо из кувшина, чтобы заглушить ревность, бившую у него через край.

Она обошла сидевших. Май поцеловала каждого из них и снова скрылась за занавеской.

Купец поглаживал щеку — то место, в которое чмокнула его красавица. И он говорил, закатывая глаза:

— О боги, что же произошло только что?! Почему душа моя ушла в пятки? Скажите же мне, друзья дорогие, что же стряслось только что с моей щекой? Отчего так горит она?

Купец повалился на спину, задрал ноги кверху. Глядя на него, ваятели покатывались со смеху. Служители — повара, потрошители живности, судомой — выглянули из-за занавесок, чтобы поглазеть на удивительное зрелище. Май тоже вышла из своего прибежища. Вместе с нею показались и ее подруги — одна красивее другой, одна моложе другой. Тихотеп мигом забыл про Май. Он рыскал взором, точно волк в стае прекраснейших гусынь. И сказал себе: «Вот место обетованное, где я редко бывал. Я каюсь в этом. Ибо что такое жизнь, если ты проходишь мимо красоток, в сравнении с которыми звезда не звезда, а всего лишь шляпка от бронзового гвоздика». Тихотеп заметил одну, красивую от загара и прелестную красотой ног и груди, бедер и лица. Такую невысокую и худенькую девочку-женщину. Ваятель встал, подошел к ней, пока все забавлялись видом дрыгавшего ногами азиата, и спросил ее:

— Кто ты?

Она посмотрела на него безбоязненно и смело, такими голубыми глазами, похожими на стекло из Джахи. Ответила четко:

— Сорру.

Что это за имя? Откуда она? Он хотел услышать еще что-нибудь от нее. Чтобы определить поговору, кто она, откуда она.

— Что это за имя? — спросил он.

— Арамейское, — сказала она.

— И ты — арамейка?

— Да.

— И давно ты в нашей стране?

— Меня похитили пять лет тому назад.

— Чтобы мучилась в этом закуте?

— И чтобы любила мужчин, — беспощадно продолжила она.

И, может быть, немножко назло этой Майи он сказал:

— Сорру, я хочу тебя видеть.

— Так приходи же сюда.

Вот и все! Он отошел в сторону, потому что купец снова уселся на свое место, и шумно вытирал пот со лба. Скрылись девицы. Ушли к своим очагам повара. Потрошители принялись вершить свое грязное дело.

Нет, этот азиат покорило сердце Джехутимеса. Давно не видывал ваятель столь смышленного, столь ученого и столь потешного человека. Разве не следует пригласить в свою мастерскую Тахуру? Разве не достоин он любезного, более того, горячего приема? Да, да, да!.. Тахура придет к нему. Он покажет ему все свои работы. Устроит пир для него и в честь него!

Все это он высказал в изысканных, подходящих в таких случаях выражениях. Ахтой и Тихотеп кивали согласно головою, как бы подкрепляя приглашение своего начальника и учителя.

Когда они прощались и благодарили друг друга, проявляя крайнюю учтивость, Тихотеп уловил ее взгляд. Взгляд серны, которая потрясена. Взгляд животного — наипрекраснейшего, плоть которого встревожена.

Он кивнул ей. И она прикрыла веки. И ресницы на веках были длинны и черны. Их видно было издали. Отчетливо.

Неужели кончится этот взгляд Сорру? Когда-нибудь?

На балконе второго этажа, обращенного на север, было прохладно в этот знойный день. Отсюда открывался вид почти на весь Ахетатон. Слева и справа вдоль Дороги фараона — храмы, сады, особняки вельмож, а подалее — хижины бедняков. Сверкает на солнце одетый камнем розового цвета главный храм — Пер-Атон-Эм-Ахяти. Недалеко от него малый храм — Хет-Атон-Эм-Ахяти. Туда, к Восточному хребту, тянутся дома, дома, дома, утопающие среди тенистых сикомор, гранатов и финиковых пальм. Сколько земли пришлось перетаскать, чтобы росли деревья на раскаленных песках! Сколько труда пришлось вложить, чтобы засверкали величием стены дворцов на пустынном берегу Хапи, не оскверненной присутствием Амона!

Его величество любит — очень любит! — этот город, выстроенный по слову его, по советам его и приказам. Городу всего четырнадцать лет, а где найдешь краше его? Говорят, прекрасна Ниневия с ее воздушными садами. А чем хуже Ахетатон? Не только не хуже, но много краше! Об этом говорят все, кто ступал на улицы Ниневии и улицы Ахетатона. Если Ниневии не сравниться, то какому городу можно потягаться с Ахетатонем?! Нет в мире таких городов! Одна Дорога фараона чего стоит! Эта красавица пряма как стрела, и по обеим сторонам ее — постройки. Их возводили лучшие зодчие Кеми. Разве не заметна на них рука Туту, Хатиаи, Маанихетутефа и Май? Кто не узнает на фасадных барельефах почерк Юти, Бека и Джехутимеса? Но главное, но главное — не в этом! Не в этом, а в чистоте города! Грязные воды теперь — под землею, они текут по трубам из обожженной глины. Ваннные комнаты топятся и днем и ночью — и люди в Ахетатоне особенно опрятны, не в пример другим горожанам Кеми.

Сила слов его величества была такова: каждое из них весило очень много — тяжелее сотни дебенов! И вот результат: город, великий город на Хапи! Как не любить этот город, несравненный Ахетатон?! Его величество наслаждается видом с Северного балкона. Каждый день. Это у него вроде болезни. Очень приятной болезни...

Его высочество Семнех-ке-рэ художав. Щупл. Рядом с ним царь выглядит настоящим борцом. Но ведь Кемн нужна голова, а не ноги, а не руки. Светлая голова у Семнех-ке-рэ. Недаром у них один корень — один отец! Неважно, что разные матери. Отец — всегда главный. По крайней мере, когда речь идет о детях...

— Я должен сказать нечто,— начал фараон. И умолк.

«...Неужели всю эту красоту отдавать другому? Красоту, добытую ценою крови, сердца, души?»

Он имел в виду этот город, это государство, равное вселенной. И эти храмы, и эти деревья в песке. И это небо. И диск Атона. Всё, всё, всё! Но таков неумолимый закон жизни — отдавать другому то, что приобрел очень и очень дорогой ценой. И фараон повторяет:

— Я должен сказать нечто...

Его высочество Семнех-ке-рэ может только догадываться. На это уже как-то намекал Эхнатон. Даже весьма прозрачно.

Речь идет о соправителе. Соправителе его величества... Неужели его величество Наф-Хуру-Ра чувствует приближение конца? Не рассчитывает на долгое правление? Почему же? Почему это в тридцать пять лет? Правда, фараон не должен обольщать себя мечтой, что процарствует на троне сорок пять лет, подобно Сенну-серту Первому. Это верно. Но все же тридцать пять лет — совсем, совсем не много!.. Почему же так торопится его величество?

Фараон продолжал без тени волнения на лице, в глазах, в речи. Точно мудрец. Как человек, умудренный мудростью. Официально. Достаточно сухо. И веско. Словно выносил приговор, давно обдуманый, давно решенный.

— Семнех-ке-рэ, я считаю так: каждый правитель великой страны — если у него хватит ума — обязан найти себе достойного преемника. И уйти в надлежащее время. До того, как его покинут силы. Или призовут на поля Иалу. Или иссякнут у него мысли, так необходимые для управления вселенной. Я полагаю, что настала пора и мне избрать соправителя. Что ты скажешь?

Его величество стоял напротив. Совсем близко и глядел пытливо. Длинное, тонкое лицо его насторожилось. Губы сжались. Рука обхватила руку. Там. За спиною.

Так стоял его величество: чуть подавшись вперед и по-военному приставив ногу к ноге.

— Ты ждешь моего совета? — тихо проговорил Семнех-ке-рэ.

— Разумеется.

Вот его величество сейчас в точности таков, каким изобразил его ваятель Ахтой: чуть насмешливый, настороженный, умный.

— Я согласен с тобою, твое величество.

— Как это понимать?

Было ясно, что фараон ожидал более обстоятельного ответа. Не односложного — «да», «нет», но пространного для различных мыслей, могущих породить новые — и мысли, и вопросы...

— Жалок тот, кто не умеет смотреть вперед...

— Хорошо сказано, Семнех-ке-рэ!

— ...кто вовремя не вытащит меча из ножен...

— Прекрасно!

— ...кто не опережает события, а плетется за ними, подобно кошачьему хвосту за кошкой.

— Тоже замечательно!

Фараон пока что доволен...

— Поэтому, твое величество... — Семнех-ке-рэ глубоко вздохнул, словно намеревался нырнуть в воды Хапи. — Поэтому я полагаю, что твое решение взять себе соправителя вполне разумно. Все мы — слуги и дети Атона. Он призовет — и мы уходим на поля Иалу. Кто знает, когда это случится? Может, в постели, может, в дороге. Может, за трапезой.

— Да, да, да...

Фараон сорвался с места и вдруг заметался по комнате. Глядя себе под ноги, точно пол был весь в ямках. И лишь временами бросал взгляды на стены и роспись на стенах...

— Я сказал, твое величество: ты хорошо решил. Вовремя решил. Так надо во имя твоего великого дома... Но какого мнения держится ее величество?

— Не знаю! — бросил фараон.

Семнех-ке-рэ на миг онемел.

— Не спрашивал,— отрезал фараон.

...«Не знаю»... «Не спрашивал»... Как это понимать? Разве голос ее стал глуше? Или хуже? Разве не она стояла рядом с его величеством во все тяжелые дни? Не она ли была опорой его мысли? А теперь — «не знаю... не спрашивал...».

Фараон подозрительно посмотрел на брата. Чисто и спокойно чело молодого — двадцатитрехлетнего — Семнех-ке-рэ. Само Благородство позавидовало бы ему в благородстве. Женщины мечтали о такой мягкой и гладкой коже на лице. Глаза его источали нежность и ум, так необходимые человеку — особенно правителю большого государства. Кто сказал, что жестокость — попутчик царей? Почему жестокость? Отчего жестокость? И кого и от чего предоохранила она и в этой и в той жизни? Чью память уберегла от забвения? Ничью!..

Фараон знает, на ком остановить свой выбор. Он говорит:

— Ты будешь моим соправителем. Ты!

Семнех-ке-рэ совсем не удивлен. Он знал, что это справедливо. Что так оно и должно быть. Он только спрашивает ради приличия:

— Достоин ли?

— Да.

— Твое величество, хорошо ли это обдумал?

— Да.

— Смогу ли послужить должным образом?

— Не знаю. Мы будем вместе. Как два близнеца. Я обещаю тебе все: силу, мужество, мудрость. На что только способен. Ибо и я иссякаю. Слишком больно вот здесь... в печени... В сердце... И здесь... в голове...

— Смогу ли, твое величество?

«...Этот будет служителем Атона. Непреклонным. Пойдет мсей прямой дорогой».

Решение его величества казалось окончательным. Твердым. Бесповоротным. Как и все, что решал прежде. Его величество сказал:

— Нам с тобой надо обсудить важное дело. Снова приходил ко мне Хоремхеб и требовал войны...

Семнех-ке-рэ по-детски нахмурился. Совсем как маленький, которому дали не того молока. На лбу появи-

лись складки. На щеках — складки. Глаза сощурились.

— Требовал войны? — спросил он. — С кем? Когда?

— Со всеми! Лезут на какие-то пограничные деревни хетты — войну им! Эфиопы обидели нашего князя — войну им! В Ливии схватили нашего купца — войну им! Азиатские князьки не уплатили дани в назначенный срок — войну им! Этому чудовищу мерещится только война. Он спит и видит — войну. Ему безразлично, с кем воевать. Лишь бы воевать. Гнать рекрутов в Азию. Везти им пищу и вино. Убивать и чужих и своих. Он забывает, что боевые колесницы имеются и у хеттов. Он забывает, что копья и мечи куют не только в Кеми, что в воздух летят не только наши стрелы.

Фараон присел на скамью. А против себя усадил Семнех-ке-рэ. Прямо перед собой. На расстоянии руки. И продолжал, как бы разговаривая с самим собой:

— Конечно, ввязаться в войну не мудрено. Сказал Хоремхебу два слова — и на тебе, война! Повода даже не требуется. Он есть! Его сколько угодно! Можно придраться к кому угодно и начать войну где угодно: в Ливии — так в Ливии, в Азии — так в Азии! Можно воевать с Ниневией, с Нижним Ретену, с шумерами, которые при последнем издыхании. Да что толку?! Ты будешь воевать в песках, глотать пыль, лизать камни от жажды, а тайные и явные служители Амона подымут голову. У тебя в тылу...

— Почему же подымут?

— Очень просто! Когда человек ослабевает, на него кидается любая вошь. Как ни говори, война — это слабость. И победа — слабость. Особенно — победа! Запомни это! Кеми не нуждается в победах на полях сражений. Мы же не собираемся, подобно гиксам, переселяться из одной местности в другую. Ведь не собираемся?

— Нет, — сказал Семнех-ке-рэ.

— Кому бы хотелось оставить Кеми, берега Хапи и поселиться в грязной Азии?! Когда идут дыни из Азии в Кеми — это хорошо. Но жить в Азии?! Когда гиксы ввалились в нашу страну — это понятно: они

рвались к богатству. А мы даже своих мертвых не оставляем в чужой стране. Ведь не оставляем?

— Нет, — подтвердил его высочество.

— Значит, воевать нам не из-за чего. Мне все время тычут в нос имя Тутмоса Третьего. Вот, говорят, воевал! Вот, говорят, до Нижнего Ретену дошел! Вот, говорят, герой доподлинный! Может быть, это так. Когда-то Кеми нужны были войны. А сейчас? Нужны ли сейчас?

— Нет! — Семнех-ке-рэ даже слова «война» пугался.

Его величеству не понравился его категорический ответ. Бывают случаи, когда без войны не обойтись. Слишком большая внешняя угроза, например. Тут без войны не обойдешься! Но и в этом случае следует точно определить: существует ли такая угроза или придумывают ее военные? Конечно, азиатов надо держать в узде. С этим никто не спорит. Да и спорить глупо. Это понятно и младенцу в колыбели...

— Когда я пытаюсь смотреть вперед, — его величество сделал вид, что рассматривает какой-то отдаленный предмет (он даже ладонь приставил козырьком ко лбу), — когда я смотрю далеко вперед, то вижу величие Кеми не в войнах. Человек не может драться всю жизнь...

— Не может, — повторил Семнех-ке-рэ.

— Ему нужна и передышка...

— Нужна.

— Он рожден не для того, чтобы драться всю жизнь.

— Верно!

— А для того, чтобы жить. Наслаждаться. Молиться его величеству Атону. Слагать гимны. Работать на полях. Кормить семью и детей.

— Это так. Это так.

— Что осталось от Хуфу?

— Пирамида величайшая.

— А где тело Хуфу?

— Давно сгнило!

— Пирамиду сложили не воины. Не люди вроде Хоремхеба! А люди с отвесами и молотками в руках. Так почему же мы должны отдавать предпочтение войне?!

— Не должны.

— Я и говорю!.. А что этот Хоремхеб?

Семнех-ке-рэ подумал немного, по-детски напруг лоб и сказал:

— Может, прогнать Хоремхеба подальше?

— Почему?

— Он — негодяй!

Его величество вдруг расхохотался. Он встал. Хохоча, прошелся до угла. Вернулся назад.

— Нет, так нельзя, — сказал он обескураженному Семнех-ке-рэ. — Во дворце нужны разные люди. Даже негодяи.

— Зачем?

— Негодяи?

— Да.

— На всякий случай...

Семнех-ке-рэ сидел почтительно — ровно, сложив руки на коленях. Что же это получается? Терпеть негодяев, чтобы пользоваться их услугами? Это же противно совести. Да, тяжела участь фараона, если он принужден терпеть негодяя у себя под боком.

Эхнатон продолжал:

— Со временем ты узнаешь многое. Тронный зал таит много секретов. Когда ты облачишься в одежды и наденешь на голову бело-красную корону — смиришься и с тем, что не допускаешь сейчас к своему сердцу. Все тогда поймешь! Ты будешь смотреть в глаза приближенных совсем иначе. Они будут искать в зрачках твоих сокровенный смысл. Но и ты будешь стараться прочесть тайные письма, которые в сердцах. За это я ручаюсь! И вот тогда ты поймешь, что непременно нужны и негодяи. Рядом с честными...

— Не понимаю, — упрямо сказал Семнех-ке-рэ.

— Может, не понимаешь и не поймешь никогда, но держать возле себя негодяя будешь. Ты сам увидишь, что без этого трудно. Почти невозможно.

— Это ужасно! — И Семнех-ке-рэ содрогнулся. Ему стало не по себе.

«...Милый, милый мальчик! Лучше такой на троне, нежели отпетый негодяй. Ни один негодяй не приносил пользы стране. Может ли негодяй сотворить полезное только потому, что воссел на трон? Нет, такого не бывает! Вся история Кеми свидетельствует об этом...

Выбор мой верен! Мне нужен богобоязненный человек — служитель Атона беспрекословный. Только такой поведет Кеми к процветанию. Только такой сулит надежды. Только такой угоден Великому Диску!..»

— Итак, — заключил его величество, — мы, кажется, договорились с тобой насчет негодяев. Знай наперед, что не следует их полностью отвращать от себя. Держи их в узде, используй по своему усмотрению. Наш великий завоеватель Тутмос Третий был голово-резом по характеру своему. Будучи умным от природы и образованным, он приблизил к себе наиболее степенных и осторожных. Он как бы уравнил чашу весов...

«...Что-то я не слыхал прежде таких речей от его величества. По-моему, относительно негодяев Ахнаяти был иного мнения. Отчего такая перемена во взглядах? Значит, права Нафтита, когда сетует на фараона... Вот оно как? — союз с негодьями, значит!»

— Должен сказать тебе, дорогой Семнех-ке-рэ: фараон мужает с годами. — Его величество вытянул шею и выпучил глаза, словно прислушивался к шороху. — Я признаюсь тебе: я только-только начинаю постигать всю глубину государственной мудрости. Я простер свою руку над Кеми. Все двадцать князей Та-Мета покорны беспрекословно. Все двадцать два князя Та-Реса склоняются к моим стопам. Нет провинции, где бы не низвергли презренного Амона! Сила моя подобна Хапи в месяц хойяк, когда воды заливают все Кеми. Я говорю не о военной силе, но о мощи духовной, вдохновленной нашим солнцеликим отцом. Скажи мне по совести, дорогой Семнех-ке-рэ, был фараон сильней и дерзновенней меня? А ну-ка, загляни в глубь веков!

И Семнех-ке-рэ ответил вполне искренне (а иначе он не умел):

— Нет, твое величество, это ты сверг Амона и возвеличил бога истинного, бога животворного. И Кеми отвратил от себя лик Амона, ибо слово фараоново могучее! И нету больше силы во всей вселенной, которая бы повернула твою колесницу солнцеподобную назад. Ведь не текут же реки вспять?

— Не текут!..

— Ты покорил многочисленных богов и врагов своих так, как это под стать только льву пустыни,— одним ударом! Только одним ударом!

Фараону понравилась эта мысль. Его словно бы кто-то подтолкнул эдак легонько в бок и указал на самую сильную сторону его характера. Он был очень доволен.

— Да, Семнех-ке-рэ, пожалуй, ты прав: именно одним ударом, одним прыжком! Какой же дуралей прыгает через глубокий канал в два прыжка?!

Семнех-ке-рэ кивал ему. Улыбался. Чуть подобострастно. Впрочем, его величество этого не замечал. Он, казалось, упивался мощью своей, сковавшей страну толстой цепью. На бледном лице фараона проступил румянец. Такой неяркий. На острых скулах.

Фараон приблизился к Семнех-ке-рэ — нос к носу. Сопровителю хорошо было слышно прерывистое дыхание владыки Кеми. В расширенных зрачках фараона словно бы открывался целый мир в царство ночи, где черным-черно. Его величество неожиданно спросил:

— А ты будешь верен отцу нашему Яти?

Он спрашивал так, будто держал в руке нож, готовый вонзиться в горло Семнех-ке-рэ.

— Буду,— ответил младший брат.

— Как ты сказал?

— Буду! Буду!

— Очень хорошо.

Фараон вышел на балкон, облокотился на каменную балюстраду, поднял голову к небу. И оттуда крикнул сопровителю:

— А я не верю.

— Чему?

— Твоим словам!

— А повод? — Семнех-ке-рэ проглотил горькую слюну.— А повод, Ахнаяти?

— Просто не верю!

Семнех-ке-рэ не знал, что и делать. Спорить, доказывать, что это не так? Это преунизительно! И можно ли вообще убедить человека, который твердо заявляет, что не верит тебе? Его высочество сидел не двигаясь. Потом — погода немного — встал, подошел к его величеству сзади и положил на плечо ему руку:

— Ахнаяти, скажи, что ты пошутил... Что вырвалось это у тебя...

Тот молчал.

— Скажи, что нет у тебя оснований для подобного недоверия.

Фараон точно окаменел.

— Я жду, Ахнаяти...

Солнце накалило Восточный хребет, который был справа. Каменный жар чувствовался даже здесь, на берегу Хапи.

За густой рощей сикомор, росших прямо под балконом, проходила Дорога фараона. По ней проносились колесницы, шли прохожие, маршировали лучники, шедшие на смену дневной дворцовой страже.

А когда Эхнатон оборотился лицом к его высочеству, то казалось, впервые увидел своего соправителя. Улыбнулся ему. Обнял за талию. Подвел к стене, туда, где попрохладнее. И как ни в чем не бывало сказал:

— Послушай, брат мой, я написал новый гимн, посвященный Яти. Мне кажется, что он удался. Я прочитал его писцам. Им понравилось все, за исключением одного места...

— Какого?

— Это трудно объяснить. Для этого надо прочесть тебе весь гимн.

— Так прочти, Ахнаяти!

Фараон выглядел ослабшим, осунувшимся. Эта перемена в нем случилась буквально за несколько мгновений. «Все это — его болезнь, — подумал Семнех-ке-рэ. — Ахнаяти вдобавок ко всему изнуряет себя работой и заботами. Только минуло тридцать пять, а на вид — старик...»

Его величество принес свиток и сильным, вдруг окрепшим голосом стал читать гимн. «Надо отдать должное, — размышлял Семнех-ке-рэ, — читает фараон прекрасно. Слова просты. Такие же, как на рынке. И ничего — или почти ничего — от древних, запыленных текстов, многие из которых или непонятны, или просто смешны теперь».

Его величество с необычайной энергией внедрил язык земледельцев и простолюдинов даже в диплома-

тическую переписку. Даже ноты писались на этом языке. Поэтому каждое слово, написанное или сказанное фараоном, так понятно всем немху — небогатым людям, людям малоимущим.

Фараон дошел до спорного места и предупредил:
— Слушай внимательно.— И стал читать дальше:

Не ты ли позвал народы
Идти за тобою в путь далекий —
Народ Джахи и народ Та-Нетер,
Народ Вавилона и Митанни,
Арамейцев, шумеров, израильтян
И славный народ обширного Кеми?

И замолчал. Посмотрел исподлобья на сопровителе. Спросил:

— Ну, что?

— Ничего. Читай дальше.

— Тебя ничего не смущает?

— Смущает.

— Что?

— Смущает твоя ошибка. Она же у тебя не сегодняшняя. Ты давно решил ошибаться именно на этом самом месте.

— Ты имеешь в виду это самое перечисление?

— Да.

Фараон швырнул свиток на пол. Позеленел:

— Что скажешь ты еще?

— Ничего нового.

— А все-таки?

— Зачем гусей дразнить?

— Чтобы они гоготали.

— Нет, серьезно?

— Если серьезно, то я вовсе не дразню! Это слишком мелкое занятие. Недостойное мало-мальски мыслящего человека. А я разве глупый? Скажи, глупый?

— Нет. Совсем наоборот. Значит, все это ты делаешь нарочно?

— А может, по велению свыше?

— Не знаю.

— А ты узнай.

Семнех-ке-рэ настроен миролюбиво. Ему не хочется ссориться, пререкаться, браниться, взвинчивать себя и Ахнаяти...

— Послушай, брат, я не против того, чтобы ставил нас после всех народов. Пусть будет по-твоему.

Ахнаяти остановил его резким жестом:

— Не по-моему, а по справедливости. Между прочим, я, как это ни странно, может быть, отделяю эти два понятия: «по-моему» и «по справедливости». Если мы — народ великий на самом деле, то почему бы не проявить скромности! И не стать позади своих соседей? Почему бы, спрашиваю?

— Это унижает...

— Кого?

— Наш народ.

— Великий народ?

— Да, великий.

— Этого я, наверно, никогда не пойму! Великий народ обижается, потому что назвали его после шумеров? Или израильтян, которых горстка? На это обижается великий народ?

— Возможно...

— Дурак обидится, а великий — нет!

Семнех-ке-рэ в этом пункте не мог согласиться с Эхнатомом. Как ни говори, а все-таки нельзя ставить народ Кеми позади каких-то азиатов или эфиопов. Это обидит хоть кого! А главное — увеличивает число врагов фараона, коих и без того немало. Поход против Амона стоил очень дорого. Если и стерты имена божества в храмах, то оно все еще живет во многих сердцах. Тетива оказалась натянутой. Может быть, даже слишком. А тут еще и это самое — заигрывание с соседними народами. Неужели в этом нуждается могучее государство на Хапи?

В ответ на это фараон сказал следующее:

— Любое государство — большое или малое — нуждается прежде всего в справедливости. Что это значит? Справедливость по отношению к любой живой душе. Это — раз! И справедливое отношение к соседям. Это — два! Нарушение справедливости в первом случае вызывает смуту внутри страны. Так было, например, во времена Сехемхета. Он сместил многих семеров, уличенных в жестокостях. Этим смещениям предшествовали восстания — весьма кровопролитные. То есть смещения запаздывали. На несколько месяцев... Теперь о втором роде несправедливости. Походы

Тутмоса Третьего в соседние государства не решили по-настоящему ни одного вопроса. Враги остались врагами. Они не стали от нас дальше, несмотря на то что наши войска топтали их земли. Разве все это не должно наводить на размышления. Как думаешь, Семнех-ке-рэ?

— Наводить на размышления должно. Но очень важно, к каким выводам приходишь после размышлений.

— Верно... Каковы же твои выводы?

«...Есть ли смысл спорить? Упорство фараона общеизвестно. Особенно в этом вопросе. Вряд ли его переубедишь. Единственный путь — положиться на время, памятуя, что время — лечит, время подчас само приносит верные решения. На невидимых крыльях. Независимо от твоей воли...»

— Я слушаю тебя, — раздраженно произнес фараон.

Семнех-ке-рэ беспомощно развел руками.

— Понимаю: тебе нечего сказать, брат мой.

— Нет. Мне кажется, что не надо раздражать...

— Кого?

— наших врагов. Знать. Жрецов Амона... Ты слишком прижал их своими могучими руками... Между тем и немху не очень благодарны тебе.

— Немху?! — вскричал фараон. — А эти чем недовольны?

— Все из-за того же Амона. Как ни говори, он у них в сердце.

— Ну, это их дело. Меня это не тревожит. Амон вычеркнут. Он стерт на стенах. Он изгнан из душ. Так пожелал его величество Яти. Он это приказал через меня!

Фараон сжал кулаки и оградил ими свою грудь, словно обороняясь. Семнех-ке-рэ почел за благо не выводить из себя фараона. Он склонил голову и прошептал:

— Да, благой бог, уста твои приказывают нам, исполняя волю лучезарного!

Фараон облегченно вздохнул. И бог благой соизволил сказать:

— Сегодня же люди увидят нечто в Окне явлений. Тебя вместе со мною!

Семнех-ке-рэ благоговейно склонил голову.

Вдруг фараон вздрогнул. Всем телом. Словно наступил на что-то скользкое, гадкое. Глаза его помутнели. Застыли, будто неживые.

— А впрочем...— произнес он глухо.— Впрочем, к чему торопливость?..

И он указал брату на дверь. Не просто. А властно!

ВЕЧЕРНЯЯ НОВОСТЬ

В окне луна. Нынче какая-то мутноватая. Дешевенькая игрушка из золота. Того самого золота, которого в Кеми якобы столько, сколько и пыли. А не проще ли сказать: луна, высеченная из камня, какого много в Великой Западной пустыне?..

Нефтеруф думает о своем. Ка-Нефер занята собственными мыслями. Они сидят в полумраке. На улице чьи-то шаги. Одни замирают, другие рождаются то слева, то справа. В жизни всегда так: что-то уходит и что-то приходит. Как эти самые шаги...

«Где-то на расстоянии четверти сежена отсюда сидит самовластнейший фараон и, может быть, мнет в нежных пальцах соски этой самой Нафтиты... А я — в чужом доме и кусаю себе ногти. Кусая, выдумываю сто способов для того, чтобы уничтожить жестокого фараона, придумываю нечто, что могло бы поразить его в самое сердце во славу бога всех богов Амона-Ра...»

«...Вот уже ночь пришла, а я одна, совсем одна в этом доме, где покой да мужчина в образе мятущегося Нефтеруфа. Чудак, он не может взять себя в руки, не может приказать своему сердцу, чтобы оно билось поспокойнее. Не может остудить своих мозгов. Он дошел до такого состояния, что не ощущает близости молодой женщины. Нефтеруф совсем как зверь, которому кровь застлала глаза...»

«...Нет, я знаю, кто я и зачем пришел в это проклятое логово, именуемое Ахяти. Губы словно деревянные, и пальцы точно пальмовая кора. А ей нужны объятия нежные... Скорей бы пришел этот Ахтой...»

«...Он видит больше того, что видит. Нет в глазах его мужской усталости. В нем сила похлеще той, которая буйствует в одичавшем быке. И объятия его до-

статочно горячие, если я хоть что-нибудь понимаю в любви. Я заметила его взгляд — сущие огненные стрелы. Под землею он стал сильным и неустанным. Но ненависть к фараону во сто крат сильнее любви... Во сто крат сильнее...»

Нефтеруф поворачивается к ней. Она сидит подальше от окна. Лунный свет падает на грудь ее и живот ее. У кого он видел такой живот? Да, у подростков, таких черных подростков в горах: у них были груди маленькие, как звездочки, и упругие животы. Упругие, как кожа на барабанах.

«...Разве не кончится этот вечер? Разве не явится молодой ваятель к своей жене? Сидеть вот так? Сложить руки? И не делать ничего? Только кипеть гневом к фараону? Не видя и не желая видеть это чудо природы в образе Ка-Нефер».

Он слушает шаги. Которые на улице.

— Шаги,— говорит он.

— Чьи шаги?

— Просто шаги.

— Разве ты боишься?

Он молчит. Слушает шаги. Которые на улице. Такие гулкие...

— Разве ты боишься, спрашиваю?

Нефтеруф говорит:

— Очень.

— Разве ты трус?

— Да. Я боюсь смерти в безделье...

Он слышит ее дыхание. За своей спиной. Она тоже боится смерти. Они оба ее страшатся. Но при чем здесь смерть? Мужчина должен видеть женщину. Пусть он думает о своем. Но он не может не видеть ее. Если перед ним женщина, а не камень...

Он очень умен. И очень хитер. Одновременно. Он видел женщин. Но ведь он видел и небо, и звезды, и воды Великой Зелени, и песок пустыни. Нефтеруф, словно крот, ползал на животе. Под землей. Во мраке. Разве он явился сюда ради женщины? Почему она так шуршит тонким платьем? Почему источает благовоения Ретену из пышных волос и от розового тела?

— Ка-Нефер,— хрипло говорит он и косится на ее ноги и золотые ногти на пальцах ног.

— Слушаю, Нефтеруф.

— Много ли в Ахяти продажных девиц?

Она поражена:

— Дезиц?!

— Да, тех самых, которые продают свои ласки за золото.

Ка-Нефер выпускает легкий вздох. От огорчения или удивления...

«Он туп, как и любой настоящий мужчина. В те самые мгновения, когда требуется сорвать созревший плод. Это же удивительно, что большой и сильный лев ищет окольных путей к газели, вместо того чтобы брать ее с разгона. С прыжка...»

— Ка-Нефер, я спрашиваю тебя о продажных женщинах, а ты молчишь.

— Разве об этом спрашивают?

Он поворачивается к ней. Вся луна от рожка до рожка у нее в зубах. Зубы сверкают почище любой луны.

«...Вот наступило мгновение, когда решается главное: или она будет помощницей в моих делах, или превратится в цинковку, которой я буду пользоваться в отсутствие ее славного мужа?.. Вот стучится это мгновение в дверь сердца моего, и нет более силы, которое удержало бы его за порогом...»

«...Этот человек хочет вступить в единоборство с фараоном? Это неплохо. Но разве он ослеп под землею? Глаза у него ясные, как у птицы нехейт. И руки у него словно лапы у льва. И бедра узкие и сильные — воистину мужские...»

Ка-Нефер говорит:

— Разве ты видел женщин, которые не продаются?

Что он слышит?! Какие слова произносит эта бесстыжая женщина! И почему так лукаво блестит луна на ее лице? Или это искушение, уготованное для него богами?

— Подумай, что ты говоришь, Ка-Нефер!

— Я подумала.

— Подумай еще раз.

— Подумала.

— И в третий раз! Об этом думают трижды.

То ли она смеется, то ли нарочно желает позлить его:

— Трижды поразмыслив, я повторяю: женщины все продажны!

— Постыдись своих слов, Ка-Нефер.

Вместо ответа она протягивает ноги и упирается ими в его левое бедро. Вместо ответа она закидывает голову и разбрасывает руки в стороны.

Нефтеруф бледнеет от гнева. Он сейчас, в это мгновение, оскорбит ее. Он отомстит за всех женщин, которые обвинены столь несправедливо.

— Хорошо, Ка-Нефер. — Нефтеруф переводит дыхание. — Пусть будет по-твоему. Сколько же стоишь ты сама?

Она отвечает, не глядя на него:

— Сколько дашь. Это дело твоей совести.

— Моей? — кричит он.

— А чьей же?

— Ты шутишь, Ка-Нефер!

Она сильнее упирается прохладными стопами в его горячее бедро.

— Ты шутишь, Ка-Нефер!

Она кладет ему ноги на живот. Она гладит его живот, снимая с себя легкое одеяние.

— Ты шутишь, Ка-Нефер!

Она шипит, как змея, уползающая под камень. И сильнее нажимает ногами на живот. И пониже живота.

«...Эти женщины как трава, они точно реки, текущие вниз по ложу своему. Они что листья на деревьях, набирающие сок и зелень от солнечных лучей. Они — самки, не умеющие сдержать свою похоть. Она придумала испытание для меня. Но как я могу любить, когда клятва на душе моей? Как могу обнимать ее, когда совсем близко дышит ненавистнейший из сущих!!»

Никто не может сказать, что было бы после. Пусть не хвастает, что он семи пядей во лбу, — никто никогда не определит дороги, которая не определилась сама в эти мгновения!

«...Это стучится сам Амон-Ра в крепкие ворота. Это он зовет Ка-Нефер, прося поскорее открыть дверь. Хвала тебе, божество, дающее знать о себе столь властно, столь непреклонно и упрямо!»

Она медленно поднялась,правила одеяние и, не глядя на Нефтеруфа, пошла открывать дверь. Он

слышал, как сходила она вниз по лестнице, пружиня ногами. Как случайно, зацепив ногою кувшин, повалила его. И он, должно быть, треснул. Почему она спускалась так бесконечно долго?

И когда поднялся Ахтой по той же самой лестнице, и когда поднялась она вслед за ним, гость сидел прямой и торжественный, глядя на луну и озаренный луной.

— Послушайте, — сказал Ахтой. Он уселся на циновку поудобней, отпил глоток пива. Потом еще глоток. И еще один.

Ка-Нефер отошла в глубину комнаты. Она как бы слилась с темнотой. И темень скрывала выражение ее лица.

«Наш гость слишком озабочен. Он глядит только вперед. И не замечает никого возле себя. Это несчастный человек. Малейшая неудача сведет его с ума. Нефтеруф способен выдать себя с головой. В нем мало хитрости. И не понимает, как пригодилась бы ему женщина, решившая сделаться его наложницей...»

«Я был прав. Я был прав. Я прав тысячу раз! Нельзя размягчать свое сердце женскими ласками. Не для того я страдал и выжил под землей. И если я в гостях — не трону хозяйки дома, муж которой подаст мне руку дружбы. Для утехи я найду продажных женщин. Они даже милей, ибо не требуют ничего, кроме золота. И сердце и душа твоя не нужны им... Я был прав... И вовремя появился Ахтой. Женщина всегда очень сильна. Тем более — Ка-Нефер. И я бы стал вроде ужа у нее на ладони. И она смеялась бы надо мной».

«...Наш гость молчалив. Он как бы ушел в себя, подобно змее, уползающей в нору. Он хотел бы, чтоб не видели его и не знали его мыслей. Удручен, весьма удручен уважаемый Нефтеруф... А хозяйка дома? А госпожа дома Ка-Нефер? Я прочитал в ее глазах нечто. Оно блеснуло, точно молния. Но я прочитал все, как на папирусе. Я постиг тайну очей. Господин Джехутимес учил вникать в тайну сердца, и я вникаю, точно маг и чародей...»

— Ты что-то хотел сообщить? — спрашивает Ка-Нефер откуда-то из глубины. Голос ее идет будто из погребальной камеры пустой пирамиды Хуфу,

— Ты сказал «послушайте», — подал голос Нефтеруф, — и мне показалось, что ты сообщишь нечто...

— Да, я хочу сообщить нечто. Если это была бы тайна, то хранил бы ее вечно и даже госпожа этого дома не узнала бы о ней. Но вы должны знать нашу столицу. Здесь столько языков, и все они без костей! Ахяти словно по заказу создан для болтунов, и нет предела слухам, обвивающим город, точно корни баобаба. Если промолчу я, все равно скажут другие. Если не сегодня, то завтра. Не завтра, так послезавтра.

Ка-Нефер молчала в отдалении. Ей не хотелось показываться на лунном свете. Ваятель, казалось, не придавал этому ровно никакого значения. Он, казалось, был занят своей новостью, которую и хотел и не хотел рассказать...

«Эта женщина погубит меня. А заодно мое дело. Она стоит в присутствии мужа как ни в чем не бывало. Словно бы чуть не свершилось прелюбодеяние на этом вот самом месте. Неужели же Шери ошибся — этот человек, в чей светлый разум и беспредельную прозорливость я верю?»

«Наш гость чем-то смущен или чем-то недоволен. Я немножко выпил с Джехутимесом и Тихотепом. Но не настолько пьян, чтобы не видеть того, что бы увидел даже ребенок-несмышлениш...»

— Что же это за новость, Ахтой? — нетерпеливо спросил Нефтеруф. — Мы с Ка-Нефер ждем не дождемся, когда ты сообщишь ее.

— Ничего хорошего, — буркнул Ахтой.

— Что-нибудь стряслось с Джехутимесом? — сказала Ка-Нефер. Голос ее был необычайно спокоен. В нем чувствовался холодок — неприятный попутчик равнодушия.

— Говорят, — загробным голосом продолжал Ахтой, — говорят, что...

Он умолк. Поглядел на Нефтеруфа, на жену. «Они, должно быть, крупно поспорили. А может, и поссорились. Ка-Нефер слишком остра на язык. И непримирима, когда чувствует свою правоту...»

— Говорят, что его величество не совсем в ладах с ее величеством Нафтитой.

— Это не новость, — сказала Ка-Нефер.

— Верно, не новость,— быстро согласился ваятель.

— Кийа все больше, говорят, завладевает фараоном...

— И это давно известно.

— Семнех-ке-рэ не будет соправителем.

— Это правда?

— Так говорят.

Нефтеруф резко повернулся к Ахтою. Луна светила ему прямо в затылок. Его лицо было чернильным, без единого светлого пятнышка. Даже глаз не видно. Ваятель видел лишь черный контур.

— Кто же будет соправителем? — спросил бывший каторжник.

— Кийа!

Ка-Нефер всплеснула руками, присела на циновку. Она соображала быстро-быстро: чем все это может обернуться? Кийа никогда не была предана Атону. Эта хитрая женщина только на словах за Атона. Ка-Нефер совершенно уверена, что Кийа возносит молитвы Амону...

— Ты так думаешь? — сказал Ахтой.

— Мне незачем думать. Это — так!

— Госпожа, — обратился к ней Нефтеруф, — не следует делать поспешных выводов. Если она и возносит молитвы Амону, то делает это в строгой тайне. Я так полагаю. Ибо если об этом проведаст фараон, Кийе придется худо.

Ка-Нефер упрямо твердила свое:

— Она молится Амону.

— Тогда остается предположить...— Ахтой посмотрел на гостя.

Тот кивнул и закончил его мысль:

— ...остается предположить, что они оба — за Амона. Я это говорю слишком грубо, как мясник на рынке. Но вы поймете: если он хотя бы чуть-чуть подозревает ее в добрых чувствах к Амону, значит, он уже против Атона. Или будет против! Помяните мое слово!

Нефтеруф говорил слишком горячо. И прямо. Он говорил то, что думал.

Ахтой сказал:

— Я прошу больше не повторять этого! Великий Атон в нашем сердце. Дорога к Амону исчезла

бесследно. Она поросла травой. Или лучше сказать — засыпана жгучими песками... Я сказал вам: Кийа будет соправительницей.

Ка-Нефер налила пива, которое походило на вавилонскую смолу — черную и тягучую — в голубоватых лунных лучах. А затем зажгла светильники: тот, что стоял в углу, и тот, что стоял в другом углу. И тот, который висел на потолке.

В комнате сразу посветлело, а лунные лучи отступили к подоконнику, а оттуда — на улицу, где время от времени раздавались резкие шаги прохожих.

Ахтой закрыл лицо руками. Будто собирался плакать.

— О великий Атон,— сказал он прерывающимся голосом,— не допусти несправедливости, не отстраняй несравненную Нафтиту от наиважнейших дел! — Потом отнял руки от лица и обратился к Нефтеруфу: — Господин, ты не можешь вообразить себе, что случится, если его величество поссорится с ее величеством.

— Не знаю,— сказал безразличным тоном гость.

— Скажи же ему, Ка-Нефер, что будет с Кеми, со всеми нами, если царица отойдет от дел!

Ка-Нефер сказала:

— Тогда на ее место вступит другая.

— На ее ложе?! — воскликнул ваятель.

— И на ложе,— проговорила Ка-Нефер.

Ее муж в недоумении всплеснул руками:

— Ты всегда завидовала ей. Но знай: ты — молоде, ты — красивей, а она — Нафтита! Спроси у Джехутимеса, что это значит!

«...Этот ваятель совершенно ошалел. Его жена, несомненно, умнее его. Во всяком случае, Ка-Нефер ненавидит Нафтиту. Она ненавидит Атона и его сына-ублюдка по имени Ахнаяти. Нельзя допустить, чтобы эти супруги поссорились, нельзя, чтобы закрылись двери мастерской Джехутимеса для меня...»

И Нефтеруф сказал вслух следующее:

— Друзья мои, кои для меня бесценны, хотя и знаю вас очень мало. Вы оба молоды и красивы. Перед вами — дорога, ведущая к знатности. И если что-нибудь смыслят вавилонские мудрецы, у которых я учился мудрости, вы непременно взойдете на большую

высоту. Вы будете любимы знатью Кеми и богами Кеми...

— Богом Кеми,— поправил его Ахтой.

— Пусть будет по-твоему: богом Кеми. Но вы должны быть вместе, и никакая царица, какова бы ни была участь ее, не должна омрачить вашей жизни.

— Неправда,— возразил Ахтой. Он стал мрачным и злым. — Неправда! Судьба царицы — это судьба Кеми. Нельзя ставить под сомнение ее положение. Это все равно что заподозрить Хапи в чем-то нехорошем, когда она несет нам жизнь! Я говорю откровенно: все ваятели и живописцы Кеми сложат свои головы во имя ее благополучия.

— Похвально,— сказал Нефтеруф.

Ка-Нефер молчала. Но ее дыхание слышали мужчины вполне явственно: это дышала львица, с трудом сдерживающая гнев свой.

Нефтеруф поднял чару с пивом. И произнес несколько слов, которые, по его мнению, должны были умерить страсти:

— Шумеры, перед тем как выпить вина, говорят: мир и дружба дому сему и всем, кто под его кровлей!

— Ей-богу, хорошо сказано.— Ахтой поднял высоко свою любимую чарку из прекрасно обожженной глины — такую розовую, такую тонкостенную.

Нефтеруф сказал хозяйке:

— Отпей, госпожа, по шумерскому обычаю из моей чары.

Она молча взяла ее и прильнула к ней губами, как изжаждавшийся путник в оазисе.

«Женщина — как трава, как дикий зверь, для которой превыше всего — жизнь, заключающаяся в любви ее...»

Так сказал себе Нефтеруф.

КОГДА СПОРИШЬ С САМИМ СОБОЙ

Нефтеруф лежал на циновке. Руки — под головой. Нос — кверху. Столица уснула. И даже звезды дремлют. Может быть, в целом свете не смыкает глаз один Нефтеруф. Да стража дворцовая. Эта наверняка тоже не спит.

За кирпичной стеною — Ахтой и Ка-Нефер. Они долго приглушенно разговаривают. Усталые. Намучившиеся в споре. В котором ни один из них не взял верх. Ни эта... Ни тот...

Судя по-всему, дело складывается к лучшему. Как говорят в Та-Нетер, капля плывет к капле, образуя ручей. Ручей куда-нибудь да свернет. Он не будет течь по прямому, как рука, ложу. Во всяком случае, его и повернуть можно. И даже вспять. А с каплями, как ни странно, это труднее. Капель очень много. Как людей на земле. И сладить с ними трудно.

Там, под землею, Нефтеруф часто забирался в какой-нибудь дальний угол, словно крот. И вдали ото всех рассуждал наедине с самим собой. Словно бы перед ним не кто-то другой, а тот же Нефтеруф. Но умеющий сказать резкое слово поперек.

Вот и сейчас воображает себя сидящим у столика. А напротив — этот Нефтеруф. Тоже воображаемый.

— Давай допустим на мгновение, что сведения, которые принес Ахтой, верные. Допустим, соправителем будет не Семнех-ке-рэ, а Кийа. Что это изменит? Пока фараон дышит — все останется неизменным. Вот в этом весь ужас: пока дышит!

— Не совсем так. Конечно, фараон-злодей может любого прижать к ногтю, как азиатскую вошь. На этот счет не надо заблуждаться. Это будет так, независимо от того, кто станет рядом с фараоном — Семнех-ке-рэ или Кийа. Но тебе, кажется, объяснили, что значит уход этой самой Нафтиты. Представь себе: муж клянется в вечной любви, слагает по этому поводу гимны и вдруг бросает любимую женщину. И не просто женщину, но царицу. Но бывает ли так — рассуди-ка сам! — чтобы у царицы не было ни одного единомышленника? Не проще ли предположить, что у нее во дворце своя партия, свои преданные люди? А ну-ка, прикинь, что все это значит.

— Не надо быть мудрецом, чтобы угадать, к чему это приведет.

— К чему же все-таки?

— К дворцовой междоусобице.

— Верно, друг Нефтеруф! Именно к дворцовой междоусобице. Но в это жестокое время, когда голос людей, голос Кеми, имеет столько же силы, что и ля-

гушечье кваканье, — даже небольшая дворцовая интрига кое-что да значит. Поссорились царь и царица. Дуются друг на друга царедворцы. Возлюбленная всходит на трон или к подножью трона (скажем, Кийа). Одни огорчатся, другие — обрадуются. Придется фараону выбирать какую-нибудь сторону, причем решительно. Если не успел еще сделать своего выбора.

— Надо думать, что победу одержит фараон...

— Скорее всего так. Есть на Востоке страна. Там змеи танцуют под звуки камышовой дудки. В той земле даже нищие мудры. Уподобься одному из них — ибо и сам ты нищ — и рассуди, да похладнокровнее. Значит, так: победу одержал фараон...

— Допустим.

— Что делает Нафтита?

— Она удручена. Убита горем. Грызет от бессилия ногти.

— Не всё!

— Что же еще?

— Не все, говорю, сказал. Где же ее гнев? Где ее друзья — явные и тайные? Они молчат?

— Думаю, что да.

— Учти: до поры до времени. Они замкнутся, уйдут в себя, прикусят языки. Но только на время. Их час пробьет!

Звезды описывают неведомый путь, точно нарисованные на огромном блюде. Они прочно привязаны друг к другу. Их союз нерасторжим. И это медленное вращение небесного свода привлекает внимание обоих собеседников.

— Ты видишь — звезды! Они на небе горят вечно. Их свет будет виден вечно. Представь себе, что так же вечен был бы царский двор со всеми царедворцами...

— Даже не заикайся об этом! Одна подобная мысль может помрачить человеческий разум!

— Верно говоришь, верно. Стало быть, двор не вечен. И фараонова жизнь имеет начало и конец.

— Имеет, имеет, к нашей радости!

— А раз это так, то не надо пренебрегать ни одной перестановкой в созвездии дворцовом. Кийа и Нафтита — пусть при этом же фараоне — не одно и то же! Непременно, непременно что-то изменится. Пусть

незначительное, едва заметное, но изменится! И вот тогда решай, как быть. Сейчас Нафтита усердная помощница фараона в делах государственных. А какой будет Кийа?

— А что же делать мне? Сидеть сложа руки?

— Нет, нет, нет!

— Действовать?

— Да, да, да!

— Но прежде надо удостовериться...

— Наше счастье в том, что люди — миллионы людей — равнодушны к тому, что делается во дворце.

— Нет, они не равнодушны. Их просто никто ни о чем не спрашивает. Люди как скоты: работают, пьют, едят, спят, размножаются, умирают. Дворец для них недосягаем, а власть фараонова слишком сильна.

— И все-таки люди есть люди. Их слово есть слово. Даже тайные проклятья их страшны.

— Это так! Это так!

— Подумать надо...

— Обязательно!

— Посоветоваться...

— С кем?

— С Шери, например...

— А где он?

— Или с Ка-Нефер...

— Поговорим о Ка-Нефер!

Она там. За стеной. Со своим молодым и сильным мужем. Они, кажется, о чем-то все еще шепчутся. А может, целуются? Вот скрипит половица под их циновкой. Раздается легкий вздох. И кашель. Мужской кашель... Она говорит. Она что-то говорит. А он молчит. Только половица поскрипывает...

— Наверно, все-таки я дал маху...

— Это сегодня, что ли?

— Да, сегодня.

— Когда она протягивала свои ноги к твоим чреслам?

— Да.

— Ноги, которые пахли ароматичными маслами?

— Да.

— Которые ты отверг?

— Ты имеешь в виду ноги?

— Да, их...

Нефтеруфы молчат: и один и другой. Оба глядят друг на друга прямо в зрачки. И в глазах отражается все небо.

— Наверное, мне следует уйти отсюда. Нельзя, чтобы к важному делу примешивалась любовь.

— Взвесь все это.

— Она, возможно, добьется своего...

— Взвесь и это...

— А иначе сочтет меня за высохший камыш.

— Возможно.

— Но куда я уйду?

— Некуда тебе уходить...

— Может, поискать Шери?

— Лучше наберись терпения!

Какая-то странная, нескончаемая ночь. Как там, в горах. Мучительная ночь.

А день? Разве он будет лучше?

НОЧЬ, НОЧЬ, НОЧЬ ...

— Послушай, Пенту, ты, кажется, клюешь носом?

— Нет, я вовсе не сплю. И спать не хочется.

Я думаю.

— О чем же?

— Над твоими словами, твое величество.

— А-а... У меня не проходит эта боль в затылке.

— Выпей настоя, твое величество.

— Он — горький.

— Он — полезный. Его делают племена, которые очень далеко отсюда.

— Где же они?

— За землями хеттов, твое величество.

— Разве и там есть земли?

— Есть! Но дальше — холод и море.

— Так ты говоришь, Пенту, что этот настой помогает?

— Очень, твое величество.

— И его придумали далекие племена?

— Да, далекие и дикие.

— Как же дикие могут придумать такое лекарство, до которого не додумался сам ты, Пенту?

Его величество пьет горький настой из далеких трав и морщится. Хватается за грудь, точно его тошнит. И падает навзничь. На мягкие подушки. И стирает руки, точно молясь богу. Фараон любит, чтобы в его покоях ночью было светло, как днем. Поэтому и горят светильники. В каждом углу. В них налит рыбий жир, чистый, как янтарь, и фитиль плавает в нем льяной, приготовленный особым способом. Поэтому светильники почти не чадят, щедро одаривая стены и потолок ярким светом.

— Я все равно не усну, Пенту.

— Я тоже.

— Это из-за меня?

— Нет, из-за старости. Теперь я могу не спать. Но в двадцать лет меня трудно было растолкать даже троим.

— Так хотелось спать?

— Да, очень хотелось. Нельзя было разомкнуть век. Они слипались. Это случалось в двадцать лет. И в тридцать. А теперь я могу не спать.

— Ты просто добр, Пенту.

— Нет, твое величество. Мне хорошо с тобою.

Фараон приподнимается на локтях. Его грузный подбородок — такой немножко лошадиный — судорожно трясется. Это от боли в затылке.

— В таком случае, Пенту, я хочу задать тебе вопрос.

— Я слушаю, твое величество.

Фараон щурит глаза. Его острое, как нож, лицо готово рассечь собеседника:

— Отвечай мне прямо, без обиняков.

— Как всегда.

Фараон придвигается к Пенту все ближе, все ближе.

— Скажи мне, что ты думаешь о Кийе?

— О ней?

— Да!

— Я грущу, твое величество.

— О чем же?

Нет, фараон нынче не в себе. Это же видно. Он очень раздражен. Как во все последние дни. Пенту думает: «Его надо щадить... Он строг. Но более всего он строг к себе. Сделать сопровительницей Кийю —

значит не пожалеть ни себя, ни царства своего. Когда достигнута гармония и весы государства — в равновесии, неразумно нарушать его без особой нужды. Но если вечная любовь к ее величеству угасла, то что же делать? Лгать себе, ей и всему государству? Делать вид, что ничего не случилось? Тогда одна эта ложь убьет правду вообще, которая еще пригодится».

Пенту взывает к мудрости, которая, дескать, должна торжествовать. Дело в том, дескать, что такое великое государство, как Кеми, не должно, дескать, обходиться без мудрости. Ни единого часа без мудрости! Это золотое правило. Его надо беречь. Его надо придерживаться...

— Я это слышал уже.

Пенту пропускает эти слова мимо ушей. Такое прощается только и только ему. Все прочие за подобные вещи жестоко расплачиваются.

— Мудрость, твое величество, составляла — причем почти всегда — основу нашего государства, со времен его величества Нармера...

— Как ты медленно и длинно говоришь.

— Стало быть, мудрость не должна покидать тебя. Ни на одно мгновение. Разве так необходимо к одним неприятностям добавлять новые?

— Что ты имеешь в виду?

— Положение на наших границах хотя бы. Хетты говорят: «В одном котле можно сварить одну похлебку, а не две сразу».

— А что, если вылить эту похлебку?

— Куда вылить? — опешил Пенту.

— Хотя бы тебе на голову!

Старик прикрыл глаза. Покорно сложил руки на груди. Фараон перевернулся на живот. Взял обеими руками голову и крепко стиснул ее.

— Теперь болит чуть-чуть, — сказал он.

— Твое величество, хочешь — сердись, хочешь — не сердись, но я выскажу нечто. Я призываю в свидетели эти звезды: говорю правду для твоего же блага!

Фараон проворчал:

— Мое благо — это благо Кеми.

— Верно сказано! Хорошо сказано! — Пенту потирал от удовольствия руки (ужасная привычка, перенятая у азиатов).

— Перестань шуршать ладонями! — Фараон не глядит на Пенту. Сердито хмурит брови.

— Твое величество, я перестал шуршать.

— А теперь — продолжай.

— Я сказал, что говорю правду для твоего же блага. Разве нельзя иметь наложницу, не отстраняя от себя ее величество?

— Кийа не наложница!

— Можно и любить ее большой любовью. Разве во дворце нет для этого места?

— Любить тайком?

— Почему — тайком? Почему выбирать такие выражения? Любить скромнее. Не выносить свою любовь на всеобщее обозрение.

— Это же оскорбительно!

— Для кого?

— Для Кийи! Любви не надо стыдиться! Это мое правило!

Пенту снова за свое:

— Разве не было у тебя наложниц?

— Но я их не любил.

— И теперь не будешь любить...

— Кого?

— Одну из двух.

Фараон потер лоб. Приложил прохладную чашу к бритому затылку. Холодная глина — точно мед на сердце. Голова почти прошла. Чуть-чуть ноет затылок. Чуть-чуть... Это очень странно: прохлада на затылке, а сердцу приятно...

— Ничего странного, — поясняет Пенту, — все внутренности человеческие соединены меж собою подобно каналам на нашей земле. Вода течет из Хапи в каналы. Во время разлива. Из одного канала можно попасть в другой. Сердце и голова образуют нечто единое. Поэтому не надо возбуждать ни мозга, ни сердца. Ибо возбуждается все вместе. Почти одновременно. Холодок на затылке целебен для сердца. И наоборот.

— Да, это так, Пенту.

— Вернемся, однако же, к нашему разговору. Любовь для фараона, столь великого, как ты, — это его дела. Он вкладывает в них все сердце и весь разум, и ни для кого больше не остается любви...

Фараон покачал головой. Он смотрел на звезды и покачивал головой.

— Пенту, я не могу жить без любви.

Старик этого не понимал. Он не мог уразуметь этого даже во дни своей молодости.

— Государственная власть на то и создана богом, чтобы умерять всплески любви,— сказал Пенту.— Я говорю: всплески. Понял мою мысль, твое величество? Значит, так, каждый любовный порыв, если он выходит за рамки...

— Что значит за рамки, Пенту?

— Если любовь необычайна...

— Разве это плохо?

— Необычайная любовь?

— Да.

— Необычайная — значит, что-то от безумия,— продолжал советник фараона, совершенно убежденный в своей правоте.— А всякое безумие есть предмет заботы государственной власти.

— Как диковинно говоришь! — поморщился фараон.— Предмет государственной заботы! Таких слов не понимаю! Я же просил изъясняться попроще. Забудь ты эти пыльные папирусы. Говори человеческим языком. Тебе приходилось бывать на рынках?

— Где? Где?

— На рынках.

— А зачем? — изумился Пенту. Он снял парик и вытер потную голову.

— Затем хотя бы, чтоб научиться тамошнему говору.

Пенту захохотал.

— Вот так и говорят,— сказал он сквозь хохот.

— Как именно?

— «Хотя бы, чтоб... тамошнему»... Где же красота нашей речи? Такой плавной, чеканной речи?

— Речи времен Снофру? Или Джосера? Или Хуфу?

— Хотя бы! Хотя бы! — вскричал придворный, немножко поуспокоившись после смеха.

— Нет, Пенту, та речь умерла! Только тебе прощаю эти нарушения. Любой другой слуга получил бы десять палочных ударов.

— А я не боюсь, твое величество.

— Ладно, будет. Я не хочу ссориться нынче ночью.

У фараона совсем прошла головная боль. Она начиналась обычно неожиданно. И так же быстро проходила. Иногда и без помощи настоя. Что же это за болезнь? И что бы не дал фараон, чтобы только избавили от нее!.. Он подумал немного и сказал себе: «Я бы не отдал Кийю. Пусть лучше болит голова. Я стерплю боль. Мне обещают снадобья из Та-Нетер. Посланы гонцы на остров Иси. Нет, уж лучше эта головная боль, но только б не без Кийи! Она — жизнь моя».

«...Весь этот разговор о любви его величество затеял с одной-единственной целью: заручиться моим согласием на объявление соправительницей Кийи. А зачем мое согласие? Разве он посчитается, если скажу «нет»? Все равно сделает то, что задумал! Но мое согласие ему нужно для того, чтобы однажды, проснувшись ночью, сказать себе: «Даже сухой Пенту и тот одобрил мои действия».

«...Что все-таки думает этот старик? Неужели он уверен, что я домогаюсь его согласия? Дудки! Сказано — сделано! Все земли вселенной — если даже стоворятся против меня,— и те не переубедят! Только негодяй может принести свою любовь в угодую делу...»

— Давай продолжим разговор о любви,— сказал фараон, перекатываясь на левый бок и глядя на старого царедворца из-за плеча.

— А твое величество спать не предполагает?

— Какой сон! Ты видишь, его нет ни в одном глазу! — Его величество протянул руку к медному зеркалу и посмотрел в него.— Словно бы только что проснулся после крепкого сна.

— Да, это верно, твое величество. Ты словно птичка, только что выпорхнувшая из гнезда.

— Так давай же про любовь!

— Как верноподданный твоего величества, как служащий твой, недостойный тебя, я могу лишь выразить мое неудовольствие по поводу всякой любви, которая может смутить хотя бы еще несколько человек в государстве. Ибо не бывает так, что двое любят друг друга или расходятся друг с другом и это никого не касается. А если касается, значит, власть

должна иметь свое суждение. Я не могу думать иначе. В противном случае ты мне откажешь в своей милости.

Его величество не ответил. Он смотрел на потолок, где летали болотные птицы — невысоко в небе, — и в эти мгновения завидовал им. «Им не надо ничего разрешения на любовь. Не надо знать ничего мнения по поводу своих подруг». Он покосился на Пенту. Тот сидел ровный, точно юноша. А глаза — тяжелые. И не мудрено: ведь скоро утро! Небо бледнеет за Восточным хребтом...

— Ну что ж, — задумчиво проговорил его величество, — я понял тебя. Я хорошо понял тебя. Дай бог, чтобы все тебя понимали вот так же. И дай бог, чтобы ты не пережил меня!

Старик вздрогнул. Слова фараона прозвучали зловеще в этой комнате, освещенной яркими светильниками, в этой комнате — средоточии вселенной, где каждое слово его величества по весу равно одной — самой большой — глыбе пирамиды Хуфу. Пенту почувствовал, как взмок у него парик.

— Я стар, чтобы пережить тебя, твое величество.

— Я говорю: не дай бог, чтобы пережил.

— Как это понимать? — чуть не возопил старик, учуяв какой-то нехороший смысл в словах фараона.

Но его величество успокоил его:

— Я хочу сказать, что после меня — случись со мной худое — на тебя разом ополчится столько людей, что даже и не счесть.

Пенту свободно вздохнул:

— Я не боюсь их, твое величество.

— Их надо бояться страхом азиатского зайца.

— Не боюсь ни их, ни угроз их!

— Ты слишком самоуверен, Пенту.

Фараон неожиданно признался, что голоден. Пенту отметил это как добрый знак: желание поесть — всегда свидетельство здоровья. Его величество хлопнул в ладоши. Всего один сухой треск...

Дверь отворилась. На пороге появился кто-то, кого не видел Пенту. Фараон молчал. Его светлость Пенту приказал, не поворачивая головы:

— Фруктов и пива... Не надо пива! Фруктов и вина! — И, обратившись к его величеству, сказал: —

Я бы не отяжелял желудок грубой едой. И даже легкой. Фрукты утолят голод, а вино приведет в равновесие твои чувства.

Фараон сказал, словно и не расслышал слов Пенту:

— Ее величество переедет в Северный дворец. Не завтра. Не очень скоро. А ты, Пенту, объявишь о вступлении в свои права моего соправителя.

— Когда, твое величество?

— Когда? Это надо обдумать. Не завтра, разумеется. И не послезавтра. Но дело это решенное.

Пенту задал самый тяжелый для себя вопрос. Фараон ждал его.

— Твое величество, а знает ли об этом ее величество, мать твоих детей?

«...Эти утки летают в поднебесье как ни в чем не бывало. Разве вот тот селезень обязан отчитываться перед ними, с кем он разделит этой весной свое сухое ложе?..»

— ...Знает ли она?

«Летает себе, поглядывает на нее и дышит полной грудью, которая вся в пуху...»

— Она? — рассеянно спросил фараон.

— Да, она.

— Она узнает... От тебя... Ты это объяснишь ей как нельзя лучше...

Принесли фрукты — свежий виноград, гранат, сушеные плоды сикоморы. В золотом сосуде вино — «Прекрасное дома Атона». Оно словно кровь, точно агат на перстне фараоновом.

Его величество выпил вина. А к фруктам не притрагивался. Он выпил еще. Повеселел. Глаза его расширились. И фараон приказал пить своему советнику. А потом сказал:

— Пенту, не хотелось бы тебе приятной музыки?

Старик не успел и рта раскрыть, а уж фараон распорядился о том, чтобы музыканты прибыли незамедлительно.

— Пенту, — сказал его величество, — мне хочется веселья. Ведь так редко веселюсь в последнее время! Не так ли?

— Дом Атона стал сумрачным, твое величество.

Они выпили еще. И прикоснулись к винограду. И к плодам сикоморы тоже.

Фараон присел. Высоко поднял чашу, которая из золота.

— Пенту, я должен подкрепиться, ибо скоро дела призовут меня в тронный зал.

И фараон кивнул на бледнеющий восток.

— Ты совсем еще молод,— сказал Пенту, отпивая вино большими глотками. — Совсем молод. Разве тридцать пять — это много? И все-таки гляжу на тебя и дивлюсь: откуда столько силы в твоих жилах?

Вдруг фараон помрачнел. Нос его заострился. А глаза поблекли, точно на месте их появилась вода.

Фараон проскрежетал:

— Силы дает мне отец мой — великий Атон...

Тяжелые челюсти его шевелились едва заметно. Но шевелились. И это было страшнее всего. Фараон смотрел на царедворца и не видел его. Что-то желтое и тяжелое вставало перед глазами. Точно угасало зрение. Что же это такое?.. Может, прикрыть веки? Вот так, пальцами. Как прикрывают глаза мертвым...

«...Что это с ним? От гнева побледнел. Веки опустились, точно крышки тяжелых ларей. Сейчас самое время глотнуть настоя. Это быстро остудит огонь, согревающий затылочную кость изнутри...»

Пенту бросился к его величеству, поддержал голову и подал ему сосуд с настоем.

— Пей,— попросил он,— пей... Это пройдет.

Фараон отпил, облизнул большие мясистые губы и глубоко вздохнул.

— Я было рассердился на тебя, Пенту. Садись. Гнев мой недолог. Ибо ты — в сердце моем! А глаза застлало мне что-то очень желтое. Наподобие полевых цветов, которых много на берегах Хапи...

К его величеству вернулся обычный цвет лица. Широко открыл глаза и улыбнулся:

— Где же музыканты, Пенту?

— Они ждут твоего приказа.

— Пусть войдут.

Четыре певца вползли на животах, не смея взглянуть на благого бога. Они проползли в угол. Встали на ноги — полусогбенные. Скрестивши руки на груди. Это были мужчины среднего возраста. Крепкие.

Склонные к полноте. В одинаковых париках. В одинаковых коротких одеяниях.

Вот снова приоткрылась дверь, и четверо музыкантов показали на пороге: коленопреклоненные, не смея поднять глаза на его величество правителя Верхнего и Нижнего Кеми. Так и прошли в угол — коленопреклоненные. И там застыли. Спиною к певцам, упершись подбородками себе в грудь.

Слева стояли арфисты — с большой двадцатиструнной и малой семиструнной арфами. Рядом с ними — большая и малая флейты. И музыканты тоже в одинаковых одеяниях. Только певцы — в розовых, а музыканты — в белых. А парики у всех как на подбор: не отличишь друг от друга...

— Пенту, — сказал фараон, пробуя от тяжелой виноградной грозди, — музыканты и певцы, когда они готовы исполнить свою обязанность, должны смотреть вперед — гордо, весело улыбаясь.

— Я им это говорил сто раз! — рассердился Пенту и, оборотившись к музыкантам, проворчал: — Что я твержу вам без конца? Не стойте словно каменные! Вы несете радость и наслаждение, так где же на ваших лицах эта радость и обещание усладить слух ваших слушателей?

Пенту говорил словами его величества. Что касается его самого — он давно бы прогнал прочь этих жиреющих бездельников. К чему они? Чтобы петь большую часть суток для собственного удовольствия?

«Он ненавидит их. Этот Пенту. Я не понимаю, почему он так ненавидит? А ведь, казалось бы, человек умный...»

«Я бы этих дармоедов заставил работать на поле — растили бы хлеб! Так же как ваятелей и живописцев, окружающих толпой его величество. Каждый кусочек золота так нужен — позарез нужен! — для оплаты доблести воинов и труда чиновников, а тут какие-то шалопаи набивают себе желудки отборной пищей, заваливают город каменными глыбами и оглушают дворец звуками флейт и арф...»

«...Этот Пенту ненавидит музыку всей душой. Очень трудно его понять. Невозможно понять! Неужели он полагает, что Кеми — великое царство вселен-

ной — может обойтись без песен и живописи, без гимнов и каменных изваяний?»

Фараон спросил с усмешкой:

— Пенту, скажи мне: откуда такая ненависть ко всему изящному?

— Ненависть? — удивился царедворец, а сам подумал: «Он читает мои мысли, как в книге письма! Он бог! Он бог! Великий и неповторимый бог!..»

— Не ври мне, Пенту. Я вижу все!

Старик аж вспотел:

— Я говорю истинную правду, твое величество. Фараон махнул рукой, — дескать, ладно, будет тебе. Растянулся на циновке, подперев голову руками. И внимательно пригляделся к музыкантам и певцам.

— Гимн нашему отцу Атону! — приказал он.

Арфисты ударили по струнам. Флейты запели протяжно и нежно. Певцы загудели, точно перед каждым из них стоял пустой глиняный сосуд, отдававший эхом.

«...Где услышит этот Пенту нечто подобное? Неужели у хеттов? Или вавилонян? Или у шумеров? Только великий Кеми способен создать нечто подобное из струн и человеческих голосов да воздуха... Воистину велика страна, родившая таких музыкантов-сочинителей, как Ача, Рамеринта, Снофрунофру...»

А между тем занималась заря. Зубцы Восточного хребта почернели. Они стали подобием огромных углей, которые остаются в очаге. Это верный знак того, что вот-вот покажется Атон — животворный и солнцеликий. Он пошлет первые лучи своему сыну — благому богу, пребывающему в Ахяти.

«...Воистину блаженно мое царство, ибо оно озарено пламенем отца нашего, а дворец мой утопает в сладчайших звуках гимна, которого не знала вселенная...»

Арфа. Флейта. Большая арфа. Большая флейта... И голоса!

Великие голоса великого Кеми!

— Вина! — вскричал его величество.

И он пил вино, угодное Атону. Он слушал гимн, сложенный в честь Атона.

Пенту рад. Пенту очень доволен. Царедворец всегда рад, когда хорошо его величеству. Это высшая награда для Пенту...

С наступлением сумерек Тахура направился на поиски парасхита. Шел медленно. Маленькими и грязными улочками. Ему не хотелось, чтобы на него удивленно глазели. Азиатская борода и без того выдавала его инородное происхождение. Он направлялся на восток от Хапи, туда, к скалам — голым и серым, где строился новый некрополь. Он хорошо понял парасхита: надо найти домик, который на самом краю города, если идти по Дороге мертвых.

Горожане сновали от двора ко двору. Мужчины, женщины, старики и дети. Все, казалось, были заняты какими-то неотложными делами. Точно муравьи в муравейнике. И сказать по правде, мало кто обращал внимание на азиатского купца: столица жила большой и сложной жизнью, иноземцы были здесь не в диковину. Совсем не в диковину!

Тахура отдавал должное этой столице, выстроенной за каких-нибудь три года. И где выстроенной? На дикой пустыне, где камень и песок царствовали от сотворения мира.

«...Ведь надо же вот так: выкопать ямы, привезти плодородной земли, насыпать ее в каждую яму и посадить в каждую яму по дереву, по цветку. По одной травинке, считая ее на счет, точно золото. Пожалуй, именно это и следует полагать первейшим чудом Ахяти, а не дворцы, и храмы, и дома. Хотя и дворцы, и храмы, и дома достойны удивления и всяческого подражания. Пусть Ниневия все еще мала, но рост ее заметен год от года! Хорошо бы, чтоб Ниневия могла поспорить с Ахяти — городом, возникшим, как мираж перед изумленным путником пустыни...»

В этой части города, по которой шагал Тахура, разумеется, нет той красоты, и стройности, и чистоты, бросающейся в глаза, в сердце Ахяти и недалеко от сердца. Здесь живут пекари и сапожники, гончары и кузнецы, каменщики и ремесленники, ткущие нежные ткани из льна. Здесь и деревья пониже — хилые, желтоватые от недостатка воды, ибо поливальщики не так усердны, как там, ближе к берегам Хапи, где сиянье дворцовых камней и тенистые сады вельмож.

Тахура шел, шел, шел: прямо, влево, прямо, влево. Прямо, вправо. Опять прямо. Улочки похожи друг на дружку. По обеим сторонам нагромождены домики, малюсенькие лачуги и просто собачьи конуры, в которых — люди, голоса людей и плач детей. Вот, кажется, подует ветерок и разлетятся все эти постройки. А эти отвратительные кирпичи-сырцы! Они хорошо защищают от зноя, но их плохо месили за недостатком времени. Песок, который примешан к ним, из рук вон плохо просеян. И вода, сцементировавшая глину и песок, была вонючей, гнилостной жидкостью. Опять же за недостатком времени и сил. И время и силы копились и расходовались только по приказу зодчих, строивших Ахяти. А им было не до лачуг.

Было знойно. Небо горело. Оно походило на синюю жаровню, которую согрели на огне. Да так согрели, что на ней можно рыбу жарить. Удивительно, как это сохранился его яркий цвет, как не вылинял!

Тахура запыхтел. Нести тучное тело сквозь горячий воздух не так-то просто. Может, было бы нехудо дожждаться вечера? Как-никак попрохладнее будет...

Неожиданно внимание купца привлекли поначалу негромкие крики. Они раздавались впереди, шагах в пятидесяти. И усиливались настолько, что купец почел за благоразумие несколько попридержать шаг.

Кто-то бранился и буянил. Его пытались успокоить. Горластый скандалист, видимо, не очень-то выбирал слова. Сказать по правде, Тахуре не часто приходилось слышать речи разгневанных жителей новой столицы. Здесь особенно не разгуляешься: у столичного семера чуткое ухо, око — всевидящее.

Пока купец раздумывал, куда бы это нырнуть, чтобы убраться подальше от скандала, из ворот вылетел молодой человек. Из носу текла кровь. Лоб его был рассечен, точно ножом. Его вид мог напугать хоть кого: здоровенный, мускулистый, бритоголовый, почти как все в этой стране, молодой человек, доведенный до иступления!

Приметив купца, молодой человек прислонился к глинобитной ограде, чуточку отдышался и высморкался кровью.

— Помоги мне, — сказал он, скрежеща зубами, как волк, пожирающий костлявую овцу.

Со двора выбежали несколько мужчин. Они разговаривали между собою очень громко и не очень понятно. Тахура догадался, что перед ним — подвыпившие люди. Один из них обратился к тому, что стоял у стены, с довольно-таки миролюбивым предложением:

— Пепи, пойдем, полежим на циновке!

Однако Пепи продолжал сморкаться и плевать кровью. Тахура волей-неволей оказался совсем рядышком с подвыпившими драчунами.

— Господин,— сказал Пепи, обращаясь к Тахуре,— я не хочу... Никуда не хочу!

— Помолчи, Пепи! — приказали ему.

— Нет,— надрывно выкрикнул Пепи.— Я не стану молчать!

Он отошел от стены и зашатался. Разумеется, и Пепи был пьян.

Высокий, стройный человек — возрастом старше средних лет — подошел к Тахуре. Это был кареглазый, смуглый человек. Но по сравнению с цветом кожи глаза его казались светлыми.

— Н-не из-з-воль бес-покоиться, гос-го-гос-подин! — Это был самый неподдельный заика.— Мы — все... все... все... свои люди. Пепи над-над-над-лежит ехать на границу с хеттами. А там... А там... А там...

Заика бил ногою землю, размахивал рукой, но никак не мог, что называется, сдвинуться с места. Купец терпеливо ждал, чтобы узнать, где это «а там»...

— А там — война! — пропел заика.— Пе-пе-пи не хочет ех-ех-ех...

— Ехать, — подсказал купец.

— Ех-ех-ехать, — упорно продолжал заика. И вдруг — скороговоркой: — Он привел жену месяц тому назад... Разве это к лицу — так убиваться? Ты должен идти с мечом и щитом против азиатов. А раз должен — иди!

Чужеземцу не следовало совать нос в эти дела. Тахура раздумывал, как бы это улизнуть поскорее от греха подальше.

— Так он — новобранец? — из приличия спросил Тахура.

— Да, ново-ново-ново-бранец. Он неплохой па-па-па-рень. Он не ви-ви-ви-новат: выпил... выпил с горя, а ведь Пепи никогда не пил лишку...

Пепи проговорил плачущим голосом:

— Уж лучше бы я пил! Лучше бы умер от какой-нибудь страшной хворобы... Господин, какая самая страшная болезнь на свете?

Тахура ответил:

— Самая скверная хвороба, пожалуй, проказа. Но зачем тебе она?

— Как зачем? — воскликнул Пепи, рыдая. — Я хочу заболеть ею. И сидеть дома!

— Чу-чу-чу-дак! — сказал зайка. — Тебя же из-из-из-из-гонят, и ты будешь, будешь, бу-бу-дешь жить в Зап-зап-зап-адной пустыне...

— Ну и пусть!

— Будешь со-о-о-о-сать камни и же-е-е-е-е-вать сухие ко-о-о-о-о-лючки...

— И очень хорошо!

Те остальные, которые стояли позади зайки, возмутились. Что это болтает Пепи? Его надо силой затащить во двор!

— Никуда я не пойду, — твердил Пепи. — Где бы раздобыть эту самую проказу? Скажи мне, господин.

— Господин, не связывайся с ним...

— У него разбит нос.

— Он упал с крыльца...

— Его надо умыть.

— Ты видишь, как он упрям?!

— Пепи, послушайся их...

— Я ненавижу весь мир! И всех вас!

— Пепи, они желают тебе добра, — сказал купец.

— Они трусы — вот кто они! А я не желаю идти умирать. Пропади пропадом все азиаты от мала до велика! Сдались они мне! Что мне — плохо в Ахяти? Что мне — надоела Нефернаи? Зачем мне убегать от нее? — Пепи приблизил к купцу свое лицо, и купец разглядел прекрасные черты под кровью и пылью. — Я хочу проказы! Я это говорю от всего сердца!

— Ты очень пьян, Пепи!

Его друзья приблизились к нему.

— Уйдите! — завизжал Пепи, пятясь спиною к стене. — Я буду бить! Уйдите, говорю вам добром!

«Это удивительно, — подумал Тахура. — И в великом Кеми народ как народ. Такой же, как в Вавило-

не. Как в Ассирии. Неужели здесь, на берегах Хапи, появились люди, которые могут послушаться фараонова приказа?.. А впрочем, что я говорю? Разве мало было возмущений в Кеми? Разве мало летело благородных голов с плеч на пыльную землю?.. Вот он, Пепи, не желающий ни воевать, ни служить в войсках! Но много ли таких? — вот в чем загвоздка!..»

— Он шагнул с крыльца, — сказал долговязый (остальные молча стали у ворот). — Он шагнул, а пиво ударило ему в голову...

— Так много он выпил?

— Пепи пил вино. Потом пиво. Потом вино. Потом пиво.

Пепи рычанием подтвердил, что все это было именно так. Он лишь добавил, что пива пил немного. Потому что пиво дрянное. Другое дело — вино!

Один из тех, кто стоял поодаль, — такой квадратный, крестьянского вида мужчина — сказал:

— Господин, это мое вино. Я привез его, чтобы проводить Пепи. Кто знает, что он будет пить у проклятых хеттов?!

Тахура не без тайного злорадства успокоил его:

— Там тоже родится хорошее вино.

— У меня оно особенное.

— Не спорю. В Азии бывают вина светлые, как ранний рассвет, и красные, как вечерняя заря.

Пепи насторожился. Его родственники странно переглянулись.

— Это в Азии такие вина? — спросил долговязый, не скрывая недоумения.

Остальные повторили в один голос:

— В Азии? Такие вина?

Пепи был страшен: кровь запеклась на его лице. Она багровела — грязная, местами удивительно чистая. Он, казалось, позабыл о своем горе...

— Ты сказал — в Азии? — шатаясь, проговорил он. — В Азии? Я скажу тебе, что есть в Азии. Хочешь, скажу?

— Скажи!

— В Азии... — Пьяный попытался улыбнуться. Губы его скривились. Руки сжались в кулаки. — В Азии много вшей... Много грязи... Откуда вино в Азии?

Тахура решил, что благоразумнее всего согласиться с пьяным. Кивком головы подтвердил, что в Азии только вши и грязь. А больше — ничего!..

— Господин,— сказал долговязый, поняв, что имеет дело с азиатом, притом не с простым, судя по пышным одеждам,— господин, ты не слушай его! Ты же знаешь, что пьяный — точно бешеный. У пьяного голова не варит. Пьяный болтает все, что угодно!

Пепи спокойно выслушал эти слова. Потом присел на корточки у стены и горько заплакал. Он рыдал, спрятав лицо в огромные ладони. Эти руки принесли бы много горя врагам, если бы попали в Азию вместе с Пепи.

Долговязому стало стыдно за своего родственника (возможно, за брата). Он подошел к Пепи и тронул его плечо. Пьяный продолжал горько рыдать. Весь содрогался, точно его трясли за ноги и за руки...

— Пепи, перестань! На тебя же смотрит господин. Очень дивится твоему поведению.

Остальные тоже подошли к Пепи. Наклонились над ним.

Тахура сказал себе: «Вот тот самый миг, когда ты должен унести свои ноги...»

Он так и поступил. Прибавил шагу и вскоре скрылся за углом. Отдышавшись, купец приосанился и спокойно, не торопясь пошел своей дорогой. Случай с пьяным Пепи поразил купца. Конечно, любителей пожить в мире и радостях немало на белом свете. В этом отношении Кеми, по-видимому, не очень-то отличается от других государств. Но вообразить нечто подобное в самой столице? Под боком у фараона, уши которого достигают окраины вселенной, а глаза которого видят под толщей воды и под землею?..

В СЕМЕЙНОМ КРУГУ

— Ушел,— сказал долговязый.— Он повернул за угол.

— С-с-с-с... — просвистел заика. — С-самое время нам убираться отс-отс-отсюда!

Мужчины взяли под руки плачущего Пепи и повели во двор. И заперли за собою ворота.

С крыльца спустилась пожилая женщина. Худая и грустная. Ровная и скорбная. В черной льняной накидке. Она была одета бедно. Но она была горда. Невольно внушала к себе уважение. Такая не старая еще, но много пережившая.

— Усер,— сказала она зайке,— что вы делали на улице?

— У-у-у...— загудел зайка.

— Понимаю: уговаривали.

— У-у-у...— продолжал зайка.

— Помолчи, Усер. Я поняла! Но зачем это надо было на улице? На виду у всех?! Кто это с вами разговаривал?

— Какой... какой-то гос-гос-господин.

Долговязый пояснил:

— Должно быть, азиат. Притом богатый.

— Нет, я не понимаю вас, Ани,— продолжала женщина. Она повернулась к двум другим, помоложе, которые стояли за ее спиной.— Неужели ссору надо выносить на улицу?

Женщины отрицательно покачали головою.

— Не надо,— согласился Ани (который долговязый).

— Так почему же вас понесло за ворота?

— Это Пепи удрал от нас...

Пепи стоял посредине небольшого дворика, в окружении близких. Он присмирел. Перестал плакать.

Пожилая женщина — ее звали Та-Неферт — продолжала взывать к благоразумию:

— Пепи вовсе не маленький. Если ему надо выплакаться, подобно женщине,— пусть он это делает дома. А вам,— она обвела укоризненным взглядом остальных мужчин,— вам не следовало заводить на улице ненужные разговоры. Да еще неизвестно с кем!

Усер пытался оправдаться:

— Я и А-а-а-ни... И Ма-а-а-ниатон...

Мааниатон — тот самый, квадратный, крестьянского вида — перебил его:

— Дорогая Та-Неферт, твой младший сын вел себя очень странно...

— Не надо было пить,— сказала Та-Неферт.

Те — две женщины — дружно кивнули.

— А мы и не пили...

— От вас несет винным духом, как из лавки.
— Верно,— сказал Усер,— мы немножко выпили.
— Вы потеряли голову! Посмотрите вокруг: в какое мы живем время?

Мужчины дружно молчали.

— Ну, в какое мы живем время? Нас никто из посторонних не слышит — говорите же смело!

— В проклятое живем время, — промычал Ани.

— Это сказано мягко! — заметил Мааниатон.

— Ну вот, это вы понимаете! — Та-Неферт вздохнула.— И Пепи обязан понимать!

Пепи молча посапывал.

— Человек в наше время ценится не дороже сырого кирпича...

— Это верно...

— Сдохла кошка. Ей почет! Ее богатые хозяева волокут к парасхиту. Ее мумию торжественно хоронят. А нас? Кто похоронит нас?

Та-Неферт говорила тихо. Неторопливо. Вразумительно. И немного жестоко. Без жалости. К себе. И ко всем остальным, кто находился во дворе.

Пепи, казалось, осознал свой проступок. Казалось, про себя сетовал на свою неумеренность и горячность. А может быть, давал в душе обет в том, что впредь будет благоразумнее?..

Мужчины чувствовали свою вину. Это было заметно. Они пытались оправдываться перед матерью Усера и Пепи. Ани — зять Та-Неферт, муж одной из женщин, что помоложе. Он тоже понимал, что свалил дурака. Зачем надо было пить вместе с неразумным Пепи? А теперь поди и расхлебывай неминуемую неприятность!.. Ведь донесут же властям!

— Неприятности не миновать,— предрекала Та-Неферт.— В наше время ее даже искать не надо! Она сама тебя отыщет! На каждом шагу — фараоновы глаза и уши. Семеры жестоки. Князья наши не знают пощады. А тут еще какой-то иноземец! Ну зачем тебе надо было оголяться перед чужеземцем! Скажи, зачем?

Это она обращалась к Пепи. Вдруг в нем проснулась прежняя озлобленность:

— Я плюю на вашего фараона! На его дворец! На весь род его! Мне он не страшен!

Усер попытался зажать ему рот. Пепи укусил его за руку. Усер выдал ему хорошую затрещину.

— Уйди! — прошипел Пепи. — Хочешь, я употреблю твоего фараона и всю его семью?

— Замолчи, сквернослов! — приказала мать.

— Не замолчу! Мне надоела эта жизнь! Я могу покончить с собой. В одно мгновение. А вы влачите существование. Как волы бессловесные!

— Пепи, отоспись, — посоветовала ему сестра, у которой от страха душа ушла в пятки.

— Не хочу!

— Пепи, ты погубишь и себя и нас!

— Я не хочу воевать!

— Так зачем об этом кричать на улице?

— Потому что ненавижу царя!

Ани разозлился:

— Заткнись, несчастный!

Пепи вырвался и побежал в угол двора. Там он, у глинобитной стены, застыл — багровый от гнева. Готовый ко всему...

Мать приказала:

— Иди и отдохни! Не мешай! Слышишь?

— Мне незачем отдыхать! Мне опостылела эта жизнь!

— Твоя жена не похвалит тебя!

— Я не нуждаюсь в похвалах!

— Пепи, сын мой, пожалей нас...

Пепи обвел всех страшным взглядом. Его глаза налились кровью. Он зашипел:

— Вы жалкие твари! И хорошо, что вас давят! Что вас презирают, как собак! Что гоняют с вас семь потов!

— Пепи, сын мой, пожалей нас...

— А мне вас не жалко! И себя тоже... Будь моя власть — я бы сжег этот проклятый город вместе с потрохами!

— Ладно, сжигай. Только помолчи сейчас. Только не губи нас. И себя пожалей немного. И жену молодую пожалей. Князь этого не простит тебе! Слышишь?

— Харкал я на вашего князя!

Пепи разразился такими дикими ругательствами, что женщины принуждены были удалиться. Та-Неферт сказала, уходя:

— Вязжите его! Он потерял рассудок!

— Меня? Вязать? — Пеппи обнажил себя. — Вот это для царя! Вот это для царицы!

И грохнулся наземь. Без памяти. От злости. Совсем бездыханный...

Ани сказал:

— Употребляй царя на здоровье, но зачем кричать об этом на весь мир?.. Давайте затащим его в дом. Чтобы от греха подальше.

И он огляделся вокруг: нет ли кого-нибудь чужого? И за ворота выглянул. Нет, они были одни. Своей семьей...

СЕННЕФЕР

Тахура добрался-таки до широкой Дороги мертвых. Изрядно проплутав среди улочек и переулков столичных трущоб. Ему показалось, что выбрался из вонючей ямы. И решил идти направо — туда, где скалы, где виднеется голый Восточный хребет.

Дорога была вымощена базальтовыми камнями. Швы между ними заделаны вавилонской смолой, посыпанной слоем песка. Такое впечатление, что шагаешь по дворцовой площади. Справа и слева дорога обсажена пальмами, сикоморами. И деревом, именуемым «туаб». Его привезли из Та-Нетер, когда оно не достигло еще одного года. Быстро растет, дерево это неприхотливое — влагу добывает глубокими корнями. «Корни эти, говорят, сверлят землю, подобно бураву, — размышлял Тахура. — Оно бесценно, крона его тениста и очень красива с виду».

В этот час на Дороге мертвых было пустынно. Каменотесы, работающие в усыпальницах, продолжали свое дело. Навещавшие своих покойников — давно вернулись. А в некрополь кому охота тащиться в эту пору?

Впереди маячили два-три домика. А дальше растянулась посеревшая, ровная долина. До последнего домика не так уж далеко. Не в той ли покосившейся хибаре обитает Сеннефер?..

Старик словно поджидал гостя. Он сидел на корточках и жевал листья кустарника му. В них сила некрепкого вина. От них темнеют зубы и сердце начи-

нает учащенно биться. Богатые, разумеется, предпочитают крепкое пиво или вино. Однако бедные люди жуют их, и перед глазами их разверзаются небеса, и сытая жизнь является воображению. Тахуре приходилось жевать листья му. Однажды. Когда чуть не заблудился в Ливии. В страшной пустыне этой страны. Листья внушили ему, что вот он, город — цель его путешествия; что под рукою вода — только черпай ее. Так он пролежал в полусне-полуяви несколько дней. Пока его не подобрал караван. Вот какая сила в этих листьях му!..

Сеннефер заметил купца еще издали. Старик, признаться, удивился тому, что какой-то важный господин в такую пору идет пешком, без провожатых. И уж совсем расширились у старика глаза, когда господин круто свернул к его хижине и очутился на пороге.

Старик привстал, не веря своим глазам.

— Это я, Тахура, — сказал купец. — Мы с тобой виделись в лавке Усерхета. Ты оказал мне большую честь, отведав моего угощения.

Все было сказано слишком ясно и просто, чтобы не понять этих слов и не вспомнить купца Тахуру.

— Я рад, — проговорил старик, сплюнув жеванный лист му, — я рад.

— Я хорошо помню твое имя: ты — Сеннефер.

— А ты — Тахура.

— Верно! — Купец очень обрадовался тому, что старик запомнил его.

— В Кеми полагается пригласить гостя домой, — проговорил Сеннефер.

— Такой обычай — повсюду, где приходилось мне бывать.

— Но для этого надо иметь дом.

Тахура взглянул на дверь хижины. Низенькая, совсем низенькая она. В нее не войдешь, не согнувшись в три погибели. Вот такая дверь! И по ней вся хижина, выложенная из сырого кирпича. Купец решал: протиснется в дверной проем или не протиснется? Старик угадал его мысли:

— Нет, войти мы войдем! Как-никак, а дом! Надо побывать в нем. Не здесь же разговаривать.

— Да, ты прав, Сеннефер, мы, пожалуй, войдем...

Старик прошел первым, как бы подтверждая, что входить сюда безопасно. Маленькое оконце — высота которого равнялась ширине — освещало комнату скудным предвечерним светом. Можно сказать, что здесь было темно. Сеннефер достал уголек из очага и раздул его. При помощи льняной веревочки и этого уголька он зажег глиняный светильник.

— Садись, — пригласил он гостя, продолжая заниматься своим делом. — В углу ты найдешь чистую циновку. Она — для гостей. Бери ее — она чистая.

Светильник замигал неровным красно-желтым светом. Будто внесли сюда медную посуду. И все стало красно-желтым: лица мужчин, циновки на полу, глиняная посуда на полках.

— У меня бедно, — продолжал Сеннефер, устраниваясь на полу, — но чисто. Здесь чище, чем в фараоновых хоромах. Поверь мне: это говорю я, Сеннефер.

Тахура подтвердил, что в хижине опрятно, что даже женщина не в состоянии поддерживать чистоту, большую, чем эта. (Купец указал рукою на потолок, пол, стены, посуду.) И в самом деле, в хижине не чувствовался спертый воздух, обычный в жилищах бедняков. Не пахло ни грязью, ни пивом, ни мукой. А вот ароматическими маслами пахло. А вот смолою пахло. И розами пахло. Откуда розы в этом закуте — темном и низком?..

Сеннефер засмеялся — негромко, точно заскулил песик.

— Господин, ты забыл, что я — парасхит. Я имею дело не только с кишками и желчью, легкими и селезенкой. Я не простой парасхит, которого гонят камнями прочь от себя. Когда он вскрыет острым камнем живот покойника... Мне доверено и нечто большее...

Старик произнес эти слова гордо, но сдержанно.

— Разумеется, Сеннефер, я далек от мысли о том, что передо мною — обыкновенный парасхит, копающийся в чужих внутренностях...

— Не в чужих, — поправил его старик, — но в мертвых.

— Это одно и то же.

— Э нет, господин, ошибаешься. Мертвый принадлежит богам. О нем нельзя сказать «мой», «твой», «наш», «ваш». Он — божий!

— Да, это так,— из любезности согласился купец. Он не мог понять этого странного обычая — бальзамировать покойников. Зачем это? Разве не проще предать земле? Или сжечь, как это делают далеко на Востоке? Или подвесить к дереву, по примеру народов Севера, что за странною хеттов?..

— Чем угостить тебя? — сказал старик. — Есть у меня зелень му. Так называют ее в Та-Нетер. И мы переняли это слово. На рынках ее тоже называют му.

— Уважаемый Сеннефер, я знаю му. Однако доставь мне удовольствие, на которое могу рассчитывать, как гость.

Старик удивленно уставился на купца.

— Могу ли я, как гость, просить все, что мне заблагорассудится?

— Да, можешь.

— Спасибо, Сеннефер! А прошу я одного: поговори со мной, дай насладиться твоими словами и блеском ума твоего.

— О, азиаты! — воскликнул старик и всплеснул руками. — Какие же вы, однако, хитрецы! Ты обезоружил меня, и я вынужден подчиниться тебе.

— Я только этого и желаю, Сеннефер. Что может быть приятнее беседы с тобой? Я хорошо помню, что ты из Саи. Запомнилось и твое мимолетное замечание о том, что ты знал достаток. Полагаю, что ты был и знатен и богат. Об этом свидетельствуют твой лоб, и нос твой, и руки твои. Глаз у меня наметан, и я знаю, что такое кровь знатного человека.

Сеннефер выслушал купца и сказал:

— Чужеземец, я помню твое гостеприимство, твою щедрость. Поверь мне: я мог бы ответить тем же, если бы не разрушили дом мой, если бы не преследовали меня отец и сын. Я ел песок на Синайском полуострове, добывая медь. Я кочевал в песках Ретену, спасаясь от гнева врагов моих.

— Неужели столь могущественны враги твои?

— Мои? — Старик горько усмехнулся. — Мановением мизинца уничтожают они все живое. Их взгляд испепеляет растительность на земле. Дуновение ноздрей их повергает города во прах.

— Сильные, однако же, враги у тебя, Сеннефер, ничего не скажешь.

— И если ты видишь меня таким, как есть, — только потому, что я жив. А жив потому, что не умер. А не умер — ибо гнев питает меня. И месть в сердце моем твердит: «Ты должен жить, Сеннефер! Жить, чтобы отомстить!»

— Я много ездил, Сеннефер. Знаю земли, знаю воды. Те, что лежат далеко на Западе, и те, что — далеко на Востоке. Как бы ни были настроены правители друг против друга, всем хочется торговать. Стекла из Джахи приводят в восторг женщин Кеми. Благония с острова Иси пленяют прекрасных вавилонянок, чьи глаза с густой поволокой. Я купец — и предомной открыты границы, и стражи не чинят препятствий.

— Еще бы! Еще бы! — проговорил Сеннефер. — Купец — человек уважаемый.

— К чему я это все говорю? — Тахура понизил голос. — Мне хочется послушать твою красивую речь, исполненную благородства. Я знаю язык вашей страны. Но когда услышал тебя, я сказал себе: «Тахура, вот она, речь, которая достойна избранных».

Старик был доволен. Он улыбался. Человек очень слаб — с трудом противостоит лести. Даже самое крепкое сердце размягчается под действием хорошо взвешенных хвалебных слов. Только пирамида Хуфу противостоит лести, ибо она глуха.

Сеннефер сказал:

— Уважаемый господин, если моя речь приглянулась тебе, то в этом повинны мои родители — знатные люди из чудесного города Саи. Я рос, как цветок, и уши мои внимали словам изящным и мыслям возвышенным. Право же, мало стоит слово, если не выражает оно *нечто*, что западает тебе в душу и живет там подобно птице в гнезде. Это *нечто* рождает новые мысли, и они, как птенчики, слетают с уст твоих. Ибо ты был оплодотворен большой мыслью. Слова — очень удобное обличье. Они должны быть необычными сами по себе. Но за ними, повторяю, должно стоять *нечто*. Ты меня понял?

Тахура молча кивнул.

— Чем хороши, чем неотразимы папирусы древних времен? Тебе их приходилось читать?

— Немного, немного, уважаемый, — проговорил скороговоркой купец.

— А я скажу, чем они хороши. — Старик воодушевился. Он плавно разводил руки в стороны и опирался ими в бедра. Движения эти как бы помогали ему яснее выразить мысль. — В древних свитках я нахожу Слово, которое светит мудростью само по себе. Звезда светит? Вот так же светит слово. Только помни: древнее слово! Тысячу лет тому назад люди не были глупее нас. Они мало говорили, больше думали. И в этом был свой резон. Что толку в том, что иной болтает без устали? Наши древние предки учили нас мыслить. А ныне? Разве не являемся мы свидетелями ужасного падения того самого искусства выражать мысли, которым гордились жрецы Амона еще во времена Нармера и Джосера? С легкой руки фараона, каждый норовит перещеголять рыночного торговца, коверкающего наш божественный язык. С каких это пор зеленщики и сапожники стали нашими учителями? Я спрашиваю: с каких пор?

Тахура повторил, как эхо:

— С каких пор?

— С тех самых пор, как взшел на трон... — Старик еще больше понизил голос. — С тех пор как царствует этот... с удлинённой головой и лошадиной челюстью.

Купца продрал мороз по коже. Он спросил:

— Почему шепчешь — разве нас подслушивают?

— Все может быть! Ныне и стены имеют уши.

— Что ты говоришь, Сеннефер?

— Да! — решительно подтвердил старик.

Купцу стало не по себе. Он вовсе не был робкого десятка. Но вот так, ни за что ни про что, попасться в лапы стражникам фараона?..

От неожиданной робости он встал, вышел во двор, обошел домик вокруг: никого! Вернулся на место. Облегченно вздохнул:

— Никого! Мы с тобой одни.

— Почему одни? — улыбнулся Сеннефер. — А ты?

— Что — я?

— Разве не может быть второй души?

— У меня? Вторая душа?!

Сеннефер успокоил его. Владелец лавки Усерхета предупредил старика о том, кто такой Тахура. «Доверься ему целиком», — сказал лавочник. Слово Усерхета было для Сеннефера настоящим словом, звучащим как в древних свитках.

— Я пошутил, Тахура. Откуда же у тебя вторая душа? Уважаемый Усерхет говорил о тебе так нежно, что ты — уже в сердце моем.

Купец поклонился с вавилонским изяществом. Надо отдать ему должное — воспитания был хорошего. Аристократический глаз парасхита уловил это еще там, в лавочке Усерхета.

— Что за необходимость коверкать язык, доставшийся от предков? — спросил купец, возвращаясь к прежнему разговору.

— То-то и оно, что никакой! Однако фараон упрям. Он назло всем жрецам Амона настоял на своем: и все торговцы радуются; все, кто не знает языка, радуются. Вот в какое время мы живем!

— Надо ли понимать так, — сказал купец, — что язык — исковерканный язык — тоже является какой-то частью фараоновых замыслов?

— О да! Только так! Все задумано очень хитро. Знает тыквоголовый, куда метить! Фараон ведет дело к тому, чтобы все живое подмять под себя, наподобие гиппопотама необъятных размеров.

— И это ему удастся?

— К сожалению, уважаемый, удастся. Пока удастся.

— А разве некому возвысить голос?

— Нет!

— Боятся или все согласны с ним?

— Боятся. Трусят. Дрожат по углам!

— И не нашлось ни одного?..

— Почему же? Нашлись! Только одни из них в воде, другие под землей, а третьи гниют в пустыне. Но есть еще...

— Кто же?

— Молчащие. Стиснувшие зубы. Улыбающиеся через силу. Ожидрующие.

— Как, и ожидающие, Сеннефер?! Чего же они ждут?

— Своего часа!

— Значит, трусливо ждут?

— Нет, не трусливо. Но ждут! Это рука Амона, карающая невидимым мечом.

Купец раздумывал над словами старика. В глазах его, которые темнее ночи, мигает красно-желтый огонь светильника.

«...Кто может подумать, что в этом государстве, где все подобно железу — от фараона до последнего воина, — где и слово, как железо, находятся люди, думающие иначе, мыслящие по-своему, живущие наперекор благому богу, да еще тайно грозящие ему?..»

Тахура не был поражен этим открытием. Он давно перестал поражаться. Глаза его привыкли видеть необычайное, а уши — слышать удивительное. Разумеется, среди сонмища людей всегда найдутся недовольные. Но разве этот парасхит, поселившийся в самом сердце империи, не есть явление поразительное? Тем более что он совсем не одинок... Почему же не поразит старика молния, исходящая из очей фараона? Где всемогущий семер Ахетатона, который знает, что делается даже на дне Хапи?

«...Надо мыслить, наподобие древних и мудрых. Не надо торопиться. Терпение, терпение, терпение...»

Купец глядит на сморщенное лицо старика. На губы его, сжатые во гневе. И на глаза, острые как стрелы. Нет, этот старик что-то знает. Он видит дальше, чем это кажется. И неспроста он обосновался здесь, на окраине.

— О Сеннефер, я внимательно слушал твои слова! Позволь задать тебе один вопрос, который исходит из моего незнания, непонимания и темноты.

— Говори, господин.

— Ответь мне, Сеннефер: разве нити, связывающие воедино весь народ Кеми и его правителей, — не железные нити?

Старик ответил, не думая:

— Железные!

— Вот видишь, Сеннефер! — воскликнул купец, точно выиграл крупное пари.

Старик удивился:

— Что я должен видеть, уважаемый господин?

— Железные нити! Железное государство Кеми! Всемогущество фараона!

Сеннефер замотал головой, поднял кверху правую руку, словно требуя тишины и внимания. И эдак таинственно усмехался. Его улыбка была едва заметна, она терялась в многочисленных складках, которых полным-полно вокруг губ. Старик глубоко вздохнул, как бы сожалея о том, что неправильно, совсем неверно понят.

— Господин, вот ты повидал белый свет. Ты плыл за солнцем на Запад. Ты шагал навстречу солнцу в далеких странах. Ты резал путь солнцу, путешествуя по своим делам с Севера на Юг и с Юга на Север.

— Да, это так.

— Уши твои были открыты, и сердце твое стучало, и глаза видели мир.

— Да, это так, — подтверждал Тахура.

Старик скрестил руки на тощей, с обвисшей желтой и дряблой кожей, груди. Поглядел пристальным взглядом на купца и сказал — медленно, медленно, медленно:

— Так как же ты можешь утверждать, не покрывив против совести, что все железное прочно и даже вечно?! Железо дорого, очень дорого! Кто этого не знает? Но разве оно долговечно? Разве не съедает его ржа?

— Верно, съедает!

— Железо пригодно на своем месте. Однако государство, каким бы сильным оно ни казалось, закованное в железо, становится слабым.

— Это удивительно! — сказал купец. Неизвестно, сколь искренними были эти его слова. Или ум у него был короток, или нарочно хотел казаться наивным — этого не мог решить Сеннефер. И в том и в другом случае старик, как видно, почитал себя обязанным высказать откровенное мнение. В его сердце kloкотал великий гнев, и промолчать не мог. Это было выше его сил. Тем более что долго-долго молчал, ел землю одну, копался во внутренностях мертвецов и молчал. Сколько же можно молчать?

— Почему ты произнес эти слова, уважаемый господин?

— Какие?

— Ты сказал: «Это удивительно!» Разве я открыл тебе что-нибудь новое? Тебе неведомое?

Купец не юлил:

— Нет, все это не ново!

Теперь уж поразился Сеннефер:

— Скажу тебе по правде: это удивительно! Ты знаешь все сам и удивляешься. Как понимать тебя? Я начинаю путаться в мыслях.

— Сеннефер, меня понять нетрудно. Я знаю, что железо ржавеет. Знаю, что и железное государство может покрыться ржавчиной. Но какое отношение все это имеет к великому и непобедимому Кеми? Как применить твои рассуждения к власти неограниченной, божественной, всемогущей? Я сейчас говорю только о Кеми, которое держит через фараона в страхе весь мир.

Сеннефер откинул назад голову и захохотал. Кадок его взмыл куда-то кверху. Кожа на горле его натянулась, в то время как на затылке собралась она во множество глубоких складок.

«...Что я слышу собственными ушами? Что слышу я, находясь на земле Кеми? Если бы все это знали хетты? Если бы знали они, то двинулись бы прямо сюда. Они бы укрепили сердца свои, которые учащенно бьются при слове «фараон». Но нет, Тахура, не ошибись: старик — это еще не Кеми... А впрочем, и Пепи тоже не Кеми? Разве возможен его плач в государстве, которому суждено править белым светом?..»

А старик хохотал. Смеялся до упаду. Вот жилы его вздулись от напряжения. Вот покраснело его лицо. А он все не переставал...

«...Он смеется надо мной. Я ему кажусь чудаком. А может быть, дураком. Пусть, пусть он думает что угодно...»

Сеннефер приоткрыл глаза, осушил жесткими кулаками слезы смеха. Купец почтительно дождался того мгновения, когда парасхит поуспокоится и сочтет возможным продолжать разговор.

— Не обижайся на меня, уважаемый господин, — сказал наконец Сеннефер. — Я смеялся не над тобой. Я вдруг подумал о том, что враги Кеми в чем-то уподобляются тебе. Они думают: вот богатырь, призванный править миром...

— Так не думают.

— Вот государство, непобедимое в веках...

— И так не думают.

— Вот правитель Кеми, власть предрежающий в руках прочней, чем Хуфу.

— Да, так думают.

— А я говорю...— Старик возвысил голос.— А я говорю: неправда все это! Повторяю еще раз: железо ржавеет! А мы закованы в железо. Но я вижу конец. А ты?

— Я — пришелец из далекой страны. Я почтительно внимаю твоим словам.

— Так слушай: железо или заржавеет — и нити оборвутся сами собой, или смерть унесет правителя — и нити все равно исчезнут.

— Унесет смерть? — спросил купец.

— Да.

— Когда же?

— Этого никто не может сказать.

— И это будет избавлением?

— Да.

«...Злоба застилает глаза и ум старика. Он слишком обездолен фараоном для того, чтобы видеть окружающее таким, как оно есть...»

Старик потряс в воздухе кулаком:

— Попомни мои слова, уважаемый господин: железо обманчиво. Оно недолговечно.

Купец поднял глаза кверху, и взгляд его упал на синий четырехугольник, высота которого равна ширине. Он был очень синий, почти черный, но что-то светилось в глубине его краски. Казалось, какой-то неведомый, но весьма способный к своему ремеслу живописец повесил на стенку свою работу. Однако что изображено на картине, которая висит под потолком?

«...О боги, ведь это же окно! Маленькое окно в маленькой хижине парасхита. А синий цвет — это цвет неба, по которому волшебной кистью прошелся вечер...»

— Я засиделся, — сказал купец.

— Я тебя ничем не могу угостить, — с грустью проговорил старик.

— А разве беседа твоя не была угощением? Что сравнится с нею? Жареная курица? Она дешево стоит в лавке Усерхета. Дичь на вертеле? И она не дороже. Пирожное? Однако от них слишком сладко становится

во рту. Нет, Сеннефер, лучшего угощения, чем беседа, и невозможно придумать!

— Что же, наверное, так следует говорить гостю, который не уносит от тебя ничего в желудке своем.

Засим воспоследствовал взаимный обмен любезностями, после чего купец собрался обратно в город. Старик сказал себе: «Неспроста явился он в мою хижину. Будь что будет: пусть знают и в Ниневии, что происходит в Ахяти...»

Сеннефер, проводив гостя до дороги, вернулся в хижину и поужинал так, как ужинают многие на окраинах Ахетатона, — горестными размышлениями. Потом погасил светильник и улегся. Не спать и смотреть в темную пустоту — что может быть лучше? Сеннефер прислушался: не идут ли за ним фараоновы стражи? Нет, не идут... Значит, и глаза благого бога не всевидящие, и уши не всеслышащие.

Парасхит хихикнул от радости. И вскоре захрапел.

В СКУЛЬПТУРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Джехутимес смотрел в широкую дверь: вот идет она, чья красота не имеет себе равной во всей вселенной... За спиною его стоял Ахтой. И Тихотеп. Они тоже смотрят на нее. Она же идет ровная, с тихой печалью на челе. С неуловимой улыбкой на губах. Такая небольшая, стройная женщина. С таким маленьким животом. Родившая шестерых девочек.

В чем же тайна ее неотразимой красоты?.. Вот идет она, приближается. А за нею — красавица Ка-Нефер. Ведущая под руку молодую принцессу Анхесенспаатон.

«...Я хочу знать, в чем ее главная сила? В глазах ли, обрамленных густыми ресницами? В губах ли, вычерченных прилежной рукой творца вселенной? В облике ли богини? В чем же главная сила? Ибо невозможно закончить портрет, не угадав ее... Вот идет ее величество, и вместе с нею входит заря. Эта заря освещает мир. Она греет сердца... Вот идет ее величество...»

И никто не встречает ее у крыльца: запретил Джехутимес!

Она поднимается и ступает на порог. Вдруг перед ее глазами возникает, словно видение, иная картина: она приходит сюда же. На это самое место. Много лет назад. Тогда здесь стоял всего-навсего навес. Молодые люди месили глину, тесали камень, отливали гипсовые формы. Тому уже восемь лет: столица только-только отстроилась. Ее зодчие и ваятели работали под временными навесами и жили в матерчатых хижинах-палатках. Она была моложе, и он был моложе. Клялся ей в вечной любви и, несомненно, любил вечной любовью. Она ловила на себе восхищенные взоры своих подданных. Но это были не притворные верноподданнические взгляды! Ее облик вызывал восхищение. Не мог не вызывать восхищения! Ум ее сверкал в глазах ее. Красота ее отражалась в его глазах. Ваятели, умеющие ценить истинно прекрасное, падали ниц и с опаской подымали глаза, точно перед ними стояло солнце. Благой бог был с нею. Даже тогда, когда их разделяло расстояние... Вот идет он, слева — она. Он приводит ее на это место и весело кивает молодому скульптору. И говорит: «Это — Джехутимес. Руки его мудры и достойны глаз его, которые видят безошибочно. Ваятель должен иметь мудрые руки. Иметь острые глаза...» И он еще раз повторяет имя. «Джехутимес». Молодой ваятель краснеет, его щеки пылают, и, краснея, prostирается на земле, чтобы тут же, по приказу его величества, подняться на ноги. Во весь небольшой рост. Благой бог выговаривает ему — добродушно, уверенный в себе, в Кеми, в ней, во всей вселенной: «Джехутимес, сколько раз говорил я тебе, чтобы не ронял достоинства того чудесного искусства, которым владеешь в совершенстве? Встань же!» Почему его величество говорил о совершенстве искусства молодого ваятеля, если такого совершенства тогда еще не было? Значит, видел далеко! Значит, разглядел в несовершенных еще формах залог будущего совершенства!..

Тогда его величество водил ее по неотстроенной, неуютной мастерской, держа ее все время слева от себя и поучая ваятелей: «Вы должны делать то, что видит глаз ваш и повелевает сердце ваше». И, улыбаясь, спрашивал: «Джехутимес, что видит твой глаз?» — «Тебя, твое величество». — «А еще?» — «Ее

величество, великую госпожу нашу». — «Где ты ее видишь?» — «Рядом с тобой, твое величество. По левую руку». — «Верно, так и изображай нас». Потом его величество снимает парик, и голова его — такая уродливая, как шумерская продолговатая тыква, — блестит, словно медная, на тонкой шее. «А сейчас что ты видишь, Джехутимес?» — «Твою голову, твое величество». — «Так ее изображай. Некрасивою. Ибо я таков». — «Мои уши послушны твоим речам, глаза мои оживают от слов твоих, твое величество». Благой бог улыбается. Он спрашивает: «Джехутимес, всё ли слышали твои помощники?» — «Всё», — отвечает ваятель. «Всё», — говорят его помощники... О, великий бог, как это было давно и как это было недавно!

У нее в глазах плывут круги, подобные тем, которые появляются на водной глади пруда, если бросить камень. Небольшой камень. И бросить не очень сильно... Что же случилось теперь? Почему нет его здесь? И почему никто не встречает ее?..

И тут — в это же самое мгновение — только она подумала! — на самом пороге распростерт ваятель. Лежат лицом к земле его помощники. Ее величество ничего не понимает. Она оборачивается к Ка-Нефер. Пожимает плечами. Недоумевая. Пустыня, истинная пустыня во дворе — и великое благолепие, запрещенное в этом священном месте искусства его величеством!

Ка-Нефер кивает головой, — дескать, так и должно быть: перед величием ее склоняет голову любой житель Кеми. Принцесса забегаёт вперед и тоже смотрит на лежащих мужчин. Это они и перед нею пали ниц! Так думает Анхесенспаатон.

— Встаньте!

Это говорит ее величество. Не прекрасная дама, но владычица Кеми и вселенной. Ее голосу подчиняются даже мертвые. И ваятели поднялись на ноги, отряхнули прах с одеяний своих.

— Твое величество, — говорит восхищенный Джехутимес, и в глазах его — полуночные звезды, — изволь выслушать меня, прежде чем обрушить на головы наши справедливый гнев. Спроси нас: почему не встречали там, у ворот? Спроси нас: почему нас не было во дворе? Спроси нас, о госпожа наша!

— Спрашиваю,— говорит ее величество. Она говорит так, как говорит всегда: тихо, певуче, грудью, а не губами. От этого голоса стучит сердце, внимающее ей. От этого голоса, наполненного величием ее, быстрее бежит кровь по жилам...

Этого приказа только и ждал он:

— Твое величество, недостойный тебя портрет почти готов. Он там, в том углу. Розовый песчаник готов ожить с мгновения на мгновение. Ахтой обтесал камень, долженствующий служить убором. Он раскрашен с подобающей роскошью и мастерством. Я готов показать портрет твой из розового песчаника, и кажется мне, что в глазах твоих увидим благосклонное одобрение трудам нашим. Но можно ли показывать мертвый камень?

Ее величество обернулась к Ка-Нефер:

— Можно?

— Нет,— ответила Ка-Нефер.— В пустыне много мертвых камней. Больше чем достаточно. Разве их показывают ваятели? Даже если все они из розового песчаника?

— Ты слышал, Джехутимес?

— О да!

— Это и мой ответ. Камень, оживленный рукою ваятеля, — достойное зрелище! А мертвый претит глазу.

— Истинно так, твое величество!

Принцесса захлопала в ладоши. Ее маленькое лицо сияло лицом ее матери — молодой и красивой. Принцесса сказала:

— Я люблю живые камни!

— Ребенок,— улыбнулась ее величество.

Ахтой и Тихотеп не спускали глаз с царицы — глаз мастеров, знатоков своего дела. Ахтой смотрел на правую сторону лица ее величества, Тихотеп — на левую. Благоговейно и пристально. Влюбленно, но изучающе. И те, что месили глину в соседних комнатах и что толкли гипс и готовили воду, наблюдали за ее величеством. И каждый глаз был равновелик наблюдательности мудреца, изучающего великую книгу тайн.

Джехутимес все еще стоял перед царицей, точно преграждал ей доступ в мастерскую. Да, он не хотел, чтобы вошла она сюда, не выслушав его объяснений.

— Твое величество, как я говорил, в том углу, под белым покрывалом, находится твой портрет. Он готов. Почти готов. Но это еще не твой портрет. Почему он не говорит твоими словами? Твоим голосом? Почему он не улыбается твоей улыбкой? Почему не приказывает нам? Почему не роняет слов, великих и теплых? Ведь это же твой двойник! Что же с того, что ты из плоти и крови, а тот — из розового песчаника? И песчаник столь же бессмертен, как бессмертен твой облик!

— Ка-Нефер,— сказала ее величество,— не наказывать ли Джехутимеса за преувеличенное мнение обо мне?

— Нет,— ответила Ка-Нефер и с истинно женской непосредственностью добавила: — Это он о себе преувеличенного мнения. Разве ты не чувствуешь?

— В самом деле? — Она скрестила руки на груди. Так поступала царица, когда хотела быть только женщиной — могучей, всесильной, неотразимой в своей красоте. Впрочем, как всякая женщина...

— Нет,— ответил Джехутимес,— уважаемая Ка-Нефер не права. Не совсем права. Я искал тот единственный штрих, который оживит портрет, который заставит бежать кровь — настоящую, алую кровь — под покровом кожи. Я сказал Ахтою: «Найди этот штрих. Он на лице ее величества». Я сказал Тихотепу: «Найди штрих. Он на лице ее величества». Но я не знаю, где он: в уголках ли губ или на овале век? На лбу или на подбородке? Я не знаю где! Я сказал и тем, кто месит глину, и тем, кто мелет гипс, и тем, кто носит воду: ищите штрих, скажите, где он, ибо портрет все еще мертв, а он должен быть живым. И мы решили: ты, твоё величество, пойдешь от ворот до этого порога одна, без нас. Ты будешь думать свое, ты рассердишься за невнимание или обрадуешься тому, что никто из нас не нарушил течения твоих мыслей. Ты будешь сама собою. А мы постараемся подсмотреть этот единственный штрих, одну черточку на великом лице, которая увенчает наши труды великим итогом. Не просто итогом, но — великим! Я стоял здесь — и смотрел на тебя. Ахтой и Тихотеп наблюдали за тобой. Вся мастерская, затаив дыхание, смотрела на тебя. Вот и все!

Ее величество поправила тяжелые серьги. Посмотрела в глаза Джехутимесу. Да, это были глаза влюбленного. Глаза дикой косули — черные-пречерные и в то же время яркие, будто зеркало. В них можно глядеться, как в воду. Этот молодой ваятель все еще не женат. Говорят, и наложниц нету... Неужели все это из-за той самой клятвы?.. Она помнит это так, словно случилось вчера. Помнит, как сказал он: «Тот, кто держит такую руку, должен быть верен ей всю жизнь». На что ее величество ответила: «Разве кто-нибудь бывает верен всю жизнь?» Джехутимес вскинул на нее вот эти — вот эти глаза напуганной дикой косули. Он был очень обижен. Почему не доверяют искренним словам?! Ясно же — всю жизнь! Ее величество улыбнулась тогда своей таинственной, многозначительной улыбкой. Она как бы говорила: «Добрый, добрый человек! Разве на всю жизнь зарекаются?» И он покраснел. Кровь прилила к глазам его. Стал на колени и клятвенно произнес: «Я слово даю — буду верен всю жизнь!» Неужели он сдержит свое слово, данное в мгновения всплеска, в мгновения необдуманного и несдержанного поведения?

И он повторил: «Всю жизнь!» «Встань!» — повелела она, и он безропотно повиновался...

С той поры прошло пять лет. С того самого случая в мастерской. И ваятель Джехутимес все еще не женат, не обзавелся госпожой дома. Может быть, надо освободить его от той клятвы?

Ее величество говорит:

— Я помню твою клятву, Джехутимес.

И она слегка протягивает правую кисть. (В тот вечер он делал слепок ее руки.)

— Я тоже помню, твое величество.

Что же, они поняли друг друга. Ее величество идет туда, к тому углу, где под белым покрывалом портрет из розового песчаника. И на ходу, не оборачиваясь:

— И что же, Джехутимес, ты нашел ту черточку, которую так упорно искал?

Джехутимес обращается с подобным же, но немым вопросом к Ахтою. Тот отрицательно качает головой. Тихотепу кажется, что обнаружил эту черточку, но не очень уверен.

— Твое величество, — вмешивается Ка-Нефер, поспешая за великой госпожой и прижимая к себе принцессу, — они не нашли ее. И тебе еще раз придется побывать в этой мастерской, прежде чем она отыщется.

— Возможно, — соглашается царица, — искусство требует неустанных трудов. Я насмотрелась на это. А раньше мне казалось, что вылепить портрет совсем нетрудно — стоит только захотеть испачкать себе пальцы глиной.

Она стала перед станком. Что же там, под белым покрывалом? Пока она стояла вот так — одно мгновение, — на нее вдруг взглянул его величество. Он был словно бы зол, словно бы негодовал на нее. Но тут же злость его прошла. Отлетела мгновенно. Вспорхнула, как птица. Его величество улыбался, повторяя: «Люблю тебя вечно... Люблю тебя вечно». Она не хотела слышать этих слов. Тогда. А сейчас не могла уже их слышать. Потому что «сейчас» — это уже не «тогда». Вот если бы могли поменяться местами эти два маленьких, коротких слова! Она была моложе «тогда» и все же понимала, что не бывает вечной любви, как не бывает вечной жизни вне набальзамированной мумии, вне саркофага и подземного прибежища для схваченного холодом тела. *Сейчас* она хочет верить в вечную любовь, хочется думать, что есть такая любовь. Ведь и ваятель клянется в вечной привязанности! Или все это ложь, как и сама жизнь на земле, увенчанная лишь бессмертной правдой потустороннего существования на полях Иалу?..

Джехутимес молча снял покрывало с каменного изваяния. Он передал покрывало Тихотепу. И посмотрел на ее величество. Ка-Нефер не сводила с нее своих глаз. Ахтой также... Одна лишь принцесса удивленно разглядывала не эту, а ту, другую мать, у которой розовое, слегка щербатое лицо.

Джехутимес все искал ту черточку. Единственную черточку, которая могла и должна была вдохнуть истинную жизнь в холодный камень. У ее величества слегка вздрагивали губы. Лицо ее было величественно-спокойным. Она смотрела неподвижно. Очень долго. Гляделась, точно в зеркало и словно не понимая, что же случилось...

Она сказала тихо:

— Разве эта работа не окончена?

— Нет, твое величество.

— Что же остается? Надеть каменную шапку?

— Нет.

— А что же?

— Найти черточку. Во что бы то ни стало!

— В противном случае?..

— Портрет останется в этой мастерской, среди неоконченных работ.

— Какой ужас!

— Таково мое правило.

— Жестокое правило! Мне кажется, что он вот-вот заговорит. Этот мой двойник. Неужели он должен раскрыть губы и произнести слова, чтобы поверить, что он живой?

— Нет,— сказал ваятель,— если он пошевелит губами, я прикажу унести его от меня подальше. Ваятель должен вдыхать живую душу в мертвый камень. Однако имеется предел. Переступил его,— значит, погиб. Любой отец и любая мать рожают живых людей. Но ведь ваятелями их не назовешь, твое величество!

Она подумала. Повернулась к Ахтою. Потом к Тихотепу. Она сравнила их — совершенно невольно — с Джехутимесом. И сказала себе: «Этот, с коротким рыжеватым париком,— такой небольшой и такой большой — рожден быть ваятелем. Он отмечен судьбой. Особой. Необычной. Он — избранник ее».

Ка-Нефер разглядывала скульптурный портрет с нескрываемым любопытством. Она призналась себе, что не знала прежде царицу. То есть не видела ее такой, какая она, вероятно, есть на самом деле. Сказать, что ее величество лучше,— нельзя. Утверждать, что ваятель сделал портрет красивее,— тоже нельзя. И оригинал, и этот розовый песчаник жили самостоятельно, отдельно друг от друга. Образ, породивший другой образ, жил в этом мире так, как живут взрослые дети вдали от родителей. Сами добывая себе хлеб насущный, радуясь радостям и горюя в горе. Было ли это открытием Ка-Нефер? Разве Ахтой не говорил ей именно об этом? Говорил. И все-таки она только сей-

час поняла сердцем, что значит, когда достоверный образ и похож и не похож.

Джехутимес сказал:

— Твое величество, вон там, за занавеской, стоят изваяния принцесс. Не желаешь ли взглянуть на них?

— Да, желаю. И даже очень!

Он подал знак. Невидимые руки приоткрыли завесу из плотной ткани. И царица обрадовалась, увидев дочерей, расположившихся на полке из эбенового дерева. Даже покойная Мактатон стояла здесь — живая среди живых.

— О, бог великий, — проговорила царица, — вот они! Они как бы просят ко мне. Да, это они. И головки — все до единой — моих дочерей!

С этими словами она погладила принцессу. Ее волосы, смазанные благовониями Ретену и зачесанные назад. И перехваченные тугой лентой.

— Тебе не кажется, — сказала она Джехутимесу, — что головы эти немного странноваты?

— Да, кажется.

— Так почему же чуточку не подправить их? Разве у тебя нет резца? Или мало помощников?

Ваятель покачал головой: нет — всего в достатке!

— Так что же, Джехутимес?

— Его величество забракует их.

— А я? Мое мнение — разве ничто?

Голова его крепко была посажена на шею. Такая четырехугольная голова на грубой крестьянской шее... Он сказал:

— В этом случае его величество прав.

— А я?

Джехутимес заглянул в ее лучистые зрачки, на которых были изображены сотни иероглифов, одно созерцание которых — истинное блаженство для смертного.

— Твое величество, ты не права.

Она резко повернулась. Так резко, что одеяние ее, не будь оно крепко затянуто в талии, полетело бы в сторону. Шагов за десять. Подхваченное ветром.

Ее величество сияла, как утренняя заря над Восточным хребтом. Ноздри ее порозовели и расширились. Брови, подмалеванные древесным углем, добытым в Та-Нетер, уподобились двум крылам.

— Люблю откровенность! — Царица рассмеялась. — Люблю бесстрашие Джехутимеса. — Она обратилась к Ка-Нефер: — А ты?

Но ведь и Ка-Нефер была женщиной.

— Твое величество, бывают мужчины и побесстрашнее.

— Как ты сказала?

— Побесстрашнее.

— Слово хорошее, хотя и не совсем правильное... Наверное, бывают.

Из-за серой занавески медленно вышел Нефтеруф. Такой могучий, такой сильный, как колонна в храме Атона, подпирающая тяжелую кровлю. Из-под бровей у него вырывались молнии, способные испепелить все живое.

Ее величество первый раз видела его. Совсем не знала его. Он так не походил на этих ваятелей, создающих живые камни.

Нефтеруф поклонился в глубоком — глубочайшем, невиданно изысканном поклоне.

— Кто он? — спросила царица Джехутимеса.

— Твое величество, — поспешила ответить на ее вопрос Ка-Нефер, — если когда-нибудь вам понадобится раб, то более преданного не найдешь. Он ходил по улицам с маленькой обезьянкой. А сейчас месит глину. У славного Джехутимеса.

Ваятель утвердительно кивнул.

— Не кажется ли, — прошептала царица, — что он слишком статен для раба?

Ка-Нефер оглядела Нефтеруфа с ног до головы: «...В нем бурлит сила. Кипит, как вода, падающая с высоты на каменное ложе...»

— Твое величество, он будет преданней собаки.

— Это он говорил сам?

— Нет.

— Откуда же тебе это знать?

— Посмотри на него: эти глаза, сияющие, как молнии, эти губы, дрожащие от благоговения.

— В самом деле? Губы, дрожащие от благоговения?

— Ах, твое величество, может быть, я и ошибаюсь.

Царица лукаво улыбнулась:

— Я бы об этом сожалела.

«...Царица совсем не рассердилась. Она снисходительно отнеслась к этому дерзкому мужчине, глазеющему на ее величество как на равную...»

Царица прошла медленным взором по изображениям своих дочерей и на мгновение остановила его на необычной фигуре Нефтеруфа. Тот стоял, скрестив руки и опустив голову на грудь, точно явился с повинной. Ее величество усмехнулась про себя: «В моем положении каждая живая душа — как-никак опора...»

Джехутимес подал знак Нефтеруфу: тот потянул к себе край занавески, и девичьи каменные головы скрылись. И сам Нефтеруф остался за занавеской. Ее величество свободно вздохнула: уж очень сверкали глаза у этого незнакомца.

— Так он водил обезьяну по улицам? — спросила ее величество.

А принцесса сказала:

— Я хочу посмотреть обезьяну.

— Ты посмотришь, — ответила мать.

— Когда?

— Скоро.

— Завтра?

— Нет.

— Послезавтра?

Джехутимес склонился над девочкой. И сказал ей, смеясь:

— Скоро — это через три дня.

Принцесса кивнула так, как это подобает дочери благого бога — правителя великого Кеми.

— Джехутимес, вернемся, однако, к моему портрету. Черточка найдена или нет?

Ваятель не торопился отвечать.

Ахтой подошел к портрету и очертил круг возле уст, — дескать, вот здесь эта черточка. Тихотеп указал на брови и глаза. И невиданной красоты ноздри...

Эта подсказка заставила ваятеля задуматься еще больше. Он подпер рукой подбородок. И молчал, молчал, молчал...

Между тем царица осмотрела портрет со всех сторон. Внимательно. И вдруг вообразила себя покойницей. Вот лежит она в рассоле натрона, пред-

варительно выпотрошенная парасхитами. Как рыба... А это каменное изваяние стоит в изголовье. И улыбается. Чуть выкатив глаза... А еще — нечто худшее. Вот она, по наущению ее соперницы Кийи и по приказу фараона, зашита в мешок и нежно опущена в воды Хапи. Опущена живая. Ей нечем дышать... Ее убили!.. А это каменное изваяние стоит на своем месте и улыбается. Чуть выкатив глаза. Изогнув шею изгибом красоты...

У ее величества задрожали колени и чуть не подкопались ноги. Однако быстро совладала с собой: нет, она не выкажет слабости! Ни здесь, ни где-нибудь в другом месте. Ни сегодня, ни позже!

Джехутимес сказал, не отрывая глаз от розового камня:

— Твое величество, мои помощники правы. Но остается решить: искать ли эту черточку под глазами, у верхней губы или у нижней?

Ка-Нефер звонко рассмеялась:

— Я полагаю, что совет Ахтоя и Тихотепа не стоит очень дорого, если надо что-то уточнить. Но пусть они не будут в обиде!

— Разве не простят они шутки такой красивой женщине? — проговорила царица.

— Простят, твое величество! — Джехутимес похлопал по плечу Ахтоя, а потом — Тихотепа. — Они способные, очень способные ваятели. Если бы не они — не их глаза, не их руки! — Джехутимес запутался бы в сотне странных загадок, которые каждое мгновение задает нам искусство ваяния.

Это были великодушные слова. Ее величество оценила их. У нее перед глазами пронеслись картины прошлого, когда она стояла здесь, рядом с ним, среди глины и гипсовой муки. Как счастлива была она и каким долговечным казалось счастье! Даже любовь. И его клятвы.

— Пойдем отсюда, — сказала царица Ка-Нефер, беря за руку принцессу. Какая-то неукротимая сила заставила ее обернуться на занавеску: там, в складках ее, стоял Нефтеруф, прекрасный, как изваяние. С черными молниями в глазах...

Что есть человеческая жизнь? Неужели тени на стене, как утверждал некий древний писец? Неужели же блики на воде, как говорил другой? Почему Сорру грустна?.. К чему эти мысли о тенях, о смерти?..

Она лежит полунагая. Ее груди глядят в стороны, как два упрямых ягненка. У него в глазах качаются тени. Те самые, о которых говорит Сорру. Эдак, чуть шевеля губами, говорит. Вроде бы про себя. Она лежит на циновке, и тело ее смуглое, как циновка. А если взять ее пальцы в свои? Что скажет она: неужели и пальцы — тени, круги на воде, миражи в пустыне? Вот эти пальцы, тонкие, как тростинки.

Он говорит ей:

— Я сожму пальцы.

Она молчит.

— Раз ты молчишь — я сожму.

У нее даже брови не качнулись.

— Еще сильнее? Не будет больно?

Глаза ее грустят. Она пьет вино.

— Неужели не больно?

...Разве это вино лучше арамейского? Разве на далекой ее родине не такое же вкусное вино? Даже лучше!..

— Я поломаю твои пальцы...

Как далекий сон встают воспоминания о рыжей земле и голубых реках. Это же было вчера! Всего пять лет тому назад! Неужели не будет предела этому сну?..

— Они сейчас хрустнут, и ты останешься без руки.

Как это люди сходят с ума? Не те, которых кусают бешеные собаки. Не те, на которых нападают бешеные волки, а люди, которых ничто не кусает, кроме клопов или вшей...

— Нет, мне жалко твоих пальцев. Лучше я их поцелую.

Берут человека и отрывают от родного двора, от крова, от земли и везут далеко-далеко. И там — где далеко-далеко — человек сходит с ума. Или просто теряет рассудок, полагая, что так и должно быть. Такой человек превращается в тень, которая на земле в неяркую погоду...

— Если ты не перестанешь мечтать — я рассержусь.

— Я не мечтаю.

— Ты думаешь о своем возлюбленном?

— О ком?

— О возлюбленном.

— Это еще кто?

— Послушай, Сорру, ты хочешь, чтобы я поверил, что ты ни о ком не думаешь?

— Не хочу!

— Что значит — не хочу?

— Это значит, что я думаю. Именно. Крепко. До сумасшествия.

Тихотеп привстает. Немножко отодвигается от нее. Чтобы видеть Сорру получше. Ваятели привыкли отступать на шаг, чтобы лучше примечать разные мелочи на изваяниях из камня или гипса.

— Я спрашиваю: где ты сейчас мысленно? Почему не со мной?

— Сказать тебе правду?

— Да! Да! Да!

Сорру перевернулась на спину. Ее маленькие груди как неспелые груши. Тело ее вроде бы дубленое. Словно в жилах у нее не красная кровь. Розовы только щеки да мочки ушей. И ноги у нее красивые: такие длинные. Ступня тоже совсем розовая. Будто только-только родилась Сорру, будто вовсе не ходила пешком. И ногти на ногах огненные: они накрашены, и они блестят. У нее золотистый лобок. Такой солнечный треугольник под упругим животом. Золото ее подстрижено — жестковатое. Чуть-чуть. Его ладонь ложится на треугольник. Прикрывает его. Совсем. И она шепчет: «Не надо. Я не могу думать». Сорру убирает его руку — и снова светит треугольник, такой озорной. Будто нарисованный живописцем...

— Вот ты спрашиваешь меня, Тихотеп, почему я не с тобой. А где-то далеко. Мыслями своими.

— Да, спрашиваю.

— Вот мы лежим с тобою здесь, у тебя. На твоей земле. А если бы было не так?..

— Как так — не так?

— Мой это был бы дом! Моя земля!

Тихотеп удивился:

- Твоя земля?
- Да. Где-нибудь на оазисе арамейской пустыни.
- Я бы так же горячо обнимал тебя,— сказал он.
- А потом?
- Не понимаю.
- Обнял бы. А потом?
- Любил бы тебя. Думал бы о тебе.
- Не верю! У тебя в голове было бы другое.
- Что же, Сорру?
- Твоя страна! Признайся, что было бы так!
- Верно, я бы умер,— сказал молодой ваятель.
- От грусти?
- Да.
- Ты мечтал бы о своем Кеми?
- Да.
- Вот видишь?! — Сорру уставилась на потолок.

Глаза у нее тоже были голубые. А там, где зрачки, краска чуть погуще. Он называл ее Синеглазкой. Он прижался щекой к ее щеке.

«...Вот так, с прекрасной женщиной, порхающей, как мотылек, лежишь и вдруг убеждаешься, что она мыслит и полна забот. И горя, горя полна!..»

— Послушай, Сорру, а ты не можешь не напускать грусти на себя? Или ты хочешь, чтобы и я вспомнил все невзгоды? Вспомнил для того, чтобы поплакаться, пожаловаться тебе. Я так жаждал этого часа — ты же смотришь куда-то вдаль. В самое небо.

— Ты должен знать, что я из мяса и костей.

— Знаю.

— Что в голове у меня тоже бродят мысли.

— И это знаю.

— Что могу грустить. И даже заплакать.

— Заплакать, Сорру, можешь. Это даже к лицу тебе. Я не люблю хохотуний, которым все трын-трава. Но согласись: грусть не чисто женское дело.

— Мужское?

— Скорее всего!

Он наливает вина и подносит ей. Она не двигается. Тогда он ставит чашу меж грудей. Склоняется над нею и пьет вино. Она говорит:

— Налей и мне.

Он спешит исполнить ее желание. Чаша полна до краев. Ваятель едва держит ее в руках, чтобы не

пролить. Сорру живо садится. Вот прильнула к прохладным краям горячими губами. Очень хорошее вино!

Она говорит:

— Еще!

Тихотеп снова наполняет чашу. Она:

— Еще!

Вино — красная кровь — из одного сосуда переходит в другой, более прекрасный. И губы ее точно приросли к чаше.

— Еще!

Тихотеп озадачен: наливать ли?

— Еще!

Надо подчиниться. Не часто же приходится угощать вином такую красавицу, как Сорру. Однако Тихотеп не перестает спрашивать себя: «Что же будет потом?» Пьяный мужчина вызывал в нем чувство брезгливости. А пьяная женщина? Пусть даже красивая? Нет, не мог он представить себе, как будет выглядеть пьяная Сорру. Она совершенно нагая, очаровательна в этой наготе — зачем же еще и вино?

Сорру показала глазами на пустую чашу. Он сказал: «Нет».

Женщина продолжала упрямо смотреть на чашу.

— Нет!

Ваятель был тверд в своем решении. Почти тверд. Сорру погладила его руку мягкой, как детская рука, ладонью, и он подчинился. Размяк. Нельзя не угодить такой красавице, как Сорру...

Она сделала глоток. Еще глоток. Великая сила таилась в этом вине, и зрачки ее делались все темнее и темнее, а в самой середине их разгорался огонь любви. Жаркий огонь!

Сорру не допила. Отстранила его руку:

— Нет. Вино не помогает.

Волосы распущены. Груды обращены в разные стороны. Губы полуоткрыты, и в них голубой луч луны. Зажатый меж гранатовых губ.

— Я не хочу вина. Я хочу говорить. Мужчины не любят лишних слов. Те, которые приходят в задние комнаты лавки Усерхета. Они платят и требуют ласки. Не желают слез. Вот подружке Май очень хорошо. У нее в голове — ветер. Ей все равно, где жить...

— А тебе, Сорру?

— Мне — нет.

— Разве прекрасный Ахяти — «все равно где»?

— Да.

— Тебе здесь не нравится?

— Нет!

— Весь мир мечтает жить в Ахяти.

— Это только кажется тебе. И вашему фараону.

Я предпочитаю свой родной оазис в каменистой пустыне.

— И грязь?

— Может быть, и грязь. Родную.

— Накинь на себя платье, Сорру. Я не могу разговаривать. Я начну тебя целовать.

Она оделась. О, эта прозрачная, обтягивающая тело одежда, сотканная из лучей солнца, звезд и луны. Теперь уже все равно: одета она или нет...

Солнце садится за желтыми песками Западной пустыни. Тени ложатся на землю — длинные и мрачные. Здесь, среди тенистых деревьев, под высоким навесом простой, но удобной беседки, казалось, стынет высокая тишина. Такая предзакатная. Открывающая дорогу любви и бурным ласкам. И небо в одну масть с ее глазами. И небо высокое, как шатер над миром. Как сама тишина.

— Я ненавижу вас, — сказала Сорру твердо.

— И меня?

— Не знаю. Кеми — враг своих соседей. Ваш фараон жесток и не прощает обид. Я хочу умереть!

Она не плакала. На глазах ее — ни слезинки.

Он смущен. Не знает, куда девать руки. Всего самого себя. И краснеет. И бледнеет. Что он слышит? Какие слова?

— Ваш фараон превращает в рабов таких, как я. Он отрезает руки павшим врагам. Он принес горе нашему оазису.

Тихотеп слушает ее речи. Он терпелив. Сносит обиду, которую никогда не причинял другим. Его ругают за то, в чем неповинен. Она дышит ему в лицо. Бросает колкие слова. В ней просыпается азиатская тигрица...

Она говорила долго. Пока не зашло солнце. Не прикасаясь ни к вину, ни к фруктам. Говорила о доброте, о терпимости, о любви к маленьким оазисам и их

обитателям. Призывала к пощаде и снисходительности. Но кого? Тихотепа, который не оскорбил ни одно каменное изваяние, не то что живую тварь.

Слова ее казались молитвой, обращенной к богу. Но какому? Богу Кеми или арамейскому? Какому богу? Она говорила о душах, широких, как море, как Великая Зеленъ, как небо. О сердцах, гул которых краше звуков флейты, ибо они, эти сердца, очень добрые. Казалось, не замечала его. А может быть, позабыла о его существовании? Эта маленькая женщина из лавки Усерхета...

Прошло много времени. Слова ее текли, как в чистом роднике, — лаская слух, будоража сердце. Он время от времени присматривался к ней — маленькая Сорру превратилась в мудрую женщину. Неожиданно пришла кощунственная мысль сравнить ее с царицей. Он тут же отогнал от себя эту мысль, ибо сравнение не шло на пользу ее величеству... Эта маленькая женщина из лавки Усерхета...

Она замолчала.

А он ждал.

Сорру сидела, обхватив руками колени. Которые больно давили на непокорные груди.

Тихотеп ждал. Кончила? Не кончила? Собирается с мыслями? Нет, она выговорилась. Сорру опустила глаза. Опустила голову. И волосы ее коснулись земли.

Он начал осторожно. Скорее всего неуверенно. Знал неплохо все, что относилось к ваянию, к искусству вообще. А тут волей-неволей пришлось говорить о войне и мире, о людях различных стран. Тихотеп почувствовал скудость своего ума. Нет, он не имел представления об арамейцах, их земле и жизни. Никогда не видел в глаза страну Джахи. Остров Иси знаком ему только понаслышке. Та-Нетер — далеко. И он не подымался выше первого порога. Не воевал. Не был ранен. Что же он мог сказать? Ей, которая оторвана от родного очага, от матери и отца, от братьев и сестер? Которая познала унижение под чужим небом, голод и холод?

И он стал припоминать слова его величества, которые слышал, о которых рассказывали ему. Взял ее руку в свою, поглаживая запястье — нежное, как лепесток полевого цветка.

— Сорру, я хочу сказать тебе нечто, и у тебя откроются глаза. Это слово будет правдивым, ибо не раз слышал от его величества. Постараюсь отметить изъясн в твоём рассуждении. Сделаю все, чтобы разумом поняла меня, поняв меня — стала снисходительной к той стране, где обрела кров.

— Какой кров? — едко спросила Сорру.

— Обыкновенный.

— Ты называешь кровом лавку Усерхета?

— А что?

Сорру усмехнулась:

— Что бы сказал ты, если бы на моем месте оказалась твоя сестра?

— Моя сестра?

— Да. Родная. Пусть даже дочь твоего дяди. Что бы ты сказал?

— Я не думал об этом.

— А если поразмыслишь?

Она была настойчивой. Обхватила руками его шею, привлекла к себе Тихотепа — совсем близко, заглядывала ему в глаза, как в щелочки, через которые ей будто мог открыться новый мир.

«...Как же я не сообразил, что люди есть люди во всей вселенной? Вот еще один пример: Сорру! А ведь казалась она беззаботной пташкой...»

— Сорру, я скажу сейчас то, что скажу: вот уж десять лет Кеми не ведет войны...

— Кто тебе сказал? — Она не разжимает рук, которые вокруг его шеи.

— Это знают все.

— А я?

— Что — ты?

— Ты говоришь «все», — значит, и я. Но я свидетельница другому: война не прекращается! Она кипит на границах Кеми...

— На нас нападают... Вот и война, значит...

— За что же ненавидят вас?

— Кто ненавидит?

— Все!

— Я могу сказать одно: ни один наш воин не перешел рубежи по приказу его величества. Кеми подает примеры благородства. Соседи наши уважаемы нами, словно это — народ Кеми. Имеется строжайший

приказ о том, чтобы мир и дружба царили на границах Кеми с сопредельными странами. Это хорошо известно — можешь мне поверить!

— Так почему же гибнут люди и не прекращается звон мечей и ржание обезумевших коней?

— На нас идут хетты, князя Ретену, ваши князя, царьки Джахи, князя Эфиопии. Это они теснят наших воинов. Поверь мне, Сорру! Вот мнение фараона: он не желает войны с соседями!..

— Тогда об этом должны быть уведомлены соседи.

— Это уже сделано!

— Когда?

— Десять лет тому назад. И пять лет назад. И три года назад. И три дня назад.

Она отпустила его. Даже отстранила от себя. Правда, не грубо, ибо он казался сущим младенцем. Который взирает на мир пустыми глазами. Она сказала ему об этом своем ощущении. Тихотеп, к удивлению Сорру, согласился. Ухмыльнулся. Эдак горько. Подумал и сказал:

— Наверно, ты права, Сорру. День и ночь я думаю о своем ваянии. Даже когда сплю, мне кажется, что в руках у меня глина и что мну ее пальцами. Только несколько дней тому назад, увидев тебя, стал думать и о тебе.

— Как о глиняном слепке?

— Почти! — Его ответ был искренен. И это понравилось ей.

— Мне по душе твоя откровенность. Я это почувствовала еще там, в лавке... Так что же ты думаешь обо мне?

— Ты у меня вот здесь! — Тихотеп ткнул пальцем свой лоб.

— А Май?

— Что — Май?

— И она там тоже?

— Только ты у меня вот здесь.

— Только, только, только?

— Да.

— Нет, ты отвечай мне: только, только, только?

Он захохотал. Чтобы доставить ей удовольствие, воскликнул:

— Только, только, только, только!

— Вот это в моем вкусе!

Ваятель обнял ее. Потом, скользя по ней, опускался все ниже и ниже и припал губами к ногам. И он пил их, будто воду в Западной пустыне. Жадно, жадно! И он лежал у ее ног, как человек, напуганный воем песчаной бури и ищущий защиты на сухой земле. И, в приливе чувств, прошептал:

— Сорру, я очень люблю тебя. Ты оказалась умнее меня. Глаза твои видят дальше меня. Уж я, уж, живущий в земле!

Она умна, но она — женщина. Сорру говорит:

— Ты правду сказал о Май?

— Сущую!

— Май красива. Она умеет приворожить. Никто не избегнет ее чар, если она того захочет. Девять заклинаний ее способны поразить в самое сердце.

— Не верь этому, Сорру.

— Готова не верить. Всем сердцем. Но я видела все сама. Хочешь, она и тебя приворожит?

— У нее сил неостанет.

— Май училась у одной вавилонянки. Старой такой. Беззубой. Она полюбила Май, как дочь. Ты должен дать слово, что будешь остерегаться ее.

— Даю!

— А клятва? Где же клятва?

Тихотеп поклялся. Хорошее настроение вернулось к нему. Он взял ее за подбородок, повернул голову «в три четверти» и залюбовался. Как ваятель. И как мужчина.

— Вот лицо, которое я хотел бы высечь в камне. И ты будешь стоять рядом с царицей. Я это могу сделать...

— Чтобы я стояла рядом с нею? — перебила Сорру.

— Да.

— С живою?

Ваятель как бы пришел в себя. Прищурил глаза, получше разглядывая Сорру.

— А ты хотела бы стоять рядом с живою?

— Да. Это моя мечта.

— Зачем?

Он поворачивает ее голову чуть вправо, потом — чуть влево.

— Ты создана, чтобы жить в камне... В розовом камне, Сорру... Если свет будет падать с этой стороны, освещая твою левую щеку, красота твоя утроится. И камень будет равен слитку серебра. А может быть, еще дороже.

— Что же может быть дороже серебра?

— Ты! Ты дороже!.. А ты любишь?

— Не поняла — кого?

— Кого-нибудь еще?

— Не знаю...

— Я все вижу... Нет, пожалуй, лучше, если свет будет справа... Слышишь? — я все вижу...

— Я только с тобою могла поговорить о своем горе.

— Правда?

— Да, правда.

— И нос у тебя изумительный. Я такого еще не встречал... Почему со мной? Я внушаю доверие?

— Да.

— Но я же такой, как все...

— Я хотела загрызть тебя, когда ты лежал на мне. Так, как это делают волки.

— Значит, я такой, как все.

— Однако же ты жив. Не загрызла. Ты мужчина, но чуточку не такой. У тебя — душа! И не говори мне больше ни слова. Слышишь? Ни слова! Дай вина... Раздень меня. Можешь порвать одежду. Она как трава. А может, еще дешевле. Я могу ходить нагой. По городу. Если ты прикажешь... Ну, поцелуй...

СОПРАВИТЕЛЬНИЦА

Маху и Пенту явились к его величеству без промедления. На фараоне была парадная одежда, которая служила ему в особо торжественных случаях. Под бело-красной короной Верхнего и Нижнего Кеми и с золотым уреем на лбу царь казался выше и статней. Как говорили царедворцы, она очень ему шла.

По левую руку от него стояла Кийа — наложница (так называли ее злые языки, правда, втихомолку, шепча на ухо друзьям, весьма доверительно). Взгляд ее больших и чуть раскосых глаз, казалось, застыл

в изумлении. Она словно ждала какой-то опасности, но не знала точно, откуда придет эта опасность.

Увидела Кийа царедворцев, и ноздри у нее раздулись: то ли от гнева, то ли от внутреннего напряжения, усилившегося оттого, что вошли эти двое — Пенту и Маху.

Нет, ничего хорошего не ждала от них. Если бы это зависело от Пенту и Маху — Кийю давным-давно сгноили бы где-нибудь в Синайской пустыне (там, говорят, целые поселения прокаженных). Пенту и Маху в глубине души своей — за царицу, против Кийи и, — кто знает! — может, и против самого фараона. Никто этого не может знать доподлинно: пока пальма здорова и цветет — все с благоговением взирают на нее, но достаточно... Вот именно: что будет потом, когда пальма рухнет в один из несчастнейших, черных дней?..

Фараон скрестил руки на груди. Выражение лица его сосредоточенно, словно никого и не замечает в этой комнате.

Маху и Пенту согнулись в глубоком, почтительнейшем поклоне. На миг закрыли лица ладонями в знак того, что перед ними — истинное божество, излучающее ослепительный, хотя и невидимый свет.

Его величество выдержал паузу. Она получилась дольше обычной. (Это значит, что дело — нешуточное.) Что же он задумал?

«...Неужели Маху ничего не смыслит? Он сопит, точно гиппопотам в болоте. Затея его величества ясна и не требует лишних объяснений: полная отставка царице! Ее место займет вон та, нахохлившаяся, как воробей в непогоду...»

«...Пенту или с ума спятил, или притворяется полумумным. В самые крутые времена Пенту прикидывается немощным или несведущим в делах человеком. Однажды прикинулся даже глухим. Это очень выгодно, когда человек все может, когда притворство его не вызывает особых подозрений. Сбылось то самое, что шепотом разносилось по дворцовым коридорам. Фараон только подумал, а уж языки разносят его мысли. Такова премудрость жизни. Пробил час: на смену ее величеству идет другая — ее величество Кийа...»

Фараон поглаживает бороду, которая приклеивается к подбородку в торжественных случаях.

Приклеивается или подвязывается — это зависит от прихоти его величества...

«...Вот они прибежали на мой зов, словно собаки. И ни одна из них не уступит другой кости, которую брошу им. Брошу, если на то будет моя воля. Догадались ли они о том, что от них требуется, или придется растолковывать им совершенно очевидное, понятное даже слепцу?..»

Только Кийа, казалось, ни о чем не думала. Глаза ее были устремлены на двух стариков — толстого и тощего. О боже! — неужели подобные развалины могут приносить пользу такому огромному государству, как Кеми? Зачем его величество держит их возле себя, вместо того чтобы поставить под свое начало молодых — полных сил и решимости, отчаянных в своем упорстве и трудолюбии?..

Фараон спросил:

— Что слышно на Севере, Маху?

Север — это хетты... Это — Митанни. Это — Ретену. Это — Джахи. Север — это непрерывная война — от сотворения Кеми до этих дней, от фараона Нармера до его величества — жизнь, здоровье, сила! Север нынче — это позор для войск Кеми, отступающих, подобно льву, который на брюхе: с рычаньем, лязганьем зубов. Поэтому разговор о Севере — сугубо конфиденциальный...

— Я спрашиваю, Маху, что на Севере?

Его величество грозно приказывает. Его величество может выйти из себя. Через мгновение. И даже не заметишь этого мгновения. Тогда пеняй на себя!

Маху посматривает на Кийю, эдак многозначительно, — дескать, можно ли при ней?..

— Ты слышал, Маху?

— Да, твое величество.

Кийа скашивает взгляд на него — этого тучного человека, из которого — дай срок! — выпустят лишнее. Вот так: перетопят, словно рыбу на жир, и — все!..

Пенту приходит на выручку неуклюжему Маху:

— Твое величество, в арамейской стороне было совершено нападение на наши крепости...

— Как?! — Его величество, кажется, никого не видит. — Как?! На все крепости сразу?

— Нет, на две. Которые близ горы, называемой Муффа.

— Маленькая или большая гора?

— Она тянется с севера на юг. Здесь — два сехена от подножия к подножию. А с востока на запад — половина сехена.

— Гора небольшая, — говорит Кийа.

Фараон согласен: небольшая, можно сказать — горюшка. Он кивает ей.

Маху вроде бы приходит в себя. Дар речи возвращается к нему. И он спешит — очень спешит! — сообщить фараону нечто важное.

— Твое величество, я получил сообщение: наши войска в Ретену отступают. Иные полки бежали... в беспорядке.

— Как это — бежали? — Кийа хмурит густые, жесткие брови.

— Назад бежали.

Его величество обращается к ней:

— Когда речь идет о войске, никогда не говорят бежали вперед. Если даже воины наступают стремглав. Касаясь вражеских спин острием своих копий.

— Да, твое величество, это теперь я усвоила.

И ее пухлые — немного бесстыжие — губы сжимаются в узкую полоску...

«...Эта буйволица еще покажет себя. И мы помянем добрым словом суровую в соответственное время, но справедливую во все годы царицу нашу Нафтити...»

«...Так ведет себя царица, которая процарствовала, по крайней мере, десять лет...»

«...Молодчина Кийа! С ними только так и надо обращаться. Слуги любят указующий перст хозяина. Слуги обожают царя, снесшего головы многочисленным подданным. Вот так, только так, дорогая Кийа — услада души моей, опора плоти моей, огонь, согревающий стынущую кровь мою!..»

Маху продолжал с воодушевлением, приходящим к царедворцам не сразу, но понемногу. Такое воодушевление исчезает не скоро. Следы его остаются на годы. Царедворец в этом случае быстро наживает на спине горб от многочисленных знаков преданности господину и полного раболепия.

— Твое величество — жизнь, здоровье, сила! — Небольшой наклон головы и в сторону Кийи. — На самом берегу моря — чуть повыше линии, если ее провести от Кодшу до берега, — наши воины тоже отошли...

— Не устояли под натиском врага?

— Боялись попасть в засаду.

— Хороши вояки!

— Твое величество, здесь пала тысяча воинов.

— Каким образом?

— Хетты наседали.

— Как — уже и наседали?! Ты же сказал, что наши опасались засады.

— Засада сопровождала наступлению врага. Один замысел его тесно переплетался с другим.

У фараона задергался подбородок.

— Маху, сколько раз предупреждал тебя изъясняться простым, ясным языком.

Маху подобострастно склонился.

— Сколько раз? — спрашиваю.

— Много раз.

— Да, именно много раз. Я приказывал отбросить язык пыльных свитков. Посмотрите в окно, и вы увидите прекраснейшее из творений Атона — город его солнцеликости, великий Ахяти. Дворцы, построенные так, как никогда не строили их в Кеми: быстро — точно молния блеснула, красиво, будто солнце застыло на его стенах, волшебным, словно лунные лучи превращены в камни — белые, молочные. Три года — и город Ахяти царственно смотрится в Хапи! Разве с помощью языка, подобного твоему, одолели бы мы постройку в столь сказочный срок? Тебя бы не поняли строители Ахяти, они засмеяли бы тебя и вместо дворцов и храмов соорудили бы что-нибудь несуществующее.

— Твое величество, это истина! — говорит Кийа.

— Истина, истина! — подтверждает Пенту.

Маху вот-вот бросится наземь — где-то между его величеством и Кийей; даже не совсем понятно — перед кем? Еще мгновение, и он облобызает маленькие ноги стройной, горячее, как кусок солнца, женщины...

— Прости, великий владыка Кеми, — прохрипел Маху. — Прости!

Фараон махнул рукой. И, словно бы никого не замечая у себя под ногами, сказал Кийе:

— Не кажется ли тебе, что хетты слишком наглеют?

— Это так,— ответила Кийа.

— Видит светозарный Атон: я сознательно избегал столкновений с хеттами. Я отдал приказ не тревожить набегами Ретену. Я сказал Хоремхебу: с нашей стороны ничто не должно огорчать эфиопов. Ливийцам я протянул руку дружбы. Скажи мне: было все это или мне так кажется?

— Было!

— В таком случае не странно ли, что за всю покладистость платят мне неблагодарностью? — Фараон сохранял внешнее спокойствие, смешанное с торжественностью, словно перед ним стояли не двое — Пенту и Маху, но сотня царедворцев. — Мне понятна ярость жрецов Амона. Я не доставил им никакой радости. Никакой! Я разрушил их бога, — куски летели в стороны! Священные камни стали наподобие бараньих рогов — теперь никакой силой их не выпрямишь. Стерто, стерто навсегда ненавистное имя!

Кийа слушала фараона благоговейно — будто впервые увидела его, словно пыталась запечатлеть его лик пред долгой разлукой.

«...Она пойдет далеко, эта женщина. Маху быстро сообразил, как и когда следует пасть наземь. Маху — человек умный. Искушенный. Он видит, что лежит на глубине трех локтей под землей. Его величество сделал свой выбор. Семнех-ке-рэ придется ждать. Может быть, очень долго — до полей Иалу...»

«...Не могу уразуметь: на что надеется этот Пенту? Ведет себя так, словно сейчас войдет сюда ее величество, чтобы сказать свое слово. Но разве реки текут вспять? Его величество не признает перемен, когда решил что-либо. Он идет напролом, точно бегемот в камышовых зарослях...»

— Я предложил мир соседним народам. Всем! А они воспользовались предложением? Я спрашиваю: воспользовались?

Кого он спрашивал: Кийю, Пенту, Маху? Все трое молчали.

— Я спрашиваю: воспользовались?

Кийа сказала:

— Нет.

— Я спрашиваю: воспользовались? — Фараон выисил голос.

— Нет,— ответил Маху.— Не все.

— Я спрашиваю: воспользовались? — Фараон сказал еще громче, нетерпеливее.

— Они это сочли твоей слабостью,— проговорил Пенту совсем тихо.

— Слабостью?

— Да.

— Это почему же — слабостью?

Теперь стало ясно, что его величество желал услышать голос Пенту, желал знать его мнение.

— Твое величество, человек устроен так: он хорошо понимает силу и плохо разбирается в доводах разума. Все государства, кроме Кеми, управляются людьми. Следовательно, человеческие слабости свойственны их правителям. Кнут в руках погонщика — прекрасный довод. Чего нельзя сказать о добрых словах, о хороших побуждениях души. Твои божественные чувства ко всем сопредельным странам должны были быть оценены должным образом. Они должны были внушить уважение, благоговение и страх. Но этого не случилось.

— Почему же, Пенту? — На щеках у Кийи вспыхнул румянец, ноздри расширились неимоверно, и казалось, дыхание ее стало неожиданно горячим, как огонь.

«...Вот разговаривает Пенту с их величествами, и я имею возможность посмотреть со стороны. Становится очевидным: ее величество — та, которая в Северном дворце, — уже не ее величество. Будет ли Семнех-ке-рэ соправителем? До сегодняшнего утра можно было сказать: пожалуй. Теперь же — яснее ясного: нет!.. Знает ли об этом Хоремхеб? Если да, то почему не предупредил меня? Если нет, то следует ли предупредить его? Непременно. И поскорее!..»

— Я отвечу тебе,— сказал Пенту с полупоклоном (шея почему-то не сгибалась перед Кийей).— Великодушие и доброе сердце его величества — жизнь, здоровье, сила! — были истолкованы превратно. Да, пре-

вратно! И вот враги наши идут вперед... Медленно, но верно.

Фараон дернул плечами. Словно его напугали.

— Почему же «верно»? Я понимаю «медленно». Но при чем тут «верно»?

— Я сказал в том смысле, как понимают они.

— Это они тебе сообщили?

— Косвенным образом. Кто же об этом станет говорить прямо? Ведь Кеми, вedomый твоим величеством, корабль непобедимый, благоденствующий и крепкий остовом своим.

— Да, это так, Пенту.

Маху сказал:

— Они еще не уразумели главного: не надо выводить из себя твое величество.

— О! — воскликнул фараон. — Маху высказал то, что у меня — на самом кончике языка. Верно: меня они еще не знают! Но вывести из себя могут. Вот тогда-то я призову к себе Хоремхеба и скажу ему: вот что, мой верный военачальник, бери-ка меч и иди походом на такие-то страны. Сверни шеи их правителям, сровняй с землей города их, сожги нивы, забирай себе их жен и детей! Как вы думаете, что ответит Хоремхеб?

Кийа сказала:

— У него заблестят глаза от радости, ибо руки у него давно чешутся.

Маху добавил к этому:

— Не будет для него приказа милее. И он измолотит своих врагов по слову твоего величества.

Пенту согласно кивнул:

— Верно, так будет.

У фараона затрясся подбородок, и он поднял вверх правую руку:

— Мои враги поймут свое горе. Увидят его воочию, когда будет дело непоправимо!

«...Что с ним? Что с ним? Его заворожила эта маленькая женщина, полная страсти. Нет, это не тот фараон, который был год назад, полгода назад, даже вчера. Маху стоит, широко раскрыв от удивления глаза. Он ушам своим не верит. Нет уже великой царицы! Она в своем дворце. Она женщина, и не более. Что же

теперь будет с Кеми? С кем поговорить об этом? И кто пожелает говорить?..»

«...Пенту молчит. Он удивлен. Поражен, точно из угла этого зала на него налетел лев. Пенту многоопытен. Пенту мудр. Как бы с ним перемолвиться словом? Сегодня же...»

«...Вот стоят два царедворца перед его величеством, и языки у них ворочаются медленно, точно после многих выпитых чарок крепкого пива. С большой неохотой поворачиваются в мою сторону. Но они знают всё, только не признаются. Их собачий нюх чует все, но собаки эти не скулят и не визжат от радости. Эти хитроумные царедворцы прикусили языки до поры, до поры, до поры...»

— Что же молчишь ты, Пенту?

— Твое величество, я думаю.

— О чем же?

— О твоём справедливом гневе.

— И — что же?

— Мудрость твоя, о царь, непогрешима, и воля твоя словно камень базальт. Я бы хотел поразмыслить еще немного, прежде чем скажу то, что хочу сказать.

— А сейчас не можешь?

— Мне надо нанизать песчинки мыслей на невидимую нить моих рассуждений. Чтобы мог изложить их твоему величеству без запинок, ибо стар становлюсь и слова исчезают из головы, подобно листьям в пору увядания.

Фараон сощурил глаза до предела. Они превратились в одну узкую линию, выведенную рукою скриба. В эти мгновения он обычно сверлил взглядом собеседника, пытаясь проникнуть в тайники его души. Он потряхнул головой:

— Ладно! Перенесем этот разговор на другое время. Ты, Пенту, лучше обдумай свою мысль. И посоветуйся с Хоремхебом.— Фараон бросил взгляд на Кийю. — Поговори с ним. Он человек храбрый... Сейчас же — вот что: ее величество Кийя будет моей соправительницей. Когда и как мы сообщим об этом из Окна явлений? Я бы хотел услышать ваш совет.

Пенту склонил голову в знак покорности. И так, не подымая ее, сказал:

— Твое величество, воля твоя безгранична. Одно дунновение уст твоих...

— Перестань! Говори прямо.

— Твое величество...

— Прямо!

Пенту поднял голову, чуть даже запрокинул ее назад. И — будь что будет! — выложил свою краткую мысль:

— Это невозможно, твое величество. Соправительница должна быть объявлена царицей ритуально. Согласно заведенному порядку...

Фараон перебил его:

— Кем и когда заведенному? Я такого порядка не заводил. Ибо впервые назначаю соправительницу.

— Воля твоя...

Фараон остановил его мановением руки:

— Нет, нет, я хочу, Пенту, выслушать все твои доводы, а может быть, и откровенные возражения.

— Для этого, твое величество, я должен знать немного больше того, что знаю.

— Ты знаешь все!

— Я?

— Да, ты.

Пенту, по обычаю, перенятому у вавилонян, приложил руку к своему сердцу: дескать, говорю от души, чистосердечно:

— Неужели, твое величество, в таком искусстве, как управление великим государством Кеми, я должен руководствоваться догадками или подсказками моего сердца? Если у меня требуют советов, то не должен ли я досконально разобраться в том деле, которого касаюсь? Наше государство требует железной руки. Однако это вовсе не значит, что должна направляться рука людьми малосведущими. Ты, твое величество, есть светоч, освещающий деяния всех и каждого в отдельности. Мы, твои недостойные слуги, призваны сообщить твоим божественным мыслям и повелениям тот единственно возможный смысл, который делает их зримыми и ощутимыми. Короче: мы — землекопы, делающие маленькое, но весьма нужное дело. Согласно слову твоему.

— И что же из этого следует?

— Я, твой верный слуга, обязан понимать своим маленьким умом...

— Разве ты не понимаешь?

— Не все, твое величество, не все.

Кийа неожиданно приняла сторону Пенту:

«...Этот старик не такой уж непонятливый и несчастный слуга, каким представляется. Но в самом деле, почему бы не сказать ему все, чтобы он понял все? Чтобы без оговорок. Как известно, эти оговорки очень важны для чиновников в их игре, которую ведут повседневно...»

— Твое величество,— сказала вслух Кийа,— Пенту прав в одном отношении: он хочет услышать из твоих уст нечто, что рассеет его сомнения.

— Истинно, истинно!

— Ты думаешь? — проговорил фараон, недоверчиво скашивая глаза на царедворцев.

— Да,— твердо ответила Кийа.

Фараон раздумывал всего одно мгновение: как всегда, когда хотел сообщить давно предрешенное, давно созревшее в его беспокойной голове. Затем порывисто обнял за плечи Кийю и провозгласил тихим, но властным голосом:

— Объявляю вам, Пенту и Маху, что отныне она становится моей женой — притом единственной — и объявляется соправительницей моей на троне священном Верхнего и Нижнего Кеми. Пусть моя безграничная любовь к ней побудит вас обоих, а через вас и всех моих слуг к полному и безоговорочному возвеличению ее величества Кийи. — Фараон передохнул и спросил: — Что я должен сказать еще или сделать для того, чтобы ни ты, Пенту, ни ты, Маху, больше не ссылались на свою неосведомленность?

Фараон и на этот раз показал себя человеком решительным, лишаящим себя всех путей для отступления и мгновенно вносящим ясность в любую затею.

Пенту и Маху склонились в знак безграничного повиновения. Его величество выждал немного, а потом сказал:

— Теперь вы знаете всё, и вам поручается соответственно обставить появление ее величества — моей соправительницы — в Окне явлений.

Его величество, не выпуская из объятий Кийю, направился к двери, ведущей к внутренним покоям. Когда умолкли шаги, царедворцы стояли еще некоторое время без движения, как бы пораженные величием происшедшего. К тому же они чувствовали на себе тайные взгляды: за ними, несомненно, наблюдали.

Пенту поднял руки вверх, к потолку, и воскликнул:

— О великий Атон, храни для нас всемогущего и мудрого владыку нашего!

В голос ему повторил эти слова и Маху, присовокупив:

— ...Всемогущего, всемудрейшего, благого бога нашего!

И оба поцеловали следы ног его величества и следы ног ее величества. И, счастливые, попятились к выходу, словно бы царь и царица все еще стояли перед ними.

В СЕВЕРНОМ ДВОРЦЕ

Принцесса Меритатон нашла царицу тихо грустящей. Она сидела в самом углу любимой комнаты, расписанной по рисункам Бека. Это был сад, благоухающий сад в месяц эпифи. На стенах — сочная зелень. На потолке — зелень, сквозь которую проглядывает небесная просинь. А на полу — вода: живая вода, переливающаяся голубыми и бесцветными волночками. Словно кинули камешек в этот чистый пруд. А в воде — рыбы: угри, карпы, сомы, толстомордые и злые как азиаты, щуки. Даже в знойную пору здесь, в этой комнате, кажется прохладно: так живо, так натурально сработали живописцы этот сад из мертвых красок.

Царица сидела на циновке, поджав ноги и облокотясь на расшитую золотом подушку. Она была красивой, как всегда, и внешне спокойной, как всегда.

Меритатон, которой уже минуло пятнадцать, кивнула мужу, стоявшему за порогом, и они вошли чуть ли не на цыпочках. В комнате было темно — горел всего лишь один светильник. Стояла сумеречная тишина, когда в ушах звенит от тишины и стучит сердце от тишины.

Принцесса обняла мать и опустилась рядом. Семнех-ке-рэ уселся на низенькую скамью. Молодой человек, казалось, только что перенес тяжелую болезнь: лицо его было бледным, глаза — добрые мальчишечьи глаза — лишены блеска. Широкие скулы и правильной формы нос отражали словно бы два начала: мужское и женское, суровое и нежное.

— Мама,— сказала принцесса, касаясь рукой руки царицы,— не надо... Не грусти...

— Не могу,— прошептала мать.

«...Дочь пытается успокоить мать. Кому это под силу? Разве ее величество нуждается в утешении? Она слишком велика для этого. Она слишком сильна для этого...»

Семнех-ке-рэ припомнил случаи, когда царица сама ободряла других, даже фараона. Именно царица внушала его величеству твердость и решимость, когда порою они покидали болезненного фараона. Неужели же настал черед, чтобы утешать ее величество, говорить ей слова, которым никто не верит и которым нельзя поверить? Сокол всегда должен быть готовым к падению. С самой большой высоты! Падение, а не взлет делает сокола соколом, а иначе это — воробей, купающийся в пыли. О чем говорить с царицей? Или сидеть вот так, точно перед тобой покойник?.. К счастью,— как это бывало не раз — пришла на помощь слабая и могучая женщина. Ее величество. Она спросила:

— Что во дворце? Что говорят?

— О чем, мама?

— Обо мне, например.

Меритатон полагает, что надо держаться только правды, даже в эту тяжкую минуту. Этому учил ее отец. Так воспитывала дочерей царица.

— Многие сочувствуют тебе. Но прилежно падают ниц перед соправительницей...

Ей не хотелось произносить это ненавистное имя: Кийа! Царица уставилась в одну точку — листочек винограда, такой свежий и яркий. Что она читала на нем? Чей ей виделся образ?..

— Нет,— сказала она.

— Что — «нет»?

— Никто мне не сочувствует. И мне этого не надо! Гроздь, упавшая наземь, — уже не виноград.

— Мама...

— Выслушай меня до конца. Всякое сочувствие к себе — отвергаю! Сочувствовать надо не мне, но Кеми. Я думаю о том, что дальше. Надо думать о боге, великом Атоне. Он должен жить в сердце всего Кеми незыблемо. Надо думать о том, что́ будут делать наши воины на границах Кеми? Надо думать о том, что́ собираются делать служители Амона, не сложившие оружия. И о том — а это главное, — каково течение мыслей его величества. И соправительницы.

— Мама, что бы ни говорили, — дворец на твоей стороне.

— Стены?

— Почему — стены?

— Фундаменты? Лестницы? Окна? Двери?

— Я говорю о вельможах, мама.

— Они как молодая пальма: дунет ветер — и они склоняются. Но так же легко поднимаются и так же легко изгибаются в другую сторону. Нет, дочь моя, не напоминай о вельможах!

— Но я сама слышала от них...

— Они не побоялись сказать об этом?

— Нет.

— Но это очень дурной знак. Поверь мне, ничего хорошего! Кеми испокон веку держится на железной дисциплине. Без этой дисциплины — нас ждет гибель. Слово, сказанное в Ахяти, Мен-Нофере или Уасете, должно звучать так же отчетливо в Та-Нетер, в Ретену или в Ливийской пустыне. Власть фараона непререкаема. Она слишком божественна, чтобы о ней могли иметь суждение — а тем более осуждать ее под любым предлогом — простые смертные. И даже вельможи! Я предупреждала об этом твоего отца. И не раз. Но он, оказывается, слушал другие слова. Эта женщина слишком много на себя берет!

— Что же теперь будет, мама? — Меритатон с сожалением и сочувствием смотрела на царицу. Она не могла позволить себе большего — это могло бы обидеть мать. Та мужественно переносила удар, который, в общем-то, оказался для нее в какой-то степени неожиданным. Она отдавала себе отчет в том, что

отношения с фараоном складывались все хуже и хуже. Частично это приписывала интригам Хоремхеба и его партии. Можно было предположить, что фараон объявит своим соправителем Семнех-ке-рэ. Весьма вероятно, что отношения их — чисто семейные — тоже подверглись бы каким-то изменениям в сторону ухудшения. Со временем. Но так безрассудно порывать с нею? И так необдуманно объявлять соправительницей эту Кийю? Ведь все это волей-неволей ставит под сомнение всю политику — как внутреннюю, так и внешнюю! И не может не поколебать божественное имя Атона. То есть фараон наносит собственноручно удар, последствия которого скажутся, может быть, не сразу, но скажутся непременно. Или он полагает, что имя Амона окончательно забыто? Или полностью вывелись жрецы, ненавидящие фараона? И жрецы, и их богатые покровители...

Семнех-ке-рэ предложил царице свои услуги. Вроде посредничества, что ли. Как-никак он не очень далек от трона.

— Я переговорю с его величеством. Не поверю, что все это он делает в болезненном припадке. Ведь припадок проходит! Если так, то его величество, наверное, объяснит все происходящее. Мы спрашиваем друг друга: почему Кийя и кто она такая?

— Нехорошо получилось, — сказала принцесса. Она сжала руку матери. Та ответила ей тем же.

— Наша дорогая царица очень хорошо рассуждала только что о делах государственных. Соправительница Кийя — вызов всему миру.

— Не только вызов, — поправила царица. — Это такое действие, которое может подточить государственные устои...

— Притом незаметно.

— Исподволь!

— Тогда, спрашивается, дорогая царица, к чему вся эта невероятная борьба в течение семнадцати лет? Страдания, муки, трата сил, здоровья, если все можно потерять за несколько дней?

Царица скорбно пожала плечами. Она сказала:

— Расскажи мне: что было сегодня?

Семнех-ке-рэ посмотрел на жену. Ему показалось, что она утвердительно кивнула, — дескать, рассказы-

вай. Молодой человек помялся немного: скрывать ли что-либо, приукрашивать ли? Принцесса снова кивнула ему...

— Дорогая царица...

— Я слушаю,— глухо отозвалась ее величество.

— ...Его величество, вопреки обычаю, сам объявил...

— Она была тут же? В Окне? — перебила она.

— Его величество обнимал ее за плечи...— Семнех-ке-рэ запнулся.

— Я слушаю. Я жду правды!

— ...обнимал за плечи. Они стояли в Окне явлений, и все, кто видел их, лежали распростершись. На земле. Ликовали. Выкликали ее имя и просили милости.

— Это продолжалось долго?

— Не очень. Его величество бросал золото. Много золота!

— А что же она?

— Кийа?..

— Можешь не называть это имя.

— Эта женщина стояла рядом. Вызывающе задрал нос. Словно сам бог только что разговаривал с нею. Она задрала нос высоко!

Принцесса подтвердила это. Да, все обратили внимание на ее нос. И глаза у нее сияли...

— Говорите, говорите...

Царице будто очень хотелось, чтобы истязали ее перечислением самых незначительных, обидных для нее мелочей. Ей будто доставляло удовольствие это унижение. Точно не терпелось испытать всю горькую чашу до дна.

— Дорогая царица, он целовал ее при всех...

— Да, это на него похоже...

— Твоя дочь закрыла глаза, чтобы не видеть.

— Зачем?

— Чтобы не видеть.

— Напротив.— Царица вздохнула.— Почему же не видеть? Все это происходит в Ахяти, в Кеми. Зачем же закрывать глаза?! Если бы меня позвали, я бы, напротив, глядела бы широко раскрытыми глазами. Знайте: любая мелочь нанизывается на память

народа Кеми, писцы запишут ее на папирусе. Будущие поколения будут знать всё и рассудят по-своему...

— Мама, но это очень долго! — Дочь чуть не плакала.

— А потом? — спросила в нетерпении царица.

«...За Порогами Хапи много скал. Они крепки, как небо. Если бы наша дорогая царица превратилась в одну из скал — не было бы скалы крепче ее во всем мире...»

— А потом?

— Он сказал, что доволен своими подданными. Сказал, что будет добр и милостив к ним, ибо так желает эта самая женщина.

— Добр и милостив?

— Да. Что новые гимны он посвятит соправительнице и эти гимны будут прекраснейшими из сочиненных им.

— Это возможно.

— А уходя, обернулся и громко сказал: «Маху, сто палочных ударов семеру Ахяти. Я слышал, что в этом городе некий полоумный юноша рвал на себе одежду. Он не желал идти в полк». И ушел. Обнимая ее. За плечи. И долгое оцепенение охватило придворных.

— А потом?

— Потом мы явились к тебе.

— Зачем он позвал вас к Окну явлений?

Семнех-ке-рэ был вполне определенного мнения на этот счет: чтобы царица узнала обо всем из первых рук. И чтобы досадить ему, Семнех-ке-рэ.

— Да, наверное, — произнесла царица.

Недалеко от нее — всего на локоть — на сочной траве паслась пугливая куропатка. Она подняла правую ножку, повернула голову назад. Глаза ее точно черный песок. В них — чистые помыслы и настороженность. Эту куропатку особенно любила царица. Могла любоваться ею часами. И ей казалось, что птица думает о том же, о чем думает сама. В любое время! В радости. В горе. В тревоге. Какая это чудесная куропатка! Вот и сейчас: кто-то крадется в зарослях, слышен шорох сухих листьев — и куропатка заволновалась. Сердце ее застучало в тревоге. Не так ли сей-

час и царица? Не так ли тревожится? И не такие ли у нее глаза?

— Дочь моя, ни ты, ни твой муж не должны показывать вида... Не должны горевать.

— У меня глаза полны слез.

— Осуши их.

— Сердце слишком обижено.

— Успокой его.

— Мы думаем о тебе.

— Не надо. Есть бог! Он встает каждое утро, чтобы обозреть Кеми.

— Да, встает.

— Он решает, что здесь хорошо и что худо.

— Решает,— благоговейно повторила принцесса.

Семнех-ке-рэ слушал царицны речи, дивясь ее мудрости и беспредельной, воистину мужской выдержке.

— Сейчас каждая ваша слеза и вздох ваш горестный будут развлечением для этой женщины.

— Так что же нам делать?

— Уповать на святого отца нашего, который в небе, в ореоле диска своего.

— Уповаем,— произнесла в порыве благоговения принцесса.

— Он повернет сердца в нужную сторону. И люди обретут прежнюю душу. Светозарный бог наш Атон не оставит Кеми. Он пребудет с нами в эти трудные дни. И в эти, и в грядущие.

Голос у царицы предательски дрожал. Но глаза ее были ясны, и не скажешь, что на сердце ее — тревога, а душа — муторна, как после глотка прокисшего пива. Зять ее почел своим долгом удалиться. Ему казалось, что мать с дочерью найдут для беседы особые слова, которые успокоят их, приведут в некоторое равновесие взбаламученные последними, может быть роковыми, событиями душевные силы. Его высочество осторожно поднялся и медленно вышел в дверь. Осторожно прикрыл ее за собою.

Дворец погружен в темноту. Где-то в конце коридора, словно на краю света, горит светильник. Скорбный дворец со скорбящей царицей! Разное случается в жизни! Бывает и такое: жил веселый, залитый смехом

дворец, деятельный, могущественный, а стал гробницей.

Его высочество прошел на балкон. Облокотился о балюстраду, которая в форме цветочных стеблей.

Глядя в темноту, он думал о будущем, точнее, о завтрашнем, о послезавтрашнем дне. Что ожидает их? Что готовит фараон стране? Каковы помыслы Кийи? Неужели фараон предаст забвению вечную любовь к Нафтите, любовь, о которой осведомлены даже последний немху и парасхит, любовь, воспетую в гимнах, отображенную в живописи, увековеченную ваятелями и скрибами? Его высочество понимал, вернее, чувствовал: наступила пора неизвестности, треволнений и борьбы. Но борьбы — с кем? С фараоном? Это невозможно. С Кийей? Это все равно что с фараоном! С Хоремхебом? С Пенту? Кто, какой мудрец скажет: с кем предстоит борьба? Но испытания наверняка предстоят. Надо быть готовым ко всему.

Вот лежит огромная страна. Она простерлась во вселенной: от Верхних Порогов Хапи до моря Великой Зелени, в которое течет Хапи. И дальше: до азиатских владений, до государства бородатых вавилонян. И еще дальше! Огромная страна, огромный народ! Но что все это без божественной головы! Все равно что свет без божества! Если Великий Дом в Ахяти покачнется в глазах мира, то что же тогда станет с Кеми? Отвернутся друзья, осмелеют враги, которые и так уже теснят фараоновы войска...

Но чем больше задумывался надо всем этим его высочество, тем сильнее ощущал немощь в делах государственных. Он мог ответить совершенно определенно только на один вопрос: между царем и царицей все кончено! Трещину в камне не заделать: она останется трещиной. Фараон не из тех, кто возвращается, вспять он не ходит, решенного дела не меняет. Дай бог, чтобы все окончилось только этим. Изгнание в Северный дворец — не самое худшее, что ожидает высокопоставленных особ. Его величество Аменхотеп Третий, их величества фараоны Кеми подали в свое время прекрасные примеры того, как надо усмирять непокорных: мешок, небольшая веревка, которой стягивается мешок, и — священные воды Хапи! Так приводятся к молчанию

те, кто испытывает на себе беспредельный гнев фараона...

У Семнех-ке-рэ пробежали по телу мурашки. Недалеко от дворца Хапи течет медленно, величественно, неся на себе отражение почти полнеба. Звездного. Ясного. Таинственного...

Между тем за дверью, совсем недалеко от Семнех-ке-рэ, плакала царица. Она обнимала дочь, и обе они плакали. Женщина одолела царицу — государственного деятеля. Та, которая много лет, не зная устали, помогала фараону советами и рожала детей, — не выдержала! Она дала волю своим чувствам, своим слезам, своему горю...

Так плакали они — две первые женщины Кеми. Первые и прекраснейшие дамы великого града Ахяти.

Напрасно летают в уютной комнате все птицы Хапи и шумят камыши: гробница есть гробница!

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕКАРЯ

Недалеко от дома Ка-Нефер, на углу соседней улочки, жил и содержал пекарню уважаемый Мааниатон. (В прежние времена — Мааниамон. Не путать с родственником зайки Усера.) Человек лет сорока пяти. С брюшком и практичной головой. С одышкой и острым зрением: знал, что творится даже под землей. Словно только что беседовал с кротоми и сусликами. Одним словом, хитрец. В меру плутоватый в делах торговых. И, несомненно, честный семьянин. Он имел обыкновение судить о важных делах чуточку легковесно. Под словом «легковесно» надо понимать некоторую бесшабашность. Одни приписывали это его бездумности, а другие — связям с канцелярией семера Ахетатона. Подозревали в нем доносчика. А доносчики, как известно, испокон веку слыли провокаторами. Если не направишь беседующих с тобой по нужному руслу, то очень часто нечего будет и доносить. Признаться, и Нефтеруф заподозрил в нем доносчика. Остерегался его, покупая хлеб для Ахтоя и Ка-Нефер. (Надо же заниматься некоторыми домашними делами, если ты, можно сказать, сделался нахлебником.) Одна-

ко, присмотревшись повнимательнее, беглый каторжник пришел к выводу, что это не так. Мааниатон никакой не доносчик, а просто говорун, каких много на белом свете. Сейчас он мог сказать одно, а через час — совсем другое. Прямо противоположное. Как говорили столичные остряки, в голове у пекаря был несомненный сквозняк. И тем не менее мыслил он подчас оригинально. И даже умно. Он не требовал от своих собеседников активного участия в беседе: был счастлив, если его внимательно слушали и не перебивали.

В тот самый день, когда разнесся слух о новой соправительнице фараона, Нефтеруф ждал выпечки свежего хлеба. Мааниатон пил пиво и угощал Нефтеруфа. Работники возились у печи, бранились негромко, требуя от двух рабов то дров, то воды, то муки.

— Слышал? — спросил пекарь. Ему не терпелось первым сообщить столичную новость.

— Новость? Нет, не слышал.

«...Этот пекарь возбужден. Несомненно, новость важная. Я когда-нибудь отблагодарю его, если обрадует. Нет, он очень взволнован. Пьет пиво небольшими глотками. Точно требуется остудить сердце...»

— Значит, так, — сказал пекарь, — его величество сделал выбор. Наконец-то мы знаем, кто его соправитель.

— Как? Разве до сих пор это было неизвестно? Пекарь тоже удивился:

— А ты что, догадывался, что ли?

— Я? Нет!

— А по-моему, тебе уже все рассказали.

— Ничуть, уважаемый Мааниатон. Я просто полагал, что царица и есть соправительница.

— Послушай, Нефтеруф, это тебе не с обезьянкой дурака валять. Я говорю о вещах более важных. О государственных делах, значит. А ты бог знает куда гнешь. Сразу видать, что ты из болванов.

Нефтеруф чуть не обиделся, да спохватился: разве можно обижаться человеку маленькому, жалкому по своему положению, какому-то уличному фигляру? (Именно так представился Нефтеруф в свое время с легкой руки паромщика.)

— Почему же я болван, уважаемый Мааниатон?

— Потому что ты — ничто!

— А ты?

— Я, значит, не болван. Потому что кое-что да значу.— Пекарь поразмыслил немножко и сказал: — Но перед семером я — болван. Перед женою его — болван. Перед его величеством — ничтожество, прах его ног. Вот кто я такой!

Пекарь говорил с упоением и о своем ничтожестве, и о своем превосходстве. Это был выходец из немху, из тех самых самодовольных немху, которые почувствовали себя людьми при его величестве Наф-Хуру-Ра. Однако они знали свое место. На это им постоянно указывали. В свою очередь, эти люди довольны тем, что могут запросто осадить другого, который пониже их положением.

Мааниатон выпучил глазищи. Засопел. Закашлялся.

— Да, да, Нефтеруф, ты — болван. А если поточнее, то и дурак! Скажи, что не так?

— Ну, видишь ли...

— Что вижу?

— Ты же со мною мало знаком...

— Я?!

Нефтеруф поспешно отступил:

— Я хочу сказать, что ты мало видел, как работаю с обезьяной.

— И это ты называешь работой?

— А почему нет?

Пекарь презрительно сплюнул:

— Нет, ты больше так не должен думать!

— Повинуюсь, господин Мааниатон.

Пекарь внимательно оглядел Нефтеруфа. Да так внимательно, что у того мелькнула мысль: уж не признал ли в нем Мааниатон аристократа из Уасета?

«...Этот хлебных дел мастер так свободно разглагольствует... Он ведет себя так странно. И не боится ушей своих подмастерьев. Или пекарню эту охраняют сами боги, или ахятский семер в родстве с этим домом? Что касается доноительства, то это, по-видимому, исключается. Ибо сей муж никому рта не дает раскрыть...»

— Послушай, Нефтеруф, — сказал пекарь, прикинув кое-что в уме, — почему ты мне так ужасно нравишься?

— Я? — удивился бывший каторжник.

— Да, ты. Воображаю, какой из тебя получился бы помощник. С твоими ручищами. Да с твоим львиным торсом. Если ты пожелаешь бросить своих обезьян — моя пекарня к твоим услугам.

— Из меня — пекарь?! Да я сроду не видывал, как тесто... — Нефтеруф осекся. Он явно поторопился со своим ответом. А куда спешить? Или за углом его ждут обезьяны в клетке?

— Ты не обижайся, Нефтеруф. Я вовсе не хотел обидеть твоих мартышек. Я говорю это к примеру. Если вдруг тебе взбредет в голову эдакое... Я хочу сказать, что мне это было бы приятно. Я готов взять тебя в компаньоны. Учти: не каждому дано держать в столице пекарню. Даже такую захудалую, как моя.

«...Никогда не надо давать волю языку. Забежишь вперед — опозоришься... Сам себя ругать станешь. Ничего плохого этот пекарь не предложил. В моем положении это сущее благо. Подумай, Нефтеруф, дважды и трижды. Ка-Нефер — женщина своенравная. Уж если захотела она что-нибудь — своего добьется. А тебе должно быть известно, Нефтеруф, что измена замужней женщины не остается в тайне. Во всяком случае, рано или поздно она раскрывается. Так что не горячись. Ты же не конь...»

— Ты прав, уважаемый Мааниатон: предложение твое вполне достойное. И хлебопечение ни в какое сравнение с мартышками не идет. Если ты разрешишь, я обдумаю твое предложение, если от него не отказываешься.

— Я? Отказываюсь? — Пекарь возмутился. И крикнул: — Эй ты, Хапу! Поди-ка сюда, Хапу!

Тотчас же появился Хапу. Рыжий подмастерье. Посыпанный мукой. Такой юркий. Лет двадцати пяти.

— Слушаю, хозяин.

— Скажи этому господину: что есть мое слово?

— Сказанное тобой?

— Да, мною!

— О, хозяин, я не видел ничего тверже. Оно выходит из твоих уст чистым золотом. И оно не темнеет.

Оно не приобретает иного смысла. Или разит, как меч, или несет благо, подобно божеству.

— Ты слышишь, Нефтеруф?

— Да, господин.

— Эй, Нофер! Нофер! Глухой заяц! Поди-ка сюда!

Пекарь позвал другого подмастерья. И тот ввалился в комнату, подобно плохо выпеченному хлебу: тяжело, с притопом. Это был коротышка, притом коротышка толстый. Губастый. Лопухий. Рот до ушей. С высоким лбом. Издали приметным и помятым носом.

— Вот он, красавчик! — Пекарь брезгливо указал пальцем на уродца, чтобы не было никакого сомнения в том, кто есть этот красавчик. — Нофер, что ты можешь сказать о моем слове?

Нофер улыбнулся, точно испробовал патоки: губы зашлепали, точно кто-то прошелся босыми ногами по мокрой земле. И загнусавил:

— М... м... м... твоё слово... крепкое... и... и.. м с... словно... м... м... м... кость...

— Ладно, убирайтесь! — приказал Мааниатон подмастерьям. — Нефтеруф, ты слышал все сам. Не правда ли? И мы не сговаривались. Хочешь, я позову рабов? моих? Это азиаты. Я их помыл и обрил. Они — приличные.

— Верю, верю! — поспешил Нефтеруф. — Ка-Нефер хвалила тебя так, что я позавидовал.

— Ка-Нефер — красавица. — Пекарь облизнулся. — Достоянная женщина. Достоянная хозяйка дома.

— Разумеется, разумеется.

Мааниатон причмокнул языком и погрозил пальцем Нефтеруфу:

— Скажи, а не приглянулась ли тебе красавица?

Он состроил гримасу, словно догадывался кое о чем...

— Мне?

— Да, тебе.

— Я всего-навсего гость в её доме.

— Ну и что же?

Нефтеруф развел руками. Что так настойчив этот пекарь? Он будто хочет уличить в чем-то, да ждёт, пока признается сам повинный во всем. Повинный? Но в чем же?.. Нет, он просто шутит. У самого на уме

скверные мысли. А подозревает другого. Только и всего...

— Я вижу, я вижу, Нефтеруф! Ты не прошел мимо нее. Руки ее ухватили-таки нечто между твоих ног!

И пекарь захохотал. Он отпил пива и продолжал хохотать. Нефтеруф на миг растерялся. Нет, он и в самом деле растерялся.

— Ладно, — сказал Мааниатон, понемногу успокаиваясь, — охотно верю, что ты устоял. Однако я готов спорить с тобой.

— Со мной?

— Да, с тобой. Дай руку!

— О чем спорить?

— Не о чем, а на что. На десять кувшинов отменного пива.

— То есть?

— Я говорю: она пленит тебя. Возьмет тебя силой. А что скажешь ты?

Более дурацкого положения Нефтеруф и не представлял себе. Что за спор? Причем весьма обидный: для нее и для него! Но куда там! Пекарь держал свою волосатую руку на весу.

— Дай свою! Подай свою! — кричал он.

Уж очень сильно желание ударить по морде этого оплывшего жирком пекаря! И уйти... Но разве ради этого прибыл сюда бывший каторжник? Для того чтобы драться с Мааниатоном?

И он подал руку. И они пожали друг другу руку. И Мааниатон «разрезал» руки левой рукой: пари было заключено! И пекарь успокоился. Выдув остаток пива.

Нефтеруф осторожно сказал:

— Но мы начали совсем не с этого.

Пекарь выпучил глаза:

— А с чего?

— Э... э... э... Да! Ты сказал, что его величество — жизнь, здоровье, сила! — выбрал нового соправителя.

— Да, да, да, да, да! — чуть не пропел легкомысленный содержатель пекарни. — Верно ведь! Бывает же вот так — зацепишься за что-нибудь, и — пошло! Его величество Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра — жизнь, здоровье, сила! — действительно избрал себе соправитель-

ницу, а царицу Нафтиту он прогнал прочь. Она в Северном дворце проливает слезы.

— Царица плачет?

— А что ей остается делать? Ревность! Его величество вчера утром появился в Окне явлений. Ее величество Кийа, говорят, была что солнце, как бог восходящий.— Пекарь рассказывал об этом со злорадством, непонятным для Нефтеруфа.

— Я вижу, насолила тебе эта Нафтита, господин Мааниатон.

— Разве только мне?! — Пекарь поднял кверху сжатый кулак, словно грозил кому-то.— Я и мои друзья, может быть, и не богаты. Каждый в отдельности. Но мы — сила! Мы не боимся даже вельмож. А кто настраивает фараона против нас? Против немху тоже? Кто?

— Неужели царица?

— Она самая! Пока они там во дворце боролись против Амона и прочей нечисти — мы были им нужны. А когда Амон повержен, а знать поджала хвосты,— видишь ли, мы им стали в тягость. Мы уже не люди. Новая знать растет. Прямо из грязи! А кто строил этот город — Ахяти? Мы! Кто помогал его величеству? Мы! А теперь, когда столица блистает на всю вселенную, нас всех можно и на свалку?! И это все царица! Поверь мне!

«...Пожалуй, мне пора уходить. Дал бы мне хлеба — и я бы убежал отсюда. Этот пекарь раскричался. Не приведи бог, всевидящий Амон-Ра,— заглянет сюда кто-нибудь из этих чиновников!..»

— Уважаемый господин Мааниатон, не готов ли хлеб для госпожи Ка-Нефер?

Пекарь не хотел его отпускать. Он еще не выговорился. Не с этими же скотами беседовать, которые и облика человеческого лишены! Которые хлебы пекут в неимоверном чаду...

— А ты очень торопишься?

— Очень.

— Жаль. Мне столько еще надо сказать! Так много накипело на душе! Когда же ты придешь?

— Не далее как завтра.

— А работать со мною хочешь?

— Позволь поразмыслить ночь.

— Дай ухо! — И пекарь шепнул Нефтеруфу: — Только не испортить свою хозяйку.

И захохотал. Хохоча, пошел за хлебом, вынес две буханки — горячие, пахучие — и всучил их Нефтеруфу.

— Помни мой совет — ты слышишь? Не испортить хозяйку...

Нефтеруф с удовольствием запустил бы этими буханками в негодяя. Но он хорошо помнил о себе: кто он, зачем здесь и во имя чего живет. Только бы не сорваться! На каком-нибудь пустяке.

Хлеб обжигал руки. Свежий пшеничный хлеб...

В ПАРКЕ ЮЖНОГО ДВОРЦА МАНУ-АТОН

Вечер великолепен, как на панно зодчего Юти: иссиня-черное небо, медно-золотая луна, словно только что отлитая на синайских медных рудниках, черно-зеленые пальмы и сикоморы, неподвижные, как гранитные глыбы, и вода — такая светлая и прозрачная вода.

Здесь, в отдаленном углу дворцового парка, почти пустынно. А там, на пруду, музыка и пение, смех и яркие огни. Фараон отдыхает с Кийей.

Пруд достаточно просторен. Достаточно глубок. В длину — триста шестьдесят локтей и три тот, в ширину — сто восемьдесят локтей и четыре тот. Глубина почти равномерна — семь локтей. Посредине — островок, отдохновение для взора: с пальмами, шатром пестроцветным, зеленой, подстриженной травой.

Вода — цвета неба. По ночам — чернильная. И огни на ней — как живые.

Царица-мать Тии увела отсюда его высочество Эйе — старинного друга своего покойного мужа. Она сослалась при этом на головную боль. Правда, фараон заметил: «Еще со времен его величества Джосера все знатные дамы ссылаются на головную боль, когда желают удалиться».

Царица выбрала открытое место — подальше от стен, деревьев и кустов. Так вернее уберечься от посторонних ушей.

Они неторопливо осмотрелись вокруг: никого! Вдали звучит музыка. Она подобна пению тысячи птиц, наделенных природой высоким певческим мастерством. Казалось, даже лунные лучи звенели, как струны: таков был вечер, и такова была музыка...

— А мне совсем не весело, — проговорила царица.

— Была бы моя воля — сюда бы вовсе не явился. Не знаю, почему я здесь? Мне кажется, что я долго лежал, сраженный тяжким недугом: все во мне перегорело, ноги едва несут. Голова пуста. Как тыква. Дорогая Тии, у меня нет от тебя тайн: дело очень плохо.

— Я только что то же самое хотела сказать тебе, достопочтенный Эйе. Кому же я скажу, если не тебе? Близкие уходят: одни — на поля Иалу, другие — всё дальше и дальше от сердца. Скажи мне, что случилось? Сын мой избегает меня, словно я прибыла из вражеского стана. Что же будет дальше?

Царица говорила тихо, почти шепотом. Она стояла ровно, такая маленькая рядом с высоким и сухим, как старый тополь, Эйе.

— Пути царице Нафтите отрезаны, — жестко проговорил Эйе. — Больше никогда не появится она ни здесь, ни в Главном дворце. Считай, что посажена на замок. Как птичка в золотую клетку.

— Он так решил?

— Пока нет. Но дело идет к этому.

— Отговорить его невозможно?

— Ты же знаешь его нрав!

Царица глубоко вздохнула. Такая маленькая, со вздернутым носом митаннийка. Аменхотеп Третий сватал ее у царя Митанни. Однако мира с Митанни она не принесла...

— Увы! — сказала Тии. — Я знаю его хорошо... Когда родился мой сын, нам всем казалось, что не проживет он и дня. Но каким он стал могучим!..

— Духом, — поправил ее Эйе.

— Да, духом. Он поставил на колени врагов своих. Он свергнул великого Амона! Кто бы это сумел сделать?

— Только твой сын!

— Да, только мой сын! И вот когда он достиг вершины, с ним происходит что-то невообразимое... Я спрашиваю: что будет с Кеми?

Эйе ответил:

— То, что суждено.

— Разве в делах государственных полагаются на судьбу? — Царица поправила парик, поплотнее закуталась в шерстяной платок, как это делают женщины Митанни.

— Нет,— ответил Эйе,— но с некоторых пор — да.

— Как это понимать, Эйе?

Жрец не сразу ответил. Он прислушался к музыке, поглядел на лунные блики, рассыпанные на земле.

— Дело в том, что никто не знает, что собирается делать Кийа. Каковы ее планы? Кто знает? Фараон влюблен в нее по уши...

— Да, но мой сын умеет отделить чувства от дел. Это качество или свойство — как тебе угодно! — характера никогда его не подводило. Вспомни, что ты говорил когда-то.

— Что именно? Что ты имеешь в виду?

— Ты сказал мне однажды: «Твой сын сломает себе шею. Он взялся за непосильное. Сокрушить жречество Амона не так-то просто. Ибо за жрецами — вся знать».

Жрец не стал отрицать: да, действительно, он говорил нечто подобное. Насколько помнится, он хотел тогда предостеречь от непродуманных шагов. Свергнуть Амона в Кеми — это все равно что сбросить луну с неба, эту самую луну, которая так ярко светит. Эйе решил освежить царицыну память:

— Твой сын вознамерился совершить это неслыханное дело в один год. Выслушав мои возражения, он переменял срок: два года! А ушло на это больше десяти лет пота, крови и жизни! Десять лет на то, чтобы можно было наконец сказать: Амон свергнут! Но я спрашиваю тебя: Амон свергнут? Жречество побеждено? Знать, противостоявшая замыслам фараона, низринута в бездну?

— Да,— ответила царица не колеблясь.

— Нет! — в тон ей произнес жрец.

— Ты уверен, Эйе?

— Да.

— У тебя есть доказательства?

— Да. Ты видела, как тлеет огонь в золе? Его не видно глазом. Если поднести ладонь на близкое расстояние, то жар дает о себе знать. Я полагаю, что в Кеми, в глубине его, тлеет нечто подобное. Но сквозь золу увидеть это не так-то просто. Ее величеству не мешало видеть сквозь толщу золы.

— Ты говоришь о...

— Да, о Нафтите... Она помогала, она содействовала кое-что увидеть. То, что ускользало порою от его глаза.

Музыка доносилась отчетливо. Особенно с порывами ветерка, дувшего с Хапи. Заливались флейты. Точно соловьи...

— Я совсем не знаю Кийю, — почти простонала Тии. — Нет, я видела ее, она красива, привлекательна. Но больше ничего не могу добавить к этому. А ведь она — соправительница!

Царица произнесла это последнее слово с таким значением, что Эйе даже насторожился: может, старая царица знает больше того, что говорит? Не делится ли с нею сын заветными мыслями?

«...Да нет же, нет! Старая Тии, милая старая Тии никогда не лгала мне. Я помню, как однажды явилась ко мне, пренебрегая опасностью, чтобы сообщить наиважнейшую фараонову тайну о походе на хеттов. Тайну Аменхотепа Третьего, своего мужа... Тии не станет скрывать от меня и сейчас, если только владеет хотя бы малейшим секретом...»

— Он таится от меня, — пожаловалась Тии на сына. — Он молчит, как сфинксы в храмах Мен-Нофера. И я ни о чем не могу спросить, потому что она все время с ним.

Флейты залились веселой трелью. Только в Кеми способны играть подобным манером и услаждать слух своего владыки. Нет в мире лучше этих флейт!..

— Мне сообщили, Тии, что Нафтиа сильно грустит. Она плачет тайком.

— Не поверю!

— Да, да, плачет.

— Нафтиа? Эта гордая дама? — Тии посмотрела на Эйе снизу вверх: маленькая, сильная женщина на мудрого мужчину — высокого и худого. — Если злые языки и сообщили это — ты не придавай никакого значения!

— Не злые языки, Тии, а твоя внучка. Принцесса Меритатон.

— Как? Эта девчонка?! — Тии топнула ногою. — Задам же я ей таску. И не посмотрю, что у нее муж.

Эйе улыбнулся:

— Не надо. Я уже сказал ей все, что полагается.

— Сказал?

— И очень даже внушительно.

— И что же она?

— Кажется, уразумела.

— О бог великий наш, Атон! Как все мы малы и как обширен Кеми! Как же управлять им, если вокруг такие болтушки, такие легкомысленные дети!

Эйе не стал ее переубеждать. Напротив: он добавил, что детей, мол, вокруг развелось довольно много. Главная беда заключается в том, что дети эти — царственные. Если случится нечто ужасное, то кто поведет Кеми по дороге благоденствия? Кто?!

— Ты спрашиваешь меня, Эйе?

— Да, тебя.

Ах, эти флейты! И эти арфы, чьи гордые, низкие звуки только что коснулись уха! Сейчас бы слушать да слушать их, вместо того чтобы...

— Тебя спрашиваю, Тии.

Эйе настойчив. Он желает услышать ее ответ. А ведь знает всё наперед. Так зачем это ему? Чтобы в чем-то убедить ее? Или что-то проверить? Упрочить свое мнение или опровергнуть его?

— Кто поведет Кеми? — спрашивает Тии.

— Да. После нас.— Эйе не говорит: «после его величества». Вместо этого он употребил более туманное: «после нас». А кого это «нас»? Царица-мать? Пенту? Хоремхеб? Сам Эйе?

— Не знаю, как тебя, но меня одолевают мрачные предчувствия.

— Какие?

— И сама не могу разобраться. Звери, говорят, предчувствуют землетрясение. Они разбегаются в разные стороны. Прячутся в укромных местах. Кто им сообщает о предстоящем несчастье?

— Не знаю.

— И я не могу сказать кто.

— Ты же не зверь, Тии?

— Я — мать, Эйе.

Оркестр заиграл танцевальную мелодию. К флейтам и арфам присоединились барабаны. «Рабыни исполняют любимый танец фараона,— подумал Эйе.— Не слишком ли сгущаем краски? Его величество не

хуже любого зверя чует опасность. Если он находит время для веселья, значит, не все так уж плохо, как кажется...»

— Я верю в него.— Эйе кивнул в сторону пруда.

— А головные боли?

— Он еще молод. Всего тридцать пять, Тии!

— Он — совсем маленький. Для меня. И я должна думать о нем, если это даже и ни к чему. Все, что делал мой покойный муж, все, что делает сын, не может, не должно рассыпаться в один злосчастный день!

Барабаны неистовствовали. Они даже заглушали звуки остальных инструментов.

— Нет,— отрезал Эйе.

— Ты совершенно уверен?

Эйе вытянул вперед свою смуглую, сильную руку:

— Это — рука. Не правда ли? Вот так я уверен!

— Очень, очень?

— Да, очень!

— Я всегда доверяла твоей мудрости. Твоим чувствам.

Эйе поднял руку, протестуя против этого самого — «твоим чувствам». При чем чувства, когда речь идет об управлении государством? Таким, как Кеми: огромным, сильным, процветающим. Дело вовсе не в чувствах. На чем основана сила и крепость государства? На беспрекословном повиновении народа. Пока слово фараона священо и железно — прочность государственной власти обеспечена...

— Да, да. Конечно,— пробормотала Тии, думая о своем.

Эйе продолжал:

— Гранит менее прочен и более податлив разрушению, чем наше государство. Это надо себе представлять совершенно отчетливо, Тии. Допустим на одно мгновение, что его величество не пожелало бы низвергать Амона.— Жрец помолчал.— Я говорю, допустим на одно мгновение. Кто, спрашивается, посмел бы поднять руку на божества Кеми? Кто?

Она пожала плечами. Эйе продолжал:

— Вот именно: и я не знаю — кто?.. Прежде всего, мы должны вознести хвалу нашим предкам: фараонам Нармеру, Джосеру, Хуфу и многим другим. Они породили высочайшее слово, крепкое, как само небо.

А что такое слово? Только ли слово? Нет, не только! А палки? А спины, по которым свободно гуляли палки? Воистину уши народа на спине его! Они хорошо слышат палку, когда она на спине. Хорошо понимают ее язык. Слово-палка понемногу сделалось словом-камнем, словом-скалой. Кеми держится на этом слове! Если хочешь проверить прочность Кеми, спроси сначала: каким стало слово, наше древнее слово, исходящее из Великого Дома?

— Ты вселяешь уверенность, Эйе.

— Я говорю истину, Тии!.. Слово фараона столь же твердое, каким оно было и в незапамятные времена. Более того: оно еще тверже, ибо со временем это качество усиливается. Ибо палки семеров действуют с большей изощренностью. Ибо сами семеры и все князья научились слушаться его величества так, как никто еще не умел. Ни в какие времена!

«...Мой сын зашел слишком далеко. Его делу нужна прочная основа. А есть ли она?..»

Но Эйе был убежден: основа непоколебима! А может, успокаивал ее? Говорил приличия ради? Его глаза... Они не обманывали. Но можно ли доверять глазам царедворца? Жизнь во дворце как весы: за каждой чашей следят зоркие глаза. Сотни глаз. То алчущих власти людей. То жаждущих богатства, то тщеславных, то завистливых, то враждебных. О, боже, чего только не бывает во дворцах?!

— Скажи мне, Эйе: знаешь ли ты Кийю?

— А зачем ее знать?

— Тебе следовало бы познакомиться со вторым лицом в государстве.

— Зачем?

— Чтобы решить, как вести себя в соответствующее время.

— Разве это зависит от молодой женщины по имени Кийа?

— Но эта молодая женщина — соправительница!

— Ты так думаешь?

Эйе странно, очень странно взглянул на Тии. Трудно сказать, улыбался ли он. Или это была гримаса крайнего злорадства? Губы его дрогнули. Такие мясистые, добрые губы (не злые, во всяком случае)... Эйе покладист. Это несомненно. Эйе предан фараону так

же, как был предан его отцу, покойному Аменхотепу Третьему.

— Я не думаю, Эйе: Кийа объявлена соправительницей! Или это мне приснилось? По-моему, и ты склонился пред нею, когда она показалась в Окне явлений.

— Правда?

— Все шутишь, Эйе?

— Я не шучу, дорогая Тии.

Она медленно зашагала по широкой аллее. Он пошел за нею, чуть сбоку от нее и немного сзади. Музыка как бы сама приближалась к ним. Словно плыла навстречу. Флейты заливались соловьями. Арфа теперь звучала явственнее. Особенно когда приумолкли барабаны.

Он заговорил снова. Как можно тише. Чтобы только она могла расслышать:

— Тии, вот мое мнение. Надеюсь, оно не расходится с твоим. Я очень сожалею о разрыве с царицей. Нафтита была опорой. Ему. Всем нам. Она была женщиной, когда дело касалось государственных дел. Это очень важно, Тии, чтобы и в постели мужчине шептали нужные слова. Полезные для Кеми. Я не знаю, что будет шептать Кийа.

— И я тоже.

— Но пока он здоров, меня ничто не пугает.

— Меня тоже.

— Он не свернет.

— А Хоремхеб?

— Что Хоремхеб? Этот солдафон знает свое дело и свое место. Когда нужно — его позовут.

— А я его боюсь. И шрама на лице его боюсь. И роста его. И глаз. И мыслей, которые в его сердце.

— Которого у него нет.

— Верно, сердца нет... Пусть мой сын ушлет его в Та-Нетер. Или в Ретену. Или в Ливию.

Эйе замотал головой:

— Его величество желает, чтобы Хоремхеб оставался на своем посту.

Тии опустила голову.

— В таком случае — бойся Хоремхеба!

— Не так ты выразилась.

— А как надо?

— Да убоимся все мы Хоремхеба!

— Если угодно, Эйе, если угодно...

До конца аллеи было далеко. Но уже виден пруд, островок на нем и плавающие ладьи. На берегах, на островке и на ладьях горят огни. Много огней. Отражаясь на колеблемой волночками поверхности, огни увеличиваются числом. И тогда кажется, что весь мир залит светом.

Эйе и Тии подошли к берегу. Как раз в это время мимо проплывал фараон. На леопардовых шкурах возлежала Кийа. Лежала так, словно родилась царицей. Его величество заметил мать. Поднял руку вверх, приветствуя ее. Судя по всему, фараон веселился бездумно. Как не веселился вот уж давно. Кийа сделала вид, что занята своими мыслями и никого и ничего не замечает...

Музыканты следовали за своим владыкой. На отдельной ладье. Они играли, что называется, от души.

Фараонова личная стража — всегда вооруженная с ног до головы — и сегодня стояла в полной боевой готовности: на островке, на берегах, на стенах, окаймлявших Мару-Атон — Дворец увеселений. Эйе обратил внимание на то, что стражи нынче было больше, чем обычно. И он не преминул указать на это обстоятельство царице-матери.

— Он веселится, — заметил Эйе, — но главного не забывает.

Тии схватила его за руку и прерывающимся голосом спросила:

— Эйе, а от нее уберечься можно?

— От кого, Тии?

— От смерти.

Он деланно засмеялся. Это было слишком явно: через силу засмеялся.

— Тии, ну какие у тебя мысли?! В такой прекрасный вечер! Я...

Она остановила его:

— Добрый, добрый Эйе! Мы с тобою уже не молоды. Я предвижу день, когда мы порознь уйдем на поля Иалу. Раньше — я, а ты — попозже. Разве не пристало думать о том часе? Как ни говори, Эйе, я всегда предпочитала этот мир полям Иалу. Так думали и мои

предки. И они передали мне это ощущение. Вместе со своей кровью. Но оставим в стороне все это. Я думаю о сыне. Он велик. Он могуществен. В зените славы и величия. Даже здесь, на глади этого пруда, он — бог, властитель всего сущего. А я думаю о смерти. Под эту чарующую музыку. Спрашиваю тебя: где его смерть? Он распорядился вырубить в Восточных горах гробницу для Нафтиты. Теперь — для Кийи. Для меня — почти готова. А о себе он не думает. Скажи мне: кто же вместо него позаботится о его вечном жилище? Кто?!

Эйе сказал:

— Соправительница.

Царица недовольно махнула рукой.

— Может быть, его высочество Семнех-ке-рэ?

— Этот мальчик, Эйе?

— Почему бы и нет? — И нетвердо добавил: — Его высочество Тутанхатон, может быть? Когда подрастет...

— Бедный, немощный мальчик! Я его очень люблю. Он вырос на моих глазах. Такой хилый и такой слабый!

— Учти, Тии, твой сын тоже не из богатырей. Однако полюбуйся — сколько наворотил! И слово фараоново, как в старину, равняется самому в пустыне. Когда желтая земля взвивается к небесам. И летит быстрее птицы.

— У него все чаще болит голова. Пенту не напасется снадобий. Нет, не проходит даром ни поверженный Амон, ни посрамленные жрецы его, ни тайная и явная война с Уасетом!

Снова мимо них проплыл фараон вместе с Кийей. На этот раз она улыбнулась царице. Дружелюбно кивнула. И ладья снова растворилась в темноте и зареве светильников, перемешанных в праздничном беспорядке.

— Она молода и красива, — как бы завидуя, проговорила царица.

«...Нет, я не скажу ей о том, что думаю, что происходит на этом свете. Когда в государстве случается нечто из ряда вон выходящее — к нему следует внимательно присмотреться. На протяжении двух тысячелетий чего только не бывало! С царицами не только

расходились, но порою принуждали их и к молчанию. Вечному молчанию на дне Хапи или в волнах Великой Зелени. Однако Нафтита — не просто царица. Она была душою того дела, за которое боролся фараон. Она была и рядом, и в сердце его! И недаром клялся он ей в вечной любви. Когда царица Нафтита, по существу, заточена в Северном дворце, надо повнимательнее осмотреться вокруг и решить, что ушло из Великого Дома вместе с царицей, а что — осталось. Когда на море возникает волна, она никогда не остается одинокой. Рядом уже бегут другие. Какие это волны и в чей борт они ударят?.. Где Пенту? Сейчас очень нужен Пенту...»

— Ты так глубоко задумался, Эйе, что не слышишь моего голоса.

— Неужели, Тии? Почему-то заныла грудь, и я подумал: не от этой ли прохлады?

— Возможно, Эйе. Мне пора домой. Я молю его величество Атона, чтобы сохранил он Кеми и его владыку.

— И я молю, Тии.

Он подвел ее к носилкам. Тии обернулась к нему и почти умоляюще прошептала:

— Не оставляй меня, Эйе.

Жрец поклонился ей глубоким поклоном. Полог, расшитый золотом, закрылся, и здоровенные рабы-эфиопы, окруженные стражами, плавно понесли тяжелые носилки.

НА ОСТРОВКЕ ВЕСЕЛЬЯ

Возбужденный, с румянцем на щеках, его величество сошел с ладьи и направился под Навес раздумий. На полу лежали новенькие циновки и подушки — жесткие и мягкие. На низеньких столиках — холодные гуси, вино в высоких и тонких сосудах, фрукты. Фараон любил, чтобы хлеб подавали в последние мгновения перед едой: пахнущий горячей печью хлеб! Кийа заняла место рядом с фараоном. Потребовала холодной воды и фруктов на меду.

Музыканты высадились на берегу против дворца. Стража безмолвно занимала положенное ей место. Царедворцы тихо переговаривались на аллеях.

— Мне показалось, — сказала Кийа, — что ее величество чем-то обеспокоена.

— Тебе это именно показалось.

— Эйе или нездоров, или тоже чем-то обеспокоен.

— Тоже показалось!

Кийа громко рассмеялась. Схватила его руку и горячо поцеловала ее.

— Очень люблю, — призналась ее величество.

Она вся сверкала: и глаза и лицо. Все тело! Кийа излучала свет, точно солнце. Боже, откуда в ней столько мощи — женской неиссякаемой мощи?! Неужели когда-либо суждено иссякнуть этой светочи, несущей сердцу столько радости? Он мысленно сравнивал ее то с пучком золотого луча во тьме, то со сладчайшей песней, то просто с женщиной во плоти и крови, но рожденной небесами, зачатой там где-то, в самых чистых и высоких сферах...

— Тебе показалось, — повторил он. — Напротив, они были веселы за обедом. Разве ты не заметила этого?

— Наверное, я думала только о тебе.

— Это плохо.

— Думать только о тебе?

— Да.

Кийа удивилась. Она задыхалась часто-часто. Не могла взять в толк, о чем он говорил. Почему же это плохо, если фараон, если муж — в мыслях ее? В положении соправительницы она должна, она обязана понимать все!

— Режь мне руку, — сказала она с улыбкой, протягивая матовую кисть, чуть тронутую загаром, — режь руку, но я не уразумела твоих слов.

Он взял длинную кисть, взял длинные, тонкие пальцы в свою некрасивую, маленькую руку. Нет, он не видел ничего подобного! Никогда!

— Дорогая Кийа, ты обязана размышлять о делах государственных: мы же теперь не на ладье, а под Навесом раздумий. Обо мне — потом...

— Верно! — вскрикнула она, точно маленькая. — А я и позабыла! Обещаю тебе: здесь, на этом месте, выкинуть из головы все, кроме государственных дел.

Он потрепал ее по щеке. И тут же признался себе, что не встречал никогда таких щек: упругих, нежных,

здоровых. «Я счастлив», — сказал он про себя. И долго глядел на нее немигающими глазами...

— Хорошо, — сказал он, потрянув головой, — мы сейчас выясним одно дело. Я за него строго спрошу.

Фараон приказал перевезти на остров начальника, ведавшего делами переписки с иностранными государствами. Тот уже ждал вызова на берегу. Со свитками папирусов в руках. И не без трепета...

Вскоре начальник писцов — немолодой, худощавый мужчина на кривых ногах — повалился наземь перед их величествами. Полежав некоторое время, он поднял голову: медленно, медленно, медленно, чтобы не ослепнуть от сияния божественного лика.

— Встань, Усенинефер! — приказал фараон.

Писец поднялся на ноги и присел в отдалении. Не совсем далеко, — чтобы хорошо было слышно каждое фараоново слово. И мгновенно превратился во внимание.

— Скажи мне, Усенинефер: каков мой приказ насчет переписки с иностранными державами?

— Все письма показывать тебе, твое величество.

— А еще?

— Спрашивать тебя, прежде чем составлять их, твое величество.

— А еще?

«...Что же может быть еще? Его величество допрашивает слишком строго. Это значит, что начальник писцов позабыл самое важное...» Кийа ждала с нетерпением ответа Усенинефера.

— Писать на языке того государства, куда направляется письмо, — проговорил начальник писцов на одном дыхании.

— Верно!.. Почему же в таком случае ты отправил письмо царю Митанни на нашем языке?

Усенинефер пытался вспомнить, когда и какое письмо было отправлено в Митанни. Прекрасная память его величества изумляла всех. Он помнил все. Он знал, сколько мер зерна в закромах, сколько воинов на границах и сколько гарнизонов в чужих пределах. Его величество видел все, ибо был богом. В чем еще и еще раз убедился потеющий от страха начальник писцов Усенинефер.

— Да знаешь ли ты, о каком письме идет речь?

Усенинефера вдруг осенило, и он сказал: да!

— Ее величество хочет услышать твое слово об этом злополучном письме, Усенинефер.

Писец сказал:

— Твое величество,— он смотрел в самые зрачки Кийи,— мы требуем выдачи беглеца, который убил своего начальника в Северном Ретену. Всадил нож в спину, между лопаток, и бежал в Митанни. Согласно договору, царь Митанни обязан вернуть преступника.

Фараон кивнул: дескать, все это так.

— Но скажи мне, Усенинефер, на каком языке ты написал письмо?

Начальник хлопнул себя по лбу:

— Достоин наказания, твое величество! Письмо написано на нашем языке.

— А надо бы?

— На языке Митанни, твое величество.

Фараон помолчал. Встретился взглядом с Кийей. Он предлагал решить ей. Она это поняла.

— Вернуть письмо! — приказала Кийа. — Написать новое.

Усенинефер повалился наземь. Он царапал землю носом. Лизал ее языком, как телок солоноватый камень.

— Оно далеко, твое величество. Гонец его величества мчится быстрее ветра!

Тогда фараон запустил руку себе за пазуху и достал папирус.

— Этот? — спросил он.

Усенинефер не поверил своим глазам! «Это бог! Это бог! Он достает через пустыню. Через Великую Зелень. Через горы. Вот ноги мои совсем ослабли. Колени мои обратились в воду. И кости все обратились в воду...»

Фараон сжал губы. Глаза его стали точно песчинки. В солнечный день. Такие блестящие точки. В них много гнева. Много ярости. И челюсти у него задрожали. Словно бы перед припадком.

Начальник писцов оцарапал землей нос свой. Он плюхнулся лицом на землю, как на воду. И алая кровь показалась на носу. И на левой щеке тоже.

А фараон не сводил с него глаз. Благой бог закипал, как вода в походном котелке воина: медленно,

медленно... Тем сильнее охватывало волнение каждого, кто бывал свидетелем его гнева...

Кийа развернула свиток. Вдобавок ко всему он оказался написанным иероглифическим письмом, а не упрощенной скорописью. Его величество ненавидел старинное письмо и мечтал о новом, более простом и доступном каждому. Эта нелюбовь зародилась в нем при жизни отца, еще в те годы, когда старый учитель Ихотеп обучал его премудрости письма. Он говорил своему ученику: «Уши твои — на спине твоей». И колотушки следовали за колотушками. Его величество Аменхотеп Третий приказывал Ихотепу: «Царевич должен быть грамотен, как никто. Ты, Ихотеп, отвечаешь за это головой. Колотушек не жалей. Будь строг, требователен, не давай ученику своему спуску». А ученик был хилым, тщедушным ребенком...

Фараон Эхнатон торопил ученых мужей: «Сделайте письмо попроще. Сделайте его легким». Но ученые мужи, распластавшись перед ним, твердили свое: «Будет исполнено, твое величество. Однако божественное письмо требует к себе сугубого внимания... Будет исполнено, твое величество». И до сих пор не исполнено! И палки гуляли по спинам ученых мужей. А до сих пор все еще не исполнено!

— О, великий бог наш, дарующий жизнь всему сущему, гневом пылающий, подобно отцу нашему Солнцу, если угодно будет обратить слух свой к гласу послушного воле твоей...

— Будет угодно! — отрезал фараон.

Начальник писцов приободрился... «Его величество обращает ко мне слух свой. И гнев в глазах его проходит, подобно песчаной буре в пустынях Запада. И милость его идет вслед за бурей, как прохлада...»

— Виновный будет строго наказан, твое величество, а глаза и руки мои верно будут служить тебе...

— И ее величеству.— Фараон кивнул на Кийю.

— ...и ее величеству. Ни спины, ни шеи, ни пальцев не пожалеем, дабы искупить вину свою. А бумагу сам перепишу на языке Митанни и отправлю с нарочным, как приказывал твое величество.

— Хорошо!

Усенинефер живо поднялся, отряхнул пыль с одеяний своих коротким, едва заметным движением рук.

И со свитком попятился назад. До самой воды. Где уселся в лодку. И, не переставая кланяться, отплыл на другой берег.

Следующим на приеме оказался семер Ахетатона его светлость Псару-младший. Сын Псару-охотника. Бесстрашного ловца зверей. Попадавшего в глаза, в уголок воробьиного глаза. С тридцати шагов. Псару-младший глодал кожу в сапожной мастерской, когда его заметил фараон. Псару-младший гнул спину, та-чая башмаки, когда его величество приказал ему: «Псару, встань! Отныне ты будешь служить мне». А через четыре года его величество сказал ему: «Псару, ты верно служил мне. Я желаю тебя видеть во главе моей прекрасной столицы, которая точно дитя, недавно родившееся — чистое и ясное». Псару сделался по воле фараона семером столицы, великого Ахяти на берегах животворной Хапи. Псару сам, своими руками клал камни в основание города. Он видел, как тысячи и тысячи рабов — азиатов и эфиопов — строили дома и храмы, рыли пруды и бассейны, сажали деревья и прокладывали дороги. И дороги, покрытые гранитными плитами, и улицы, политые вавилонской смолой, — гладкие, как полы во дворце. Чего только не сажали на городской земле! В огромные лунки, в которые засыпалась привезенная с берегов Хапи плодородная земля, сажали смоковницы, и пальмы дум, и виноград различных сортов, и гранатовые деревья, и пальмы финиковые, и миндальные деревья, и фиги. Тысячи и тысячи рабов и разного ремесленного люда рвали камень у подножия Восточного хребта. Обрабатывали его и привозили в город Ахяти. Каменотесы день и ночь горбились над глыбами. Строители месили глину, гасили известь. Плотники стругали балки и доски. Маляры красили ворота, двери и оконные рамы. Мастера из древнего Мен-Нофера — умельцы златорукые — ставили в окна слюдяные пластинки и дорогие цветные стекла из Джахи. День и ночь трудились зодчие. Ваятели и живописцы соревновались меж собою в своем искусстве, ибо его величество обращал на них особое внимание.

И за три года вырос Ахяти. Была пустыня — и стал сказочной красоты город, не виданный во вселенной. Город осматривали приезжие из соседних и из

далеких стран — послы и купцы. И все они диву давались: ибо чудо азиатов Ниневия была по сравнению с Ахяти как бы деревней рядом со столицей. И все это видел Псару-младший сам. Чудо, чудо свершилось: за три года поднялась столица. Как бы из бесплодных песков. Как бы сама собою. Как в сказках времен фараона Хуфу!

Если бы Псару-младший не был сам свидетелем всего по милости его величества, то едва ли поверил бы в такое чудо. Ведь многие, слушая его рассказы, покачивают недоверчиво головами. Многие — это иноземцы. Многие — это те, которые живут в Уасете и Мен-Нофере и не выезжают оттуда, прикованные к своим любимым городам. Эти древние города, так же как Ей-н-ра, как Саи, овеяны легендами, сказаниями народа. Там каждый кирпич и камень способен переказать всю древнюю древность Кеми: от основания царства его величеством Нармером и до нынешних дней. Но пускай нету этих сказаний и легенд среди горожан Ахяти! Есть зато сказочная столица, новая, как новорожденное дитя, светлая, как день, и могучая, как сердце льва! Это и есть чудо из чудес. И недаром широко раскрывают глаза хитроумные азиаты, и недаром трепещут враги Кеми, не смея поднять на нее руку. Ибо такова сила Ахяти, в котором и мудрость, и мощь, и красота, и бесстрашие Кеми. А кто поставлен семером во главе этого города? Безвестный Псару-младший! Поднятый из пыли и грязи. Из тесного чулана. Из вонючей мастерской. Оторванный от кожи, которую глодал от голода. И кто это сделал? Его величество! Который не посмотрел на его происхождение. И скорее всего — вопреки этому происхождению. Который желал видеть вокруг себя поменьше знатных и побольше умелых и преданных людей. Потому что так приказал ему отец, великий Атон, гуляющий по небу, как у себя во дворе. Ибо Кеми и есть его двор!..

Фараон встретил столичного семера недобрым взглядом. И долго-долго молчал. Ни слова не промолвила и Кийа. Она потупила взор. Несчастный семер трепетал, не зная, в чем провинился перед великим фараоном. В это мгновение он бы с удовольствием перемолол на своих зубах кусок гранита, — лишь бы уйти отсюда подобру-поздорову. Но кто может сказать,

что на уме у благого бога, пока не разверзлись уста его и слова его не достигли слуха? Может быть, пожурит он за нерадивость или придумает страшное наказание за то же самое, о котором потом долго будут помнить на земле Кеми? Но самое страшное, когда его величество молчит, когда взгляд его подобен летящей стреле. Тогда вымаливаешь у бога: скорей бы услышать даже самое страшное, скорей бы вонзилась стрела в самое твое сердце!

Фараон заговорил глухим, идущим откуда-то из-под земли голосом:

— Псару, моих ушей коснулись недобрые вести. Город, который дороже для меня сердца моего, выказывает неповиновение...

— О нет, великий царь, этого никогда не будет!

— Я хотел сказать: не весь город. Но недостойные его горожане.

— Это так, твое величество.

— Один из рекрутов плакал подобно женщине. Он не желал поднять меч в защиту своей земли. И еще другой последовал его примеру.

— Твое величество, они не сговаривались.

— Тем хуже!

— Это — несмышленыши, влюбившиеся в ляжки девиц.

— Можно ли оправдывать воина, привязанного к женской одежде?

— Никогда, твое величество!

— Если воина ждут ратные подвиги?..

— Никогда, твое величество!

Фараон насторожился:

— Что — никогда, Псару?

— Я хочу сказать, твое величество, что нет оправдания молодому воину, бегущему от службы в войске.

— Только ли эти двое проявили неповиновение?

— Нет, твое величество! Пятьсот палок получил еще некий юноша-каменотес. За то же самое.

— Он жив?

— Он умер, твое величество. Истек кровью.

— И это все происходит в Ахяти?

Семер молчал. Ему было стыдно. Очень стыдно! Почему не расколется земля в это мгновение и почему не провалится в ее страшный зев семер Псару?

Фараон сказал, обращаясь к Кийе:

— Надо ли приписать все это моей мягкотелости? Она отрицательно покачала головой.

— Тогда, может быть, — нерадивости семера?

Кийа подумала.

«Вот пришла моя смерть от руки этой прекрасной женщины, пылающей любовью к его величеству». Так сказал про себя Псару-младший.

Кийа сказала:

— Псару неповинен.

Фараон вздрогнул. Будто его самого обвинили в сих грехах. Уставился на Кийю. Непонимающе. И чуточку эдак растерянно.

— Наверно, виноват я сам, Кийа.

— Нет, твое величество.

— Так кто же?

— Только не семер Псару! Разве не он наказал юношу?..

— Юношей, — поправил Псару, дрожащий.

— Ах, вот как! Это еще больше облегчает участь семера. Воистину невозможно во всем подозревать своих слуг. Подозрение ведет ко всеобщей подозрительности. Оно заражает поголовно всех. И тогда даже верховный владыка не останется вне подозрения.

Его величество вообразил себе, что не Кийа, а кто-то другой — более мудрый, многоопытный — говорит за ее спиной. Он сказал:

— Повтори, что ты сказала.

И Кийа — слово в слово:

— Воистину невозможно во всем подозревать своих слуг. Подозрение ведет ко всеобщей подозрительности. Оно заражает поголовно всех. И тогда даже верховный владыка не останется вне подозрения.

Его величество весело развел руками, а Псару испугался такой защиты. Готов был вовсе от нее отказаться. Его величество знает, что говорит. Когда говорит. Кому говорит. Сомнениям не должно быть места...

Вот он, его величество, мыслями где-то далеко. В заоблачных сферах, где верховодит его златоогненный отец. Его величество беседует с ним, как всегда в часы раздумий. В мгновения раздумий. Отец небесный никогда не оставляет своего сына без советов. Он не жалеет ни сил, ни времени для благого бога на

земле. Не требуя благодарности. Безо всякой корысти. Ибо он — отец фараона.

И благой бог соизволил сказать:

— Кийа права. Она права!

Потом помолчал и добавил:

— А Псару не прав. Он совсем не прав!

И тут холодный пот прошиб моложавого семера. Он стал вроде бы каменный. Ибо слишком тяжелы для сердца слова его величества.

Кийа походила на молодую львицу, готовую вступить в единоборство. Фараона эта прыть забавляла. «Тридцать пять лет прожил я. Видел зло. Видел добро. Собственноручно творил и то и другое. Смотря по тому, что повелевал отец небесный. Я достиг подобия великой пирамиды, и весь мир — у моих ног. И вот сегодня вижу женщину, которой ничего не стоит возразить мне...»

Он был прав. Но почему же забыл он ту, другую?.. Ту, которая не раз противопоставляла ему свое мнение. Точнее, пристегивала к своим мыслям его мысли. И давала понять, что победил он, а не она. И делала она это во имя общего дела. Разве его величество позабыл обо всем этом?

Семер стоял неподвижный. Деревья в саду как бы застыли вместе с ним. И луна на небе. И небо само. И пруд, в котором горели отблески светильников, и царедворцы — молчаливые и строгие.

Кийа горячилась:

— Я не могу понять, твое величество, твоих слов: одно из них исключает другое. Если одно говорит «да», то другое — «нет». Надо ли доискиваться особого смысла, или смысл их столь ясен, что труден для восприятия смертных? Если — последнее, то молю тебя повторить, дабы могла составить себе ясное представление.

Фараон усмехнулся. Он поднял правую руку и ладонью взялся за собственный затылок. Словно там была боль. Или там мог отыскаться ответ для Кийи.

Он сказал:

— Вот кто-то приложил раскаленную медь и жжет мне затылок. Словно тавром метит меня. А разве я — бездушная скотина, которую метят тавром в чужом стаде? И откуда эта боль? Угодна ли она отцу моему,

плывущему в широких сферах, где все чисто и спокойно? Кто мне ответит?

И он застонал.

Кийа испуганно привстала, наклонясь вперед. Пытаясь заглянуть ему в глаза. Однако он остановил ее властным жестом левой руки, не отнимая правую от затылка:

— Не надо, Кийа! Я разговариваю с ним!

Она подала знак семеру, и тот попятился к ладье, стоявшей у низкого причала. И когда кормчий заработал веслом, семер взглянул на луну и мысленно поблагодарил ее. Ему было безразлично, кто это: само божество солнца или злой страж мира. Псару-младший был убежден, что заступник и благодетель его там, наверху. На небе. А каков он — не важно...

Фараон пришел в себя. У него перестал ныть затылок. Боль удалялась к вискам. И на них потерялась. Точно испарилась. Он повеселел. Как всегда после приступа. И только теперь заметил, что семера нет.

— Я приказала ему удалиться, твое величество.

— Какая же ты умница!

— Тебе лучше?

— Да.

И, как всегда после болей, он почувствовал великий прилив сил. Фараон привлек к себе Кийю и прошептал:

— Хочу быть с тобой.

Он шептал нежно. Как ветерок среди пальмовой рощи. Где-нибудь в оазисе. Среди песчаной пустыни. Где дуновение ценится особенно. Как и ласка его здесь, в этом огромном городе необъятного царства.

ШЕРИ

Это известие поразило Нефтеруфа: в столицу прибыл Шери. Зачем? Когда? Это ему было невдомек. Ничего не сказал по этому поводу молодой человек, сообщивший о приезде Шери самым доверительным образом. Бывший каторжник тотчас передал новость Ка-Нефер.

— Он здесь? — спросила она, крайне удивленная.

— Да.

— Где он остановился?

— В доме одного парасхита...

Ка-Нефер поморщилась. Ко многому она приучила себя. Однако эти потрошители покойников внушали ей отвращение и страх.

— Ничего, ничего, — успокоил ее Нефтеруф, — парасхит — не самое страшное существо. Меня интересует кое-что поважнее.

Нефтеруф прислушался к уличным звукам: там было тихо в этот утренний час. Ахтой спал в своей комнате. Вполне безопасное время для беседы.

Нефтеруф продолжал, как бы проверяя ход своей мысли:

— Что означает это неожиданное появление Шери? Я спрашиваю и тебя и себя. Если бы я мог безошибочно ответить на этот вопрос, поверь мне, Ка-Нефер, я бы не утруждал ни себя, ни тебя. Как он решился? И что означает этот визит?

Ка-Нефер развела упругими и длинными руками, на концах которых — упругие и длинные пальцы. Нет у нее на это готового ответа. Сама ждет объяснений. От Нефтеруфа. Она особенно красива в это утро. Словно бы и не уставала вчера. Словно бы выпалась как следует. Словно бы и не размышляла полночи над всякой всячиной...

Он прошелся по комнате в крайней растерянности. Для него не существовало красавицы. Все его интересы сходились на этом деле, которое таило в себе так много таинственного. В самом деле: приезд Шери — показатель крайней обостренности положения. Но какова эта обостренность? Что сулит она?

И он заговорил, как бы с самим собой:

— Допустим на одно мгновение, что дело наше оборачивается самым скверным образом. Тогда бы Шери не следовало казать сюда носа. Зачем лезть в пекло? Достаточно было бы подать нам знак. Значит, дело не так уж плохо. Если не плохо, то каково оно на самом деле? Настало время действовать? Возможно. В этом случае вполне резонно его появление в столице. Здесь он может быть полезней, чем где бы то ни было! Я тешу себя мыслью, что все обстоит именно таким образом, а не иначе. — Он остановился, посмотрел на нее просветленным взором, в котором — надежда, на-

дежда, надежда на лучшее! — Итак, я прихожу к окончательному заключению: наша победа близка!

Ка-Нефер подивилась его рассуждениям. В них все как будто гладко. Но ничего определенного. Ничего обоснованного. Всё — от чувств, от сердца, но не от разума! Разве в серьезном предприятии допустимо подобное?

Он угадал ее мысли. Словно кудесник какой-нибудь.

— Ка-Нефер, я — человек с мясом и кровью. Я много ошибался в жизни и, наверное, ошибусь еще не раз. Ты меня слышишь?

Она сказала:

— Да. Слышу.

— Мне показалось, что ты далеко отсюда.

— Нет. Я тоже размышляю.

— Я сказал, что, наверное, ошибусь не раз в своей жизни.

— Если бы не было ошибающихся, Нефтеруф, откуда бы брались мудрецы?

Он рассмеялся:

— Ты права. Я почти выболтался. Теперь твоя очередь.

Ка-Нефер — женщина мудрая. Не по летам. У нее в голове — тысячи змей, и каждая из них — с умом самого умного человека. Ка-Нефер видит дальше, чем кто бы то ни было. Чутье ее тоньше звериного. Это — азиатская тигрица с тигрятами. То есть сама предосторожность и прозорливость. Вот кто такая Ка-Нефер!

— Ты умнеешь день ото дня, — лукаво щурясь, произнесла Ка-Нефер.

— Я?

— Да, ты, Нефтеруф. Ты уже не ругаешь фараона. Ты понял, что ругать — занятие пустое. И не безопасное дело. Дело — вот что больше подходит мужчине.

Нефтеруф сорвал с себя парик и отбросил его в угол.

— Ты права! Мне сказать нечего. Рад, что поумнел. Было бы хуже, если бы я услышал от тебя: поглупел!.. Но это мелочь... Разве не замечаешь, что я — весь внимание?

Женщина не торопилась делиться своими соображениями:

— Ты все узнаешь сегодня, Нефтеруф.

— Мне готовиться к чему-нибудь опасному?

— Возможно. В нашем положении это никогда не мешает.

— Если даже Шери скажет: «Покинь этот город», — я никуда не уйду отсюда.

— Из этого дома или из города?

— Из города!

Ей это было немножко неприятно. Лучше бы он сказал — «из этого дома». Однако она постаралась отвлечься от сугубо личных желаний. Они заслонялись более величественным и, несомненно, более важным. Ка-Нефер сказала:

— Я знаю Шери. Он — человек, который видит пустыню за горами и за пустыней — оазис. Шери никогда не пойдет прямо, подставляя грудь вражеским стрелам. Он попытается обойти укрепленные места. Он отыщет тропы, по которым никто не хаживал.

— Это очень плохо! — воскликнул Нефтеруф. — Я предпочитаю путь прямой, бесстрашие — окольным тропам.

Ка-Нефер усмехнулась. И Нефтеруф вдруг ощутил ее превосходство над собой, ее мудрость — над своей и глубину ее души. «...Она очень умна, и ум ее может отпугнуть иного мужчину. Если Ахтой еще не знает этого и не соприкоснулся с ее умом, то только потому, что невероятно занят своим ваянием. Глина для него важнее ее мыслей, глубина ее сердца меньше значит, чем кусок обработанного камня. Ваятель, пожалуй, и не подозревает, с кем делит ложе. И хорошо это! Что бы случилось с ним, если бы ощутил ее превосходство — вот так же, как это ощущаю в эти мгновения я?..»

— Ты не прав, Нефтеруф. Грудь не надо подставлять врагу. Это знает любой воин. Что же сказать о человеке, связанном нитями с судьбами многих людей — близких и дальних? Имеет ли он право идти напролом? Скажи мне: имеет?

Невозможно было противоречить, и он отрицательно покачал головой.

— Вот видишь, и ты согласен! Разговор веду вот к чему: Шери прибыл в столицу неспроста. Я последую за Шери, если даже ему завяжут глаза. Я сделаю

все, что он прикажет. Поверь мне: он знает нечто, чего не знаем мы с тобой. Если это так, то скоро-скоро нам придется, может быть, и грудь подставить, и жизнью поплатиться. Или восторжествовать, может быть. Фараон — поверь мне! — осведомлен, но не обо всем. Над дворцом вот уже много лет стоит грозная тень Эйе, того самого Эйе, который рядом с фараоном! Хоремхеб тоже плетет свои интриги. Начальник стражи Маху тоже не дремлет. Пенту старается разгадать вихрь, бушующий вокруг дворца. И фараон этим вихрем отрезан от людей, как пальма, окруженная со всех сторон песками! И это счастье для нас. Чем фараон слабее, тем лучше!

Нефтеруф бросился на колени перед госпожой дома, прижал ее руки к груди своей.

— Скажи мне, о мудрая, — проговорил он шепотом, — неужели качается та ненавистная пальма! Я верю тебе! Я жажду твоих слов!

Она не чуралась похвалы. Приняла ее как должное.

— Да, Нефтеруф, качается. И пожалуй, сильно.

Он любовался ею, как божеством. Этот суровый человек, изведавший мрак земли. И, еще больше понизив голос, спросил словно пророчицу:

— А цель моей жизни увижу ли? Я увижу пальму, поверженную во прах?

— Да, — без обиняков ответила Ка-Нефер.

Бывший каторжник порывисто встал, отошел от нее на несколько шагов.

— Почему я так верю тебе, Ка-Нефер, я — ничему и никогда не веривший?

И то, что он услышал, заставило поверить ей еще больше. Больше, чем себе. Чем богу. Чем всем божествам Кеми.

— Потому, Нефтеруф, что любишь меня...

— Что ты сказала?

— Любишь... Любишь...

Произнося эти слова — в некотором роде священные для него, она сладко потягивалась. Как дитя. Точно ее никто и не любил никогда. Точно в первый раз испытала она это чувство.

А он еще раз убедился в ее превосходстве. Он походил на мальчика, попавшегося на мелкой шалости:

чувствует угрызения совести и тем не менее не желает признать вину за собою...

— Не надо,— сказал он твердо,— не будем спорить. Но я клянусь богами, что напомним тебе это раннее утро и твои слова.

Она прикрыла лицо ладонями. Словно застеснялась чего-то...

Бывший каторжник осторожно подошел к ней и поглядел на нее сверху. Точно на живительный родник, бьющий в пустыне. Но нет, нельзя отвлекаться ни на мгновение! Что-то будет вечером? В домике парасхита Сеннефера. По дороге в Город мертвых... А женщинам — что? У них сердце на первом месте. И душа. А разум часто ютится где-то на задворках. В укромном уголке.

Ка-Нефер обворожительно красива. Настоящая женщина! Телом. Лицом. Руками и длинными, как у серны, ногами...

Он медленно отвернулся от нее, быстро — чуть не бегом — подошел к стене и прислонился к прохладному кирпичу. Чтобы остыть немного... А она, не видя его, но все досконально чувствуя, повторяла:

— Любишь... Любишь... Любишь...

— Замолчи,— взмолился он.

— Любишь.

— Я прошу тебя.

— Любишь.

— Я убегу из этого дома.

— Любишь.

— Будь по-твоему. Только замолчи!

— Хорошо,— согласилась она.

Он зафыркал. Будто вытащили его из воды. Будто успел побывать в пасти крокодила. Его била мелкая, неприятная дрожь. Он сел на пол... И услышал голос, доносившийся с небес:

— Не скрою, Нефтеруф, ты вошел в сердце мое. Ты выжег на нем клеймо свое, и я теперь уже никогда не потеряюсь. Если пожелаешь найти меня. Если пожелаешь шевельнуть пальцем — пойду за тобой и не оглянусь на порог дома своего. Ибо душа моя — с тобой. Вот говорю я, и только боги в свидетелях. И если захотят они внять моей просьбе — я буду счастливейшей из женщин.

Это была речь сильной, рассудительной и любвеобильной. Теперь ему уж не совладать со своим чувством, которое — видят боги! — сдерживал, согласно клятве, данной там, во глубине гор. Он сказал тогда: «Ты, Нефтеруф, никогда не познаешь никаких радостей — ни духовных, ни телесных, — пока не отомщены твои родные, пока не отомщено оскорбление, нанесенное единственным человеком — фараоном Эхнатоном! До того ты не познаешь ни радостей, ни смеха, ни любви, без которых человек — не человек!» Так говорил себе Нефтеруф, добывая золото для казны владыки Кеми. Может быть, он отступил здесь, в Ахетатоне, от клятвы своей?

— Ка-Нефер, твой дом стал мне кровом и защитой в бедственном положении, когда я вынужден даже имя свое скрывать от людей. Я клялся под землей. Я отринут от радостей до поры... Разве изменилось что-нибудь, чтобы нарушить клятву? Разве не продолжает властвовать фараон в Ахяти? Разве по-прежнему не попираются права великого города Амона — Уасета? Все, все по-прежнему! Не изменилось ничего, кроме того, что Нефтеруф бежал из заточения, бежал для того, чтобы исполнить волю богов...

Все это он высказал пылко, как юноша, убежденно, как муж многоопытный. Но он ни разу не возвысил голоса. Ни разу не пошевелил рукой, дабы подкрепить жестом свое слово. Он говорил так, словно повторял давно заученную, хорошо запомнившуюся молитву. Он уже сидел ровно, как фигурка ушебти. Едва шевелил губами. Ка-Нефер с трудом улавливала его слова. И когда Нефтеруф сказал все — на одном дыхании, хозяйка дома молчала долго-долго.

«...Он очень уязвлен. Он очень несчастен в своем положении. Долго мытарил, но верил. Верил в судьбу свою, которую определяют боги. Ему предназначена великая судьба, ибо Нефтеруф достоин ее. Пусть тьма окутывает его путь, пусть он пока унижен и принужден скрываться наподобие летучей мыши. Разве сильные не добьются своего? Разве не для них существует земля? Не для робких, но сильных, умеющих идти в потемках и находить свою дорогу...»

Он ждал ее слов. Что скажет эта прекрасная дама, запечатленная в гипсе и камне многих ваятелей?

Но в это самое мгновение вошел Ахтой — свежий, отоспавшийся, умытый. Он приветствовал госпожу дома и ее гостя. Был полон сил и желания работать.

Ахтой с радостью сообщил (точно об этом шел разговор только что):

— Наш учитель и начальник Джехутимес нашел черточку, которая оживила лицо ее величества. Он взял резец и провел маленькие бороздки в уголках губ. И живой камень — каким и было изваяние, вышедшее из-под его рук, — окончательно ожил. И кто бы ни посмотрел на портрет ее величества, не может не произнести похвальных слов.

— Это хорошо, — бесстрастно сказала его жена.

— Еще бы! Любимая наша царица как бы снова возведена на престол. На этот раз не жрецами, но ваятелями.

— Это так, — подтвердил Нефтеруф. — Я чуть было не выронил из рук сосуд с водой, когда увидел каменное изваяние, подобное живому существу.

За завтраком Ахтой продолжал восторгаться скульптурой. Однако она еще не окончена. Недостаёт царственной короны, которую мастерит Ахтой. Но пройдет время, и корона будет готова. Мир удивится мастерству Джехутимеса...

— Да? — обронила Ка-Нефер.

— Разумеется! — подтвердил Ахтой. Он поднял высоко кусок жареного гуся. — Я клянусь вот этим сладчайшим куском!

— До того ли сейчас царице, Ахтой?

Ахтой перестал жевать. Вопросительно уставился на Ка-Нефер. И сказал, обращаясь к Нефтеруфу:

— Она, как видно, совсем похоронила царицу.

Нефтеруф пожал плечами: это не его ума дело...

— Ты что-то хотел сказать, Нефтеруф?

— Я? Нет, ничего. И что мне говорить? Мое дело — маленькое: поди принеси воды! Помоги замесить глину! Вот мое дело. И еще: поскорее избавить вас от себя, чтобы самому стать на ноги.

— Слышишь? — обратился к жене Ахтой. — Наш гость, как видно, недоволен нами. Ему не терпится покинуть нас.

— Это правда? — Ка-Нефер сделала вид, что удивлена.

— Правда, но не совсем,— сказал бывший каторжник.— Мне хорошо здесь. И даже слишком. Это и служит причиной...

— Хорошее отношение к тебе — причина?! — вскричал Ахтой.

— Да. Не стоит испытывать терпения милых хозяев...

— Выпьем вина,— предложил Ахтой.— Оно улучшит состояние духа.

Нефтеруф не заставил себя упрашивать. Он прильнул к чарке, точно изжаждавшийся бородатый азиат.

Вскоре Ахтой и Нефтеруф покинули дом: их ждала работа в мастерской Джехутимеса.

Появление Шери в хижине Сеннефера было неожиданным. Парасхит даже не поверил своим глазам. Шери был без парика — пыльный и усталый, как каменотес. Его квадратное лицо, угловатые челюсти, ровный — без выступа — подбородок выдавали прежнего Шери — аристократа, человека воли и ума. Прямо с порога он объявил:

— Сюда явятся двое. Едва ли ты знаешь одного из них. Но при появлении другого ты не должен выказывать ни удивления, ни страха.

— Страх?

— Да.

— Кто же это будет?

— Узнаешь в свое время.

— А тот... другой... кто он?

— Его имя Нефтеруф...

— Нефтеруф. Странное имя. Оно мало известно в долине Хапи.

— Это имя вымышленное. Носящий его сбежал из рудников. Человек из знатного рода был сослан в золотые копи. И сбежал. Он стал нищим. Его сородичи погибли или прозябают в горах. Они питаются ящерицами. И проклинаят день своего рождения. Нефтеруф явился сюда для отмщения.

Шери поднял правую руку вверх. Он продолжал:

— Вот так, уважаемый Сеннефер: одни сделались парасхитами, другие — нищими, третьи одичали, как

волки. Но всех их объединяет одно: ненависть к фараону, ненависть к имени его и ко всем единомышленникам его.

— И жажда мести,— добавил Сеннефер.

— Истинно сказано, уважаемый!

Парасхит усаживает гостя на циновку. А сам идет во двор.

Уже поздно. Город уснул. Погашены огни на главных воротах дворца. Первая ночная стража обходит опустевшие улицы. К дворцовой пристани уже не пристает ни единая ладья. Столичный перевоз в последний раз принимает запоздалых путников. К полуночи, к полуночи клонится время...

Вокруг хижины парасхита пустынно и темно. Мрачная тишина на земле.

Трижды обходит вокруг хижины Сеннефер. То постоит и прислушается к тишине, то припадет к земле и озирается, точно зверь в камышах Хапи. И, успокоившись, уходит к себе в хижину, чтобы сообщить Шери, что все спокойно. А когда слышались шаги на дороге, Сеннефер тотчас же предупредил:

— Кто-то идет.

Он вышел к порогу. И вскоре ввел Нефтеруфа.

— Я здесь,— сказал вошедший.

— И я здесь,— ответил Шери.

Они обнялись. А Сеннефер старательно закрыл дверь на деревянную щеколду.

— Вот Сеннефер,— сказал без дальних околочностей Шери. — Правда, он не ел землю комьями, но принужден копать во внутренностях покойников. И это великий Сеннефер из Ей-н-ра! Дом его предан огню, закрома его разграблены, земли присвоены фараоном.

— Рад видеть тебя, Сеннефер,— приветствовал его Нефтеруф. — Нелицеприятный Шери всегда говорит чистую правду. Я привык ему верить. Его слов достаточно, чтобы имя твое сделалось дорогим для меня.

Сеннефер почтительно поклонился:

— Уважаемый Нефтеруф, не побрезгуй, вкуси от скудного ужина и попробуй пива. Я совсем не ждал ни Шери, ни тебя. А желудок мой привык к скудости.

Ради приличия Нефтеруф пожевал вяленой рыбы и запил пивом. Если бы сказали лет десять тому назад

там, в Уасете, что придется ему сидеть в обществе заговорщиков в хижине парасхита, то привлек бы болтуна к судебной ответственности. Но нынче он находится именно в положении заговорщика, именно в хижине парасхита! Не удивительно ли это? Один из славных отпрысков знатного уасетского рода и жилище бедняка — не правда ли, нечто невообразимое?! И это произошло по воле одного существа — не важно, божественного или земного он происхождения! Это случилось на цивилизованной и великой земле Кеми! На берегах священной реки Хапи. Ну, не удивительно ли это?!

— Нефтеруф,— сказал Шери,— я предупредил Сеннефера. Хочу то же самое сказать и тебе. Сейчас сюда, в эту хижину, заявится важный господин... Некий царедворец... Ни ты, ни Сеннефер не должны выказывать никакого удивления. Ни словами, ни видом своим, ни выражением глаз своих.

Экспансивный Нефтеруф не выдержал:

— К нам? Царедворец?!

— Тише, тише, Нефтеруф! Никогда не забывай: в столице имеют уши даже стены, и полы, и потолки! Здесь одно огромное ухо. Такое невообразимое. Оно слышит даже шорох в камышах Дельты. Берегись соглядатаев, Нефтеруф! Умерь свой пыл, будь человеком холодным, как рыба. Это моя большая просьба. А точнее — приказ.

— Повинуюсь,— пробормотал Нефтеруф и с силой прижал ладонь к губам. У него даже челюсти хрустнули возле ушей.

— С этим самым царедворцем буду говорить только я. А вы слушайте и запоминайте.

— А ежели он обратится к нам?

— Отвечайте коротко. Односложно.

Шери был сосредоточен, сдержан. Словно готовил себя и своих единомышленников к большому испытанию. Он поджал под себя ноги, скрестил на груди руки. Глядел прямо перед собой. Куда-то вдаль. Сквозь стены этой хижины.

Нефтеруф знал его давно. Еще в детстве слышал его имя. Потом они встречались в Уасете. Учились в школе. Вместе заучивали иероглифы. Чуть ли не одновременно получали палочные удары, отпускаемые щедрой рукою ученого жреца. Шери всегда отличался

от других. Даже в те годы. А теперь он — признанный вождь невидимой, тщательно запрятанной оппозиции. Верховный глава ее. И в случае необходимости — ее командующий. К нему стекаются все недовольные, все противники фараона. Как и следовало предполагать, один из недовольных обосновался в самом дворце. Очень любопытно узнать — кто же? В конце концов, это и не важно. Главное — здесь Шери, к которому все единомышленники испытывают безграничное доверие. Без такого доверия невозможно затевать борьбу против фараона...

Сеннефер вышел во двор и снова трижды обошел хижину, зорко всматриваясь в темень, припадая к земле и нюхая ночной воздух. Все тихо. Все спокойно в этом заброшенном уголке столицы. И он вернулся на свое место, бросив короткое:

— Никого!

Шери начал издалека:

— На горе Кеми родились два фараона: Эхнатон и отец его — Аменхотеп Третий. Что было до них? Кеми процветал, повсеместно царили покой и порядок. Люди работали. За них думали фараоны. Например, Тутмос Третий. Он воевал. И каналы строил. Ссылал непокорных за пятый порог и в Ливийскую пустыню. Разве плохо было? Кеми процветал! Враги его трепетали. Бывало, фараон чихнет в Уасете, а ему в Эфиопии и Ретену говорили: «Будь здоров!» А что теперь? Нас теснят. Нам не кланяются в Джахи. Хетты презирают. Митанни смеются. Эфиопы ждут удобного дня, чтобы сокрушить нас. И это спустя очень много лет после того, как наши предки свергли гиксов и на престоле Кеми воцарился его величество Яхмос Первый. Что же теперь? Вместо того чтобы двигаться вперед и держать на почтительном расстоянии наших врагов...

Шери поочередно посмотрел то на Сеннефера, то на Нефтеруфа.

— Он, — Шери указал пальцем через левое плечо, в сторону города, — он не нашел ничего лучшего, как разогнаться, подобно драчливому барану, и сокрушить изваяние Амона. Нашего тысячелетнего божества. Который в сердце и в печени у нас, в голове и душе. Он решил, что лоб его все может. Но ведь и носорог — страшное животное юга — расшибает свой лоб. О ка-

кое-нибудь прочное дерево или о бивни слона. Можно стереть имя великого бога Амона со стен храмов и обелисков, но нельзя вырвать его из сердец тысяч и тысяч людей. Можно сгноить в рудниках сотни знатных фамилий Уасета, Мен-Нефера и Ей-н-ра, но невозможно завоевать благосклонность даже немху. А почему? Да очень просто!

Шери пояснил: потому, что немху требует не гимнов Атону и песнопений, но более существенного. А именно: должностей, земли, участия в прибыльных походах на чужие государства. Вот что надо немху! А что дает фараон? Пока что одни обещания. А ведь прошло целое десятилетие! Обещания, обещания, обещания! И несть конца им. Они повторяются, как молитвы. С той же убежденностью, монотонностью и — уввы! — с тем же результатом. То есть протянутая рука немху, рука просящая, не получает ничего, кроме воздуха, который над ладонью. Кого же может удовлетворить воздух, если даже подарить его вместе с небесами?

Нефтеруф и Сеннефер с интересом слушали его рассуждения, резонно полагая, что вслед за ними впоследствии важны предложения. Ни того, ни другого не требовалось убеждать в чем-либо. Их ненависть к фараону и его царедворцам была непоколебимой. Она родилась не сегодня и даже не вчера. Фараон сам нажил себе врагов, сам собственноручно изготовил их с большим прилежанием, подобно гончару, обжигающему глиняные кувшины... Может быть, Шери сам пытался кое-что освежить в своей памяти? И в памяти своих друзей? Возможно, это были его мысли вслух, раздумья вслух, так необходимые порой человеку, идущему на слишком большой и рискованный шаг. Теперь уже это никто с достоверностью не определит. Однако если мертвая земля способна запоминать слова, высказанные со страстью необыкновенной, то она, несомненно, когда-нибудь воспроизведет спокойную внешне, но горячую по сути своей речь Шери.

— Дальше? — попросил Нефтеруф. — А дальше?

Шери не торопился. Отпил глоток пива и снова скрестил руки на груди.

— Поймите меня: я все веду к тому, чтобы и я и вы точно уяснили себе, что делается в стране. Значит,

так: недовольны немху, ожесточена знать, бурлит возмущением загнанное в угол жречество Амона. Что еще надо? На то у нас и глаза и уши, чтобы все видеть, все понимать. Что следует из того, что вы слышали?

Но не дал он слушателям и рта раскрыть. Он сам ответил на этот вопрос:

— А следует вот что: у нашего великого государства глиняные ноги. Вот смастерил их гончар и приделал. Разве на глиняных ногах удержишься?

— До поры до времени...

— Верно, Сеннефер. И эта пора может наступить раньше, чем предполагаем.

— А может, уже настала?

— Нефтеруф, ты это утверждаешь?

— Нет, спрашиваю, размышляя, Шери.

— Я пришел в этот город для того, чтобы сообщить: да, эта пора настала!

Нефтеруф на мгновение застыл. И Сеннефер тоже. И вдруг беглый каторжник схватил руку Шери и облобызал ее молча, как пес, который по-своему благодарит доброго хозяина.

Сеннефер, воздев руки, горячо молился богам. И повторял про себя: «Неужели?.. Неужели?.. Неужели?..»

Вдруг за дверью послышались шаги.

— Он!

Шери убежден, что это именно он.

— Открой, Сеннефер!

Старик быстро поднялся на ноги и подошел к двери, за которой словно поджидала его сугубая опасность.

— Смелей, Сеннефер!

Шери и не допускал мысли о том, что это может быть кто-нибудь иной, кроме него. Которого ждали. И Сеннефер осторожно откинул деревянную щеколду и приоткрыл дверь. Узкая полоска неяркого света упала на того, кто стоял за порогом.

В хижину вошел тучный, отдувающийся человек. Точно из воды вылез. Кто же это?

— Добро пожаловать, Маху! — сказал негромко, совсем негромко Шери. И встал навстречу вошедшему.

Да, это был Маху, начальник дворцовой стражи, в чьих руках, если можно сказать, ежемгновенно находилась жизнь его величества. Которому доверялся владыка обеих земель Кеми. Который был глазами, ушами и опорой его величества. Кто не знал Маху? Даже дети слышали его имя. Им пугали непослушных и шаловливых. Им говорили: «Вот придет Маху и задаст тебе трепку», «Маху отрежет тебе уши», «Усни — или заберет тебя страшный Маху». Нет, даже дети были по-своему знакомы с этим Маху, не говоря о взрослых. Его имя заставляло трепетать сердца и нагоняло дрожь на каждого, кто находился между Дельтой и Эфиопией. И семеры хорошо понимали, что за птица Маху. Если его светлость Эйе олицетворял, по их разумению, хитрость и коварство, Хоремхеб — оголтелое воинство, то Маху являл собою жестокость беспримерную, о которой, может быть, и не догадывался даже сам фараон. Многие спрашивали себя: «Как может его величество — жизнь, здоровье, сила! — терпеть жестокосердного, неумолимого человека вроде Маху? Или это совершенно необходимо для власти фараоновой?» И вот этот самый Маху является сюда, в эту хижину. Зачем?

«...Если и Маху здесь, — подумал Нефтеруф, — значит, дело значительно серьезнее, чем это можно предположить. Если живая плоть фараонова — а Маху именно плоть — считает возможным покинуть дворец и побеседовать с заговорщиками, то дело наполовину выиграно. Это значит, что власть шатается, очень шатается. Да и Шери не стал бы попросту рисковать ни собой, ни своими единомышленниками...»

Сеннефер:

«...Великий Амон позвал сюда этого Маху, который только таким образом может искупить свою вину перед богом. Этот случай посылает ему Амон-Ра, ибо Маху виновен не меньше самого фараона. Вот так выясняется и проверяется прочность власти, пытавшейся сокрушить тысячелетнее божество, которое во плоти и крови всего Кеми, всех его людей...»

Маху:

«...Вот эти трое. Один из них несчастный парасхит, другой — неизвестный миру человек, но, судя по виду его, довольно решительный. Можно ли опереться на

столь жалкую силу в таком невероятно трудном деле, как борьба с фараоном?..»

Он не торопился присаживаться, исподлобья осматривал комнату и ее обитателей.

— Ты здесь среди преданных тебе людей, Маху, — счел необходимым предупредить его Шери. — Я хочу сказать, что любое твоё решение останется между нами. Никто об этом не узнает, кроме стен.

— Стены не менее опасны, чем люди, — изрек Маху. И уселся на низенькую скамеечку.

— Уважаемый Маху, — сказал Сеннефер, — неужели и ты опасешься соглядатаев?

Маху долго молчал. Потирал руки, точно они озябли. Громко сопел. Бросал любопытствующие взгляды на каждого из троих мужчин. Такие быстрые взгляды. Словно камешки в полете...

— Когда один, — начал он, — устанавливает слежку за другим, приходится набирать соглядатаев. Не одного, не двух и не трех. Много соглядатаев! Потому что один подозреваемый всегда связан со многими другими. Значит, слежка разрастается. Что делать? Приходится следить и за соглядатаями, и за соглядатаями соглядатаев, и за соглядатаями соглядатаев соглядатаев. Что же получается?

Шери покачивал головой. Он-то хорошо знал, что получается.

— Как мастерят корабельные канаты? Берут льняное волокно. Оно не толще волоска. Волокно к волокну. Ещё волокно — и уже суровая нить. Суровая нить к суровой — толстая нить. Из тысячи таких нитей, искусно сплетенных, и получается канат — с руку. В обхват! И уж в таком канате найти изначальное волокно, проследить за извилами его пути так же трудно, как найти меченую песчинку в Западной пустыне. К чему я клоню? А вот к чему: когда великий владыка набирает когарту осведомителей, толпу соглядатаев, неимоверно возрастающую числом, то каждый из нас имеет равную возможность попасть во власть к этим крайне любопытствующим людям. И уже болезненно любопытствующим. Не важно, во имя чего были собраны они, кто собирал и куда направлял. Я слежу за тобой, ты — за мной, мы оба — за третьим, втроем — за четвертым. Буду краток: со-

здающий эту силу часто попадает сам в ее сети. Скажи мне, Шери: прав я или нет?

— Прав, — без обиняков согласился Шери.

— Вот почему и я боюсь этих стен, хотя направляю соглядатаев сам и они у меня вот здесь. — Маху сжал руку в кулак — до хруста жирных пальцев.

Нефтеруф спросил:

— И ты сам, уважаемый Маху, вот так же в их власти?

— Именно. Только им много легче, чем мне.

— Я выйду посмотрю, все ли в порядке, — сказал Сеннефер.

Маху ухмыльнулся. Эта усмешка на его багровом лице, подсвеченном светильником, была скорее устрашающей, нежели добродушной.

— Не утруждай себя, Сеннефер, мы все находимся под недреманным оком моих соглядатаев. Они оцепили твою хижину.

Нефтеруф невольно съежился, точно на него замахнулись. Только спокойствие Шери — если только Шери был спокоен — удерживало его от бегства.

Маху сказал:

— Время идет, Шери. Что ты имеешь сообщить мне? И должен ли я слушать в присутствии этих уважаемых господ?

— Да, Маху.

— Что же, я весь внимание.

Шери твердо заявил:

— Каждый из нас готов пожертвовать своей жизнью!

Маху кивнул.

— Все вместе или порознь! Мы сказали себе: жизнь или смерть!

— Достойные слова!

— Больше невозможно терпеть его...

— Ты хочешь сказать — Эхнатона?

— Да! Попранное имя Амона должно быть восстановлено.

— Зачем?

— Как — зачем? — удивился Шери.

— Вот именно: зачем?

— Дабы величие Кеми было вечным...

— Та-ак...

— Дабы униженные знатные фамилии вновь обрели свою прежнюю силу.

— Неплохо бы...

Вдруг раздался зубовой скрежет. словно лев голодный поднялся из-под земли. И, завидя людей, заскрежетал зубами, предвкушая добычу. Здесь, в этой хижине, действительно пребывал лев, но лев в образе Нефтеруфа.

— Уважаемый Маху,— сказал он, с трудом сдерживая себя, чтобы не возвысить голос до крика,— вот мои руки — они способны разорвать дикого буйвола. Возьми их и прикажи им содейть нечто. Невиданное. Неслыханное. Они долго пребывали в безделье. Они способны нанести удар, от которого содрогнется мир!..

Словно желая удостовериться в этом, Маху через плечо поглядел на руки Нефтеруфа — волосатые, мускулистые, налитые кровью.

— Мало,— буркнул царедворец.

— Чего мало?

— Рук!

Шери сказал:

— У нас есть еще.

— Где?

— Здесь, в этом городе...

— А еще?

— В Уасете.

— Мало!

— В Мен-Нофере.

— Мало!

— В Дельте.

— Недостаточно!

— И во дворце.

Маху вопросительно уставился на Шери:

— Во дворце?

— Да.

— Кто же это? Можно узнать?

— Да.

— Кто же?

— Ты!

Маху усмехнулся:

— Ты считаешь, что этого достаточно?

— Вполне!

Его разбудили по велению фараона и препроводили во дворец. Бакурро-писец был воистину удивлен: в такой поздний час? И к самому его величеству? Это что-то небывалое! Или к хорошему это. Или к чрезвычайно дурному.

Он посматривал на стражников, вооруженных пиками и легкими щитами, и думал о своем. Небольшого роста, тщедушный писец выглядел жалким по сравнению со здоровенными воинами дворцовой охраны. Со стороны могло показаться, что ведут арестованного.

Вот идут они. Пересекают двор. Еще двор. Сад. Дворик. Еще дворик. Сад. Зал. Еще зал. Зал с колоннами. Открытый дворик. Зал. Комнаты. Коридоры. Коридорчики.

Перед небольшой дверью — заминка. Стража не смеет переступить порога. Они молча указывают на дверную ручку. Бакурро считает удары сердца: один, два, три... Не сосчитать! Он перед спальней его величества. Святая святых, лицезреть которую и не мечтал. Не чаял даже во сне... Будь что будет: он открывает тяжелую дверь.

Царь сидит, подогнув под себя ноги. На мягких подушках. Среди ярких светильников. В легкой одежде. Грудь — нараспашку. Держась за левую сторону груди. Надменный. С первого взгляда надменный. А на самом деле — с выражением тоски на лице и в глазах.

Бакурро припадает лбом к прохладному полу, на котором изображение сочной травы, зеленого папируса и мелких птиц.

— Сядь! — Фараон указывает на длинную, низенькую скамью. — Ты удивлен, Бакурро?

Теперь Бакурро не боится. Почему-то вдруг осмелел. Способен даже отвечать. И ясно мыслить.

— Нет, твое величество.

Вот он, благой бог. Небольшой. Тщедушный. Можно сказать, двойник Бакурро. Если говорить о плечах, животе и ногах.

— Ты не удивлен, что зван так поздно?

— Нет. Потому что, твое величество, Кеми живет и действует и днем и ночью, требует к себе внимания и днем и ночью.

— Это верно,— проговорил фараон. Он направил на писца указательный палец левой руки (правой продолжал растирать сердце).— Почему-то странно ведешь себя, Бакурро?

— Я?

— Да, ты. Я часто наблюдаю за тобой. В тронном зале. Ты не такой, как все. Ты, по-моему, всегда думаешь о чем-то своем. Ты вечно отсутствуешь, хотя находишься вблизи.

— Я размышляю, твое величество.

— Это хорошо. Мысль отличает человека от домашнего скота. Мысль, не знающая сна ни ночью, ни днем.

— Истинно так, твое величество.

— Я давно обратил на тебя внимание. И решил поговорить с тобой... Сколько тебе лет?

— Сорок, твое величество.

— Чуть постарше меня.

— Лет на пять, твое величество.

— Разве это много?

— Да, много. Я уже чувствую старость...

— Правда? — обрадовался фараон.— А я — нет!

— Жизнь, здоровье, сила! — воскликнул Бакурро в приливе чувств.

— Я часто, часто слежу за тобой, Бакурро.

— Не замечал этого, твое величество.

— Ты не такой, как остальные. Имеешь ли ты награды?

— Да. И самую высшую.

— Когда и за что ты получил ее?

— Только что. А за что — не ведаю. Эта беседа — высочайшая награда для смертного!

Правду ли он говорит? Правда ли это, Бакурро? А ну-ка подыми глаза на его величество... Прямее гляди! Гляди не мигая!..

«...Нет, этот скриб говорит правду. Я был знаком с его отцом. Тоже скрибом. И отец отца был писцом. Но, насколько помнится, они не знатного происхождения. Один из предков Бакурро ходил в азиатские походы с войсками Тутмоса Третьего. Честные, честные

люди! И зачем ему лгать? В его черных глазах — одна правда. Они не мигают. Он не прячет их, не отводит в сторону».

— Умеешь ли говорить правду, Бакурро?

Писец не спешит с ответом.

— Прямой ли ты человек, Бакурро?

— Твое величество, тебе я скажу только правду.

— Это очень хорошо! Ты даже не можешь представить себе, как это хорошо! Нельзя жить с человеком под одной кровлей и лгать ему. Это невыносимо! А кровля у нас одна — небо!

— Истинно сказано, твое величество... От детей я требую только правды.

— Что же, Бакурро, ты на правильном пути. А вот скажи мне: что ты думаешь о фараоне? Когда слушаешь его. Или записываешь его слова. В тронном зале... Я многих писцов вижу насквозь, словно слюдяную пластинку. И не раз спрашивал себя: о чем думает в это мгновение этот скриб? То есть какие мысли одолевают тебя?

— Когда записываю слова твоего величества?

— Да. Мои слова. Только правду!

— Никто никогда не интересовался моим мнением.

— Даже твой начальник?

— Да, и он тоже.

— Хотя бы твоим мнением о папирусе, на котором пишешь?

— И это его не интересовало.

— ...хотя бы о чернилах?

— Зачем? Он полагает, что все ему известно и без меня.

— ...хотя бы о каком-нибудь иероглифе?

— Ни о чем!

Фараон подумал: каково жить на свете, если твое мнение никому не нужно? Он поставил себя на место этого скриба, разбуженного среди ночи. Может быть, он спал в это время с женой? А ведь может быть!..

— Послушай, Бакурро: ты спал один или с женою?

— С женой.

— Она молода?

— Вдвое моложе меня.

— Ты, наверное, проклинаешь меня?

Писец покраснел, как вавилонский индюк.

— Хорошо,— сказал фараон.— Не ты, так твоя жена ворчит.

— Может быть!

— Ты мне нравишься, Бакурро! Неужели она такая горячая, что не может без тебя и часа?

— Не может, твое величество. Особенно ночью.

— Как?! Ты имеешь ее и днем?

— Если выпадает свободный час. Она же наполовину азиатка, а наполовину — негритянка.

— Где же ты нашел такое сочетание двух огней?

— Здесь. В столице.

У фараона озорно засветились глаза, подобно двум звездам Сотис. Его восхитила прямота скриба. У его величества появилось желание выяснить кое-что более серьезное, нежели любовь к молодой и горячей жене.

— Думал ли ты когда-нибудь о Кеми и его владыке?

— Да, твое величество.

— Что же ты думал?

— Я очень боюсь...

— Говори, говори,— подбадривал фараон писца.

— Оглядываюсь назад — и вижу вереницу десятилетий, сотен лет. Они теряются где-то далеко-далеко... Мне кажется, что я попадаю в ночь, у которой нет конца. Так велико время, стоящее позади нас. Потом я смотрю вперед...

— И что же? — нетерпеливо перебил фараон.

Писец пожал плечами. Ему не хотелось огорчать его величество. Особенно в эту позднюю пору. Но фараон ждал. Напряженно. Выставив мощный подбородок.

— Впереди, мне кажется, на нашем пути — туман...

— Что? Что?! — воскликнул фараон.

— Туман.

— Какой такой туман?

— Мрак, твое величество.

— Гм... Мрак... При чем здесь мрак? Не можешь ли ты изъясниться поточнее?

— Могу.

— Так за чем же стало дело? Я жду, Бакурро!

— Твое величество, я спрашиваю себя: что будет с Кеми через сто лет? Слушаю твои слова, записываю их, а сам себе: что будет с Кеми через сто лет? Что будет с Хапи? С нашими внуками и правнуками?

— Разве это входит в твои обязанности, Бакурро?

— В том-то и дело, что — нет! Поэтому храню в сердце свои заветные мысли. Они остаются со мною. Мне с ними и легче... И тяжелей...

Писец замолчал.

«...Любопытная личность! Вот сидит он: записывает чужие слова. А своих немало! Впору бы записать их. Бакурро думает... Бакурро глядит в будущее. А ведь это — прерогатива фараона. И его ближайших помощников. Эти тоже обязаны смотреть вперед. Да кто из них что скажет?! Молчат, а если раскроют рты — непременно солгут. А этот — нет. А этот, как видно, правдив...»

— Бакурро, говори же, говори! — приказал фараон. — Что ты видишь, кроме тумана?

— Разве этого мало?

— Сказать по правде — нет. Но разве туман не кончается? Он имеет обыкновение испаряться...

— Не знаю, — мрачно проговорил Бакурро.

— Но почему же — туман? — допытывался фараон. — Я приказываю договаривать мысль. Раскрыть ход твоих рассуждений!

Писец неожиданно схватился за голову. Сорвал с себя парик, точно он был из железа и сковывал ему голову.

— Твое величество! — чуть не вскричал он, чуть не плача проговорил он. — Рассуди сам: Кеми охвачен со всех сторон, как обручем винная бочка. Есть такие бочки в Митанни... Они — деревянные. Представь себе: знающий свое дело бондарь изготовил такие прочные и тесные обручи, что каждая составная часть деревянной бочки кричала бы невообразимо, если бы умела кричать.

— Отчего же, Бакурро, кричала бы?

— Оттого, что тесно, оттого, что нельзя вздохнуть посвободнее. Так и Кеми: каждый из его сынов сдавлен со всех сторон, ему заказан путь, обруч не дает ни малейшей возможности сойти с места. Как известно, не все воины выдерживают четкий строй, который

требуют военачальники. Что же можно сказать о человеке, о каком-нибудь Псару-землепашце, о каком-нибудь Бакурро-лодочнике? Они едва дышат, твое величество. Власть князей жестока: того не смей, этого не смей! Того не говори, этого не молви! Иди вправо, а не влево! Теперь влево, а не прямо! Скажи мне, твое величество, сколько может этого самого «того нельзя, этого нельзя» выдержать даже такой долготерпеливый человек, как наш?

Царь барабанил пальцами по скамье, на которую опирался рукой. Он желал слушать, а не говорить. Слушать, не прерывая своего собеседника. Кивком головы он подбодрил писца.

— Твое величество, отчего песку так много в пустыне? Откуда взялся песок? Раньше, в прежние времена, там были одни камни: большие, средние, маленькие. Но камни. Однако солнце палило нещадно. С утра и до вечера. Едва успевали остыть за ночь, чтобы снова нагреться на нестерпимом солнцепеке. И когда выяснилось, что испытанию этому не предвидится конца, камни стали лопаться один за другим. Они не выдерживали зноя, твое величество. И на месте одного камня появились тысячи песчинок. Они засыпали все живое — каждую травинку, — и отсюда пошла пустыня. Если обруч, о котором я говорил, будет все туже затягиваться, то что получится?

— Ты хочешь сказать — пустыня?

Писец коротко кивнул. И выражение лица его было такое, точно Кеми на его глазах превратился в выжженную солнцем пустыню. Очень ему жаль Кеми, где он родился, вырос и будет погребен с почестями или без них...

— Твое величество, люди государства, подобного нашему, не могут долгое время жить, точно воины в казармах где-нибудь в провинции Гошен или на земле Синайской.

— Ты, стало быть, пророчишь нашей стране гибель?

— Да.

— Скорую?

— Этого я не знаю.

— Ты именно это имел в виду, когда говорил о тумане?

— Да.

Царь опустил большие, тяжелые веки:

— Ты сказал страшную вещь, Бакурро.

— Возможно. Но ты сам повелел быть откровенным.

— Бакурро, скажи мне, как по-твоему: могу ли я сделать что-нибудь, чтобы рассеять туман?

Писец чувствовал себя крайне неловко: пойти против своей совести он не мог, а сказать все до конца — не решался. И в то же время он зашел слишком далеко в своей откровенности, и останавливаться посреди не просто бессмысленно. Ибо если уж заслужил гнев его величества, запоздалым молчанием не искупишь вины.

«...Лет шесть я замечаю этого скриба. Что-то необычное в его прилежании и в этой мечтательности, которая прорывалась, может быть, против его воли. Я не раз вспоминал о нем. Но почему же ни разу не удосужился поговорить с ним? Неужели же только Мерира или Пенту, только Эйе или Хоремхеб должны быть моими собеседниками? Впрочем, что я говорю! Разве мало было разговоров с самыми различными людьми из немху, а то и просто из бедняков? Однако, чтобы найти такого откровенного, как этот Бакурро, надо хорошенько постараться...»

— Бакурро, продолжай. Доставь удовольствие!

— Изволь, твое величество.

Бакурро совсем успокоился. Сердце билось ровно-ровно. Дыхание ровное-ровное. Словно беседует со своим закадычным другом, а не повелителем вселенной.

Вдруг фараон побледнел. Схватился за сердце. Широко раскрыл рот, словно воздуха не доставало ему. Это продолжалось несколько мгновений. У него на лбу выступил холодный пот. Такой обильный. И улыбнулся.

— Теперь лучше, — сказал он.

— Что с тобой, твое величество?

— Даже не знаю. Ноет вот здесь. — Он взял руку Бакурро и приложил к сердцу. — Вот здесь. Ты не знаешь, Бакурро, что это может быть?

— Твое величество, ты попросту утомился...

— А у тебя сердце болит, Бакурро?

— Вот здесь?

— Да, здесь. Под седьмым ребром.

— Болит.

— И часто?

— По ночам.

— Теперь ты нравишься мне еще больше. У нас с тобой не только одинаковые заботы, но и болезнь... А чем ты лечишься, Бакурро?

— Ничем.

— Ты не пьешь вот такой гадости? — Фараон поднял глиняный сосуд и отпил из него вонючей жидкости. — Это мне советует Мерира. А в том сосуде — лекарство Пенту. Каждый из них называет снадобье «эликсиром жизни». Я пью из обоих сосудов. Поочередно. Вперемежку. Что ты скажешь?

— Не доверяешь им, твое величество?

— Я?

— Да, ты.

— Разве сын Атона может снизойти до этого? Да и что может сотворить даже самая страшная жидкость?

— Отнять жизнь, например.

— Ты думаешь?

Фараон опасливо взглянул на Бакурро, словно бы тот достал нож из-за пояса. Но тут же тряхнул своим коротко подстриженным париком. Громко засмеялся:

— Это невозможно, Бакурро! Невозможно не верить! Иначе вся жизнь превратится в сплошную муку. Ибо даже такой всесильный сын бога Атона, как я, не может обойтись без человеческих рук. А раз не может — должен доверять. Не может не доверять. Хотя бы самым близким.

— А если обманут?

— Ты не так выражаешься, Бакурро. Скажи лучше: а если обманывают?.. В настоящем времени!.. Да, да! Меня нещадно подводят. Где только могут. Поймал — накажи. Не поймал, — значит, верь. Так ведется со времен его величества Нармера... Что бы ты предложил взамен?

— Не знаю, твое величество. Ты уже сделал невозможное, возвеличив великого бога нашего Атона и посрамив Амона. А ведь Амон родился раньше Нармера. Это сделал ты, твое величество! Так неужели же не можешь победить обмана?

— Ты хочешь это знать?

— Очень.

— Так слушай: не могу! Бога победить легче. Теперь уж схватился за сердце Бакурро:

— Умоляю тебя, твое величество, не надо! Услышать из твоих уст подобное признание — значит потерять веру в себя, в самую жизнь и в бога!

— И тем не менее это так.— У фараона сверкнули глаза, он плотно сжал губы. Что-то хищное пробудилось в нем. Ему словно было очень и очень приятно помучить этого маленького, слишком много думающего писца.

Бакурро казался подавленным.

— А теперь, твое величество, я могу сказать лишь одно: туман не только не рассеется, но он окончательно окутает Кеми, и тогда, пользуясь его покровом, нас возьмет под мышки или хетт Суппилиуме, или митанниец Душратту, или еще какой-нибудь нечестивый азиат. Теперь я это могу повторить даже под пыткой. После того как выслушал тебя.

Фараон махнул рукой. Было что-то безнадежное в этом жесте. А может, это показалось писцу? Все может быть: в этот поздний час, когда болит сердце и тяжесть в голове...

— А кто тебе запретит, Бакурро, повторять правду?

— Может, Эйе?

— Нет.

— Пенту?

— Нет.

— Мерира?

— Нет.

— Хоремхеб?

— Нет.

Писец развел руками: дескать, ничего не понимаю...

— А тут и понимать нечего, Бакурро: все они будут рады-радешеньки, если слова твои сбудутся.

— Разве так ненавидят они Кеми?

— Нет, они ненавидят меня!

Фараон произнес эти слова так равнодушно, будто говорил о преимуществах фиников перед винной ягодой или наоборот. И улыбался при этом. Словно

следил за боем баранов из Ретену. Или петухов из Джахи. Он сказал это так, точно это ему было известно давным-давно. А сейчас — только повторил надоевшую истину.

— Ты велик, ты очень велик! — искренне произнес писец.

— Тебя так удивили мои слова, Бакурро?

— Нет.

— А что же?

— Твоя терпимость, твое величество. Это она повергла меня в столь сокрушительное недоумение.

— Плохой стиль, Бакурро. Архаики много. Ну кто говорит в наше время «повергла меня»? Пылью древних папирусов отдает, Бакурро. А ведь ты не просто писец, но царский!

Скриб покраснел. Как мальчик. Он поднял руку до уровня своих ушей, поклонился глубоким поклоном:

— Прости меня, твое величество. Я слишком много копаюсь в древних книгах... Это, наверно, очень плохо.

— Отнюдь, — сказал фараон. — Это совсем неплохо. И тем не менее надо оставаться самим собой. Ты меня понял?

— Да, твое величество, понял.

— А теперь о терпимости. Эти люди, — фараон указал широким жестом на дверь, — мои царедворцы — подобны куклам, которых показывают детям на уличных представлениях. Они — без души и без сердца. Это — то самое, что именуется государственной властью. Без них погибнет Кеми. Без них младшие перестанут уважать и слушаться старших. День превратится в ночь, а ночь — в день.

Голос фараона зазвучал твердо, повелительно.

— Нет, — возразил Бакурро, — это как раз то, что нас погубит.

— Что ты говоришь? Разве Кеми существует один год?

— Нет, не один.

— Благодаря власти!

— Может быть...

— Неслыханной дисциплине...

— Может быть.

— ...подобной граниту.
— Может быть...
— ...железу...
— Может быть... Но вспомни, твое величество, об обручах и бочке...
— Ну, вспомнил...
— Бочка держится, пока крепок обруч и пока есть вино или пиво в бочке. Но не дай бог, если иссякнет жидкость: бочка мгновенно рассохнется. Обручи не помогут! И она развалится. Потом и не соберешь ее.
— Но ведь без обруча она развалится еще быстрее.
— Может быть.
— Или ты имеешь в виду не бочку из Митанни? Скриб сказал тихо, очень тихо и покорно:
— Я имею в виду жизнь, твое величество. Только жизнь.

Фараон медленно встал, держась за сердце. Глубоко вздохнул: раз, другой раз, третий...

— Пойдем навверх,— предложил он.

Они вышли в коридор и по неширокой лестнице поднялись на плоскую крышу. Здесь было прохладно. Дул ветерок с реки. Небо — высокое, звездное. Великий город давно спал и видел сны. Кто скажет — какие? Этого не угадает даже благой бог. Кто бы заподозрил, какие роятся мысли в голове совсем еще не старого скриба? А вот поди ты: человек оказался незаурядным, воистину откровенным и с любопытными мыслями! Кто бы это подумал, глядя на прилежного Бакурро? Хорошо, что его величество видит зорко, подобно волшебной птице нехебт!.. А тут сны! Сколько людей — столько и снов. Особенно в Ахетатоне, где жизнь бурлит,— неумная столичная жизнь, где тысячи вельмож, высших чиновников, различных начальников, скрибов, ваятелей, зодчих, виноградарей, садоводов делают свое дело и посылают распоряжения во все концы Кеми. Его величество все еще держался за сердце.

— Здесь хорошо,— сказал он.
— Очень, твое величество.
— И сердцу получше.
— Моему тоже, твое величество.
— Свежий воздух целительней всех заклинаний Пенту.

— Я никогда их не слышал.

— И лучше его снадобий...

— Возможно.

Фараон схватил руку писца — такой нежной, чуть влажной рукою:

— Бакурро, а все-таки нет бога величественней Атона!

— Он наш отец и покровитель, твое величество!

Фараон подвел писца к самому краю площадки:

— Погляди, Бакурро: мир холоден, темен, слеп. А почему? Потому, что отец мой, великий Атон, ушел с небосклона. Вообрази себе на мгновение: что произошло бы, ежели б он ушел совсем? Исчезло бы тепло с полей, каналов, рек и морей. Растения перестали бы расти. Все живое поблекло бы. Сникло. Умерло в конце концов.

Лицо фараона казалось голубым. Совсем бескровным. Луна сделала его таким. А глаза его засверкали в темноте еще сильнее. От них трудно было оторваться.

Его величество подвел скриба к восточной стороне. И указал на горный хребет, который скорее угадывался на расстоянии, нежели улавливался глазами. Царь смотрел на писца, а руку вытянул вперед, как полководец, призывающий к наступлению.

— Но достаточно отцу моему, Атону, показаться над хребтом и краешком своим взглянуть на Кеми, как все живое тянется к нему, все ликует и возвеличивает имя его. Тепло и свет несет он нам. Жизнь дарует земле! Скажи мне, где, чей и какой бог может взять на себя так много забот о детях своих?

— Нет такого бога! — в экстазе воскликнул писец.

— Верно, Бакурро! И он — отец мой, родивший меня и поставивший у кормила Кеми, над народом большим, могучим, как сама страна, как Хапи несокрушимым и неиссякаемым вовек. — Фараон вдруг заговорил шепотом, очень доверительно, приблизившись близко к своему маленькому, едва заметному подданному: — Бакурро, только мне дано раскрыть тайну его величества отца моего и поведать о ней людям, открыть им глаза и дать им лицезреть деяния его. По ночам, когда все спит, когда спишь и ты, мне является

его голос и повелевает сыну своему исполнить волю его в Кеми и во всех землях сопредельных. Да, Бакурро, это говорю я, ибо истинно!

Писца прошиб холодок — такой пронзительный, заставляющий дрожать колени. Его величество вдруг показался огромным, воистину колоссом, упирающимся в небо. Скриб упал на колени и целовал ноги его, и одеяние его, и руки его. Благой бог был милостив: он не отталкивал раба своего, но продолжал говорить:

— Во имя бога моего, отца моего я повергнул во прах множество фальшивых богов. Целое сонмище во главе с нечестивым Амоном, со всеми жрецами их и приспешниками. Я низвел в сточную яму все имена богов Кеми, богов каждого города и всех городов вместе взятых. Растлевавших сердца на протяжении тысячи лет и еще тысячи лет. Я смахнул их, точно старые глиняные чаши, и они разбились вдребезги, и не собрать теперь даже осколков. Это сделал я, вот этой самой рукой, — фараон потряс десницей, — и во веки веков это будет так, а не иначе! Так будет, Бакурро, только так! Сильнее всего свет. И он есть у бога нашего. Горячее всего огонь. И он весь в пламени золота, и золото подобно нестерпимому пламени. — Его величество торжественно прочитал новые стихи:

В сердце его — огонь величавый,
Пламенеющий пламенем вечным.
На челе его — огонь золотой,
Неостывающий,
Неумирающий,
Жизнетворный огонь!..

Он не закончил. Фараон схватился за сердце — уже который раз в этот вечер. Виновато улыбнулся:

— Бакурро, почему болит сердце?

— Ты устал, твое величество. Много трудишься.

— Так велит мой отец...

— Он желает тебе долголетия.

— Знаю.

— Он огорчится, узнав, что болит сердце.

Фараон сделал несколько шагов. Прошелся еще раз — назад. Вдыхал: глубоко, глубоко.

— А теперь — не болит.

Благой бог был доволен: не болит. Скрестил руки на груди. Уперся в кадык тяжелым подбородком.

И, медленно повертываясь на каблуках золоченых сандалий, беглым взглядом осматривал город — творение рук своих. Сделав полный оборот, он сказал:

— Спит. Пойдем и мы спать...

НАГРАДЫ

В полдень следующего дня к мосту, перекинутому через Дорогу фараона, стали стекаться сановные люди. Одни из них шли пешком, других несли на носилках. Военачальники прибывали на боевых колесницах. Очень скоро Дорога фараона оказалась основательно запруженной — ни пройти, ни проехать. Только перед самым мостом — свободное пространство: около десяти шагов в окружности.

Слева и справа от Дороги тянулись кирпичные стены дворца, прерываемые пилонами или небольшими переулками, отделявшими один двор от другого или сад от двора. На пилонах сверкали разноцветные флаги. Воины дворцовой стражи, выстроенные с обеих сторон моста у его оснований, высоко вздымали боевые штандарты. Легкий гул висел над толпою, разодетой пышно, по-праздничному.

Но мало кто знал, почему, по какому поводу собрались придворные. Можно было догадаться, что царь кого-то поблагодарит, наградит наградой или объявит о каком-нибудь важном решении. Давно уже привыкли к тому, что он не советуется с советом старейшин, а выбирает советников каждый раз по своему усмотрению. А все-таки по какому случаю это торжество? Даже Эйе не знал этого. Но делал вид, что в курсе всего...

— Твоя светлость,— обратился к нему Тефнахт, начальник строительства всех царских памятников,— не скажешь ли, что ждет нас через несколько мгновений?

Эйе улыбнулся загадочной улыбкой:

— Ты очень хочешь это знать, Тефнахт?

— Нет, в самом деле,— вмешался Нехемпаатон. (Как начальник царских виноградарей, он по праву находился недалеко от моста, на котором вот-вот покажется его величество.) — В самом деле, что будет? Вероятно, кое-кого ждет награда...

Эйе иронически заметил:

— Неужели же собрали нас для того, чтобы дать взбучку?

И опять на его бесстрастно-мудром челе — загадочная улыбка. «...С нашим царем происходит что-то неладное. Еще совсем недавно он и шагу не делал без того, чтобы не испросить совета. Иное дело, что фараон мог поступить по-иному, вопреки советам. Так сказать, повернуть круто, куда вздумается. А теперь?.. Даже Мерира, преданный беспредельно, начинает обижаться. Тяжело занемогшего Мериру это очень обижает... Но что делать? Его величеству, наверное, виднее...» Мерира Первый, верховный жрец Атона, которого царь «поставил вместо самого себя» в главном храме Пер-Атон-Эм-Ахетатон, — этот Мерира вот уже несколько месяцев тяжело болен. И никто не знает чем. Но и с больным можно было бы посоветоваться. Но нет... Кийа, Кийа, Кийа... Теперь она вершит судьбу Кеми, если только слово «вершит» применимо к кому-либо, кто рядом с фараоном...

К Эйе протиснулись главный ювелир его величества Мериптах, старый зодчий Бек, надутый вельможа Яхмес, огромный жрец Панехси (подлинный негр), Пареннефер, омывающий руки царя... Все они сгорали от любопытства. Эйе делал вид, что все знает, даже то, чего не знает.

Поодаль от них стоял Туту — заносчивый, хитроумный, как азиат, Туту, ведающий иностранными делами, начальник всех царских опахал, начальник обеих сокровищниц царя и начальник всех царских работ. Он глубокомысленно молчал, ничем не выдавая своего неведения. Эйе незаметно следит за ним: может быть, этот льстец осведомлен лучше самого Эйе?

К Туту наклонился Хоремхеб и что-то прошептал ему на ухо. Туту кивнул. Хоремхеб оскалился. Еще что-то сказал. Туту снова кивнул...

«...Пройдоха Туту, наверно, давно все пронюхал. Не в пример Хоремхебу. Этому солдафону. Мимо Туту ничего не пройдет. И такие люди всегда в почете. Они нужны. Без них не обходятся. Единственное, чего не умеет Туту, это писать гимны. Зато он льстит царю. С видом знатока. Можно подумать, что всю жизнь только и делал, что гимны строчил...»

— Уважаемый Эйе кое-что скрывает от нас,— сказал Пареннефер. Он картавил, и не всегда было ясно, что он говорит. Когда-то он брил бороды. Из брадобре-ев попал в большие люди. Но так чурбаном-брадобре-ем и остался...

— Да, скрываю,— важно ответил Эйе.

— Ручаюсь — и ты не знаешь...

— Как сказать!

Бек — сухощавый, старый, умудренный жизнью ваятель — сказал:

— Право повелителя скрывать свои намерения. Право слуги — доискиваться их.

— Что я и делаю,— проворчал Пареннефер.

— Пока что без успеха. Я же предпочитаю нечто другое...

— Что именно?

— Набраться терпения.

Пареннефер ухмыльнулся. А Бек:

— Что, разве не так, Пареннефер?

— Так, только так, уважаемый Бек!

Вдруг громкий шепоток пронесся над великосвет-ской толпой. Заиграл оркестр, укрытый под мостом. Хор жрецов запел торжественную песню. Не прошло мгновения, как вверху, в большом проеме, показался его величество Наф-Хуру-Ра Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра Эхнатон. Позади него на полплеча шагала ее величест-во Кийа. И каждый, кто стоял перед лицом фараона, склонился в глубоком и долгом поклоне. И не было никого, кто бы не склонился. И не было никого, кто бы не выказал его величеству покорности и безгранич-ной любви. И оркестр играл торжественно и громко...

Фараон прищурил глаза и внимательно оглядел Дорогу. Какое приятное зрелище! Первые люди Кеми изогнулись в верноподданническом поклоне. Спины, спины, спины. Головы где-то внизу. Одни спины! А еще — и зады...

Музыка оборвалась. Медленно разгибала спину толпа. И тут раздался голос Ипи, начальника царских покоев. Он читал по свитку. А стоял он позади их величеств.

Эйе подумал:

«...А ведь совсем недавно все было по-иному... Рядом стояла Нафтита. Их окружали прелестные дочери,

Никогда бы не получил свитка этот дерущий свою глотку Ипи. Но время летит быстро. Не успеешь оглянуться — и над твоей седой головой появится новый повелитель...»

Эйе оглянулся вокруг — медленно, сановно, с дежурной улыбкой на губах. А глаза — настороженные. А в голове — разные, очень разные мысли. И о том, и о сем. Кстати и о будущем повелителе. Если случится самое худшее с его величеством... «Кто же? Кто?.. Что-то не видно его высочества Семнех-ке-рэ... Мальчик Тутанхатон играет в камешки. У Нафтиты. В Северном дворце... Так кто же?..»

Эйе скользит острым взглядом по лицам: жирным, худым, старым, моложавым, молодым, юношеским... Кто же? Кто?.. Этот? Едва ли. Тот? Никогда! Грузно, как гранитный обелиск, вкопан в Дорогу Хоремхеб. Он ни на кого не смотрит. Ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево... Хоремхеб, Хоремхеб... Эйе говорит «нет» — и взгляд его скользит дальше, дальше, по кругу. Где же все-таки Семнех-ке-рэ? Разве не ему было обещано соправительство? Не он ли истинный престолонаследник?

Ипи оглашает царский указ. Царская милость безгранична. Она отмечает каждого верного слугу, как бы далеко или близко он ни находился. Глаз его величества верен. Щедрость его общеизвестна. Вот и нынче открылось его большое сердце навстречу своим рабам, присутствующим вот здесь, у подножия высокого моста, на Дороге фараона.

Называется имя Эйе. Царь улыбается своему старому наставнику. Руки Кийи сыплют золото. Чистое золото. Сверкающее на солнце, как огонь. Круглое, изогнутое в виде молодого месяца золото. Золото в слитках. Все это падает сверху нескончаемой щедростью. Эйе благодарен. Он ловит награду. А царь улыбается. Дарит ему свою благосклонность и золото. Благой бог простирает над ним свои руки, отмечающие наградой верного слугу.

Называется имя Туту... Имя Хоремхеба... Имя больного, безнадежно больного Мериры Первого... Слышно: Панехси, Пауах, Хотияи, Яхмес, Нехемпаатон, Ипи, Юти, Бек, Джехутимес, Усер, Пенту, Апи...

Эти и многие другие имена. Знакомые всем. Известные всем. В обеих частях Кеми. Имена разносятся по Дороге. И каждый названный громко возвеличивает его величество, ее величество, весь Великий Дом благого бога... Награды, награды, награды... Очень много наград. Они сыплются, как звезды в звездопад. И весь мир ликуя смотрит на его величество. Фараон простирает благодарственные руки отцу своему. Который вверху. Который в небе. Прямо над головой. Каждый луч которого — анх — жизнь, — дарующий тепло всему сущему на земле.

Голос Ипи называет имя Бакурро.

— Кто это? — спрашивает Хоремхеб.

Туту удивленно пожимает плечами:

— Кто это?

Эйе с трудом вспоминает это имя. Кто это? Чем заслужил награду, милость его величества? Какой Бакурро? Может, писец? Если нет, так кто же?

На середину круга выходит Бакурро: ровный, бледный, взволнованный. Бросается наземь. Лежит, распластавшись. Пока его величество молчит. Но вот слышится короткое: «Встань».

Писец подымается. Недостойный. Не смеет поднять глаза.

— Бакурро, — слышит Бакурро голос его величества.

— Бакурро, — произносит Кийа.

— Он здесь, твой раб, — говорит Бакурро.

И к его ногам сыплется награда. Он не успевает подбирать золото на земле. Снова и снова падает с неба золото. И все удивленно глядят на это чудо — ибо награду получает безвестный писец. И все спрашивают себя: за что? Одни — с любопытством великим, другие — с завистью.

Бакурро смущен. Подавлен. Не ожидал этого. Но кто же ожидал? Писец пятится назад. Как бы не наступить невзначай на ноги какому-нибудь великому вельможе!.. Снова заиграл оркестр. Хор запел торжественный гимн Атону, вззирающему на великих мира сего с необозримой небесной голубизны.

Его величество медленно проходит на западную половину дворца. На полплеча от него — Кийа. Такая

прекрасная в этот день. Угодная его величеству и великому богу на небе.

Флейты продолжают заливаться сладчайшими звуками. Арфы приятно раздирают душу. Голоса мужского хора возносят горячую любовь богу Атону.

Высшие сановники медленно движутся к воротам, что направо. Чтобы отобедать с его величеством. На свежем воздухе. Под широким навесом среди широкого двора.

Бакурро остается один. С большой наградой. Очень тяжелой. А ему кажется, что все это во сне. Вернее, продолжение вчерашнего сна, когда он возвратился к себе домой после беседы с его величеством.

Бакурро один.

Совсем один...

РЕШЕНИЕ

Нефтеруф осторожно переступает порог. Так выходит лев на лесную прогалину: неслышно, готовый ко всему.

— Госпожа, ты одна?

Ка-Нефер кивает: да, одна. Ахтой приглашен на церемонию к Прекрасному мосту, который перекинут через Дорогу фараона.

— Там раздают награды,— сообщил Нефтеруф.— Госпожа, к тебе — гость.

Из-за спины Нефтеруфа показался Шери. Внешне спокойный. Сосредоточенный. Мудрый.

Ка-Нефер протянула ему обе руки. Она была очень рада. Давно не видела Шери. Это ее наставник. Ее спаситель. Ка-Нефер преклонила колени.

— Добро пожаловать, уважаемый Шери,— сказала она.

Он быстро поднял ее, поцеловал отеческим поцелуем в лоб. Прижал ее к своему сердцу.

— Я знал, что ты станешь красавицей. Но я не думал, что сердце твое будет кремнем и сама ты — вся как кремень.

Она усадила дорогого гостя. Принесла в кувшине прохладного пива, пшеничных лепешек и холодной телятины. Шери не прикоснулся к еде. Мигом перешел

к делу. Точно не было у него ни мгновения свободного времени.

— Я хочу говорить, Ка-Нефер.

— Здесь нет никого, кроме нас.

В комнате было сумеречно и оттого прохладно. Все трое сидели на циновках. Легкая занавеска на окне колыбалась под дуновением речного ветерка.

— Ка-Нефер, я хочу, чтобы ты знала мое мнение. Если заметишь в чем-либо неточность — останови меня. Слишком дело велико. Оно должно быть обдумано всесторонне. И никто не должен чураться замечаний — крутых ли, доброжелательных ли. Повторяю: слишком велико дело, за которое взялись. На нас с надеждой смотрят наши единомышленники. Позор нам, если мы сплосаем по своему высокомерию или невежеству!

— Ты прав, Шери.

— Трижды прав,— подтвердила Ка-Нефер.

Шери сделал жест — как бы разворачивая папирусный свиток — и заговорил медленно и тихо, словно читая по нему.

— Начну с допущения. Допустим, что в скором времени боги призовут фараона на поля Иалу. Это может случиться. И по воле богов. И по воле людей. Вроде нас с вами. Итак, фараона не стало. Я говорю: допустим! Кто может прийти на смену? Так сказать, на законном основании? Кто?

— Его высочество Семнех-ке-рэ,— ответила Ка-Нефер.

— А Тутанхатон? — сказал Нефтеруф.

Действительно, эти два лица казались главными претендентами на царский престол Кеми. И не только беседующим в доме Ка-Нефер. Знатоки династической преемственности тоже держались такого же мнения. Но Шери почему-то повторял: «Допустим. Допустим».

— Допустим, случится по-вашему: Семнех-ке-рэ или Тутанхатон. Первый хотя и молод, но кое-что собой представляет, а второй совсем уж мальчик. Сколько ему лет? Семь?

— Девять,— ответила Ка-Нефер.

— Пускай все одиннадцать! Пусть пятнадцать! Это же не правитель! Семнех-ке-рэ — тоже не муж

многоопытный. Ему, наверно, не больше двадцати трех.

— Учти,— заметил Нефтеруф,— этот, нынешний, вступил на престол... Когда вступил?..

— В семнадцать.

— Вот видишь! Значит, не следует пренебрегать молодыми годами.

— Это верно,— согласился Шери.— И тем не менее — не мужи! Мальчики! А изверг, подобный этому, рождается раз в сто лет. Согласны?

Ка-Нефер кивнула.

— В таком случае,— продолжал Шери, еще больше сбавляя голос,— остается выяснить: кто же будет стоять за их спиной? Кто? — Он остановился. Поглядел на Нефтеруфа. На Ка-Нефер.— Кто! Эйе?! Туту? Хоремхеб? Пенту?.. Может, Мерира Первый? Впрочем, этот тяжело занемог и едва ли подыметсся... Вон их сколько! Эйе очень хитер. Двуличен. Опасен. Себе на уме. Может молиться Атону. Но не только. Если нужно — земным поклоном поклонится Амону. Поверьте мне, это так...

Но с ним никто не собирался спорить.

— Туту... Когда речь идет о дворцовых интригах — не надо упускать из виду никого. Даже пройдоху, каким, несомненно, является Туту. Он знает иностранные языки. Лопочет по-хеттски. Изъясняется на митанни. Арамейцы понимают его. И эфиопы тоже. Ему нельзя отказать в способностях. Способен, я бы сказал, на все. Его приход был бы равносильен гибели Кеми. Но у него много недоброжелателей. Путь к трону ему заказан!

— Если только не сговорится с Хоремхебом или еще с кем-нибудь.

— Это, я думаю, исключено, Нефтеруф. Но как вам нравится Хоремхеб, этот военачальник в соку, забияка, задира, бездушный солдафон?

Ка-Нефер хорошо была знакома с ним. Даже нравилась ему, и они встречались (об этом Ка-Нефер, разумеется, умолчала). Он груб и в отношениях с женщинами. Силища из него, как выражаются продавцы пива, так и прет. Это бык необузданный! Это лев на ловле! Не мужчина, а дьявол! Ка-Нефер невольно

улыбнулась. Улыбка эта не прошла незамеченной Нефтеруфом.

«...Неспроста у красавицы дрогнули губы. При имени Хоремхеба. Я могу понять его вкус. Впрочем, так же, как и ее. Такие женщинам нравятся. Грубая сила привлекает... К тому же — военный! На боевой колеснице. Чего еще надобно?»

Шери сказал:

— Вот кто опасен! Он! В случае каких-либо колебаний, которые могут произойти в дворцовых стенах, бравый военачальник и полк тяжело вооруженных могут посадить на престол совершенно неожиданное лицо. Поэтому я хочу, чтобы Хоремхеб не выпадал из нашего поля зрения. Дальше — Пенту. Но он слишком стар. Склонен мудрствовать. Часто витает за облаками. В общем, человеколюбив. Такие не умеют захватывать власть.

Ка-Нефер была поражена осведомленностью Шери, который живет далеко от столицы и бывает здесь лишь кратковременными наездами. Стало быть, у него имеются осведомители. И, наверное, не один и не два. А иначе откуда бы черпал он свои познания о дворцовой жизни?..

— Вы понимаете? — продолжал Шери. — Скажем, отправляется на поля Иалу фараон, которому давно надлежало бы оставить в покое страну и народ. На его место садится, скажем, Семнех-ке-рэ. Зная его, мы должны предупредить себя: истинным правителем будет... ну, хотя бы Эйе, или Хоремхеб, или Туту. На что мы можем рассчитывать в этом случае!

Нефтеруф сжал кулаки:

— Я готов ко всему, и мне безразлично, кто будет после! Лишь бы не этот, пустивший нас по миру, сделавший нас нищими, бродягами, голодными шакалами пустыни! Неужели это важно — кто?! По-моему, самое главное, чтобы не он! Одно воспоминание об этом тонколицем чудовище, об этом женоподобном существе приводит меня в бешенство. Курва он — вот кто!.. Не надо рассуждать, что будет после! Скажи: что делать сейчас? Скажи: как поступать мне? Жизни своей мне не жалко! Я отдаю ее вам! Скажите только: что делать мне?! Вложите меч в мою руку и укажите, когда и куда идти!.. Курва он — вот кто!..

Гнев его был огнеподобен. Решимость несокрушима... Шери положил ему руку на плечо. Поддержал ее. Помолчал. Успокоил друга:

— Нефтеруф, ярость твоя благородна и уместна вполне. Однако прошу тебя, выслушай до конца, порассуждай вместе со мной. Поспокойнее. Поспокойнее...

— Я здесь целый месяц, и мне надоело безделье!

— Согласен: надоело. Но разве ты полагал, что все совершится в один день?

— Нет, не в один...

— Малейший промах — и мы погибли! Погибло дело, ради которого мы здесь, ради которого мы готовы отказаться от жизни!

— Я все понимаю, Шери. Я хочу сказать одно: меня не интересует, что будет потом. — Нефтеруф подчеркнул интонацией слово «потом». — Важно, чтобы не было его! — Он подчеркнул и это местоимение. — Послушай, Шери, кто бы ни явился после... после, хуже этого не может быть! Никогда! Согласен?

— Ты, пожалуй, прав.

Ка-Нефер сказала:

— Уважаемый Шери, Нефтеруф, несомненно, прав. Он говорит чистую правду. Кто сокрушил наше влияние в Азии? Фараон. Кто довел виднейших людей Кеми до разорения? Фараон. Кто попытался замахнуться на великое божество, кто стер имя всеблагого Амона в храмах? Фараон. Нет, Шери, трудно вообразить себе что-либо худшее!

Шери нетерпеливо махнул рукой. Замотал головой, давая понять, что все это давно известно и надоело ему.

— Клянусь богами, вы ломитесь в открытую дверь. Оба! И ты, Ка-Нефер, и ты, Нефтеруф. Верно, очень важно избавиться от него. Но все-таки надо думать о будущем. Или по-прежнему будем влачить жалкое существование? Представим себе, что явится некий Хоремхеб и потопит всех нас и всех единомышленников наших в водах Хапи. Должны мы это иметь в виду или нет?

Вопросительным взглядом, полным укоризны, он уставился на Нефтеруфа. Он ждал ответа. Ждал выражения доверия к себе.

— Шери, ты многое видишь, а еще больше знаешь. Я и Ка-Нефер не нахвалимся тобой. Но ты должен понять и мое нетерпение.

— Понимаю.

— Мои муки, которые терпел в горах... Под землею.

— Сочувствую. Глубоко.

— Скажи мне слово... Прикажи... Укажи пальцем на дорогу, и я пойду по ней. Не размышляя... С мечом в руке!

Шери был непреклонен:

— Нет, Нефтеруф, я не буду приказывать. Не буду указывать пальцем прежде времени. А почему? Потому, что неудача — значит конец всему...

— Главное, чтобы конец этот настал и для него!

— Будь мудрее. И можешь не сомневаться: победа придет...

— Сама?

— С тобой! С нею! Со мной! С нами! — проговорил Шери, указывая пальцем на Ка-Нефер, на Нефтеруфа, на свою грудь и широко обведя вокруг себя обеими руками. — Ясно?

— Это — да, — сказал бывший каторжник.

— Теперь — два слова, и я перехожу к тому, что интересуется тебя более всего, Нефтеруф. Значит, так: наиболее вероятно, что предъявят свои права на престол Семнех-ке-рэ и Тутанхатон. Повторяю еще раз: и тот и другой сами по себе не представляют большой силы. Даже в качестве фараонов. И нам придется иметь дело или с Эйе, или с Хоремхебом. Или с Туту и Пенту...

Нефтеруф был посвящен в это самое «нам». Речь шла о крупной оппозиционной партии, действующей в глубокой тайне. Впрочем, об ее существовании фараон и его окружение не только догадывались, но в какой-то мере были осведомлены. Однако в самом окружении фараона находились люди, в той или иной мере поддерживавшие партию знати и жрецов Амона. Как мы видели, Маху сделал свой выбор. Что же до таких вельмож-семеров, как Эйе и Хоремхеб, — они не проявляли особого рвения в борьбе против знати и жрецов Амона. С каждым годом убеждались они, что фараон заходит слишком далеко, что фараон все чаще

обходится без их советов, все делает по-своему. Каждый из семеров не мог не замечать, что фараон взвалил на себя почти непосильную тяжесть, которая могла бы раздавить любого крепыша. Сколько же можно выносить эту муку, связанную с борьбой против бога и против знати? Союз старого бога Амона и старой знати, изощренной в интригах, слишком крепкий орешек, чтобы можно было расколоть его просто. Даже обладая властью фараона обеих земель Кеми. Даже понукая слаженной армией чиновников... Шери учитывал все это. Он не торопился. Что такое год в таком деле, как борьба не на жизнь, а на смерть? Одно мгновение! И надо действовать здесь наверняка. И людей, подобных Нефтеруфу,— безусловно, полезных в определенное время, надо держать в узде. Они злы — и это очень хорошо. Но злость — не всегда добрый советчик. Скорее всего наоборот...

— В чем же заключается «главное»? — продолжал Шери неторопливо, словно рассказывал детям сказку о Синехуте и страшной змее, понимавшей человеческий язык.— Слушайте меня внимательно. То, что скажу я, не повторяйте даже про себя. Забудьте об этом. До особого условленного знака. Это не должны слышать ни стены, ни окна, ни двери, ни пол, ни потолок. Я уж не говорю о человеческих ушах.

Он попросил чистой воды. Не вина, не пива, но воды.

«Значит, внутри у него — огонь,— подумал Нефтеруф.— Сердце у него словно камень на солнцепеке — вот-вот треснет. Он хладнокровен только внешне. Забота и страх у него спрятаны глубоко. И оттого, может быть, хуже ему, чем нам...»

Шери отпил несколько глотков воды, поставил чарку на скамеечку. И тут Ка-Нефер заметила, что пальцы у него дрожат. Едва-едва. Почти невидимо. Но дрожат. Вода в этом отношении свидетельствует лучше глаза.

Шери говорил так тихо, что казалось, говорит только для себя. А сказал он вот что:

— Я бы не взял за себя и сломанного горшка, если бы не подумал о том, как быть с фараоном. Он должен уйти! Куда угодно. На поля Иалу. Или еще куда-нибудь подальше! Правитель, не пощадивший божества,

не пощадивший знатных людей Кеми и его славного града Уасета, не должен вызывать сожаления. Что бы с ним ни случилось... Давайте подумаем: что же может случиться с ним?..

Шери загнул большой палец.

— Умрет своей смертью,— сказала Ка-Нефер, и ноздри у нее раздулись. О, как она ненавидела фараона! И ненависть эта — от Шери, воспитавшего ее...

— Верно, Ка-Нефер.

— Почему он должен умереть? — спросил Нефтеруф хозяйку дома.

— Как всякий живой. В свое время.

— Когда? Сегодня или через десять лет?

— Этого никто не скажет.

— Почему же? — сказал Шери. — Фараон — не камень. Нефтеруф, ты видел фараона?

— Давно не видел.

— Он болен. Он, может быть, умирает в эти мгновения.

Нефтеруф чуть не подскочил. От удивления. От радости. Он готов расцеловать Шери.

— Нет, нет,— остановил его Шери,— он и не помышляет об этом. Но, как всякий, может умереть в любой день и час. Сегодня, завтра или через десять лет...

Нефтеруф недовольно засопел. Ка-Нефер выпила вина — уж слишком напряглось ее сердце...

— ...или через десять лет. К чему я это говорю? К тому, чтобы не слишком надеяться на естественную смерть, а действовать самим. Вспомним, как был убит его величество Тети...

— Его спровадили на поля Иалу телохранители, — проворчал Нефтеруф.

— Верно. А его величество Аменемхет Первый?

— Убит в собственных покоях.

— Это так!

— Ты удалился в седую древность, Шери. А мы живем в новые времена. Я полагаю, что фараон более предусмотрителен.

— Возможно. Но я полагаю...

Нефтеруф остановил его:

— Не продолжай, Шери. Выслушай меня. Приспела моя пора. Дай и мне сказать слово... Я отвечу —

как?.. Смотри сюда: видишь мою руку? Я ею могу уложить быка. Дикого. Любого возраста. А теперь гляди! — Нефтеруф выхватил кинжальчик из-за пояса — искусно спрятанный кинжальчик, сверкающий, как звезда в ночи. — Вот он! Он достает до сердца, как пчела до цветка. Он вынет душу из груди в одно мгновение. Он может все... В моих руках. Вот он, вот моя рука и вот — я!

Глаза Нефтеруфа сделались алыми от злобы. Пальцы, сжатые в кулаки, побелели от напряжения. Кинжальчик, подобно змее, извивался во все стороны.

Шери очень доволен. Шери потирает руки. Ка-Нефер залпом пьет вино. О, какой герой этот Нефтеруф!..

— Друг мой, Нефтеруф, ты показал нам «как». Но ты ничего не сказал о том, когда и где...

— Об этом следует подумать сообща... Я слышал, что фараон бывает в мастерских ваятелей.

— Да, это так, — подтвердила Ка-Нефер.

— В мастерской Джехутимеса я таскаю воду в горшках и замешиваю глину. Готов месить навоз и всяческое дерьмо. Вы знаете, ради чего я готов на многое. Я жду его. Руки в глине, а я жду. Таскаю воду — и жду. Подметаю полы — и жду. Я все-таки его дождусь!

— Это ты устроила Нефтеруфа в мастерской?

Ка-Нефер утвердительно кивнула.

— Очень хорошо, Ка-Нефер!

— Шери, я полагаю, что именно в мастерской проще всего встретить его величество.

— Не только в мастерской, — заметил Шери. — А во дворце?

— Туда сложнее проникнуть.

— Кому? — Шери повторил свой вопрос: — Кому?

— Я имела в виду Нефтеруфа...

«...Старик все предусмотрел. Умница, умница, умница! В таком деле надо смотреть в оба, а думать за семерых. Видеть сквозь стены. Слышать то, чего не слышат другие. Я не удивлюсь, если фараон отправится к своим предкам сегодня же. Разве Маху сидит сложа руки? И неизвестно, что собирается делать Эйе. Или Хоремхеб. Ясно одно: недоброжелателей у фараона

немало. Это так! Но что толку? Нельзя же тянуть без конца...»

И Нефтеруф говорит вслух:

— Если волк обложен со всех сторон — это еще не значит, что он пойман и что охотники могут предаваться отдыху и веселью.

— Не значит, Нефтеруф,— согласился Шери.

— Волки имеют привычку огрызаться. Даже в предсмертные мгновения. Я это знаю хорошо. Особенно волки матерые.

— Тоже верно.

— Мне придется снова повторить свое: не слишком ли мы медлительны? Не очень ли уповаем на всякие чрезмерно благоприятные обстоятельства, которые заставляют себя ждать?

— А что делать?

— Я говорил: действовать, Шери!

Ка-Нефер сказала:

— В поспешности есть свои недостатки. В промедлениях — свои. Где же середина, та самая верная середина, которая нам необходима? Имейте в виду: у фараона чуткий слух и длинные руки. Кто может утверждать, что он пребывает в полном неведении? Кто скажет, что ничего не знает о нас? А этот Маху? Разве он бог? Он тоже человек. И ему тоже не чуждо предательство. Если, не дай бог, смекнет, что дело наше обречено.

Но Шери решительно отмел это подозрение. Кто-то, а Маху сказал свое слово. Предательство дорого ему обойдется. Это ему доподлинно известно... Шери обратился к бывшему каторжнику:

— Я прошу одного, приказываю об одном: ты не должен предпринимать ничего такого... Понимаешь? — ничего! — пока не известишь нас — меня или Ка-Нефер. Если фараон явится в мастерскую — присмотришься к нему, прикинь все, будь хладнокровным. Возьми себя в руки!

Нефтеруф что-то промычал.

— Что ты сказал, Нефтеруф?

— Ничего.

— Ты меня понял?

— Да.

— Не торопись. Если это говорю я, значит, знаю, что говорю. Ты слышишь, Нефтеруф?

«...Он слишком озлоблен. Он — словно зверь. Ничего не слышит. Да и не может слышать...»

Шери поглядел на бывшего каторжника долгим взглядом. Велика обида этого отпрыска виднейшего рода Уасета. Нефтеруф сделает свое дело. Наверное сделает... Будь что будет!..

ЛЮБИМЫЕ СЕМЕРЫ

Хоремхеб подъехал к дому Эйе на боевой колеснице. Огнедышащие кони не то чтобы довели его, а буквально домчали на крыльях. Точно птицы из древних сказок.

Военачальника провели через сад, разросшийся бурно, словно рос он целое столетие. Сикоморы были необычайно тенисты. А гранаты? Где найдешь лучше этих? Пальмы — тоже одна краше другой. А клетки с обезьянами? Где клетки с обезьянами? Ему показали клетки. Каких тут нет обезьян! И маленьких, точно собачки, и пушистых, как кошечки, и краснозадых, с гривой, как у льва. Правда ли, что собранию этих обезьян может позавидовать зверинец его величества?

Начальник покоев, встретивший Хоремхеба, подтвердил, что обезьяны, принадлежащие Эйе, превосходят разнообразием обезьян фараона.

— Как ты сказал? — переспросил Хоремхеб.

— Твоя светлость, я сказал «обезьян фараона».

Начальник покоев Эйе был молод, хромоног. Он изрядно покраснел, сообразив, что сказал нечто двусмысленное. Хоремхеб зычно рассмеялся, ткнул молодого человека кулачищем в живот.

— Хорошо сказано — обезьяны фараона! Клянусь богом, хорошо! Как тебя звать?

— Нахтиу, твоя светлость.

— Прекрасно, прекрасно, Нахтиу! Ты прав: мы все обезьяны фараона! Обезьяны его величества. Ха, ха, ха, ха! Ведь и ты тоже обезьяна!

Нахтиу стоял багровый от смущения. Как понимать этого грубого военачальника? «...Им хорошо шутить да посмеиваться. А вдруг этот разговор дойдет до ушей царя! Что это значит — обезьяны фараона? Это

можно понять как самоунижение. Но можно и совсем иначе... Хоремхебу — что? С него спроса не будет. Палки могут запрыгать по спине Нахтиу. И совсем даже просто...»

— Твоя светлость, я имел в виду настоящих обезьян. Тех, которые в зверинце его величества.

Хоремхеб расставил ноги шире плеч, оперся руками на бедра, выставил вперед могучую грудь. Смешно вертел большими глазами и беззвучно смеялся.

— Нахтиу, а что же имел в виду я?

— Твой несчастный слуга не может этого знать.

— А ну посмотри мне в глаза!

«...Хоремхеб — любимый семер его величества. Так же как Эйе. Только Эйе стар, а Хоремхеб — в расцвете сил. Одно слово его светлости — и Нахтиу костей своих не соберет! Почему он с таким пристрастием допрашивает об обезьянах?..»

— Смотри мне в глаза, смотри!

«...Малый, как видно, из трусоватых. Это очень смешно — обезьяны фараона! А разве это не так? Мы и есть обезьяны его величества. Бегаем, словно в клетке. Кувыркаемся. Потрясаем задами — кто красным, кто костлявым...»

Лицо у Нахтиу — квадратное. Почти луна, которая на небесах: от ушей и до ушей — то же, что от лба до подбородка. В общем, настоящий сын Кеми. Только хром. Это большой недостаток. Для воина. А для начальника покоев, наверное, достоинство. Не напрасно же держит его Эйе... А глаза у Нахтиу — черные-черные. Как уголь. Почти навывкате. Немигающие. Как у честного человека.

— Что — испугался, Нахтиу?

— Н-нет, — с трудом выговорил Нахтиу.

Хоремхеб взял его за подбородок, как мальчика:

— Ты обозвал нас обезьянами. И правильно сделал!

— Нет, нет! — воскликнул Нахтиу в тревоге.

Но Хоремхеб не слышал его. Он шагал к широкому крыльцу. А Нахтиу стоял растерянный, не понимая толком, что же случилось и какой смысл вложил этот грубый военачальник в эти невинные слова: «обезьян фараона». А что, ежели Хоремхеб передаст это выражение господину Эйе, да еще с каким-нибудь особым

значением? Нет, надо подслушать, что скажет Хоремхеб хозяину.

Нахтиу бросился к северному крыльцу, к кустам, которые там росли...

Эйе встретил знатного гостя в большом зале и провел на крыльцо — тихий, укрытый от речной прохлады уголок.

— А у тебя занятный слуга, — сказал Хоремхеб.

— Который? — спросил Эйе.

— Нахтиу.

— Да, он малый с головой.

— Я это тотчас же уразумел. Он обозвал нас обезьянами фараона.

— Как? — Эйе насторожился.

— Обезьянами фараона...

Нахтиу больше ничего не слышал. И этого вполне достаточно. Он осторожно вышел из кустов и со всех ног — насколько ему позволяла хромота — бросился прочь: надо же посоветоваться о том, как быть. Как быть, если Хоремхеб ни с того ни с сего обвинит его в тяжком грехе — болтливости?..

А Эйе и Хоремхеб продолжали беседу, позабыв про «обезьян фараона».

— Глубокопочтимый Эйе, я пришел за советом. За дружеским советом, — подчеркнул военачальник. — Нас так сильно теснят в Азии, что скоро не останется там ни одного клочка из наших стародавних владений.

— Теснят, говоришь?

— Да, достопочтеннейший. Никогда еще не были мы так унижены этими азиатами.

— Да?

— Это совершенно достоверно.

— Какой ужас!

«...Старик ловко притворяется, что ведать ничего не ведает. А между тем все известно ему. Причем из первых рук. Его людьми кишмя кишит. Кеми от Дельты до Скалистых гор. А делает вид, что только что проснулся...»

— Да, достопочтенный Эйе, я неоднократно докладывал об этом его величеству...

— И что же?

— Я ничего не уразумел из его ответов.

— Они были так глубокомысленны?

«...Старик хочет подловить меня на слове. Но из этого ничего не получится...»

«...Этот военачальник из тех, которому палец в рот не клади — откусит. И не извинится при этом. Не могу понять фараона: зачем он держит при себе этого вояку? Не лучше ли отправить его куда-нибудь подальше? Например, в Джахи. Пусть там и воюет с хеттами...»

— Возможно, что слова его величества были столь же образны и глубоки, как и гимны его. Но я человек грубый. Я понимаю только приказы.

Эйе скосил на него глаза: дескать, не прикидывайся младенцем, не пытайся дурачить старого буйвола.

— Да, разумеется, слова его величества не всегда доступны нашему пониманию. Его устами говорит божество — сияющее и согревающее нас. Приходится напрягаться, чтобы уяснить полностью смысл его слов.

— Досточтимый Эйе, слова, которые изволит произносить его величество, — жизнь, здоровье, сила! — никогда не будут полностью осознаны нами. Ибо что мы по сравнению с сыном бога? Воистину обезьяны, о которых говорил Нахтиу. Его величество — жизнь, здоровье, сила! — видит вселенную, слышит биение наших сердец. Он здесь, на пороге, и говорит нам: мир вам, слуги мои, рабы мои!..

— ...Обезьяны мои.

— Как?

Эйе преспокойно повторил:

— Обезьяны мои.

Хоремхеб так и остался с открытым ртом. От удивления.

Эйе сказал:

— Вот что, уважаемый Хоремхеб: или мы будем лицемерить и терять время даром, или поговорим как люди, кровно заинтересованные в процветании Кеми. Я так думаю. Знаю: и ты рассуждаешь так же. Не можешь иначе. Не так ли?

Хоремхеб махнул рукой: дескать, верно — пора перестать дурака валять, пора поговорить откровенно.

— Давно пора, — заметил Эйе.

«...Или Эйе предаст меня, или он и в самом деле чем-то недоволен. На всякий случай буду осмотрите-

лен. Этот старик не из тех, которые говорят прямо. За каждой высказанной мыслью в запасе у него две: одна — для собственного оправдания, если это нужно будет, а другая — для нанесения удара. Итак, три мысли разом. Это более чем достаточно...»

«...Рубака? Драчун? Грубиян? Этот молодец далеко пойдет, ежели вовремя не обкорнать ему крылья. Мне говорили — и, как видно, неспроста, — что смотрит он несколько дальше, чем на Эфиопию или Синайский полуостров. Тщеславие полководцев не имеет предела, если почувствуют, что дают им волю, что разрешают действовать по их усмотрению. Такой полководец избирает своим врагом не столько Душратту или Суппилулиуме, сколько своих друзей, до которых он может легче достать...»

Эйе сказал:

— Да, ты прав, Хоремхеб: Азию мы теряем. Правда, не окончательно. Есть еще возможность спасти тамошние владения.

— Есть, твоя светлость, есть!

Учтивый Эйе спросил гостя, что бы он желал испробовать: жареного гуся или курицу, кусок говядины на вертеле или телячье сердце на кизиловой палочке? Хоремхеб нарочито задумался. Он сказал, что Пенту не советует злоупотреблять мясом. Пенту говорит: поменьше мяса и побольше зелени — любой зелени, вплоть до обычной травы. На вопрос Эйе: не превратится ли человек в этом случае в жвачное животное? — Хоремхеб ответил, что Пенту оставляет этот вопрос открытым. Оказывается, в Митанни прекрасный обычай: есть мясо только в вареном виде и только в крайнем случае — поджаренным на вертеле. Эйе сказал, что это и в самом деле прекрасный обычай. По-видимому, вода — кипящая вода — вымывает из мяса какие-то вредные частицы. И тогда мясо представит в самом чистом, натуральном виде... Но если слушаться Пенту до конца — до его мельчайших советов, сказал Хоремхеб, то совершенно нельзя пить воду, обыкновенную воду из благословенной Хапи, дарующую жизнь, и воду из оазиса в пустыне. А почему, спрашивается? Потому, утверждает Пенту, что человек состоит из воды и огня. Между водой и огнем — вечное противоборство: то побеждает огонь — и тогда

человек жаждет воды, то побеждает вода — и тогда человек тучнеет. Нет нужды добавлять воду к воде. Что скажет на это уважаемый Эйе?

Семер усмехнулся, тайнственно подмигнул военачальнику. Разве это требует особых пояснений? Если стоит вопрос: можно ли воду пить или нельзя, то лучше всего — во избежание душевных переживаний — пить вино или пиво.

— Го! — воскликнул военачальник, хлопнув в ладоши. — К твоей мудрости, Эйе, не подкопаешься. Если вода вызывает смущение, то вино или пиво — напитки, не допускающие двух толкований. А раз это так, то пить вино — есть истинное благо для мужчины. Вода и огонь, содержащиеся в вине — особенно в хорошем вине, — так сдружились, что никогда не повредят человеку.

Эти слова гостеприимный хозяин расценил по-своему и приказал слугам вскрыть лучшие амфоры с прошлогодним вином — белым и красным — и доставить сюда в нескольких кувшинчиках. Если вино было выбрано довольно быстро, то с выбором еды гость явно мешкал.

— Гусь — жирный, — сказал он.

— Курица устранит этот недостаток гуся.

— Я ел ее нынче утром.

— Тогда — говядина. Тот самый кусок, где располагаются почки.

Хоремхеб расхохотался:

— Который поближе к моче?

— Если угодно, к моче.

— Не могу понять: почему лучшие куски именно те, которые поближе к почкам?

— Очевидно, поэтому и человек зарождается где-то между мочой и калом.

— Верно! — гаркнул военачальник. — Если прекрасные создания, каковыми я почитаю женщин, зарождаются недалеко от мочи, то я без колебаний выбираю почечную часть говядины!

«...Этот человек — воистину мужлан — ограничен в своих возможностях щегольнуть более тонкой шуткой. Бедный Хоремхеб! Палатки, бивуачная жизнь и муштра воинов не могли привить ему тонкого вкуса. Впрочем, может, это и лучше. Моча — тоже неплохая

мишень для солдатского юмора. Вот он напьется немного, и тогда пойдет в ход всякое дерьмо. Что может быть, например, веселее такого рассказа? — митанниец вымазал хетта своим дерьмом, хетт в отместку обмочил митаннийца с головы до ног... Весь лагерь ржет от удовольствия и требует новых рассказов подобного же рода. Или вот еще излюбленная тема: десять ассирийских воинов насилуют пленную вавилонянку, а той — недостаточно, и бородатые ассирийцы с позором разбегаются...»

Эйе не ошибся: достаточно было Хоремхебу осушить две чарки вина, как он принялся рассказывать бесконечную историю про одного арамейца, который для начала вымазался в дерьме, потом обмочился, не сумев употребить молоденькую пленницу... И так далее...

Однако Хоремхеб не так уж прост, как это может показаться. Своим продвижением по службе он целиком обязан его величеству. Род его, скажем прямо, не выдается ни знатностью своей, ни подвигами. Его величество приметил в нем нечто и сказал: быть Хоремхебу военачальником! И стало по сему. Мало заметный офицер превратился в любимого семера. Разумеется, всего этого не заслуживают одними только грубыми шутками. Нельзя отрицать: Хоремхеб способен на многое. Если нужно — пойдет по головам друзей. Угрызений совести не почувствует — в этом можно быть уверенным. Что еще? Смел. Напорист. Храбр. И груб, как всякий солдафон. Не считаться с ним — просто невозможно. У него реальная сила — полки! В руках у него меч!

Хоремхеб разжевал мясо подобно волку, пожирающему антилопу. И очень скоро обрел пристойное и благодушное настроение.

Эйе — этот многоопытный и хитроумный муж, поседевший в дворцовых интригах, — ожидал главной темы разговора, ради которой навестил его Хоремхеб. Однако паук не торопился: он чувствовал по едва заметному дрожанию паутинок, что время приближается...

Шутки Хоремхеба неожиданно оборвались, его взгляд задержался на чарке с вином. Затем вскинул вверх две черные-пречерные сливы, которые служили ему глазами, и сказал:

— Эйе, не объяснишь ли мне, что это делается с его величеством? — жизнь, здоровье, сила!

Эйе безмолвно покачал головой. Разве сам Хоремхеб понимает хуже, что делается с его величеством? И в то же время старый семер чувствовал, что военачальник пытается завязать откровенный разговор. Его, несомненно, что-то тревожит. Эйе очень хотелось бы знать, что это за тревоги. Очень бы хотелось! Но слов поощрения Хоремхеб не услышит. Эйе будет только и только слушать... Молчать и слушать...

«...Старая лиса — всезнайка. Но делает вид, что только-только родился на свет. Эйе много потрудился на благо фараона. Его советы были главными во всех делах его величества. Его и Мериры, который, кажется, испускает дух (что, несомненно, к лучшему). Он ждет, чтобы я все выболтал. Я, значит, буду изливаться, а он — неопределенно кивать головой. Если вдруг его величество пронюхает о нашем разговоре — Эйе, как всегда, окажется в стороне... Нет, как бы не так! Дай-ка я его помучаю...»

Хоремхеб отпил глоток вина:

— Меня беспокоит его здоровье...

— Меня тоже, уважаемый Хоремхеб.

— Нельзя ли убедить его величество, чтобы больше предавался отдыху, нежели государственным делам?

— Мне это не удалось. Попробуй ты.

«...Значит, молчишь, Эйе?.. Что же, попробуем с другого конца. Поцекотал тебя под мышками — ничего не вышло. А что, ежели попробовать пятки?..»

— Уважаемый Эйе, ее величество Кийа очень всем понравилась в день раздачи наград.

— Да?

— Очень, очень! Она держалась с подобающим величием и очень даже скромно.

— Что же, Хоремхеб, скромности у нее не отнимешь.

— Она была неимоверно ярка в своем пурпурном одеянии, и золотой урей к лицу ей.

— Справедливо, Хоремхеб, справедливо.

«...Этот семер стоял чуть ли не у колыбели Нафтиты. И он вовсе не чужой старой царице Тии. И он приложил немалое усилие к тому, чтобы его величест-

во стал тем, кем является сейчас. Он всегда соглашался с его величеством, при любых обстоятельствах, неизменно утвердительно кивал ему. Поддакивал. Но надо отдать справедливость этому Эйе — ни один суд не выявит его причастия ни к одному делу: ни к худому, ни к доброму. Ведь это надо суметь! Надо обладать для этого особым характером!..»

— Со всех сторон, уважаемый Эйе, я слышал одно: его величество сделал свой выбор! Его величество остановил свой взор на достойнейшей!

— Возможно, Хоремхеб, возможно.

— Родить шесть девочек и ни одного мальчика — это тоже никуда не годится! Несчастливая Нафтита, уединившаяся в Северном дворце, должна понимать это.

— Разумеется, разумеется.

— Его величество день и ночь мечтал о сыне. Любя ее.

— Да, да, да...

— Но сына так и нет...

— Да, да, да...

— Его величество сделал свой выбор...

— Он сделал. Сделал свой выбор, Хоремхеб.

Эйе предложил гостю кусок поджаренного мяса, воистину львиный кусок: огромный, ало-коричневатый, чуть с кровью, исходящий дымком. У Хоремхеба разгорелись глаза, как у зверя, пересекшего Восточную пустыню.

— Клади, уважаемый Эйе, так и быть — клади.

Огромный слуга осклабился и по знаку Эйе ловким движением высвободил вертел. Мясо шлепнулось на огромное глиняное блюдо.

— Возьми себе этой заморской зелени. Ее привезли мне с острова Иси. Ее, говорят, хетты обожают.

— А чего только они не обожают?! — спросил Хоремхеб. — Они все сжуют. Как ни говори, а все-таки — азиаты. Хотя и чуть получше и почище этих жителей Ретену и вавилонян.

— Митаннийцы тоже любят зелень.

— Да. Она у них пахучая. Чуть острая. Чуть кисленькая.

— И даже горькая имеется.

— Ты меня убедил, Эйе: беру себе этот сноп зелени. Если только превращусь в телка — грех на твоей душе.

Они выпили за здоровье его величества, за процветание великого дома в Ахетатоне и всего Кеми. Хоремхеб сказал несколько слов, а Эйе — в три раза больше и цветистее. Словно за спиной их стоял сам фараон или главарь его соглядатаев — Маху. Поразмысливши, Хоремхеб разразился похвальным словом, обращенным к земному божеству. Эйе слушал его, набравшись терпения (этого у него хватало).

— Верно, Хоремхеб, верно, — поддакивал он.

Хоремхеб, распалясь, стал превозносить военные начинания его величества, которых, как полагал про себя военачальник, вовсе не существовало, если не считать позорного отступления в Азии, в Ливийской пустыне и Эфиопии. Что же, собственно, остается? Военные парады на дворцовом плацу?

Эйе прикинулся несмышленным барашком. Он все кивал да кивал, попивая вино. Только раз вставил слово в нескончаемую речь Хоремхеба. Гений фараона недосягаем и необозрим, говорил Эйе. Но лучшее из творений — армию — воистину увековечил ратными подвигами...

— Чем? — спросил настороженно Хоремхеб.

— Подвигами.

— Какими, Эйе?

— Ратными. Ратными.

У военачальника вздулись на шее жилы. Покраснел и раздавил на зубах кость. Эйе даже вздрогнул от хруста.

«...Эйе издевается. Явно издевается. Только — над кем? Над его величеством или надо мною?..»

— Эйе, под ратными подвигами твой светлый и глубокий ум разумеет отступления?

— И отступления тоже.

— Такое беспорядочное бегство, Эйе?

— А почему бы и нет?! Если нет другого выхода.

— Оставление своей земли врагу, Эйе?

— Да.

— И скота, Эйе?

— К сожалению, да.

— И людей, Эйе?

— Все бывает, Хоремхеб, все бывает. Только величайший человек, превосходящий умом его величество, мог бы охватить единым взором его деяния, кои суть наши победы.

«...Здесь определенно кто-то сидит. В этих кустах. Или за занавеской, скрывающей дверь. Иначе невозможно черное называть белым. Не иначе как Эйе задумал подвох. Но какой? И к чему? Чтобы повредить мне?»

Сумерки, сумерки надвигались. Эйе приказал принести светильников. Тех, что покрупнее. Алебастровых. Не столько для того, чтобы усиливать свет, сколько для обогрева: он не любил прохладу месяца паони. Лучше — эпифи, со зноем, пряными запахами лугов и полей, скрипом телег, увозящих урожай. В месяц эпифи можно пустить в ход опахала, холодное пиво прогонит зной. А паони требует теплых одеяний, ночи слишком прохладные, а со стороны Дельты веет настоящим холодом. Пусть паони чуточку лучше предыдущего — фармути. Все равно — оба плохи.

Три светильника поставлены вокруг обедающих. С ними пришел уют. И тепло. Хоремхеб попросил, чтобы светильники поставили подальше от него. Ему не только не зябко, но просто жарко. Огонь в достаточном количестве содержится в вине. Для чего светильники?

Эйе обложился мерлушковыми шкурами. Укрыл ноги шкурой леопарда.

— Человек должен беречься в месяцы фармути и паони, — сказал он.

Хоремхеб весело добавил:

— И в эпифи — от зноя, и в тот — от воды, и в хойяк — от болезней легких. Словом, весь год!

— И все-таки — фармути и паони! Когда вода в человеке побеждает огонь. Так учит Пенту.

Хоремхеб махнул рукой:

— Если послушать мудрецов, то впору ложиться в саркофаг с самого дня нашего рождения! Я плохо знаю древние книги, а нынешних вовсе не читаю. Однако сказывают, что есть умные люди, которые говорят: делай только то, что приятно, что доставляет тебе удовольствие. Я держусь этого правила.

— Люди, живущие на запад от хеттов, как утверждают наши моряки,— люди умные. Они как раз и следуют твоему правилу, Хоремхеб. Неизвестно только — все ли? Или есть среди них и умные и глупые? Потому что в каждом народе поровну и тех и других.

— Глупых больше, Эйе!

— Не спорю. Мне попалась очень старая книга. Ее отобрали у одного могильного вора. Этот негодяй залез в гробницу, затерявшуюся в песках, разграбил ее, причем одного золота унес на двадцать дебенов. А может, и больше. У него отобрали хорошо сохранившийся свиток. Хакехесеп той местности, где был пойман вор, подарил мне свиток. В нем сказано, что глупцы рождаются попеременно с умными, как мальчики и девочки. Дети, зачатые в месяц эпифи, глупее тех, кто зачат в мехире.

— О, великий Атон! — воскликнул Хоремхеб. — Это большая для меня радость.

— Почему, Хоремхеб?

— Его величество родился в месяц хойяк, — значит, зачат их величествами в месяце мехир.

Эйе улыбнулся. Но Хоремхеб казался серьезным. Настолько, что Эйе захотелось от души посмеяться. Однако благоразумие, как всегда, взяло верх.

— О да, Хоремхеб, это радует и меня. — Подумал немножко Эйе и спросил: — Когда же родился ты, Хоремхеб?

— В месяц месоре. В самый разлив Хапи.

— Счастливчик!

— Да, на свой месяц не жалуюсь. А ты, Эйе, когда зачат? Или твоя мать скрывала это?

— Нет, я все знаю. Увы, в месяц эпифи!

Хоремхеб расхохотался. Потряс за плечо семера:

— Не верь, Эйе, старой книге. Лучше поверь мне — ты всех умнее, рожденных во все месяцы года: и в месоре, и в хойяк, и в тот. Словом, во все, во все месяцы!

— Ты скрашиваешь мою обиду на месяц эпифи.

— И не бывало! — ответил солдафон, не поняв иронии. — Я бы тоже хотел родиться в один месяц с тобой!

— Благодарю тебя.

Хоремхеб спросил хозяина: не будет чего сладкого? Лучше всего засахаренных фиников. И хорошо бы пирожное — ак. Которое с орехом, а тесто замешано на меду.

— Будет и ак, будет еще кое-что.

— После мяса жареного всегда хочется сладкого,— признался военачальник. Его сильная плоть могла бы потребовать и еще кое-что, от чего некоторых валит тотчас же наземь. Например, напиток уа-ам. Его готовят так: красное вино смешивают с белым. К ним добавляют крепкого пива и несколько ложек меда, настоящего, чисто пчелиного — бийт. В сосуд с этой смесью нарезают персиков, яблок или груш. Хлебать этот напиток истинное удовольствие, особенно если плоть крепка и совершенно здорова...

За сладким Хоремхеб спросил в упор:

— Что собирается делать новая госпожа Большого Дома?

Эйе развел руками.

— А я знаю,— не без грубого лукавства сообщил Хоремхеб.

— Что?

Эйе отстранил пирожное, к которому и не притрагивался.

— Знаю,— повторил военачальник.

— Я слушаю тебя.

— Откровенно?

— Да. Откровенно.

Хоремхеб сказал так, словно речь шла еще об одном куске пирожного ак, которое оказалось особенно вкусным:

— Отрывать головы. Как цыплятам. Сначала — тебе. Потом — мне. Потом Маху. И еще Туту. И еще...

— Постой, постой,— остановил его Эйе,— это что-то из сказок.

— Каких еще сказок?

— Самых обыкновенных. Которые для детей.

— Прости, уважаемый Эйе, если чем-нибудь не потрафил тебе. Но мой долг — всегда говорить правду. Особенно тебе. Впрочем...— Хоремхеб поднял чарку. Поглядел на донышко.— Впрочем, может быть, все это сказки. Я же знаю, как любит тебя его величество. Он никогда не даст в обиду своего любимого семера.

Эйе помрачнел:

— Он любит не только меня. Не менее горячо относится он и к тебе. Уж мне-то все хорошо известно, уважаемый Хоремхеб.

— Что делают два любимых семера его величества, когда они вместе? — Хоремхеб высоко поднял чарку. — Они пьют за его величество — жизнь, здоровье, сила! Пусть благой бог царствует сто лет в своем Большом Доме! Только сто лет! Не меньше!

Они выпили.

«...Хоремхеб выдержал характер: ни словом не обмолвился о цели своего прихода. Однако догадываться кое о чем можно. Солдафону кажется — и не без основания, — что в Большом Доме что-то не ладится. В Большом Доме — большие недоразумения. Это ясно. Вознамерился ли Хоремхеб заручиться моей поддержкой или предлагает мне свою дружбу? Или предупреждает о какой-то опасности? Но какой? С ним ухо надо держать востро. Предаст тебя — и бровью не поведет. Всадит кинжал, не переставая улыбаться... И все-таки он чем-то серьезно обеспокоен...»

«...Этот Эйе притворяется сфинксом. Одним из тех, что торчат среди песков недалеко от Мен-Нофера. У меня совесть чиста: приехал к нему с открытым сердцем. А он?..»

— Уважаемый Эйе, мудрость твоя известна в обеих землях Кеми. Люди неспроста говорят: вот человек, думающий мудро. Неспроста говорят: вот человек, достойный быть первым семером. Неспроста говорят: вот человек, рука которого знает все тайны письма, великий писец настоящий! Ухо его величества внимает тебе, ибо ты есть ум и совесть Кеми. Семеры внимают тебе, говоря: вот он, наставник наш. Поверь мне, уважаемый Эйе, не потому говорю, что вкусил от твоей трапезы и испробовал твоего прекрасного вина, а потому, что это — потребность сердца моего и языка моего.

«...О боги, попротиводействуйте силам земным, которые укрепили бы власть этого Хоремхеба перед лицом любых испытаний Большого Дома...»

«...Старик, когда же наконец ты избавишь нас от своего лукавства и вечного ни «да» ни «нет»? Неуже-

ли так мало места за гробом? Или оскудели просторы полей Иалу?..»

Так беседовали в этот сумеречный час два великих семера, два любимца его величества. И ни один провидец в Кеми, ни один смертный или бессмертный не мог бы предсказать, что в этот вечер месяца паони сидят друг против друга будущие фараоны великой империи.

Их тщеславие явно изжаждалось. Однако сами они оказались слабее своей судьбы. И еще слабее — обстоятельств.

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ...

Тихотеп не мог без нее. И Сорру чего-то недоставало, если не видела Тихотепа хотя бы издали. Одного или обедающим в лавке Усерхета в кругу друзей-ваятелей. Он подумывал о том, чтобы сделать ее госпожой в своем доме. По-видимому, Усерхет потребует выкупа. И немало... Верно сказано, что нет жены более скромной и послушной, чем арамеянка. Шутники рассказывают, что ежели хочешь быть счастливым, то надо взять трех жен: египтянку, которая будет экономно вести хозяйство, арамеянку, на которой безнаказанно можно вымещать злобу, и митаннийку, веселей которой нет женщин в целом свете.

Друзья советовали Тихотепу решаться поскорее. Они предлагали свои услуги для переговоров с лавочником. «Сорру прошла сквозь огонь и воду — не будет лучшей жены». В этот вечер она явилась к нему одетая в лучший наряд: платье тончайшего вавилонского шелка, новый парик каштанового цвета, вокруг шеи — бусы из Джахи и дорогие браслеты из «небесного железа». Она была прохладна, как чистая вода в лучшем из оазисов. Приникни к ней, испей хотя бы малую толику — и ты поймешь, какое это чудо!

Он смерил ее с головы до ног, словно видел ее впервые. Эдак восхищенно. И вдруг ощутил глубокое уважение к богу, который создал вместе с этим миром и все сущее, и несравненную Сорру. Почему она день ото дня становится все краше, прозрачней, невесомей, выше, тоньше, нежнее, ровнее, горячее, притягательнее?

Какая такая сила бушует в ней, превращая ее из создания греховного, земного в существо, спустившееся с неба?

Тихотеп был наслышан о старухах, которые чарами своими способны сотворить несказанное чудо. Они превращают мужчин в ослов, красавиц в дурнушек, уродливых — в неписанных красавиц, здоровых — в больных и прокаженных — в цветущих людей. Сорру не нуждается в услугах подобных старух. Это несомненно! И все-таки невероятно: она цветет, все цветет, поражая красой.

Он казался удивленным, подавленным, растерянным в одно и то же время. Ей вдруг почудилось, что он не признает ее. Или позабыл ее. Это случается с теми, кто поражен дурным глазом. Может, это завистницы? И они неизведанными путями застлали глаза подобием тумана?..

Так стоят они друг против друга. За его порогом. В его доме. Среди светильников, освещающих небольшую комнату неверным светом.

— Скажи же слово, — просит она.

Он говорит:

— Это ты? Сорру?

— Я! Только я!

— Скажи мне, кто сотворил тебя такой красивой?

— Разве я красива?

— Ты — несравненная красавица! И хорошеешь с каждым днем!

Сорру чуть не плачет от радости. Да нет же, плачет она. Слезинки скатываются по розовым, розово-матовым щекам.

— Кто же этот чародей?

— Сказать?

Она счастлива. Она плачет от радости. Она словно бы готова взлететь.

— Скажи.

И она шепчет:

— Любовь.

— Кто?

— Любовь, любовь, — повторяет она. — Твоя любовь!

Тихотеп стоит грустный. Молодое лицо, точно позаимствованное из лучших набросков Джехутимеса

и Юти, немножко расслабло, немножко вытянулось, немножко побледнело.

— Что с тобой? — шепчет Сорру. Делает два шажка и повисает у него на плечах. Осторожно. Не отрывая носков от пола.

Он тряхнул головой. Как сонная лошадь, отгоняющая сон. Как птица, расправляющая крылья. И он увидел ее во всех красках ее, во всей живости ее, как радугу над морем, как живой блеск самоцветов из Та-Нетер. Обнял ее, поднял на руки, отнес на ложе, благоухающее листьями диковинных деревьев Юга.

Они улеглись рядышком. И он взял ее пальцы в свои и рассматривал так внимательно, словно желал уличить в чем-то недозволенном. Пальцы были тонки и нежны. Он подивился им.

«...Это пальцы принцессы. Пальцы, созданные для тончайшего рукоделья и любви. Их первое призвание — ласка. Их дело — ласкать любовников, то нежно, то грубо. Вдыхать новые силы в мужчину, изнемогшего от бурной страсти... И бурной и необузданной. В меру извращенной. Но непременно извращенной...»

Он смотрел в потолок. По-прежнему грустный. Машинально перебирал ее пальцы. Сорру чувствовала, что он где-то в другом месте. Не могла не чувствовать, ибо научилась наблюдать за мужчинами и по незначительным изменениям выражения лица определять настроения. Научилась этому против своей воли, как учится молодая львица добывать пищу, развивая в себе нюх и величайшую чуткость ко всякого рода шорохам и пискам.

Она не выдержала и спросила его:

— Ты, кажется, недоволен, что я пришла сюда... Может, нездоров?

— Угадала.

— Нездоров, значит?

— Да. Но это — особая болезнь.

— Какая же?

— Даже не болезнь.

— А что же?

— Как объяснить тебе, Сорру? Особое состояние души, когда вроде бы ничего и не болит, но все тело ноет.

— От этого есть хорошее средство, Тихотеп.

— Вино?

— Да.

— Нет, Сорру, оно не поможет.

— Почему?

Он прикрыл глаза, не переставая перебирать ее пальцы. Потом сжал их немного... Чуть сильнее. Еще сильнее.

— Не больно,— сказала Сорру.

Ваятель тотчас выпустил руку.

— Я же сказала — не больно.

Сорру прижалась к нему. Приподнялась — и прильнула губами к его губам. Они казались холодными, чуть одеревеневшими. Ей однажды сказал ливийский купец: «Сорру, твои поцелуи могут и мертвого оживить». Это хорошо запомнила Сорру. Много еще лестного говорили ей самые разные мужчины — молодые и пожилые, юнцы и старики... Но на сей раз искусство ее оказалось бессильным.

Сорру не спускала глаз с Тихотепа. Его взгляд, всегда такой бездонный, нынче вдруг обмелел, поблек его густой цвет. Она была раздосадована: неужели вот так кончается любовь?

Он обнял ее, прижал уста к ее уху и зашептал:

— Не сердись, Сорру. Это настроение такое...

— И виною этому...

— Не ты.

— Кто же?

Тихотеп привстал. Усадил ее рядом с собою, обхватил ее за талию.

— Виноват, может быть, сам бог.

— Бог?

— Да, Сорру. А больше виновных и не вижу. Это он располагает и добром и злом. Он творит милость и отвращает одних от других.

Сорру сказала:

— Тебе не нравилась моя задумчивость. Теперь мы поменялись ролями. Я стала легкомысленной от любви. А ты грустишь...

Молодой ваятель покачал головой:

— Каждый, кто любит Кеми и предан его величеству, не может не грустить.— Судя по ее недоуменному взгляду, Тихотеп понял, что требуется некое бо-

лее подробное пояснение, на которое у него не было ни сил, ни желания. Поэтому проговорил вполголоса и скороговоркой: — Разрыв между его величеством и Нафтитой — нечто большее, чем это казалось. Когда дом дает трещину, надо проследить, куда эта трещина тянется...

— Куда же тянется, Тихотеп?

— Она не просто тянется, но боюсь, что обнаруживает зияющую, мрачную пустоту.

— Это что-то страшное?

— Пустота, которая может поглотить всех нас. Пророчество, разумеется, не из самых приятных. Сорру не сразу сообразила, что же такое может произойти.

— О какой пустоте ты говоришь, Тихотеп?

Как?! Надо еще и объяснять, о какой пустоте идет речь? А беспокоит ли ее что-либо, что не имеет прямого отношения к ее родине или любви? Например, судьба Кеми.

— Что? Что? — удивилась Сорру.

— Судьба Кеми, — повторил он.

— Милый, милый, — проворковала она, — ты меня путаешь с царицей. Или с самим фараоном. Скажи мне: правда, ты спутал?

— Так, стало быть, ты не забиваешь себе голову подобной мелочью?

— Откровенно говоря, нет. При чем здесь я? С меня вполне достаточно моих забот. А я тебя не узнаю. Всегда такой веселый. А нынче? Послушай, Тихотеп: если не фараоном, то семером ты быть вполне достоин. А я подумала, что ты влюбился в какую-нибудь красавицу. Скажи: не влюбился? Поклянись, что нет!

— Неужели, Сорру, ты никогда не пытаешься заглянуть в будущее той страны, в которой живешь?

— Куда? Куда?

— В будущее.

— Кто об этом просит меня? И кто я здесь? И какое имеет значение, заглядываю или нет?

У нее такое детски нежное, такое наивное выражение лица, что ему стало вдруг весело. Он упал на ложе и беззвучно рассмеялся.

— Что с тобой? — сказала она. — Чему ты теперь смеешься?

- Просто так... Или ты очень умна?.. — Он осекся.
— Или... Продолжай... Договаривай, Тихотеп.
— Или очень глупа?

Сорру не обиделась:

- Правда? Ты так уверен в этом?
— В чем?
— Что я глупа!
— Совсем не уверен. Я задаю вопрос. Или — или?..

Она надула губы...

— Пусть буду душой! Мне это все равно. Лишь бы любил меня! Когда я люблю — только люблю! Я забываю о невзгодах. Мне кажется, что я счастлива.

Ну, что ей сказать? Ведь известно же: женщины что зелень, растущая на лугах. Траве нужны соки, нужны свет и тепло солнца. Может быть, еще и чирикание птиц. А до остального ей нет никакого дела. Любовь для женщины — все. Она не может без любви. С любовью она вынесет любые испытания. Посади ее с милым на пустой кораблик, и она поплывет в Та-Нетер. А то и еще дальше! А Западная пустыня? Разве она преграда для влюбленной женщины, сердце которой притягивается другим сердцем?

— Послушай, Сорру, есть в жизни вещи, которые важнее любви?

— Не знаю. Может, ты назовешь, что именно важнее?

— Назову.

— Я слушаю.

— Государственные дела, например.

— О них заботится фараон.

— Допустим.

— И семеры его.

— Хорошо!

— И хаке-хесепы.

— Тоже верно!

— Вот видишь! — заключила Сорру. — Есть кому подумать о делах государственных.

— Ты совсем-совсем не о том! Дай-ка поясню по-своему... Представь себе, что мы завтра лишаемся крова...

Он подождал: что она скажет? Сорру ничуть не удивилась этому:

— Разве у всех над головою крыша? Я знаю немху, которые живут в норах, как крысы. Они зажимают рукою рты — чтобы негромко — и клянут фараона и его семеров.

— Вот как! Почему же они клянут?

— Потому что живут, как под крокодилом. Знаешь? — как человек, попавший под это чудовище. Правда, немху полагали, что пришло их время, что знать повержена и настало их время. Оказывается, не так! Совсем не так! Они — все эти немху, вся эта голодающая чернь — сосут ксру. Сырую кожу вместо мяса. Разве это жизнь?! А ты говоришь — крыша! Без нее можно еще обойтись. А вот без хлеба — как?

Тихотеп посерел:

— Послушай, Сорру, ты, по-моему, живешь вполне сытно. Откуда эти сведения?

— Разве у меня нету глаз?

— Они есть и у меня.

— Значит, плохо видят.

— Я же не слепой!

— Можно не быть слепым и не видеть.

— Ты меня удивляешь!

Сорру обхватила руками его шею. Приблизилась к нему близко-близко. Совсем близко: глаза в глаза.

— Скажи мне, Тихотеп, только откровенно: что ты знаешь о жизни немху? Что знаешь о жизни других городов? Разных деревень и поселений — дальних и близких?

Она показалась ему сильной, упорной. Трясла его, точно спал он непробудным сном.

— Ты скажешь мне что-нибудь?

Тихотеп улыбнулся:

— Я люблю тебя.

— Нет! Этого уже мало! Ты сам снова пробудил во мне маленького мудреца. Отвечай: может ли жить немху хуже, чем он живет?

Он молчал.

— Собака тоже существует. И скот домашний. И звери в пустыне. Точно так же, как существуют немху: от зари до зари — в трудах и заботах, с надеждой на лучшую жизнь после смерти. Не так ли?

— Тебе лучше знать.

Она надула губы. Уронила руки на колени, опустила голову:

— Тихотеп, ты весь ушел в свои каменные изваяния.

Он расхохотался.

— Для тебя камень — это жизнь.

Тихотеп не переставал смеяться.

— Ты живешь при дворце, как семер.

Он чуть не захлебнулся в смехе. Упал на ложе. Содрогаюсь всем телом.

Она все больше и больше злилась:

— Оглянись вокруг: сколько нищеты! Сколько горя!

Ваятель слушал ее, продолжая смеяться.

— И самая несчастная из всех — я!

В одно мгновение Тихотеп поднялся, осторожно обнял ее. Как истинный художник, он оценил Сорру.

— Любимая, — сказал он, — если бы не ее величество Нафтита, я бы сказал, что из всех женщин мира ты — самая истая женщина.

— Ты говоришь слишком по-ученому. Я не очень хорошо понимаю тебя.

— И не тщишься понимать! Я сам не всегда разумею собственные речи. Я хочу сказать, что неожиданными поворотами мыслей, настроения ты являешь саму женственность.

— Являю? — удивилась Сорру.

— Женщину со всеми достоинствами и недостатками.

«...Тихотеп грамотен, умен, сведущ во многих делах. Недаром приблизил его Джехутимес, который, говорят, великий ваятель. Он в нашей лавке — всегда на почетном месте. Его уважают. Тихотеп — его близкий друг. И почему-то удручен...»

— Ты любишь Нафтиту?

Ваятель всплеснул руками:

— Что ты мелешь?

— Ты же сам сказал.

— Что я сказал?

— Что Нафтита дороже, чем я. Поэтому ты в плохом настроении.

Тихотеп сказал:

— Чтобы твои собственные кривотолки не сбили тебя, я кое-что объясню. Представь себе, что человек садится в ладью, чтобы переплыть Хапи в том месте, где особенно много крокодилов. Садится в ладью и — о, ужас! — обнаруживает сильнейшую течь. Борта разохлись, смола отстала, и вода бежит, словно по оросительному каналу в месяц месоре. А на том берегу — прекраснейшая из женщин. Возлюбленная его. Преданнейшая ему. И он хотел бы взять ее в жены. Но ладье не доплыть до берега. Она неумолимо идет ко дну. И прожорливые пасти крокодилов тянутся к нему. — Тихотеп замолчал. А потом спросил: — Что ты на это скажешь?

Вдруг она сделалась ни жива ни мертва. Сорру живо представила себе несчастную женщину, которая ждет возлюбленного. О, бедная, бедная женщина на том берегу Хапи! Неужели она явится свидетельницей его гибели?.. Сорру прикрыла лицо руками. Ей почудились вопли — душераздирающие, громогласные: живой плач женщины, теряющей любимого... Когда он, применив небольшое усилие, отнял руки от лица ее, по щекам Сорру катились крупные слезы, как дождединки в Саи или на острове Иси.

— Ты плачешь, Сорру?

Она, всхлипывая, кивнула.

— Не расстраивайся, прошу тебя.

— Мне жаль ее.

— А его?

Сорру не ответила. Наивность ее была беспредельна и натуральна. Душа ее чиста, как только что изготовленный и высушенный папирус: пиши на ней любые письма! Тихотеп попытался смягчить впечатление, произведенное на молодую женщину неприхотливым рассказом.

— Сорру, я имел в виду наш Кеми, когда говорил о ладье. В образе плывущего на ладье представил себя...

— А та, которая на берегу?

— Это — ты.

При этих словах она разрыдалась. Ему стоило больших усилий слегка успокоить ее. Помогло простейшее и испытаннейшее средство: долгий, горячий поцелуй. После этого он смог продолжить свой рассказ:

— Если с Кеми случится худшее, разве избегнем ее судьбы и мы? И что значат все песни любви по сравнению с этой катастрофой? Я это вдруг ощутил вчера. Когда узнал о грозящей опасности.

— Любовь ни с чем нельзя сравнивать. Она выше бога.

— Не богохульствуй!

— А я говорю — выше, — упрямо повторила Сорру.

— Для вас, азиатов, все равно — что бог, что любовь!

— Нет, не все равно, Тихотеп: любовь превышает всего! А вы здесь, в Кеми, слишком начитались старинных книг и слишком завозились со своими письменами. Между тем лучшие письмена — письмена любви!

Она произнесла эти слова с глубокой верою в них, со всей страстью и горячностью.

— Вы слишком расчетливы, — продолжала она, — ваши познания заслоняют от вас самые благороднейшие чувства. Не далее как сегодня утром два господина поспорили в лавке. Дошло до оскорблений. Но не до драки! Они расселись по разным углам и принялись строчить жалобы судье. Да разве так поступают мужчины!

— А как же, Сорру?

— Они решают спор в рукопашной схватке.

Тихотеп подумал, что вдобавок ко всему — перед ним дитя несмышленное. Неужели же драку возможно предпочесть судебному разбирательству? О, великий боже, как отстают эти азиаты, сколь они невежественны! Даже прекрасная Сорру готова разрешать споры своими кулачками.

Она была полна презрения к тем двум спорщикам!

— Нахохлились, как воробы, добыли письменные приборы и папирус — и давай писать жалобы. Быстро-быстро. А потом кинулись к судье искать справедливости!

— Сорру, они поступили разумно.

— Да?

— Вполне!

— И ты бы вот так строчил жалобу?

— Если бы оказалась в том необходимость.

— Некий муж застал у своей жены любовника...

— Прискорбно.

— Как же он поступил, Тихотеп?

— Не знаю.

— А я знаю.

— Так расскажи, Сорру.

— Он привлек любовника к судебной ответственности. Собрал свидетелей и уличил того в подлости.

— Сорру, он поступил по закону. Разве — нет?

Нет, это выше ее представлений о ревности и верности. Мужу следовало отрубить голову и ей и любовнику!..

— Какая жестокость! — воскликнул ваятель.

— Нет, — решительно возразила Сорру, — если любишь — пойдешь на все! Что такое человек без любви? Просто камень на дороге. Булыжник. Кремень, из которого высекают искру посредством кресала. Небесного железа. Я всей душой ненавижу бесчувственных.

«...Львица, львица эта женщина! Она с одинаковой страстью растерзает врага и приласкает возлюбленного. Такая никогда не оценит ни пирамиды Хуфу, величайшего творения Хемиуна, ни изваяний Ирчисена, ибо не имеют даже косвенного отношения к тем чувствам, которые обуревают Сорру. Я раньше сравнивал ее, как и всех женщин, с травой. Нет, она львица — и мысли, и поступки ее необузданны, как у львицы. Вот что!..»

— Хорошо, — сказал он примирительно, — пусть мы, жители Кеми, слишком расчетливы, не ревнивы, мало воинственны и чрезмерно привержены к законам.

— Вы просто сутяги, — добродушно заметила Сорру.

— Сказано довольно-таки крепко.

— Вас хлебом не корми, а дай возможность пописать жалобы, по судам побродить. Отбери у вас земли немножко, сотую долю аруры, — в суд! Изменила жена — в суд! Оскорбил сосед — в суд! Раб ушел — в суд!

Тихотеп схватился за голову.

— Сорру! — вскрикнул он. — А что бы делала ты, будь мужчиной?

— Что? — Глаза у Сорру злоеюще сверкнули. — Я бы прирезала обидчика. Собственноручно!

— Да, Сорру, скажу тебе по правде: Изидой тебя не назовешь.

— Я и не прошу.

— И ни Изиды, и ни Ашторет...

— Я же сказала тебе, не стремлюсь походить на них...

— Впрочем...— Он легким нежным движением коснулся ее соска.— Пожалуй, есть в тебе кое-что от Ашторет.

Она оттолкнула его руку, подбоченилась, высоко подняла голову:

— А я и не стыжусь! Да, я женщина, подобно Ашторет. Я служу Ашторет и предаюсь прелюбодеянию во имя Ашторет.

— А я обожаю тебя именно за это,— сказал Тихотеп.

И, как все их встречи, закончилась тем же и эта. Она медленно скинула с себя шелковые одеяния. Обнажилась. И он прильнул к пупку ее — такому тугому и маленькому, как у детей. Живот ее теплый и упругий, словно только что выпеченный хлеб. Покрыт ровным загаром.

Он разделся. Стал к ней спиной, будто сопоставлял рост ее со своим. По сравнению с ним была она маленькой и хрупкой. Обхватила бедра его. И застонала...

Он поднял ее на руки. Обошел комнату вокруг три раза. Целуя ее. Не переставая целовать.

— Я несу тебя, как свет,— сказал он.

— У тебя большие руки.

— Несу, как аромат таинственный, невообразимо прекрасный.

— Ты соткан из жил, Тихотеп.

— И груди у тебя как две птички: вдруг вспорхнут, как сказано в одной старинной книге.

— Они жаждут тебя.

— И ты горячая, как камень посреди пустыни.

— Так остуди же меня!

— Чем? — спросил он дрожащим голосом.

— Ты знаешь сам...

Он искал губами ее губы. Она их прятала. Прятала, изнемогая и шепча:

— Любовь... Любовь... Любовь...

Юти и Бек находились в мастерской Джехутимеса, когда неожиданно появился фараон вместе с Кийей. Джехутимес показывал своим друзьям набросок рельефа на плите: царь протягивает руки к его величеству Атону, как бы читая торжественный гимн в честь божества света и тепла. Ахтой и Тихотеп стояли сзади гостей, почтительно слушая объяснения Джехутимеса. В это время и появился фараон вместе с Кийей. Их сопровождал эскорт из дворцовой охраны.

Ваятели не сразу заметили высоких гостей. Послышался нетерпеливый топот коней, впряженных в колесницу его величества. И тут же показался его величество. Самолично. А за ним — Кийа. Старый Бек проворнее других опустился на колени, приветствуя благого бога. Остальные последовали его примеру.

— Он! — сказал громко один из тех, кто в соседней комнате замешивал глину. Было произнесено весьма выразительно это самое «он». Не требовалось даже переспрашивать, кто такой «он».

Нефтеруф кинулся к занавеске, чтобы удостовериться, на самом ли деле «он». Бывший каторжник осторожно раздвинул занавеску, которая вся в тяжелых складках. И он увидел то, что увидел: благой бог царственно улыбался, оглядывая мастерскую и колена преклоненных ваятелей. Было что-то особенное в этой невзрачной фигуре, в этом остром, как кинжал, лице, в его глазах, во всей осанке. Божественность? Пожалуй. Уверенность? Пожалуй. И даже сила. Все вместе — и одно, и другое, и третье, пожалуй.

Кийа держалась скромно. Как бы в стороне. И в ней было что-то возвышенное. Надо отдать ей справедливость. Или это, может, от близости к его величеству? Так или иначе, она — царица. К ней можно относиться как угодно, однако в величии Кийе не откажешь...

Нефтеруф снова перевел взгляд на фараона. Так вот он! И вот он каков теперь! Одного его слова оказалось достаточно, чтобы весь блистательный род Нефтеруфа пошел прахом! Дуновение уст его — и Нефтеруф очутился в недрах земли. Глубоко под землей! Чтобы

копать землю, подобно кроту. И добывать золото для него...

Рука бывшего каторжника невольно потянулась к кинжалчику, с которым Нефтеруф не расставался ни днем, ни ночью... Вот так, вот: один прыжок! Подобно зверю. И все сомнения кончаются. Месть совершается. В мгновение ока Кеми обретет нового правителя. А с новым правителем...

Лоб у Нефтеруфа вспотел. От напряжения. Бывший каторжник неотрывно глядел на фараона. До боли в висках. Что отделяло его от верховного правителя Кеми? Десять локтей да занавеска? Разве это преграда? Это один... всего-навсего один прыжок...

«...Восемь лет мечтал об этой встрече... И днем и ночью думал. Давно решил, как поступлю я в эти мгновения. Я говорил себе: не буду думать. Я говорил себе: это будет удар молнии. Я говорил себе...»

В это время кто-то мягко положил руку на плечо Нефтеруфа. Очень мягко положил. Но рука тяжелая. Тяжелей и не придумаешь. И услышал за собой сопение. Так сопит носорог, почувывший опасность.

Нефтеруф резко повернулся назад. И увидел перед собой то, что увидел: увидел черное лицо и белые зубы. Красные губы и белые глаза. Негра увидел Нефтеруф. Такого огромного. Рукастого. Мускулистого. Курчавого. Улыбался негр улыбкой и доброй и недоброй. Нефтеруф не сразу разобрался, что же здесь происходит.

Чернокожий сказал тихо, тихо, тихо:

— Его величество выглядит очень хорошо.

— Да,— вырвалось у Нефтеруфа.

Чернокожий продолжал:

— Я видел, господин, с какой любовью взирал ты на нашего властителя — жизнь, здоровье, сила! Я тоже люблю его. Очень люблю. Мы все любим его. Он — словно Хапи. Такой великий.

От негра пахло чесноком. И мясом. Негр шепелявил. Негр был косноязычен. С трудом понимал его Нефтеруф. К тому же негр шептал. Тихо, тихо...

— Да, да,— сказал Нефтеруф.

— Смотри, смотри,— советовал негр, не отнимая руки от плеча. Нефтеруф хорошо уразумел одно: он в прочных объятиях этого негра. По-видимому, тело-

хранителя его величества. Нефтеруф понял очень хорошо: фараон далек от него, как звезда Сотис, управляющая разливом Хапи. Это он понял! И еще понял: не надо двигаться. Ни вперед, ни назад. Ни вправо, ни влево... Прощай, мечта!..

— Смотри, смотри,— шептал зловеще чернокожий.

Его величество эдак внимательно, внимательно присматривался к коленопреклоненным. Немножко придирчиво: может, не нравилось ему что-нибудь? Но что? Фараона ведь не ждали. Естественно, ваятели не приоделись подобающим образом. За исключением Бека и Юти, которые были гостями. Джехутимес — в пыли. Ахтой — в глине. Тихотеп — желтый от пыли.

Фараон полуобернулся к Кийе и сказал:

— Вот эти люди — ваятели. Подобных им не знает Кеми. Все ваятели мира недостойны стоять рядом с ними.

Он как бы говорил: вот каковы они, и все они — прах передо мною.

Она кивнула ему. И, чуточку сощурив глаза, по-прежнему стояла безмолвно. И весь вид ее свидетельствовал о том, что благоговела она перед этими знаменитыми людьми Кеми. Которые верноподданные и ее величества. Рабы ее. Послушные слову ее.

Потом его величество обратился к ваятелям. Он говорил вполголоса. С укоризной. Как бы с обидой на них. Медленно сгибая правую руку в локте и прикладывая ее к груди. И снова опуская. Неторопливо. Плавно. И речь его была ясной и неторопливой. Он дважды или трижды оборачивался к Кийе, как бы доводя свои мысли до ее сведения. Словно говорил главным образом для нее. Пожалуй, не было другого правителя в Кеми, который лучше подходил бы для этой высокой, божественной должности, чем его величество. Ему чутко внимали все ваятели, которые ждали знака, чтобы подняться на ноги. Поскольку знак не подан — то ли нарочно, то ли по рассеянности его величества, — они продолжали пребывать коленопреклоненными. Однако вскоре выяснилось, что фараон не был рассеянным, но действовал обдуманно, как во всех своих делах.

Он сказал доподлинно:

— Все мы созданы его величеством Атоном, и благословение его с нами! Ибо он есть бог-владыка всего сущего на земле и созданного им. Его величество, отец мой небесный, говорит со мной, и мои слова — суть высказанные им в его священных и тайных беседах. Кеми — лучшее творение бога всесветного, и всевидящего, и всетворящего. А лучшее в Кеми — ваятели и писцы его, зодчие и музыканты. Ибо созданное ими — бесценно. Я заявляю вам от имени отца моего, несущегося в золотой колеснице через голубое поле неба, что негоже вам, достойным сынам, на коленях стоять вот так, даже в моем присутствии. Это говорю я. Надеюсь, в последний раз. Бек, мудрейший и почтеннейший, который здесь, и все остальные, которые здесь, должны подняться гордо. Во весь рост. Потому что на них благодать царя их и отца царя ихнего, бегущего по небесам.

Сказал его величество, и рабы его поднялись с земли. Согласно его пожеланию. Ибо желание его величества — закон для рабов его. Тогда Кийа сделала несколько шагов вперед и оказалась как бы окруженной прославленными ваятелями. И, обращаясь к его величеству, сказала:

— В уши мои проникла речь проникновенная, исполненная справедливости и мудрости. Пусть отныне так и будет под этими сводами, где каждая рука неопенима и прославляет государство наше, и Великий Дом — прибежище благого бога.

— Джехутимес, — сказал его величество, — показывай твои работы, которые не успел посмотреть. Услади глаза мои, потому что камни оживают под ударами твоего молотка.

Джехутимес хорошо умел слушать наставления его величества. Впрочем, как Бек и как Юти. А тот, кто не очень это умел — наподобие Май, — нынче в далекой пустыне пьет из бурдюка вонючую воду, и снится ему по ночам этот прекрасный город. И мастерские. Где власть фараона имеет пределы. Потому что фараоны могут завоевать Ретену или Ливию. Но нет силы, кроме силы ваятеля, которая в состоянии изваять нечто прекрасное. Это не раз выражал в своих суждениях фараон. А нынче он высказал это в столь определен-

ной форме, что нельзя допустить в отношении каждого его слова двух толкований...

Джехутимес показывал свои камни и гипсовые слепки. Он переходил от одной работы к другой. Его величество осматривал каждое изваяние придирчиво, с величайшим вниманием.

А негр не отступал от Нефтеруфа. Он дышал жарким дыханием. Прямо в затылок. И бывший каторжник понимал, что не уйти от этого верзилы. Нефтеруф заметил еще нескольких человек, настороженно дежуривших по разным углам мастерской. И не понимал, откуда взялись они. Однако было ясно: охрана фараона достаточно надежна. Всякая мысль о покушении — сущее безумие... И с этого мгновения Нефтеруф изображал верноподданного. Он восхищался его величеством сверх меры. Подобострастно вздыхал. И повторял, обращаясь к негру:

— О, как он велик! О, как он мудр!

Негр кивал ему, тараща глаза. И говорил:

— Да. Да. Да...

Его величество подошел к одному из изваяний, явно не оконченных и потому покрытых грубым холстом. Джехутимес решил, что фараон прикажет снять покрывало.

Проницательный фараон словно бы увидел сквозь покрывало то, что скрывало оно от посторонних. Он круто повернулся на месте и сказал:

— Не следует ли сильнее подчеркивать формы лица и тела, имеющие своеобразность? Не похожие на других. И полностью отказаться от приукрашивания.

Неизвестно, к кому из ваятелей был обращен этот вопрос. Бек, как самый старший из них, отвечал:

— Твое величество, это и есть самый жгучий вопрос всех времен. Насколько мне известно, даже в незапамятные времена — во времена, скажем, Имхотепа — находились умные люди, полагавшие, что надо схватывать самое главное.

Его величество заметил с усмешкой:

— И все-таки всех изображали похожими на Озириса или на Тота.

— Да, так было.

— Почему?

— Потому что, твое величество, не нашлось человека, который до конца мог бы понять эту истину и рассказать о ней другим. Подобно тому как это делаешь ты.

Фараон попытался разобраться в словах старого ваятеля: каково в них соотношение истины и лести? Зная Бека, его величество не допускал подобного исследования. Это было бы оскорбительно для Бека и мало приятно для самого фараона. Значит, в словах Бека — сущая правда. Говоря откровенно, разве не он, Эхнатон, неустанно требовал одного: не раболепного сходства, но соответствия натуре, подчеркивания отличительного, опуская частности? Нет, Бек не льстит. И зачем нужна старому ваятелю эта лесть на пороге смерти? Даже устрашающий случай с ваятелем Май, сосланным под благовидным предлогом на каменоломни в качестве начальника, не может оказать действия на смелого Бека...

Таким образом, его величество убедил себя, что Бек говорит правду, говорит искренне и ему должно оказываться полное доверие.

— А если бы нашелся такой человек? — спросил фараон, возвращаясь к словам Бека.

— Тогда бы, твое величество, Джехутимес родился бы на тысячу лет раньше.

— И не было бы его с нами?

— Да, твое величество.

Фараон воздел руки к небу:

— Благодарю тебя, отец мой, что Джехутимес живет именно в мое время! — Он обвел присутствующих пытливым взглядом. Сказал: — И ты, Бек. И ты, Юти. И ты, Ахтой. И ты...

Его величество запнулся.

— Тихотеп, — подсказал Джехутимес.

— И ты, Тихотеп! Хорошо, что вы живете сейчас, в этом славном городе Ахяти! — За подтверждением сей мысли фараон обратился к Кийе.

— Верно! — сказала она. — Это очень хорошо!

— Кстати о столице, — продолжал фараон. — Будем откровенны: она построена не то чтобы на живую нитку, но не очень прочно. И не очень тщательно...

— Ты требовал быстроты, — сказал Юти.

— Верно.

— Город поднялся за три года,— добавил Бек.

— Верно. И не столь уж прочен.

Джехутимес сказал:

— Истинно так.

— Доказательства ни к чему,— сказал фараон.— Пойдемте, и я покажу следы спешки. На каждом шагу. Почти на каждом. Что? Не так?

Опять же неизвестно, к кому обращен вопрос.

— Так,— подтвердил Джехутимес.— Это так!

А про себя:

«...Его величество видит сквозь землю. Он знает, что делается в небесах. Неужели же не знать ему города, возведенного им самим?..»

Фараон прислонился к стене. А мыслями — где-то далеко, далеко...

Кийа спросила Джехутимеса:

— А что под тем покрывалом?

Ваятель ответил не сразу. Все опустили глаза, кроме его величества, который был где-то далеко.

— Твое величество, это голова одной дамы...

— В самом деле? — Кийа загорелась любопытством.— А нельзя ли посмотреть?

— Работа еще не окончена...

— И очень хорошо... Хотелось бы знать, как выглядят неоконченные работы.

Не смея послушаться, не смея перечить ей, ваятель сорвал покрывало. И Кийа загляделась. На нее, очень хорошо знакомую... Вдруг почувствовала себя неловко под умным, снисходительным и веселым взглядом этой дамы...

Потом обернулась к Джехутимесу:

— А по-моему, работа готова. Вы ничуть не польстили этой даме. Она и в самом деле прекрасна.

Фараон как бы пришел в себя. Присмотрелся к изваянию.

— Надо закончить его,— посоветовал он.— Надо увенчать головным убором.

Это он произнес бесстрастным, вялым голосом. Казалось, устал фараон. Или по-прежнему мыслями был где-то далеко.

— Да,— ответил Джехутимес,— сейчас работается головной убор. Мы нашли наконец подходящий

материал. Нам нужны и камни для глаз. Не простые, но особенной прозрачности.

— Надо закончить... Надо закончить...— повторил его величество и направился к выходу. И в это самое время, когда поворачивался лицом к выходу,— встретился с глазами Нефтеруфа. Сверкавшими в складках занавески. Бывший каторжник увидел его глаза — темно-карие, немножко задумчивые, немножко болезненные, немножко испуганные. Много можно было прочесть в этих глазах!.. Фараон не обратил внимания на Нефтеруфа: мало ли кто смотрит на его величество?!

Царь шел медленно. По-видимому, дожидаясь Кийю, которая разговаривала с ваятелями. Все о том же, незавершенном, по мнению Джехутимеса, портрете Нефертити. Джехутимес был поражен ее доброжелательным тоном. Словно Нефертити и вовсе не было в живых: эдак почтительно, без тени раздражения или ревности.

Бек подумал:

«...Эта женщина пошла далеко. Но она пойдет еще дальше...»

Джехутимес отдал ей должное: так может вести себя только великая женщина, умудренная жизнью, сумевшая подняться над мелочами, над очагом и над горшками для варки похлебки. Так могла бы вести себя одна-единственная женщина в мире: ее величество Нефертити...

Фараон нетерпеливо кашлянул. И Кийа заторопилась к нему. И они вышли оба, между тем как за ними в почтительнейших позах следовали ваятели. Перед тем как подняться на боевую колесницу с позолоченными спицами, его величество сказал Джехутимесу:

— Больше гордости. Учтите: вы — фараоны в своем деле.— Поднявшись, он закончил свою мысль: — Ни один фараон Кеми, начиная с Хуфу, не может сделать то, что делаете вы.

Он положил руку на плечи Кийи, стоявшей рядом с ним. И подал знак трогаться.

Ваятели склонились в глубочайшем поклоне.

Поздно ночью Тахура закончил письмо. Оно получилось достаточно большим. Но ведь и дело не маленькое. Если говорить скромно. Барыши Тахуры не исчисляются талантами. Золото здесь присутствует как бы незримо. Потому что это — много золота, много талантов, огромное количество дебенгов. Их сейчас нет. Но они будут. Для этого нужна победа хеттов, его величества Суппилулиуме. Вот это настоящий барыш! А караван товаров и мешок золота — мелочь! Сущая мелочь, недостойная Тахуры, которого ценит лично царь Суппилулиуме.

Тахура отправит это письмо нарочным. Но не хеттам. А в Вавилон. К себе на родину. Оттуда оно попадет в руки его величества, и он скажет: «Не дремлет, не дремлет Тахура — верный мой слуга, чутко слушающий мои речи». Так скажет великий Суппилулиуме. Ибо победу ему, точнее, ключи к победе добудет Тахура, который здесь в обличье купца...

Он писал арамейскими письменами на папирусе. И когда поставил в конце свою подпись, позвал Усерхета. Лавочника, у которого снимал комнату этот заезжий вавилонский купец. Лавочник поразился размеру письма. По его мнению, это была целая книга.

— Торговый отчет должен быть подробным, — со значением произнес Тахура.

— Понимаю.

— Чтобы хозяин мой — главный хозяин — узрел все таким, как оно есть на самом деле.

— Разумеется, разумеется.

— А иначе какой прок разъезжать с товаром?

— Никакого нет проку.

— Послушай, Усерхет, я хочу прочесть тебе — нет, нет! — не все письмо! Это было бы утомительно и для меня и для тебя! Но не сверить с твоим мнением главные мысли — не могу.

Лавочник кивнул. Уселся на циновку. А купец приблизил к себе светильник. Глянул вопросительно на Усерхета.

— Все спят. Все спокойно, — сказал лавочник.

И Тахура прочитал:

— «Уважаемый хозяин мой Ташшут, пишет тебе работник твой, преданный тебе и усердный в своем деле Тахура из великого города великого Кеми, что на священной реке Хапи. Пишет, моля богов ниспослать...» Это пропустим. Дальше: «Город Ахетатон красив и удобен для жителей. Это столица вселенной, достойная его правителя. Его величество Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра Эхнатон здоров — да ниспошлет ему великий Атон сто лет счастливой жизни!..» Это для порядка, Усерхет. На случай, если перехватят письмо. Сейчас перейду к главному. Вот здесь. (Купец молчаливо пробежал папирус.) Слушай, Усерхет: «Что касается цены на золото, то оно нельзя сказать, что очень дорого или очень дешево. Блестит не очень ярко. И это понятно почему: вокруг мало золота, все больше хрупких глиняных горшков. В одном ларце не умещаются. Или побьются горшки, или вывалится золото». — Купец спросил лавочника: — Будет ли это ясно для читающих в Хаттушаше?

— По-моему, да.

— В таком случае послушай и это место. Оно очень важное. «Золото всегда в цене, даже если оно и потемнело слегка от пыли или от грязи. Но ведь неизвестно, сколько оно будет блистать. Учти, мой хозяин, ветры здесь дуют знойные и песчаные, особенно летом, и надеяться на то, что слиток будет сверкать при любых обстоятельствах, — невозможно. То же самое следует сказать и о горшках. Я бы с удовольствием купил их для тебя, да больно уж дорогие. В Ниневии или Вавилоне они значительно дешевле. И в Митанни тоже. На всякий случай готовь деньги, побольше денег. Они, наверное, будут нужны в ярмарочный день...»

Купец уставился на Усерхета:

— Ну?

— Все очень верно.

— Уверен?

— Вполне. Уверен, потому что это так. Не иначе. Доверенные люди мне сказали: его величество — золото — среди хрупких горшков. Иметь дело с горшками плохо. Горшки бьются на суше или тонут в воде. Нафтита не просто жена. И Кийа не просто наложница с женской половины дворца. Это две силы. Проти-

воборствующие. Значит, насчет воза — все правильно. От слова до слова. От начала и до конца.

— И я так думаю, Усерхет. Я тут тоже нюхал. Подобно неутомимой крысе. Мы с тобою одного мнения. Не так ли?

— Истинно, Тахура!

— Вот еще одно место в письме, которое я хотел бы прочесть тебе. Слушай, Усерхет: «Я предлагал свой товар многим немху. Но они отказались покупать. Не потому, что цена дорога. А потому, что нету у них золота. Один дебен — это состояние. Так живут немху. Они просили отдать товар с тем, что заплатят за него в будущем году. Но я не согласился». Что скажешь, Усерхет?

— Скажу, что и это правда. Потому что немху уже голодают. Обещанное фараоном не выполнено. Его величество уже повернулся к ним задом.

Купец был рад: хорошо, что у них одинаковые мнения. Это очень хорошо! Ибо его величество Суппи-лулиуме имеет здесь и глаза и уши. Много глаз и ушей! И он будет слагать все услышанное от Тахуры и слышанное от других, имен которых купец не знает и никогда не узнает...

— А теперь скажи мне, Усерхет: вот письмо досталось писцам фараона.

— Так что же?

— Что скажут писцы?

— Они прочтут твое письмо.

— Это верно.

— Они скажут: вот купец, преданный торговым делам. Что еще скажут?

— Не знаю.

— А больше и ничего, Тахура! — Усерхет приложил ладони ко лбу, точно голова пылала от жары. Помедлил и сказал: — Я бы добавил нечто...

И замолчал. Купец не стал торопить его. Налил себе прохладной воды и прополоскал горло. Еще раз налил и снова прополоскал.

— Холодная вода полезна, — сказал он.

Усерхет продолжал молчать.

— Могу приписать, Усерхет. На свитке есть место.

— Да, да, Тахура...

И опять замолчал.

«...Этот лавочник умен. В Хаттушаше умеют находить людей. Неглупых. Преданных за большие деньги. Лавка приносит меньше прибыли Усерхету, чем золото, текущее к нему из Хаттушаша. Его величество Суппилиуме не скупится на золото, если оно идет на пользу ему. Усерхет, несомненно, весьма умный и полезный человек...»

— Тахура,— проговорил лавочник, словно только что пробудился от глубокого сна. — Хочу посоветовать нечто. Если будешь согласен, то сделаешь приписку. А если нет, то скажешь мне об этом.

Купец кивнул в знак согласия.

— Если, прочитав твое письмо, его величество в Хаттушаше спросит: «А что случится с Кеми, если боги призовут к себе его фараона? Кто станет у кормила великого Кеми?» — что ответишь, Тахура?

Купец был поставлен в затруднительное положение...

«...Этот лавочник далеко смотрит. У него не глаза, а магические стекла, которые выплавляются в Джахи и способны показывать и увеличивать малозаметные вещи. Он прав, он трижды прав, этот лавочник!..»

— Усерхет, если предложишь ответ на этот вопрос,— я тотчас же припишу его.

Купец развернул свиток, достал с полочки чернильный прибор, заключенный в пенал из черного дерева.

Лавочник сказал:

— Кийа объявлена соправительницей. Ты это знаешь, Тахура. Когда умирает правитель — случается многое. Часто — самое непредвиденное. Вместо подготовленного заранее правителя приходит другой. Царица Хатшепсут наследовала престол своего супруга. А как будет с Кийей?

Купец пожал плечами.

— Поэтому, Тахура, надо предусмотреть нечто. Что именно?.. Допустим, не Кийа. Так кто же? — Лавочник загнул большой палец на левой руке.— Первое: Семнех-ке-рэ может сесть на престол. Вполне может. Ну, а если не Семнех-ке-рэ? Кто же, если не он? Принц Тутанхатон? Возможно! Вот теперь и суди: Кийа, Семнех-ке-рэ, Тутанхатон... Я бы сказал так: эта женщина сильнее обоих мужчин. Я бы сказал

больше: боги ошиблись, создав Кийю женщиной, а этих двух — мужчинами. Следовало бы — наоборот.

— Твоя мысль мне по душе, Усерхет.

И Тахура без дальних слов сделал в своем письме такую приписку:

«Купец, давший обещание купить все масло для умащения, сказал: «Если почему-либо я не куплю масло, то обяжу купить его своих помощников. Или жену, которая ведает моим хозяйством, или моих двух близких родственников. Они, правда, молоды, неопытны еще, однако надеюсь, что товар понравится и им».

— Настоящий муж должен все предусмотреть, — сказал Тахура, довольный припиской. Потирая от удовольствия руки, он шумно прополоскал горло.

Лавочник молчал. Морщил лоб сверх меры: как всегда, Усерхет много и напряженно думал...

„КАК В ГРОБНИЦЕ“

Его высочество Семнех-ке-рэ осторожно приоткрыл дверь. Комната казалась пустою. Было сумеречно в ней, неуютно. И он собирался было прикрыть дверь. Но его позвали. Это был ее голос.

Семнех-ке-рэ не сразу заметил Нефертити. Она сидела в углу. На высокой скамье. Ровная. Как на троне.

— Ты один? — спросила Нефертити.

— Один.

— А где Меритатон?

— У себя. Отдыхает. Как чувствуешь себя, твое величество?

— Я? — Нефертити скрестила руки на груди. Эдак энергично. — Откровенно?

— Если это не тяжело для твоего сердца.

— Как в гробнице, милый Семнех-ке-рэ.

— Как в гробнице? — повторил он. Он казался грустным, усталым, растерянным.

— Да.

Он не знал, что и сказать. Почему же как в гробнице? Живой человек никогда не должен закапывать себя прежде времени. Это только на радость врагам...

— Кому, Семнех-ке-рэ? Врагам?

— Да. Врагам.

— А где они?

Его высочество еще больше смутился. Теперь он в полумраке разглядел все: ее, высокий стул со спинкой, скамьи и погасшие светильники из алебаstra. В маленькие, расположенные чуть ли не под потолком окна пробивался сине-фиолетовый вечерний свет. Точнее, это было небо сине-фиолетового цвета. А еще точнее — куски неба. По размеру окон, коих было три. Каждое окно — квадратное: три локтя на три.

Семнех-ке-рэ присел на скамью. Слева от ее величества. И он ответил на ее вопрос:

— Враги — это вчерашние друзья.

Она была бледная. Сосредоточенная. И бесконечно усталая. Будто долго-долго болела лихорадкой. Страшной и цепкой лихорадкой, которая выжимает из человека последние соки. Увы! — она осунулась, хотя и сохраняла прежнюю осанку. И даже состарилась. О, бог великий и милосердный, прекрасная Нефертити состарилась! Как не идет к ней это страшное слово! Состарилась за какой-нибудь месяц!

— Ты это хорошо сказал, Семхен-ке-рэ. Врагов надо искать среди близких друзей. Такова правда о власти предержащих. Разве может сделаться твоим кровным врагом какой-нибудь житель Та-Нетер или кто-нибудь из шарданов? Твои первые враги — твои помощники. Ежедневно принимающие пищу вместе с тобой и готовые на лесть сотни раз на день. Вот где надо врагов искать! Даже хетты ни при чем! Разве онí заперли меня в этих холодных покоях? Разве враги мои пришли из Митанни или Ретену? Или из Вавилона? Арамейцы — враги? Ливийцы или эфиопы?

Семнех-ке-рэ съжился. И шея его ушла куда-то в грудь. Великаном, правда, никогда не был. А тут он стал совсем небольшим. Маленьким. Малюсеньким.

— Как чувствуешь себя? — спросила Нефертити. — Я не видела тебя целых две недели.

— Плохо, — признался он.

— Почему плохо?

— А почему должно быть хорошо? Разве есть основания для радостей? Я не могу видеть *эту* женщину. А приходится!

Нефертити вздохнула:

— Я ей не завидую.

— У тебя душа тонкая и благородная.

— Нет.

— Что — нет?

— Не в душе дело. Я просто кое-чему научилась. Нагляделась. Кое-что уразумела. Наше счастье, что мы, люди, можем кое-чему поучиться. В отличие от холодных камней. И сказать по правде, мне даже жаль не себя. Даже совсем не жаль! Но дело великое, которому отдала бы жизнь, будет ли жить?

Она приподнялась на руках. Подалась вперед, готовая совершить прыжок. Подобно серне.

Семнех-ке-рэ не мог ответить односложно — «да» или «нет». Дело зависит от людей. Люди зависят от смерти. Их время строго отмерено. И человек во времени — как цыпленок в скорлупе: за грань не перешагнуть!

Она подняла правую руку. И решительно возразила:

— Я не говорю о маленьком, личном деле. Но о деле, которое в сердце многих. Которое ведет страну. Куда? По определенно избранному пути. Если этот путь зависит только от одного человека, от одной жизни, от количества дней его жизни, — значит, дело его маленькое, других мало касающееся. Скажи мне: права я или нет?

Семнех-ке-рэ и тут не мог ответить односложно — «да» или «нет». Это очень сложный вопрос. Можно сказать, запутанный. Мало, чтобы за тобою шли тысячи и тысячи с открытыми глазами и сердцами. Но и враги твои должны быть бессильными. Не потому, что их мало. Или оттого, что они подавлены. Или стерты в порошок. Или загнаны в пустыни. Или зарыты живьем в землю. Где-нибудь на границе с Эфиопией. Враги должны обессилеть. Сами по себе. Обессилеть оттого, что им нечего противопоставить тебе, твоим мыслям, твоим действиям, твоей мудрости.

На свете немало любителей бараньих битв. На этих битвах все происходит как по уговору: бараны разбегаются и честно сшибаются лбами. Кто победит? Тот, чей покрепче лоб! Да, только он и победит! Но люди — не бараны. И никогда баранами не будут, хотя, наверное, когда-то и походили на скотов. Мысль должна сшибиться с мыслью. Чья победит? Чья мысль

восторжествует? Боевая колесница, какой бы тяжелой ни была, никогда не докажет правоты, если рядом с нею, точнее, впереди ее не летит мысль. Яркая, правдолюбивая, хватающая за сердце прекрасная Мысль.

Семнех-ке-рэ говорит горячо. Убежденно. Чуть даже сердито. Милейший Семнех-ке-рэ — и вдруг сердито! Она почему-то всегда относилась к нему по-матерински — снисходительно и нежно. Может, потому, что вырос на ее глазах? И уж, конечно же, совсем не представляла его на троне. Властолюбия у него, наверное, хватает. Как у многих из тех, которые окружают трон. Но достанет ли ума? Правда, никто из фараонов никогда не жаловался на недостаток ума. Но это ровным счетом ничего не значит. Эхнатону никто из близких его и в подметки не годится. У него — и воля и ум. Это царь по призванию. Царь по рождению. Царь по образу мышления и по рукам своим царь! Надо отдать ему справедливость. Было бы хорошо, если бы и здоровьем он был настоящий царь. Царь без здоровья все равно что бесплодная жена...

Человек, к несчастью, недолговечен. Он приходит — и не спрашивают на это его согласия. Он уходит. И тоже не спрашивают согласия. Даже не интересуются его мнением на этот счет: все ли успел сделать в жизни? Построил ли себе гробницу? Достаточно ли ее украсил? Эхнатон подчинен общему закону. Закон этот столь же бесчеловечен, сколь и человечен. С ним приходится считаться, что Эхнатон и делает. Но разумен ли он? Можно предположить, что на троне останется Кийа. Что это? Новейшая царица Хатшепсут? Она поведет Кеми? И куда поведет? Вокруг нее останутся Эйе, Хоремхеб, Маху, Туту... Останутся ли? Кто же будет править на самом деле? Если не Кийа, то Семнех-ке-рэ. Или мальчик, милый мальчик — Тутанхатон. Допустим. В том же окружении? Кто же будет подлинным правителем: Семнех-ке-рэ, Тутанхатон или это самое Окружение? Как пожелает повернуть судьбу Кеми и Великого Дома бог единый и милосердный, Атон, сияющий в небе?..

О Семнех-ке-рэ с юных лет говорили, что он симпатичен, вдумчив, внимателен к окружающим. Во дворце его любили почти все. Его высочество не был заносчивым, тщеславие его проявлялось достаточно умеренно.

Мягкий характер Семнех-ке-рэ устроил бы всех: сторонники и ярые приверженцы бога Атона были уверены, что его высочество будет в их цепких руках, а приверженцы Амона надеялись с помощью Семнех-ке-рэ — буде он когда-либо станет фараоном — вновь восстановить величие Амона, его жрецов и смертельно обиженной знати.

Источником мягкости его характера Пенту, например, считал образованность. Семнех-ке-рэ был начитан. В десять лет он свободно писал и читал. В пятнадцать — прекрасно разбирался в старинных текстах, начертанных на заброшенных гробницах и разграбленных пирамидах. В двадцать лет женился на умной Меритатон, и с этого дня его прочили в фараоны. Эхнатон никогда не опровергал этого утверждения. Недавно чуть было не объявил своим соправителем. Но и после женитьбы на Кийе фараон всячески подчеркивал свою благосклонность к Семнех-ке-рэ.

Любые резкие перемены в Большом Доме всегда потрясают. Особенно — обитателей его. В редких случаях это чувствует народ. Говоря откровенно, Семнех-ке-рэ был убежден, что разрыв его величества с Нефертити будет подобен землетрясению или затмению солнца. Однако ничего похожего не произошло. Все оказалось значительно проще. До обидного просто! Словно бы ничего и не шелохнулось, словно бы прекрасная царица не оказалась в «гробнице». Впрочем, его высочество и до сих пор уверен, что в Кеми все спокойно лишь только потому, что народ не знает всей правды о любимой царице. И эту мысль он довольно пылко высказал Нефертити.

Царица поразилась его наивности. Какое дело народу до дворцовых переворотов и интриг? Кто знает, что происходит за этими высокими стенами, в Ахетатоне? Кто правит сейчас? Кто будет править через час? Пленные шарданы рассказывают, что где-то на Западе, на островах Великой Зелени, царей выбирают всенародно. Но это больше похоже на сказку. Кеми испокон веку держится на незыблемой власти фараонов. Народ здесь ни при чем. И не было еще силы, которая сокрушила бы Кеми...

— А гиксы? — спросил Семнех-ке-рэ.

— Что — гиксы?

— Разве мало они правили нашей страной?

— Нет, почему мало? Двести лет. Так пишут в старых книгах.

— А ты говоришь — незыблемо!

— Двести лет — не вечность! А власть фараона — преемственная и единая, достославная во веки веков!

Семнех-ке-рэ вернулся к рассказням шарданов.

— Они болтают многое, — заметил он небрежно.

— Все это сущая ерунда! Кто согласится сложить свою власть? Кто?! Царь?!

— Да, царь. Так говорят шарданы, Нафтита.

Ее величество сказала, что в Кеми происходит нечто странное. Молодые люди, говорят, верят некоторым рассказням иноземцев. Не подозревая того, что пленные из самых злостных побуждений могут обманывать несмышленных.

— Да нет же! — возразил его высочество. — Мне доподлинно известно, что за Ливийской пустыней живут некие люди. Эти люди знамениты тем, что выбирают царя.

— Выбирают? — поразилась царица. — На какой же срок?

— Три по три года.

— На девять лет?

— Они говорят: три по три! Каждые три года они устраивают как бы проверку. Подобно тому как некогда праздновали у нас хебсед.

— Тогда, говорят, убивали царя.

— В праздник хебсед?

— Да.

— Увы, убивали! И выбирали себе нового.

— Какой ужас!

Царицу вдруг пробрал холод.

— Так было некогда у нас, — продолжал Семнех-ке-рэ. — Те, которые живут за Ливийской пустыней, не убивают царей. Не выдержавших проверку — просто изгоняют.

— А потом?

— Выбирают другого.

— Они погибнут! — проговорила царица, насупив брови.

— Напротив, они процветают.

— Ты это видел сам, Семнех-ке-рэ?

— Нет, я слышал рассказы. Всего-навсего.

Нефертити покачала головой. Она вытянула перед собою руку и указательным пальцем дала понять: «Нет!» Так, как это делают немые на рынке Ахетатона.

— Семнех-ке-рэ,— сказала царица опечаленно,— я полагаю, что все это — не твое мнение...

— Что именно?

— Насчет выборных царей.

— Я же сказал: все это слышал от чужеземцев.

— Ты должен позабыть об этом!

— Я-то позабуду, глубокочтимая Нафтита, но сделают ли то же самое и другие?

— К твоим словам прислушиваются.

Семнех-ке-рэ улыбнулся. Мягкой, чуть болезненной улыбкой. Откуда эта болезненность у двадцатипятилетнего молодого человека? Ничем особенным, кажется, не болен. Так откуда же она?

Как жаль, что Нефертити не могла подарить его величеству ни одного мальчика. Шесть девочек! Всё девочки да девочки! А как он желал мальчика! Как надеялся каждый раз, когда узнавал о ее беременности. Всё девочки да девочки! Хорошие, славные, но девочки: Меритатон, покойная Мактатон, Нефернефру-Атон-Ташери, Анхесенспаатон, Нефернефру-ра, Сетепенра... Хорошие, милые, любимые, хрупкие... Девочки, девочки, девочки... На кого же полагаться из близких? На слабенького Семнех-ке-рэ и маленького Тутанхатона?..

Нефертити стоило большого усилия, чтобы не разреветься. Нет, ее слез не должны видеть! Даже знать об этом не должен Семнех-ке-рэ! Ни он, ни кто-либо другой! Не важно — близкий или далекий... Разве что дочери?.. Разве что они?..

— Я хочу одного,— проговорил Семнех-ке-рэ,— хочу, чтобы подольше жил его величество. Чтобы болезнь поскорее оставила его...

— Какая болезнь? — спросила Нефертити.

— Его болезнь...

— Он здоров... Он очень здоров,— резко сказала Нефертити.— Царь не щадит себя. Он весь в думах. И днем и ночью... Один радеет за всех. А у него всего-навсего одно сердце!

Семнех-ке-рэ немного поразился. Разве женщины — брошенные мужьями женщины — не становятся азиатскими тигрицами? Разве великая злоба не зарождается в их душе? Злоба против мужа, бросившего ее...

— Нафтита! Ты удивляешь меня, Нафтита!

— Чем же?

— Я не могу сказать...

— А ты — обязан.

Семнех-ке-рэ встал. Прошелся перед нею. Стал перед нею. В комнате — показалось — совсем не темно. Или его осветила сама Нефертити? Или небеса засветились ярче?.. Небеса, которые изливаются сюда через окна...

Он был совсем небольшой. Точнее, большой отрок. Телосложением. Ростом. «...О, Кеми многострадальный! Те, которые опора тебе, сами нуждаются в крепкой опоре...» Нефертити видела его — своего зятя — во весь рост. С головы до ног. От тонких ног до хрупких плеч...

— Нафтита,— прошептал он.

— Слушаю...

— Ты — великая царица.

Ей стало смешно.

— Откуда ты это взял, Семнех-ке-рэ?

Но ему было не до смеха. Он сказал:

— Несмотря ни на что, ты любишь его величество!

Нефертити сказала твердо, решительно:

— Мы должны его любить, Семнех-ке-рэ. Потому что все мы — дети Кеми и бога единого и мудрого Атона!

— Воистину, Нафтита!

Он поклонился ей. Церемонным поклоном. Каким кланяются только истинной и великой царице.

ПРОСЬБА ДЖЕХУТИМЕСА

В поздний час, когда лавка Усерхета обычно пустует, неожиданно появился... Как бы вы думали — кто? Сам Джехутимес. Начальник ваятелей. Любимец его величества. Зашел один. Без друзей. В этот очень поздний час...

Первейший закон лавочника: ничему не удивляться. Мало ли кому вздумается забрести к нему? В лавке — вкусная еда. Здесь — красивейшие девушки. Здесь каждого почитают. Здесь внимание, услужливость крайняя. Не важно, что сменилась в городе первая стража. Не важно, что звезды устало светят. Небесное вращение идет своим чередом. Земная жизнь — своим. Что же до Усерхета, — он может и вовсе не спать. Прикорнет на час — и отдохнул. Так он провел всю жизнь и достиг уважения. Некоторого богатства. Собственными трудами и стараниями. И голова у него — своя. Он всегда думает ею. Без посторонней помощи...

Лавочник встретил ваятеля радушно. То горбясь в поклоне, то выпрямляясь в улыбке.

— Я работал целый день, — сказал Джехутимес. — Я работал, и глаза мои не видели ничего, кроме камня. Даже и не заметил, как ушли мои помощники.

— Разве они не простились с тобой?

— Возможно... Я ничего не слышал...

— Как это так? — Лавочник был изумлен. Как это человек может ничего не слышать и ничего не видеть, погруженный в работу? Разве так работают?

— Всякое бывает, Усерхет... Вот иду и думаю: зайду-ка в лавку, — может, найдется кусочек гуся у доброго хозяина?

Лавочник усадил Джехутимеса. В лавке было совсем пусто, если не считать некоего мужчину, доедавшего ужин. То был рослый, средних лет человек. На вид — крепыш. На вид — самый обыкновенный крестьянин, который месит грязь на поле своем. Под палящими лучами. Обвязав голову льняным платком. И месит, и месит, и месит грязь...

Откуда этот усталый с дороги и не успевший помыться крестьянин?.. Джехутимес, признаться, рассчитывал, что нынче, в это позднее время, сумеет поговорить с Усерхетом с глазу на глаз.

Лавочник сообразил, в чем дело. Его профессия — явная и тайная — научила его читать в душах, догадываться о большом по незначительным признакам, увидеть то, что неведомо другим. И он поспешил с разъяснениями:

— Досточтимый Джехутимес, этот человек, поедающий мясо с превеликим удовольствием, — мой родственник. Он живет в хесепе Эмсух. У него там небольшой надел земли. Зовут его Ипи.

— Ипи?

— Да, так же, как начальника царских покоев. Однако этот Ипи живет много хуже того Ипи.

— Наверное, Усерхет, наверное, — согласился ваятель.

— Да что я говорю?! Этот Ипи ест глину и песок. А того Ипи, царского, грязь не касается, даже золоченой обуви.

— Возможно, Усерхет, возможно.

— Да что я говорю, Джехутимес?! Этот Ипи спит на соломе, и блохи пьют из него кровь и зимой и летом. А тот, царский Ипи, не знает, что такое блоха: ездят ли на ней верхом или же охотятся за нею в камышах!

— Пожалуй, это так. Пожалуй.

— Да что я говорю, Джехутимес?! Этот Ипи привык слушать музыку своего живота. А тот Ипи услаждает слух свой только арфой, только флейтой, только пением голосистых певцов и певиц!

— Все может быть, Усерхет.

Лавочник не на шутку распалился. Он сжал кулаки. Жилы на шее его вздулись. Пот выступил от напряжения у него на лбу.

— Да что я говорю, Джехутимес?! Не только этот Ипи, а вся его семья ест грязь и молотый камень, который стачивает зубы. А тот Ипи угощает свою семью дикой уткой, куропаткой и мясом домашней птицы.

Джехутимес молчал.

— Да что я говорю?! Смотри, сколько детей у этого Ипи! — И лавочник начал счет: — Уа, сон, хемер, афт, туа, сас, секеф...

— Сесенну, — подсказал крестьянин.

— Да! Сесенну!.. Восемь, восемь, восемь! Восемь ртов. Восемь желудков. И все хотят есть. Хотят хлеба. И мяса. И жира. — Усерхет обратился к крестьянину: — Ипи, поклонись этому великому господину, который ежедневно видит царя, как ты меня сейчас.

Ипи встал, сделал шаг вперед и чуть было не расшиб в поклоне лоб.

— Великий господин, — сказал он, — все, что говорил Усерхет, — истинная правда. Пять десятилетий я живу на свете. Конечно, это удивительно, что я живу. О чем это говорит? О том, что живу. А еще? О том, что человек — существо препротивное. Он может жить. Он создан только для этого. Набей желудок любым дерьмом — и ты будешь существовать. Мы собираем целый день травы. Всей семьей. Мы собираем крапиву. Мы собираем траву миу и траву уму. Мы собираем даже уад-уад, от которой дохнут мухи.

— Что это за травы? — спросил ваятель. — Я не слышал о них ни плохого, ни хорошего.

Крестьянин пояснил:

— Это так называем мы, неграмотные люди. Они растут на болотах. Наш просвещенный хаке-хесеп смеется, когда слышит эти слова. Он прибыл к нам из Мен-Нофера. Этот город славится своей ученостью испокон веку. И наших трав не разбирает... Но я совсем не о том, господин великий. Если бы твоя милость снизошла на нас и ты бы выхлопотал для меня пол-аруры земли. Рядом с моим полем есть такой свободный участок. И мы с семьей кое-как прожили бы свой век. Не умерли бы с голоду.

Лавочник сказал:

— Теперь ты слышал все сам, Джехутимес.

Ваятель присел на скамью. Он и в самом деле был очень утомлен. А тут еще этот крестьянин, расстроивший вконец своим рассказом. О, бог милосердный, какая нищета в этом великом государстве, где чудесные города поднимаются в мгновение ока на голом месте!

— Как называется твоя деревня, Ипи?

— Моя? Там, где я живу с семьей?

— Да. Твоя.

— Она называется, господин великий, просто: Лягушечий Помет.

— Как?

— Господин великий, Лягушечий Помет!

Ваятель недоверчиво взглянул на лавочника. Но тот кивнул:

— Да, Джехутимес, так и называется эта деревня, потому что достойна только этого имени. А как еще называть деревню, где жители ее, подобно кротам, живут в земле и гложут землю? Сухую и твердую.

— А ты видел, Ипи, лягушечий помет?

— Нет, господин великий.

— Он что — зеленоватый?

— Не могу знать.

— А может коричневый? Наподобие земли.

— Не знаю. Чего не знаю, того не знаю! Но какое это имеет значение, господин великий?

— Ровно никакого! Мне никогда не приходил в голову лягушечий помет.

Крестьянин уселся на свое место, обсосал свои пальцы, испачканные жиром.

— Ипи,— сказал Джехутимес,— я могу изваять тебя. В камне или гипсе. Могу подарить тебе глыбу базальта. Но я не могу передать тебе ни клочка земли.

— А попросить? — с надеждой спросил крестьянин.

— Кого попросить?

— Все равно кого: его величество — жизнь, здоровье, сила! Носителя опахала справа от царя, начальника всех земель. Да мало ли кого? Милости — для меня. Только и всего.

— Ипи, вся ли твоя деревня голодает?

— Почти вся, господин великий!

— Им земля не нужна, твоим соседям?

— Наверное, нужна.

— Допустим, ты получишь, а — они?

Крестьянин задумался. Вернее, не мог уразуметь, при чем — он и при чем — они? Но вдруг смекнул:

— Господин великий, дни моей жизни исчисляются днями, а их — месяцами. Вот и заключи отсюда: кто в самом бедственном положении в деревне Лягушечий Помет?

— Ты! — крикнул лавочник. — Ты! Я знаю все. Я знаю все!

— Наверное, так,— пробормотал удрученный ваятель. — Наверное, так...

Крестьянин бросился на колени перед Джехутимесом. Ваятель попытался поставить его на ноги, но тщетно. Этот костлявый крестьянин оказался очень тяжелым. К тому же сопротивлялся этому.

— Господин великий,— продолжал Ипи, чуть не плача,— скажи мне, ответь мне на мой один вопрос: почему мы, пашущие, возделывающие злаки, вскарм-

ливающие скот и посылающие наших детей умирать в далеких походах, должныдохнуть с голоду? Почему нет у нас земли, когда мы без нее не можем? Это все равно что жреца оставить без жертвенника, сапожника — без молотка, рыболова — без сетей.

— У вас должна быть земля,— сказал ваятель.— Это я могу обойтись без земли.

— Это правда! Это правда! — воскликнул крестьянин.— Наш фараон — жизнь, здоровье, сила! — говорил то же самое. Правда, давно говорил. Но мы не видим земли! Где она?

— Я завтра же навещу его светлость Туту,— пообещал Джехутимес.— Я скажу ему: вот крестьянин Ипи, у него нет земли...

— Есть, но очень мало,— поправил его дотошный Ипи.

— Есть, но очень мало...

— Если стою на ней, то уж курице негде ступить.

— Я все это расскажу его светлости Туту. А потом я зайду сюда и передам его слова Усерхету.

Крестьянин достал из дорожной сумки кусок грязного папируса. Протянул его ваятелю:

— Вот здесь все сказано. Это писал наш деревенский писец.

— Хорошо, Ипи, я оставлю твою жалобу у себя.

Крестьянин бросился целовать ваятелю ноги. Смущенный Джехутимес с мольбою смотрел на лавочника, давая понять, что ему неловко, очень тяжело.

— Почему же? — возразил лавочник.— Пускай Ипи изольет душу. Его не убудет, если поцелует ноги такому великому человеку.

Наконец Ипи встал, попятился к столику. Ваятель попросил вина: для себя и для Ипи. Выпив чарку, Джехутимес сказал лавочнику:

— Усерхет, мне надо поговорить с тобой.

— Я весь внимание...

— Где же мы поговорим?

— Здесь же!

Пока они обменялись этими словами, крестьянин исчез. Ваятель так и не понял: сам ли Ипи догадался или ему подал знак лавочник.

— Усерхет, сядь вот здесь, напротив меня. Так удобнее... Я пришел к тебе неспроста.

— Я слушаю, Джехутимес, внимательней, чем слушает ягненок зов своей матки. Я слушаю тебя так, как слушает прилежный сын наставления отца.

— Спасибо, Усерхет. Я пришел, чтобы сказать нечто и попросить тебя, чтобы сердце свое обратил к этому делу и сделал добро. Добро для человека, которого люблю. Ибо он мне как бы младший брат.

— О Джехутимес! — воскликнул лавочник. — Мне приятно слышать эти слова. И тебе достаточно выразить желание, чтобы оно было исполнено твоим слугою. Ибо нет для меня большей радости, чем служить тебе, великому господину.

Джехутимес уподобился камышу, который прислушивается к плесканию разливающейся Хапи. «...Лавочник чрезмерно предупредителен, лавочник обещает, не зная, о чем буду просить. Это значит, что разговор будет слишком долгим...»

— Усерхет, — торжественно начал ваятель, — у меня работает молодой друг. По имени Тихотеп. Ты его знаешь. Он тебя знает. Ты его уважаешь. И он тебя уважает.

— Истинно! Истинно! — горячо отозвался лавочник. — Я и в самом деле уважаю его, потому что он достоин этого. А гневаться ему на меня не из-за чего... Он аккуратно погашает долги. Мне не приходится бегать к судье. Мне не приходится писать жалобы. Тихотеп исправен. И он — в сердце моем.

«...Ладно, уважаемый Усерхет, художник кухни, мастер половника и вертела! Посмотрим, как заговоришь ты после... После моего предложения...»

«...Ну-с, уважаемый ваятель, не думай, что имеешь дело с глыбой дикого камня. Мы тоже кое-что понимаем, хоть и не ваятели и не тремся возле его величества. Выкладывай, выкладывай свои мысли, говори, чего тебе надобно. И мы с тобой хорошенечко поторгуемся. Ведь не приходят же такие великие люди с простым делом!...»

— У тебя в лавке служит девушка. По имени Сорру.

— Верно, Джехутимес, верно! Эта девушка из тех, у которых работа горит под руками. Она с детства привычна к работе. Но не только. Она обходительная девушка. Все, кто бывает у меня, твердят в один го-

лос: вот истинно прекрасная девушка! Я за нее запла-
тил кучу золота. Арамейские купцы — большие скря-
ги. У них песка не выпросишь в пустыне.

«...Ну а ты! Ну а ты, господин лавочник, достой-
ный сын Кеми, двоюродный брат Хапи, плоть от
плоти торгашей и скупердяев?! Мы посмотрим сейчас,
сколь широка душа твоя и насколько щедро сердце
твое...»

— Так вот, Усерхет: мой друг и брат младший —
так я называю Тихотепа — полюбил Сорру. И Сорру
полюбила Тихотепа, тебе хорошо знакомого.

Лавочник сделал вид, что крайне удивлен этим со-
общением. Как, этот Тихотеп любит эту Сорру, а эта
Сорру?! Когда это они успели влюбиться? Они объяс-
нялись? Они переписывались? Они сносились через
какое-нибудь третье лицо?..

«...Ах ты, старый плут Усерхет! Тебе все до конца
разжевывать? Тебе, первому своднику в столице? Те-
бе, который содержит лавку ради веселых и продаж-
ных девиц?..»

— Уважаемый Усерхет... — Ваятель выдержал до-
вольно большую паузу. Потом снова повторил это об-
ращение и снова немножко помолчал. (С этими лавоч-
никами иначе невозможно.) — Они не только знако-
мы. Они любят друг друга. Они не только любят на
расстоянии, но не раз и не два виделись друг с другом.
И не только виделись, но и возлежали на ложе люб-
ви...

— Как?! — возмутился Усерхет. — И все это за
моей спиной?!

— Почему — за спиной? На твоих глазах, Усер-
хет. И к тому же за те самые деньги, которые ты по-
лучил.

— Я?!

— Да, ты.

— Деньги — за Сорру?

— Именно! За Сорру.

— Возможно ли, Джехутимес?

— Не огорчайся, Усерхет. Тем более что слава о
твоих девицах — прекрасна.

— Это верно, девушки у меня отменные.

— Твой вкус приводит всех в восхищение.

— И это верно!

— Они любят друг друга, Усерхет. Тихотеп предлагает серебро и золото. И я надеюсь, что договоримся с тобой.

Усерхет принялся длинно и нудно перечислять все достоинства Сорру: кулинарные, хозяйственные, рыночные и прочие женские...

— Вот насчет женских — ты не распространяйся, — перебил его ваятель, — они хорошо известны.

— Пожалуй, — согласился Усерхет.

— Думаю, что их оценил не один Тихотеп. — Джехутимес улыбнулся.

— Пожалуй.

— Если только сам ты случайно не прошел мимо...

Лавочник ухмыльнулся.

— Прошел или не прошел?

— Джехутимес, для этого я уже стар.

— А все-таки?

— У меня своя недурная женская половина. Там одни красавицы, если не считать моей жены.

— Она стара?

— К тому же и корява. Суха, как пальмовый ствол, сваленный бурей. Но с нею в мире и дружбе живут остальные красавицы, которых я не пускаю в эту лавку. Они — только для меня.

«...Старая обезьяна! Для тебя бы я припас краснозадую из зверинца его величества. Что ты смыслишь в женщинах? Ты получишь жарь своих гусей и мясо на вертеле. Вот твое истинное призвание...»

— Сорру — наша любимица. Я бы не задумываясь продал бы любую другую рабыню. Но Сорру?.. Я даже не знаю, что тебе и ответить.

— Почему не знаешь? Назови плату. Я назову — свою. И мы на славу поторгуемся.

— Сейчас? — спросил лавочник.

— Не сходя с места. Прямо вот здесь.

— В таком случае я принесу вина. Нельзя торговаться без вина. Дело не выгорит.

— Тащи вино!

В лавке стоял полумрак. Горели всего два светильника, нещадно чадя копотью. Пахло жареной рыбой. Глинобитный пол был мягок, как ковер. От него веяло

теплом. Рядом, за стеной, кто-то храпел. Не очень громко. Не на весь дом. А так — довольно терпимо. С мягким присвистом.

Лавочник разлил вино. Предварительно показав печать на глиняной пробке. Джехутимес прочел: «Лучшее вино из вин Ахетатона».

«...Усерхет решил торговаться не на шутку. Подать такое вино — это кое-что да значит! Боже милосердный, хватило бы времени до утра! Судя по кувшину, разговор предстоит долгий...»

Усерхет подал фруктов, засахаренных фиников. И холодный кусок мяса. Такой большой кусок. Рассчитанный скорее на льва, чем на человека.

— Достаточно было бы одного мяса с вином, — сказал ваятель, ища глазами нож.

— Всему свое время, — изрек лавочник.

— Тоже верно. А кто это храпит, Усерхет?

— Где?

— За стеной.

Лавочник прислушался. Махнул небрежно рукой:

— Один купец. Не то из Вавилона, не то из Ниневии. Кажется, из Вавилона. Эти вавилонские что воробы: их везде полно. Снуют себе по миру. Ездят, плавают, торгуют, обманывают.

— Как все, Усерхет! Как все! — проговорил ваятель и напомнил хозяину, что на столе отсутствует весьма важный предмет: нож.

АУДИЕНЦИЯ

По зову фараона в Большой приемный зал явились Пенту и Эйе. Они решили совершенно определенно: его величество в благодушном настроении. Вроде бы так оно и было поначалу: стариков фараон встретил учтиво, предложил им скамьи. Спросил: не предпочитают ли циновки? С ними вроде бы уютней, меньше официальной сухости. Ибо эти колонны ужасны — они подавляют человека. Когда-нибудь придется заняться ими и придумать что-то более приемлемое. Об этом надо поразмышлять, не откладывая в долгий ящик. Так или иначе многие храмы и здания в Ахетатоне следует заменить более капитальными, каменными постройками. Не ровен час: пойдет ливень —

счастье, что его не было! — и от столицы останется одно воспоминание...

«...Его величество, как видно, решил перестроить город. Для этого он и вызвал нас. Судя по выражению лица Эйе, он ничего об этом не знает. Он тоже удивлен, хотя изо всех сил пытается не выдавать этого...»

...Его величество полагает, что, не трогая того, что возведено, можно недалеко, тут же, рядом, построить новые каменные здания. Говоря откровенно, с этой целью — точнее, для предварительных предположений — он поручил Тефнахту, начальнику строительства памятников царю, подыскать подходящий каменный карьер. Он не должен находиться на большом расстоянии. Ни к чему возить камень издалека...

«...Несомненно одно: фараон затевает новое строительство. Его уже не устраивает этот город. Ему нужен более долговечный, более просторный, более величественный. Ему нужен совет, и он получит его. Я вижу, Пенту несколько смущен этой неожиданностью. Но что поделаешь? Фараона надо знать...»

Эхнатон так и не получил ответа: циновки или скамьи? Тогда он предложил то, что было, — скамьи. Такие удобные, пахнущие смолою, тяжелые скамьи.

Когда они уселись, его величество сказал:

— Ну, о городе — это между прочим. Мы еще поговорим об этом. Я хотел поделиться с вами другими мыслями. Мне нужен ваш совет.

Еще больше удивились и Пенту и Эйе. Какой совет? О чем? Если не город, то что же?

— Не очень давно... — сказал его величество, — а сказать точнее, совсем недавно я беседовал с одним невзрачным писцом. Ты, Эйе, и ты, Пенту, наверно, не знаете его. Хотя допускаю, что видели в глаза. И — может быть — диктовали ему. Звать его Бакурро...

— Как?

— Бакурро.

— Такой маленький, плюгавенький? — спросил Эйе.

— Да, да.

— Тщедушный такой? Который тени своей боится? — поинтересовался Пенту.

— Он самый... Я проговорил с ним почти полночи...

— Полночи?! — удивился Пенту.

— Да.

— И это при том, твое величество, что я запретил тебе ночные бдения?

— Ага. При этом.

— Неразумно, твое величество.

— Согласен. Но бывают мгновения, когда ты до смерти нуждаешься в собеседнике...

— Мы же к твоим услугам, твое величество. В любое время. И дня и ночи...

— Спасибо, Пенту. Но мне требовался именно Бакурро. Он мне сказал нечто. И об этом думаю все время.

Фараон обошел вокруг семеров. Он сделал несколько кругов, прежде чем остановился, чтобы продолжить свою речь. Он сказал:

— Этот писец Бакурро — человек мыслящий. Мне казалось по первому впечатлению, что он пишет только чужие мысли. Только по взгляду его замечал, что это не совсем так. Я вызвал его на разговор. На откровенный. Я полагаю так: человек, который тебя интересуется, должен говорить откровенно или ничего не говорить. Не так ли?

Пенту сказал: «Так». А Эйе неопределенно пожал плечами.

— Поэтому между нами состоялся откровенный разговор. Он высказал свои мысли. Открыто. Помоему, не страшась ничего и никого... Чем всегда опасны маленькие люди? Чем опасны? — повторил фараон.

— Твое величество, — сказал Эйе, — мы слушаем тебя со вниманием.

— Я скажу чем: ему терять нечего! Если ты, Пенту, или ты, Эйе, подумаете о своих угодьях, прежде чем скажете «да» или «нет», — этому Бакурро терять нечего. Писец нужен везде, в отличие от семера.

Фараон не без злорадства взглянул на своих семеров. Впрочем, они ничуть не испугались слов его величества. Цену себе они знали...

— Что же говорил этот Бакурро?

— Это любопытно, — сказал Эйе.

— Очень, — поддержал его Пенту. — Смерть как хочется услышать, что сказал этот Бакурро-писец.

— А вы не смейтесь раньше времени над Бакурро.— В голосе фараона зазвучали недобрые нотки.— Бакурро полагает, что чем сильнее наша власть, тем скорее рухнет Кеми.

— Что рухнет?

— Кеми.

— От сильной власти?

— Выходит так... Хочу послушать вас: что скажете? Уж слишком убежденно он говорил, чтобы плюнуть на его слова и позабыть. И слишком мрачно, чтобы согласиться с ним. Чтобы найти в себе мужество и сказать ему: «Ты прав».

Фараон вдруг заволновался. У него порозовели щеки. Крепко сжались челюсти, и проступили желваки под скулами. Глаза превратились в щелочки. Подбородок — такой немного лошадиный подбородок — угрожающе выступил вперед.

— Этот Бакурро рассказал нечто вроде древней притчи. Где-то в Митанни — а может быть, еще дальше — делают деревянные бочки. Под вино или пиво. Эти бочки скрепляют обручами. Бакурро говорил о слишком тесных объятиях этих самых обручей. Эти объятия, насколько я уразумел, и погубят наше государство. Вот какова его мысль! А теперь я буду молчать. А вы будете говорить.

Он сел на скамью без спинки. Сел ровно. В ожидании, что скажут семеры.

«...Его величество встревожен. Не буду я Эйе, если это не так! Глупое предсказание некоего Бакурро не может произвести столь сильного впечатления. Здесь что-то не так. Подожду-ка этого Пенту...»

«...Эйе молчит. Между тем ему следовало бы раскрыть рот. Он ближе к его величеству. К тому же у него нюх, как у лиса пустыни: дохлятину чует за много-много сехенов. Есть мудрое правило: не торопись! Не буду забегать вперед. Не ребенок я...»

— Я слушаю вас,— сказал его величество.

«...Кто же из них начнет первый? Эйе? Но ведь у Эйе правило — выждать! Выждать, подумать. Подумав, промолчать. Если это возможно. Если нет, сказать нечто, что ни к чему не обязывает... Пенту? Пожалуй, он. Этот многоопытный и честный старик слишком научен жизнью. То есть настолько научен,

что пытается разглядеть нечто на том месте, где давно ничего нету... Итак, эти мои любимые семеры будут выжидать, что скажет другой, по возможности упрятав свое мнение в ворохе витиеватых фраз... Вот глубоко вздохнул Пенту. Набрал воздуха в легкие. Наверное, что-то скажет... Вот-вот скажет...»

Пауза была слишком длительной. Становилось неприлично. Его величество мог подумать о своих семерах бог знает что! Делать нечего — надо говорить... И Пенту начал:

— Твое величество, насколько я понимаю, некий Бакурро-писец...

— Вовсе не «некий», Пенту! Он сидит в моем зале и прилежно записывает.

— Стало быть, писец Бакурро высказал мысль, которая встревожила твое величество. Мысль его не нова. Я это утверждаю. Я читал документы одного судебного следствия, происходившего при его величестве Гор Нахтнеб-Тейнефер-Иниотефе Втором. Это почти восемьсот лет тому назад. Я все сосчитал. Я считал вместе со звездочетом Усером Младшим.

— Что же случилось в столь незапамятное время, Пенту? — Фараон обменялся коротким взглядом с Эйе. Царедворец лукаво подмигнул. Как это расценить? Да как угодно!

— А я скажу, что случилось! В то время тоже жил некий двойник Бакурро. Того звали несколько иначе: Ани. Кузнец по ремеслу. Сын кузнеца. И внук кузнеца. Мастер он, как видно, был отменный. Да только в голове было что-то не так. Как у всех отменных мастеров. И вот...

Тут фараон остановил семера.

— Не торопись, — сказал он. — Повтори-ка.

— Что повторить?

— Как, это значит: в головах отменных мастеров?..

— А что же? Я верно сказал. Если мастер отменный — у него своя голова. Сам думает. Сам все видит.

— Своя голова у каждого, Пенту?

Семер замотал головой. Как мул на водопое.

— Нет, твое величество. Смею заверить: не всегда! А у отменных мастеров — всегда своя голова. Возьми, к примеру, Джахутимеса...

— Своя голова! — с удовольствием произнес фараон.

— Бек...

— Своя голова!

— Юти...

— Своя!

— Вот видишь, твое величество! Мои слова подтверждаются.

— Что же они делают со своей головой?

Эйе хмыкнул: в самом деле — что делают?

— Они высказывают при помощи своей — а не чужой — головы свои, а не чужие мысли. Только и всего!

Фараон обеими ладонями изобразил подобие качки на море:

— Своя голова. Свои мысли. Своя голова. Свои мысли...

— Бакурро смутил тебя. А тот, Ани-кузнец, смутил его величество Гор Нахтнеб-Тейнефер-Иниотефа Второго. В чем разница? Во времени, твое величество! Ани говорил: надо восстановить праздник хлебсед в том виде, в каком он существовал некогда. А что это значит? Убивать фараонов! Вот что значит! Потому что, говорил Ани-кузнец, нельзя терпеть правления одного человека. Нельзя терпеть, чтобы слово одного человека было как камень и руки у всех, и языки у всех были связаны тем словом. Вот о чем думал Ани!

— Зачем это ему нужно было, Пенту?

— И об этом тоже сказано в тех старинных папирусах. Ани хотел одного: свободы.

— Чего? Чего? — сказал фараон, морщась.

— Свободы.

— Зачем она ему?

— Не знаю.

— Разве он был раб?

— Нет, он был немху. Но дай им волю, — Пенту указал пальцем на стену, — дай им волю, и тогда не того еще потребуют... На чем держится государство? На твердом, словно камень, слове его величества, их величеств, всех правителей Кеми ныне, присно и во веки веков! Да, да, да!

Пенту закончил свое слово, трижды хлопнув ладошками.

— Но что ты думаешь о Бакурро?

— Что думаю?! — Семер всплеснул руками: разве он выражается неясно? — Что думаю?! Бакурро недавно ушел от Ани. Они словно бы сговорились. Они изъясняются одними словами. Этот Бакурро придумал притчу о каком-то сосуде из Митанни. В этом все отличие его от Ани. Да разве в этом суть? Бакурро произносил слово «свобода»?

— Не помню. Может быть.

— Не произносил, так произнесет! Ведь осмелился же изложить твоему величеству нечто, что, по моему глубокому убеждению, идет во вред Кеми.

Фараон опустил голову и вскинул ее, выпрямляя спину:

— А теперь — ты, Эйе.

Эйе кивнул. Почесал кончик носа. Почесал затылок. Почесал лоб. Точнее, слегка потер его двумя пальцами, точно хотел разгладить морщины.

— Что еще сказал этот Бакурро?

— Разное. Но меня заинтересовала притча о митаннийской бочке, — сказал фараон.

— Потому, что это самое важное?

— Да, важное.

— Потому, что именно в этом увидел твое величество нечто?

— Да.

Эйе продолжал, как бы рассуждая сам с собою:

— Царский писец, лицезреющий великого владыку, слышащий его слово и записывающий его слово на папирусе, вдруг обращает твое внимание на некую сказку. Или притчу. Это не меняет дела. Неизвестно: придумана притча где-то далеко или сочинил ее сам писец? Ибо, как известно, писцы всех времен были мастаками на этот счет. Ум их постоянно бдит. Глаза как бы шарят в поисках чего-то. Им даже не спится по ночам. Писцы всех времен были источниками неких мыслей, которые шли не на пользу.

— Ты имеешь в виду всех писцов?

Эйе не торопился с ответом. Как это понимать: всех писцов? поголовно всех? Каждого, кто выучился грамоте?..

— Твое величество, грамота во все времена была источником... Как бы это сказать?.. Грамотные всегда

о себе много воображают. Это надо иметь в виду. Если этого они не говорят прямо, то это вовсе не значит, что они думают о себе иначе. Я хочу сказать следующее: ухо всегда надо держать востро по отношению к скрибам. Скриб с чернильным прибором и папирусом в руках — опасный человек. Он может покорно записывать все твои слова. Но при этом он может в душе, втихомолку поиздеваться над тобой, если почему-либо твои слова не по нраву ему.

— Вот как! — воскликнул фараон, будто только что ему открыли глаза на дерзновенное поведение скрибов. Будто сам не знал этого.

— Твое величество, можешь поверить мне: писцы — народ не совсем надежный. Я хочу сказать: следует почаще заглядывать в их душу. Очень и очень глубоко. Для чего? Для того, чтобы распознать нечто, что может быть обращено во вред самодержавным владыкам. Есть один путь, чтобы вернее держать их в руках.

— Какой же это путь? — нетерпеливо спросил фараон. Пенту кивнул: дескать, это очень важно знать.

Эйе загнул большой палец левой руки:

— Один путь: душить...

— Как? Как?

— Душить, — невозмутимо повторил Эйе.

— Кого душить? — Фараон аж приподнялся со скамьи. Это для него было неожиданно.

Эйе улыбнулся:

— Ну, не в прямом смысле. Но — почти. Чтобы не оставалось у них времени на разные там дурацкие размышления...

— ...Дурацкие размышления, — произнес фараон. Повторил, как эхо.

— Дело, дело и еще раз дело — вот удел скриба! Слова влетают ему в ухо, и он их записывает на папирусе. Надо, чтобы гнул он спину. Над письмом. И не разгибал спины. Над письмом. Был послушателем великих слов. Вот участь, справедливая участь скриба!.. Такую участь готовили им дальновидные самодержцы, наиболее рукастые правители. И трон бывал непоколебим!

— Есть и другой путь, — сказал Пенту.

— Какой же?

— Тоже очень ясный путь,— ответил Пенту.— Но в нем имеется большой изъян.

— Любопытно...

— Человек — существо думающее. А сcribe — тем более! Тут нужна мера.

Эйе заметил, что мера необходима во всем. Даже животворный разлив Хапи не должен переходить предначертанных богом границ.

— А как установить пределы? — спросил Пенту.

— Какие пределы?

— Мышления.

— Их устанавливает его величество,— торжественно провозгласил Эйе.

— Каким образом?

— Своим волеизъявлением. Своим приказом.

Пенту не удовлетворил этот ответ. Он сказал:

— Когда цыпленок зародился в яйце — его нетрудно заметить: достаточно посмотреть на свет. Или чуточку потрясти возле уха. Или разбить яйцо... Но как быть с мыслями?

— С какими?

— Которые в голове сcribe.

Фараон с интересом следил за спором семеров. «...И этот и тот, несомненно, люди умные. Больше того: хитрые! Особенно Эйе. Многомудрые и многоопытные они. Говорят дело. Хотя вроде бы и расходятся во мнениях, но в конце концов сойдутся на главном. Не могут не сойтись! Ибо они живут на одной ладье, плывущей в мировом океане, и деваться им некуда...»

Пенту пояснил:

— Узнать, что творится в голове сcribe, так же трудно, как угадать намерения сытого льва. Голову сcribe не просветишь, подобно куриному яйцу. Не разобьешь ему голову, чтобы выяснить, какие там копошатся мысли. Чем больше станешь запугивать его, тем глубже уйдет в свою нору. Подобно мыши. Ругая тебя в душе, станет скалить зубы в неискренней улыбке. Глядя на тебя нарочито грустными глазами, будет издеваться над тобой под сурдинку. Разве не так?

Эйе ответил:

— И так, и не так.

— А как же?

— Пенту, ты хотел сказать о другом пути. Каков же он?

— Очень прост, Эйе! Корми сcribe получше, пой вином самым отборным, плати побольше золота, создай ему жизнь лучистую, как звезда Сотис...

— И тогда?..

— И тогда — он твой раб. Душой и телом. Он будет верно служить тебе. И никакая митаннийская бочка не придет ему в голову. Ты вправе спросить: откуда ты это взял. Скажу: премудрость сию открыл не я. Она была известна — притом очень хорошо — и во времена Пиопи.

— Я не понимаю, — вмешался фараон. — Я не понимаю: разве жизнь не меняется? Разве Пиопи тоже ломал себе голову над угадыванием мыслей каких-то писцов?

— Да, твое величество, — ответил Пенту. — Даже такой великий и старый фараон, как Пиопи Второй, не мог точно решить, какой путь лучше: первый или второй?

— А нет ли третьего пути? — Фараон показал три пальца, словно Пенту был глух. — Нет ли третьего?

— Третьего? — Царедворец обхватил голову руками так, как если бы она трещала от боли, раскалывалась на части. — А зачем третий, твое величество? Разве что совместишь эти два пути! Правда, можно и так: дать отменного пирожного, а затем закатить здоровенную затрещину. Это, говорят, тоже помогает.

Фараон кивнул. Этот кивок поощрил мудрого царедворца к дальнейшей импровизации. Пенту картинно развел руками:

— О бог, великий и милосердный! Что может быть более поучительным, чем затрещина после пирожного? Как бы плохо ни было оно выпечено — все-таки покажется искуснейшим произведением кулинару! А почему? Потому, что затрещина — хуже. Рассказывают, что однажды нечто подобное применил его величество Дедкара-Асеса. В незапамятные времена. Об этом я читал на скале за третьим порогом. Так он учил уму-разуму своего писца. И он благополучно царствовал двадцать восемь лет.

Эйе молча улыбался. Так, чтобы не выдать улыбку. Эдак таинственно. Многозначительно.

— Ты хочешь что-то сказать? — спросил его фараон.

— Я?

— Да, ты!

— Нет, ничего... Ничего особенного...

— А все-таки? Поведай нам...

— Право, ничего...

Его величество ударил ладонями себя по коленям, давая понять, что достаточно наслушался всякой всячины и что теперь будет говорить сам. Он прошелся несколько раз взад и вперед. Тут же. Недалеко: пять шагов вперед и пять — назад. А потом внезапно стал у колонны и прислонил к ней голову.

— Я внимательно слушал вас. Скажу правду. Хотя знаю, что не всем она нравится. Отец мой всевышний свидетель тому, что я не раз проигрывал от своей прямооты. И тем не менее...

Фараон смотрел наверх. Словно бы испрашивая совета у бога, который в голубых сферах. На челе его и в глазах его обозначилась сыновняя покорность и послушание. В самом деле: он прислушивался. И только ему ведомые слова доносились сверху, и губы его величества, казалось, покорно повторяли их. Фараон стоял не шевелясь и не глядя на собеседников...

— Да, я размышлял над словами этого писца Бакурро. Взвешивал их. Я не мог поступить иначе. Ибо запаали они глубоко в мою душу. Имеющий уши не должен пропускать слова, обращенные со стороны. В противном случае для чего уши? Я спрашиваю: для чего? Если уши нужны любому, — они стократ требуются правителю. Ибо в руках его судьба всего мира. Поэтому я и слушал Бакурро. Поэтому, но не только...

Его величество внимательно прислушивался к звукам, которых не слышит никто, кроме верного и почтительного сына его величества Атона. Царедворцы сидели словно бы каменные...

— Я слушал этого Бакурро еще и потому, что говорил он вещи необычные. Которые не доводилось мне слышать. Возможно, что нечто подобное и случалось прежде в Кемии. В давно прошедшие времена. Возможно, говорю. Если это так, то необходимо признать некую неизменность времени. Между тем известно, что

мир не видел еще города, подобного Ахяти, и той молниеносной быстроты, с какой он был возведен. Нет, мир не знал этого!..

Постепенно голос его величества становился все более твердым. Взоры фараона были обращены на семеров, сидящих в почтительных позах. Взгляд его величества стал подобен взгляду птицы нехебт — беспощадным и всевидящим...

— А гимны, сложенные в этом великом городе? Разве в Кеми слышали прежде что-либо подобное?

— Нет, — сказал Эйе.

— Нет, — подтвердил Пенту. И это была правда. Его величество хорошо это знал. Так же как его враги — явные и тайные. Причем и те и другие отдавали ему должное. В самом деле, когда и кто складывал гимны благозвучнее? А музыка, которой сопровождалась они? Кто вдохнул жизнь в эти арфы и флейты, в эти лиры и барабаны? Верные слуги его величества, которые чутко слушали советы фараона и в точности исполняли их. Или изваяния Джехутимеса, Юти, Бека?.. Разве не свидетельствуют они о том, что Кеми ушел вперед от седых времен, когда строились пирамиды вблизи Мен-Нофера? Нет, нельзя согласиться, что в Кеми ничто не меняется. Значит, не мог и двойник Бакурро произнести в точности те слова, которые говорил в ту ночь этот писец Бакурро...

«...Его величество во что бы то ни стало хочет чем-то отличаться от фараона Нармера, фараона Джосера и их потомков. Если Пенту посмеет разуверить его в этом, то навлечет на себя великий гнев. Фараон сам скажет, что отличает его от великих предшественников и что сближает. Он сам обо всем скажет...»

Эйе смотрел в одну точку: на небольшую щербинку на гладко отполированном каменном полу. Смотрел, думал и слушал. А Пенту от усталости прикрыл глаза. Но он не спал. Он никогда не засыпал в присутствии его величества. Ему удобнее было слушать с закрытыми глазами. Фараон знал эту его привычку.

— Я размышлял над словами Бакурро. Не мог я иначе. Выслушав вас и внемля советам моего отца Атона светозарного, я решил обнародовать указ...

Где-то меж колонн, в конце зала, мелькнула фигура начальника царских покоев Ипи. Царь приказал

ему прислать двух писцов. И тот бросился выполнять приказание.

Его величество уперся рукою в колонну, точно намеревался сдвинуть ее с места. И сердито сказал:

— Вот прикажу я, вот прикажу я нечто. И весь Кеми — от Порогов и до Дельты, от Азиатских пустынь и до Ливии — превратится в базальт. И сейчас мы крепки, и сильны, и непобедимы. Но я сделаю Кеми подобием единого лагеря воинов. Это будет базальтовый бивуак. Даже дыхание у всех должно быть одинаково равномерным. Не говоря о шагах. По сравнению с которыми шаги лучшего полка покажутся расхлябанными. Вот прикажу я это и сделаю!.. Я обнародую этот указ!

Царь сжимал кулаки. Он казался кулачным бойцом. Каких обожают в азиатской Ниневии.

Это было поразительно: грозный тщедушный царь! Но главное в другом: что это будет за указ? О чем?

ЭТОЙ НОЧЬЮ

- Кийа.
- Я слушаю тебя.
- Кийа.
- Твое величество, я здесь...
- Кийа... Ты не так меня называешь...
- А как же называть тебя, мой любимый?
- Вот так, как назвала.
- Хорошо, мой любимый.
- Это твои груди?
- Нет, твои. Они принадлежат тебе.
- Потому, что люблю их?
- Потому, что ты — господин мой.
- Они тверды, как яблоки.
- Это плохо?
- Я люблю их.
- Яблоки?
- Нет, твои груди...
- Эти груди — твои, мой любимый...

Эхнатон ищет глаза. Ее глаза. А вместо них — глубокая глубина. Он ищет ее губы. А вместо них — прохладные гранаты: такие большие, такие гладкие, такие

притягательные. Он жаждет взять ее всю. В свои руки. В свои объятия. А вместо нее — обжигающее, невесомое пламя. О Кийа, кто родил тебя? Неужели же женщина во плоти? Или ты рождена там, на небе, возле отца великого Атона?..

— Послушай, Кийа, порою ты кажешься существом сказочным.

— Что же во мне сказочного?

— Или святою...

— Это еще что?!

— Я боюсь притрагиваться к тебе.

— Обними меня.

— Мне кажется, что проснусь однажды и не увижу тебя. Все окажется сном.

— Крепче обними!

— А может быть, я — это сон?

— Сжимай же посильнее... Я люблю, когда ты причиняешь боль...

— Вдруг ты проснешься и — не будет меня...

— Молчи...

— Ты будешь плакать?

— Прошу тебя, замолчи.

— Кийа, ты будешь плакать по мне?

— Вот я зажимаю тебе рот...

Его величество с каждым днем все сильнее ощущает одно: не может без нее! Она — в сердце его. Она — жизнь его. Как он мог без нее до сих пор?.. Он прижимается губами к ее уху и шепчет едва слышно:

— А ты сына родишь?

— Я рожу много сыновей. Я молода. У нас должно быть их много. Очень много.

— Именно сына?

— Только сына. Потому что люблю тебя... А когда любишь, говорят, желания сбываются.

— Да, это правда.

— Может, я уже зачала сына?

— Может быть. У меня не было сына. Одни дочери. Я не знаю, что с ним делать-то?

— С сыном?

— Да.

— Надо сделать ему обрезание...

— Это я знаю...

— А потом растить богатыря.

— Каким образом?

— Доверь это мне, возлюбленный мой.

— Доверяю...

Он целует мочку ее уха... Упругую, как бобовое зерно...

— Откуда у тебя такая мочка?

— Она вкусная?

— Вкуснее меда.

— Она тоже твоя, любимый.

— А это?

Он мизинцем — едва-едва мизинцем, кончиком его — касается углубления в животе. Крошечного углубления на белой чаше...

— Он тоже мой, Кийа?

— Конечно.

— Совсем?

— Совсем, совсем...

— Совсем, совсем, совсем?

Его величество дурачится от счастья. От избытка чувств... Горячей щекой припадает к животу. Он словно пчела на цветке.

Она смеется. Ей приятно. Эхнатон на вершине счастья — она-то хорошо понимает!

Он спрашивает не без лукавства:

— А если я умру?

— Сначала — я.

— Если — я?

— Но ты же повелел строить гробницу для меня?

— Так что же?

— Значит, раньше умру я!

— Неправда!

И он снова припадает к ней. И снова и снова спрашивает себя: «Кто же изваял ее? Где этот величайший ваятель?» Спрашивает себя, а сам знает — кто. Не может не знать. Это он! Это он, сияющий на небе!..

Он замирает. Обнимая ее. Слившись с ней... Нет, откуда она? Кто изваял ее? И почему приблизил ее к себе так поздно?!

Кийа запрокинула руки. (Подмышки у нее гладкие, словно галька морская. Они тщательно выбриты цирюльниками.) И соски тоже рвутся вслед за руками. Куда-то кверху. Или в сторону. Такие розовые. Бледно-розовые.

Глаза ее полузакрыты. Она обессилела от любви. Ибо он — сильный. Ибо он — любимый. Она родит ему сына. Еще сына. Сыновей. Сколько захочет — столько и родит...

Ночь. Глухая ночь. Спит земля. Не спит только стража. И не спит Кийа. Не спит его величество.

— Ты устал?

— И не бывало!

— Ты жаден до любви.

— До твоей любви. До твоей!

Они смотрят вверх. При свете одного-единственного светильника потолок кажется небесным шатром. Под которым летают птицы. Написанные рукою Юти...

Может быть, проходит час... Он говорит:

— Я не говорю: буду любить вечно. Однажды уже говорил. Правда, не тебе. Но мне хочется доказать это...

И снова лежат. Безмолвные. Счастливые.

Ему захотелось вина. Ей тоже. Они садятся. Полунегие. И пьют глотками. Глоточками. Порою каплями. Наслаждаясь. Как любовью. Такое хорошее вино. «Лучшее вино Атона в Ахетатоне...»

— Послушай, — говорит он, — я сочиняю указ. Я разошлю его всем хаке-хесепам. Во все провинции. Я повелю высечь слова указа на гранитных столбах. И поставить те столбы во всех провинциях. И пока будут стоять те столбы с теми текстами — будет цел и неприступен Кеми. Во веки веков!

Вспомнив об указе, его величество на радостях поднимает чару. Выше головы. На всю вытянутую руку. А потом пьет ее залпом. Единым духом...

— Если мы были вот такими, — говорит фараон и крепко сжимает кулак, — то теперь, после указа, будем такими. Это указ о том, как нам дальше жить. Он превратит Кеми в единый военный лагерь. Несокрушимый кулак! Власть провинций обратится в ничто! Власть фараона усилится неимоверно!

Его величество сжал кулак изо всей мочи. Даже косточки на тыльной стороне побелели. Хрустнули суставы. Небольшой, но внушительный кулак получился. Кийа тронула, погладила его. Одобрила:

— Хорош кулак!

Фараон доволен. Очень доволен. Посмотрим, что скажут брат Суппилулиуме, брат Душратта, брат Узиру и прочие братья-враги, чтоб им пусто было! Кеми крепок, един, как никогда. Но этого мало: он будет словно базальт! Ни единого ворчанья не услышит его величество. Дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина! Как в войсках. Да еще похлеще! Это единственный путь. Для Кеми. Иного нет и быть не может!..

Фараон продолжал любоваться кулаком. Вместе с Кийей. Она согласилась с его мнением. Да, голова в государстве должна быть одна. Как сказал некий мудрец в старину: «Остальные головы должны или повиноваться, или преспокойно уходить в могилу». Одна голова — одна мысль, одна воля! И тогда можно спокойно спать. Благоденствие Кеми будет обеспечено. А Хапи будет течь при всех обстоятельствах, пока сияет на небе его величество великий Атон...

— Это так! Это так! — подтверждает фараон.

А знает ли Кийа, кем был навеян этот указ? Ну конечно, не знает! Откуда ей знать, если он ничего не говорил — ни единого слова — об этом самом писце Бакурро? Иногда бывает так: хороший совет получаешь от того, который мыслит совершенно противоположно. То есть твой советчик убежден в одном, а подсказывает тебе нечто другое. Правильное, по твоему убеждению. Неправильное, по его мнению...

— Тебе не кажется, что этот писец более не нужен?

— Нет, почему же, Кийа? Напротив, я хочу дать ему повышение.

— Это зачем же еще?

— Он будет моим постоянным советчиком. Негласным. Он посоветует одно, а я, может быть, сделаю иначе. Он человек прямой. Вроде хорошо отполированного бронзового зеркала. Нельзя же без зеркала. Верно, нельзя?

— Пожалуй.

— Вот и без Бакурро нельзя. Пускай убедится в том, что Кеми процветает вопреки его словам. Назло ему.

«...Или это новый любимец, или невинная причуда его величества? Неужели какой-то писец, неведомый миру, будет давать советы владыке Кеми? Это

настолько смешно, что об этом надо молчать. Надо рассказать обо всем Маху. Он, наверно, примет меры. Наверно, примет. Маху свое дело знает...»

Фараон продолжал размышлять вслух. Он все может. Стоит пожелать ему — и Суппилулиуме будет повергнут во прах. Душратта замолчит. А этот вьюн Узиру исчезнет с лица земли. Только этого его величество пока что не желает. Тутмос Третий дошел чуть ли не до гор, которые за Митанни. А для чего? Ради дани? Пожалуй. Однако все прекратится в любой день, если нет поблизости гарнизонов. Но и гарнизоны — до поры до времени. Если говорить серьезно, вернее всякой дани — занятие вражеской страны. Не войском, но идущим за ним народом. Но кто же из Кеми желает переселиться в неопрятную Азию? Кто? Разве что преступники, которым все безразлично — что на каменоломню, что в Азию! И эфиопам тоже придется поразмыслить, почесать затылки, умерить свой пыл. И ливийцам — тоже. Одним словом, Кеми поставит врагов на место. У них колени станут что вода. И кости все станут что вода!

Она слушала и радовалась. В самом деле, почему бы не прекратить все эти разговоры насчет того, что его величество трусит, боится войны, предпочитает отступление наступлению? Почему бы не развязать руки Хоремхебу? Этот...

Фараон решительно перебил ее:

— Нет, я не говорил, что начну войну. Об этом и не заикался. Я сказал нечто другое: Кеми будет словно кулак, он будет единый: с одним биением сердца, с одним дыханием, с едиными мыслями. Вот такого Кеми враги убоятся. И без войны. А воевать зачем же? Без нужды не стоит! Ведь каждую войну — рано или поздно — надо заканчивать. Но как? Сам придумаешь конец? Или его навяжут тебе? Понимаешь, Кийа, это очень многотрудное дело — война!

Да, она отдает себе отчет. И тем не менее. Надо ли без конца сдерживать Хоремхеба? Если у того чешутся руки — в добрый путь! Дорога в Азию открыта. В Эфиопию — тоже...

— Дороги войны всегда открыты, — многозначительно сказал его величество. — Хапи разливается не когда угодно. А в определенное время. Для этого свя-

щенная река изорала месяц тот. Не эпифи или месоре. Но — тот. Ты запомни это, Кийа.

Его мысль не требовала дальнейших пояснений.

— А еще учти, Кийа: для покорения других стран и народов недостаточно одного оружия. Колесниц боевых. Щитов непробиваемых. Копий и стрел. Пращей и палиц. Когда мы приходили в Азию, каждый солдат, кроме оружия, нес с собою и своего бога: кто — Амона, кто — Атума, кто — Анубиса, кто — Тота, кто — Ра-Гора-Ахути, кто — Озириса, кто — Изиду, Шу, Маат. И не только азиаты, но и мы сами не понимали своего собственного святого воинства. А нынче? Нынче все воочию видят и превозносят единого и великого бога нашего, который сияет на небе и который избрал меня своим единственным сыном.

Она схватила руку его величества. Она целовала руку.

— Я сказал тебе, Кийа: великая Хапи для разлива избрала месяц тот. Я говорю тебе: я сам выберу месяц, в который воины мои разольются, подобно Хапи,— в сторону Та-Кефт, и в сторону Эфиопии, и в сторону Митанни. И дальше. И дальше. На Восток. На Запад. И моря подчинятся нам. Кефтиу и Иси будут подобно Саи и Ей-н-ра: нашими, совсем нашими! Подобно ступеням, ведущим все выше и дальше.

— Да, да, да,— шептала Кийа, прижимаясь к нему.

Его величеству рисовались необъятные просторы Та-Нетер, и Западного моря, и Восточных государств, и всех государств Та-Кефт — богатых и многолюдных...

Он сказал как о деле завершеном:

— И благодаря чему все это?

— Тебе!

— Не совсем: благодаря указу. Который повезут во все концы.

Он скосил взгляд. И увидел то, что увидел: два маленьких стража на груди ее, пахнущей благовониями. Они стояли розовоголовые. Упругие. Зовущие.

И осторожно. Очень осторожно. Затаив дыхание. Дотронулся пальцем. Сначала до одного. Потом до другого соска.

Его величество был счастлив...

«Досточтимейший и мудрейший хозяин мой, которого любит и всегда слушает его слуга покорный Тахура, ныне торгующий товарами в великом Кеми!

Тахура молит богов о ниспослании тебе и всей твоей семье такой благодати, которой ты один достоин. И боги внемлют моим молитвам, которые есть просьбы раба твоего купца Тахуры.

Товар я продаю. Нельзя сказать, что быстро. И нельзя сказать, что медленно. Купец, к которому я прибыл и который есть великий купец этой земли, пребывает в добром здравии. Он хорошо покупает товар. И да будет так всегда! Купец этой земли, как достоверно известно, крепок ныне здоровьем. Его помощники надеются служить ему, говоря: «Вот господин наш, умелый в торговых делах и сильный духом и сердцем своим».

Те же из его помощников, которые надеялись когда-нибудь заменить хозяина своего на посту его, теперь пали духом. Ибо хозяин их дал слово прожить много лет. Если почему-либо это не случится по воле богов, то мое предыдущее письмо о его помощниках полностью остается в силе. Эти помощники, невзирая ни на что, сильно соперничают меж собою. На кого же они надеются? На покупателей своих? Однако должен сообщить с радостью, что покупатель спит или дремлет, не принимая участия в великой ярмарочной торговле. И это на благо твоему величеству, ибо хозяин ярмарки здесь с его интригами — сам по себе, а покупатель сей страны с его заботами — сам по себе.

А теперь я хотел бы узнать у твоего величества: не будет ли каких-либо указаний относительно покупки льна и цены на лен? И если будет на то твоя щедрость, я бы нижайше просил прислать твоему слуге сколько возможно талантов золота или серебра. Ибо жизнь здесь не дешевая, и на еду, не говоря уже об угощении купцов, уходит немало дебенов.

Спешу также сообщить, что твой покорный слуга узнал и о том, что главный купец, о котором я говорю, возымел намерение укрепить кровлю своей лавки. Да еще и подпереть стены до такой степени свежими подпорками, чтобы лавка не только хорошо служила, но

и вызывала бы страх у соседних купцов. А страх этот, как тебе доподлинно известно, бывает оттого, что один купец делается богаче и сильнее и тогда норовит подавить своих соперников по торговым делам.

Так сказывали нынче весьма сведущие в торговле люди.

Остаюсь рабом твоим покорным, послушателем слов твоих, в надежде на известия от тебя

Купец Тахура.

Писано в городе Ахетатоне в месяц паони
17 года царствования его величества Не-
фер-Хеперу-Ра Уен-Ра Эхнатона».

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ

Сеннефер вошел молчаливый, слишком ровный в спине. Молча кивнул хозяйке. Молча поднялся по лестнице.

Ка-Нефер раздвинула льняную занавеску: в комнате стало светлее. Яркое вечернее небо заиграло в широком оконном проеме.

Нефтеруф сидел в углу. Его не сразу заметил парасхит. А как только заметил — кивнул. Тоже молча.

— Дома мы одни, — сказала Ка-Нефер. — Муж ушел к Тихотепу.

— Зачем? — спросил осторожный Сеннефер.

— У него помолвка с девушкой из лавки Усерхета.

— Значит, мы одни?

— Мы здесь втроем. — Ка-Нефер улыбнулась.

«...Красивая, слишком красивая женщина. Слишком красива — слишком ветрена. Как мог Шери довериться ей? А Нефтеруф? Живя под одной кровлей с нею, как поручился он за свою плоть? Мужчина в соку и красивая женщина в важном деле — это гибель для дела. Это все равно что хетт в одной лодке с жителем Кеми. Это все равно что Амон и Атон в одном храме...»

Сеннефер смерил холодным, сосредоточенным взглядом пронзительно красивую женщину и льву подобного Нефтеруфа. Он не одобрял. Не понимал того, как мог этот бывший каторжник довериться красавице,

которая достойна украсить женскую половину любого правителя мира.

«...То ли я ему слишком понравилась, то ли он сердит на меня. А за что?.. Он, как видно, очень осторожен. Он осторожен, как лев на водопое. Он явился в дом, где никогда не бывал. Он подозрителен. Он умудрен опытом...»

«...Сеннефер кажется напуганным. Или ошеломленным. Старик словно бы языка лишился. Вот он сидит. Сидит и молча озирается. Вот он сидит, и страх на плечах его, испуг в глазах его...»

Сеннефер даже вздрогнул, когда внизу слышались шаги. А это был Шери. Мудрый и неторопливый Шери. Который умел выжидать, подобно пауку. Он перешагнул через порог и сказал:

— Здравствуйте все, кто под этой крышей!

Голос у него твердый. Звенит подобно бронзе. Казалось, что он принес с собой хорошие вести. Казалось, что только-только спустился с небес, где парил в чистых сферах.

Шери усадил рядом с собой Ка-Нефер. Он обнял ее за плечи, словно дочь. Жестами пригласил старика и бывшего каторжника поближе к себе. И они усьелись — голова к голове, лоб ко лбу. Так и усьелись в кружок. Такой тесный, что было слышно, как бьются их сердца. Очень тесно было. И очень гулко бились сердца. И с этой поры не существовало более красавицы. Ни мужчин. Одни заговорщики. Только они!..

Шери достает кусок папируса. Такой изрядный кусок: амаге по ширине, два амаге да еще один пат по длине. Он расстилает на полу этот папирус. На котором четырехугольники. Они выведены умелой рукой. Их изобразил человек с острым глазом. Как у коршуна. Шери взял два цвета: черный и красный.

— Вы видите?

Шери ткнул пальцем в самый большой четырехугольник.

— Что здесь? — спросил Нефтеруф.

— Это дворец. А вот здесь, — Шери переставил палец, — вот здесь — воздушный мост. Вы знаете этот мост? Под ним проходит Дорога фараона. Вы знаете этот мост?

Нефтеруф прошептал:

— Дайте мне обыкновенный молоток. Который у каменотесов. И вы через три дня не найдете на месте этого моста.

— Слушайте же дальше. Завтра утром вот из этих ворот выйдет тот, ради которого мы собрались. Ворота помечены красным. Это — стена, которая тянется вдоль Дороги. От ворот до моста — десять шагов. Это — узкие ворота. Боевая колесница будет ждать его у ворот. Обратите внимание: от ворот до колесницы — пять шагов. Пять больших шагов. Шесть — коротких. Я пометил это место красным. Это цвет крови. Ты понял меня, Нефтеруф?

У бывшего каторжника раздулись ноздри. Он в упоении прикрыл глаза. И прошептал:

— Я напьюсь его крови. Я напьюсь его крови...

— Да, Нефтеруф, ты отомстишь. Ты очистишь Кемии от этого изверга.

Так сказал Шери. Это были его слова. Не чьи-нибудь. Раз Шери подумал, раз он произнес свои мысли громко, для всех, — значит, он знает, что говорит, когда говорит и кому говорит.

Нефтеруф пояснил:

— Я буду стоять под сикоморой. От дерева до колесницы — сто шагов. Я пойду к колеснице от сикоморы. Не спеша. Готовый прибавить шаг...

— ...если того потребуют обстоятельства, — уточнил Шери.

— Если потребуют обстоятельства, — повторил бывший каторжник. — Нож у меня на груди. Я точил его целую неделю. Это хеттский нож из настоящего железа. Им можно бриться. Это настоящий хеттский нож. Из их столицы Хаттушаша. Его мне продал один купец, по имени Тахура. Я сказал ему, что я — мясник. Он сказал: «Этот нож в одно мгновение свалит бегемота, который в болотах Юга». Я сказал ему: «Я и есть охотник на бегемота».

— Покажи мне этот нож. Покажи нам, где ты его носишь?

Нефтеруф отпрянул назад. Он словно бы подпрыгнул. И оказался в двух шагах от папируса. Оказался на коленях — чуть откинув голову и выпятив грудь:

— Нож со мною!

Но никто не видел этого хеттского ножа. Где он? На груди? Сбоку? Под мышкой? Где нож, который продал ему купец Тахура?

Нефтеруф достал его, и клинок — узкий, как жало змеи, — сверкнул в сумеречном освещении.

— Я точил его на камне...

Нефтеруф положил нож на свою грубую ладонь и обнес каждого, словно лакомством. По мнению мужчин, нож во всех отношениях был превосходен. А Ка-Нефер содрогнулась.

— Это смерть. Это смерть, — сказала она.

— Да, смерть! — Нефтеруф спрятал нож. — А это — чарочка.

Нефтеруф достал — тоже неведомо где спрятанную — глиняную чарочку. Такую маленькую.

— Я выпью его кровь, — сказал он с удовольствием.

Шери насторожился:

— Как это — кровь?

— Очень просто: наполню чарку и — выпью. Для меня будет слаще меда.

— Пусть, — сказал Сеннефер, — пусть пьет.

— Я отхлебну его теплой крови. Прежде чем прикончат меня стражники...

«...Какой ужас! Он говорит о своей смерти так, словно бы собирается на чужие похороны. Я бы не смогла! Я никогда не смогла бы!.. А Шери, а Сеннефер смог бы?.. Наверное, нет. Наверное, нет...»

— Я буду неподалеку, — тихо сказал Шери. — Одного из стражей уложу я. Того самого, кто руку на тебя подымет.

— Нет! — возразил Нефтеруф. — Нельзя так! Нельзя умирать всем! Кто же будет мстить дальше? Нет, Шери, тебе не следует ввязываться. Другое дело, ежели я промахнусь. Или схватят меня за руку.

Каждый обдумывал эти слова. В них содержалась правда. Здравый смысл требовал именно этого. Нельзя иначе. Нельзя оставаться совсем без головы!

Ка-Нефер интересовало нечто иное. Она размышляла о другом. Пожалуй, о более существенном. Ка-Нефер обратилась к Шери:

— А если... А если фараона не будет на месте? Ведь может же случиться такое! Может же передумать

он в самое последнее мгновение и остаться во дворце? Может, Шери?

Шери ответил, не задумываясь:

— Может, Ка-Нефер.

«...Он это говорит спокойно. Или Шери видит дальше всех, или заранее примирился с неудачей? Тогда фараон сделает все, чтобы окончательно успокоить своих врагов...»

— Может, Ка-Нефер, может! А посему принимаем такие меры: его светлость Маху будет внимательно следить. У него на лбу выскочат десять новых глаз. Если этот ублюдок перерешит ехать, его настигнет смерть в спальне, в зале — большом или малом, в коридоре, на крыльце, на дорожке сада! Это решено!

Шери чеканил каждое слово. О, в эти мгновения он выказал себя большим и сильным человеком!

Вот он сидит ровно. Вот он говорит спокойно. Вот он дышит равномерно. И лицо его не выдает волнения.

Иное Нефтеруф: этот весь пылает, глаза у него навывкате, сопит, точно буйвол в болоте, скрежещет зубами. Он бы съел фараона живьем. Обглодал каждую кость. Напился крови. Уж очень крепка обида на фараона! И злоба Нефтеруфа безгранична, точно пустыня на Западе...

Сеннефер как бы размышляет вслух:

— У ворот... Недалеко от воздушного моста... В двух шагах от боевой колесницы... Удар в спину... Меж лопаток. Маху будет начеку...— Вдруг старик вскидывает глаза, хватает папирус, мнет его у себя на груди. — А если не будет?

Он впивается взглядом в Шери. Будто хочет сразить того. Вот-вот набросится в ярости.

— Что — не будет, Сеннефер?

— Маху... Если Маху не окажется начеку?

— Он поклялся, Сеннефер.

— Это хорошо, что поклялся. Но если... если...

— Исключено, Сеннефер, исключено!

— А все-таки?

— Говоришь невозможное!

— Шери, а если?.. Ну, все-таки, Шери?.. А?.. Подумай, Шери. Это бывает раз в жизни. Подумай, Шери...

Шери уверен. Убежден. Он отмечает невозможное.
— Ну, а если? Ну, а если, Шери?

Три пары беспокойных, встревоженных глаз устремлены на него. Словно из засады. Ждут ответа, затаив дыхание. Не без тревоги. Не без страха. Можно подумать, что в ожидании прыжка разъяренной пантеры. А разве не так? Царь, пожалуй, хуже пантеры! Никому не будет тогда пощады! Зашьют в льняные мешки и осторожно опустят на дно Хапи. И закроется вода над головой. Хоть и священная река, но вода есть вода: в ней тонут, задыхаются, теряют рассудок...

Логика Шери-заговорщика неотвратимо ясная: в случае неудачи сам Маху поплатится жизнью. В первую очередь... Можно задать себе вопрос: разве предательство исключено? Конечно, можно задать и такой вопрос... Предательство никогда не исключалось. Их всегда хватает, этих предателей. Что же касается Маху — всякое подозрение по отношению к нему должно быть отменено. Безоговорочно. Для этого у Шери имеются достаточные основания... В этом заговоре участвует строго ограниченное количество лиц. Это не восстание народа. Или восстание рабов. Заговор, можно сказать, дворцовый. Он никого не касается, кроме как самих заговорщиков. В этом все удобство дворцового заговора! Конечно, можно было бы кликнуть клич и собрать недовольных под штандарты большого восстания. Но этот путь не годится. Там, где замешан народ, — не жди ничего путного. Речь идет о вполне определенной вещи: о беспощадной мести людей знатных и славных, униженных и ославленных фараоном-ублюдком. Поскольку заговор ограничен самым узким кругом людей, успех его зависит только от этого узкого круга. И больше никого не касается! Вот почему Шери уверен и отмечает мысль о предательстве...

— Если только, — заключает довольно мрачно Шери, — нет предателей среди нас. — И вдруг — грубо, резко, оскорбительно: — Ты, Нефтеруф?

— Я? — говорит бывший каторжник. — Я?.. Никогда!

— Может, ты, Сеннефер?

Сеннефер холоден, как базальтовый камень:

— Нет, Шери, нет.

— Может, ты, Ка-Нефер?

Молодая женщина отрицательно качает головой. Эдак неторопливо. Медленно...

— И я тоже — нет, — сказал Шери. — Маху тоже — нет! Что же еще надо вам?

«...Наше счастье, что с нами мудрый и великий Шери. По сравнению с ним Нефтеруф — этот красивый самец — выглядит несмышленищем. Он чрезмерно горяч. Чувства застилают его ум... А Сеннефер слишком стар. И слишком тщедушен. Его удел — мудрствование. Его стихия — рассуждения, подсказка, советы...»

Ка-Нефер тщательно обдумывает слова Шери. Она согласна с ним. Она готова идти за ним куда угодно.

— Теперь вы уверены? — спрашивает Шери.

— Да! — отвечают одновременно Нефтеруф и Сеннефер.

— В таком случае прочь всякие сомнения! Сильнее бейтесь, сердца! Станьте тверже, руки! Бьет час!

Шери говорит негромко, но кажется, что слушает его весь Кеми — от Дельты до Первого порога. А может быть, еще дальше. В нем бьется такое сдержанное, такое укрощенное им самим буйство, что невольно возвышает над сонмом обыкновенных людей. Именно таким представлял себе Нефтеруф главного противника фараона...

— Я напьюсь его крови, — подтверждает свое неукротимое намерение бывший каторжник. — Я все равно не удержусь, как бы меня ни отговаривали!

— А мы и не отговариваем, — говорит Шери.

— Это хорошо! Это хорошо!

На улице раздались негромкие голоса. Кто-то постучался в дверь. Ка-Нефер мигом вскочила со своего места и кинулась вниз. Шери улыбнулся едва заметно.

— Явился, — сказал он. — Маху держит слово.

Шери сказал это, не выглянув на улицу. Даже не повернув головы.

— Вот опустились носилки... Вот выходит грузный Маху. Рабы помогают ему войти в дверь. Не узка ли она для него?..

Не успел Шери произнести последнее слово, как Маху появился самолично. Он пропустил в комнату Ка-Нефер, но не перешагнул порога. Так и остался там.

Шери медленно оборотился к нему. Не вставая. Между тем как Нефтеруф и Сеннефер почтительно склонили головы.

Маху сопел. Как обычно. Одет обыденно. Даже невзрачно. Но украшения — дорогие. Бусы — из сердолика. Золотые и серебряные перстни на пальцах. Меч на бедре в золотой оправе.

Молча оглядел комнату. Ничего не говоря. И неясно, каково настроение его перед великим часом.

Он сказал:

— Вы обсудили это?

И указал пальцем на кусок папируса.

— Да, — ответил Шери.

— Нефтеруф готов для дела?

— Да, готов.

— А ты, Сеннефер?

— И я.

— И ты, Шери?

— Что за вопрос?

— Спрашиваю, — значит, так надо.

— Готов и я.

— И Ка-Нефер?

— И я тоже, твоя светлость.

Задавая вопросы, Маху становился все более торжественным. Голос его звучал все более уверенно.

— Слушайте меня все! — Маху поднял руку. — Слушайте внимательно. Не пропускайте ни единого слова мимо ушей своих. — Что-то жестокое, что-то радостное, невообразимо мрачное и вместе с тем высокое нарастало в нем, отражаясь в его взгляде, в его голосе, на его челе. — Так слушайте же: его величество... правитель Верхнего и Нижнего Кеми...

Бам! Бам! Бам! Бам! — это стучат сердца. Нет, невозможно слушать Маху: душа не выдержит! Скорее, скорее, Маху!..

— Его величество умер!

— Что? — Шери встал. — Что ты сказал, Маху?

Остальные словно языки проглотили. Ка-Нефер припала к стене. Чтобы не упасть.

— Он еще теплый, — со злорадством сказал Маху. И, для вящей убедительности заглядывая каждому в глаза, продолжал: — Кийа безутешна. Она рыдает. Она в отчаянии. Эйе молчит, как молчите вы.

Шери пробормотал:

— Он умер?.. Он умер сам?

— Да. Схватился за сердце. Хотел что-то сказать, но в горле заклокотала слюна. Он был мокрый от пота. И бледен, как папирус. И когда к нему наклонилась Кийа...

ЭПИЛОГ

Не так давно в парижском Лувре я заметил знакомое лицо. Еще издали. Где я видел его раньше?..

Вот оно все ближе, все ближе...

Да, это был он!

С глубокой раной на лбу. Разбитый на несколько частей кем-то и снова кем-то заботливо собранный. Такой бледный, такой гипсовый...

Он смотрел на дверь. Будто напуганный. Глаза у него чуть навывкате. Шея вытянута...

Так его величество Эхнатон предстал еще одним своим ликом. И я вспомнил слова доктора Хасана Бакри, которые сказал он мне в каирском музее у огромного бюста фараона: «Теперь вы его будете встречать очень часто». И верно: я вижусь с ним в разных городах и разных книгах.словно с живым...

Да, фараон скончался в тот день. Неожиданно для друзей. Неожиданно для врагов. Но Кеми продолжал жить. И жил еще очень долго. Правда, последующие века — скорее по инерции.

А в начале нашей эры некогда страшный для соседей своих Кеми лежал совершенно обессиленный. Как бы в полусне. Во прахе.

И многие спрашивали себя: где сила его? Где вышколенный грозными фараонами народ? И был ли он вообще? Спрашивали, хотя все еще стояли исполины Джосера, Хуфу, Хефрена!

Прежнее величие его покрылось страшным слоем небытия. А пылинки вселенной — Эхнатон и Нефертити — смешались с пылью пустыни. Имена их были преданы анафеме после того, как Амон-Ра снова воцарился на своем блистательном троне, а жрецы его заняли подобающее положение. Оставленный на волю ветров и песков, Ахетатон исчез, словно бы его и не

существовало на свете. Более того: Эхнатон и Нефертити оказались лишенными даже вечных жилищ — своих могил, приличествующих их сану. То есть произошло нечто такое, что не укладывалось в сознании египтянина, случилось наихудшее, что могло ожидать смертного в Кемі. И мы нынче гадаем, кому принадлежит полуистлѣвший скелет: Эхнатону, Семнех-ке-рэ или кому-нибудь другому?..

Но, как бы то ни было, пятимиллионный народ — прямой наследник древних египтян — продолжал жить. С трудом помня свое прошлое. Не пытаюсь заглянуть в будущее.

Достаточно было в 641 году появиться на берегах Хапи трехтысячной аравийской коннице Амру, чтобы бесповоротно сгинула эпоха, хотя и отдаленно, но все-таки связанная с великим Кемі. И в стране прилежных писцов не нашелся сcribe, который, бесстрашно подводя черту, написал бы неизбежное в таких случаях слово:

К о н е ц

*Агудзера—Каир—Москва
1964—1968*

ПРИЛОЖЕНИЯ

Из рассказов моих друзей

...И ОН ЖЕ — НЕФЕР-ХЕПЕРУ-РА УЕН-РА

Вот что рассказал мне наш известный египтолог профессор Ю. Я. Перепелкин:

— ... Вы смеетесь, а я спрашиваю: что есть археология в ряду других наук? Тоже наука? Неоспоримо. Как дважды два — четыре? Вроде бы и — да, и — нет. Нам, египтологам, далеко ходить за странными примерами и не надо. Извольте...

В начале нашего века в Долине царей — близ Фив — был обнаружен тайник. Здесь, под землей, был установлен саркофаг. На саркофаге — как обычно это было принято у древних египтян — надписи, надписи... Много надписей. Из этих надписей мы узнаем, что люди, похоронившие того, кто лежал в саркофаге, думали, что похоронили царя Наф-Хуру-Ра, он же — Эхнатон и он же — Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра... Верно, это супруг повсеместно знаменитой царицы Нефертити, как называют ее на университетских скамьях, а точнее — Нафтиты, а еще точнее — Нефрэт...

Кроме саркофага, в тайнике находился катафалк царицы Тии — матери Эхнатона, точнее — Ахнаяти, а еще точнее — Эхнайота.

Итак, в тайнике только два имени: царицы Тии — на катафалке и четырех заупокойных кирпичях — и царя Наф-Хуру-Ра — на саркофаге. Значит, царь был погребен здесь после его безвременной кончины?

Мумия сильно испорчена водами, проникшими в тайник. Однако четко выделялся затылок, как и на его скульптурных изображениях. Все могли убедиться также в том, что и таз соответствует описаниям (широкий, почти женский), и рост небольшой, и конечности тонкие... Словом, настоящий Эхнатон, настоящий Ахнаяти, Эхнайот. О чем и свидетельствует надпись!

Надпись на саркофаге. Археология как бы говорит: да, здесь лежит Эхнатон, Ахнаяти, Эхнайот!

Но вот является медицина — и рушится явное. Медицина утверждает: нет, это не Эхнатон, ибо, судя по суставам, этому всего двадцать три — двадцать четыре года. Сколько же было лет Эхнатону, когда он умер? Лет тридцать пять. Это вполне вероятно, если учесть, что он мог воцариться лет семнадцати, а царствовал он столько же. Куда же девать разницу в десять с лишним лет?

Суставы, выходит, против Эхнатона. Суставы за то, чтобы мумию приписать фараону Сменхкара, точнее — Семнех-ке-рэ. А надпись в тайнике гласит: здесь почитет Эхнатон. И люди, захоронившие мумию, видимо, не сомневались в том, что это — Эхнатон. Именно Эхнатон... Умерший на радость своим врагам...

Я понимаю, что ни у вас, ни у меня не возникает мучительная дилемма: археология или медицина? Но в случае с мумией, найденной в тайнике, где имеется вывеска «Эхнатон», вдруг встает вопрос: медицина или археология? На чьей стороне правда?

Какова, по-вашему, альтернатива?

Или ее нет вовсе?

Тогда позволительно спросить: что же есть?

Абу — Элефантина.

Арура — мера земли. Около 0,27 гектара.

Великая Зеленъ, Уадж-ур — так египтяне называли море, в частности Средиземное.

Джахи — Финикия.

Ей-н-ра — Гелиополь.

Иси — остров Кипр.

Кефтиу — остров Крит.

Куш — Нубия.

Мен-Нофер — Мемфис.

Митанни — государство на севере Месопотамии.

Немху — средние и мелкие землевладельцы.

Ниневия — столица Ассирии.

Парасхит — один из бальзамировщиков, делавший надрез на животе умершего.

Ретену — Ассирия.

Саи — Саис, современное местечко Са эль-Хагер.

Семер — высший сановник, наиболее приближенный к фараону.

Сехен — мера длины (11 километров).

Скриб — древнеегипетский писец.

Сотис — звезда Сириус.

Та-Нетер — Пунт; по-видимому, современный Сомали и близлежащие земли.

Талант — в данном случае денежная весовая единица золота, равная приблизительно 30 килограммам, дебен — 91 грамм.

Тростниковое море — Красное море.

Тапе — Уасет, Фивы.

Шарданы — морские разбойники с Крита, Кипра и других средиземноморских островов.

Хаттушаш — столица Хеттского государства.

Хаке-хесеп — губернатор провинции.

Хапи — Нил.

Хатшепсут — египетская царица, правившая во времена Восемнадцатой династии.

СОДЕРЖАНИЕ

В о д о в о р о т. *Исторический роман* 7
Ф а р а о н Э х н а т о н. *Исторический роман* 247
С л о в а р ь 611

Гулиа Г.

Г94 Собрание сочинений. В 4-х томах. Т. 3. Водоворот. Фараон Эхнатон. Исторические романы. М., «Худож. лит.», 1975

616 с.

В том вошли два исторических романа — «Водоворот» и «Фараон Эхнатон».

В «Водовороте» отражены события периода русско-турецкой войны 1877—1878 гг., показана борьба абхазского народа против внутренних и иноземных угнетателей.

«Фараон Эхнатон» — роман о жизни фараона-реформатора Эхнатона, правившего в Египте в XIV веке до н. э.

Г 70302-133
028 (01)-75 подписное

Р2

**Георгий Дмитриевич
Гулиа**

*Собрание сочинений
Том 3*

Редактор *В. Белова*
Художественный редактор
В. Горячев
Технический редактор
В. Иващенко
Корректор *Г. Ганапольская*

Сдано в набор 24/V 1974 г. Подписано
в печать А02038 от 24/II 1975 г. Бум.
типогр. № 1. Формат 84×108¹/₃₂.
19,25 печ. л. 32,34 усл. печ. л.
31,852 уч.-изд. л. Заказ № 284.
Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 15 к.

Издательство «Художественная лите-
ратура». Москва, Б-78, Ново-Басман-
ная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2 имени
Евгении Соколовой Союзполиграф-
прома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной
торговли. 198052, Ленинград, Л-52,
Измайловский проспект, 29

他 街